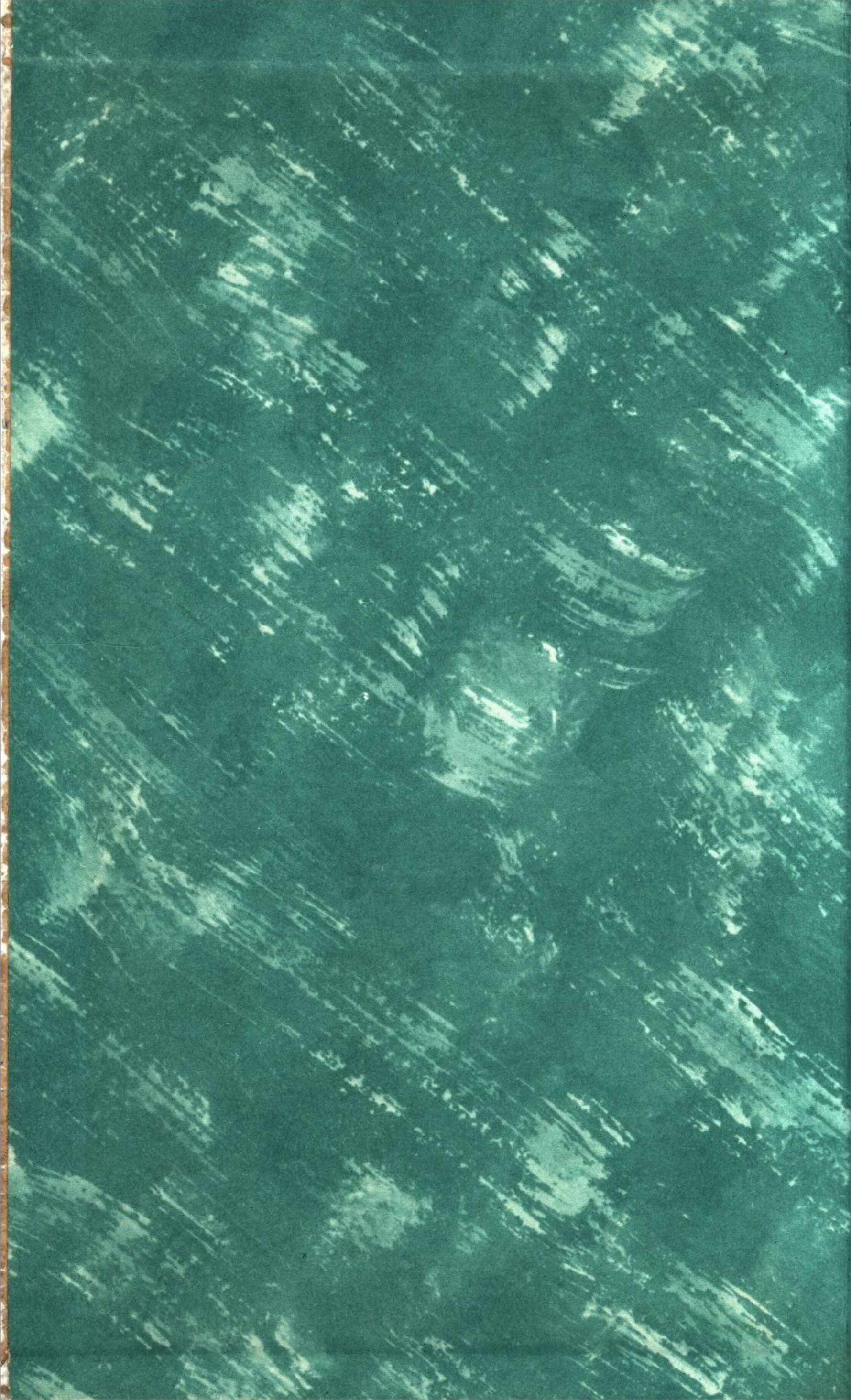
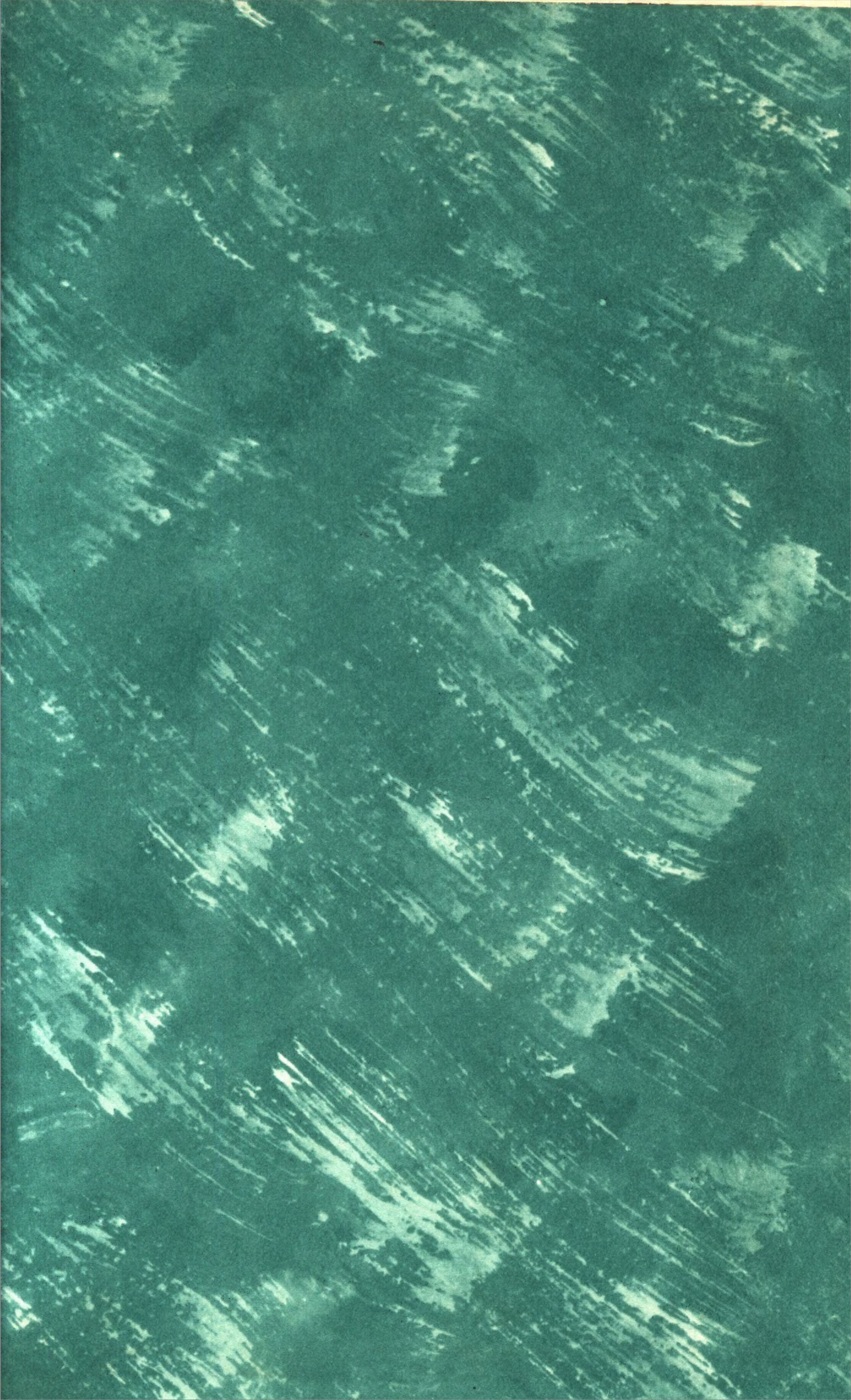
БИБЛИОТЕКА
ПРОИЗВЕДЕНИЙ,
УДОСТОЕННЫХ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПРЕМИИ СССР

Ник. Дубов

Горе одному





БИБЛИОТЕКА
ПРОИЗВЕДЕНИЙ,
УДОСТОЕННЫХ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПРЕМИИ СССР



Постановлением
Центрального Комитета КПСС
и Совета Министров СССР
писателю
ДУБОВУ
Николаю Ивановичу
за книгу «Горе одному»
присуждена
Государственная премия СССР
1970 года

Николай Дубов

Горе одному

РОМАН

МОСКВА
СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ
1983

Р 2
Д72

Роман «Горе одному» известного советского писателя Николая Дубова состоит из двух книг. Первая книга «Сирота» — о жизни мальчика Лешки Горбачева, оставшегося в войну сиротой и выросшего в детском доме. Вторая — «Жесткая проба» — о работе Алексея Горбачева на большом заводе, о его жизни в рабочем коллективе.

Роман «Горе одному» в 1970 году удостоен Государственной премии СССР.

Художник Евгений Коган

Д $\frac{4702010200-167}{083(02)-83}$ 119—83

© Издательство
«Советский писатель», 1983 г.



Книга первая
Сирота

1

Лешка решил убежать.

Во всем был виноват дядька. По-настоящему он Лешке вовсе даже не дядька, а просто муж двоюродной тетки, но заставлял называть себя дядей Трошей. Вслух Лешка так его и называл, а про себя — Жабой.

У него толстая шея, бритая голова, широкий, как у жабы, тонкогубый рот. Невысокий, плотный, он часто садится, наклонившись вперед, опершись ладонями о раздвинутые колени и отставив локти в стороны, и тогда совсем становится похожим на жабу перед прыжком.

Когда мама была жива, он вместе с теткой раз или два приходил в гости, но прочно и навсегда вошел в Лешкину жизнь, когда мама умерла.

Отупевший от слез, голода и усталости, Лешка, съежившись, сидел на табуретке и не отрываясь смотрел на мать. Она, сразу вдруг вытянувшаяся, лежала на столе, прикрытая простыней, и лицо ее, две недели пылавшее жаром, было синевато-белым, холодным и чужим. Лешке было страшно смотреть на нее, но отвести глаза и посмотреть в сторону — еще страшнее. Лицо матери и все вокруг заволакивал радужный туман слез, голоса звучали глухо и невнятно. Казалось, в памяти только и останутся радужный туман да непонятное бормотание, однако прошло время, и обнаружилось, что Лешка увидел и запомнил не только это.

Он вспомнил, как соседка и Лидия Кузьминична, Лешкина тетка, горестно поджав губы, сидят в сторонке и о чем-то шепчутся, поглядывая то на маму, то на Лешку. А дядя Троша бродит по комнате, разглядывает и незаметно щупает вещи.

Потом он садится, опершись ладонями о колени, растопыривает локти в стороны и негромко говорит:

— Вещички, конечно, не ай-я-яй, вещички так себе, ну все-таки...

— Вещи мать не заменят,— вздыхает соседка.— Как с ним-то решаете? В детдом, что ли, его?

— В приют, значит? — спрашивает дядя Троша, и тетка выжидательно смотрит на него.

— Приютов теперь нету, детдома называются.

— То все едино — что бузина, что рябина,— говорит дядька и еще раз оглядывает комнату.— Обойдемся и без приютов.

— Что мы, не самостоятельные? — подхватывает тетка.— Воспитаем как надо быть, не чужие...

Соседка уводит Лешку к себе, кормит его и укладывает спать.

На другой день мать хоронят. Во двор въезжает простая телега, на нее ставят гроб. Соседка что-то говорит дяде Троше, но тот отмахивается:

— В моей должности за попом идти? И оркестр ни к чему — не свадьба. Дудари эти полчаса посвистят, а запросят тыщу.

За гробом идут соседка, тетя Лида, две мамины сослуживицы. Соседка и сослуживицы вытирают слезы, тетя Лида тоже время от времени трет глаза платочком. Дядя Троша, зажав кепку в кулаке и заложив руки за спину, солидно шагает в сторонке. Возчик в нахлобученном на уши картузе идет рядом с телегой и от нечего делать пробует на ходу сковыривать кнутовищем засохшую на ободьях грязь. Дядя Троша озабоченно трогает лысую голову — не напечет ли солнцем? — и надевает кепку.

От всего этого Лешке становится так горько, так жалко себя и маму, что слезы опять застилают ему глаза, он ничего не видит, хватается за грядку телеги, чтобы не спотыкаться, и так идет всю дорогу.

На кладбище дядя Троша ссорится с возчиком — засыпать могилу тот отказался. Сам дядя Троша закапывать тоже не хочет. Он приводит кладбищенского сторожа, торжественно бросает горсть земли на крышку гроба и наблюдает, как сторож с привычной небрежностью заваливает землей могилу.

— Так, значит,— говорит дядя зареванному Лешке.— Выходит, начинается теперь у тебя новая жизнь. Приспосабливайся!

Новая жизнь началась с того, что дядя и тетя оста-

вили комнату, которую прежде снимали, и переехали к Лешке.

— Домишко маленький, ну все одно хозяйского гла́за требует. А из него какой сейчас хозяин? — объяснил дядя Троша соседке, пришедшей посмотреть на новоселов.

Домик был и в самом деле маленький — комната да кухня. Мама спала на кровати, а Лешка — на топчане. Теперь кровать заняли дядя с тетей, топчан тетка накрыла ковром и назвала тахтой, а Лешке поставили раскладушку на кухне. Этому Лешка был даже рад — он меньше попадался на глаза, а так было свободнее и лучше.

Раза три приходили мамины сослуживицы. Они расспрашивали, как Лешке живется, не обижают ли его дядя и тетя, помнит ли он маму, и при этом плакали. В кухню выходил дядя Троша, гладил Лешку по голове, говорил, что он из этого шпингалета сделает человека, и ждал, пока они уйдут. Сослуживицы ходить перестали.

О том, что Лешка должен стать человеком, разговор возникал каждый раз, когда приходили знакомые и спрашивали, что за мальчик у них появился.

— Сирота, — жалостливо поджимала губы тетя Лида. — От двоюродной сестры остался. В детдом отдавать не стали. Что мы, не самостоятельные? — повторяла она. — Воспитаем по-родственному...

— Ну, родственник он мне — через дорогу вприсядки... — говорил дядя. — А все-таки, значит, взяли на себя, человеком сделаем. Бухгалтером, например. И учить недолго, и специальность подходящая. Бухгалтер, ежели он с головой, большие дела может ворочать. Через его руки деньги идут. Глядишь, что́ и к рукам прилипнет...

Сам дядя Троша не был бухгалтером, но руки у него были такие, что, по мнению Лешки, к ним обязательно все должно было липнуть. Коротколапые, но ухватистые, с заросшими рыжей шерстью запястьями и пальцами, они все время шевелились, ощупывая, поглаживая вещи, а если никаких вещей поблизости не было, потирали друг дружку, словно пересчитывая деньги.

О деньгах дядя Троша говорил постоянно и свято веровал в их несокрушимую силу.

«Гро́ши — не бог, а с полбога будет», — говорил он и в людях выделял единственное качество: ловкость, уменье добывать деньги. Таких людей он уважал, к остальным относился пренебрежительно, считая придурковатыми, хотя говорил об этом только дома, а на людях притворялся бескорыстным и неоцененным тружеником. Притво-

рялся он во всем. Ходил в полувоенном костюме, будто ответственный работник, а был заведующим столовой. Сладко улыбаясь, льстил другим в глаза, а дома ругал их последними словами. «Слово — не рупь, его не жалко,— говорил он.— Раньше, бывало, у кого гро́ши — тому и уважение, а теперь, чтобы до гро́шей достигнуть, надо завоевать доверие. А как его завоевать? Через слова. Значит, для этого слов жалеть нечего».

Слов он действительно не жалел, и сыпались они из него, как просо из дырявого мешка. Поговорки и прибаутки он придумывал сам, и хотя были они пустыми и глупыми, нравились ему чрезвычайно, и он охотно их повторял, любуясь своим красноречием.

Дядя Троша был занят столовой и еще какими-то делами, о которых вполголоса говорил со своими приятелями, отослав Лешку в кухню, а тетя Лида — собой. Она непрерывно лечилась у нескольких врачей сразу; несмотря на это, полнела и то и дело переделывала свои платья или шила новые. И так как болезней у нее было много, платьев тоже, занята она была с утра до вечера. В сентябре она уехала на курорт в Сочи, но, должно быть, от этого ей стало хуже, потому что по возвращении ни одно платье не налезало, и пришлось шить новые.

Иногда дядя Троша говорил ей:

— Спина у тебя, Лидуха, как у лошади. Скоро поперек себя шире будешь.

— Ты же знаешь, что у меня сэрдце!..— обиженно отвечала тетя Лида, напирая на букву «э».

— Сердце сердцем, а ела бы поменьше. Гляди — треснешь...

Заниматься Лешкой было некому. Он был этим очень доволен и вел жизнь независимую и приятную. Летом бегал с ребятами на Дон или за город, где еще змеились осыпающиеся окопы и где, говорили, одному пацану посчастливилось найти ржавый и без курка, но совсем новый «ТТ»; позеленевших стреляных гильз там была пропасть, и даже попадались патроны заряженные. Зимой Лешка ходил в школу. Учился он средне — не слишком хорошо и не слишком плохо, чтобы дядьку или тетку не вызывали в школу и они потом над ним не зудели. Ребята в пятом классе подобрались подходящие; они вместе гуляли, вместе бегали в кино. Лешка быстро научился выпрашивать на билет у прохожих. Это было очень просто: следовало только подойти к фронтовику или к парню с девушкой и уверенно просить, глядя на девушку:

— Дяденька, дай двадцать копеек, мне на билет не хватает.

Парням при девушках не хотелось показывать себя скупыми, и они лезли в карманы. С фронтовиками было еще лучше. Война кончилась больше года назад, но возвращающиеся фронтовики не торопились расставаться со своими кителями и медалями, и Лешка узнавал их сразу, с первого взгляда. Они денег не жалели, даже иногда давали не мелочь, а бумажку.

За день можно было насобирать не только на билет, но и на сладкий кусок белого льда, который назывался мороженым. Подходить к девушкам и парням-одиночкам не следовало — девушки начинали стыдить, а парни вместо двадцати копеек могли дать и по шее.

Попрошайничать Лешке было стыдно, но другого выхода не оставалось: тетя Лида деньги на кино давала редко и неохотно, а дядя Троша не давал совсем.

— На баловство у меня гро́шей нет. У тебя в голове витры виють, а я, когда таким пацаном был, копеечку к копеечке складывал. Не я у других, а у меня гро́шей просили...

Представить себе дядю Трошу мальчиком Лешка не мог, хотя понимал, что он, как и все, тоже был когда-то маленьким.

Лешке казалось, что дядька просто был раньше маленького роста, но и тогда был уже толстым, с налитой красной шеей и бритой головой, с такими же заросшими рыжей шерстью пальцами, которые жадно и цепко хватали копеечки и складывали их к копеечкам. Когда Лешка представлял себе такого маленького лысого дядю, складывающего копеечки, ему становилось смешно и он фыркал.

— Чего скалишься? — хмурился дядя. — Человек с копеечки начинается, рублем-то еще стать надо! Да! А ты и в базарный день полкопейки не стоишь. Толку от тебя никакого, а расходу — прорва. Вон башмаки каши просят. Чёрты тебя знают, по гвоздям ты ходишь или нарочно рвешь?

Лешка прятал под стул ноги в рваных башмаках и о деньгах на кино не заикался.

Бегать в «киношку» удавалось не часто. Дядя Троша был занят, тетя Лида все время чувствовала себя плохо, и Лешка стоял в очередях и в хлебном и в продуктовом, чтобы отоварить карточки. Выдавали на них как и прежде, мало: месячный паек свободно помещался в кошелке. Тетки в очередях ругали завмагов, карточки, прошлогод-

нюю засуху и прикидывали, какой урожай в этом году и не будет ли голода. Однако дома стало сытнее. Почти каждый вечер дядя Троша вынимал из брезентового портфеля несколько аккуратных свертков и отдавал тете Лиде. Хлеб оставался, и время от времени Лешке удавалось отнести краюху всегда голодному Митьке.

У Митьки была куча маленьких сестер, вздернутый, в веснушках нос и независимый характер. Он не боялся ничего и никого, кроме своего отца, которого называл «батько». Все, что сказал батько, было свято, все, что он сделал, — хорошо, правильно и лучше быть не могло. Митькин отец, суровый человек с вислыми усами и неподвижным взглядом, работал в паровозном депо слесарем и кормил целую ораву малышей, из которых самым старшим был Митька, Лешкин дружок. Лешка знал, что хлеба им не хватало и они сидят на картошке. Каждый раз, когда Лешка приносил хлеб, Митька отламывал кусок побольше, прятал его в карман — для сестер — и только потом начинал есть кусок поменьше.

— Ворует твой дядька,— не то спрашивая, не то утверждая, говорил он. (Лешка, не зная, что ответить, молчал.) — А иначе откуда у вас столько хлеба? Ворует, вот и все. Батько говорит: в столовой одна баланда, а продукты уходят неизвестно куда. Вот увидишь, доберутся до твоего дядьки, возьмут за шкирку...

Когда Лешка жил с мамой, она тоже жаловалась, что всего не хватает, даже иногда плакала, но неизменно говорила:

— Что поделаешь? Как людям, так и нам...

Теперь Лешка попробовал заговорить дома о том, как живут другие, но дядя Троша оборвал его:

— А зачем мне на другого глядеть? Он пухнет с голоду, и мне пухнуть? Дураков нет!

До дяди Троши не добрались и «за шкирку» его не взяли, однако жаловался он постоянно: на большие расходы, неважные дела, трудности. Особенно досаждала ему столовая, которой он заведовал.

— Разве это жизнь при карточках? Каждую ерундовину взвешивай да перевешивай. Другие вон какими делами ворочают...

О чужих делах и о том, как ловко они совершаются, рассказывал он любовно, с завистливым восхищением. Однако и его дела шли, по-видимому, не так уж плохо — на скромной защитной тужурке его все меньше оставалось складок, и держался он все увереннее и солиднее.

Только однажды дядя Троша растерял всю свою солидность. Он торопливо прибегал домой, совал что-то в комод, шкаф и убегал снова. В комнате появились красивые, непонятные Лешке вещи, набитые мягким, пахнущие нафталином мешки, костюмы явно не на дядин рост. Наконец в сумерки дядя принес укутанную в старые простыни какую-то раскоряку. Он долго топтался с ней у входа, поворачивая так и этак, и ругался. Раскоряка издавала тонкое стеклянное треньканье, но в дверь не лезла. Все-таки ему удалось ее протащить, и он с яростной бережностью уложил ее на тахту.

— Что это? — удивилась тетя Лида.

— Люстра!..— Дядя Троша выругался.— Четыре с половиной отдал за эту дуру...

— Да куда мы ее повесим? У нас и места нет.

— Закудакала! На шею тебе повесим! Думаешь, я один умный? В комиссионках всё расхватали, вот только она и осталась. Нам ни к чему, а все-таки вещь. Потом дураки найдутся, купят. А я теперь чистенький. Реформой меня не обойдешь!

Простыни раздвинулись, Лешка заглянул в дырку. Там переливались стеклянным блеском какие-то висюльки, виднелись золотые трубки.

— Она золотая, дядя Троша?

— Около золота лежала,— хмыкнул дядя.— Бронзовая с хрусталем...

Через день вместо прежних червонцев Лешка увидел у дяди новые деньги. Они были большие, красивые и, новенькие, трещали, как пергамент.

— Теперь без карточек вздохнем, хватит ходить по ниточке. Теперь, кроме гро́шей, другого бога нету! — сказал дядя Троша.

ОРС, в котором он служил, закрылся, и он поступил буфетчиком в ресторан. Через некоторое время — то ли дядя слишком усердно молился своему богу, то ли не поладил с сослуживцами — из ресторана его уволили, и он стал заведовать чайной.

Этим местом дядя Троша был очень доволен, но почему-то его уволили и оттуда. Дядя Троша поступил в закусочную, которую называл «павильоном», но вдруг стал озабоченным, без конца бегал хлопотать, объяснять, оправдываться и даже похудел. Тетя Лида по-прежнему лечилась и шила платья, пока дядя Троша не накричал на нее:

— Сиди дома, дурепа! Обрядится, как на ярмарку,

и давай хвостом трепать! Понимать надо, когда можно хвастать, когда нет!

Тетя Лида перестала шить новые платья и даже меньше лечилась, но это не помогло, и дядю Трошу уволили.

— Ладно что так, могло и хуже быть,— сказал дядя Троша.— Однако здесь теперь не жизнь, надо в другое место подаваться.

Дядя Троша уехал. В доме стало тихо и спокойно, только хрустальная люстра, которая все еще не была продана, отзывалась звонким треньканьем на каждый шаг. Для Лешки наступила вольготная жизнь. Тетя Лида, озабоченная делами дяди Троши и своими болезнями, не обращала никакого внимания на Лешку, и он ходил в школу, учился кое-как, лишь бы не остаться на второй год и не отстать от своих ребят.

Дядя Троша вернулся веселый, довольный и, захлебываясь, рассказывал, какой замечательный город Краснодар и как там хорошо можно устроиться.

Лешка заскучал. Ему не хотелось уезжать из Ростова, хотя, как сказал Митька, в Краснодаре есть река Кубань, и она даже больше Дона. Здесь были свои ребята, и, хотя они ссорились и, случалось, даже дрались, это были все-таки свои, хорошие ребята, а как там будет, на новом месте, — неизвестно. И потом, здесь он жил с мамой, здесь мама похоронена, остался дом, в котором он родился и вот вырос уже до двенадцати годов. А дядя Троша решил дом продавать. Лешка слышал, как он говорил тете Лиде.

— Домишко так себе, много за него не дадут, ну какая ни есть бородавка — все чирею прибавка... А мне на новом месте с голыми руками быть нельзя: рупь до голой руки не пристает, гро́ши до гро́шей липнут.

Лешка сказал, что он никуда уезжать не хочет и останется здесь. Дядя Троша озадаченно открыл широкий рот и захлопнул его с таким звуком, будто что-то проглотил.

— Ты смотри — он не хочет! А кто тебя спрашивает, чего ты хочешь? Рот откроешь, когда человеком станешь, а покуда ты не человек, а четвертушка. Понятно?

Лешка с Митькой долго раздумывали, как теперь быть, и Митька наконец посоветовал:

— Знаешь что? Иди в детдом. Жить будешь в детдоме, а учиться в нашей школе. Вот и все. А твой дядька пусть выкусит, во! — и сложил кукиш.

Детдом находился за четыре квартала. Они его знали и даже однажды подрались с его воспитанниками. Детдомовцы были отчаянно смелыми и держались друг за дружку. Лешке, Митьке и их приятелям здорово тогда попало. Пожалуй, теперь детдомовцы могли Лешке все припомнить.

— Ничего,— сказал Митька,— тогда ж ты был чужой, а теперь будешь ихний, свой. Ну дадут разá — подумаешь!

Чтобы Лешке было не так боязно, они отправились вместе, но во двор Лешка пошел один, Митька остался на улице. Во дворе стояли два дома. Из ближайшего дома вышел парень в галифе и расстегнутом синем ватнике. Он размахивал картонной папкой и сердито говорил кому-то, оставшемуся за дверью:

— Нет, если собаки не будет, я ни за что не отвечаю! Ну вот, видали? — показал он в Лешкину сторону и пошел ему навстречу.— Эй, пацан, ты чего здесь крутишься?

— Вы, дяденька, заведующий?

— Ну, заведующий.

— Этим детдомом?

— Не детдомом, а хозяйством. А в чем дело?

Заведующий хозяйством был долговязый, и Лешка мог видеть его лицо, только задрав голову.

— Возьмите меня к себе.

— То есть как — возьмите? А направление?

Лешка не понял и, продолжая, задрав голову, смотреть на него, молча переступил с ноги на ногу.

— Кто тебя послал? Бумажка у тебя есть?

— Никто. Я сам.

— А-а, сам! Так дело не пойдет. Мы без направления не принимаем. Вот если тебя гороно пришлет — другой разговор. А теперь — дуй отсюда!

Лешка опустил голову и вышел.

— Не взяли? — догадался Митька.

Лешка рассказал.

— Ну так что? Найдем гороно — я теперь с тобой сам пойду,— и в два счета тебе дадут эту бумажку. А что, не правда? Ты же сирота? Сирота. Так в чем дело?

Они поехали в центр на трамвае, долго блуждали по улицам, потом решились спросить у милиционера.

В большой, тесно уставленной столами комнате гороно им показали на сидящую в углу худую женщину. Нагнувшись над столом, она читала какие-то бумаги. Жидкие прямые волосы не были острижены и свисали над щеками, как две дощечки, на носу сидели очки с толстыми стеклами,

на верхней губе росли редкие черные волосы. Она затягивалась папиросой — щеки ее западали, отчего длинное лицо становилось еще длиннее,— и отмахивалась рукой от дыма. Он колыхался над ее головой ленивыми сизыми волнами.

— Вы что, мальчики? — низким голосом спросила она и сняла очки. За ними оказались усталые и, как показалось Лешке, ничего не видящие глаза.— Жаловаться? Из какого детдома?

— Ага, жаловаться. Только он не из детдома, а из дома. Заведующий его не берет,— быстро проговорил Митька.

— А ты?

— Я? Я с ним.

— Тогда помолчи,— еще более густым и низким голосом сказала женщина и надела очки.— На что ты жалуешься? — повернулась она к Лешке.

Лешка сказал, что отец погиб, мама умерла, а заведующий не принимает, потому что у него нет бумажки.

— Значит, ты не живешь в детдоме, а еще только хочешь, чтобы тебя направили в детдом? А где ты живешь, с кем?.. С дядей и тетей? Зачем же тебе в детдом? В детдом берут тех, у кого нет родных. А у тебя есть. Тебя кормят, одевают, ты учишься. Чего же тебе еще? Ты уже большой и должен понимать, что всех в детдом взять мы не можем. Если взять тебя, может быть, другой мальчик, у которого нет никаких родственников, останется без места. Понимаешь?

— А если у него дядька сволочь? — вмешался Митька.— Сволочь, и всё!

— Ругаться, мальчик, нельзя! — строго сказала женщина.— Тебя обижают твои родственники? — снова повернулась она к Лешке.

— Они уезжать хотят, а я не хочу с ними.

— Ну хорошо,— устало вздохнула она.— Скажи мне свой адрес, мы проверим.

— Обманет эта усатая! — сказал Митька, когда они вышли на улицу.

Усатая не обманула. Через несколько дней Лешка из окна увидел, как она, размахивая набитым портфелем и дымя папиросой, направляется к их дому. Лешка выбежал навстречу ей и успел шепнуть:

— Только про меня не говорите, тетенька, а то мне будет...

— Не бойся, мальчик, я человек опытный,— низким голосом сказала она и вошла в дом.

Сидя на кухне, Лешка слышал, как она расспрашивала

о Лешкиных родителях, как он живет, учится. Дядя Троша и тетя Лида сладкими голосами заверяли ее, что Лешка ни в чем не нуждается, они по-родственному воспитывают его и сделают из него человека. Когда она ушла, Лешка переждал, а потом нагнал ее на улице.

— А, это ты? — строго обернулась она, когда Лешка ее окликнул.— Вот видишь, как нехорошо вводить людей в заблуждение. Из-за тебя я потеряла целый час, который могла посвятить другому. Стыдись!.. Твои дядя и тетя — прекрасные люди, и многие дети могут позавидовать условиям, в которых ты находишься.

Она пошла дальше, а Лешка уныло вернулся домой. «Прекрасные люди» обсуждали ее посещение, и Лешка услышал голос дяди Троши:

— Придется этого байстрюка с собой везти. Я было думал в детдом его сдать, да теперь могут прицепиться: дом, имущество, наследство... Наследства кот наплакал, а мороки не оберешься. Ничего, пускай едет. Баклуши бить я ему не дам, приставлю к делу.

Взрослые всегда были заодно. Ребят они слушали вполуха, всегда поступали так, как хотелось им, а не ребятам, и ничего поделать с этим было нельзя.

Когда тренькающая люстра, дом и мебель были проданы и уже укладывались чемоданы, Лешка собрал и свое имущество: «Таинственный остров», стопочку учебников, старый папин пояс с медной бляхой, на которой выдавлен якорь, чернильницу-невыливайку и Митькин подарок — перочинный нож с разноцветной колодочкой из пластмассы. Нож Лешка спрятал в карман, «Таинственный остров» отложил для Митьки, а все остальное принес тете Лиде:

— Положите и это.

— Чего это там? — обернулся дядя Троша и подошел ближе. Он перешвырял книжки, взял и пояс, помял между пальцами и отбросил в угол.— Хлам, даже на набойки не годится.

— Это папин пояс!

— Ну и что? Кабы я после батьки все возил, мне бы вагон надо было, а я вот налегке, в чемоданы укладываюсь.

— Так это же память!

— Невелика память. Да... Немного после покойника осталось.

— Он не покойник, а погиб за Родину!

— Эге, погиб, за то ему слава... Только слава — не

сапоги и не деньги, ее не обуешь и хлеба на нее не купишь... Одни слова. Фук — и нет, вот тебе и вся слава. Да...

— Неправда! — закричал Лешка, схватил пояс и выбежал на улицу.

В словах дядьки была и правда — слава погибшего на войне отца не имела никаких очевидных следов, но это была мелкая и мерзкая дядькина правда. Лешка чувствовал, знал, что есть другая — настоящая, большая правда, но не умел облечь ее в слова и, размазывая по щекам злые слезы, сжимал кулаки и с ненавистью повторял:

— Ж-жаба! Ух, Жаба проклятая!

Митька вышел из своей калитки, увидел Лешку и подошел:

— Уезжаешь все-таки?

Лешка кивнул и, прерывисто вздохнув, протянул Митьке «Таинственный остров»:

— На́. На память.

— А учиться ты там будешь? — спросил Митька, запихивая книгу за пояс.

— Не знаю.

— А я бы... знаешь?.. Я бы убежал от такого дядьки. Убежал, и все!

— Да, убежишь — и пропадешь.

— Ха! Пропадали такие! У нас знаешь как государство о детях заботится.

Лешка кивнул — учительница много рассказывала об этом. Однако государство — это было что-то очень большое, далекое, здесь же были заведующий хозяйством в галифе, усатая тетка из гороно, а им до Лешки не было никакого дела. Нет, видно, надо ехать с дядькой.

— Ну, тогда будь здоров! — сказал Митька и протянул руку.

Лешка тоже протянул руку, и их напряженные, словно деревянные ладошки соприкоснулись. Они никогда не подавали друг другу руки́, и теперь оба немного смутились, будто они, как девчонки, поцеловались. Митька сунул руки в карманы и, поддавая ногой ледышки, ушел, а Лешка стоял и смотрел ему вслед, пока тетя Лида не позвала его.

...В вагоне тетя Лида и дядька сели возле столика, Лешке место досталось с краю. Он вышел в коридор. За окном проплыл вокзал, тяжело отгрохотал мост, растянувшийся над замерзшим, торосистым Доном. За клочьями дыма и пара, за взвихренной пылью отлетало назад, в лиловую дымку, все, что Лешка знал и что было ему дорого: дом, школа, ребята. Больше он никогда уже не увидит Митьку,

не пойдет с ним на Дон рыбалить, а Лешка так и не поймал еще за свою жизнь ни одного сазанчика, даже самого маленького... Покачиваясь и стуча колесами на стыках рельсов, вагон уносил Лешку в наступающие сумерки, в будущее, о котором было известно только то, что в нем будет дядя Троша, и, значит, ничего хорошего Лешку там не ожидало.

В купе дядя Троша с хрустом разламывал руками вареную курицу и раскладывал на газете — он и тетя Лида готовились закусывать. А Лешка все стоял у окна, прижавшись лбом и носом к стеклу и держась за отцовский пояс, надетый на голое тело под рубашку. За окном мелькали шеренги подстриженных кустов, щиты, так и не дождавшиеся снега. Потом в вагоне вспыхнул свет. Окно сразу стало черным, и в этой черноте исчезли кусты, щиты и первые робкие звезды.

2

Вопреки ожиданиям дяди Троши, в Краснодаре не зажились. Он устроился снабженцем в контору, ходил, заложив руки за спину, и удовлетворенно потирал большими пальцами указательные, но не успел Лешка поступить в школу, как дядю Трошу уволили. Он долго ругал начальника отдела кадров, вздумавшего запрашивать о нем Ростов, безуспешно пробовал устроиться в других местах и наконец решил уехать в Армавир.

— Ничего, мы еще себя покажем! Теперь на периферии лучше, — утешал себя дядя Троша. — Начальства там меньше, а дураков больше. На периферии теперь только и жизнь...

Должно быть, дураков в Армавире оказалось меньше, чем рассчитывал дядя Троша, так как вскоре пришлось уехать и оттуда.

В конце мая они оказались в Батуми.

Найти комнату в городе не удалось, и они обосновались в поселке Махинджаури. Небольшая комната была пустой, голоса звучали в ней гулко, словно в бочке. В единственное окно лезли ветки незнакомого Лешке дерева с темно-зелеными лакированными листьями, за стеной рокотало море. В школу Лешка не ходил — где уж было учиться при таких переездах! — и пока дядя Троша, как он говорил, «разнюхивал обстановку», Лешка болтался без дела.

Здесь ему не нравилось. Совсем близко, за окраинными домами, земля вставала дыбом и утыкалась в небо темными

от зелени, почти черными горами. Угрюмая чернота их все время была затянута серой клубящейся пеленой. Пелена то и дело рваными клочьями стекала вниз, из нее сеялась мелкая дождевая пыль. Эта пыль проникала всюду, все было влажным, и Лешке казалось, будто он выкупался в одежде, да так и не может высохнуть.

Сидеть дома не хотелось, смотреть на насупившиеся мрачными тучами горы было жутко, и Лешка уходил к морю. Оно лежало рядом — только пересечь железнодорожную колею,— необъятное, мерно дышащее зеленоватыми волнами.

Совсем не таким Лешка увидел его впервые. Сначала он только услышал. Ночью они выгрузились прямо на насыпь. Поезд ушел, они остались под дождем на мокром песке. Кругом не было ни души, ни огонька. В преувеличенной страхом и темнотой близости что-то невидимое, но грозное тяжело ворочалось и шумело.

— Что это? — спросил Лешка.

— Море,— ответил дядька.— Ты за чемоданами гляди, а не по сторонам...

Море шумело всю ночь. Утром Лешка, не умываясь, побежал смотреть. Дождь перестал, но в воздухе висела водяная пыль. Лешка облизал губы — они были соленые. Шумело впереди, за насыпью.

Лешка перебрался через насыпь, и дыхание у него перехватило.

Во всю ширь, раскинувшуюся по сторонам, от самого неба мчались белогривые черные лошади, тонули, всплывали наверх, встряхивали лохматыми гривами и неслись на берег. Ближе к берегу они становились мутно-желтыми, вдруг вздымались пенистой стеной воды и рушились. Взлетала пена, водяная пыль, но уже поднималась новая стена, с ревом глотала остатки предыдущей и тоже падала.

По берегу шел нарастающий железный гром, будто гигантский поезд снова и снова проносился по бесконечному мосту. Волны были неодинаковы: сначала шли помельче, потом крупнее, наконец вырастал великан и тяжко распластывал по берегу пенную гриву.

Не отрывая глаз, не чувствуя водяной пыли, Лешка следил за бегом валов. Угадывая приближение самого большого, он помахивал сжатыми кулаками, словно подгоняя, и приговаривал:

— Давай! Давай!..

Море «давало». С железным громом рушились валы, бросая в небо фонтаны брызг и пены...

В тихую погоду оно было совсем не страшным. Прозрачные у берега, мелкие волны плескались вкрадчиво и нежно. Дальше они становились радостно-зелеными, как кленовый лист, если через него смотреть на солнце. И только совсем далеко отливала чернью синева глубин, где таились белогривые великаны.

В ясный день влево по берегу виднелась россыпь белых кубиков — дома́ Батуми. Их часто затягивало дождевой пеленой; тогда из мглы доносился протяжный и жалобный голос:

«О-у-у... О-у-у...»

Услышав его впервые, Лешка подбежал к путевому обходчику, который, глядя себе под ноги, шагал по шпалам.

— Дяденька, кто это кричит?

— Где кричит?.. А-а, это?.. Это маяк. Пароходам голос подает. Видишь, туман какой...

Обходчик опять опустил голову и зашагал дальше, а Лешка пошел к самому берегу. Небольшие волны лениво набегали на него, скатывались обратно, утаскивая за собой мелкую гальку. Белая пена, шипя, таяла и тут же вскипала на новой волне. Лешка долго слушал ровный плеск и шорох наката, тревожный голос маяка, думал о пароходах, плывущих по морю, моряках, которые слышат эти предостерегающие вопли, о мотористе Иване Горбачеве, который уже никогда не услышит их, потому что моторист Иван Горбачев был Лешкин папа и погиб во время высадки десанта под Мариуполем, когда Лешка был еще совсем маленьким...

Лешка часто приходил сюда смотреть на море и слушать голос маяка. Здесь он заново переживал свои обиды и думал о том, что́ было бы, если бы папа и мама были живы. Тогда Лешка, наверно, тоже стал бы моряком, как папа, только он плавал бы не на катере, а на высоком белом теплоходе и слушал, как зовут мореплавателей маяки. По временам ему казалось, что это звучит не маяк, а само море окликает его, Лешку, зовет к себе. Ему становилось радостно и немного жутко.

Здесь Лешке никто не мешал. Дядя Троша и дышащая, как выброшенная на берег рыба, тетя Лида сидели дома: море вызывало у них скуку или страх. Местные мальчишки держались в стороне, своей компанией, а Лешка не искал сближения с ними.

Это был уже не тот Лешка, что сквозь слезы, до боли выворачивая шею, старался как можно дольше удержать в поле зрения тающий за поездом Ростов. Мир обернулся к нему не самой светлой своей стороной, и Лешка смотрел

на него не как прежде — широко открытыми, ясными серыми глазами, — а бычком, исподлобья, и ожидал от него одних неприятностей. Все близкое Лешке осталось в Ростове, а постоянно с ним были только дядя Троша и тетя Лида. Лешка донашивал то, что сшила ему мама, но он вырос из всех одёжек, мальчишки над ним смеялись, а тетя Лида была занята только собой. Дядя Троша не жалел тычков и затрещин, но это было еще ничего. Хуже всего было то, что он непрерывно говорил, учил Лешку жить. Широко открывая тонкогубый рот, он хвастался своей ловкостью, умением жить, видеть людей насквозь. В других он видел только то, на что способен был сам, поэтому всех считал жуликами и разницу между людьми сводил к тому, что есть жулики бо́льшие и более ловкие, ме́ньшие и менее ловкие.

Поделать с дядей Трошей Лешка ничего не мог, но стоило мальчишкам задеть его, он, не задумываясь над тем, сколько их и какие они, бросался в драку. Случалось, его жестоко колотили, но он не отступал и не плакал.

Мир взрослых широк, жизненный опыт их велик — они знают, что в жизни есть дурное и хорошее, горестное и радостное. Жизненный опыт Лешки был ничтожен, а мир его ограничен гулкой, сырой комнатой, тетей Лидой, пьяными в закусочных, в которых служил дядя Троша, а главное — самим дядей Трошей, ненавистной Жабой, которая заслонила все окружающее своей жадно хлопающей пастью.

Даже здесь, у моря, слушая плеск волн, шорох гальки, призывный голос маяка, Лешка оставался таким же насупленным и настороженным. Он не визжал и не кричал, барахтаясь в волнах, не бегал и не играл. Только иногда, в туман, если поблизости никого не было, он тихонько отвечал на голос маяка:

— О-у-у...

Издавать эти короткие, похожие на вой звуки было единственной игрой Лешки.

Дядя Троша все искал место и каждый раз приходил злой, ожесточенный.

— Тоже мне честные! — шипел он, рассказывая тете Лиде о неудачах. — Мало даю, вот они и честные. Небось кабы дал больше, вся бы их честность в дырявые карманы провалилась!..

Наконец он пришел довольный и, потирая руки, сказал тете Лиде:

— Клюнул один, сегодня придет. Ты приготовь к вечеру закусочку, чтобы все было чин чинарем. От водки человек мягчает — может, и сбавит...

«Клюнувший» оказался удивительно похожим на дядю Трошу: такой же плотный, невысокий и тоже в полувоенном костюме, только у дяди он был защитного, зеленоватого цвета, а у этого — светло-серый. В отличие от дяди, у гостя под белой фуражкой была не лысина, а густые черные волосы, на верхней губе торчала щеточка усов и глаза были не голубые, а большие, черные и такие блестящие, будто их смазали маслом. Пить водку он отказался, и Лешке пришлось сбегать в станционный буфет за тремя бутылками кахетинского. Дядя Троша огорчился — вина он не пил, считая жидкостью бесполезной, однако виду не подал и, сладко улыбаясь, налил гостю вина, себе — водки.

— За приятное знакомство!

Лешка лег спать в углу на пол, укрылся с головой, но ему не спалось.

Гость и дядя Троша долго говорили о трудностях жизни, о карточках — как было при них и как стало после, что жить, конечно, и теперь нелегко, но, если человек с головой, он не пропадет. Должно быть, дядя Троша усердно подливал, потому что говорить стал медленнее, старательно выговаривая слова, а тетя Лида вдруг ни с того ни с сего пронзительно запела: «Як була я молоденька...»

— Цыть! — хлопнул ладонью по столу дядя Троша.

Гость, у которого голос нисколько не переменился, сказал, что тетя Лида не только была, но и сейчас еще хоть куда, и прибавил что-такое, от чего тетя Лида растерянно хихикнула, а мужчины долго хохотали.

Потом заговорили о деле. Гость рассказывал, какой замечательный магазин получит дядя Троша и как он будет кататься, словно сыр в масле, если сумеет поддерживать дружбу с нужными людьми. Чуть ли не после каждой фразы, как бы ожидая подтверждения, он издавал вопросительный звук, произнося нечто среднее между «а» и «э». Дядя Троша всячески хулил буфет, который ему предлагали (хотя Лешка знал, что он только о нем и мечтает), доказывал, что с таким буфетом лучше сразу заказать гроб по дешевке, потому как на нем не заработаешь, а доложишь свое.

— Э? — сказал гость. — В музее бывал? Каменную девушку видел? Афродита называется. Я тоже не видел. Сын в книжке читал — меня спрашивал... Каменная девушка из воды, из морской пены вылезла... Э?

— Ну, тут, из этого клятого моря, кроме дохлой барабульки, ничего не вылезет, — сказал дядя Троша.

— Зачем из моря? Ты из пивной пены не девушку — «Победу» вытащишь. Э? — ответил гость и засмеялся.

— Как же!.. Сейчас народ знаешь какой пошел? На копейку купит, а сдачи рупь требует... Да. Ну, значит, мы так и договариваемся: приступлю, огляжусь, месяц-другой поработаю, тогда, значит, всю сумму сполна. Уговор дороже денег!

— Нет, понимаешь, деньги дороже уговора! — жестко сказал гость. — Деньги вперед. Мне кушать надо, начальнику торга кушать надо? Э? Мы что, воровать пойдем? Воровать мы не пойдем...

Наступила длительная пауза — должно быть, дядя Троша отсчитывал деньги, а гость следил за счетом.

— Теперь другой разговор, — сказал наконец гость. — Приходи завтра, оформлять будем. За ваши успехи!

— Ишь кабан гладкий! — сказал дядя Троша, когда гость ушел, и передразнил: — «Ты — нам, мы — тебе»... А сам облупил, как яичко... Ну ладно! Буфетик этот я повыжму...

Буфет оказался фанерным киоском, выкрашенным в ядовито-зеленый цвет. В нем с трудом помещались прилавок, два стола и четыре колченогих стула с продавленными сиденьями. Дядя Троша стоял за прилавком и торговал кислым вином, водкой, окаменевшими мятными пряниками, которые никто не покупал, и пивом. Самым главным было пиво. Должно быть, вечерний гость в белой фуражке не зря обещал поддержку, потому что в станционном буфете пиво бывало изредка, в буфете же дяди Троши оно не переводилось.

Горы непрерывно стряхивали на Махинджаури свою облачно-дождевую пелену, но в нем было тепло и душно. Парная духота приближающегося субтропического лета вызывала неутолимую жажду, и в буфете почти все время толпились посетители, пытаясь залить ее пивом.

У дяди Троши завелись знакомые, постоянные посетители; он балагурил с ними, стучал пятаками, подставлял кружки под тугую вспененную струю, как можно дальше отодвигая их от крана, и, когда над кружками вздымались шипящие шапки пены, с громом ставил их на прилавок.

Лешка должен был помогать. Он собирал и мыл в ведре пустые кружки, следил за керосинкой, на которой стояла кастрюля с сосисками, поливал из чайника пол и подметал его. К прилавку, где лежали деньги, дядя Троша его не

подпускал, и каждый вечер, уходя домой, Лешка должен был выворачивать карманы — дядя Троша проверял, нет ли там монеток.

Лешке было не до монеток. К вечеру он едва передвигал ноги, в голове от спиртного запаха мутилось. Теперь ему не только некогда было сбегать к морю, но даже не удавалось посидеть. Как только он садился, дядя Троша поворачивался к нему:

— Чего расселся? А ну, давай...— и придумывал ему какую-нибудь работу.

Если бы даже он и не уставал, если бы дядя Троша не следил за ним, Лешка не взял бы ни копейки. Это значило бы стать таким же жуликом, каким был дядька.

Жулил дядя Троша непрерывно. Он обвешивал, недоливал, потихоньку сливал пивные опивки и пускал их в продажу, а требование сдачи принимал как оскорбление. Мелочи у него никогда не было — на самом деле она была, но хранилась в нижнем ящике, а на прилавке в пивной луже валялись двух- и трехкопеечные монеты. Когда посетители просили сдачу, дядя Троша с обиженным лицом бесконечно долго отковыривал прилипшие к мокрому прилавку монеты, считал, пересчитывал и, если покупателю не надоедало ждать и он не уходил, сердито совал ему медяки. Хотя бы несколько копеек он все-таки недодавал.

Лешка замечал все. Ненависть к дядьке, ко всему, что он говорил и делал, искала выхода. Лешка строил планы ужасной мести, но такие сложные и фантастические, что нечего было и думать об их выполнении. Вскоре он придумал, как мстить незаметно и способом для дядьки самым страшным.

Видя, что Лешка не крадет монет, не грызет потихоньку каменных пряников и не потягивает пива, дядя Троша начал приучать его к «делу». Когда посетителей было мало, а дяде Троше нужно было отлучиться, он оставлял вместо себя Лешку.

— Только гляди — я помню, где и самый завалящий кусок лежит,— предупредил он Лешку.

Лешка ничего не трогал. Но он наливал пиво сверх отметки, взвешивал все точно и отдавал сдачу до копейки. И каждый раз он злорадно говорил про себя:

«Что, съел, Жаба? Ага!»

Эта сладостная месть длилась довольно долго, пока Лешка не попался. Однажды около полудня, когда бывали лишь одиночные посетители и дядя Троша куда-то ушел, в буфет зашел старик горец с обвязанной башлыком голо-

вой. Он выпил стакан вина, расплатился и вышел, не взяв сдачу. Лешка схватил сорок копеек и выбежал вслед за ним.

— Дяденька, вы сдачу забыли! — крикнул он.

— Спасибо, бичо, — ласково сказал старик.

Лешка повернулся, чтобы идти в буфет. Рядом стоял дядя Троша.

— А ну, пойдем, — зловеще сказал он, сжав Лешкино ухо в комок. — Ты что же это? — сказал он, закрывая дверь буфета. — Ты что это, собачий сын, Исуса Христа из себя строишь?

Он размахнулся и наотмашь ударил Лешку по лицу. Лешка отлетел в сторону, ударился головой об стенку и упал. Из носа потекла кровь, его затрясло, как в лихорадке. Дядя Троша поднял его и опять ударил.

— Пшел отсюда! Погоди, байстрюк, я дома вышибу из тебя и Христа и всех святых угодников!..

Лешка распахнул дверь и выбежал. Боли он не чувствовал — его трясла жгучая, непереносимая ненависть. Он схватил камень и швырнул в дверь. Уже убегая, Лешка услышал звон стекла и крик. Камень попал не в дядьку, а в бутылки с водкой. Тем лучше! Дядьке это больнее синяков.

Дядя Троша выскочил на крыльцо. В конце улицы убегал к морю Лешка. Дядька ринулся за замком, кое-как закрыл буфет и побежал вслед за Лешкой. Лешка это видел. Он бежал, так как нужно было куда-то бежать, а единственной дорогой, которую он знал, была дорога к морю. Лешка перескочил через железнодорожную колею и оглянулся. Дядька пробежал уже полдороги. В это время, пронзительно свистя, из-за поворота показался паровоз, и товарный поезд скрыл Лешку. Все равно сейчас поезд пройдет и, куда бы Лешка ни побежал, дядька его нагонит. Хоть в море бросайся или под поезд.

Поезд шел медленно. Мимо проплывала подножка тормозной площадки. Лешка побежал за ней, уцепился за поручень, подпрыгнул и вскарабкался на площадку. Выйдя из закругления, поезд ускорил ход. В отдалении яростно грозил кулаком дядя Троша.

Возврата домой не было. Лишь теперь Лешка понял, что́ он натворил и что́ с ним сделает дядя Троша, как только он появится. Оставалось одно — не попадаться дяде Троше на глаза, бежать от ненавистной Жабы как можно дальше. Так Лешка задним числом, после того как сделал это, решил бежать, и в этом смысле он ничем не отличался от мно-

гих взрослых, которые зачастую поступают так же — придумывают объяснение своим поступкам после того, как они совершены.

3

Поезд остановился между длинными вереницами цистерн. Лешка посидел на тормозной площадке, подождал, потом спрыгнул на землю. Разбитый нос распух, лицо стянуло коркой засохшей крови, кровью была перепачкана рубашка. Между путями стояла красная железная бочка с позеленевшей водой. Отогнав зелень в сторону, Лешка умылся, кое-как замыл пятна на рубашке и пошел вдоль состава. Время от времени цистерны перестукивались буферами и начинали двигаться то вперед, то назад. Лешка вздрагивал и шарахался в сторону. Узкий коридор между составами был бесконечен. Лешка собрался с духом, под вагоном перебежал на другую сторону и попал в такой же коридор. Сколько он ни заглядывал вниз, всюду были рельсы, колеса, цистерны.

Наконец коридор кончился, но здесь стало еще хуже. На огромном пустом пространстве во все стороны разбегались рельсы. Они пересекали друг друга, сплетались на стрелках, расходились снова, и Лешке казалось, что все они, как сверкающие змеи, ползут к нему. Визгливо крича, по ним двигались паровозы, катились цистерны, и все они ехали прямо на Лешку. Он втянул голову в плечи и бросился бежать к бровке полотна, вдоль которой вилась утоптанная тропка.

Бровка привела к станционной платформе. Лешка послонялся по платформе, надеясь дождаться какого-нибудь поезда, но его прогнали в здание вокзала. Зал ожидания был набит людьми. Они сидели на скамейках, зажав ногами чемоданы, или прямо на чемоданах. Маленькие дети, разметавшись, спали на руках матерей, дети постарше бродили между скамейками, шлепались на выложенный плитками пол и ревели, пока матери не подбирали их. Кое-кто пробовал уснуть сидя, но по залу ходила строгая черноволосая тетка в железнодорожной форме и трясла таких за плечо:

— Гражданин, спать нельзя!

У двери стояла другая железнодорожница, с красной повязкой на рукаве, и говорила входящим:

— Ваш билет! Ваш билет!

У мальчишек, которые пробовали в одиночку пробраться в зал, она ничего не спрашивала, поворачивала их спиной к двери и молча выпихивала на улицу.

Стараясь не попадаться железнодорожницам на глаза, Лешка пробрался в угол и сел на пол, за скамейку. Дядька, наверно, заявил в милицию о том, что Лешка разбил бутылки с водкой, и кто знает, что он еще наговорил. Может быть, милиция уже разыскивает Лешку, чтобы арестовать. Поэтому еще с большей опаской, чем за железнодорожницами, он следил за милиционером с черными подстриженными усиками. Милиционер был молодой, у него были очень красивые белые зубы, он это знал и каждый раз, когда к нему обращались, широко улыбался. Лешку он не замечал.

Из ящика, висевшего у самого потолка, время от времени раздавался скучный голос, объявлявший прибытие поезда, посадку. Ожидающие вскакивали, хватали свои чемоданы и сбивались в толпу у выхода на перрон. Белозубый милиционер, крича как на пожаре, кое-как вытягивал эту толпу в извилистую очередь. В промежутках голос из ящика монотонно перечислял, что запрещается делать и какие штрафы полагаются за нарушение.

Поезда приходили и уходили, а Лешка сидел, забившись в угол. На перрон выпускали по билетам, в поезд тоже пускали по билетам, денег же у Лешки не было. С утра он ничего не ел, под ложечкой давно уже сосало и ныло.

На освободившуюся скамейку напротив Лешки села женщина с маленькой девочкой. Девочка, болтая ногами, оглядывалась по сторонам и ела бутерброд с колбасой. Есть ей не хотелось, и она разнообразила это занятие как могла: лениво откусывала, языком переталкивала кусок за щеку, отчего щека вздувалась пухлым волдырем, надавливала на него ладошкой и, широко открывая рот, начинала жевать.

Увидев Лешку, она перестала жевать, уставилась на него, так и забыв закрыть рот. Лешка не сводил глаз с бутерброда, судорожно сглатывая слюну. Мать проследила за взглядом девочки, секунду поколебалась, потом опустила руку в корзинку, пошарила там и протянула Лешке такой же бутерброд:

— Есть хочешь, мальчик? Возьми.

Лешка жадно проглотил бутерброд и только тогда вспомнил, что нужно сказать «спасибо».

— Куда едешь?

— Домой. В Ростов.

— В Ростов? Один? А кто у тебя в Ростове?

Лешка подумал и сказал:

— Митька.

— Это кто, брат?

— Не, дружок.

— А отец, мать твои где?

— Отец на войне убитый, а мама померла.

— Господи, и что этот Гитлер проклятый наделал! — скорбно сказала женщина и прижала к себе девочку.— Как же ты поедешь? Денег-то ведь у тебя нет, поди?

Лешка не ответил.

— Без билета не доедешь. И сядешь — на первой станции ссадят.

— Мне бы только к поезду. А туда без билета не пускают.

Женщина долго молчала, жалостливо глядя на Лешку, потом сказала:

— Не могу я взять тебя, нет у меня таких денег. К поезду выведу, вроде ты со мной, а дальше сам старайся.

Когда голос из ящика объявил посадку на поезд Батуми — Москва, женщина, крепко сжав руку девочки, другой подняла чемодан и корзинку.

— Берись, вроде помогаешь,— сказала она.

Лешка ухватился за ручку чемодана. В дверях его затолкали, стукнули деревянным баулом, но он цепко держался за ручку и вслед за женщиной протиснулся на перрон. Возле четвертого вагона Лешку оттерли в сторону. Женщина с девочкой поднялась в вагон, а когда Лешка попытался проскользнуть вслед за ней, проводница схватила его за плечо:

— Ты куда? С кем едешь?

— С тетей... Там тетенька такая с девочкой.

— Почему с ней не шел? Проверим. Отойди в сторону.

Возле вагонов толпились пассажиры. Всюду в дверях стояли проводники или проводницы; обмануть их или разжалобить Лешка не надеялся.

Он обошел состав от багажного до хвостового вагона. Ребята рассказывали, что раньше беспризорники ездили в угольных ящиках под вагонами. Здесь ящиков не было совсем или они были заперты.

Легонько подтолкнув вагоны, паровоз прицепился к составу. Все пассажиры уже сели, на платформе остались только немногочисленные провожающие да проводники. Голос из репродуктора объявил отправление через пять минут. Лешка оглянулся по сторонам и бросился под вагон.

На той стороне не было ни души, двери вагонов заперты. Лешка вспрыгнул на подножку и, обхватив обеими руками поручень, сел на верхнюю ступеньку. Он боялся, что через застекленную верхнюю половинку двери его увидит проводник, и, задрав голову, с опаской поглядывал вверх, на стекло.

— Далеко едем? — спросил звонкий голос, и большая теплая рука крепко сжала Лешкино запястье.

Перед ним стоял тот самый милиционер и в широчайшей улыбке показывал свои отвратительно красивые зубы. Лешка попробовал вырвать руку. Милиционер перестал улыбаться, отцепил Лешкины пальцы от поручня и снял его с площадки. Паровоз загудел, поезд тронулся. Лешка опять попробовал вырваться — и опять безуспешно.

— Мальчик, — сказал милиционер, — лучше не будем бегать: ты устанешь, мы устанем. Все равно от нас не убежишь. Пойдем со мной.

Он привел Лешку в комнату милиции в здании вокзала, сел за стол, Лешке показал на стул:

— Садись, разговаривать будем. Куда ехать хотел? Отец, мать есть?

Лешка не ответил.

— Местный? Где живешь?

Лешка молчал.

— Вот видишь, как нехорошо получается: я с тобой вежливо разговариваю, а ты не отвечаешь. Почему не отвечаешь? Бояться не надо. Все проверим, все узнаем, все правильно будет.

Лешка исподлобья посмотрел на него и опять ничего не ответил. Милиционер снял телефонную трубку, послушал, подул в нее, постучал по рычажку:

— Девушка, почему долго не отвечаешь? Давай, пожалуйста, детприемник... Детприемник? Говорит дежурный милиционер вокзала. Еще пассажира снял. Запуганный какой-то, молчит, ничего не отвечает. Справки потом наведем. Посылай за ним, пожалуйста...

Милиционер повесил трубку, повернулся к Лешке и улыбнулся, собираясь что-то сказать, но в это время дверь распахнулась, и в комнату вбежала пожилая грузинка, ведя за руку другую, помоложе. Она подошла вплотную к столу, громко и сердито заговорила по-грузински, потом громче ее заговорила вторая, и, наконец, сам милиционер почти закричал, перебивая их обеих. Лешка посмотрел на дверь — она была полуоткрыта. Женщины заслонили его от милиционера. Лешка юркнул в дверь, пробежал через

зал ожидания, шмыгнул мимо стоявшей у входной двери железнодорожницы с красной повязкой, пересек небольшую площадь, свернул в первую улицу, потом опять свернул. За ним никто не гнался. Лешка присел на крыльцо, отдышался, встал и пошел.

Он шел по одной улице, сворачивал в другую, шел по ней и сворачивал в третью. Все они были одинаково незнакомы ему и потому казались похожими друг на друга. Чем дальше он шел от центра города, тем улицы становились глуше и пустыннее, тем гуще росла прямо из мостовой ярко-зеленая молодая трава. Засунув руки в карманы, ссутулившись, Лешка брел, еле передвигая ноги, и время от времени останавливался: из открытых окон пахло жареным или вареным. От этих запахов Лешкин рот наполняла тягучая слюна. Он сплевывал ее и шел дальше.

Приближался вечер, улицы пустели, и Лешка повернул обратно. В центре тоже стало меньше народа. Есть Лешке хотелось все сильнее, от голода разболелась голова, и он наконец решился — протянул руку и тихонько сказал прохожему:

— Дайте, дяденька, на кусочек хлеба...

Дяденька притворился, будто не слышит, и прошел мимо. Лешка пробовал еще и еще раз. Никто не подавал. Лешка нагнал энергично шагавшего мужчину в военном кителе без погон, который нес в руках туго набитую полевую сумку.

— Дяденька, дай мне на покушать! Я есть хочу...

Дяденька оглянулся и оказался молодым парнем с пышной шапкой волос на голове. Он остановился, внимательно оглядел Лешку, полез в карман и достал новенький, хрустящий рубль:

— Держи. Ну-ну, бери, не бойся. Что, родных нет?.. Отец погиб на войне? Понятно. Давно беспризорничаешь? Судя по твоему виду, недавно. Нравится?

— Нет, — тихонько сказал Лешка.

— Ну, правильно! Ничего хорошего в этом нету. Хочешь жить по-настоящему, человеком стать? Я дам тебе сейчас записку. Иди по этой улице два квартала обратно, сверни налево, там на правой стороне увидишь вывеску: «Горком ЛКСМ». Читать умеешь?.. Пять классов кончил? Так ты почти профессор!.. Спросишь там Верико Мосашвили. Красивая такая девушка с длинными косами... Запомнил? Отдашь ей записку, и она тебя устроит. Я бы и сам

тебя отвел, да некогда — опаздываю на заседание.— Он достал из сумки блокнот, начал стоя писать записку и продолжал разговаривать с Лешкой: — Документов у тебя, конечно, никаких? Ничего, найдем, проверим...

Не произнеси он этих слов, Лешка пошел бы разыскивать горком и красивую девушку с косами, которую звали Верико, но, услышав их, Лешка попятился, повернулся и бросился бежать.

— Куда ты? Подожди! — удивленно кричал ему парень, держа в руках записку.

Лешка, не оглядываясь, улепетывал. Парень взглянул на часы, огорченно махнул рукой и пошел своей дорогой.

Стемнело. С гор потянул холодок, заморосил мелкий дождь. За рубль Лешка купил пирожок с ливером. Пирожок был корявый и маленький, после него есть захотелось еще больше.

Под дождем улицы опустели совершенно. Окна закрывались, задергивались занавесками, за ними вспыхивал свет. Там было сухо и тепло. За занавесками жили незнакомые люди, у них была своя, чужая Лешке жизнь.

Впереди за полквартала светились два окна и стеклянная дверь буфета. Там могли оказаться пьяные. Пьяных Лешка не боялся: они были добрее трезвых, а в случае чего от них нетрудно убежать. Лешка поднялся на крыльцо и приоткрыл дверь. В помещении было пусто, только за стойкой сидел мужчина в кепке и щелкал на счетах.

— Буфет закрыт! — поднял он голову на скрип двери.

Лешка попятился. Буфетчик запер дверь изнутри и закрыл окна ставнями.

Лешка сел на мокрое крыльцо. Все так и случилось, как он говорил Митьке: он убежал, теперь оставалось только пропадать. Вот так, наверно, и начинают пропадать. Пропадать Лешке не хотелось. Ему стало нестерпимо жалко себя. Он уткнулся головой в колени и заскулил.

— Ты чего ревешь, герой?

Лешка испуганно вскинулся. Перед ним стояли двое в черных блестящих плащах. Дождь громко лопотал и стекал по плащам бисерными струйками. Лешка не ответил. Один из них полез в карман — в глаза Лешке ударил свет электрического фонарика.

— Кто тебя?

Никто. Есть хочу.

— Есть? Это дело поправимое.

Мужчина поменьше ростом поднялся по ступенькам и постучал в дверь.

— Закрыто, граждане,— донеслось оттуда.

— Вот те клюква! — раздосадованно сказал стучавший.— У тебя, Алексей Ерофеич, ничего нет в карманах? Да нет, конечно! Что ж будем делать, а? Денег ему дать? Все равно поздно, закрыто все...

— Где ты живешь, мальчик?

— Нигде.

— Родные у тебя есть?

— Нету.

— Д-да! — протянул Алексей Ерофеевич.

Они постояли молча, потом Алексей Ерофеевич положил руку Лешке на плечо:

— Пойдем к нам. Накормим.

— Куда? — опасливо съежился Лешка.

— На теплоход.

— Нет, правда? — вскочил Лешка.— А вы не вре... не обманываете?

Мужчины засмеялись:

— Не бойся, мы не врем.

Лешка вскочил и торопливо, вподбежку, зашлепал по лужам.

Вахтер в проходной покосился на Лешку, однако ничего не сказал. Они прошли мимо зданий, вагонов, наваленных горами тюков, бочек, ящиков и оказались на каменной стенке пирса. Возле пирса высилась белая громада теплохода. По трапу они поднялись на палубу.

— Вызовите буфетчицу,— сказал Алексей Ерофеевич человеку, стоявшему на палубе возле трапа.

Спотыкаясь о высокие железные пороги в узких дверях, цепляясь за поручни крутых трапов, Лешка ковылял следом за Алексеем Ерофеевичем.

В большой, светлой каюте Лешку оставили. Через всю каюту буквой «г» тянулся стол, покрытый белой скатертью. Перед столом стояли кресла в белых чехлах, на полу лежал ковер. Все вокруг было такое чистое, что Лешка стоял у дверей и не решался двигаться дальше. С башмаков и штанов его натекла маленькая поблескивающая лужица. Лешка смотрел на нее с ужасом.

— Что ж ты стоишь? — раздался за спиной голос Алексея Ерофеевича, и Лешку подтолкнули к столу.— Садись.

Лешка осторожно сел на краешек кресла. Алексей Ерофеевич сел напротив. Без плаща и фуражки он выглядел моложе, чем показалось Лешке на улице, только теперь стало видно, что он худой и от этого кажется еще более

высоким. Глаза у него были глубоко запрятаны в подбровье, рот широкий и твердый. На рукаве синего кителя сияли золотые нашивки.

— Что ты на меня уставился? — скупо улыбнулся Алексей Ерофеевич.

Лешка открыл было рот, но в это время вошла молодая заспанная женщина в мелких русых кудряшках. На Лешку пахнула густая волна сладковатого запаха.

— Даша,— сказал Алексей Ерофеевич,— соорудите поскорее ужин.

— Да ведь холодное все, Алексей Ерофеевич,— сдерживая зевок, сказала Даша.— Кок спит давно.

— Ничего, давайте холодное. Только чаю горячего. Я тоже выпью... И потом — чем это вы душитесь? Запах прямо в сто лашадиных сил...

— «Сирень» называется,— польщенно ухмыльнулась Даша и вышла.

Она принесла хлеб, холодные котлеты и кашу.

— Действуй,— коротко сказал Алексей Ерофеевич, придвигая все это к Лешке.

Лешка торопливо глотал, почти не жуя. Алексей Ерофеевич задумчиво помешивал ложечкой чай и поглядывал на Лешку.

— Сыт? — спросил он, когда Лешка, с трудом переведя дыхание, отодвинул тарелку.— Пей теперь чай.

Чай был горячий и очень сладкий. Такой Лешка пил только у мамы. Он жмурился от наслаждения и сейчас же открывал глаза, боясь, что и чай и светлая, сверкающая чистотой каюта вдруг исчезнут.

— Ты что, спать хочешь?

Лешка отрицательно помотал головой.

В каюту вошел моряк, который вместе с Алексеем Ерофеевичем привел Лешку. У моряка было круглое розовое лицо с ямочкой на подбородке, серые навыкате глаза.

— Давай познакомимся,— сказал Алексей Ерофеевич.— Как тебя зовут?.. Лешка? Тезка, значит? Очень хорошо.— Он показал на своего товарища.— Анатолий Дмитриевич, второй помощник капитана.

— А вы капитан? — спросил Лешка.

— Нет,— усмехнулся тот,— я старший помощник. Теперь рассказывай, как ты дошел до жизни такой.

Лешка сказал, что папа погиб на фронте, мама умерла. Вот он и остался один.

— А тут у тебя что? — спросил второй помощник и потянул за рубашку, прилипшую к пряжке пояса. Ру-

башка поднялась, и на медной бляхе сверкнул якорь.— Спер, что ли?

— И вовсе не спер! — сердито сказал Лешка и затолкал рубашку обратно.— Это папин.

— Морячок, значит, был твой папа? — спросил Анатолий Дмитриевич и переглянулся со старшим помощником.— А возле буфета почему сидел? Как туда попал?

Лешка рассказал, как он хотел уехать в Ростов, как его ссадил милиционер и как он убежал от милиционера, а потом от парня с полевой сумкой.

— От нас тоже убежишь?

Лешка опустил голову и шепотом ответил:

— Нет.

— Бегал ты зря,— сказал старший помощник.— Они бы тебе плохого не сделали.

Лешка промолчал. Он-то знал, что бегал совсем не зря.

— Что будем делать, старпом? — спросил Анатолий Дмитриевич.

— Сейчас спать. А завтра до отхода отправим в управление порта. В комитет комсомола или порткоммор. Они его устроят.

— Эх, жаль!..— воскликнул второй помощник. (Алексей Ерофеевич выжидательно посмотрел на него.) — Жаль, что нам через рейс в загранплавание идти. А то плавал бы с нами, и дело с концом. Вроде юнги. Каким бы моряком стал! А?

— Не говорите пустяков, Анатолий! Юнги не положены. И капитан, конечно, не разрешит. Парню нужно учиться, а не болтаться по морю. Успеет попасть на море, если захочет... Даша,— сказал Алексей Ерофеевич буфетчице, вошедшей прибрать посуду,— откройте каюту доктора, отведите туда мальчика и дайте ему постель.

Вслед за Дашей Лешка спустился на палубу, прошел на корму и оказался в маленькой каюте.

— Ты что, родственник или знакомый старшему? — зевнув, спросила Даша и начала стелить постель.

— Нет.

— Так чего он с тобой возится, спать не дает?.. Ложись. Если чего надо — по коридору направо. В каюте ничего не трогай, не безобразь.

— А капитан у вас сердитый? — спросил Лешка.

— Да уж как всякий капитан,— неопределенно ответила Даша и вышла.

Лешка сел на койку. В стене справа было круглое окно в медной оправе. За толстым стеклом ничего не было видно.

Под окном стояли стол и стул, возле левой стены — узкий шкаф и умывальник. Хорошо бы никуда утром не уходить, а остаться здесь навсегда! Но раз старший решил, все его послушают, а Лешку не будут и спрашивать. Он вздохнул и лег на койку.

Сна не было ни в одном глазу. Слишком многое обрушилось на Лешку сразу. Не прошло и суток, как дядька побил его и он убежал, а у него было такое ощущение, будто случилось это давным-давно — столько произошло с тех пор событий и столько он пережил. Завтра его уведут в какой-то порткоммор и неизвестно, что с ним сделают. Опять что-то произойдет и переменится, опять он будет переживать, а Лешка не хотел никаких перемен и устал переживать.

Он встал и тихонько открыл дверь. Коридор сверкал эмалевой краской. По обе стороны были двери — должно быть, каютные. Коридор упирался в узкую железную дверь. Лешка нажал ручку — дверь подалась, в щель брызнуло дождем. На палубу сквозь желтоватую в свете фонаря мглу сеялся дождь.

То появляясь на свету, то прячась в темноте, вдоль борта ходил вахтенный матрос в дождевике. Лешка подошел к трапу, ведущему на каменную стенку пирса. Вахтенный оглянулся на Лешку и пошел к носу.

Алексея Ерофеевича Смирнова никак нельзя было назвать излишне чувствительным. Друзья считали его суховатым, сослуживцы — сухарем, а буфетчица Даша — просто бесчувственным. Он всегда был ровным и одинаковым, никогда не повышал голоса.

В детстве он не был таким, но детство было давно, а хотел помнить и помнил себя Алексей Ерофеевич именно таким. Это произошло благодаря отцу. Отец был штурманом дальнего плавания, появлялся дома редко и ненадолго. Маленький Алеша старался быть похожим на него во всем. Отец не раз говорил сыну:

«У всех людей достаточно и радостей и горестей. Не следует навязывать им свои. Смотреть на человека в расстегнутой одежде противно, моральная расстегнутость еще противнее. Уважай себя и других, застегивай пуговицы. О чувствах болтают бездельники — деловые люди обмениваются мыслями. Если, конечно, они есть», — добавлял он.

Маленький Алеша старательно застегивался. Из подражания выросла привычка, привычка стала чертой характера. Он не только внешне стал похож на отца, перенял его

профессию,— он стал таким же спокойным и невозмутимым во всех случаях жизни, каким остался в его памяти отец.

Только однажды он потерял самообладание. Это случилось в самый трудный период блокады. Тяжело раненный Алексей Ерофеевич долго лежал в госпитале, потом его в числе других раненых, на излечение которых нельзя было рассчитывать в голодном, заледеневшем Ленинграде, отправили на Большую землю по только что проложенной трассе через Ладогу. Перед погрузкой на машины им пришлось ждать в длинном полутемном бараке, похожем на пакгауз.

Раненых доставили уже всех, потом начали вносить, как показалось Алексею Ерофеевичу, пустые носилки. Они не были пустыми. Из них вынимали и в ряд укладывали на составленные скамейки маленькие детские тела.

— Мертвые? — спросил кто-то.

Один из санитаров махнул рукой и, вздохнув, ответил:

— Почти.

— Куда же их?

— На Большую отправим. Может, там и оживут, если дорогой не перемрут.

Потом, медленно переставляя заплетающиеся ноги, от двери к скамейкам прошла вереница ребятишек, укутанных во всевозможные одёжки. Они шли молча и так же молча сели на скамейки. Ждать пришлось долго. За все время дети не пошевелились, не произнесли ни звука. Возле них так же неподвижно сидела тоненькая девушка с прозрачным лицом.

Алексей Ерофеевич смотрел на провалившиеся глаза, на съежившиеся в кулачок лица маленьких старичков и почувствовал, как его затрясло.

Санитары вынесли носилки с детьми, девушка построила ребятишек гуськом и повела к выходу. Они ушли неслышно, как тени.

После госпиталя Алексей Ерофеевич опять попал на Балтику, служил на миноносце, а когда окончилась война, вернулся в торговый флот и получил назначение на «Николая Гастелло». Каждый раз, когда ему случалось сталкиваться на берегу с бездомными, беспризорными детьми, он не мог пройти мимо. Он знал, что создана сеть специальных детских домов, осиротевших или потерянных родителями детей собирают туда, но они все еще встречались. Сходя на берег, он безошибочно угадывал их и всеми способами добивался, чтобы их забрали с улицы.

Столкнись Алексей Ерофеевич с Лешкой Горбачевым пораньше, он сам отвел бы его в управление порта и не ушел оттуда, не убедившись, что мальчишка попал в верные руки. Теперь он вынужден бы перепоручить его третьему помощнику, так как сам не мог отлучиться ни на минуту. У Алексея Ерофеевича, несмотря на строгий порядок, заведенный на теплоходе, перед отходом была пропасть неотложных дел. Однако, проверяя грузовые документы и разговаривая с боцманом, он помнил о Лешке. Покончив с самым неотложным, он попросил позвать третьего помощника, но тот уже входил в каюту.

— Отправили мальчишку?

— Нет, Алексей Ерофеевич,— виновато сказал помощник.— Нету его.

— Как нет?

— Нигде нет. Ни в каюте, ни на судне. Сам везде искал. Сбежал, наверно.

— Вахтенного спрашивали? Вызовите его.

Вахтенный ничего не мог сказать.

— Видать я мальчишку видал, да я ж не знал, что его стеречь надо. На одном месте не стоишь... Ну, я прошел — может, он и убег... Темно, дождь...

— Вам не вахту стоять, а лапти плести! — жестко сказал Алексей Ерофеевич.— Идите!

Наступило время отхода. Алексей Ерофеевич, как всегда, пошел на нос, второй помощник — на корму. Над мостиком заревел тифон, отдали носовой и кормовой шпринги, «Николай Гастелло» медленно отвалил от стенки и пошел к выходу из порта.

К утру дождь усилился, и маяк не переставая бросал в море предостерегающие протяжные вопли. Сразу же за молом в скулу теплохода ударила крутая волна. «Гастелло» дрогнул, тяжело всполз на нее и, заваливаясь носом, заскользил вниз. Волны шли одна за другой, макушки их разбивались о форштевень, всплескивались на бак. Теплоход тяжеловесно кланялся и снова поднимался. Маяк остался далеко позади, сквозь дождевую мглу голос его звучал все слабее.

Капитан, стоявший на левом крыле мостика, зябко поежился и сказал:

— Я спущусь, Алексей Ерофеевич. Нужно переодеться, да и Черныш, наверно, соскучился. Видимость плохая — как бы нам не поцеловаться с кем-нибудь. Давайте тифон.

Капитан ушел, Алексей Ерофеевич остался на мостике

один. Он подходил к рулевому, вглядывался в картушку компаса, проверяя курс, потом опять выходил на открытое крыло мостика, всматриваясь и вслушиваясь в дождевую завесу... Над мостиком время от времени гудел тифон. В густом реве его гасли плеск дождя и удары волн.

Алексей Ерофеевич был недоволен собой. Все-таки следовало выкроить время и самому сдать мальчишку. Что он там делает сейчас, в Батуми, под дождем? Потом начал думать о себе и новом капитане. Николай Федорович принял судно всего пять дней назад, они еще не присмотрелись друг к другу. Как и Алексей Ерофеевич, капитан не из разговорчивых. Сосет трубку и молчит. Пока недовольства не выказывал, однако в черепную коробку к нему не влезешь...

Алексей Ерофеевич оглянулся на звук шагов. Капитан поднимался на мостик с палубы. Алексей Ерофеевич с удовольствием отметил, что, несмотря на изрядную качку, к поручням он не прикасается.

— Отличное судно,— глядя вперед, как бы про себя сказал капитан.— Вообще люблю теплоходы — надежнее паровиков и чисто. У вас же чистота, как говорят медики, стерильная. Образцовый порядок. Я только не знал, что кроме руды мы возим еще и пассажиров...

— Пассажиров? — Алексей Ерофеевич повернулся к нему.— Что вы хотите сказать?

— Только то, что сказал. Сейчас я с одним познакомился.

Капитан вынул трубку изо рта и показал черенком через плечо. Алексей Ерофеевич перегнулся через перила. Держась за поручень трапа и задрав голову, на палубе стоял Лешка и смотрел на него.

— Поди сюда,— строго сказал Алексей Ерофеевич.

Лешка потерянно оглянулся, переступил с ноги на ногу и полез по ускользающему из-под ног трапу. Чем выше он поднимался, тем медленнее переставлял ноги и тем меньше мужества в нем оставалось. Он не боялся, что его побьют или что-нибудь с ним сделают,— ему было стыдно. Взобравшись на мостик, он смог поднять взгляд лишь до живота Алексея Ерофеевича, увидел на нем пуговицы с якорями, опустил голову и уставился в сторону, вниз.

— Ты что ж это, а? — прозвучал над ним голос Алексея Ерофеевича.

Лешка молчал.

4

Он и сам не знал, как это случилось. В сущности он не был виноват, все произошло само собой, он вовсе ничего такого не собирался делать.

Обойдя всю палубу, Лешка вернулся в каюту. Как там было тепло и светло после холодной, мокрой мглы на палубе!.. Он опять сел на койку и поджал ноги. Пятки стукнулись о доски. Лешка нагнулся, посмотрел. Койка была сделана как ящик. Он сдвинул постель к стене и потрогал верхнюю доску. Она поднималась. Сердце у Лешки заколотилось, он выпустил крышку, и постель съехала на свое место. Нахохлившись, зажав руки между коленками, Лешка сидел несколько минут неподвижно, потом снова поднял верхнюю доску. Ящик койки был пустой, только с одной стороны лежали бруски, обшитые парусиной,— спасательный пояс.

Лешка погасил свет в каюте, влез в ящик койки и опустил над собой крышку. Здесь было душно, остро пахло масляной краской и что-то громко стучало. Он лег головой на твердые бруски и прислушался. Стучало у него в висках. Он ждал, что сейчас же, сию минуту, кто-нибудь войдет в каюту, увидит, что Лешки нет, сразу догадается, откроет крышку и скажет: «А ну, вылезай!» — и потом его с позором выгонят на берег. Но никто не входил и крышку не поднимал. Тогда он загадал, что не успеет досчитать до ста, как его хватятся. Он досчитал до ста — никто не пришел. Он начал считать еще раз. И опять никто не пришел. Лешка решил считать до пятисот и не досчитал — он уснул.

Проснулся Лешка от удара в голову. Вокруг была душная, жаркая тьма. Она начала крениться, сначала немного, потом все больше. Лешка заскользил в ней и стукнулся ногами о доски. И тут же ноги его стали подниматься, а голова опускаться вниз, он заскользил обратно и с размаху снова ударился головой. Лешка судорожно ткнул руками в стороны, вверх — со всех сторон были гладкие, скользкие доски, только под ним, врезаясь в спину, лежали твердые бруски. Лешка ощупал их и сразу вспомнил, что́ это за ящик и как он в нем очутился. Он поднял крышку, выбрался наружу.

Пол каюты резко наклонился. Лешка отлетел в сторону, ударился боком о раковину умывальника и ухватился за нее. Умывальник, пол каюты мелко дрожали, над головой Лешки что-то дребезжало. Знакомого маячного голоса не было слышно. Наверху время от времени тревожно ревел

гудок. За запотевшим стеклом иллюминатора металось что-то серое, лохматое, налетало на стекло, и тяжкий удар отдавался по всему судну. Каюта кренилась, пол то становился дыбом, то уходил из-под ног. Лешка все понял: они в открытом море, вокруг буря, теплоход тонет, безнадежным гудком призывая на помощь...

Подвывая от страха и жалости к себе, Лешка метнулся к двери, припустился по пустому коридору, с размаху распахнул дверь, выскочил на палубу и... угодил головой в чей-то живот. Человек охнул, схватил Лешку за плечи. Лешка вцепился в мокрый, скользкий плащ и поднял голову. Из-под капюшона на него строго щурились карие глаза, под остриженными усами торчала прямая черная трубка.

— Меня, дяденька, возьмите!.. Меня...— захлебываясь, заговорил Лешка.

Человек вынул трубку изо рта:

— Куда тебя взять?

— Мы же тонем!..

Глаза у человека с трубкой прищурились еще больше.

— Тонем? — переспросил он.— Не заметил,— и оглянулся вокруг.

Лешка тоже оглянулся. Палуба поднималась, над ними нависала громада мостика, за бортом вспухали, росли вспененные бугры, неслись вдогонку, один за другим. Теплоход выпрямился, палуба пошла вниз, потом опять выровнялась. К носу неторопливо прошел матрос с обрывком каната в руках. Несмотря на дождь, матрос что-то насвистывал.

Человек в плаще сосал трубку и как будто не очень сердился за то, что Лешка ударил его в живот.

— Дяденька, вы капитана знаете?

— М-да... знаком.

— Вы ему про меня не говорите! А, дяденька? Не говорите, ладно? Я обратно спрячусь, и никто не будет знать...

— А как ты сюда попал?

— Меня главный помощник привел. И другой, веселый такой. Поесть дали... А я спрятался...

— Угу. Ну пойдем,— сказал человек и повернул к мостику.

Лешка попятился:

— Я не пойду — там капитан.

— Сейчас там капитана нет. И потом,— усмехнулся Лешкин собеседник,— насколько я знаю, капитан на людей не бросается и никого пока не укусил... Пошли, не бойся!

И вот теперь Лешка стоял перед Алексеем Ерофеевичем и не знал, куда деваться от стыда. В довершение всех бед Лешку вдруг кто-то толкнул в спину. Он оглянулся. За его спиной стоял огромный черный пес. Лешка шарахнулся в сторону. Судно накренилось, собака, пытаясь удержаться, торопливо заработала лапами, но когти ее заскользили по мокрому настилу, она откатилась в другую сторону и ударилась о перила.

— Не бойся, мальчик,— сказал человек с трубкой.— Черныш, сюда!

Поймав момент, когда палуба была в равновесии, собака подбежала и стала у него между ногами. Палуба опять накренилась, но теперь у Черныша была опора, и он, виляя обрубком хвоста, оглядывал всех, словно приглашая полюбоваться, как он хорошо устроился.

— Хитер! — сказал Алексей Ерофеевич.

— Привык,— ответил хозяин Черныша и потрогал его за уши.— В Бискайском заливе научился. Сначала бока себе набил, потом вот эту позицию изобрел. Все штормы со мной стоял... А ушей мне твоих жалко,— повернулся он к Лешке.— Ох, и нарвут же их, когда ты из этого путешествия домой вернешься!

— У меня нет дома,— потупился Лешка.

Алексей Ерофеевич рассказал, как они ночью подобрали Лешку, накормили, а он вот устроил этот номер.

— Ну, что ж теперь делать? — сказал человек с трубкой.— За борт не выкинешь... Если б капитан узнал, он бы непременно высадил его на необитаемый остров. (Лешка с опаской поглядел на него и опять потупился.) Ну, мы, так и быть, капитану не скажем... Как вы, Алексей Ерофеевич?

— Есть не говорить капитану! — усмехнулся старший помощник.

— Вот и добро. Скажите, чтобы накормили этого... туриста.

Лешка опять оказался в кают-компании. За столом, торопливо приканчивая завтрак, сидел Анатолий Дмитриевич. Увидев Лешку, он вытаращил глаза и захохотал:

— Спрятался? Ну, хват! Я, брат, тоже, когда мне было столько лет, пробовал из дому удрать, из Ейска. Дальше Бердянска не дошел — вернули. Ох и драли меня тогда! До сих пор, кажется, на том самом месте кожа зудит... Ну, бывай, мне на вахту.

— А кто...— спросил Лешка,— а кто это дяденька с трубкой? У него еще собака черная-пречерная.

— Это? Это Николай Федорович, капитан наш.

Лешка поперхнулся. Мало того, что обманул всех — зайцем остался на теплоходе, он еще самого капитана головой в живот... Лешка заскучал. Ему даже перехотелось есть, он поднялся и вышел на палубу.

Дождь перестал, тифон уже не ревел. От горизонта навстречу «Гастелло» бежали валы. Ветер вспенивал их верхушки, срывал, они вскипали снова; добежав до «Гастелло», обдавали бак шумной пеной, теплоход вздрагивал и кланялся. Горизонт то поднимался до мостика, то уходил под ватерлинию. Прижавшись к фальшборту, Лешка следил за бегом валов и вереницей клубящихся облаков.

— Ну что, герой, страшно? — окликнул его Анатолий Дмитриевич. Второй помощник, улыбаясь, смотрел на Лешку с мостика.

— Не-е... — улыбнулся в ответ Лешка.

Черныш, обегая палубу, остановился перед Лешкой и толкнул его носом. Лешка опасливо попятился, но морда собаки и деятельно работавший обрубок хвоста выглядели очень дружелюбно. Лешка поцокал языком. Черныш насторожил уши, но в это время судно накренилось,— он, скребя когтями, поехал по ускользающей из-под ног палубе и тихонько заскулил. Палуба выровнялась, он подбежал и опять толкнул Лешку носом. Лешка догадался — приподнял ногу. Черныш скользнул под нее и, удовлетворенно поглядывая на Лешку, еще сильнее завертел обрубком. Однако опустить теперь ногу на палубу Лешка не мог — Черныш был слишком велик. Он так и остался стоять на одной ноге, прижав другой Черныша. Теплоход накренился — Лешка не удержался, выпустил из рук планшир и вместе с собакой покатился по железной палубе. Наверху захохотали. На мостике стояли капитан, Алексей Ерофеевич и второй помощник. Они видели все и теперь, глядя на растянувшихся на палубе Лешку и Черныша, весело смеялись.

Лешка тоже засмеялся. Если смеются, бояться нечего... Он вскочил, свистнул Чернышу и побежал вдоль палубы. Вывалив на сторону розовый язык, Черныш галопом поскакал за ним.

— Все! — сказал капитан.— Высокие договаривающиеся стороны подписали договор о дружбе...

Два дня Лешка блаженствовал. Если бы он умел определить это словами, он сказал бы, что это и есть счастье. Но Лешка не думал о счастье. Прошлое скрылось за дождевой завесой Батуми, будущее было неизвестно, но оно еще не наступило, а в настоящем ему было так хорошо,

как бывало только дома, в Ростове, когда он целыми днями шатался с ребятами по городу или по берегам Дона. Пожалуй, здесь даже интереснее. Там они тщетно пытались попасть хотя бы на самый маленький буксир, чтобы хоть одним глазом посмотреть, а здесь он бродил по всему огромному теплоходу, все разглядывал, и его не прогоняли, а, наоборот, все рассказывали и показывали.

И всюду с ним был Черныш, великолепный, чернейший из черных псов, каких Лешка когда-либо видел. У него не было ни малейшего светлого пятнышка, даже подушки на лапах были не розовые и не серые, а тоже черные. Короткая гладкая шерсть его блестела так, будто она начищена гуталином. В качку Чернышу трудно было стоять на скользкой палубе, бегать же качка не мешала, и он с веселым лаем носился за Лешкой. Его не останавливали даже трапы. Лешка, чтобы не свалиться, хватался за поручни, а Черныш, торопливо перебирая лапами, одним махом взлетал наверх. Вот только вниз он не любил спускаться и, если было не слишком высоко, предпочитал прыгать. Каждый раз, когда нужно было спускаться, он останавливался у трапа и пронзительно скулил.

— Не свисти! — строго, как капитан, говорил ему Лешка.

Черныш замолкал и устремлялся головой вниз.

Лешка пробовал научить его спускаться задними лапами вперед, но Черныш ни за что не соглашался и спускался обязательно головой вперед, хотя, спускаясь, часто срывался с трапа и больно ушибал нос. В таких случаях Лешка опять говорил ему, но уже сочувственно:

— Не свисти!

К концу второго дня на горизонте показалась дымчатая полоса. Она росла вверх, становилась неровной.

— Берег, — объяснил Лешке Анатолий Дмитриевич, — Керченский полуостров. Сейчас будет буй, за ним повернем в канал и там возьмем лоцмана.

За мысом волнение начало спадать, и почти сразу же впереди показался маленький катер. «Гастелло» застопорил машины, катер подвалил вплотную к борту, на который уже был выброшен штормтрап — веревочная лесенка с деревянными ступеньками. По трапу с катера вскарабкался лоцман, приземистый моряк с седыми висками. Он поздоровался с Анатолием Дмитриевичем, уверенно поднялся на мостик. На катер бросили толстый канат, его закрепили, и «Гастелло» снова пошел вперед, только теперь командовал не Анатолий Дмитриевич, стоявший на вахте, а лоцман.

За кормой, в пенном буруне «Гастелло», мотался на буксире катер.

Слева в отдалении тянулись гористые берега Керченского полуострова, справа — затихшая морская гладь. Как ни вглядывался Лешка, он не мог разглядеть низменного Таманского берега. Лешке казалось, что при такой ширине можно плыть куда хочешь и совсем не нужен лоцман, однако лоцмана слушались беспрекословно. Он то спокойно, то резко говорил рулевому:

— Полборта лево! Одерживай! Три право! Еще два право!

Рулевой повторял команду и торопливо поворачивал штурвал. Лешка потихоньку высказал свои соображения Анатолию Дмитриевичу. Тот засмеялся:

— Пролив-то широкий, да плавать узко. Мели кругом, ну и... всякая всячина после войны осталась. Видишь вешки по сторонам? Очистили канал, по нему суда и ходят. А свернешь в сторону — либо на мель, либо к черту на рога! Понятно?

Стемнело. Лешка устал и пошел спать.

Проснулся он к исходу ночи. Море было неподвижно. Слева за кормой висела в небе луна, зыбкий треугольник ее холодного света лежал на море от самого горизонта до теплохода. Лешка поднялся на мостик. На вахте стоял Алексей Ерофеевич. Впереди зарницей, опоясывая кусочек темного неба, вспыхивал и гаснул свет. Свет был шаток и тревожен.

— Ну вот, Белосарайский маяк,— сказал Алексей Ерофеевич.— Скоро придем на место.

Блаженство кончилось. Оно было недолговечным и непрочным, как зыбкий серебряный свет за кормой, а будущее — так же тревожно и неясно, как густая предрассветная тьма впереди, которую пытался и не мог пробить трепетный отблеск маяка.

Алексей Ерофеевич поглядывал на Лешку и тоже думал о его будущем, о том, что батумскую оплошность повторять нельзя — так мальчишка может и совсем пропасть.

— Ты иди, брат, спать,— сказал он, кладя Лешке руку на плечо.— Вахту я и сам достою, а тебе нужно выспаться.

— Можно, я еще постою? — попросил Лешка.— Немножечко...

Как было объяснить, что Лешка прощался со всем, что было здесь два дня, самых счастливых дня его жизни? Неизвестно, будет ли еще когда-нибудь так хорошо там,

впереди, а здесь уже было, и расставаться с этим было трудно.

Алексей Ерофеевич промолчал, и Лешка остался.

Впереди сначала смутно, потом яснее показался розовый отсвет. Он не мелькал, как маячный, не притухал, а разгорался все сильнее и ярче, все выше поднимаясь по небу и рассыпая розовые отблески на воде.

— Что это? — спросил Лешка.

— «Орджоникидзесталь». Завод. Скоро откроются створы.

Они открылись: два белых огня один над другим и еще выше — красный. Тифон «Гастелло» заревел, ему визгливо ответил бегущий навстречу катер. Снова по штормтрапу поднялся лоцман и повел теплоход к порту. Он уже обозначился впереди мерцающей россыпью огней. На мостик вышел капитан, и Алексей Ерофеевич легонько подтолкнул Лешку к трапу. Лешка сошел вниз. Приглушая бледный, неподвижный свет луны, впереди все ярче разгоралось живое оранжевое зарево над «Орджоникидзесталью»...

Алексей Ерофеевич, в свежем кителе, в фуражке с ослепительно белым чехлом, сам разбудил Лешку к завтраку. Они поднялись на палубу.

Над открытым трюмом наклонилась огромная решетчатая стрела крана. Через колесо на ее макушке бежали стальные тросы, на которых, покачиваясь, висела разинутая пасть ковша — грейфера. Пасть нырнула в трюм, с хрустом начала сдвигать челюсти, загребая руду. Челюсти захлопнулись, грейфер, поднявшись над палубой, поплыл к шеренге вагонов на каменной стенке пирса. Над железным вагоном с открытым верхом челюсти грейфера раздвинулись, руда глухо рухнула в гондолу. Вагон дрогнул и заметно осел. Тутукнул паровоз, вагоны лязгнули буферами и подвинулись, подставляя под грейфер порожнюю гондолу.

Лешка повернулся к морю. Солнце разбилось в нем на тысячи осколков и сверлящими блестками слепило глаза. Волоча по небу легкий дымок, за горизонт уходил пароход. Слева над городом плыли дымы «Орджоникидзестали». Город скрывался за откосом возвышенности, выплеснув к берегу густую зелень садов и светлую путаницу домиков Слободки.

— Нравится? — спросил Алексей Ерофеевич.

В другое время Лешка обязательно сказал бы с восторгом: «Ага!», «Здóрово!» — или еще что-нибудь в этом роде, но сейчас он никакого восторга не испытывал и ничего не

ответил. Его томило предчувствие новых расспросов и «проверки», от которой теперь уже не отвертеться.

Ему даже есть не хотелось, и за завтраком он вяло ковырял вилкой жареную картошку, пока Анатолий Дмитриевич не подтолкнул его:

— Ты рубай, рубай давай! Еще неизвестно, как тебя там кормить будут. Наедайся про запас.

Алексей Ерофеевич предостерегающе поднял левую бровь, и второй помощник поспешно заговорил о предстоящем рейсе в Поти, потом вокруг Европы на Север.

Лешка совсем перестал есть и с завистью слушал. За два дня теплоход и большие, суровые и вместе с тем веселые люди стали для него своими; все, что касалось их, касалось и его. Теперь этому наступил конец: между ними и Лешкой легла непреодолимая черта. И проложил эту черту Алексей Ерофеевич. Он ввел его в удивительный, прекрасный мир взрослой жизни и моря, а теперь сам бесповоротно отторгал Лешку от него. И ему хоть бы что: сидит и спокойно пьет чай... Лешка вскочил и выбежал из кают-компании.

— Пожалуй, убежит малый-то,— сказал второй помощник.

— Не убежит,— ответил Алексей Ерофеевич.— Вахтенный предупрежден.

Лешка и в самом деле подумывал, не удрать ли ему с теплохода, чтобы самостоятельно пробираться в Ростов. Там Митька, свои ребята, как-нибудь он устроится...

Навстречу Лешке бежал Черныш. Увидев Лешку, он остановился, подпрыгнул на четырех лапах, как козел, и побежал прочь, оглядываясь и как бы поддразнивая. Лешка пустился следом.

Они обежали всю палубу. На корме, возле аварийного штурвала, Черныш запутался в бухтах пеньковых канатов. Лешка настиг его и схватил за шею. Они посидели, чтобы отдышаться, потом Лешка прижал к себе Черныша и сказал:

— Ухожу я, Черныш. Понимаешь? Ухожу...

Черныш высвободился, свесил на сторону язык и завертел обрубком, выражая полную готовность бежать дальше.

— Ничего ты не понимаешь! — вздохнул Лешка.

У него пропала охота бегать, он пошел к трапу. Загораживая проход, на решетчатой площадке трапа вахтенный разговаривал с буфетчицей Дашей. Лешка хотел пройти мимо, но вахтенный нажал ему пальцем на лоб, запрокидывая кверху лицо.

— Увольнительная есть? Что ж ты — стал моряком, а порядка не знаешь. На берег без увольнительной не сходят,— сказал вахтенный и подмигнул Даше.

На палубу вышли Алексей Ерофеевич и второй помощник.

— Ну, герой, давай лапу,— сказал Анатолий Дмитриевич.— Не дрейфь! Знаешь, откуда это слово? От слова «дрейф». Когда судно перестает само двигаться, говорят, что оно легло в дрейф. Судну можно, а человеку нельзя ложиться в дрейф, он двигаться должен. Понятно? Ну вот! Давай всегда полный вперед, чтобы ветер в ушах свистал!..

Алексей Ерофеевич начал спускаться по трапу. Дыхание у Лешки перехватило, он посмотрел еще раз на палубу и пошел следом. Сзади заскулил Черныш.

— Не свисти! — услышал Лешка голос капитана.

Черныш, поставив лапы на планшир, выглядывал через борт. Рядом стоял капитан. Увидев, что Лешка оглянулся, он помахал ему рукой.

Лешка ответил и отвернулся, чтобы не заскулить, как Черныш.

Они миновали вагоны, холмы серо-черной руды на молу, какие-то здания, вахтера в воротах порта и пошли по пыльной мостовой вдоль высокого цементного забора, ограждающего порт, потом на тесной улочке долго ждали трамвая.

На остановке собралось много народу: женщины с кошелками, матросы, посиневшие от долгого купанья мальчишки с удочками. На куканах у них трепыхались черные бычки, похожие на огромных головастиков.

Отчаянно звеня и дребезжа, подошел маленький вагон трамвая. Мальчишки с воплями бросились к нему, но в вагон не полезли, а облепили его снаружи. Переполненный трамвай тронулся, мальчишки уцепились за открытые рамы окон, поручни у окошек и, свисая гроздями по обе стороны вагона, поехали тоже. Лешка им позавидовал — в вагоне было тесно и жарко. Один из рыболовов, висевший прямо под окном, возле которого стоял Лешка, заметил его расстроенное лицо и передразнил: наморщил лоб и развесил губы, словно собираясь зареветь. Лешка показал ему кулак и отвернулся.

Трамвай, дребезжа и позванивая, бежал по бесконечной улице, подолгу ожидая на разъездах встречного вагона. На взгорье мелькали в зелени большие, красивые дома. Справа, сливаясь с таким же необъятным небом, сверкало море. По всему берегу, пологому и ровному, рябили пестро

раскрашенные теневые грибки, лежали, сидели на песке купальщики.

Домá и сады скрыли берег, но море продолжало сверкать за ними и над ними, словно полог охватывая Слободку. Все дома казались Лешке одинаковыми. Они были приземистые, побеленные припылившейся известью; возле них стояли кирпичные или глиняные заборы, а ворота или калитки были почти сплошь железные, крашенные зеленой краской. Дома были крыты черепицей, и казалось, что до оранжево-красного цвета ее раскалило июньское солнце — такая знойная духота висела над улицей.

Трамвай миновал вокзал, остановился на широкой площади рыбачьей гавани. Порыв ветра вместе с цветами белой акации бросил в вагон ее сладкий аромат, острые запахи копченой рыбы, окалины и моря. В отдалении высились буро-красные башни, опутанные фермами, трубами, над ними плыло багрово-рыжее облако не то дыма, не то пыли. Рядом, извиваясь, тянулись в небо огненные языки.

— Там пожар? — встревоженно спросил Лешка.

— Нет,— ответил Алексей Ерофеевич.— Это домны. Давай пробираться вперед, нам скоро выходить.

Трамвай со скрежетом пополз на гору, миновал шумную толчею базара, где снова открылись домны и строй высоких кирпичных труб, и, поднявшись по обсаженной акацией и кленом улице, остановился возле сквера. Алексей Ерофеевич, сойдя, спросил у милиционера, как пройти в гороно. Оно оказалось близко — на параллельной улице, в небольшом доме. Алексей Ерофеевич прочитал табличку на дверях, постучал в одну из дверей и, пропустив Лешку вперед, вошел. За столом сидела молодая худенькая женщина в темно-красном платье и говорила по телефону. Она указала им на стулья и, пристукивая карандашом по столу, долго и сердито доказывала какому-то Сергею Ивановичу, что сделать чего-то она не сможет — у нее нет ни средств, ни возможностей, а делать это обязан именно он, Сергей Иванович. Положив трубку, она скользнула взглядом по Лешкиной фигуре и повернулась к Алексею Ерофеевичу:

— Слушаю вас.

Алексей Ерофеевич назвал себя и сказал, что он просит устроить этого мальчика, Алексея Горбачева, в какой-нибудь детский дом. Заведующая развела руки и опять опустила их, потом, помолчав, спросила:

— Документы есть?

Алексей Ерофеевич достал и протянул ей.

— Да нет, зачем мне ваши! На мальчика документы...

— Какие могут быть документы? Мы подобрали его в Батуми... Алексей, выйди в ту комнату, подожди.

Комната была маленькая, заставленная столами. Проходящие задевали Лешку то локтем, то папкой. Можно было спокойно выйти, свернуть за угол... Лешка не уходил. Не примут — ему же лучше! Алексей Ерофеевич его не бросит, а раз его некуда девать, может, возьмет с собой... Он терпеливо ждал, а за дверью все говорили и говорили, и Лешка удивлялся: за двое суток на теплоходе Алексей Ерофеевич не произнес столько слов, сколько теперь сразу, подряд.

Дверь открылась, и заведующая, оказавшаяся очень высокой, громко сказала:

— Русакова еще не ушла? Посмотрите, пожалуйста, в методотделе и попросите зайти ко мне.

Она закрыла дверь. Потом мимо Лешки в кабинет прошла невысокая полная стриженая женщина. Дверь осталась полуоткрытой, и Лешка услышал ее удивленный голос:

— Да куда я возьму, Ольга Васильевна? Вы же знаете — у меня все переполнено!

Невнятный голос заведующей что-то ответил, и Русакова устало сказала:

— Хорошо. Где этот мальчик?

Алексей Ерофеевич позвал Лешку.

— Подойди ближе, Горбачев,— сказала заведующая.— Пойдешь с Людмилой Сергеевной в детский дом и будешь там жить. Документы твои мы разыщем. Будешь вести себя хорошо?

Она подождала ответа, но Лешка смотрел в сторону, на телефон, и молчал.

— Пойдем, мальчик,— сказала Людмила Сергеевна и пошла к выходу.

Алексей Ерофеевич поблагодарил заведующую и вышел вслед за Лешкой. Молча они дошли до угла. Здесь Алексей Ерофеевич остановился:

— Ну, тезка, давай попрощаемся, мне пора на теплоход. Да перестань ты в землю смотреть! — Он легонько приподнял за подбородок насупленное Лешкино лицо.— Учись, работай. Становись человеком. Чтобы люди тебя уважали...— Алексей Ерофеевич улыбнулся: сейчас он повторял Лешке слова, которые когда-то говорил ему отец.— Придет снова «Гастелло» сюда — свидимся, а нет — я тебе пришлю адрес, и ты будешь нам писать о своих делах. Идет?

— Ладно,— с трудом выдавил Лешка.

Алексей Ерофеевич записал адрес детдома, попрощался с Людмилой Сергеевной и сжал обеими руками Лешкины плечи:

— Будь здоров!

— До свиданья,— сказал Лешка; губы его дрогнули.

Он понимал, что слова эти пустые: свиданье будет неведомо когда, да и будет ли еще?..

Людмила Сергеевна шла очень быстро, Лешке приходилось шагать вовсю, чтобы не отставать.

У поворота он оглянулся. Алексей Ерофеевич стоял на том же месте и махал ему фуражкой. Лешка помахал в ответ и догнал Людмилу Сергеевну.

— Как тебя зовут?.. Алеша? Расскажи мне о себе.

Лешка сказал, что папа убит, мама умерла, никого у него нет и жить ему негде.

— А когда мама умерла?

Лешка ответил.

— И с тех пор ты беспризорничаешь?.. Что-то непохоже. Ну ладно, разберемся. Вот наш дом. Теперь это и твой дом.

Пройдя через сквер, они остановились у распахнутых настежь ворот из железных прутьев. От них тянулось длинное, в один этаж здание, во дворе виднелись два домика поменьше.

— Теперь это и твой дом,— повторила Людмила Сергеевна.— Убежишь?

Лешка молчал.

— Как хочешь. Никто тебя силком держать не станет. Сторожей у нас нет. Только не торопись — убежать всегда успеешь.

5

За сараем Лешка улегся среди остро и сыро пахнущих лопухов, высоких деревянистых стеблей лебеды и заложил руки под голову. По небу бежали легкие облака, такие же путаные и торопливые, как Лешкины мысли.

До вчерашнего вечера все было терпимо. Прежде всего Лешку заставили вымыться. Душевую ремонтировали, и мыться пришлось на кухне в большом круглом корыте, вроде обрезанной бочки. Называлась эта штука балией. Худая, словно высохшая от непрерывного жара у плиты, повариха Ефимовна налила в балию горячей воды, рядом поставила ведро холодной:

— Мойся сам, не маленький.

Лешка старательно намылился, но, как всегда, мыльная пена попала ему в глаза, и он сразу потерял интерес к этому занятию.

— Что ж ты себя наглаживаешь? — оглянулась Ефимовна.— Ты не гладь, а мойся.

Она отложила поварешку, схватила мочалку и принялась сдирать с Лешки кожу. Розовый, будто ошпаренный, Лешка вырвался наконец из цепких рук Ефимовны, надел чистые трусы и рубашку, принесенные кастеляншей, и вышел обживать новый мир.

Он был невелик. Половину дома, выходящего на улицу, занимала столовая, к ней была пристроена кухня. Вторая половина, отведенная под комнаты для занятий, сейчас пустовала. Кровати, свежевыкрашенные голубой краской, стояли посреди двора. В помещении пахло сыростью, олифой, пол был зашлепан глиной и мелом. Здесь шел ремонт. В доме справа, у ворот, помещалась канцелярия, она же — кабинет Людмилы Сергеевны. Рядом, в большой, просыхающей после ремонта комнате, были настежь распахнуты окна.

Лешка заглянул в одно из них. Посреди пустой комнаты стояла швейная машина, за ней сидела рослая, полная женщина в роговых очках. Во рту ее дымилась сигарета. Женщина щурилась от дыма, разглядывала детский ситцевый сарафанчик и басом пела:

Куда, куда вы удалились,
Весны моей златые дни...

Потом положила сарафанчик под лапку машины, тронула колесо, и машина застрекотала. Вокруг стояли четыре маленькие девочки и зачарованно смотрели на прыгающую лапку.

— Вот и готово, крошки,— сказала женщина и торжественно, словно бальное платье, подняла сарафанчик за плечики.— Кто хочет померить?.. Все хотите? Тогда по очереди. Иди сюда, Люся...

В глубине двора находились спальни и кладовая. Кладовая была заперта, а спальни пусты. В стороне, справа, возле открытой конюшни, стояла телега, рядом с ней серый мерин махал хвостом и сверху вниз мотал головой. К нему подошел коренастый мальчик такого же роста, как и Лешка, взял повод, поставил мерина между оглоблями и начал запрягать. Мерин вислыми губами старался поймать его руки.

— Балуй у меня! — строго сказал мальчик, полез в карман и достал кусок хлеба.

Мягкие губы лошади немедленно схватили его. Мальчик подождал, пока лошадь съест хлеб, потом надел хомут. Делал он все неторопливо и уверенно. На Лешку он взглянул мельком, без всякого интереса и больше не оглядывался.

— Ты кто, детдомовский? — спросил Лешка.

— Який же еще? Известно, детдомовский,— помолчав, ответил мальчик и начал затягивать супонь.

Достать коленкой до деревянных клешней хомута он не мог и упирался ступней, что есть мочи задрав ногу.

— Как тут жизнь? — опять спросил Лешка.

Паренек затянул супонь, подвязал вожжи и только тогда ответил:

— Жизнь как жизнь. Обыкновенная. Ты что, новенький?

— Новенький.

— Ага,— неопределенно отозвался паренек и тронул вожжи.

Лешка пошел дальше. За конюшней и домом стоял недостроенный сарай из шлакоблоков, а за ним пустырь зарастал лопухами, крапивой и лебедой. Должно быть, раньше пустырь был двором: возле забора высилась груда разваленной кирпичной кладки, рядом заросла травой бомбовая воронка. Возвращаясь во двор, Лешка увидел возле конюшни не замеченную раньше собачью будку. Скрываясь от солнца, в ней лежал большой желтый пес. Он скосил глаза на проходившего мимо Лешку и лениво закрыл их.

Во дворе бегали и шумели вернувшиеся откуда-то малыши. Из кухни вышла девочка постарше с красной повязкой на руке и застучала костылем о кусок рельса. Малыши крича побежали к столовой. Девочка с повязкой стала в дверях. Малыши, проходя мимо, показывали свои ладошки и заглядывали ей в лицо: пропустит или прогонит? Троих она прогнала; они побежали к умывальникам, стоявшим тут же, во дворе, поплескали на руки водой и прибежали обратно. Лешка подошел к двери.

— Новенький? — строго поджимая губы, спросила девочка.— Горбачев? Покажи руки.

Лешка показал.

— А это что — траур по китайской императрице? — явно повторяя чужие слова, ехидно спросила девочка и показала на черные каемки под Лешкиными ногтями.—

Как не стыдно! Хотя ты и не очень большой,— свысока сказала девочка,— но старше этих малышей, а у них руки чище. На первый раз прощаю, но больше не пущу, имей в виду.

Лешка обозлился и хотел совсем не идти в столовую, но, когда все ушли со двора, вычистил щепкой ногти и все-таки пошел — он проголодался. В столовой хозяйничали еще две старшие девочки. Они никому не делали замечаний, а просто разносили тарелки. Но Лешка слышал, как девочка с повязкой сказала им, что вон сидит новенький, фамилия его Горбачев, и что она уже сделала ему предупреждение, потому что он неряха. Лешка понял, что самым ненавистным для него человеком после дяди Троши будет эта курносая девчонка, которая корчит из себя неизвестно что.

После обеда маленькие побежали в спальню, а Лешка сел в тени на бревнах. Девочка с повязкой опять постучала по рельсу и, увидя Лешку, подошла к нему.

— Почему ты не идешь в спальню? Ты же слышал сигнал! Или, может быть, ты глухой? — опять ехидно спросила она.

— Иди ты знаешь куда! — обозлился Лешка.

— Хорошо! — зловеще сказала девочка и побежала в канцелярию.

Через несколько минут оттуда вышла Людмила Сергеевна, а Смола, как прозвал Лешка надоедливую девчонку, негодуя, договаривала на ходу:

— Мне-то что, но я же дежурная! Я же не имею права!

— Хорошо, иди. Я сама с ним поговорю... За что ты обругал Киру? — подойдя, спросила Людмила Сергеевна.

— Нужна она мне ругать ее!.. А что она липнет... как смола?

— Она не липнет, а просто хочет, чтобы ты выполнял наши правила. Ты их пока не знаешь, потом привыкнешь. После обеда у нас обязательно ложатся и отдыхают. Тебе еще не показали твою койку? Пойдем, я покажу.

Спальня гудела приглушенными голосами, смехом и возней, но когда Людмила Сергеевна и Лешка вошли, все с закрытыми глазами лежали на койках. На койке возле двери, зажмурившись изо всех сил, старательно храпел толстощекий мальчуган.

— Слава, перестань храпеть! — сказала Людмила Сергеевна.— Я ведь знаю, что ты притворяешься.

Храп немедленно прекратился, в углу засмеялись.

— Вот твоя койка пока, ложись,— сказала Людмила Сергеевна Лешке и вышла.

Все головы тотчас поднялись и повернулись к Лешке. Малыши уже видели его в столовой, но сейчас разглядывали так, будто он только что появился.

— А я знаю — ты новенький,— сказал Слава, лежавший у дверей.

— Ну, новенький. Дальше что? — повернулся к нему Лешка.

— Ничего. Только ты уже большой, в другой группе будешь. У Ксении Петровны.

— А кто это?

— Воспитательша. Она у старших воспитательша.

Теперь заговорили все разом, перебивая друг друга:

— А у нас Лина Борисовна.

— Так она же в отпуску...

— Ну так что? А пока у нас Анастасия Федоровна. Видал, в очках которая?.. Она девочек шить учит, а сейчас как воспитательша, вместо Лины Борисовны.

Дверь распахнулась, и на пороге встала женщина в очках, которую Лешка видел за швейной машиной.

— Дети, почему шум? Мы же договорились — не баловаться.

— Мы не балуемся, Анастасия Федоровна. Мы новенькому рассказываем.

Анастасия Федоровна подняла руку:

— Тихо! Расскажете потом. А сейчас никаких разговоров... А ты старший,— повернулась она к Лешке,— показывай пример.

Лешке вовсе не хотелось показывать пример, и, как только Анастасия Федоровна ушла, он шепотом начал расспрашивать ребят о детдомовской жизни, а они, тоже шепотом, торопясь и перебивая друг друга, рассказывали. Жить здесь весело. Они ходят на прогулки, экскурсии и даже иногда в кино. Воспитательница у них хорошая. Директорша тоже хорошая, только не любит, когда сильно балуются. Она тогда «под глаза» ставит. Как? Очень просто: зовет к себе в кабинет и оставляет там, чтобы все время был у нее перед глазами. А это — хуже нет... Лошадь их называется Метеор. Ухаживает за Метеором Тарас Горовец. А еще есть собака Налет. Он смирный, только хулиганов не любит...

На другой день после завтрака малыши ходили по пятам за Людмилой Сергеевной, дежурили возле ее кабинета и все время упрашивали:

— Пойдемте с нами, пойдемте!..

— Да не могу я! Некогда мне,— отбивалась Людмила Сергеевна.— Пойдете с Анастасией Федоровной.

Опережая директора, малыши понеслись к Анастасии Федоровне. Она вышла во двор в соломенной шляпе, с большим зонтиком в руках. Старшие девочки построили малышей парами.

— Алеша, иди и ты выкупайся. Что тебе дома сидеть? —сказала Людмила Сергеевна.

— Ты будешь идти сзади и следить, чтобы никто не отставал,— внушительно сказала Анастасия Федоровна.

Она стала впереди танцующей от нетерпения цепочки малышей, с треском, будто выстрелив, раскрыла над головой зонт, оглянулась через плечо и басом скомандовала:

— Дети, за мной!

Не в лад, но торопливо и старательно малыши затопали вслед за своей величественной наставницей. Старшие девочки шли по бокам, выравнивая то и дело разъезжающуюся цепочку. Лешка шел сзади и делал вид, что он здесь ни при чем и никакого отношения к этой ребятне не имеет.

Время от времени Анастасия Федоровна оборачивалась и гулко спрашивала:

— Крошки, порядок?

Когда нужно было переходить улицу, Анастасия Федоровна становилась посередине нее, с треском захлопывала зонт и, как орлица, поворачивала голову то в одну, то в другую сторону. Если показывалась приближающаяся машина, она поднимала руку и грозила шоферу зонтом. Машина замедляла ход.

Миновав молодые, не дающие прохлады аллеи городского парка, процессия по Морскому спуску подошла к железнодорожным путям и под строгим надзором Анастасии Федоровны пересекла их. За узкой песчаной полоской лежало море. Строй рассы́пался, ребятишки бросились к воде.

— Дети! — перекрывая шум своим басом, крикнула Анастасия Федоровна.— Остановитесь! Сначала пойду я, и дальше, чем я остановлюсь, не заходить!

Она сняла платье и оказалась в красном, как флаг, купальном костюме с вышитой на бедре белой рыбой. При каждом движении рыба то сжималась, то вытягивалась, и казалось, что она плывет по небывалому красному морю. Анастасия Федоровна, не снимая очков, вошла в воду по пояс и скомандовала:

— Крошки, ко мне!

Крошки с визгом ринулись в воду и подняли такой гам, так взбаламутили воду, что Лешка отошел в сторону.

Анастасия Федоровна стояла среди этой шумной толчеи и неумолимо заворачивала к берегу всех, кто пытался прорваться на глубокое место.

Лешка выкупался и, смахнув верхний, раскаленный слой, вытянулся на песке. Малыши всласть накупались и теперь лежали на берегу или бегали, осыпая друг друга песком. Убедившись, что больше опасаться нечего, Анастасия Федоровна поплыла вдоль берега. Плыла она так же величественно, как и ходила: плечи ее переваливались со стороны на сторону, следом тянулся бурун, как от гребного винта. Кира и другие старшие девочки тоже купались. Они догоняли друг друга, брызгались и взвизгивали, поглядывая на Лешку. Он не обращал на них внимания.

Слева гигантскими столбами поднимались в небо дымы из труб «Орджоникидзестали». Вверху столбы расширялись и таяли в бледном от зноя небе. Далеко справа виднелись решетчатые мачты кранов. Там был порт, и там стоял «Гастелло». Теперь его уже не было. Алексей Ерофеевич говорил, что к вечеру разгрузку закончат и они сейчас же уйдут. Значит, ушли они вчера вечером и теперь идут по Черному морю. Опять их, должно быть, качает, Черныш стоит на мостике или бегает по палубе, волны обдают его брызгами, он встряхивается и сердито лает на них. А про Лешку, должно быть, никто уже не помнит...

Людмила Сергеевна не могла выбрать более неудачный момент для серьезного разговора. Никакого разговора и не получилось. Она говорила, расспрашивала, а Лешка смотрел в пол и ничего не отвечал. Сначала, когда Людмила Сергеевна позвала его к себе, он рассказал то же, что говорил и прежде, но когда она спросила, где и как он жил после смерти матери, Лешка исподлобья посмотрел на нее и ничего не ответил. Людмила Сергеевна объяснила, что нужно найти его документы, затребовать их сюда, без этого он не сможет учиться, а учиться он должен, как и все дети. Лешка молчал. Чтобы нечаянно не проговориться, он решил совсем ничего не рассказывать и, опустив голову, ковырял пальцем край столешницы. Кусочек фанеровки отклеился; если его оттянуть, он долго вибрировал и еле слышно дребезжал. Лешка дергал его пальцем и смотрел на дрожащую деревянную пластинку.

— Можешь идти, — сказала наконец Людмила Серге-

евна.— Все, что нужно, мы узнаем и сами. Ты мог бы нам облегчить задачу и помочь, но раз не хочешь, мы запросим Ростов, и нам сообщат.

Фанерная пластинка обломилась. Лешка сполз со стула и вышел. Он это предчувствовал: взрослые всегда сговорятся между собой и сумеют обойти таких, как Лешка.

Теперь, утром, Лешка забрался в заросли лопухов, чтобы все обдумать. Обдумывать, оказалось, нечего. Разыщут дядьку и отправят Лешку к нему. Сбежать можно и по дороге, но отсюда лучше.

Лешка выбрался из лопухов, вышел на улицу. Он сел в трамвай, но вагон был пустой, кондуктор сразу его заметил и согнал. Почему-то кондукторы всегда знают, есть ли у мальчишек деньги на билет. Прицепиться к вагону снаружи не удалось: милиционер, стоявший посреди проспекта, засвистел и пошел навстречу вагону. Вагон остановился, прицепившиеся мальчишки бросились врассыпную. В конце концов дорогу на вокзал можно найти по трамвайным рельсам. От сквера проспект шел под уклон, к базару. Над шумной толчеей базара гремела музыка, потом она стихла, и явственно, как на «Гастелло», начали бить склянки. Бой склянок подхватила музыка, и бархатный голос пропел-проговорил:

Вахту нести и дружбу беречь,
Синее море наше стеречь —
Такая
Наша служба морская...

Лешка протолкался через толпу. Голос гремел в репродукторе на балагане, сколоченном из зеленых фанерных щитов.

Над балаганом разноцветные, падающие в разные стороны буквы кричали: «Цирк на сцене!» У входа, загораживая собой узкую дверь, стояла женщина, невидящими глазами смотрела на толпу и сердито щелкала семечки.

Мимо женщины бочком протиснулся клоун и взобрался на ящик. Это был маленький тощий человечек в лыжной вязаной шапочке. Под носом у него были нарисованы усики, на скулах — аккуратные малиновые кружочки. Полосатые пижамные штаны, байковая куртка были измяты, голую шею прикрывала огромная «бабочка» из раскрашенной фанеры. Клоун потянул ее за угол, «бабочка» легко отошла, потом опять прилипла к горлу — она была на резинке. Клоун заговорил слабым, тусклым голосом, толпа заглушала его. Тогда он обеими руками стал делать загре-

бающие, призывные движения, а когда не помогло и это, засвистел в милицейский свисток. Толпа придвинулась. Клоун достал из кармана деревянную змейку на шарнирах и показал. Змейка извивалась. Ее сменили белые гуттаперчевые шарики. Клоун показывал, как они то появлялись, то исчезали. Делал он это неловко, и мальчишки с торжеством кричали:

— Вон он, в рукаве! В кармане! Не умеешь!..

Клоун продолжал показывать фокусы. Морщинистое худое лицо его было усталым и печальным. Из громкоговорителя на крыше загремел уверенный бас: «Спешите видеть цирк на сцене! Последние гастроли уникальной программы...» Толпа стояла и слушала. Увидеть последние гастроли уникальной программы никто не спешил — цены были от трех до пяти рублей. Лешка вздохнул и отошел: у него не было ни пяти, ни трех. Он прошел мимо наваленных горами первых яблок, зелени, мимо рыбных рядов с распластанными вялеными судаками, золотистой россыпью копченой тюльки. Бетонная лестница вела с базарной площади вниз, на улицу. Во всю ее ширину, оставляя лишь узкий проход, на булыжной мостовой сохли бесконечные полотнища сетей. Они пахли илом, смолой и морем. В конце улицы — казалось, сразу же за домами — высились домны «Орджоникидзестали». Над ними плыло розовое облако. Лешка решительно пошел вдоль улицы. На вокзал успеется, а домны надо посмотреть поближе.

Они только казались близкими. Лешка долго путался в незнакомых улицах, переулках и вышел на кочковатую луговину, пересеченную речкой. Над речкой висел горбатый мостик. Домны были за рекой вправо. Вода в речке была грязной, в радужных нефтяных разводах. Подставив солнцу лысину, на берегу сидел старик. Из-под его ног, упираясь в невысокий обрыв, уходила в воду длинная, толстая палка. К другому концу ее была привязана веревка. Докурив самокрутку, старик с натугой потянул за веревку. Конец палки показался из воды. К нему были крестом привязаны выгнутые, как паучьи лапы, палки потоньше, а к ним четырехугольная сетка. Посередине ее прыгал лягушонок. Старик опять опустил сетку в воду. Лешка постоял за его спиной, подождал, пока он вытащит опять. В сетке снова ничего не было, и Лешка пошел дальше.

Домны приближались и росли. Опутывавшие их то толстые, то тонкие трубы виднелись всё отчетливее, пляшущее по ветру пламя факелов вытягивалось в длину. Перед домнами высились красновато-бурые холмы руды, желез-

нодорожные вагоны рядом с ними казались игрушечными. Лешка перевел взгляд и замер — на реке стоял пароход. С мостиком, трубой, мачтой. Настоящий, огромный и немыслимый на этой узкой, тесной речушке. Лешка побежал вперед.

Речка внезапно расширилась, превратилась в правильный прямоугольный бассейн. Левый берег его, на котором вздымались горы руды и стояли домны, был укреплен решеткой из квадратных бревен. На пустом и пологом берегу не было ничего, кроме маленького домика, вроде тех, что стоят на железной дороге для путевых обходчиков. Возле него, почти упираясь кормой в берег и отвалив в сторону нос, стоял пароход. Он осел на корму, накренился на правый борт и до палубы погрузился в воду.

Лешка обошел домик. На двери висел замок. С берега на корму была переброшена толстая чугунная труба. Лешка секунду поколебался, расставил руки и, балансируя, пошел по ней. Поручни из толстых железных прутьев, идущие вдоль борта, были измяты, кое-где сломаны совсем. На палубе, гулко отзывающейся на каждый шаг, валялись согнутые трубы, сорванные со своих мест раструбы вентиляторов, крышки люков. Лешка заглянул в один из люков. Оттуда тошнотворно пахну́ло гнилью и мазутом. Позеленевшая вода подступала к горловине люка. В рулевой рубке торчала пустая коробка нактоуза, за ней — остов щербатого штурвала. Двери кают, там, где они уцелели, были распахнуты, деревянная обшивка сгорела, открыв опадающую слоями ржавчину железных переборок. Только в одной каюте в иллюминаторе торчали осколки оплавившегося стекла.

Пароход был огромный — раза в два больше «Гастелло». Он был так велик, что не мог даже затонуть по-настоящему в этом бассейне, но «Гастелло» был живым, а он — грудой ржавого железа, осыпанной хрустящей под ногами рудной пылью. Лешка поднялся по накренившейся палубе к левому борту. Ветер дул с моря, гнал по речке мелкие волны. Лешка пристально смотрел на их зыбкую череду, бегущую у борта, и вдруг ему показалось, что они стали недвижимы, а пароход плавно, не дрогнув, тронулся с места и пошел вперед все быстрее и быстрее... Лешка перевел взгляд на берег — очарование исчезло. По-прежнему бежали волны, а пароход огромным железным утюгом стоял на своем мертвом якоре. И тут Лешка насторожился. В корпусе судна отдавались стук и слабый голос.

Лешка побежал на голос, к носу. Возле квадратного

люка валялись две удочки, в люк уходил узкий трап из железных прутьев. Лешка заглянул вниз. В метре от позеленевшей зловонной воды трап был обломан, под его искореженным концом плавала черноволосая голова. Голова запрокинулась, и Лешка увидел посиневшее, перепачканное мазутом мальчишечье лицо.

— Ты чего туда залез? — спросил Лешка.

— Д-дай руку,— стуча забами, ответил мальчик.

Лешка спустился по трапу, перегнулся к воде, протянул руку. Мальчик цепко ухватился за нее, подтянулся, вцепился другой рукой в трап и с помощью Лешки взобрался на него.

— В-вылезай, теперь я сам,— сказал он.

Вслед за Лешкой спасенный поднялся на палубу. Он был такого же роста, как и Лешка, только шире в кости и плотнее.

— Т-тебя как зовут? — спросил он, стряхивая с брюк и рубашки зеленую слизь.

— Лешка.

— А меня В-витька. Это я бы ск-коро утонул. З-замерз,— деловито сообщил он.

— Ты разденься.

Витька разделся и, размахивая руками, побегал по палубе, потом присел на корточки перед своей одеждой.

— Ну и ну! — сказал он, разглядывая испачканную рубашку.

Теперь к зелени и мазуту на ней прибавились красновато-бурые пятна рудной пыли.

— Может, песком? — неуверенно посоветовал Лешка.— И сам бы помылся.

— Ага,— сказал Витька и подобрал одежду и удочки.— П-пошли вместе?

На берегу они отыскали песчаный выплеск. Витька принялся стирать рубашку. Мазутные пятна расползлись еще шире, рубашка стала не чище, а грязнее. Витька раздосадованно посмотрел на нее, отбросил в сторону и бултыхнулся в воду. Лешка разделся и тоже выкупался. Потом они улеглись на покалывающую, щекочущую траву. Витька согрелся и перестал заикаться.

— Зачем ты полез туда? — снова спросил Лешка.

— Банку упустил. С червями. Она с крышкой и не утонула. Думал, с трапа достану, и сорвался. Я там долго плавал. Может, даже рекорд поставил, а? — спросил он и засмеялся.

— Может,— улыбнулся Лешка.

Витька ему нравился. Другой бы на его месте струсил и давно утонул, а этому хоть бы что, он даже смеялся. И смеялся Витька хорошо: пухлые губы широко раздвигались, и за ними оказывались очень белые крупные зубы. Над коротким, толстым носом срастались широкие черные брови. Когда Витька хмурился, брови нависали прямо на глаза.

— Попадет тебе,— сказал Лешка.

— Ага,— спокойно согласился Витька.— Лишь бы отцу не сказали,— прибавил он, помолчав.

6

День начался, как всегда. Проснувшись, Витька приоткрыл один глаз. Перед кроватью, застыв как каменные, сидели рядом Гром и Ловкий. Они уже давно впрыгнули через открытое окно и теперь не сводили с него глаз, терпеливо ожидая, когда он проснется. Он приоткрыл глаз пошире, и тотчас два хвоста дружно и радостно застучали по полу. Витька пошевелился. Гром и Ловкий, словно подброшенные пружиной, метнулись к нему в кровать. Началась такая громкая, веселая возня, что Соня открыла дверь, негодующе всплеснула руками и бросилась за щеткой. Гром и Ловкий уже знали, чем грозит появление домработницы, и в два прыжка оказались за окном.

Соня начала читать нотацию. Витька молча глотал завтрак, но не удержался и нагрубил — сказал, что это не ее дело и пусть она не суется. Соня обиделась:

— Вот погоди, я матери скажу!

— Ну и рассказывай! Испугался я...

Конечно, Витька не испугался — было бы чего! — однако настроение у него испортилось. Мать опять начнет стыдить и вспоминать все прошлые Витькины вины, а так как их немало, разговор предстоял долгий и неприятный. Ничего, кроме разговора, не будет, но кому хочется слушать, что ты такой и сякой, а должен быть не таким, а вот этаким, особенно если слушать это приходится нередко! А Витьке приходилось очень часто.

Всегда почему-то получалось так, будто он делает плохое нарочно. А Витька даже и не думал делать ничего плохого. Конечно, у него есть недостатки. Например, любопытство. Ему нестерпимо хочется узнать, как все устроено. От настоящей машины шоферы гонят, но, когда Витьке купили игрушечный заводной автомобиль — Витька был еще маленький,— он немного попускал его по полу, а потом

ножом и вилкой расковырял ему середку. Устройство оказалось простое, но автомобиль ездить перестал, и Витьке попало. Это было несправедливо: автомобиль-то купили, чтобы он, Витька, получил удовольствие — он и получил его, расковыряв машину,— а мама и Соня ругали его так, словно это их игрушка.

С куклой получилось хуже. Во-первых, она была Милкина, в во-вторых, он был уже постарше. Кукла была так устроена, что ее круглые голубые и очень глупые глаза закрывались, как только куклу клали на спину, и открывались снова, когда ее поднимали. Объяснить, как это происходит, ни мама, ни Соня не могли, отец был в командировке, и Витька не устоял: когда Милка заснула, расковырял голову куклы. И здесь устройство оказалось очень простое: глаза были на проволочной оси и поворачивались туда, куда тянул подвешенный грузик. Витька был очень осторожен, однако проволочки вылетели из своих гнезд, глаза выпали и гремели в куклиной голове, как погремушка. Увидев ослепшую куклу, Милка подняла отчаянный рев, и, хотя никто не видел, как Витька разбирал ее механику, все сразу же обвинили его. Куклу отдали в починку, но починили ее плохо, глаза заедало, и, чтобы они открылись или закрылись, Милке приходилось долго стучать кулаком по куклиной голове.

Таких историй за Витькой числилось множество. Были и похуже. Опять-таки виноват был не он, а его характер. Разве он виноват в том, что, услышав, узнав о чем-либо, он хотел сделать то же самое, особенно если это требовало смелости и выдержки?

Прочитав «Повесть о настоящем человеке», Витька прямо заболел от восторга. Вот если бы все книжки были такие, про настоящих людей и подвиги! Себя Витька считал настоящим и способным на любой подвиг. Поэтому, когда ребята заспорили, смогут ли они проползти — ну, не так, как Мересьев, а хотя бы с километр,— Витька предложил немедленно всем лечь и ползти. Ребята засмеялись и начали отнекиваться. Тогда Витька связал себе ноги поясом, чтобы были как раненые, и пополз по Морскому спуску вниз. Сзади шли ребята и считали шаги.

Он прополз до самой улицы и мог бы ползти еще дальше, но тут, по мостовой, то и дело проносились грузовики, и ему пришлось встать.

Спор он выиграл, но так исколол и ободрал руки и коленки, а штаны и рубашка превратились в такие грязные тряпки, что радость победы сразу померкла. А разговор

с отцом и вовсе поставил ее под сомнение. Увидев его в таком виде, мама в ужасе закричала:

— Кто это тебя?

Витька сказал, что никто, он сам себя испытывал. У взрослых странная логика. Мама, которая только что готова была броситься на его защиту, теперь так рассердилась, что, схватив Витьку за руку, потащила к отцу, отдыхавшему после обеда.

— Нет, ты посмотри, посмотри, что это такое! — кричала она. — Ведь только сегодня все надел... Я уж не знаю, что с ним делать! Это не мальчик, а я не знаю что...

Отец хмуро выслушал Витькины объяснения, потом спокойно и — что хуже всего — презрительно сказал:

— Лоботряс! Мересьев совершил подвиг, а ты — хулиганство. Ты что думаешь: передразнить его — значит стать настоящим человеком? Так ты не человеком станешь, а обезьяной... Не давай ему чистого,— сказал он матери,— пусть выстирает сам или ходит грязный...

Витька выстирал. Правда, Соня потом перестирала, но сначала стирал он сам, роняя в мыльную воду злые слезы. На отца Витька почему-то не обижался. Злился он, скорее всего, на то, что, несмотря на все усилия, ему никак не удается заслужить безоговорочное признание своей силы, выдержки и бесстрашия. Всегда получалось так, что одобряли либо ребята, либо взрослые, а единодушного одобрения он ни разу не получил.

А потом произошла история с Шариком. Витьке даже вспоминать о ней неприятно, и каждый раз он жмурился и тряс головой, отгоняя это воспоминание.

Прочитав книжку о цирке и дрессированных зверях, он тоже решил стать дрессировщиком. Диких зверей взять было негде, и он начал с маминого Васьки. Кот был толст и ленив, если его трогали, орал дурным голосом и царапался. Тогда Витька за две книжки и набор цветных карандашей выменял Шарика. Это был обыкновенный дворовый щенок, рыжий с торчащим кренделем хвостом, очень веселый и добродушный. Выдрессировать его тоже не удалось. Шарик осилил только поноску, но так привязался к Витьке, что бегал за ним по пятам с утра до вечера. Когда начался учебный год, он каждый день провожал Витьку в школу и даже пробовал прорываться в класс. За лето он сильно подрос и теперь при появлении других собак уже не жался к Витькиным ногам, а сам храбро их облаивал.

Боясь, что его сманит кто-нибудь или искусают собаки, Витька гнал его домой. Шарик поджимал хвост, виновато

поворачивался и, опустив голову, трусил по направлению к дому; но стоило Витьке отвернуться, как он немедленно поворачивал обратно, в несколько прыжков догонял Витьку и неслышно бежал за ним. На переменах он несколько раз увязывался за Витькой в класс и отлично знал парту, которая на столько часов отнимала у него хозяина. Во время уроков Витьке не надо было смотреть в окно, — он знал, что Шарик сидит на улице и ждет. Иногда он ненадолго убегал по своим собачьим делам, потом возвращался снова и терпеливо ждал.

Из-за него все и произошло. Людмила Сергеевна рассказывала о Троянской войне, и рассказывала так интересно, что сам Витька ничего бы и не заметил, но Сережка толкнул его локтем и показал глазами на дверь. Она потихоньку, без скрипа приоткрылась, в щель просунулся нос Шарика, потом его голова. Скосив глаза на учительницу, он немного переждал, потом все так же, не сводя глаз с Людмилы Сергеевны, распластавшись, пополз на брюхе к Витькиной парте. Людмила Сергеевна в это время показывала на карте и ничего не заметила. Шарик шмыгнул под парту и застучал по полу хвостом.

— Кто стучит? — обернулась Людмила Сергеевна.

Витька пнул Шарика ногой, но тот, выражая радостную готовность снести все, что угодно хозяину, застучал еще громче.

Людмила Сергеевна подошла и заглянула под парту:

— Чья собака? Вон из класса!

Витька сгреб Шарика, подтащил его к двери и сердито пнул. Шарик заскулил не столько от боли, сколько от обиды. Класс зашумел, захохотал. Витьке тоже стало смешно, и, возвращаясь на место, он подмигнул ребятам. Должно быть, Людмила Сергеевна заметила и подумала, что он нарочно подстроил с собакой. Она положила указку на стол и вытерла пальцы платочком. Лицо ее побледнело.

— Гущин, выйди из класса! — высоким, чужим голосом сказала она.

— А чего это я пойду? Я ничего такого не сделал, — сказал Витька и сел за парту.

— Выйди за дверь, я говорю.

Класс выжидательно замер.

— Да чего вы придираетесь! Никуда я не пойду.

— Пойдешь! И в следующий раз придешь с отцом.

— Ну да, — хмыкнул Витька, — так он и пойдет сюда! Есть ему когда ходить из-за всяких пустяков!

Людмила Сергеевна побледнела так, что стало страшно

смотреть, но Витька обозлился и ни на что не обращал внимания.

— Немедленно уходи из класса и без отца не возвращайся!

— Никуда я не пойду. А скажу отцу, так сами жалеть будете.

— Ты мне грозишь? — Людмила Сергеевна схватила журнал и почти выбежала.

Ребята молча проводили ее глазами и так же молча повернулись к Витьке. Он чувствовал себя героем: не струсил, не отступил. Пусть попробует что-нибудь сделать! Она недавно в школе и просто не знает, кто Витькин отец, вот и придирается.

— Ну, знаешь, Витька, это уж совсем...— сказал Сенька и покрутил головой.

— ...свинство! — закончил за него Толя Крутилин, староста класса.— Свинство, и больше ничего!

— Что ты, Толя! — в комическом ужасе закричал Владик Михеев.— Он же папе пожалуется! Папа же тебя — в-во! — и, растопырив пальцы, крутнул ими в воздухе, показывая, что сделает с Толей Витькин папа.

Все захохотали. Витька растерянно оглянулся. Он ожидал, что ребята будут на его стороне,— он ведь так ловко «срезал» учительницу,— а получилось наоборот: они стали на сторону Людмилы Сергеевны и смеялись не над ней, а над Витькой.

— Эх ты, руководящий товарищ! — пренебрежительно процедил Сережка Ломанов.

Витька почувствовал, как у него загорелись уши, потом щеки, все лицо. Уж от кого другого, но от Сережки он не ожидал, Сережка был его дружком, ничего не боялся и всегда первый заводил всякие истории. Его мать то и дело вызывали в школу; кажется, он не раз пробовал отцовского ремня, но не падал духом и всегда готов был поддержать любую выдумку. А теперь и он оказался против... А что он такого сказал? Правильно сказал! Факт же: Витькин папа — секретарь горкома, и главнее его в городе нету никого.

Витька видел, что за его отцом приезжает машина, а за отцами других мальчиков — нет. Дома у отца в кабинете стоял телефон, а ни у кого из знакомых ребят телефона дома не было. Отца все слушались. Витька не раз слышал, как отец сердито разговаривал по телефону и грозился «поставить вопрос на бюро». Витька хорошо знал, что

горком — в городе самый главный, а раз папа — секретарь горкома, значит, он главнее всех.

Понемногу Витька начал считать, что они — отец, а значит, и он — не такие, как другие, все должны их слушаться и бояться. То есть не то чтобы бояться самого Витьки, а бояться отца и, значит, не трогать Витьку. И, конечно, историчка, как только узнает, что он сын того самого Гущина, постарается все замять.

Однако Людмила Сергеевна не стала заминать. На следующий урок вместо нее пришел Викентий Павлович. Он хмуро посмотрел поверх очков на Витьку и сказал:

— Иди, Гущин, к директору.

К директору Витьку еще ни разу не вызывали, и он, хотя пошел вразвалку, делая вид, что ему все нипочем, начал уже жалеть, что вовремя не отступил и заставил учительницу уйти из класса. У двери кабинета он остановился, чтобы собраться с духом. За дверью бубнил недовольный голос Галины Федоровны:

— Ну как вы представляете, Людмила Сергеевна: что же, секретарь горкома придет объясняться и выслушивать ваши поучения?

— А почему нет? Он родитель или только секретарь горкома? И потом: я ничего не представляю и представлять не хочу! — Негодующий голос Людмилы Сергеевны дрожал.— Я знаю, что это возмутительно и этому надо сразу же положить конец!

— А! Легко вам говорить... А что мне в гороно скажут!

— Что бы ни сказали! Я сама пойду и скажу...

— Да спрашивать-то с меня будут! Нельзя быть чересчур принципиальной...

— Нельзя быть беспринципной!

— Ну вот, теперь вы хотите меня оскорбить.

— Что значит «теперь»? Выходит, я этого мальчишку оскорбила?

— Да нет, ну надо же все-таки понимать...

— Что — понимать? Вы подумайте, что из этого мальчишки дальше будет! Это же погибший человек!..

«Погибший человек» Витьку обозлил, он потянул ручку двери и, уже входя, услышал, как Людмила Сергеевна сказала:

— Как хотите, Галина Федоровна, так работать нельзя. Или вызывайте родителей Гущина, или я немедленно подам заявление об уходе. И пусть меня вызывают куда угодно...

Витька остановился возле двери. Людмила Сергеевна взяла свой портфель и вышла.

— Подойди сюда,— сказала Галина Федоровна.— Что ж ты так?.. А? Урок сорвал, Людмилу Сергеевну обидел... Нехорошо! Да. Не ожидала я от тебя...

Директор долго объясняла Витьке, как он нехорошо поступил, что он должен показывать пример, быть образцом для других школьников, а он вот, наоборот, не показывает примера, не служит образцом, а поступает нехорошо.

Витька слушал ватные слова и приободрялся: он уже видел, что Галина Федоровна сама боится, ничего ему не сделает и ищет только способа загладить происшествие.

— Да. Так ты вот что...— сказала под конец директор.— Папе, конечно, некогда ходить... А ты скажешь маме, чтобы она зашла...

Витька повернулся и вышел.

— Ну как, пропесочили ответственного товарища? — шепнул Сережка, когда Витька сел на место.

Витька показал ему кулак и сразу же после звонка ушел, чтобы не отвечать на расспросы.

Шарик, во всем виноватый и ни в чем не повинный, верный Шарик бросился ему навстречу и восторженно запрыгал вокруг. У Витьки отлегло от сердца. И потом, солнце так сильно, не по-осеннему пригревало, такое глубокое небо голубело над головой, что все мрачные мысли мало-помалу улетучились, и за обедом — отец приезжал обедать позже, перед вечером,— он весело рассказал, какой фортель выкинул сегодня Шарик. Мама и Соня посмеялись над Шариком. Потом, между прочим, Витька сказал, что директорша просила маму зайти.

— Зачем? — насторожилась мама.

— Не знаю,— притворился беззаботным Витька.

Спешить навстречу неприятностям, чтобы поскорее оставить их позади, он еще не научился и предпочитал, по возможности, отдалять их.

Мама сказала, что ей нужно идти на почту и по дороге она зайдет в школу. Витька свистнул Шарику, убежал гулять — под воскресенье с уроками можно было не торопиться. Вернулся он к вечеру и по тому, как посмотрела на него Соня, понял, что дома уже всё знают. Витька помрачнел, насупился, готовясь к маминой нотации, но мама ничего не стала говорить. Она вышла из отцовского кабинета с расстроенным лицом и, глядя в сторону, сказала:

— Иди к отцу.

Таким отца Витька никогда не видел. Он бывал раздра-

жен, недоволен, сердит. Сейчас он был в бешенстве. Лицо его побагровело, глаза ушли под нависшие, широкие брови; в кулаке, когда Витька вошел, с хрустом переломился толстый карандаш.

— Ну, рассказывай, как ты меня позоришь! — сдерживаясь изо всех сил, сказал отец.

Витька перевел дыхание и промолчал.

Отец сорвал с себя ремень, схватил Витьку за руку, хлестнул его ниже спины, потом отшвырнул ремень и оттолкнул Витьку.

У Витьки сами собой закапали слезы. Боли он не почувствовал, но такое случилось первый раз в Витькиной жизни. Ему стало страшно и стыдно. Должно быть, стыдно было и отцу, потому что он отвернулся, схватил другой карандаш, и он тоже хрустнул у него в кулаке.

— Говори! — крикнул отец, швыряя обломки карандаша на пол.

Потерянным голосом, то и дело останавливаясь, Витька долго и нудно тянул из себя: «Ну, она сказала», «а я сказал», «а потом она сказала»...

Когда Витька повторил, что «она пожалеет, если он скажет отцу», отец вскочил, но вдруг широко открытым ртом начал хватать воздух все чаще и чаще и все никак не мог захватить, потом медленно и мешковато стал оседать на диван. Это было так непонятно и жутко, что Витька заорал не своим голосом и выбежал. В кабинет вбежала мама, тоже закричала и бросилась к телефону. Все время, пока Соня и мама бегали с мокрыми полотенцами, пока приехал, а потом уехал врач, Витьку никто не замечал. Он съежился, забился в угол дивана в столовой и, дрожа, тихонько повторял: «Ой, только не надо!.. Ой, только не надо!..» Милка, напуганная суматохой, тоже взобралась на диван, подсела поближе к Витьке и еле слышно всхлипывала. Реветь громко она боялась.

Мама с измученным и сразу постаревшим лицом прово дила врача, о чем-то долго говорила с ним в передней, потом вернулась к отцу.

Соня вышла из кабинета на цыпочках, осторожно прикрыла дверь, взяла на руки Милку и сказала Витьке:

— Иди спать, разбойник. И в кого ты только такой уродился? Вот так когда-нибудь до смерти отца-то уморишь.

На другой день Витька ходил еле слышно, стараясь, чтобы его не замечали, и пытался по лицу Сони угадать, что с отцом. Сонино лицо было сердито и непроницаемо. У

мамы от бессонной ночи под глазами появились темные круги.

Витька слышал за дверью кабинета голоса и разобрал мамин голос:

— Не надо! Не сейчас, после...

Потом мама открыла дверь и позвала Витьку. Он вошел, стараясь не дышать. Отец полусидел-полулежал на подушках. Лицо его осунулось и побледнело. Мама сидела возле него и настороженно поглядывала то на него, то на Витьку.

— Ну, что же будем делать, Виктор?

Голос отца, всегда зычный и громкий, звучал теперь вяло и глухо, будто слинял, и это напугало Витьку больше, чем если бы он снова закричал, как вчера.

— По-твоему, выходит: «Папа — большой начальник, значит, его должны бояться и меня тоже!..» Может, ты по наследству и должность рассчитываешь получить?.. Уважение и доверие людей по наследству не получишь, их заслужить надо. Смотри, Витька: не переменишься — получишь ты в жизни под зад коленкой, и ничего больше!.. Не ждал я, что сын у меня вырастет трусом...

Витька обиженно вскинулся.

— Конечно,— подтвердил отец.— Ты грозил учительнице пожаловаться, наябедничать? Кто же ты после этого? Раз ты сам не умеешь отвечать за свои поступки, за мою спину прячешься, значит, ты трус...

Витька подготовил множество «честных-пречестных» слов, но отец отмахнулся:

— Придержи, придержи! Когда их много, они ничего не стоят... Ты скажи: сам-то ты понимаешь теперь, что и себя и меня позоришь?

— Понимаю,— опустил голову Витька.

— И то ладно. А если понимаешь,— что тебе нужно сделать? Честно и прямо заявить, что вот ты сказал гадость, просишь за это прощения и обещаешь, что больше этого не будет.

— Я... я сейчас сбегаю. Я знаю, где Людмила Сергеевна живет,— вскочил Витька.

— Ну нет, брат! Оскорбил учительницу в классе, при всех, а извиняться побежишь за уголок, наедине? Так дело не пойдет! При товарищах нахамил, при них и извиняйся. Понятно?

Витька молчал.

— Что, стыдно? В другой раз неповадно будет... Без этого домой не приходи,— повысил голос отец, и мать

встревоженно приподнялась на стуле.— И смотри: не вздумай врать!

Трудно было придумать наказание хуже. Витьку даже корчило, когда он пробовал себе представить, как будут над ним потешаться ребята, как задразнят его и он навсегда потеряет их уважение, славу бесстрашного, никогда не отступающего назад... Нет, сделать это было совершенно невозможно!

Но еще более невозможно было не сделать. К отцу приезжал уже не один врач, а три. Они долго и торжественно мыли руки — Витька держал наготове чистое полотенце,— заперлись в папиной комнате, потом непонятными словами вполголоса совещались в столовой. Из того, что они сказали маме, Витька понял, что у отца был сердечный припадок. Болезнь они называли не по-русски, от этого она казалась еще страшнее.

Нечего было и думать о том, чтобы уклониться от объяснения с Людмилой Сергеевной или даже оттянуть его. Отцу нельзя было волноваться. Ему запретили двигаться, работать. Телефон отключили. В доме ходили на цыпочках, и даже Милка хныкала и канючила шепотом, а куклу свою, если она не слушалась, шлепать выносила во двор.

В понедельник Витька брел в школу с замирающим сердцем и раскаленными ушами, уныло и безнадежно мечтая о том, что, может быть, Людмила Сергеевна не придет и ее уроки заменят, или случится пожар и занятия отменят вовсе, или вот сейчас на него наедет машина, не очень сильно, чтобы не было больно, но чтобы долго лежать в постели и не ходить в школу.

Машина не наехала, пожар не начался, а Людмила Сергеевна пришла — первый урок был ее. Когда все поднялись, чтобы поздороваться с ней, и сели потом на места, Витька остался стоять. Все головы мгновенно повернулись к нему. Людмила Сергеевна смотрела отчужденно и выжидательно. Во рту у Витьки сразу пересохло, он попытался сглотнуть эту сухость и осипшим, надтреснутым голосом сказал:

— Я, Людмила Сергеевна... прошлый раз сорвал урок и сказал, как последний... То есть я сказал неправильно и по-свински, что папа за меня вступится... Вот. Я прошу простить и обещаю, что такого никогда больше не будет...

До сих пор Витька смотрел на изрезанную крышку своей парты, но при последних словах собрался с духом и взглянул на учительницу. Лицо ее осталось спокойным,

только глаза стали словно бы мягче или веселее. По классу прошел шумок и затих.

— Хорошо, Гущин, я верю тебе. Садись,— сказала Людмила Сергеевна.— На чем мы остановились, ребята?

Витька не слышал того, что она рассказывала. Он несчетный раз переживал только что происшедшее, терзался ожиданием насмешек, которые обрушатся на него, как только прозвенит звонок, и уши его накалялись все больше. Сережка Ломанов, улучив момент, когда Людмила Сергеевна отвернулась к парте, притронулся к Витькиному уху, отдернул руку, отчаянно искривился и начал трясти рукой, дуть на пальцы, будто обожженные. Ребята кругом хохотнули, но сейчас же затихли под взглядом учительницы.

Прозвенел звонок. Людмила Сергеевна ушла, а Витька так и остался сидеть, нахохлившись и ожидая насмешек. Их не было.

Озадаченный Витька поднял голову. Никто не смотрел на него с насмешкой или осуждением, только Витковский стоял в стороне и презрительно усмехался. Ну, Витковский вообще...

Сережка хлопнул Витьку по спине и сказал:

— Вот, в другой раз не задавайся!.. Пошли на улицу — пускай уши простынут, а то скоро расплавятся.

Теперь уже все открыто и весело захохотали, и Витька тоже облегченно засмеялся.

Тем все и кончилось. Вопреки ожиданиям Витьки, ни отец, которому он все рассказал, ни Людмила Сергеевна, ни ребята никогда не попрекали Витьку этим стыдным эпизодом и даже не вспоминали о нем.

Сам Витька не забывал. С тех пор прошло почти два года, давно ушла из школы Людмила Сергеевна, подох от чумки Шарик и вместо него появились Гром и Ловкий, но каждый раз, когда ему вспоминалась эта история, настроение у него портилось.

7

Так оно испортилось и в это утро. Он поиграл немного с Громом и Ловким, потом прогнал их и ушел в свою комнату. Делать было решительно нечего. Все дружки и приятели были в пионерском лагере. Витька был в лагере в прошлом году и снова ехать в этом не захотел: там скучно.

Это был вовсе не лагерь, а обыкновенный каменный дом, в котором стояли железные кровати и все было точно как дома. Но дома никто за Витькой по пятам не ходил и не

держал его возле себя, как пришитого. А в лагере нельзя было ни шагу ступить, ни сделать ничего — ходи гуськом за вожатым. И то, куда они ходили? Пройдут с километр, два — и обратно: как бы не опоздать к обеду или чаю. Малыши собирали траву всякую, разных букашек. Витьку ни трава, ни букашки не интересовали. Ему хотелось побывать в рыболовецком колхозе, посмотреть, как ловят рыбу ставными неводами, а может, и самому немножко половить. Или сходить в лесничество. Что из того, что далеко? Они же не маленькие. Ого, и Витька и все его дружки — да они и двадцать километров бы прошли, лишь бы было интересно! Ну, может, не сразу, а с ночевкой — ночевать под открытым небом еще интереснее.

Купаться было и вовсе мученьем. Море — вот оно, рядом: ныряй, плавай, а купаться можно только на маленьком пятачке, огороженном буйками. Там все и толклись, как овцы в загоне. И что за купанье, если там глубина Витьке по пояс, а он может без передышки плыть часа два.

Даже пионерский костер и тот был ни на что не похож. Для него привозили аккуратно напиленные и наколотые дрова, и чтобы они лучше горели, поливали их керосином. Прямо домашняя печка, а не костер. Витька предлагал вожатому отправить бригаду ребят по берегу моря и насобирать плавнику — все-таки интереснее,— но вожатый не согласился, сказал, что они переутомятся.

Нет, Витька нисколько не жалел о том, что не поехал в лагерь. Плохо только, что не было никого из ребят. На шкафу у Витьки уже неделю лежал им самим построенный межпланетный снаряд. Задумал его Витька еще весной, когда прочитал в книжке Перельмана о Циолковском. Он тогда же наменял у ребят старых, испорченных кино-и фотопленок. Пороху удалось достать очень немного, а пленка здорово горела и, по расчетам Витьки, вполне могла заменить порох в его снаряде. Правда, снаряд был не металлический. Витька пробовал сделать его из кровельного железа, но получилось что-то похожее на самоварную трубу, которая, как он ни бился, не становилась похожей на ракету,— он только зря изрезал себе руки. Тогда Витька склеил каркас из палочек, а потом оклеил его картоном и газетами. Ракета получилась увесистая, с полметра длиной и совсем как настоящая. Витька покрасил ее красной краской, на носу нарисовал бронзой звезду, а на боку во всю длину написал: «Без пересадки на Луну».

Витька снял ракету, положил на стол и, достав краски, принялся после слова «Луну» пририсовывать восклица-

тельный знак. Ракета была совершенно готова, заряжена порохом, рулончиками и обрезками пленки, но пустить ее было невозможно. Нельзя же такой снаряд пускать в одиночку, чтобы никто из ребят не видел! Не Милке же показывать...

Милочка была уже здесь. Зажав куклу под мышкой, она тихонько подошла к столу и так внимательно наблюдала за Витькиной работой, что даже высунула язык и затаила дыхание, словно рисовал не Витька, а она сама. Ее уже давно мучило желание узнать, что это за штука, с которой брат возится столько времени и каждый раз прячет подальше от нее, на шкаф, чтобы она не могла достать.

— Витя, а чего это, Витя? — умильным голоском спросила она и тронула пальцем ракету.

— Не тронь руками! Снаряд,— сурово ответил Витька.

Милочка помолчала, подумала и осторожно спросила:

— Витя, а Витя, а какой это снаряд? Чтобы стрелять?

— Такой, да не такой. Я им в Луну выстрелю.

Милочка опасливо отодвинулась, но любопытство было сильнее страха, и она опять спросила:

— Витя, а зачем ты будешь в Луну стрелять?

— Отстань! Все равно не поймешь...

Восклицательный знак получился толстый, похожий на морковку.

Все было готово, тоненький серп луны уже появлялся после захода солнца — самое время пускать снаряд, а пускать не с кем. Ракета опять легла на шкаф, а Витька решил отправиться на рыбалку. Пересыпанные спитым чаем, черви лежали наготове в банке под кадушкой с дождевой водой. Витька взял удочки, банку, крикнул Соне: «Я пошел!» — и выбежал на улицу.

Наилучший клев был на молу, но туда далеко идти, с берега Витька никогда не ловил — это было пустым занятием, и он решил пойти на взорванный немцами нефтевоз, затонувший в ковше «Орджоникидзестали». Пробираясь по палубе, он споткнулся о железный прут, банка с червями полетела в люк, и вот теперь после нечаянного купанья, он тоскливо разглядывал вконец перепачканные рубашку и штаны. Можно было подольститься к Соне, помочь ей полоть грядки, тогда, может, все и обошлось бы, но подлизываться Витька не любил, да и грядки полоть не хотелось. И все равно: сначала Соня увидит его таким и раскричится, а только потом можно будет говорить о грядках.

Нет, уж лучше подождать до того времени, когда

вернется мама, и самому все ей рассказать. Все-то, конечно, рассказывать нельзя: если бы не этот паренек, он бы, пожалуй, и в самом деле утонул... А парень, видать, ничего, с таким можно и дружить.

— Ты где живешь? — спросил Витька.

— В детдоме. Я еще только начинаю там жить... Может, и не буду, убегу...

— Плохо там?

— Да нет, не потому. Заведующая пристает, кто да откуда... Им только расскажи — они возьмут да и вернут к Жабе.

— А кто это — Жаба?

— Дядька мой. Понимаешь, это такой гад, такой гад...

И Лешка рассказал все.

Витька долго молчал, насупливая широкие черные брови и кусая травинку.

— Знаешь, ты не бойся,— сказал он наконец.— Идем сейчас к нам, а когда придет папа, расскажем ему все. Он скажет, чего надо делать, чтобы тебя к дядьке не вернули. Или сам велит, чтобы не вертали. Эх, если б твой дядька здесь был, он бы ему показал! Думаешь, нет? Вот увидишь!

Лешка не очень поверил, но опять бежать, мыкаться в дороге и в Ростове — это было не такое уж приятное будущее, и он ухватился за надежду отдалить его.

Гром и Ловкий обнюхали Лешкины икры, вопросительно поглядывая на хозяина, и тотчас признали его своим.

Как ни старался Витька избежать встречи с Соней, избежать ее не удалось, но обошлась она лучше, чем он ожидал.

— Батюшки мои! — всплеснула Соня руками, увидев Витьку.— Что это такое?..

— Упал я, тетя Соня,— миролюбиво сказал Витька.— Вот честное слово, нечаянно упал...

— Упал!.. Свинья грязи всегда найдет. Иди переоденься да садись обедать. Вечно тебе особо разогревать надо!..

Лешку тоже посадили за стол, но он так стеснялся, что ни к чему не притронулся и остался голодным.

Из всей Лешкиной истории на Витьку наибольшее впечатление произвела поездка на теплоходе. Он, не скрывая, завидовал, выспрашивал подробности, ругал Лешку, что тот опять не спрятался, и вслух мечтал о таком же путешествии. Потом повел Лешку показывать свое имущество.

— Ого, сколько книг! — удивился Лешка.— И все твои?

— Конечно,— самодовольно сказал Витька.— А ты любишь читать?

— Люблю,— неуверенно сказал Лешка.

За последний год он не прочитал ни одной книги, да и в Ростове читал не очень много. Ему нравились книжки про всякую борьбу, про войну и приключения, но такие попадались не часто. Да и в них всегда было много описаний природы и рассуждений про любовь. Все, что говорилось про любовь и природу, Лешка пропускал не читая.

— Я знаешь что сейчас изучаю? Межпланетные путешествия. Ты «Занимательную астрономию» читал? Во книжка! Я даже уже снаряд построил, ракету, чтобы выстрелить на Луну...

— Ну да, на Луну! — засмеялся Лешка.— Так он и долетел!

— Не веришь? Это ты просто теоретически не подготовленный... Вот...— Витька достал ракету и положил на стол.— Она знаешь как действует?.. Иди отсюда! — прикрикнул он на Милочку, просунувшую голову в дверь.— Смотри! — И он начал объяснять Лешке закон всемирного тяготения, принцип движения ракеты и совершенную неизбежность попадания его, Витькиной ракеты на Луну.

Лешка многого не понимал и сомневался. Может, Витька и прав, что он неподготовленный — он только начал ходить в шестой и бросил школу, а Витька осенью должен был уже идти в седьмой класс и, конечно, знал больше,— но все-таки полет на Луну этой пузатой штуковины казался ему нелепой выдумкой.

— Не веришь, не веришь, да? — горячился Витька.— Вот скоро стемнеет, покажется луна — тогда увидишь!..

По мнению Милочки, мир был устроен несправедливо и неправильно. В нем без конца нужно было мыть руки и лицо, пить по утрам молоко, за обедом есть суп, а когда заболеешь, глотать горькие лекарства. Папины книжки трогать запрещалось. Правда, Милочку они и не интересовали: она все-таки проверила, что в них нет ни одной картинки. Витины книжки были с картинками, но от них Милочка прогонялась еще бесцеремоннее. Мороженое лоточники давали только за деньги, деньги же были у мамы и Сони, а у Милочки не было. Их приносил папа из того мира больших, в который Милочку не пускали, и каждый

раз, когда она пыталась в него проникнуть, ей говорили, что она еще маленькая и ничего не поймет. Мир больших был сложен и непонятен, мир Вити ближе и интереснее, но из него Милочку изгоняли тычками и подзатыльниками.

В хорошем и справедливом мире, который Милочка напридумывала, все было иначе. Там не было ни молока, ни лекарств, мороженое давали без денег, есть его можно было сколько угодно, и никто не пугал страшным словом «ангина». Если по правде, то страшным оно было для мамы, а для Милочки совсем нет. Ангина — это когда немножко болит горло, все за тобой ухаживают и дают все, что захочешь, например варенье, так что не нужно ждать, пока придут гости. В этом мире Милочка болела часто и долго, всласть, но без лекарств. В нем были толстые-претолстые и интересные-преинтересные книжки. А самое главное — там ее никто не гонял от себя, ей позволяли делать все, что она хочет, рассказывали и показывали всё-всё. Там Витя не дразнил ее «Милка-вилка-морилка», не турял от себя и Милочка участвовала во всех его таинственных делах и затеях... Это был прекрасный мир! У него был один-единственный недостаток: в нем нельзя было жить по-настоящему, а жить приходилось в этом, непридуманном и очень плохо устроенном.

С самого утра Милочка то и дело исчезала, вызывая панический испуг Сони: «Где Милочка?» А Милочка в это время уже устраивалась между колесами остановившегося грузовика и заглядывала ему под шасси, чтобы узнать, как там у него «в животике» все устроено, или — в который раз! — безуспешно пыталась наладить отношения с Машкой, соседской козой, и каждый раз та ее бодала. Или в припадке любви утаскивала Ваську в сад, кутала его в теплую мамину косынку и с неумеренной нежностью тискала. Васька, отстаивая свое право ходить без одежды, утробно орал и отчаянно царапался.

Мир был полон захватывающих тайн. Тайны были на каждом шагу, их нужно было как можно скорее узнать. И Милочка жадно и нетерпеливо с утра до ночи исследовала и открывала для себя огромный, удивительный мир вокруг, который назывался «жизнь».

Она потопталась за дверью, прислушалась — говорили про полет на Луну и непонятное — и побежала к Мишке, сыну соседки и своему приятелю. Он был толст, неповоротлив и добродушен. Ему не раз случалось, исполняя

назначенную Милочкой роль, попадать в неприятные положения — он надувался и уходил обиженный, грозясь больше не водиться, но скоро остывал и снова готов был подчиняться проказливому созданию с бантом и исцарапанными коленками.

Познакомились они сразу же, как только Гущины переехали на эту квартиру. Осваивая незнакомую территорию, Милочка обошла сад, пролезла через дыру в заборе, который отделял сад от пустыря, и на еле заметной тропке в чаще лопухов и крапивы столкнулась с козой. Коза стояла в нескольких шагах, тряся бородкой, что-то жевала и смотрела на Милочку. Выпуклые карие глаза ее поблескивали коварно и бесстыдно. Обойти ее никак было нельзя — по сторонам высились заросли крапивы. Милочка сделала осторожный шажок вперед — коза перестала жевать и наклонила голову, выставив длинные, корявые рога.

— Я же тебя не трогаю! — рассудительно и заискивающе сказала Милочка.

Коза опустила голову еще ниже и пошла навстречу. Милочка попятилась, споткнулась и шлепнулась. Она только собиралась изо всех сил закричать, как раздался глухой удар, треск — коза исчезла, и вместо козы над Милочкой оказался розовый и толстый жующий мальчик. Он обстоятельно рассмотрел Милочку и спросил с набитым ртом:

— Здорово она тебе поддала?

— Нисколечко! — презрительно ответила Милочка, отряхиваясь.— Я просто сама взяла и споткнулась.

— Ну да, «просто»... Она вон давеча бабке ка-ак поддаст! Та всю картошку рассыпала,— сказал толстый мальчик и захохотал.— Ты ее не бойся — она наша,— добавил он и достал из кармана кусок пирога. Посмотрев на Милочку, он разломил его, секунду поколебался и протянул кусок поменьше.— Нá, хочешь?

— Спасибо, мальчик, я не хочу кушать,— вежливо ответила Милочка.

Мальчик перевел дух и затолкал себе в рот кусок, который только что предлагал. Он жевал и смотрел на Милочку. Милочка чувствовала себя неловко — надо было что-нибудь сказать.

— Мальчик, а мальчик, почему вы такой толстый? — так же вежливо спросила она.

Мальчик, выпучив глаза, с трудом проглотил кусок и солидно сказал:

— Доктор говорит, у меня сердце неправильно работа-

ет. И еще одна болезнь: обмен вещей! — горделиво добавил он, принимаясь за второй кусок.

— А может, вы просто жадный и все время кушаете?

— Не-е, я не жадный,— помотал он головой.— А целый день ем потому, что мама говорит, я расту...

— Вы здесь живете?

— Ага.

— А как вас зовут?

— Мифка,— ответил он набитым ртом.

К этому Мишке Ломанову и побежала теперь Милочка. Мишка стоял на табуретке под белой акацией, набивал рот пахучими сережками и с блаженной улыбкой жевал: сережки были сладкие. Услышав, что Милочкин брат собирается стрелять в Луну, Мишка открыл рот и захлопал глазами, потом оглянулся на акацию, сорвал побольше сережек — про запас — и готовно слез с табуретки.

У Мишки были сложные отношения с братом Сергеем и его дружком Виктором Гущиным. Со стороны Мишки это было полное, совершенное и безоговорочное преклонение. Сергей знал и умел все, у него было столько занятных, великолепных вещей, книжек и инструментов, как ни у кого другого. Ради того, чтобы помогать Сергею или даже просто быть возле него, Мишка готов был на все. Сергей был высшим авторитетом, каждое его слово — законом, а желание — неоспоримым правом. Виктор был Сергеевым дружком — значит, ореол непререкаемого авторитета распространялся и на него. Однако Сергей и Виктор отвечали на Мишкино преклонение черной неблагодарностью. Они не прочь были использовать Мишку, если надо было куда-нибудь сбегать, что-нибудь принести или подержать, но, как только надобность в нем миновала, гнали от себя без всякой пощады и сожаления. Мишка прощал им даже и это, лишь бы в следующий раз, когда понадобится, его позвали опять.

Милочка и Мишка залегли в траве на границе сада и двора, чтобы держать под наблюдением дверь и окна Витиной комнаты, а когда Витя и мальчик с сердитыми глазами пронесли ракету через сад на пустырь, они двинулись следом. Со снарядом долго что-то не ладилось, и Витя дважды бегал домой. Мишка сжевал все сережки и перешел на «калачики» подорожника. Он хотел сбегать домой за чем-нибудь посущественнее, но Милочка не пустила.

Со снарядом действительно не ладилось. Витька воткнул в землю тонкую палочку с проволочным кольцом, и сверху вставил в него ракету, но, как ни умащивал ее, она

не хотела держаться вертикально. Пришлось сбегать за проволокой и сделать еще одно кольцо, чтобы придерживать хвост. Зажигать спичкой торчащий из хвоста рулончик пленки было опасно, и он сбегал за бумажной лентой серпантина. Наконец лента была растянута на несколько метров, прикреплена к рулончику. Они легли у дальнего конца ленты, и Витька дрожащими руками поджег ее. Толстая бумага горела плохо, огонек, лениво съедая ленту, пополз к ракете.

Рулончик вспыхнул, из хвоста ракеты метнулось шипящее пламя, ракета качнулась, вместе с палкой поднялась немного вверх, вильнула в сторону и упала в чащу лопухов. Оттуда повалил дым, вспыхнуло пламя, раздался отчаянный вопль и дружный рев в два голоса. Виктор и Лешка бросились туда.

Межпланетный корабль упал в трех шагах от Мишки. С шипеньем извергая вонючий дым, он покрутился на одном месте и взорвался. Мишка и Милочка заорали изо всей мочи и на карачках поползли от страшного места, позабыв о крапиве.

И почти сейчас же в облаке дыма, воняющего жженой гребенкой, появились насмерть перепуганные Мишкина мама и Соня.

— Боже мой! Что случилось? — закричали они.

Мишка оборвал рев, захлебываясь, проговорил:

— Меня Витька взорвал! — и заорал еще громче.

От взрыва он нисколько не пострадал, но с перепугу залез в крапиву, весь обстрекался и орал теперь не только от пережитого страха, но и от жгучих ожогов.

На следующий день от испуга не осталось следа, и он так хвастался перед ребятами всей улицы, как Витька его взорвал, что ребята перестали дразнить его «Жиртрестом» и начали дразнить «Взорватым», и Мишка с гордостью принял эту новую кличку. Но это было на следующий день, а сейчас он басом ревел на одной ноте, пока хватало воздуха в легких, на секунду смолкал, набирал воздуха и с воодушевлением ревел снова. Милочка старалась не отставать.

Испуг Татьяны Васильевны и Сони мгновенно превратился в негодование, и с двух сторон они обрушились на Витьку. Витька, опустив голову, молча принимал сыпавшиеся на него гневные слова. Лешка попробовал объяснить, что Витька не виноват, но Соня и Татьяна Васильевна в один голос закричали ему, чтобы он хулиганства не оправдывал и уходил туда, откуда пришел, пока цел, а потом опять принялись за Витьку. Лешка отступил и, прово-

жаемый ревом — звонким Милочки и басистым Мишки,— вышел на улицу. Рассчитывать теперь на заступничество Витькиного отца не приходилось.

Лешка с тревогой подумал о том, как посмотрят в детдоме на его отлучку, торопливо прошел два квартала и только тогда сообразил, что не знает, куда идти. Уже совсем стемнело, на небе появились редкие звезды, тонкий серп месяца поднялся выше, отбрасывая от деревьев и домов жидкую тень. На домах, освещая жестянки с номерами и названиями улиц, горели электрические лампочки, свет их был слаб и тускл. Прохожие встречались все реже, и они не знали, как пройти к детдому. Тогда Лешка решил разыскать центральную улицу, проспект, а от него уже искать детдом. Проспект оказался рядом — Лешка все время ходил по параллельным улицам. Гулянье на проспекте шло на спад. Пары, группы сворачивали в боковые улицы, переулки, поток гуляющих на тротуарах быстро таял. Здесь тоже никто не знал, как пройти к детдому. Милиционер, которого Лешка остановил, подозрительно осмотрел его и спросил:

— Тут не один детдом. Какой номер? На какой улице?

Лешка знал единственное, что заведующую зовут Людмила Сергеевна.

— Не знаю никакой Сергеевны. Не морочь голову, проходи! — сурово сказал милиционер.

Тогда Лешка решил разыскать гороно и там узнать адрес. Домик гороно был заперт. Лешка пробовал вспомнить дорогу, которой шел с Людмилой Сергеевной, но ночные улицы совсем не были похожи на те, что он видел. Он свернул за угол. Ему показалось, что он свернул неправильно, и он вернулся обратно. Теперь оказалось, что он находится на совершенно незнакомой улице. Прохожие исчезли. Можно было бы присесть где-нибудь на скамейку у ворот и дождаться утра, но Лешке все больше хотелось есть, и с моря поднялся холодный ветер. На ходу все-таки было теплее, и он побрел наугад.

8

Людмила Сергеевна недаром опасалась ремонта. Ее захлестнула неразбериха больших и малых дел. Каменщики, штукатуры, маляры требовали непрерывного внимания и наблюдения. Надо было получать деньги в банке, а для этого — бегать в гороно и горисполком. А тут еще заболела Ксения Петровна, единственная воспитательница, остав-

шаяся в городе, и пришлось приставить к «галчатам» Анастасию Федоровну. Анастасия Федоровна — прекрасная мастерица, но воспитательница не бог весть какая. Хорошо, хоть старшие девочки помогают. А отчетность? И кто только придумывает бесконечные бланки и формы, кому они нужны? Ох, добраться бы до этих бюрократов и поговорить с ними по-свойски...

Весь день прошел в беготне. Домой вырваться не удалось, и Любочка прибежала обеспокоенная. Людмила Сергеевна немедленно отправила ее обратно — ничего с ней не случилось и не случится, а пусть она накормит отца, когда тот придет с работы, и присмотрит за малышкой. Люба уже серьезная девочка, на нее можно положиться. Как вытянулась за этот год!.. Так прозеваешь и молодость дочкину. Дочкину... А своя жизнь? На кого стала похожа?..

Людмила Сергеевна мельком взглянула в зеркало и отвернулась. «Лучше уж не смотреть. Расплылась, опустилась. И платье тоже — прямо капот какой-то. А когда-то ведь была вроде дочки, похожа на тростиночку. И хохотушка... Ах, какая глупая хохотушка!.. Надо за собой все-таки следить, не шестьдесят же мне. Так и мужу опротивеешь. Другие в мои годы вон как козыряют... Ну, это все потом, потом!.. Лишь бы до возвращения ребят закончить ремонт... Хоть и с боем, но все, слава богу, идет хорошо... Пожалуй, можно и домой собираться».

Пришла дежурная, Сима Павлова, и сообщила, что все ребята уже легли.

— Очень хорошо! Иди и ты спать,— сказала Людмила Сергеевна.

Сима переступила с ноги на ногу и не ушла.

— Людмила Сергеевна, а вы новенького отпустили куда? Горбачева.

— Нет, куда же я его отпущу?

— Так его нету, Людмила Сергеевна.

— Как — нет? — похолодела Людмила Сергеевна.

— Совсем нет. И целый день не было. И на прогулке, и к обеду не приходил...

Людмила Сергеевна вспомнила что «дичок», как она про себя окрестила Алешу Горбачева, и ей целый день не попадался на глаза.

— Хорошо, иди.

Она подождала, пока Сима перебежала двор, потом пошла в спальню мальчиков. Конечно, койка Горбачева была пуста, незачем было и проверять. Она вернулась к себе, распахнула окно. С моря задувал прохладный ветер,

но ей было душно. Над дверью в кухню и у входа в спальни горели лампочки. Тоненькие светящиеся нити их не могли побороть темноту. Месяц уложил через весь двор черные тени. Когда ветер спадал и стихали шумливые вершины тополей, было слышно, как возле конюшни, гремя цепью и щелкая зубами, Налет выкусывает блох.

Вот и случилось! Вот и подвела!..

Когда Людмилу Сергеевну в конце 1946 года вызвали в гороно и предложили принять заведование детдомом, она махнула рукой и засмеялась:

— Нашли Макаренку! Да я со своими управиться не могу.

Отшутиться не удалось. После долгого разговора ей сказали, что кандидатуру ее предложил секретарь горкома товарищ Гущин.

— Да разве я смогу? — взмолилась Людмила Сергеевна.— Они же на мне верхом ездить будут!

— Не будут. Товарищ Гущин сказал, что характера у вас хватит. Не подведете!

Людмила Сергеевна вспыхнула, вспомнив стычку из-за сына Гущина, и начала доказывать, что она к такому делу не подготовлена, у нее нет опыта.

Как всегда в таких случаях, ей сказали, что никто не рождается с готовым опытом, его приобретают, а учебных заведений, готовящих директоров, не существует.

В конце концов она сдалась. Сколько раз потом пожалела об этом, сколько пролила слез!

Приняла тридцать пять детей, потом стало сорок семь, потом шестьдесят четыре. Приходили изголодавшиеся, завшивленные, а уж грязные!.. И всего не хватало, одеть было не во что. Даже трусов не было. Хорошо, удалось достать какие-то апельсиновые дамские рейтузы, и мальчишки целый месяц щеголяли в них. На улицу не выпускала, да они и сами стеснялись... Это все миновало: появилась и одежда, и обувь, и продукты.

Материально было трудно, но еще труднее приходилось с детьми. Большинство сразу же осваивались, принимали и выполняли все как должное, но попадались такие экземпляры, что впору было самой убежать... Однако, как ни было трудно, все заканчивалось благополучно.

Стихали самые строптивые, выпрямлялись исковерканные, и эти, пожалуй, были дороже всех — она их спасла. Никому в этом не признаваясь, Людмила Сергеевна с гордостью говорила себе: «Ай да Людмила! Молодец, не подвела!..»

И вот — подвела! Людмила Сергеевна тоскливо подумала, что придется теперь объяснять и в гороно и в облоно, как это она не сумела удержать, не уберегла этого дичка...

Почему он убежал? Куда? Хорошо, если его скоро подберут, а если нет? Она тут же начисто забыла о том, что скажут ей, и думала лишь о том, что произошло или могло произойти с Лешкой Горбачевым. Ей представилось, как Лешка валяется на заплеванном вокзальном полу среди окурков или как бьют его спекулянты на базаре, где он, вконец оголодавший, и украл-то, быть может, всего-навсего жалкую морковку... А если утонул? Или попал под машину?..

Людмила Сергеевна вскочила, выбежала во двор. Вершины тополей шумели под холодным ветром, бледный рожок месяца одиноко висел в черном небе. Она вернулась к себе. Давно следовало уйти домой, но она не уходила. Ждать и надеяться было бессмысленно, но она все-таки надеялась и ждала. Воображала всякие ужасы, приключившиеся с Горбачевым, и ругательски ругала себя за это. Решала уходить и все-таки не уходила.

Наконец, решившись окончательно, она взялась за створку окна и остановилась: ей показалось, что тень, падающая от ворот, шевельнулась.

— Кто там? — крикнула она, высунувшись из окна.

Тень качнулась, под лунный свет вышел Лешка. Сердце Людмилы Сергеевны дрогнуло и заколотилось.

— Иди сюда,— сдерживая себя, позвала она.

Но, когда Лешка вошел и бычком посмотрел на нее, она, измученная усталостью и всеми придуманными несчастьями, не выдержала и расплакалась. Лешка с недоумением смотрел на Людмилу Сергеевну. Директорша должна была ругать его, грозить, наказывать, а эта плакала совсем как мама, когда Лешка убегал надолго, не сказавшись, и потом приходил домой. При этом воспоминании в горле у Лешки появился и застрял твердый комок.

— Ну где... где ты бродил, мучитель? — спросила Людмила Сергеевна и запрокинула рукой его лицо.— Вон ведь — весь как ледышка...

— Я з-заблудился,— пробормотал Лешка.

Она обхватила его рукой за шею, лицо Лешки уткнулось в ее мягкое, теплое плечо. Клубок стал еще тверже, заполнил все горло, задрожал, и плечи Лешки, разучившегося плакать Лешки, затряслись в беззвучном плаче.

— Ну ладно, поревели — хватит,— уже совсем другим,

спокойным и смешливым голосом сказала Людмила Сергеевна.— Ты небось есть хочешь?

— А-ага.

Кладовая была заперта, на кухне не оказалось ничего, кроме краюхи ржаного хлеба и зеленого лука. Людмила Сергеевна принесла, отломила Лешке кусок: «Ешь!»

Сама почувствовала отчаянный голод, вспомнила, что сегодня не обедала, и отломила кусок для себя. Так, сидя друг против друга, они по очереди тыкали перья зеленого лука в блюдечко с солью и с хрустом жевали их.

— Расскажи мне про свою маму,— сказала Людмила Сергеевна.

Лешка рассказал, как они жили вдвоем, как мама заболела и умерла.

— А потом? — осторожно спросила Людмила Сергеевна.

Лешка поколебался, начал рассказывать про жизнь с дядей Трошей и тетей Лидой и незаметно рассказал все.

— Дурачок ты, дурачок! — вздохнула Людмила Сергеевна.— Неужели мы тебя такому человеку отдадим?.. Ну ладно, иди спать.

Людмила Сергеевна проводила его в спальню. Анастасия Федоровна спросонья ничего не поняла и тут же уснула опять. Лешка нырнул под одеяло и блаженно свернулся калачом. Спальня была полна тихого детского дыхания.

«Устали мои работнички. Набегались»,— подумала Людмила Сергеевна.

Разметавшись, спали галчата. Спокойно и размеренно, как все, что он делал, сопел Тарас Горовец, «маленький мужичок», хозяин Метеора. Вот уже сонно задышал и дичок, Алеша... Как-то он сойдется с другими ребятами?..

Она вздохнула и пошла к себе. Пора уже было хоть ненадолго уснуть и ей. На востоке начало светлеть, приближался новый день, и, что бы он ни принес — радости или огорчения,— нужно быть к нему готовой.

9

У Лешки вдруг оказалось множество обязанностей, хотя его никто ни к чему не понуждал. Он помогал Ефимовне носить уголь и дрова, Анастасии Федоровне — водить галчат на прогулки, даже малярам пробовал помогать, но Людмила Сергеевна, увидав его обрызганного краской, заставила вымыться и запретила подходить к малярам.

С наибольшим удовольствием он ухаживал бы за Метеором, но Тарас Горовец ревниво и неодобрительно следил за каждым подходившим к лошади, все сделанное переделывал по-своему и в разговоры не вступал.

— Давай я тебе помогать буду, а? — сказал ему Лешка, когда Тарас вывел Метеора и начал чистить.

— А чего тут помогать? Я сам...— буркнул Тарас.

— Ну хоть что-нибудь.

— Иди навоз подбери, як хочешь.

Навоза в стойле было немного. Лешка быстро сгреб его и отнес в кучу, лежавшую неподалеку от конюшни. Тарас любовно оглаживал Метеора щеткой. Метеор вытягивал шею и пытался губами ухватить его руку.

— Ну, балованный! — проворчал Тарас, достал из кармана кусок сахару и протянул мерину.— Нá, сладкоежка...

— Опять сахаром кормишь? — насмешливо проговорила Кира, оказавшаяся рядом.

Тарас оглянулся на нее и ничего не ответил.

— Думаешь, я не видела? Он, знаешь...— обернулась Кира к Лешке,— он почти весь свой сахар Метеору скармливает. А на Первое мая из подарка все пряники Метеору скормил... А что, скажешь — нет?

— Я твои скармливал, да?

— Так я и говорю, что свои.

— Ну и не твое дело! Иди отсюда!

— И пойду, подумаешь! — оттопырила губы Кира и убежала.

— Вот смола! — сказал Лешка.— Я думал, только ко мне, а она ко всем липнет.

Кира постоянно вертелась перед глазами, заговаривала или поддразнивала, встревала в любой разговор. Лешка не забыл, как она задирала нос при первой встрече. Его раздражали несмешливо поблескивающие Кирины глаза, всегда приоткрытый, готовый растянуться в улыбке рот. Лешку не раз подмывало стукнуть ее, чтобы не мозолила глаза, но он боялся, что Кира пожалуется Людмиле Сергеевне.

Ответа Лешка не дождался — Тарас молча занимался своим делом.

Он и в самом деле напоминал деловитого, хозяйственного мужичка: двигался неторопливо, говорил спокойно, рассудительно и совершенно был не способен сидеть сложа руки. В детский дом его привезли из маленькой деревни, в городе он никогда прежде не бывал, и поначалу Тарас затосковал. Он сторонился сверстников, не бегал и не кричал, как они,— просто так, от радости жить и слышать

свой звонкий голос. Молча и неодобрительно он наблюдал их шумную возню и иногда, ни к кому не обращаясь, тихонько говорил:

«На дощ тягне. То для хлиба добре...»

Или:

«Оце, мабуть хлопцы погнали коней напуваты...»

Здесь, в детдоме, не было коней, хлеб не рос перед глазами шумливой стеной колосьев — его привозили готовым из пекарни, не было ничего, что напоминало бы его прежнюю жизнь, и Тарас тосковал.

Ожил он с появлением Метеора. Худущий, с торчащими ребрами, с болячками на холке и боках, с растрескавшимися копытами, Метеор стоял посреди двора, свесив голову к земле и не обращая внимания ни на сбежавшихся ребят, ни на мух, облепивших его болячки. Когда-то, должно быть, он славился своей резвостью — недаром же назвали его Метеором,— теперь это была старая, разбитая кляча, списанная «Автогужтрансом» за полной неспособностью сдвинуть с места что-либо, кроме себя самой. Ребята стояли в безопасном отдалении: кляча-кляча, а вдруг лягнет или укусит? Тарас растолкал их, подошел к Метеору, погладил его по шее. Метеор приподнял голову и снова устало опустил. Тарас ощупал торчащие мослы, осмотрел болячки и со всем презрением, какое только мог выразить, произнес:

— Хозяины! Довели коняку...

Кто были эти прежние «хозяины», осталось неизвестным, единственным же и полновластным хозяином Метеора теперь сразу стал Тарас. Он не отходил от мерина, кормил, поил его, чистил, смазывал болячки где-то раздобытым дегтем, и если бы позволили, то и спать бы ложился рядом с ним в конюшне. Чтобы Метеор поскорее вошел в тело, Тарас даже пробовал таскать для него хлеб из кухни, но был пойман и пристыжен. Таскать он больше не пытался, но остался при особом мнении, так как после выговора невнятно пробурчал что-то про «хворую тварыну», для которой жалко «шматка хлиба». Однако и после этого «шматок хлиба» для Метеора, а то и кусок сахару всегда находился в карманах у Тараса.

Метеор поправился. Зажили болячки, перестали устрашающе торчать мослы и ребра, и оказалось, что Метеор не такая уж старая кляча, годная только на живодерню. Он усердно возил все нужное детдому, работал на подсобном участке, вовсе не лягался и позволял всем себя ласкать, за что его особенно любили галчата. Любили его все, но хозяин был только один — Тарас. Тарас готов был бросить все,

даже школу, лишь бы заниматься Метеором, и сначала ворчал, если ему напоминали об уроках:

— Ото еще — уроки! А робыть когда?

«Робыть» — работать — было, по его мнению, единственным стоящим занятием, а все остальное — тратой времени. Однако, после того как он однажды получил по русскому языку двойку и Людмила Сергеевна предупредила Тараса, что еще одна двойка — и он будет отстранен от Метеора, учился старательно.

Теперь, когда в детдоме были Метеор и телега, свой земельный участок за городом, жизнь Тараса приобрела содержание и смысл, руки — нескончаемую и желанную работу. А с появлением в детдоме Устина Захаровича Тарас получил учителя с непререкаемым авторитетом и образец для подражания, совершенный и недостижимый. Устина Захаровича Тарас, как с ним ни билась Людмила Сергеевна, упорно называл «дядько Устым»,— это казалось ему более уважительным, нежели звать по имени и отчеству.

Устина Захаровича Лешка увидел через несколько дней, когда вместе с Тарасом и старшими девочками поехал на подсобное хозяйство за картошкой.

Выслушав Людмилу Сергеевну, Тарас подумал и внушительно сказал:

— Только обратно они нехай как хочут: хоть на машине, хочь пешки...

— Это почему?

— Я там заночую: пускай Метеор подкормится, а то все сено да сено... И обратно он картошку повезет. Что ж, и их везти и картошку? Это ж вам не машина, а коняка...

— Он скоро на себе Метеора возить будет,— сказала Кира.

— Ох, Тарас, Тарас! — улыбнулась Людмила Сергеевна.— Похоже, Кира правду говорит... Если подвернется машина и заберет их — хорошо, а нет — приезжай сегодня же обратно...

Тарас насупился и ничего не ответил.

За городом с мощеной дороги свернули на старый грейдер. По обе стороны его лежали огороды. Лохматились картофельные кусты; как на параде, опираясь на палочки, рядами выстроились помидоры; распластались лопастые листья и вьющиеся плети тыквы. За огородами волновались желтеющие хлеба.

Колеса с размаху ныряли в разбитую колею, въезжали на валы окаменевшей грязи, телега подпрыгивала и греме-

ла. Девочки попробовали петь про любимый город, баян, платок голубой и примолкли. Им все равно было весело. Когда телега накренялась, они заваливались в нее, хватались друг за друга, ойкали и хохотали. Лешке нравилось все: и зеленые поля вокруг, и палящее солнце, даже разбитый, вздыбившийся грейдер, заставлявший девочек взвизгивать. Тарас как пришитый сидел на передке, свесив вниз босые ноги и держа в левой руке вожжи. Время от времени он через плечо оглядывался на шумную компанию за спиной, и Лешка расслышал, как он проворчал:

— Пустосмешки!

— Далеко еще? — спросил Лешка.

— Не-е... Еще чуток.

«Чуток» занял около часа. Потом Тарас повернул Метеора на еле заметную в траве колею и показал вперед:

— Вон и хата дядькова. Дядьки Устыма.

На краю бахчи виднелся шалаш из веток и подсолнечных стеблей.

— Это он там все время и живет?

— Не-е, сторожует. Пока огородину не заберем.

Они подъехали к шалашу. Из него вылез Устин Захарович. Он был худой, высокий, сутулый. Казалось, он не то стесняется своего роста, не то опасается его и пригибается нарочно, словно и здесь, под открытым небом, может стукнуться головой о притолоку. Глаза его были привычно прищурены от яркого степного солнца. Почти до самых глаз он зарос черной с проседью щетиной, такой на вид колючей, что от одного взгляда на нее Лешке захотелось почесаться.

— Здрасте, Устин Захарович! — закричала Кира, спрыгивая с телеги.— Мы за картошкой приехали. Людмила Сергеевна прислала. А у нас новенький, Устин Захарович, вот он,— показала она на Лешку.— Горбачев.

Устин Захарович начал распрягать Метеора. Девочки достали ведра и лопаты. Тарас вынул лежавший в передке сверток и отнес в шалаш.

— Я вам хлеба привез, дядько Устым,— сказал он.— И соли.

— Эге,— сказал Устин Захарович.

— Где начинать, Устин Захарович? — кричала Кира, примериваясь к ближайшим картофельным кустам.— Здесь, да?

— Ни, там не можно,— ответил Устин Захарович и зашагал вдоль поля.— Тут можно,— указал он, останавливаясь, и коротко пояснил: — Ранняя.

— Жанна и Сима будут вдвоем, и мы вдвоем, хорошо? — сказала Кира.— Мы их сейчас обставим.

Высокая черноглазая Жанна улыбнулась. Она почти всегда молчала и улыбалась ласковой улыбкой доброго и близорукого человека. Лешка уже знал, что за высокий рост и молчаливость ее называют «Великой немой». Зато неразлучная с ней полная маленькая Сима с подпухшими, будто сонными глазками успевала отвечать и за себя и за подругу, каждый раз оборачиваясь к ней за подтверждением:

— Ох, Кира! Всегда ты выскакиваешь! А может, не вы, а мы вас обставим?.. Правда, Жанна?

Жанна опять молча улыбнулась.

Лешке не хотелось быть в паре с Кирой. Он бы предпочел молчаливую Жанну или даже тараторку Симу, не говоря о Тарасе, но подружки были неразлучны, а Тарас уже занят: окашивал вдоль дороги траву для Метеора.

Лешка молча вонзил лопату в землю и выворотил картофельный куст. Мелкая красноватая картошка с громом посыпалась в ведро.

Кира азартно шарила в земле, бегала с ведром к мешку, стоящему на меже, каждый раз сравнивала, кто накопал больше, и сообщала Лешке.

Солнце склонилось к западу. Устин Захарович отволок два мешка в телегу.

— Хватит,— сказал Тарас.— Теперь можете и до дому...

— Как это — до дому? — возмутилась Кира.— А на чем?

— Я ж говорил, не поеду сегодня. Вон машины ходят...

В отдалении, на грейдере, время от времени взрывались облака пыли, вздымаемой грузовиками.

— А если нас не возьмут? Вот мы Людмиле Сергеевне расскажем! — набросились на Тараса Кира и Сима.

Он отвернулся и пошел к Метеору, аппетитно хрупавшему свежескошенную траву. Девочки знали, что переупрямить Тараса нельзя.

— Ну и ладно! — сказала Кира.— Людмила Сергеевна ему покажет! Пойдемте, девочки... До свиданья, Устин Захарович!

Лешка шагнул вслед за девочками, потом нерешительно остановился и посмотрел на суровое лицо, плотно сжатые губы Устина Захаровича:

— А можно, я с вами останусь?

Устин Захарович кивнул:

— Можно.

Девочки ушли. На обочине грейдера долго виднелись их пестрые платьица. Потом несущийся по дороге клуб пыли опал возле них, видно было, как из кузова им протягивали руки, как они взобрались. Пыльное облако взорвалось снова и умчалось к городу.

— Идем,— сказал Лешке Тарас и подал ему закопченный котелок.— Там, в балочке, крынычка есть, ты воды наберешь, а я — на костер.

У самого края поля спустились в овраг. Тарас полез по склону, собирая сухие коровьи лепешки и ветки, а Лешка отправился разыскивать крынычку — родничок. Маленький бочажок, густо обросший травой, был полон холодной прозрачной водой, но в нем плавал зеленый пучеглазый лягушонок. Лешка вылил обратно воду, которую было зачерпнул, и растерянно оглянулся. На четверть выше бочажка из земли выбивалась тонкая струйка воды. Лешка подставил котелок и долго ждал, пока ленивая струйка наполнит его.

— Купался ты, чи шо? — впервые за все время улыбнулся Тарас, когда Лешка вернулся к шалашу.

— Лягушка там,— смущенно объяснил Лешка.

— Так шо, испугался? — лукаво спросил Тарас.

Он уже разложил костер, небольшой, но жаркий, подвесил котелок, а в золу под огнем запихивал картофелины.

— Ну вот, скоро и повечеряем,— удовлетворенно сказал он, закончив работу.

Солнце опустилось за горизонт, залило небо закатным заревом. Тучи пыли, все реже всплывающие над грейдером, стали багровыми, как далекие пожарища. Зарево стремительно притухало, на смену ему надвигалась густая ночная синева, только высоко в небе долго светились розовым светом тонкие перистые облака.

Тарас отставил в сторону закипевший котелок и бросил в него щепотку чая, сгреб в сторону жар и палочкой выковырял из золы картофелины с обуглившейся кожурой. Перебрасывая с руки на руку и дуя на нее, он разломил картофелину и понюхал:

— Готова!

Устин Захарович и Лешка придвинулись к тряпочке, на которой лежали хлеб и крупная соль.

Пожалуй, еще никогда Лешка не испытывал такого удовольствия от всего: и от того, что они вот так, руками едят неописуемо вкусную печеную картошку, и от того, что руки и поясница ноют от усталости, и от того, что чай при-

ятно пахнет дымом, и он даже вкуснее, потому что пьют они его без сахара и по очереди из одной обжигающей губы и руки алюминиевой кружки, и от того, что сидят молча, а над ними неслышно вспыхивают в высоком небе дрожащие звезды и, как оранжево-красная звезда, дрожит и трепещет в бескрайнем черном поле их костер.

Темень обступила их со всех сторон, вместе с нею подошла тишина. И тотчас ее спугнули. Где-то несмело чиркнул сверчок, ему ответил другой, и вот уже загремели, зазвенели они со всех сторон, и казалось, что переливается, звенит горьковато пахнущий полынью степной воздух и робко мерцающий звездный свет.

Лешка лег у костра. Если бы так было всегда — и костер, и Тарас рядом, и даже суровый «дядько Устым», лежать вот так каждую ночь до утра, смотреть на далекие звезды и слушать льющийся отовсюду звон...

— Пойдем спать,— сказал Тарас, подгребая рассыпавшиеся угли.— Завтра по холодку поедем.

Они легли на ворох пахучей травы, Устин Захарович остался у костра. Он подбрасывал ветки и смотрел на огонь. По замкнутому лицу его бегали трепетные отсветы.

— Отчего он все молчит? — шепотом спросил Лешка.

— А кто ж его знает? — так же шепотом ответил Тарас.— Молчит, и всё. Он разве скажет? Мабуть, думает... Спи!

Мальчики заснули и не слышали, как Устин Захарович, достав из шалаша рядно, укрыл их. Ссутулившись, он постоял над ними и опять сел к костру.

10

В детском доме Устин Захарович числился инструктором по труду, оказавшись в должности этой неожиданно для других и для себя самого.

Год назад Людмиле Сергеевне удалось добиться наряда на металлические кровати с сетками. Старые, деревянные, давно рассохлись, расшатались, шипы то и дело вылетали из пазов, кровати разваливались. Их сколачивали гвоздями, однако это держало их в относительной целости недолго. То в одной, то в другой спальне, к испугу девочек и удовольствию ребят, разъезжалась кровать, и очередная жертва с треском и стуком летела на пол.

Первую партию новых кроватей, высокой горой уложенных на телегу, сопровождали старшие мальчики и сама Людмила Сергеевна. Тарас шагал рядом с Метеором, Людмила Сергеевна и ребята шли сзади, любуясь высокой

голубой горой. Она громом и звоном отзывалась на каждый камень мостовой и время от времени кренилась на сторону. Тогда Метеора останавливали, с трудом сдвигали разъезжающуюся гору. За три квартала от дома колеса угодили в дождевую промоину, голубая гора накренилась и с грохотом обрушилась на мостовую. Ребята бросились поднимать кровати, заново их укладывать. На тротуаре стоял высокий, сутулый мужчина, молча смотрел на их усердную неумелую работу, потом шагнул к телеге и сказал:

— Так не можно!

Он снял уложенные было плашмя спинки и начал ставить их стоймя. Мальчики, обрадовавшись подмоге, быстро подносили рассыпавшиеся кровати. Мужчина плотно уставил их, перевязал веревкой. Метеор двинулся дальше. Кровати гремели, но больше не разъезжались. Не ответив на благодарность Людмилы Сергеевны, мужчина шел следом. У ворот он остановился, наблюдая за разгрузкой.

— Большое вам спасибо! — протянула ему руку Людмила Сергеевна.

Он посмотрел на ее руку, отвел взгляд в сторону, на калитку, и сказал:

— Может, топор и гвозди есть? Петля вон сорванная... Не годится.

Нижняя петля давно оборвалась, и провисшая калитка выбила в земле глубокое полукружие. Немного обескураженная, Людмила Сергеевна принесла топор и гвозди. Потом ее отозвали. Минут через десять она вспомнила о странном незнакомце и спохватилась, что стука у калитки больше не слышно.

«Господи, еще топор унесет!» — обеспокоилась она.

Топор был прислонен к верее, петля навешена, но этого человека уже не было.

«Чудак какой-то!» — подумала Людмила Сергеевна, унося топор, и забыла о нем.

На следующий день под вечер чудак появился снова. Людмила Сергеевна увидела его, когда он приподнимал толстой жердью передок телеги, а Тарас снимал колеса и смазывал ось. Оба молчали. На приветствие директора человек кивнул головой.

— Ты знаешь его? — спросила Людмила Сергеевна у Тараса, когда человек ушел.

— Кого? Дядьку Устыма? Не...

— А почему же он пришел?

— Помогает, — объяснил Тарас, изумленный вопросом директора, словно помощь неведомого дядьки была со-

вершенно естественной и ни в каких объяснениях не нуждалась.

С тех пор Устин Захарович появлялся ежедневно. Каждый раз он находил себе какую-нибудь работу, что-либо починял или налаживал и, не обращая внимания на благодарность, уходил.

Воспитательницы недоуменно пожимали плечами. Ефимовна невзлюбила его и каждый раз зловеще сообщала Людмиле Сергеевне:

— Опять идол пришел! Вот так ходит, ходит да и обчистит кладовую... Вон рожа-то какая — смотреть страшно!

Угрюмое, всегда заросшее лицо дядьки Устина самой Людмиле Сергеевне внушало опасение, и она не знала, как быть. Неизвестно было, что он за человек, почему зачастил в детдом, и не следовало ли его отвадить от посещений. А вместе с тем он становился все полезнее, делая то, что без него сделать не могли, не ожидая за это ни платы, ни благодарности, и обижать его недоверием не хотелось. Несмотря на его суровость, ребята совершенно не боялись Устина. Они находили дело и для него и для себя, охотно помогали ему. Только однажды он воспротивился: когда они предложили поставить турник.

— То баловство,— решительно сказал он.— Хиба то работа — до горы ногами крутытысь?

Однако, когда ребята сами поставили турник, он укрепил стойки подпорками, чтобы какой-нибудь любитель «солнца» не брякнулся о землю вместе с турником.

Постепенно к нему привыкли. Даже Ефимовна, мучившаяся с выпадающей дверцей плиты, после того как он, словно заправский печник, укрепил дверцу проволокой и обмазал раствором, переменила к нему отношение и уже не пророчила ограбление кладовки, но все же с сомнением покачивала головой:

— Человек он, может, и ничего, а почему молчит? Не может этого быть, чтоб просто так молчал! Значит, он чего-то думает... А чего он думает, бог его знает! — И она значительно поджимала губы.

Сама Ефимовна молчать не умела, и поведение «дядьки Устыма» ставило ее в тупик.

Людмила Сергеевна пробовала «разговорить» его, но ей только удалось узнать, что зовут его Устином Захаровичем Приходько, работал он раньше в колхозе «Заря», а теперь вот живет в городе и делает всякую работу, что подвернется. От разговоров о прежней своей жизни он уклонился, сказав:

— Було та загуло... Чого ж и ворошить...

Людмила Сергеевна навела справки. Сказанное Устином Захаровичем подтвердилось: на самом деле до войны он работал в колхозе «Заря», а по возвращении из армии оставаться там не захотел; человек же он работящий, честный и ни в чем таком не замечен.

Устин Захарович прижился. По-прежнему он работал где-то на стороне, но каждый вечер, а по воскресеньям с утра появлялся в детдоме и что-либо чинил или строил. Умел он решительно все, во всяком случае все нужное и несложное в бедноватом в ту пору хозяйстве детдома. Сделанное им бывало и громоздким и неуклюжим, но всегда было несокрушимо прочным и чем-то неуловимо напоминало самого Устина Захаровича. Ребята охотно его слушались, а Тарас Горовец смотрел в рот и подражал во всем. Он даже ходить начал так же медленно и враскачку, как это делал «дядька Устым».

В детдоме уже работала Анастасия Федоровна. Она учила девочек шитью и вышиванию, но должность второго инструктора по труду оставалась незанятой. Найти специалиста не удавалось. Людмила Сергеевна подумала-подумала и предложила эту должность Устину Захаровичу.

Устин Захарович помолчал, потом решительно сказал:

— Ни, не можно! Я рабочий человек, а не вчитель.

Людмила Сергеевна долго доказывала ему, что он уже фактически инструктор, только не получает зарплаты и приходит по вечерам, а то будет получать зарплату и работать положенное время. Делать он будет то же, что и теперь, ничего больше от него не потребуют. В конце концов, если не хочет постоянно, пусть поработает, пока найдется человек более подходящий. На это Устин Захарович согласился.

Теперь он появлялся во дворе детдома на рассвете, а уходил уже затемно, когда дети ложились спать. Более усердного работника в детдоме не было, и Людмила Сергеевна втайне сознавала, что, пожалуй, он принадлежит детдому больше, чем она сама, так как у нее была еще своя, семейная жизнь, у Устина же Захаровича, по-видимому, не было ничего, кроме работы.

Одно только приводило Людмилу Сергеевну в отчаяние. Устин Захарович признавал единственный способ обучения — давал работу, а если делали не так, отбирал лопату или молоток, молча показывал, как надо действовать, и опять совал инструмент в руки ученику.

— Я не понимаю, Устин Захарович, слов вам жалко, что ли? — возмущалась Людмила Сергеевна.

— Я ж казав, що я не вчитель,— отвечал Устин Захарович.— И чего тут рассказывать?

Говорить, по его мнению, следовало лишь о том, можно и нужно ли сделать то-то и то-то, а если это выяснялось, больше не о чем было и говорить, надо было просто делать.

Если его спрашивали о чем-либо, он, подумав, отвечал «можно» или «не можно» и потом уже ни в какие объяснения не вступал.

Такую же безуспешную борьбу, как с молчаливостью, Людмила Сергеевна вела с его устрашающей бородой.

— Устин Захарович! — восклицала она.— И работаете вы хорошо, и человек вы хороший, а борода у вас прямо разбойничья. Ну подумайте сами: приедет какой-нибудь инспектор, вокруг дети, а у вас такой вид. Неужели трудно побриться?

Устин Захарович безропотно уходил в парикмахерскую и возвращался оттуда с синими изрезанными щеками. Но уже к вечеру синева сменялась черной щетиной, а на следующий день Устин Захарович приобретал свой обычный вид. Наконец ему это надоело, и в ответ на очередное напоминание об инспекторе он раздосадованно отмахнулся.

— Я не дивчина, ему меня не целовать...

В действиях Устина Захаровича не было никакого расчета. Увидев развалившуюся гору кроватей и растерявшихся ребятишек, он не мог не помочь: как же можно терпеть непорядок? Не в порядке была калитка, а кто мог ее починить, если тут одни женщины да малыши? Он починил. Но еще раньше он приметил, что колеса у телеги не смазаны, и на следующий день пришел, чтобы их смазать. Непорядки обнаруживались один за другим, и один за другим Устин Захарович их устранял. Делал он это не для того, чтобы заработать деньги или заслужить благодарность, а потому, что его работа уже кончилась, тут же была другая, а когда руки и голова заняты делом, не одолевают думы и легче ждать. Ждал он давно и уже устал ждать.

Сначала он ждал вестей от сына, ушедшего в армию в первый день войны. Вместо письма пришла «похоронная». Устин Захарович остановился посреди двора, а сноха закричала не своим голосом и бросилась в хату. Устин Захарович посмотрел вслед Фроське-почтальонше, торопившейся уйти подальше от двора, в который она принесла горе, потоптался на одном месте, зачем-то пошел к сараю, потом вернулся и сел на завалинке.

— Вот, значит, как...— сказал он, глядя на тополь у перелаза.

Тополь он посадил, когда женился и поставил хату. Тополь был еще молодой, когда Андрейка влез на него и сломал большую ветку. Устин Захарович стащил его вниз и отодрал. Тополь уже большой и вытянулся, как свечка. И Андрей вырос. Тополь остался, а Андрея нет... Был, был маленький, а потом сразу, вдруг, стал большой, догнал по росту самого Устина Захаровича, а может, и перегнал бы... В голове Устина Захаровича скользили легкие, пустые мысли, но внутри шевелилось что-то твердое, угловатое, и он думал легкие, пустые мысли, чтобы не стронуть, не шелохнуть то твердое, угловатое, от которого становилось все нестерпимее... Вот старуха не дожила... Как бы она теперь?.. Вон Галька как голосит... «Старается,— неприязненно подумал Устин Захарович,— чтобы слышали, как она убивается... Покричит, покричит и отойдет. А потом забудет...»

Он знал, что несправедливо думает о снохе, но нарочно себя растравлял, бередил притихшее после рождения внуков недоверие к ней. Ему всегда казалось, что Андрею под стать самая лучшая дивчина на селе. А эта что? Только и всего, что хохотала громче всех да песни пела. Ну и ничего, работящая... Пожалуй, она и была на селе самой лучшей дивчиной, но Устину Захаровичу казалось, что Андрей достоин еще лучшей.

Вот она осталась, а Андрея нет... Ей что? У нее все горе криком выйдет. А вот он как?.. Но об этом думать было нельзя — твердое и угловатое начинало шевелиться, и он опять думал о чем-нибудь другом, не таком страшном. Вон Юхимов сынок получил ранение и лежит в госпитале. Может, пока выздоровеет, разобьют немцев, он и вернется. Ну, без руки,— без руки жить можно. А может, и рука останется... Как же это так? Он вот есть, а Андрея нет... И теперь голоси не голоси, а его не будет...

Среди воплей Гальки ему послышались другие звуки. Он тяжело поднялся и пошел в избу. Галька билась в углу на лавке, а годовалый Сашкó и двухлетний Васькó сидели на кровати и, не сводя с матери вытаращенных от ужаса глаз, орали уже надорванными голосами. Сыны Андреевы, внуки!..

— Годи! — грохнул Устин Захарович кулаком об стол.— Детей уморить хочешь?!

Галька испуганно вскинулась, перестала голосить. Све-

кор никогда прежде на нее не кричал. Она бросилась к детям и, обливаясь слезами, начала успокаивать.

Внуки! Сыны Андреевы... Ради них надо было стерпеть все. И Устин Захарович стерпел. Он не проронил ни слезинки, даже наедине с собой не затрясся в беззвучном мужском горе. Оно окаменело в нем, не вышло наружу, только стал он еще суровее и молчаливее.

Ночью во двор МТФ, где дежурил Устин Захарович на случай, если налетят фашисты и набросают зажигалок, прискакал Иван Романович, председатель, приказал выводить скот и гнать на шлях — в случае, немцы прорвутся, чтобы им не достался. Устин Захарович заикнулся было про внуков, сноху, но председатель замахал руками:

— Догонят! Они на телегах, на бричках догонят. А коровам время надо, это ж тебе не танки, вскачь не погонишь...

Устин Захарович вместе с двумя доярками гнал встревоженное, ревущее стадо по ночной степи и оглядывался. Сзади небо пламенело далеким рокочущим заревом. Устину Захаровичу казалось, что оно растет все выше и выше, подползает к селу, где остались Галька и внуки.

Вернуться за ними уже не довелось. Фронт оказался за спиной, скот нужно было гнать почти без роздыха. Почерневший, словно обуглившийся от зноя, усталости и горя Устин Захарович гнал скот на восток, все дальше уходя от опасности и все ближе подходя к границе своего терпения.

Оно оборвалось под Ульяновском. Сдав скот в совхоз, Устин Захарович ушел в армию. По возрасту он не годился в строевые — его зачислили ездовым.

Падали лошади, ломались повозки, а он все вез и вез нескончаемый груз войны. И все время ждал, когда какая-нибудь случайность забросит его поближе к родному селу. Случайность не подвернулась. И он опять ждал.

Только в Штеттине выпустил он наконец из рук вожжи войсковой упряжки и сел в поезд с демобилизованными первого срока. В райцентре на вокзале к нему бросился усатый солдат без погон. Левый рукав его гимнастерки был аккуратно подвернут и пристегнут булавкой.

— Устым!..— закричал солдат, и только тогда Устин Захарович узнал в нем односельчанина Герасимчука.— Живой!

— Живой,— ответил Устин Захарович.

— А меня вот переполовинили! — с уже привычным ожесточением сказал Герасимчук и сплюнул.

Они отошли в сторонку от толпы, спросили друг друга

о службе. Оказалось, что Герасимчук отвоевался под Люблином.

— А как село наше? Иван Романович вернулся?

Герасимчук махнул рукой:

— Убит Иван Романович. А село — почитай, половина сгорела. Немцы спалили. Моя хата сгорела...— Герасимчук помялся и добавил: — И твоя.

— Ну, а...— начал и не кончил Устин Захарович.

Герасимчук полез в карман за папиросами, долго мучился, доставая папиросу одной рукой. Папироса сломалась. Он скомкал ее и, не глядя в лицо Устину Захаровичу, сказал:

— Нема их, Устым. Угнали гады. Многих угнали. И твою Гальку.

— С ребятами?

— С ребятами... Говорят, которые возвращаются. Может, и твои вернутся...

Они помолчали.

— Ну, бывай здоров! — сказал Устин Захарович, повернулся и отошел.

— Куда ты? Погоди! Может, попутная машина будет! — закричал Герасимчук.

Устин Захарович торопливо шагал, не отвечая и не оборачиваясь.

Шлях был тот же, так же кое-где торчали обшмыганные колесами кусты, так же, как и четыре года назад, лежала на нем серая бархатная пыль. И съезд на грейдер был тот же, только грейдер давно не ремонтировали, он зарос травой и превращался уже в проселок.

По селу он шел, опустив голову, не глядя по сторонам. В окнах уцелевших хат мелькали женские лица. Узнав его, односельчанки горестно качали головой, рукавами смахивали слезы. Устин Захарович, не оглядываясь, шагал к своему порядку.

Торчали обгорелые деревья, полуразвалившиеся печи и кучи глинистого мусора, уже заросшие крапивой, конским щавелем и лопухами. Устин Захарович шел от кучи к куче, узнавая и не узнавая места, где стояли хаты соседей. Вот тут была Сидоренкова, Лучкова. А вот здесь была его...

Полуобгоревший тополь засох. Голые ветки его гнулись, как хлысты, и шуршали под ветром. Печь развалилась, возле нее вырос бурьян. Устин Захарович подошел ближе, раздвинул его. На земле валялись головешки. Они пахли сыростью и землей. Устину Захаровичу казалось, что

от них тянет горьким дымом. Он постоял, зачем-то подгреб сапогом головешки в кучку и пошел к уцелевшим домам. Надо было жить, а жить означало работать.

Председателем колхоза оказался тот самый Юхимов сынок, которого ранило в начале войны. После того он был ранен еще несколько раз, но все-таки уцелел и приехал из госпиталя незадолго до возвращения Устина Захаровича. Он раздался в плечах, возмужал и отпустил усы. Теперь его называли не Степкой или Степаном, как бывало, а Степаном Ефимовичем. Степан Ефимович шумно обрадовался возвращению «колхозной гвардии», как он сказал, и скомандовал жене «сообразить по такому случаю». На столе появилась бутыль самогона. Еды было не густо, но самогонка из сахарной свеклы уже была.

Степан, позвякивая медалями, рассуждал о том, как он думает поставить «Зарю» на ноги, и подливал в стаканы. Устин Захарович пил и не пьянел. Он только все плотнее сжимал губы. Потом спросил, как думает Степан, живы его Галька и внуки или нет. Степан сказал, что вполне свободная вещь, что живы. Может, даже и до Германии их не довезли — такое бывало тоже,— а если и довезли, так там же всех освободили и производят репатриацию. «До дому вертают»,— пояснил он. Надо навести справки. Он скоро поедет в город и может все разузнать.

Устин Захарович сам пошел в город. Он был в военкомате, в райисполкоме, даже зачем-то в загсе и наконец попал в милицейский отдел розыска. Молодой белобрысый лейтенант, то и дело одергивая свой китель, записал все и обнадежил:

— Не горюй, дед! Разыщем твоих внуков.

Устин Захарович вернулся в село и начал ждать. Каждую неделю он уходил в город к белобрысому лейтенанту.

— Пока никаких сведений не поступало,— отвечал тот.

Устином Захаровичем овладело беспокойство. Ему начало казаться, что, пока он тут «отлеживает бока», внуки его где-то «бедуют». Их отыщут, а он даже и узнает об этом с опозданием. Следовало быть поближе к отделу розыска, чтобы в любой момент могли сообщить, а он — поехать за своими внуками. Степан и слышать не хотел о том, чтобы отпустить такого работника, убеждал, ругался и даже пробовал грозить, но Устин Захарович стоял на своем.

— Ты пойми,— говорил он,— я не легкой жизни шукаю — душа горит!

Председатель наконец сдался:

— Так разве ж я не понимаю?.. Такое дело?.. Ну, там не заживайся — сам знаешь, нам кадры нужны.

Устин Захарович не думал заживаться. На свое пребывание в городе он смотрел как на временное, жил в углу, работу не выбирал, брался за любую, лишь бы прожить, и за нее не держался. Все это было не главное; главное было — дождаться вестей о внуках. В отделение он ходил когда только мог и, «чтобы не мозолить людям глаза», стоял в сторонке и ждал, пока белобрысый лейтенант его заметит. Тот замечал и отрицательно качал головой. В этих молчаливых посещениях лейтенант чувствовал укор себе и розыску, который до сих пор не мог найти никаких следов, и, так как укор был справедливым, в нем нарастало раздражение. Однажды он в сердцах сказал:

— И чего ты, дед, ходишь? Сообщат нам — и мы тебе сообщим. А то ходишь и ходишь...

Устин Захарович пожевал губами и вышел. Он понимал, что лейтенант прав, и ходить стал реже.

На улицах он присматривался к ребятишкам, в наивной надежде вдруг наткнуться на своих внуков, хотя и понимал, что здесь их быть не может и что он бы их даже не узнал, так как помнил ползунками, а теперь, если они живы, Сашкý было семь лет, а Васе уже восемь.

Поэтому он так легко и прочно прижился в детдоме. Там были дети, они напоминали ему внуков. Сначала он этого боялся, потом оказалось, что без этого не может. Он никогда не был ласковым и приветливым, окружающие не получали от него ясно видимой радости, однако ему самому она все больше была нужна. И он получал ее, скупую, рвущую сердце, слыша звонкие ребячьи голоса, их смех, ссоры и беготню. Им он отдавал единственное, что имел,— свои неутомимые руки.

11

Еще за воротами Тарас и Лешка услышали шум.

— Наши из лагеря приехали,— сказал Тарас.

Загорелой босоногой толпой ребята стояли вокруг Людмилы Сергеевны, Анастасии Федоровны и Ефимовны. Все говорили и смеялись разом. Тараса и Метеора увидели — шум стал еще громче.

— Тарас! Здоров, конячий сторож! Сколько Метеору сахару скормил?..

Тарас улыбнулся и сразу стал не «мужичком», а тем,

кем был на самом деле,— маленьким мальчиком, но тут же насупился:

— Посторонись!

Метеору заступили дорогу, Тараса стащили с телеги, Лешка слез и отошел в сторону. Ребята перекрикивали друг друга, пытаясь одновременно, все вдруг, рассказывать. Людмила Сергеевна смеялась и зажимала уши.

— Тихо! — скомандовала стройная девочка со строгим красивым лицом.

Должно быть, приехавшие привыкли ее слушаться и притихли.

— Молодец, Алла! Сразу порядок навела,— сказала Людмила Сергеевна.— Ну, показывайте свои трофеи.

Алла развела руки, ребята раздвинулись, и перед Людмилой Сергеевной образовалась свободная площадка.

Крутолобый, наголо остриженный мальчик снял со спины рюкзак и вытащил большую стеклянную банку. В банке, свернувшись кольцом, лежал у́ж.

— Она кусается? — испуганно спросила маленькая Люся, которую Лешка запомнил, потому что она всегда что-нибудь напевала.

— Нет. Уж безвредный,— уверенно сказал стриженый мальчик.

Две девочки осторожно развязали другой рюкзак и выкатили из него серый клубок, утыканный толстыми иглами. Клубок развернулся, приподнял кверху острую мордочку и фыркнул.

— Ежик! Ежик! — восторженно закричали галчата.

Из третьего рюкзака извлекли черепаху. Она некоторое время лежала неподвижно, потом высунула ноги, голову, подслеповатыми, старушечьими глазками посмотрела вокруг и пустила лужицу. Девочки сконфуженно переглянулись, ребята засмеялись.

Лешка ловил на себе беглые, любопытные взгляды. Людмила Сергеевна заметила, как он отчужденно смотрит на всех, подозвала к себе.

— Вот, ребята,— сказала она, поставив его перед собой и положив ему руки на плечи,— это ваш новый товарищ. Зовут его Алеша Горбачев.

Теперь уже с откровенным любопытством все смотрели на него, и Лешка позавидовал черепахе, которая могла спрятаться под своим панцирем. К Людмиле Сергеевне, едва не плача, подбежали несколько девочек.

— Людмила Сергеевна, а где наши кошки? — еще издали кричали они.

— Кошки? Разве их нет? Разбежались, наверно.

— Как это — разбежались? Чего это они разбежались?

— Эко горе — кошки убежали! — насмешливо сказала Ефимовна.— Небось новых натащите...

Людмила Сергеевна говорила заведомую неправду, но не чувствовала угрызений совести. Кошки стали бедствием. Они заполонили весь дом. Все дети любят животных, а эти дети, перенесшие горе, подбирали на улице всех заброшенных, покалеченных котят и заботливо их выхаживали. Котята поправлялись, вырастали и дома уже не покидали, а к ним прибавлялись всё новые и новые. Они бродили по двору, проникали в спальни, даже иногда в столовую и держали в непрерывной осаде кухню и кладовку. Разношерстное, мяукающее стадо было знакомо со всеми превратностями кошачьей жизни и, несмотря на ребячьи проповеди вести себя хорошо, напропалую воровало все, что удавалось. Людмила Сергеевна смотрела на это стадо со страхом, ежедневно ожидая вспышки среди ребят экземы, чесотки и прочих эпидемических ужасов, а Ефимовна швыряла в кошек чем попало:

— Чистое наказание с этими кошками! Прямо не детский дом, а кошачий...

Когда самые ревностные кошколюбы уехали в лагерь, Ефимовна выполнила давно задуманный план: с помощью Устина Захаровича позаносила кошек так далеко, что они уже не смогли вернуться. Людмила Сергеевна не препятствовала — очень уж ей надоело и было слишком опасно четвероногое население.

Людмила Сергеевна принялась успокаивать расстроенных кошатниц. Ребята разбрелись осматривать комнаты после ремонта. Лешка отошел к конюшне, где Тарас распрягал Метеора,— возле Тараса он чувствовал себя лучше. В нем с новой силой вспыхнула ослабевшая за последние дни настороженность. С тех пор как он уехал из Ростова, еще ни одна встреча с мальчишками, если их было много, не обходилась по-хорошему.

После обеда Лешка, как всегда, увильнул от лежания в постели и пошел на пустырь, к сараю. Там уже сидели несколько мальчиков. Лешка сел в стороне — не слишком далеко, чтобы не отделяться, но и не слишком близко, чтобы не воображали, что он подлаживается. Ребята, еще переполненные лагерными впечатлениями, пересмеивались, вспоминая о какой-то Ларисе, которая никак не могла наесться, хотя была толстая, как пышка, о Косте, который вечно просыпал побудку и вылетал на линейку встрепан-

ный и неумытый, о Вадиме, который среди ночи под окнами девочек ухал и хохотал, как настоящий филин, и как девочки своим перепуганным визгом будили весь лагерь, а Вадиму на другой день был общелагерный «влёт»...

К Лешке подсел мальчик с тонким, бледным лицом. Лешка заметил его еще утром, потому что мальчик носил очки с толстыми стеклами, и слышал, как ребята называли его «академиком».

— Меня зовут Яша Брук,— сказал мальчик в очках.— Ты давно у нас?

— Недавно.

— А откуда ты?

— Из Батуми. То есть раньше я жил в Ростове, а потом в Батуми. Там и убежал...

— Убежал?

— Ага. От дядьки...

В это время мимо прошел рыжий веснушчатый мальчик. Он сделал вид, что споткнулся, и взмахнул рукой к Лешкиному лицу. Лешка отпрянул. Рыжий опустил руку, почесал колено, словно он поднимал ее только для этого, и подмигнул ребятам. Те засмеялись. Лешка побледнел и весь напрягся.

— Не приставай, Валет...— досадливо сказал Яша.— А почему убежал? Плохо было, да? Ничего, у нас хорошо, вот увидишь...

Лешка не видел ничего хорошего, он видел теперь только рыжего Валета. Обрадованный своим успехом, тот решил продлить забаву и, снова подмигнув товарищам, направился к Лешке. Однако повторить не удалось. Не успел он взмахнуть рукой, будто бы для того, чтобы почесать затылок, как тут же отдернул ее: Лешка ребром ладони ударил его по плечевому мускулу, вторым ударом коротко и сильно толкнул в грудь. Валет не удержался на ногах и рухнул в крапиву.

— Ты... ты меня?..— задыхаясь, проговорил он, все еще лежа на земле.

— Не лезь, я тебя не трогал,— угрюмо ответил Лешка и мельком оглянулся.

Ребята вскочили, окружили их, но никто не собирался нападать с тыла.

— А я тебя трогал? — заорал Валет и вскочил на ноги.

— Бросьте, ребята! Бросьте! — встал между ними Яша Брук.

Валет отшвырнул его в сторону и бросился на Лешку. Лешка получил удар по носу, но и сам ударил противника

в ухо. Они схватили друг друга за руки. Валет норовил боднуть Лешку головой, а когда это не удалось, поднял ногу, чтобы лягнуть. Но ребята, негодуя, закричали:

— Эй, нога! Нога! Не по правилам!..

Валет был сильнее, но Лешка, переживший столько стычек, ловчее. Уловив момент, когда Валет поднял ногу, Лешка толкнул его и опустил руки. Валет опять покатился в крапиву. Зрители засмеялись, теперь над Валетом. Побежденные редко вызывают симпатии у мальчишек.

— Бросьте драться! Сейчас же перестаньте драться! — услышал Лешка голос Киры.

Но в это время Валет снова бросился на него. На этот раз оба упали.

— Полундра! — крикнул кто-то, и круг распался.

Лешка вскочил, готовясь отразить новую атаку. Атаки не последовало: к ним спешила Людмила Сергеевна, а за ней Кира, на которой опять была повязка дежурной. Валет, сидя на земле, счищал с коленей пыль и налипшие травинки; ребята повернули безмятежные лица к Людмиле Сергеевне.

— С кем ты дрался, Горбачев?.. А, ну конечно, Белоус отличился... Встань!

Валет нехотя поднялся.

— Из-за чего вы подрались? Белоус тебе что-нибудь сказал, сделал? — повернулась Людмила Сергеевна к Лешке.

Валет был, конечно, гад, но Лешка никогда не жаловался. Он трогал пальцами распухший нос и смотрел, не течет ли кровь. Крови не было.

— Почему ты молчишь? Из-за чего вы подрались? И перестань смотреть в землю!

Лешка поднял на нее угрюмые глаза, в которых совершенно ясно было написано, что он ничего не скажет.

В глубине души Людмила Сергеевна была рада. Она терпеть не могла «лизунов» и ябедников, трусливо вьющихся возле старших и чуть что жалующихся.

— Это, наверно, Валет начал,— сказала за ее спиной Кира.

Людмила Сергеевна обернулась:

— Опять? Сколько раз я говорила, чтобы не было «Валета» и вообще никаких кличек!.. Вот что, петухи: не хотите мне рассказать — ответите детсовету. А сейчас — марш в постели!

— Болит нос? — сочувственно спросил Яша, когда они направились в спальню.

— Не очень. Распух только,— ответил Лешка.

— А здорово ты стукнул его первый раз! — восхищенно сказал Яша.— Я так не умею. Я совсем не умею драться,— огорченно признался он.

— Значит, тебя всегда бьют?

— Нет. Кто же меня будет бить? Я просто никогда не дерусь.

— Ну да! — усомнился Лешка.— Как это — никогда?

Койки были расставлены заново, постели Лешки и Яши оказались рядом.

— А на совете этом... чего там будет? — спросил Лешка, когда они улеглись.

— Неприятно будет,— неопределенно, но многозначительно сказал Яша и уткнулся в книгу.

Детсовет собрался перед ужином. В комнате для занятий за длинным столом сидели строгая Алла, Кира, Тарас, Митя Ершов — крутолобый серьезный мальчик, привезший в банке ужа, и Яша. Лешка немного приободрился: Тарас его уже знал, а Яша вроде на его стороне. Но, как он ни старался, поймать их взгляды ему не удавалось — Тарас и Яша на него не смотрели. На стульях у стен, возле столиков расселись воспитанники. Галчата, допущенные при условии полного молчания, стайкой сели вокруг Людмилы Сергеевны и уставились на преступников: Лешку и Валерия Белоуса.

Алла постучала карандашом по столу:

— Объявляю детсовет открытым! Кира Рожкова, доложи о хулиганстве во время твоего дежурства.

Кира, сразу вскочившая и открывшая было рот, вспыхнула:

— Вот ты всегда так, Алла! Разве я виновата, что они на моем дежурстве подрались? Они же могли и на твоем!..

— Говори по существу,— остановила ее Алла.

— Так я и говорю... Я иду и иду себе, думаю, нет ли кого на пустыре — мальчишки всегда туда уходят, это прямо клуб ихний! — а там эти, Горбачев и Белоус, дерутся, а остальные смотрят, кто кого побьет... Не останавливают, а смотрят!.. Я сразу же, раз вижу такое безобразие, кричу им, чтобы они перестали, а они опять дерутся... И только когда я позвала Людмилу Сергеевну, они перестали. Я считаю, что это безобразие и что виноват Белоус, потому что...

— Потом скажешь, что ты считаешь! Садись,— опять остановила ее Алла.— Горбачев и Белоус, выйдите к столу!

Валет поднялся и вразвалку подошел. Лешка замешкался. Его подтолкнули в спину:

— Иди!

Он стал у другого края стола, напротив Белоуса, всем телом ощущая направленные на него взгляды. Алла холодно и строго оглядела его своими красивыми глазами с головы до ног и перевела взгляд на Валета.

— Может, тебе кресло подать? А то, я вижу, у тебя спина болит, ты стоять не можешь,— иронически сказала она избочившемуся Валету. Он выпрямился.— Кто начал драку?

— А чё, я, скажешь, да? Думаешь, если Кирка на меня капаеть, так и правда?

— Она не Кирка, а Кира! И не капает, а говорит! — оборвала его Алла.

— Нет, капаеть! Ничего не видела, а говорит... Я его трогал? Вот пускай ребята скажут... Он меня первый вдарил...

— За что?

— А я знаю, за чё?.. Я хотел себе спину почесать, а он вдарил... Ты его спроси, за чё он мине вдарил.

— Спрошу. А сейчас говори ты.

— А чё мине говорить? Если мине бьют, я буду стоять, да? Ну, я ему тоже дал ра́за...

— Значит, ты хотел только спину почесать?

— Ну да, только руку протянул...

— ...а он тебя уже и почесал! — деловито продолжил Тарас.

Слушатели зафыркали.

— Тихо! — застучала карандашом Алла.— Тарас, надо посерьезнее.

— Так я ж серьезно! Вот як у меня спина зачешется, ты меня, Алла, тоже стукнешь?

Валет ухмыльнулся.

— Рано смеешься! — сурово сказал Тарас.— Ты правду говори.

— Да какую правду?

— Настоящую! — внушительно подтвердил Митя Ершов.— Кому ты врешь? Мы же знаем!

— Говори,— подхлестнула Алла,— замахивался на Горбачева?

— Ну так чё? Я ж шютил! Уж и пошютить нельзя, да?

— Вон як от твоей шутки у него нос распух. Наче гуля,— так же серьезно заметил Тарас.

— Все ясно, по-моему? — вопросительно оглянулась Алла на членов совета.— Белоус, когда ты пришел к нам, тебя кто-нибудь бил?

Белоус посмотрел на потолок и промолчал.

— Отвечай!

— Ну, нет.

— Без «ну», просто «нет»! С тобой кто-нибудь так, как ты сегодня, шутил?

— Нет.

— Зачем же ты это сделал?.. Молчишь? Хорошо, я скажу за тебя... Ты сделал это потому, что надеялся, что Горбачев слабее тебя. Ты ведь трус и всегда нападаешь на тех, кто слабее... Ты сделал это потому, что надеялся на поддержку остальных, хотел спрятаться за чужую спину. Значит, ты дважды трус! — Алла повела взглядом, проверяя впечатление.— Ты сделал это потому, что надеялся позабавить товарищей... Они засмеялись, и пусть им будет стыдно! — строго вскинула Алла глаза на слушателей.— Ты всегда хочешь покрасоваться, позабавить. Тебе нравится быть шутом?.. Чего же ты добился? На минутку твоей выходке засмеялись, но все тебя осуждают. Разве так принимают нового товарища? Разве так мы приняли тебя? Мы над тобой «шютили»? — передразнила она.— А над тобой можно было больше смеяться, чем над Горбачевым! Над тобой можно смеяться и сейчас. Почему ты кривляешься, всех задираешь? Почему ты говоришь «чё», «мине», «шютили»? Ты думаешь, что это красиво, а это просто неграмотно. И вообще, почему ты прикидываешься блатным? Какой ты блатной? Ты просто злой и глупый мальчишка!..

Лешка с удовольствием слушал эту тираду — все забыли о нем и смотрели только на Валета. Но Алла повернулась к Лешке:

— Ты тоже хорош, Горбачев! Он ведь тебя не ударил первый? Зачем ты полез в драку? Ты думаешь, кулаки — самый лучший довод? Кулаками усерднее работают те, у кого мозги плохо работают!..— Она опять приостановилась, чтобы слушатели оценили сказанное.— И неужели ты думаешь, Горбачев, что дорогу в жизни прокладывают кулаками?.. Ты не знаешь наших правил, и на первый раз мы, может быть, простим... я еще не знаю, но мы предупреждаем: драчунам и хулиганам у нас не место!.. Если хочешь жить с нами, забудь про кулаки! — Раскрасневша-

яся, довольная своей речью, Алла обвела взглядом собрание.— Кто еще хочет сказать?

— А что говорить? — произнес Митя Ершов.— Все ясно.

— Какие есть предложения?

— Дать им обоим наряды на картоплю, щоб прохололы,— сказал Тарас.

— Неправильно! — возразила Кира и стрельнула глазами в Лешкину сторону.— За что же Горбачеву наряд? Он же не знал, он же новенький! Во всем Валет... Белоус виноват — ему и дать наряд.

— Я предлагаю,— сказала Алла,— Горбачеву — один, а Белоусу — два. И обоих предупредить. Возражений нет?

— Есть!

Все удивленно оглянулись на Людмилу Сергеевну — предложение справедливое, что можно возразить?

— Очень хорошо,— сказала Людмила Сергеевна,— что вы все единодушно осуждаете проступок Белоуса и Горбачева. И Алла, в общем, правильно говорила, хотя, мне кажется, говорила с излишней злостью. Когда человек злится, ему трудно быть справедливым. Но это другой разговор. А вот с наказанием я не согласна. Вы хотите наказать их трудом. Неправильно! Вы работаете и учитесь, чтобы потом работать с другими и для других. Если человеку поручают, доверяют какую-нибудь работу — это не наказание, не позор, а почет и радость. Вы скажете, что чистить картошку мало радости?

— А что же! — сказал кто-то из сидящих у стены.

— Да, дело не очень приятное. Но когда вы помогаете на кухне, вы знаете, что делаете это для других, завтра другие сделают это для вас, а вы будете заняты более приятным делом... А что будет, если заставить человека работать больше, чем он должен? Он возненавидит работу. Он будет уклоняться от нее и вырастет паразитом общества. Нет, наказывать работой нельзя! Давайте поступим наоборот: накажем их тем, что лишим права работать...

— Ну да! — прозвучал негодующий голос.— Мы будем работать, а они сложа ручки сидеть?..

— Да, и вы увидите, что это значительно хуже. Я предлагаю на три дня лишить обоих права работать.

— Так что же, голосовать? — растерянно спросила Алла.

— Да. И пусть все голосуют.

Проголосовали неохотно, но предлагала Людмила Сергеевна, и голосовать против было неудобно.

Выходя, Лешка слышал, как Яша говорил Алле:

— Ты сегодня прямо как Цицерон!

— Куда Цицерону! Ей бы в Генеральную Ассамблею — вот бы она там дрозда давала! — сказал Митя Ершов.

— А ну вас! — отмахивалась Алла и улыбалась: похвалы были ей приятны.

Это было непонятно и обидно: почему-то, когда с человеком, с ним, с Лешкой, случилось несчастье, другие благодаря этому несчастью отличились и заслужили похвалу. Разве справедливо, когда одному делается хорошо оттого, что другому плохо?

— Кто она такая, эта Алла? — спросил Лешка у Яши.

— Алла Жукова? Председатель совета. Она кончила седьмой и поступила в техникум. Очень умная девочка.

— Ну да, умная! Других ругать...

— А ты считаешь, неправильно? По-моему, правильно. Тебе еще легко досталось; другим ого как попадает!

Нет, Яша не понимал того, что чувствовал Лешка, а объяснить Лешка не умел. Он пошел к Тарасу. Тот, словно сожалея о своей многоречивости на заседании совета, молчал упорнее обычного. Кира Рожкова, наверно, охотно поговорила бы с Лешкой и, должно быть, согласилась бы с ним, но как раз ее-то сочувствия он меньше всего искал и не обращал внимания на ее попытки заговорить. Никто ее не просил защищать его и оправдывать, а она выскочила со своим «я считаю»...

Лешка думал, что наказание, предложенное Людмилой Сергеевной, вовсе не наказание, а пустяки. Старшие ребята ушли на подсобное хозяйство, остались только дежурные да галчата. Лешку кольнула зависть — они пошли в поле, к Устину Захаровичу, где Лешке было так хорошо,— но он утешил себя тем, что там жарко, от одного зноя устанешь, а еще ведь и работать надо...

Анастасия Федоровна повела галчат на прогулку в городской сад. Лешка, по привычке, собрался идти замыкающим, но Сима, у которой на руке была повязка дежурной, сказала, что это тоже работа, а он от работы освобожден и пойдет она сама.

Рыжий Валет, ухмыляясь, слонялся по двору, делая вид, что лучше этого занятия ничего не может быть.

К вечеру вернулись ребята с «подсобки». Алла отрапортовала Людмиле Сергеевне. Потом все с таким веселым гамом разбежались чиститься, умываться, так набросились на ужин, что все утешительные Лешкины размышления

о жаре и усталости окончательно сникли. Вошедшего в столовую Белоуса встретили градом насмешек. Не устал ли он? Не надорвался ли? Может, ему еще хлебца принести? Или борща? А то он, бедный, похудел от переутомления! Прямо страх смотреть!

Белоус посмеивался:

— А чё, мине еще лучше! Лежи да загоряй...

Однако ему было не по себе.

Лешка ожидал, что и на него обрушится поток насмешек, но его не трогали.

На следующий день, по совету Людмилы Сергеевны, решили убрать и вывезти мусор, оставшийся после ремонта. Таскать щепу, перемешанную с известью, цементом и глиной, было трудно. Все сразу же перепачкались, как штукатуры, но им было весело даже от этого, а Лешкой овладевала настоящая тоска. Даже галчата, гордясь своей работой и крича больше всех, тоже старательно сносили щепки, старую дранку, пока Людмила Сергеевна и Анастасия Федоровна не прогнали их и не заставили вымыться. Работали все, только Лешка и Белоус ничего не делали. Толстощекий голубоглазый Слава, устроившись на крылечке спальни, сооружал самосвал из спичечных коробок и катушек. Самосвал был почти готов, только колеса, привязанные нитками, не крутились, а кузов не поднимался. Слава пыхтел от усердия и умственных усилий, привязывал колеса то крепче, то слабее, но они все-таки не хотели крутиться.

Лешке нравился приветливый и добродушный мальчик, смотревший на всё такими ласковыми, любопытными глазами, словно все вокруг для того и существовало, чтобы ему, Славе, было интересно и хорошо.

— Не получается? — спросил Лешка, усаживаясь рядом.

— Ага. Не крутятся,— вздохнул Слава.

— А ну, давай вместе.

Слава с готовностью протянул свое сооружение. Лешка продел через коробку кусочки проволоки и прикрепил к ним катушки — теперь катушки могли вращаться и стали как настоящие колеса. Устроить поднимающийся кузов было труднее. Лешка придумал целую систему крючков и рычажков. Однако Слава уже утратил интерес к игрушке: ему хотелось сделать ее самому, а не получить готовую. Он посмотрел на самосвал, на Лешку, увлеченного работой, понял это увлечение по-своему и сказал:

— Ты играй, а я пойду ежика кормить.

Ежик, у́ж и черепаха были отданы на попечение галчатам.

Слава убежал. Лешка отставил сразу опротивевшую ему неуклюжую игрушку, вышел за ворота. Уходить из детдома без разрешения не полагалось, но Лешка решил, что терять ему нечего. Он посидел на скамейке в скверике, посмотрел на воробьев, дерущихся из-за хлебной корки. Воробьи разлетелись. Лешка побрел по улице, глазея по сторонам, и вдруг даже приостановился. Как же он мог забыть того занятного паренька с пухлыми губами и густыми черными бровями, который плавал в затопленном вонючем трюме, а потом стрелял в Луну! Витька!.. Да, Витька! Он, наверно, с тех пор еще навыдумывал...

Лешка обогнул сквер, детскую поликлинику, вышел на проспект, спустился до его половины и свернул направо: ему показалось, что это та улица, по которой он шел ночью. Он прошел ее до конца, потом свернул в другую, третью. Витькиного дома не было. Лешка силился вспомнить номер дома, как он выглядит, но вспомнил только, что дом стоит во дворе, а за ним небольшой сад. Лешка заглядывал через заборы, тихонько стучал, чтобы взбудоражить собак, всматривался во всех маленьких девочек, играющих во дворах и на улице. Собаки с лаем бросались к заборам, но это не были Гром и Ловкий, а девочки не были похожи на Витькину сестренку. Он даже не мог никого спросить, потому что не знал Витькиной фамилии. Натруженные пятки начали гореть — Лешка устал и вернулся в детдом.

На другой день старшие воспитанники опять ушли на «подсобку». Лешка слышал, как ребята, уходя, со смехом кричали Валету:

— Смотри не переутомляйся! Береги здоровье!

Валерий Белоус никогда не отличался усердием. Если ему поручали какое-нибудь дело, он старался уклониться; если работали все, он всячески отлынивал и, как говорила Ефимовна, только дым мешком таскал. Но он привык быть в центре внимания. Его выдумкам и выходкам иногда смеялись, иногда нет, но он не ощущал отчужденности, которая отделила теперь его от остальных. Валерия истомила эта отчужденность. Он повертелся возле Тараса, который укладывал на телегу корзины для помидоров, потом взял вилы и начал подгребать сенную труху возле конюшни. Тарас удивленно взглянул на него, подошел и отобрал вилы.

— Нельзя! — решительно сказал он и, как бы в раз-

думье, добавил: — А то, может, из тебя и правда паразит выйдет...

Галчата, провожавшие каждый выезд Метеора, засмеялись. Валерий покраснел и ушел на пустырь.

Людмила Сергеевна, все эти дни незаметно наблюдавшая за Лешкой и Валерием, заколебалась. Белоусу наказание принесет пользу, он все-таки очень ленив, а для Горбачева, очевидно, чрезмерно. Она подозвала Лешку:

— Я ухожу в гороно. Проследи, пожалуйста, чтобы малыши зря в кабинет не бегали. А то начнут рыться в гербарии, разглядывать и переломают все.

— Хорошо! — готовно и радостно закивал Лешка.

Конечно, это нельзя было назвать настоящей работой, но Лешка исполнял ее так старательно, что не подпускал галчат даже на пять шагов к двери, не только в самый кабинет. Валерий подошел было тоже. Лешка заступил ему дорогу:

— Нельзя!

— Чего это — нельзя? Я к директорше.

— Ушла. И велела никого не пускать.

— Да чё ты врешь? А то как...

Жанна издали увидела, что они застыли друг против друга в напряженных позах, и крикнула:

— Валерий! Опять?

Белоус оглянулся и разжал кулаки.

Людмила Сергеевна вернулась часа через три с незнакомой высокой женщиной.

12

Взгляд и рукопожатие Елизаветы Ивановны были твердыми, как у мужчины. Людмила Сергеевна решила, что это свидетельствует о характере по-мужски твердом и энергичном. В глубине души она считала, что без мужского влияния воспитывать детей нельзя — вырастут чувствительными слюнтяями. Воспитательницы были хороши, но, пожалуй, чересчур мягки, и появление педагога с настоящим характером было очень кстати. Собственный характер Людмиле Сергеевне настоящим не казался.

Одета Елизавета Ивановна была просто и строго: белый воротничок, синее платье в белый горошек. Единственное, что не вязалось с обликом новой воспитательницы, — это ее косы. Выцветшие, жидкие, они были заплетены по-девчоночьи, в две косицы, и связаны на затылке в смешной,

разъезжающийся узелок. Улыбалась она скупо, одними губами, вытянутое лицо оставалось неподвижным. Впрочем, Людмила Сергеевна и не была уверена, что это улыбка,— так мимолетно и неуловимо было движение губ. Они обошли все помещения. Елизавета Ивановна изредка задавала вопросы, и по этим вопросам было заметно, что порядки в доме ей не нравятся. Она удивилась тому, что спальни мальчиков и девочек расположены в одном здании, а в ответ на недоуменное замечание Людмилы Сергеевны повела бровью:

— Ну, знаете...— и значительно умолкла.

Потом, вернувшись в канцелярию, она взяла список воспитанников и попросила рассказать, кто и какие преступления или проступки совершил до поступления в детдом.

— Какие преступления? — удивилась Людмила Сергеевна.— Это же дети!

— Да, конечно. Но, прежде чем попасть в детский дом, они какое-то время были без надзора и могли приобрести преступные привычки. Чтобы с ними бороться, нужно их знать.— Говорила она немного в нос и так отчетливо и правильно, что знаки препинания в ее речи ощущались, как каменные столбы в деревянном заборе.

Людмила Сергеевна подумала, какие преступные привычки приобрели Люся или Славка, и возмутилась. Еще у старших могли быть в прошлом какие-то нехорошие поступки, но она ни о чем не допытывалась, считая, что чем меньше человеку напоминать о прошлом, тем скорее оно угаснет для него самого.

— Пойдемте, я вас познакомлю с ребятами, а какие они, узнаете сами. И прошу вас поменьше их расспрашивать. Дети не любят, да и не к чему.

Группа старших уже вернулась с подсобного участка и успела пообедать, но в спальнях, кроме галчат, никого не оказалось.

— Ну конечно, забрались в «клуб»,— сказала Людмила Сергеевна.— Пойдемте за сарай.

— За сарай? — удивленно подняла брови Елизавета Ивановна.

— Ну да, они пустырь своим клубом называют. Что поделаешь, лучшим пока не обзавелись.

— И вы с этим миритесь?

Людмила Сергеевна искоса взглянула на нее и, помолчав, ответила:

— Нет. Да ведь это ничего не меняет.

Возле конюшни Тарас, сидя на деревянном обрубке, сшивал узеньким ремешком шлею.

— Вот один из группы, Тарас Горовец,— сказала Людмила Сергеевна.— Ты почему работаешь, а не отдыхаешь? — спросила она у Тараса.

Тот удивленно поднял голову.

— Так я ж отдыхаю! Разве это работа? — показал он на шлею.

— С тобой сговоришься! — улыбнулась Людмила Сергеевна, и они пошли за сарай.

У дальнего угла сарая, где особенно густо разросся бурьян, Яша Брук и Митя Ершов, лежа на животах, уткнулись в книги. Неподалеку от них лежал Лешка. Книги у него не было, лежал просто так — смотрел в небо и следил за неторопливыми редкими облаками.

Остальные ребята, кто сидя, кто лежа, расположились группой в узкой полоске тени, отброшенной полуразрушенной стеной сарая, и лениво перебрасывались отрывочными фразами.

Заметив Людмилу Сергеевну и незнакомую худую женщину, они замолчали.

— Ребята,— сказала Людмила Сергеевна,— вот ваша новая воспитательница. Она будет заменять пока Ксению Петровну.

— Здравствуйте, дети. Надеюсь, мы подружимся,— сказала новая воспитательница.

Ей нестройно ответили.

— Меня зовут Елизавета Ивановна. А как вас зовут, я скоро узнаю.

— Я оставлю вас,— сказала Людмила Сергеевна.— Вам ведь не впервой.

— Да, конечно,— кивнула Елизавета Ивановна.

Людмила Сергеевна ушла.

Елизавета Ивановна оглянулась, ища, на чем присесть, но сесть можно было только на землю, и она осталась стоять на солнцепеке.

— Садитесь вот сюда, в холодок,— сказал Толя Савченко и подвинулся вдоль стены.

— Я никогда не сажусь на землю. Надеюсь и вас отучить от этого.

Ребята удивленно переглянулись, Ксения Петровна сколько раз сидела с ними здесь, у сарая, и ничего плохого в этом не видела.

— Объясните мне, пожалуйста, почему вы забрались на эту свалку? — Она посмотрела на кучу битого кирпича.

— А что? Тут чисто,— сказал Толя и, как бы еще раз проверяя, оглянулся.

— Допустим,— саркастически сказала Елизавета Ивановна.— Но зачем за сараем, на битых кирпичах?

— А чем плохо? Холодок. Не в спальнях же сидеть! — сказал Валерий Белоус.

— Сейчас, если не ошибаюсь, тихий час, и вы должны быть в спальнях?

— Там душно,— поднял голову Митя Ершов.

— И у нас соревнование... Ноги нужно мыть...— пояснил Толя.

— Ноги? Соревнование? — подняла брови Елизавета Ивановна.— Вы соревнуетесь в мытье ног?

— Да нет! У нас с девчонками соревнование — у кого в спальнях чище. Ну, так чтобы было чисто, мы, как идем, ноги моем... Что ж их, без конца мыть?

— Значит, для того, чтобы не мыть ноги, вы и в спальню не ходите? Кто это придумал? Воспитатели?

— Мы сами.

— Неужели вам никто не объяснял, что такое соревнование? То, что вы придумали,— не соревнование, а извращение его. Смысл соревнования за чистоту спален в том, чтобы держать их в чистоте, пользуясь ими, а не в том, чтобы держать их под замком.

Елизавета Ивановна долго и обстоятельно объясняла, что такое настоящее соревнование, как в нем можно и нужно добиваться успеха и как неправильно то, что они придумали. Ребята молча слушали.

Яша Брук, оторвавшийся было от книги, снова опустил голову.

— Как твоя фамилия, мальчик? — повернулась к нему Елизавета Ивановна.

— Моя? Брук.

— Запомни, Брук: когда говорят старшие, их надо слушать.

— Я слушаю.

— Я этого не вижу.

— Я просто опустил голову, но я же слушаю не глазами.

Белоус фыркнул. Елизавета Ивановна оглянулась, но Валерий сидел с каменным лицом и «ел глазами» новую воспитательницу.

— Не пытайся острить, Брук. Я отлично вижу, кто меня слушает, а кто нет. И вот что, дети: на этой свалке, которую вы называете своим клубом, больше вы собираться

не будете! Делать вам здесь нечего, и я этого не допущу. Пойдемте отсюда!

Елизавета Ивановна повернулась и направилась во двор. Ребята нехотя поднялись, пошли следом.

— Ну, что скажешь, академик? — тихо спросил Митя и показал глазами на прямую спину воспитательницы.

Яша вытянул губы и прищурился:

— О соревновании правильно, конечно... Только нудно очень.

— Да-а,— вздохнул Митя.

На выжженном солнцем дворе сесть было тоже негде, все столпились возле столовой.

— Ну, а тут что делать? — уныло спросил Толя.— Уж там, по-моему, лучше.

— Прежде всего отучись говорить «ну»! — ответила Елизавета Ивановна.— Что это за понуканье? Это невежливо и невоспитанно. На будущее время я договорюсь с директором о том, чтобы выделили комнату для массовой работы. Тогда вы не будете слоняться по двору. А сейчас...

— Скупнуться бы! — сказал Валерий.

— Так нельзя говорить! Надо говорить «искупаться». Время отдыха истекло, и, если директор позволит, мы сходим. Подождите меня.

Елизавета Ивановна направилась в кабинет Людмилы Сергеевны. Все проводили ее взглядом, потом посмотрели друг на друга.

— Ну-ну!.. — сказал Яша и повертел головой.

Валерий Белоус вытянулся, опустил руки вдоль туловища, как плети, и зашагал, негнущийся, одеревенелый. Все засмеялись — походка была точь-в-точь, как у Елизаветы Ивановны.

— Брось, Валет,— сказал Митя,— еще увидит.

— Ребята, вы чего собрались? — подбежала Кира.

— Может, купаться пойдем.

— А мы? И мы тоже... Девочки-и! — закричала она, убегая в спальню.

Через минуту оттуда выбежали девочки, на ходу поправляя волосы, одергивая блузки.

— А нам почему нельзя? Мы тоже хотим. Пойдемте к Людмиле Сергеевне.

Они подбежали к кабинету, когда из него выходили директор и новая воспитательница.

— Людмила Сергеевна! Почему без нас? Мы тоже хотим.

— Идите, идите! — засмеялась Людмила Сергеевна и

подняла руки, защищаясь от шума.— Елизавета Ивановна возьмет и вас. Елизавета Ивановна Дроздюк — ваша новая воспитательница.

Девочки притихли. Елизавета Ивановна взглянула на них и повернулась к Людмиле Сергеевне:

— А купальные костюмы у них есть?

— Трусы да майки. Какие же им еще костюмы?

— Становитесь парами! — сказала Елизавета Ивановна.— Девочки впереди, мальчики позади.

Пары выстроились.

— Возьмитесь за руки!

— Ну, вот еще! Зачем это за руки? Что мы, маленькие? — загудели ребята.

— Не спорьте! — жестко оборвала шум Елизавета Ивановна.— Кто не хочет — выйдите из строя. Тот купаться не пойдет.

Ребята продолжали стоять, однако и за руки не брались. Елизавета Ивановна обвела взглядом строй, и ноздри ее раздулись.

— Если сейчас же вы не возьметесь за руки,— еще более жестко сказала она,— вы никуда не пойдете и купаться не будете ни сегодня, ни завтра!

Не глядя друг на друга, ребята неловко взялись за руки.

— Это еще что? — Елизавета Ивановна подошла к девочкам и брезгливо посмотрела на Симу и Жанну.— Я сказала: за руки, а не под руки! Рано приучаетесь!

Сима покраснела и выдернула свою руку из-под руки Жанны. К морю шли в угрюмом молчании. Даже Валерий Белоус не дурачился и не пробовал смешить. Но маленькие прозрачные волны так ласково плескались на гладком, будто отутюженном песке, солнце так весело дрожало и сверкало в мелкой ряби, что хмурое настроение сразу улетучилось. Строй распался, ребята, на ходу стаскивая рубашки, побежали к воде.

— Подождите, дети! — остановила их Елизавета Ивановна.— Сначала я выберу место.

Увязая в раскаленном песке, они долго брели по берегу, отыскивая свободное место. Его не было.

Укрыв головы под зонтами, широкополыми соломенными «брылями», бедуинскими тюрбанами из полотенец или даже вовсе ничем их не прикрывая, на песке распласталось коричневое племя купальщиков. В сущности, они приходили сюда не купаться. В воде барахтались только ребятишки. Взрослые предавались самосожжению. Они забирались на пляж в свободные дни с самого утра, вооруженные

кошелками, авоськами, и сидели почти до захода. Здесь они читали, спали, вышивали, играли в карты, пили отдающий пареным веником чай из термосов и ели. Ели с измятых, замасленных бумажек раздавленные, вывалянные в песке помидоры, зарезинившиеся котлеты с налипшими газетными строчками, хлеб, высушенный яростным солнцем и осыпанный тончайшим илистым песком. Все это было неважно — они загорали.

И сейчас, хотя уже давно перевалило за полдень, пляж был заполнен загорающими. Елизавета Ивановна тщетно искала свободное место — чем дальше они шли к санаториям, тем больше оказывалось на берегу народу.

— Так мы скоро в Бердянск придем,— меланхолически заметил Яша.

Елизавета Ивановна оглянулась, но не угадала, кто это сказал. Через несколько шагов она повернула обратно и, выбрав относительно свободное место, сказала:

— Здесь купаются мальчики. Далеко не заплывайте!.. А вы, девочки, идите за мной.

— Чего она выдумала? — тихонько спросил Митя.

— А ну ее! — сказал Валерий и ринулся в воду.

Следом за ним бросились остальные.

Отведя девочек шагов на тридцать, Елизавета Ивановна остановилась и предложила им раздеваться. Озадаченные нововведением — прежде все купались вместе,— девочки тихонько разделись и пошли в воду.

— А вы, Елизавета Ивановна? — крикнула Кира.

— Я никогда не купаюсь на открытом пляже.— Воспитательница сказала это так, словно купанье на открытом пляже было занятием очень стыдным.

— Просто, наверно, она костлявая, как баба-яга,— шепнула Сима девочкам.

Они обрадованно захохотали. Обращение с ними новой воспитательницы обижало, сердило их, и они были рады если не отомстить, то хотя бы посмеяться над ней.

Елизавета Ивановна отошла на половину расстояния между девочками и мальчиками и остановилась на кромке влажного песка, стараясь держать в поле зрения тех и других.

Лешка немного поплавал, вышел на берег и лег. Ребята боролись, ныряли друг под друга, взбирались один другому на плечи и, душераздирающе крича, плюхались в воду. Девочки, буравя ногами воду, плавали «по-собачьи», брызгались, взвизгивали и поглядывали в сторону мальчиков. Им было скучно. Прежде все купались вместе, девочки

тоже участвовали в веселой толчее, а теперь от шумного веселья их отделяла застывшая, как монумент, фигура Елизаветы Ивановны и широкая полоса воды. И мало-помалу полоса начала сужаться. Никто не придвигался, не сокращал ее сознательно, и все-таки она сама по себе становилась все меньше и меньше.

Елизавета Ивановна подняла руку и что-то крикнула. Ее не услышали. Она заметалась по берегу, что-то громко и сердито говоря, но расслышать слов никто не мог, да и не пытался. Все видели, что она то и дело пятится, оберегая туфли от набегающих волн, а ребята были в воде, и, пока они были там, она ничего не могла сделать. Лешка увидел, как мелькнули, погружаясь в воду, рыжие волосы Валета, его трусы, и вслед за тем девочки с визгом и смехом бросились врассыпную — Валет вынырнул среди них.

— Мальчик, мальчик! — закричала Елизавета Ивановна.— Уйди оттуда!

Валет делал вид, что не слышит, и лицом к берегу не оборачивался. Девочки окружили его, начали заплескивать водой, он опять нырнул, и они снова с визгом и хохотом разбежались. Кира хохотала громче всех, то и дело поглядывая на Лешку. Лешка отвернулся.

Он уже не раз замечал, что Кира все время вертится у него перед глазами, увидев его, начинает разговаривать с подругами и хохотать так, будто они глухие,— словом, всячески старается привлечь его внимание. Лешка делал вид, что ничего не слышит и не замечает. Очень ему это нужно!.. Он жалел только об одном: если бы на месте Кирки была Алла! Он уже много раз на все лады представлял себе, как Алла, красивая и гордая Алла, вроде Киры, подлаживается к нему, заговаривает и всячески старается загладить свою прокурорскую речь, а он, Лешка, презрительно взглянув на нее, отворачивается, всем своим видом показывая полное к ней пренебрежение. Алла краснеет, а потом горько плачет от обиды...

Все это происходило только в Лешкином воображении. Алла вовсе и не думала к нему подлаживаться, а тем более краснеть и горько плакать. Она просто не замечала Лешку, и он совершенно напрасно следил за ней издали, надеясь уловить хотя бы признак внимания и интереса к нему. Получалось даже наоборот. Когда взгляд Аллы, спокойный и безразличный, случайно встречался с Лешкиным, краснела не она, а почему-то сам Лешка, и он поспешно — совсем не гордо и презрительно — отворачивался.

Лешка не один раз давал себе слово даже не смотреть

в ее сторону, не замечать Аллу так же, как она не замечает его, но ему так хотелось восторжествовать над нею и выказать все свое к ней пренебрежение, что ни одно «слово» так и не было выполнено.

Неподалеку маленькие девочки играли в камешки, таинственно шептались, потом сгребли верхний, сухой слой песка и, добравшись до влажного, принялись строить целый город — с улицами, домами, даже рекой, для которой в мокром песке был прорыт узкий желобок. Правда, дома были похожи на пирожки, но, когда возле них понатыкали травинок и веточек, они сразу стали похожи на дома, окруженные деревьями. Во всяком случае, в этом был уверен двухлетний мальчик, наблюдавший за строительством. Он был толстый, шоколадный от загара и совершенно голый. Ему нестерпимо хотелось участвовать в постройке необыкновенного города, но он только сопел и топтался за спинами девочек. Каждый раз, когда он пробовал подобраться поближе, девочки сердито замахивались на него и кричали:

— Уходи! Не лезь, поломаешь!

Шоколадный мальчик пятился, обиженно растягивал губы, готовясь зареветь, но не ревел и только оглядывался на мать, лежавшую в стороне под пестрым зонтиком.

Девочки закончили постройку, полюбовались ею, отогнали подальше шоколадного мальчика и, пригрозив ему, убежали купаться. Выпятив живот и насупившись, он проводил их взглядом, потом покосился на песочный город. К нему влекло неудержимо. Мальчик сделал шаг и сейчас же попятился. Возле города никого не было, можно было беспрепятственно подойти к нему и всласть поиграть, но страх держал его на месте. Мальчик оглянулся на мать. Она повернулась на живот, обратив к сыну и солнцу широкую спину. Девочки плескались в море, забыв о своем городе и шоколадном мальчике.

Раздираемый желанием и страхом, он переступал с ноги на ногу. Потом, глядя в сторону, шагнул к песочному городку. Ничего не случилось. Он шагнул еще и еще. Девочки смеялись и брызгали друг на друга. Шоколадный мальчик подбежал к желанному городу и с разбегу ступил ногой прямо в его середину. Половина улицы дрогнула и рассыпалась. Мальчик с ужасом смотрел на катастрофу. И вдруг засопел и принялся злорадно топтать желанную и запретную игрушку. Города не стало. И вместе с ним исчезло мужество. Возмездие было неизбежно. Оно надвигалось

стремительно и неотвратимо. Предчувствуя его, шоколадный мальчик заорал изо всех сил и бросился к матери.

— Кто? Кто тебя? — испуганно вскочила она.

Вместо ответа мальчик заорал еще громче. Ему было жалко себя и разрушенного им прекрасного города, ему было страшно и стыдно. Мать, не увидев поблизости обидчиков, шлепнула сына и посадила под зонтик. Уткнувшись лицом в кошелку с продуктами, он заплакал тише, но еще горше — теперь уже оттого, что никто не понимал, что́ он чувствовал и почему плакал.

Лешка, улыбаясь, наблюдал за мальчиком, и вдруг улыбка исчезла сама собой. Мимо, едва не задев его, прошли тонкие загорелые ноги. Лешка поднял голову и сразу узнал Аллу, хотя она шла спиной к нему. Валет уже был изгнан, Елизавета Ивановна снова неподвижно стояла у кромки прибоя. Алла что-то сказала ей, получив в ответ кивок, отошла к девочкам и разделась.

Лешка хмуро наблюдал за ней и сердито спрашивал себя, почему это все плохие, неприятные люди обязательно красивее других. Он вовсе не знал, не встречал таких, но ему казалось, что он встречал, знает множество таких людей. Из них самой неприятной и самой красивой была Алла. В ней было все красиво — и тоненькая, гибкая фигура, и строгое, правильное лицо, и пышные белокурые волосы. Даже ленточка, красная ленточка, перехватывающая волосы, совершенно такая же, как у Киры, казалась у Аллы огоньком, горящим в волосах, а у Киры похожа на веревочку. И Алла была смелая: не взвизгивала, входя в воду, а сразу побежала по мелководью, чтобы скорее добраться до глубокого места и плыть.

Лешка рассердился на себя за то, что все время думает о ней, вскочил и бросился в воду. Поднявшийся после полудня легкий ветерок усилился и развел волну. Стоявшие на якорях вдалеке от берега лодки размахивали голыми мачтами и кланялись волнам. Отойдя от берега, пока вода не поднялась до горла, Лешка поплыл. Шум на берегу постепенно затих, остались позади качающиеся лодки, а Лешка все плыл и плыл. Приподняв голову, чтобы вдохнуть воздух, он из-под руки увидел сзади чью-то голову и на ней горящую, как огонек, красную ленточку. Лешка поплыл еще энергичнее и больше не оглядывался. Пусть попробует догнать. Это ей не выступать на собраниях!

Устав, он оглянулся, никого не увидел и лег на воду отдохнуть. Волны мягко поднимали и опускали свободно лежащее тело, сквозь опущенные веки солнце било в глаза

розовым светом. Лешка устроился еще удобнее — заложил руки под голову и скрестил вытянутые ноги. Потом он услышал шум и посмотрел в ту сторону. Задыхающаяся от усталости и торжествующая, к нему подплывала Кира.

— Ой, я так испугалась — нет тебя и нет! Тебя за волной совсем не видно, когда лежишь... Ты меня научишь так лежать? — кричала она еще издали.

Разочарование Лешки сменилось раздражением. Он думал утереть нос той задаваке, а это, оказывается, опять Смола...

Кира плавала около него и, отфыркиваясь от заплескивающих волн, тараторила:

— Ох, и далеко же мы с тобой заплыли! Правда? Это трудно — так лежать? А, Горбачев? Ты меня научишь? Я сама сколько раз ни пробовала, никак не получается — ноги тонут, и всё... Ну, хватит лежать, поплывем обратно, а?

Лешка перевернулся на живот:

— Ну и плыви. Я тебя звал сюда?

Кира оглянулась на берег, в глазах у нее мелькнул испуг.

— Я боюсь одна,— тихо сказала она.

— А зачем лезла? — еще раздраженнее сказал Лешка.— Чемпион! Заплыла, а теперь — «боюсь»...

Он тоже посмотрел на берег, и сердце у него сжалось. Берег был далеко, значительно дальше, чем он думал. Человеческие фигуры на нем были совсем маленькие, и даже лодки, стоящие вдали от берега, выглядели игрушечными детскими корабликами. Заплывать на такое расстояние ему еще не случалось. Из молодечества перед Аллой он забыл о расстоянии, о запрете Елизаветы Ивановны. Лешка подумал, что опять его потащат на детсовет, снова Алла будет хлестать его злыми, колючими словами.

— Ну, плыви, чего ты бултыхаешься? — сердито сказал он и повернул к берегу.

Кира торопливо зашлепала руками по воде. Она уже не тараторила, не смеялась и только старалась не отстать от Лешки. Они плыли, а берег оставался таким же далеким, все такими же маленькими были на нем человеческие фигурки. Ветер, на который Лешка прежде не обращал внимания, дул сильнее, порывистее, волны стали выше и круче, плыть было все труднее.

Не увяжись за ним Кира, он бы не заплыл так далеко, а теперь вот попробуй добраться... Он начинал уставать, а берег не приближался.

— Леша! — крикнула вдруг Кира.— Ой, Леша, я, кажется, больше не могу... У меня руки не слушаются...

Лешка увидел ее бледное лицо, посиневшие губы и расширенные страхом глаза. И в ту же секунду страх охватил самого Лешку. Всем телом он вдруг почувствовал под собой мутно-зеленоватую глубину, о которой прежде никогда не думал, мгновенно представил себе, как тонущая Кира будет хвататься за него, он должен ее спасать, а он никогда не спасал и спасать не умеет, и как они погружаются в эту зеленоватую глубину, она засасывает их, и, скорченные, как утопленник, которого он видел в Ростове, они идут ко дну... Он бросился в сторону.

— Леша! — крикнула Кира.

Лешка оглянулся. Лицо Киры исказилось таким отчаянием, что он повернул обратно.

— Ну, чего ты? Я буек высматривал...— буркнул Лешка и почувствовал, как, несмотря на испуг и усталость, лицу его стало жарко.

— Я подумала... Ой, я не могу больше... Я боюсь, Леша! — Голос Киры прерывался от слез и усталости, она еле двигала руками и не сводила с Лешки круглых от страха глаз.

— Берись за плечо,— скомандовал Лешка.— Только за руки не хватайся, а то как дам! — нарочито грубо сказал он.

— Я не буду... Я не буду за руки,— повторяла Кира, хватаясь за его плечо.— Я ногами могу, только руки занемели...

— Молчи! — прикрикнул Лешка.— Отдыхай. Вот погоди, Елизавета Ивановна тебе покажет!.. Да еще Людмила Сергеевна узнает... Будешь в другой раз увязываться!

Ему было легче, когда он ругал Киру, и он нарочно распалял себя, чтобы обозлиться еще больше,— злость заглушала страх. Кира покорно молчала. Скоро замолчал и Лешка — он устал сам, и ругаться вслух было трудно. Кирина рука внезапно исчезла с плеча.

— Ты что? — оглянулся Лешка.

— Я немножко сама... Тебе же трудно...

Лешка поплыл рядом. Он двигался неторопливо, размеренно, экономя силы. Их оставалось все меньше, а берег был все еще далеко, набегающие волны то и дело скрывали его, Кира опять ухватилась за его плечо, и они снова начали передвигаться очень медленно.

— Я лягу отдохну, а ты держись за меня,— сказал Лешка, выбившись из сил.

Он не пролежал и минуты. Волновая толчея мотала из стороны в сторону, Кира тянула вниз, а ветер, срывая гребешки волн, заплескивал лицо водой. Небо было пустое, оловянное от зноя и почему-то жуткое. Лешка несколько раз глотнул воды и запыхался еще больше.

— Поплыли,— бодрясь, сказал он.

Но бодрости уже не осталось. Он механически двигал руками и ногами, не чувствуя поступательного движения. Вот так будут они толочься на одном месте, пока совсем не обессилеют и волна не накроет их. Теперь он уже не испугался этой мысли: усталость перешла границу выносливости и погасила даже страх. Но он продолжал плыть. Держась за него, хрипло, со свистом дыша, барахталась сзади Кира.

Берег был ближе, чем казалось. А лодки еще ближе, но Лешка вяло подумал, что сейчас ему не перевалиться через борт и не втащить Киру.

Ребята толпились вокруг Елизаветы Ивановны, беспокойно метались по берегу, показывали руками то на плывущих, то куда-то в сторону. Лешка оглянулся и увидел, что к ним идет шлюпка; два гребца, заваливаясь, изо всех сил налегают на весла. Навстречу Лешке и Кире бежали по мелководью Толя и Митя.

Ни они, ни шлюпка уже не могли успеть. Лешка почувствовал, что вот сейчас, сию минуту они утонут. Он уже не мог держаться горизонтально, ноги неудержимо опускались вниз, он перестал ими двигать и... задел ногой дно. Он опустил ноги и стал на грунт. Сердце стучало всюду: в ушах, в висках, даже в глазницах. Ноги стали ватными, не могли сделать ни шагу, и он стоял, дыша широко открытым ртом, а сзади, все еще держа руку на его плече, стояла Кира. Ребята на берегу кричали, размахивали руками; Митя и Толя, буровя ногами воду, подбегали к ним. Лешка резко дернул плечом, Кира сняла руку, и они пошли к берегу.

Лицо Елизаветы Ивановны было бледное, в красных пятнах. Ребята кричали Лешке чуть не в самое ухо, но он ничего не слышал и, выйдя на берег, лег на песок.

Девочки окружили Киру, все разом пытались ее целовать и растирать полотенцами. Кира, бледная, растерянно и жалко улыбающаяся, искала глазами Лешку. Лешка сердито отвернулся. Губы Киры дрогнули, она села на песок и, закрывшись руками, горько заплакала.

Лешка подумал, что плачет она точно так, как плакал шоколадный мальчик, но сейчас же подумал и о другом: что

теперь будет, что скажет Людмила Сергеевна и как будет ораторствовать на совете отряда Алла. Он оглянулся и встретился с ней взглядом. В глазах Аллы не было высокомерного, презрительного осуждения. Она смотрела на него внимательно и с некоторым удивлением, словно увидела впервые. Лешка покраснел, опустил глаза и стал надевать рубашку.

Обратно шли молча. Елизавета Ивановна не требовала, чтобы они брались за руки, и ничего не сказала ни Лешке, ни Кире. Красные пятна по-прежнему горели на ее щеках.

Как и ожидал Лешка, Елизавета Ивановна сразу же пошла к Людмиле Сергеевне.

— Дадут вам чёсу! — злорадно сказал Валет и захохотал.

Его никто не поддержал. Все, в том числе и Лешка, были убеждены, что «чёсу» дадут.

Разговор был долгий, потом Елизавета Ивановна ушла домой. В кабинет позвали Киру. Алла пошла с ней. Лешка томился, ожидая своей очереди и гадая, что с ним сделают. Наконец появились Кира и Алла. Обе улыбались, только глаза у Киры были мокрые от слез.

— Горбачев! — окликнула Алла.— Иди к Людмиле Сергеевне.

Лешка вошел потупившись и сел на тот самый стул, на котором сидел, впервые попав в детский дом. Не поднимая глаз, он знал, что Людмила Сергеевна смотрит на него. Он поискал отклеившуюся пластинку фанеровки, которую тогда дергал, но нашел только плешинку обнажившегося простого дерева и вспомнил, что пластинку обломал он сам.

Людмила Сергеевна поднялась и, подойдя, положила руку ему на плечо:

— Ну, Алеша, не ожидала... не думала я, что ты такой молодец.

Лешка недоверчиво посмотрел на нее.

— Да, молодец! — повторила Людмила Сергеевна и села на стул, стоящий напротив.— Как человек помогает попавшему в беду — это самая лучшая и верная проба для человека. Ты испытание хорошо выдержал...

Лешка вспомнил, как он, струсив, метнулся в сторону от Киры, и покраснел.

— И все-таки тебя следует наказать. Ты нарушил строжайший наш закон, запрещение, в котором нет исключений,— не заплывать дальше, чем разрешено.

Лешка опустил голову.

— Все закончилось благополучно, но ведь могло закончиться иначе. Могла утонуть Кира, могли вы оба утонуть...

Лешка, не поднимая головы, кивнул.

— Но я не хочу тебя наказывать. На твое слово можно положиться. Правда? Ты хорошо плаваешь, но еще не знаешь своих сил, а их может не хватить. И, кроме того, твой пример может соблазнить других, как соблазнил сегодня Киру, а кончится это несчастьем. Обещай мне никогда не заплывать далеко и не допускать, чтобы другие делали это. Обещаешь?

— Обещаю! — хриплым, сдавленным голосом сказал Лешка.

— Вот и хорошо! А теперь иди ужинать, уже звонят.

Ребята всё узнали от Киры, ни о чем Лешку не расспрашивали и держались так, словно ничего не случилось, только галчата перешептывались и смотрели на него круглыми от восхищения глазами. После ужина ребята собрались у турника, подтягивались, пробовали «крутить солнце». Валерий, когда турник освободился, взобрался на него, зацепился ногами за перекладину, начал раскачиваться головой вниз и дурашливо закричал:

— Падаю! Спасите! Горбачев! Где Горбачев? Спасай!..

Никто не засмеялся, а Митя Ершов подошел и ребром ладони слегка ударил его под колени. Валет выпустил перекладину и упал на четвереньки в пыль.

— Ты чё? — закричал он.

— Ничё,— в тон ему ответил Митя.— Не дури.

Смеяться над Лешкой не хотели: его признали своим и настоящим.

13

Как у всех втайне трусливых людей, страх у Елизаветы Ивановны переходил в озлобление против тех, кто был причиной этого страха. Увидев далеко в море головы двух ребят, она пережила панический испуг. Каждую секунду они могли исчезнуть под водой и больше не появиться, утонуть, а отвечать за это должна будет Елизавета Ивановна. Никто не вспомнит, не подумает, что виновата, в сущности, совсем не она, а прежняя воспитательница, все порядки в детдоме — вернее, полное отсутствие порядка... Однако привела детей на берег, не уследила, не предотвратила несчастья она, и отвечать за все придется ей. В любую минуту из-за каких-то мальчишки и девчонки ее безупречная репутация могла погибнуть.

Она ни слова не сказала детям. Возмездие должно соответствовать преступлению. А в этом случае возмездие должно превзойти преступление: нет ничего опаснее дурных примеров. Всю дорогу Елизавета Ивановна думала о том, как губят других не пресеченные вовремя дурные примеры, и красные пятна на ее щеках не гасли.

Рассказав о случившемся, Елизавета Ивановна не сомневалась, что вопиющий поступок Горбачева и Рожковой возмутит Русакову и та решится в конце концов на серьезные меры. Даже на крайние меры.

Теперь она даже радовалась тому, что произошло: начинать всегда следует с решительных мер. С ее появлением в детдоме вся эта орава распущенных мальчишек и девчонок почувствует твердую руку. Вообще нужно ко всему присмотреться. К коллективу воспитателей, например. Он, кажется, из рук вон...

Предположение Елизаветы Ивановны подтвердилось на следующее утро. Окруженная маленькими девочками, Анастасия Федоровна сидела в рабочей комнате за машиной и, пришивая пестрый лоскут к платью, неторопливо говорила о чем-то своим внушительным басом. Елизавета Ивановна замедлила шаг у открытого окна и прислушалась.

— Вот, крошки,— говорила Анастасия Федоровна,— сейчас мы его приметаем и прострочим. Сам по себе он ничего, лоскуток, а получится очень миленький кармашек. Главное, со вкусом надо подобрать. Вот и приучайтесь, вырабатывайте вкус. Сейчас вы маленькие, а потом вырастете. Станете девушками. На хорошо одетую девушку всем приятно посмотреть. Другая и некрасивая, а со вкусом оденется, и кажется, что красивее стала. Молодые люди в туалетах ничего не понимают, но им тоже нравится, если хорошо одета... Когда я была молодая и мой будущий муж за мной ухаживал...

— Можно вас на минуточку? — не выдержала Елизавета Ивановна.

— Меня? Пожалуйста.— Анастасия Федоровна отложила платье и подошла к окну.

— Вы понимаете, что вы говорите? — негодующим шепотом спросила Елизавета Ивановна.

— А что? Я ничего особенного не сказала,— встревожилась Анастасия Федоровна.

— По-вашему, говорить о том, как они станут девушками, о молодых людях — ничего особенного?

— Господи, да ведь они на самом деле будут девушками,— растерянно сказала Анастасия Федоровна.

— Это будет когда-то, а сейчас говорить с ними об этом не-пе-да-го-гич-но,— отчеканила Елизавета Ивановна.— И я предупреждаю, что поставлю вопрос на педсовете.

На лице Анастасии Федоровны выступили капельки пота. Она не знала, кто эта отошедшая от окна женщина с неподвижной спиной, испуганно смотрела на удаляющуюся спину и думала, что́ с ней, Анастасией Федоровной, сделают на педсовете за то, что она говорила. Она так и не поняла, что́ ужасное было сказано, но в том, что с ней что-то сделают, не сомневалась.

— А дальше? А потом что было? Расскажите, Анастасия Федоровна! — Увидев, что незнакомая женщина отошла, девочки обступили руководительницу.

— Потом, крошки, в другой раз. Давайте работать,— сказала Анастасия Федоровна и, прерывисто вздохнув, взяла недошитое платье.

Елизавета Ивановна была довольна. Возмутилась она совершенно искренне, но к ее возмущению примешивалось удовольствие, испытываемое человеком, когда ожидания, предположения его подтверждаются, даже если предполагает и ожидает он скверное и дурное.

Еще накануне вечером она договорилась с директором о том, что вторую рабочую комнату, подсыхающую после ремонта, можно пока использовать для игр. После завтрака Елизавета Ивановна собрала свою группу в пустой, гулкой комнате. Следом за старшими в нее набились и галчата — посмотреть, что там будут делать. Елизавета Ивановна была довольна и этим: во-первых, они не будут слышать всего, что может наговорить та похожая на домработницу толстая женщина, а во-вторых, очень хорошо, если воспитательнице удается завоевать авторитет сразу среди всех возрастов...

— Сейчас, дети, мы будем играть,— объявила Елизавета Ивановна.— Маленькие будут водить хоровод. Умеете?

— Умеем! — закричали галчата.

— Очень хорошо! Становитесь в кружок и беритесь за ручки. Какую будем петь песню? Если вы не знаете, я вас научу. Есть очень хорошая песенка. Вот слушайте.— И она скрипуче пропела:

Станьте, дети,
Станьте в круг,
Станьте в круг,
Станьте в круг...

— Жил на свете старый жук! — с восторгом подхватили галчата.

Они знали эту песенку. Весной их водили на кинокартину «Золушка», где был такой смешной король и где Золушка учила придворных песенке про жука.

Старшие с недобрыми ухмылками смотрели на воспитательницу, которая вместе с малышами распевала детскую песенку.

Стоявшим у дверей удрать было просто: улучив момент, когда воспитательница поворачивалась к ним спиной, они в два шага оказывались на свободе. Митя Ершов, Лешка и Яша Брук стояли возле окна. В знойном струящемся воздухе дрожали верхушки тополей, под деревьями клубками свернулись густые тени. В окно врывался запах нагретой листвы, а здесь, в комнате, пахло сырым мелом и сиккативом. Валерий Белоус до сих пор развлекался как умел: трогал пальцами стенку и смотрел, не пачкает ли, почесывался, незаметно щелкал галчат по затылкам. Все это надоело ему, он согнулся и сделал страдальческое лицо:

— Елизавета Ивановна, у меня живот заболел.

Галчата засмеялись.

— Выйди и не балагань! — строго сказала Елизавета Ивановна.

Валерий, храня на лице скорбь, пошел к выходу, но в дверях опрокинулся на руки, сделал стойку и вышел на руках. Галчата взвизгнули от восторга. Елизавета Ивановна не видела, но догадалась, что она обманута,— на щеках ее выступили красные пятна.

Яша Брук решительно оттолкнулся от стенки и пошел к выходу. Следом тронулись Лешка и Митя.

— Куда вы, дети?

— К Людмиле Сергеевне, попросим газету. Мы с Ксенией Петровной всегда в это время читали газету,— сказал Яша.

Митя, подтверждая, кивнул.

Елизавета Ивановна прищурилась, пятна на ее щеках проступили ярче. Взгляд ее остановился на Лешке.

— Горбачев, к директору тебя вызывали?

— Вызывали.

Галчата примолкли, перестали топтаться.

— Что она сказала?

— Чтобы не заплывал в другой раз.

— И больше ничего?

— Ничего.

— Ага! — Елизавета Ивановна едва не задохнулась. Малыши затаив дыхание ждали, что она сделает.

— У меня в группе,— еще отчетливее, чем всегда,

сказала Елизавета Ивановна,— не появляйся до тех пор, пока директор не вызовет тебя снова.

Лешка исподлобья посмотрел на нее и пошел следом за товарищами. Валерий подтягивался на турнике. Увидев их, он спрыгнул на землю.

— Вот зуда какая! А, ребята?..— сказал он и, неестественно вытянувшись, запел фальцетом: — «Жил на свете старый жук...»

— Брось, Валет! — отмахнулся Митя.— И откуда она взялась на нашу голову!..

— Хоть бы уж скорее Ксения Петровна выздоравливала!

— Да...— задумчиво подтвердил Яша и, помолчав, вдруг решительно сказал: — А мы свиньи! Конечно, свиньи! — кивнул он в ответ на удивленные взгляды товарищей.— Ксения Петровна сколько болеет, а мы ни разу не проведали.

— Ну да, в больницу же нас не пустили!

— Так то в больницу, а сейчас она дома. Пошли... Сходим? А то Елизавета Ивановна нас еще в песочек посадит играть...

Ребята невесело посмеялись.

— Вы идите, а я не пойду,— сказал Лешка.

— Почему?

— Ну, вас она знает, а меня нет.

— Так узнает! Все равно ты с нами, в нашей группе.

Лешка стеснялся чужих, незнакомых людей, терялся в их присутствии, знал, что так будет и на этот раз, но после недолгих колебаний согласился.

— А адрес? Ты знаешь?.. Я тоже нет... О, Кирка знает! Девочки к ней бегали...

Кира адрес знала, но сказать отказалась:

— А зачем вам? Вы к ней хотите? Я тоже пойду.

— Так ты уже была!

— Ну и что? И еще пойду.

Ребята переглянулись... Им хотелось пойти самим, чтобы поговорить обо всем серьезно, а при Кирке какой мог быть серьезный разговор... Кира обиделась:

— Не хотите — и не надо! Ничего я вам не скажу, а пойду сама.

— Да ладно, пойдем.

Кира улыбнулась, но тут же лицо ее стало озабоченным:

— Только знаете, мальчики, надо ей в подарок что-нибудь принести.

— А чего нам дарить? У нас ничего нет.

— По-моему, надо цветы. А? Это очень красиво — дарить цветы! Цветы всегда дарят.

— Ха! Где ты их возьмешь? На базаре? А откуда у нас деньги?

Денег не было, и взять их было негде.

— В сквере нарвать — так еще в милицию заберут...— раздумчиво сказал Митя.

— Я знаю! — с таинственным видом сказала Кира.— Там только собака, а если не бояться, так ничего...

Кира привела их в узкий, глухой переулок, над которым смыкались кроны деревьев, с независимым видом прошла по нему одна, «на разведку»,— шепотом пояснила она, потом подвела к забору из ржавых штамповочных отходов. Там, где не хватило продырявленных железных листов, была натянута колючая проволока. За забором среди яблонь и груш в густой траве вздымались стрелы львиного зева, алели гвоздики. Возле самого забора раскинулись широкие вайи папоротников. Кира приподняла проволоку — образовался удобный лаз.

— Вот,— сказала она.

— Так это же чужое! — изумленно сказал Яша.

— А что у них — убудет? Вон там сколько!

— Нет, я не полезу,— решительно сказал Яша.

— И я,— сказал Митя.

— Эх, вы! Просто вы трусите, вот и все! — презрительно сказала Кира.— А еще мальчишки!..

Лешка не хотел лезть в чужой сад, но он не мог допустить, чтобы его считали трусом.

— Подыми проволоку,— сказал он.

Пригнувшись, он пробежал к деревьям и торопливо начал рвать цветы вместе с травой. Трава не поддавалась, скользила в кулаках, из-под рук брызгали в разные стороны кузнечики. Возле дома забухал густой собачий лай.

— Обратно! Давай обратно! — громким шепотом закричала Кира.

Лешка метнулся к лазу.

— Папоротников! Папоротников сорви!

Лешка ухватил несколько ломких резных листьев и бросился под проволоку. По саду, размахивая руками, бежала старуха:

— Да что же вы делаете, босяки!.. Вот я на вас собаку спущу!

В ответ раздался дружный топот. «Босяки» остановились только через два квартала.

— Нет, все-таки это свинство! — переводя дух, сказал Яша.— Вдруг залезли в чужой сад, наворовали цветов...

— Никакое не свинство! — отрезала Кира.— Если бы для себя — другое дело, а то для больного. А где нам взять, если у нас нет? А ей будет приятно... Ну и помял же ты их!

— А я считаю, все равно,— сказал Митя.— Для чего бы ни украли, все равно украли. Вот Ксения Петровна узнает...

— Попробуй только сказать!..

Кира на ходу перебрала растрепанный пук травы и листьев, и он незаметно превратился в пышный букет, красиво обложенный папоротником. Она полюбовалась и сама себя похвалила:

— Вот! Как из магазина!

Маленький домик на улице Липатова прятался от зноя в глубине двора, среди уже отцветшей сирени. Весь двор занимали аккуратные грядки, дорожка была тщательно вычищена и подметена. Но возле терраски, к которой ребята подошли, порядок бесследно исчезал. Уткнувшись фарой в сиреневый куст и задрав заднюю ось без колеса, стоял мотоцикл. Возле крохотной, под навесом, летней кухни лежала длинная помятая коляска. Перед ступенями на веранду, заваленными щепой и стружками, стоял остов новой коляски. Человек в майке и лыжных брюках согнулся над этим остовом. Ребята видели только его обтянутый коричневой фланелью зад и движущиеся голые локти.

— Здравствуйте,— сказала Кира.

Из-под колена показался прищуренный глаз, удивленно открылся, человек выпрямился и повернулся к ребятам:

— Чем могу?

Он оказался толстогубым, с большим утиным носом и совершенно лысый. Сверкающую, как стеклянный абажур, лысину покрывали росинки пота. Он вытер пот ладонью и выжидательно зажмурил левый глаз, отчего правый открылся еще больше.

— Мы... Нам Ксению Петровну,— объяснила Кира.

— Угу! Сенечка! — крикнул человек в сторону веранды.— К тебе твои ирокезы... Шагайте! — сказал он, отодвигая в сторону остов коляски, и тут же остановил ребят.— Одну минуточку! Здесь,— он показал на террасу и вокруг себя,— что угодно, там,— он повел рукой в сторону грядок,— ничего! Квартирная хозяйка! — скосив глаза, заговорщическим шепотом пояснил он.

— Мы вовсе и не собираемся... Мы же не за тем...

— Да кто там, наконец? — послышался с веранды женский голос.— Вадим, опять ты что-нибудь выдумал?

— Отнюдь! И даже наоборот!..— воскликнул лысый человек.— Вполне реальные краснокожие атакуют наш блокгауз. Вооружены они шпажником и гвоздиками, но где-нибудь у них спрятаны томагавки. Кричи, когда они начнут снимать с тебя скальп. Я не боюсь — у меня снимать нечего.— Лысый подмигнул ребятам.

Они засмеялись и поднялись на веранду.

Маленькая женщина с округлым лицом нетерпеливо приподняла голову с подушки. При виде ребят она радостно заулыбалась, на бледных, но полных щеках ее проступили ямочки.

— О, ребята! Вот хорошо, что пришли!.. Здравствуйте! И даже цветы?.. Спасибо!.. Вадим Васильевич, дай стулья.

Вадим Васильевич поднялся на веранду, заглянул в комнату и озабоченно зажал нос в кулаке. Все стулья были завалены инструментами и мотоциклетными деталями.

— Стулья? — переспросил он.— Чтобы сесть? Но разве для этого обязательны стулья? — Он широким жестом показал на перила веранды.— Прошу!

Кира, уже пристроившая свой букет в кувшин с водой, с удовольствием вспрыгнула на перила.

— Не беспокойтесь, пожалуйста, мы не устали,— вежливо сказал Яша.

Лешка позавидовал тому, как Яша спокойно держится и здо́рово высказывается. Сам он, ожидая неизбежных расспросов, не знал, куда девать руки, ноги, и никак не мог сглотнуть противную сухость во рту. Однако его ни о чем не расспрашивали. Ребята рассказывали о лагерных происшествиях. Ксения Петровна весело смеялась. Внизу Вадим Васильевич пытался привинтить к остову железный уголок, но прижать его было нечем — уголок вертелся вместе с шурупом. Вадим Васильевич, отдуваясь, отбросил отвертку и провел пятерней от затылка ко лбу, ероша воображаемую шевелюру. Лешка спустился вниз:

— Давайте я подержу.

— Оч-чень хорошо! Только возьми плоскогубцами.

Норовистый уголок после нескольких рывков затих и прижался к остову.

— Брависсимо! — сказал Вадим Васильевич.— Еще немного — и ты станешь бортмехаником. Как тебя зовут?.. Алексей Горбачев? А по батюшке? Отца как звали?.. Отлич-

но! А что, Алексей свет Иванович, если мы привинтим еще уголочек? Не возражаешь?.. Превосходно!

— А что это будет?

— Сие корыто? Будучи обтянутым и поставленным на колесо, оно превратится в мотоциклетную коляску.

— А где же колесо?

— Хм! Чего нет, того нет. И даже заднего колеса для мотоцикла тоже нет. Купил без колеса. Оно погибло в неравной борьбе с нашими мостовыми. Но я убежден: где-то бродит человек и изнывает от желания продать мне колесо.

— Так лучше же купить сразу новый мотоцикл!

— Лучше? — Вадим Васильевич зажал нос в кулаке и озабоченно посопел в него.— Возможно, возможно... Но, во-первых, нет денег. Как вы думаете, Алексей Иванович, причина уважительная?

— Уважительная,— засмеялся Лешка.

— Я тоже так думаю. Во-вторых, получать готовое скучно. А этот драндулет, как называет его моя дражайшая супруга, когда он, изрыгая грохот и зловоние, будет вытряхивать душу из своего хозяина, он покажется мне дороже «роллс-ройса». А почему? Делать вещи своими руками — это самое лучшее, что придумал человек, с тех пор как появился на Земле. Малопочтенному занятию — отравлять жизнь ближнему — он научился значительно позже...

За свою долгую, по его мнению, жизнь Лешка не успел еще сделать ни одной вещи, но, представив себе, как бы ему завидовали, если б он мог сказать, что мотоцикл построил он сам, согласился, что делать вещи, конечно, здóрово.

— Вадим, дай нам, пожалуйста, яблоки.

Вадим Васильевич поднялся на веранду.

— И, ради бога, перестань хвататься за нос!

— Сенечка! — с отчаянием воскликнул Вадим Васильевич.— Это же самый выдающийся предмет на моей физиономии! Держась за него, я чувствую, что и во мне есть что-то великое...

На веранде засмеялись. Лешке понравился веселый, чуднó и непонятно говорящий дядька с таким некрасивым и таким подвижным лицом. Вадим Васильевич вернулся и строго спросил:

— А мы что, рыжие? Держи,— и протянул Лешке огромное яблоко.

— Я такое не съем,— застеснялся Лешка.

— А если постараться? — деловито спросил Вадим

Васильевич.— Вот и старайся. Я тоже буду.— Он надкусил яблоко и, жалобно сморщившись, ухватился за щеку.— У, проклятый!..

— Зубы? — сочувственно спросил Лешка.— У меня тоже зуб болел. Мне Митька вырвал.

— Митька? Как? — заинтересованно повернулся к нему Вадим Васильевич.

— Ниткой.

— Нет, брат,— огорченно вздохнул Вадим Васильевич,— для меня нитка не годится. Трос нужен. А лечить тоже не могу. Машины люблю всякие, но бормашины боюсь до смерти... Придется прибегнуть к полумерам — женииному одеколону.

Держась за щеку, он взбежал на веранду.

— Опять зубы? — воскликнула Ксения Петровна.— И как не стыдно! Взрослый человек, а боится идти к зубному врачу!

— Сенечка! — взмолился Вадим Васильевич.— Я же не совершенство! Критики же допускают, чтобы положительные герои имели миниатюрные слабости... Честное слово, я вполне положительный мужчина, почему мне нельзя иметь такую невинную слабость?! Ох! — И он убежал в комнату.

Лешка поднялся на веранду. Яша рассказывал Ксении Петровне о новой воспитательнице и о том, как ее все невзлюбили за въедливость и несправедливость. Она вызвала такую дружную неприязнь, что каждый ее поступок, каждое слово казались неправильными. Ксения Петровна, нахмурившись, слушала рассказ Яши, то и дело прерываемый бурными дополнениями Киры. Митя молча кивал, подтверждая сказанное.

— Мне кажется,— осторожно сказала Ксения Петровна,— вы поторопились с выводами. Она новый человек, а вы привыкли к другому — скажем, ко мне — и потому не совсем справедливы к ней.

— Хорошо, мы привыкли,— вскочила Кира,— но Горбачев же не привык, он новенький. Пусть он скажет! Это справедливо, если я чуть не утонула и он меня спас, а она его хочет наказывать!

— От меня бы вам, положим, тоже попало! — сказала Ксения Петровна. Глаза ее прищурились, а на щеках проре́зались веселые ямочки. Ребята засмеялись.— Помоему, вам просто скучно! Вот вы и капризничаете...

— А конечно, скучно! — подхватила Кира.— Отчего бы стало весело?..

Вадим Васильевич появился в дверях, и душная волна одеколонного аромата хлынула на веранду.

— Ты вылил на себя весь одеколон? — всплеснула руками Ксения Петровна.

— Нет, самую малость. Но исцелился и теперь услаждаю носы общества. Учитесь жертвовать собою! — подмигнул ребятам Вадим Васильевич.

— Сядь, жертва, подальше, а то общество бросится за противогазами...— С горестным вздохом Вадим Васильевич сел на перила.— Что же вы делаете?

— На «подсобку» ходим... А вот сейчас в «жука» играли,— усмехнулся Митя.

— И это все, чем вы занимаетесь? — спросил Вадим Васильевич.

— С первого числа в школе будем заниматься.

— Да нет, что вы сейчас делаете?

Ребята переглянулись:

— Ничего.

— Троглодиты! — Вадим Васильевич соскочил с перил.— И вы еще не покусали друг друга от скуки? Не полезли на стену? Сколько вам лет? Двенадцать, четырнадцать?.. Неправда! Вы дряхлые, ленивые старички! Неужели ни один ваш самолет не парил в небе, разрывая завистью сердца окрестных мальчишек? Неужели вы ни разу не сожгли пробок, пуская электропоезд? Что это у вас? Руки? Фитюльки, брелоки! Может, вы думаете, что это у вас головы? Это клумбы для причесок!.. Молодые люди! В вашем возрасте я первый в своем городе построил детекторный приемник, и мышиный писк в нем поверг в изумление и восторг весь город... Из-за моего ветродвигателя у мальчишек не было инфаркта только потому, что тогда еще не знали, что это такое... Мой двигатель давал электроэнергию и мог...— вы слышите? — мог зажечь лампочку от карманного фонаря! На руках у меня не сходили мозоли, ожоги и прочие болячки... Покажите ваши руки!.. Разве вы живые мальчики? Вы восковые, картонные!..

— Вадим! Вадим! — остановила его Ксения Петровна.— Что ты на них напал? Они же не умеют.

— А кто научился не делая?

— А что мы можем делать, если у нас ничего нет! — возразил Митя.

— Головы есть? Руки есть? Достаточно!.. Нет, я не могу на вас смотреть. Кем вы растете? Белоручками! Дармоедами! — Вадим Васильевич махнул рукой и убежал к мотоциклетным руинам.

— Вы не обижайтесь на него, ребята,— тихонько сказала Ксения Петровна.— Он только шумит страшно, а так, в общем, ничего...

— Мы не обижаемся,— сказал Яша.— Правильно, конечно... Мы пойдем, Ксения Петровна, а то нам еще попадет.

— Как — попадет? Вы разве без спросу?.. Немедленно убирайтесь и больше без разрешения носу не показывайте!..

Ребята попрощались с Вадимом Васильевичем, который, не оборачиваясь, буркнул что-то в ответ, и ушли.

— Правда, он хороший? — оглядываясь у калитки, спросила Кира.— Веселый-веселый!

— Ага,— сказал Лешка.— Только почему он такой старый? Ксения же Петровна молодая.

— А он совсем и не старый! Только что лысый... Так, может, у него от болезни волосы повылазили.

— Давайте скорее, ребята,— сказал Яша,— а то в самом деле нагорит. Наверно, Людмила Сергеевна нас уже хватилась.

14

Людмиле Сергеевне было не до них. Анастасия Федоровна, невпопад отвечая девочкам, все время мучительно раздумывала о том, что такое ужасно непедагогичное сказала она при незнакомой женщине. Теряясь в догадках, Анастасия Федоровна так настращала себя, что у нее начали дрожать руки, закололо в сердце. Поручив ученицам обметывать петли, она прибежала к заведующей. Нервно перекалывая бесчисленные булавки и иголки в отворотах платья, Анастасия Федоровна попыталась рассказать, что произошло, но вместо этого начала всхлипывать, сморкаться и расплакалась.

Людмила Сергеевна не могла не улыбнуться — почему-то большие, толстые люди всегда смешно страдают,— и тут же ей стало неловко. Эта толстая, со смешными замашками женщина была одинока как перст. Всю жизнь она отдала служению — даже не любви, а именно служению — сначала мужу, потом сыну. Муж, техник-металлург и капитан запаса, погиб где-то под Лозовой в завьюженную ночь, командуя последним заслоном, прикрывавшим отход частей. Сын, не в мать хрупкий юноша, которому она, притворяясь сытой, подсовывала свой скудный хлебный паек эвакуированной, не кончив школу, тайком от нее ушел

добровольцем в армию и бесследно исчез в боях под Яссами. Анастасия Федоровна верила в лучшее, ждала и надеялась. Время подтачивало надежду и развеяло ее без остатка.

В родной город Анастасия Федоровна вернулась, но вернуть свое место в жизни не могла: ей не о ком было заботиться, не на кого было расходовать неиссякаемые запасы любви. К тому же и делать она могла немногое — шить, по-домашнему готовить. Учиться чему-нибудь было не по возрасту, да и не пошла бы никакая наука в ее затуманенную горем голову. Друзья мужа через завком и гороно устроили ее в детский дом руководительницей по труду. Поначалу Анастасии Федоровне не раз случалось, выкраивая детскую рубашонку, всплакнуть в голос. Ее маленькие ученицы не знали, о чем плачет тетя-руководительница, тем не менее охотно поддерживали ее согласным хором. Людмиле Сергеевне несколько раз доводилось унимать их дружный рев, и она даже подумывала, не следует ли заменить плаксивую руководительницу — детишки и без того нервны.

Постепенно веселая ребячья болтовня, радость, сияющая в их глазах, и собственное жизнелюбие взяли верх. Анастасия Федоровна успокоилась, привыкла, а потом без памяти привязалась к своим «крошкам». Могучая руководительница изливала на них столь же могучие потоки нежности. Дети никогда не ошибаются в оценке внутреннего к ним отношения взрослых. Они отвечали ей тем же.

Анастасия Федоровна не заблуждалась насчет своих познаний. Она учила крошек шить, вышивать, а слегка и уму-разуму, как сама его понимала. Случалось, Людмила Сергеевна с некоторой тревогой прислушивалась к ее поучениям, но все заканчивалось благополучно. Да и как могло быть иначе: не очень образованная, но порядочная женщина и мать, могла ли она внушать детям дурное?

Теперь эта большая женщина с растрепанной прической, смешно всхлипывая басом и сморкаясь, перепуганно и невнятно говорила что-то о педсовете, своей невиновности и какой-то инспекторше, неизвестно за что на нее накричавшей. Людмила Сергеевна напоила ее водой, заставила причесаться и только-только начала добиваться вразумительного рассказа, как глаза Анастасии Федоровны остановились и она опять потеряла дар речи. В кабинет вошла Елизавета Ивановна.

— Значит, это вы так напугали Анастасию Федоровну? — догадалась Людмила Сергеевна.

— Напугала? Не знаю. Я сделала совершенно правиль-

ное замечание. А если это кого-нибудь пугает...— Елизавета Ивановна развела руками. Она пришла взбешенная и не намерена была церемониться.

— Хорошо, разберемся. Вы идите, Анастасия Федоровна, и успокойтесь, пожалуйста. Я думаю, у вас нет оснований волноваться.

— У вас они во всяком случае есть! — сказала Елизавета Ивановна.

Людмила Сергеевна проводила Анастасию Федоровну к дверям и повернулась к Елизавете Ивановне:

— Какие?

— Вы знаете, что́ эта женщина говорила маленьким девочкам?! О том, как они станут девушками и как нужно одеваться, чтобы нравиться.

— Рановато, конечно, но вкус и опрятность надо прививать с детства. В сорок лет не привьешь.

— Но она все это по-обывательски! Это мещанка какая-то!

— Вот уж напрасно! Она добросовестный работник и очень хорошая женщина.

— И этого, по-вашему, достаточно? Уверена, что у нее нет специального образования.

— В магическую силу диплома верят только люди, у которых за душой нет ничего, кроме этого диплома...

— Вот как? Министерство просвещения придерживается другого взгляда!

— Ну, я ведь не министерство...— усмехнулась Людмила Сергеевна.— И где их взять, дипломированных, коли нет?

— Но как можно терпеть людей, не имеющих представления о педагогике? Задача воспитания подрастающего поколения лежит прежде всего на нас, педагогах...

Елизавета Ивановна, подстегиваемая негодованием, горячо принялась объяснять, какая это большая, ответственная задача и как ее надлежит решать советским педагогам.

Людмила Сергеевна с тоской слушала бесконечный поток пространных периодов, которые она читала и слышала несчетное число раз, и вдруг, несмотря на ясный день и полную перед тем бодрость, почувствовала, что ее укачивает, заносит — еще несколько секунд, и она заснет.

«Батюшки, да от нее очумеешь! — подумала Людмила Сергеевна и встряхнула головой, чтобы отогнать расслабляющую дремоту.— Говорить мастер, а с дюжиной мальчишек не сладила».

Людмила Сергеевна уже знала от дежурной, что старшие воспитанники разбежались и с новой воспитательницей остались только галчата, с энтузиазмом прославляющие старого жука... Ей вспомнился знакомый, который любил долго, со вкусом объяснять, как надо плавать, и, даже стоя на берегу, командовал, давал советы и критиковал. Сам он никогда не купался, так как плавать не умел и воды боялся... Людмила Сергеевна заулыбалась.

— Я, кажется, ничего смешного не сказала! — оскорбленно осеклась Елизавета Ивановна.

— Извините, это своим мыслям... Все, что вы говорили, совершенно правильно, но... поговорим о вашей группе.— Людмила Сергеевна улыбнулась как можно мягче: ей захотелось загладить неловкость от своего неуместного веселья во время речи Елизаветы Ивановны.— Разбежались сорванцы?

— Да. И виноваты в этом вы! — Пятна на скулах Елизаветы Ивановны вспыхнули снова.

— Я-а? Чем?

— Вы наказали Горбачева? Нет! А в результате и без того донельзя распущенная группа решила, что ей все позволено. И вот — пожалуйста!.. Почему он не наказан?

— Горбачев — новенький. Мальчик в прошлом задерганный, замкнутый, недоверчивый. Если на него наседать, он просто убежит, только и всего. Ему оттаять нужно, и он уже начал оттаивать. Сейчас ласковый упрек для него больнее любого наказания. Однажды его уже вызывали на совет, и он очень тяжело это переживал.

— Это что, по Макаренко? Он устарел...

— Ну, прежде мы с вами устареем!

— Теперь другое время и другие методы... Но не об этом речь! Вы думаете обо всех, кроме меня. Какой может быть у меня авторитет, если вы с первых шагов отвергаете то, на чем настаиваю я?

— Что же мне, для создания вам авторитета раздавать выговоры или затрещины?

— Мне нужно только, чтобы вы не подрывали, а завоевать я сумею сама!

— Заслужите любовь и уважение ребят — вот вам и авторитет. Они мечтают о нем. Им нужен образец, человек, который знает больше и умеет лучше, который скор на выдумку, но нетороплив и мудр в решениях. Сумейте их увлечь, и они с радостью подчинятся вам, пойдут за вами, как за пророком!..

— Я не претендую на роль пророка,— язвительно сказала Елизавета Ивановна.— Мне достаточно, если меня ценят и уважают в органах народного образования. Я советский педагог и отлично понимаю ответственность и важность своей работы. Она вовсе не в том, чтобы подлаживаться под вкусы детей и потакать их выдумкам. Их нужно воспитывать! И я вас спрашиваю: буду я иметь поддержку или нет, будем мы, педагоги, действовать единым фронтом?

Людмила Сергеевна вспыхнула:

— Пока я работаю в детдоме, здесь не будет никаких «фронтов», никакого противопоставления педагогов детям! И не рассчитывайте на репрессии. Их не будет. Мы здесь для того, чтобы облегчить детям жизнь, а не отравлять ее.

— Разумеется! Покой и самолюбие малолетнего хулигана важнее достоинства педагога!

— Здесь нет хулиганов, товарищ Дроздюк! — резко сказала Людмила Сергеевна и поднялась.— А если достоинство педагога подвергается сомнению, виноват он сам.

— К счастью, этот вопрос будет решать гороно, а не вы. Имейте в виду, я поставлю в известность Ольгу Васильевну.

— Пожалуйста.

— Если вы так относитесь к педагогам, я вряд ли смогу продолжать у вас работать.

— Я тоже так думаю. И знаете... по-видимому, ждать окончания испытательного срока не стоит. Мы как-нибудь обойдемся.

Лицо Елизаветы Ивановны дрогнуло, она хотела что-то сказать, но передумала и, оскорбленно вскинув голову, вышла.

«Ну-ну, сокровище! — Людмила Сергеевна распахнула окно, словно присутствие Елизаветы Ивановны нагнало в комнату невыносимую духоту.— Вот тебе и твердый характер! Характер-то твердый, да и мозги... чугунные. Теперь побежит в гороно кляузничать. Наврет с три короба, а ты оправдывайся... Ну и шут с ней, пусть ябедничает!»

Людмила Сергеевна решила больше не думать об этом, но успокоиться не могла и заново переживала всю стычку. Всегда по окончании какого-либо разговора ей казалось, что она отвечала вяло, неубедительно, а потом, уже после времени, в голову приходили ответы и реплики, острые и неопровержимые, как сама истина. В дверь постучали, и Людмила Сергеевна досадливо отмахнулась от своего запоздалого острословия.

— Войдите!.. А, Яша? Входи.

Она любила этого вежливого и сосредоточенного мальчика. Полная противоположность своей матери — Людмила Сергеевна знавала ее. Та всегда жила нараспашку, так громко и весело, что все начинали улыбаться, едва заслышав ее звонкий голос.

— Садись. Что скажешь?

— Я лучше постою пока, Людмила Сергеевна,— сказал Яша, поправляя очки.— Мы отлучались без разрешения.

— Ага, каяться пришел?.. Кто и куда?

— Рожкова, Ершов, Горбачев и я. Но я пришел сказать, что подговорил всех я, остальные ни в чем не виноваты. Как-то это так получилось... Просто я сказал, что свинство с нашей стороны не проведать Ксению Петровну. Мы и пошли. И совсем забыли, что без разрешения.. Но мы же не куда-нибудь там!..

— Ну, покаялся, теперь садись. Очень хорошо, что проведали Ксению Петровну, и очень плохо, что без спросу. Ты ведь это понимаешь?

— Понимаю,— серьезно сказал Яша и посмотрел ей в глаза.

— Если бы Ксения Петровна знала, она бы вас отправила обратно.

— А она нас и прогнала,— улыбнулся Яша.

— Вот видишь!.. Как она себя чувствует?

— Слабая еще очень. Лежит, улыбается, а сама бледная. Врачи говорят, еще недели две нельзя вставать.

Болезнь старшей воспитательницы поставила Людмилу Сергеевну в трудное положение. Хорошо еще, что случилось это в лагерный период — ребята бо́льшую часть времени были там. А сама так закружилась, что всего два раза вырвалась проведать больную. Даже перед ребятами стыдно — они вон и то догадались. Яша выжидательно поглядывал на Людмилу Сергеевну.

— Я еще хочу сказать... Муж Ксении Петровны... Мы с ним познакомились. Он... он интересный человек,— сдержанно определил Яша.— Так он подал нам хорошую идею, по-моему. Организовать у нас какое-нибудь дело.

— Какое дело? Вы ведь работаете на подсобном участке? Какого же вам еще дела хочется?

— На участке — другое! Это ведь потому, что нужно. А тут что-нибудь, чтобы ребята сами делали, сами строили, изобретали... Чтобы не было скучно.

— А разве тебе скучно?

— Мне? — удивился Яша.— Нет. Я про других говорю.

— Что же нам, мастерскую устраивать? Негде. Да и незачем. Меньше чем через год окончите семилетку, большинство пойдет в ремесленные, ФЗО. Зачем же сейчас мастерская? Да и денег у нас нет. Нет, Яша, ничего не получится.

Брук ушел. Людмила Сергеевна занялась очередными делами, забыв об этом разговоре, но он вспомнился, когда она увидела ребят, несмотря на запрет опять собравшихся в «клубе», за сараем, и окончательно овладел ее мыслями, когда уже в темноте она медленно — чтобы отдохнуть — возвращалась домой и перебирала в памяти события дня.

Яша прав — ребятам скучно. Зимой они до отказа загружены уроками, иной раз жалко смотреть, как они корпят над учебниками и тетрадями, а летом даже неистощимая на выдумку Ксения Петровна и та сдавалась. А без нее и вовсе плохо. Конечно, они работают на участке, но энтузиастов этого дела не так уж много. Это они делают потому, что должны, а «для души» как изобретут что-нибудь — не обрадуешься. Вроде прошлогодней истории с голубями...

Весной прошлого года Толя Савченко и Митя Ершов попросили разрешения держать двух голубков — держат же другие котят. Разрешила. Всем детдомом их закармливали, оберегали от кошек. Потом вместо двух оказалось пять. Приманили своими и поймали. Потом стало десять. Для них построили голубятню — откуда натаскали материал, она так и не дозналась,— поставили на столбе голубиный аэродром, вроде пропеллера, как у заправских голубятников. Спохватилась Людмила Сергеевна, когда голубей оказалось сорок и все поголовно мальчишки, кроме Брука и Горовца, заболели этой страстью. Целыми днями во дворе стоял треск крыльев, свист, гиканье. Сжигаемая азартом ребятня переживала каждый взлет, а потеря залетевшего в чужой двор голубя воспринималась как трагедия. Все бы еще ничего, но во дворе стали появляться великовозрастные верзилы с оттопыренными пазухами, с приклеившимися к губам сигаретами. Они садились где-нибудь в тени и вприщурку смотрели на воспитателей. Голуби нежно стонали у них под рубахами, а они перебрасывались жаргонными словечками и, конечно, ругались. И свои, детдомовские, ребята начали перенимать их ухватки, ходить враскачку, щуриться, цедить слова через губу. Людмила Сергеевна пришла в ужас. Терпеть дольше голубятню — значило погубить дом, уничтожить — означало вызвать незабываемую обиду. Помогло несчастье.

Однажды ночью голубятня загорелась. Ребята повскакали с постелей, тушили чуть ли не ладонями, но, щедро политая смесью бензина с керосином, деревянная постройка сгорела дотла. В ней не оказалось и следа голубей. И тогда все ребята исчезли. За Людмилой Сергеевной прибежала вконец испуганная Лина Борисовна, дежурившая по спальням. Бросились на поиски, да куда там! Разве найдешь мальчишек глухой ночью, в полуосвещенном городе, если они хотят скрыться!

Утром они вернулись сами, мрачные, грязные, раздавленные горем. Их заставили вымыться, накормили и ни о чем не расспрашивали. Только потом Людмила Сергеевна узнала подробности этой ночи.

Увидев, что в догорающей голубятне нет ни одного голубя, ребята догадались, что это не пожар, а поджог, совершенный после воровства.

— Это Сенька Бугай! Бугаева работа!

Сенька Бугай был угрюмый детина, нигде не работавший, но безбедно живший на неизвестные доходы. Он не раз после того, как у него перехватывали голубей, грозился «дать прикурить» детдомовцам.

— Пошли, ребята!

Вся толпа в одних трусах бросилась на улицу, оставив догорать погибшую сокровищницу. По дороге восторжествовали трезвые головы, и вместо более приятного, но сомнительного кулачного возмездия Сеньке Бугаю решили добиваться не столь упоительного, но более надежного — законного. В отделение милиции ввалилась орава перепачканных сажей, мокрых ребят и, сверкая глазами, потребовала начальника. Тот выслушал чумазую, взъерошенную горем и негодованием ребятню, поколебался, но отрядил с ними милиционера с ищейкой. Сеньки Бугая дома не оказалось. В заброшенном сарайчике на пустыре было найдено несколько голубиных тушек. Это непонятное зверство вызвало у потерпевших такую ярость, что, не будь с ними милиционера, они бы бог знает что натворили. Людмила Сергеевна опасалась, что ребята подстерегут Бугая и дело кончится совсем плохо, и даже говорила об этом с начальником милиции. Через несколько дней начальник милиции сообщил ей, что Бугай задержан по обвинению в делах более важных и в городе уже не появится...

Нет, бог с ними, с такими увлечениями! И хоть бы польза была, а то ведь ничего, кроме скверного азарта.

А придумать занятие для ребят необходимо. И чтобы это

обязательно была работа, чтобы и голова и руки были заняты настоящим делом. Они — дети своего времени, они не боятся труда и изнывают от безделья.

Что же, «трудовое» обучение, подобное тому, что проходила когда-то она в сумбурное время комплексного обучения и бригадного метода? Предполагалось, что это облегчит учащимся восприятие. Действительно, облегчило и без того не слишком обремененные головы... Ведь ни учебников, ничего. Учились, как скворцы, с голоса...

Людмила Сергеевна тихонько открыла дверь, не зажигая света, прошла в кухню. Молодец Любочка — приготовила матери ужин. И как чисто, аккуратно... Хорошая девочка растет! Наскоро поужинав, она на цыпочках прошла в спальню и легла. Сон не приходил. Опять начало покалывать сердце... Хорошо еще, врачи говорят, что нарушений никаких нет, просто нервное. Натомилась за день да еще с этой Дроздюк понервничала... Придется встать.

Муж услышал звяканье пузырьков и сердито проворчал:

— Опять аптека пошла в ход? Думаешь, капельки спасут? Конец этому будет, Люда, или нет?

— Спи. Детей разбудишь.

— Скажите, какая забота о детях! Они уже забыли, какая ты есть. Скоро за стол вместо тебя фотографию будем сажать... Свалила все на девчонку и рада!

— Как тебе не стыдно, Вася! Ты же знаешь, какое сейчас положение в детдоме...

— У тебя всегда безвыходное положение... Знаешь, как это называется? Работой на износ. Так вот станок какой-нибудь, рухлядь, которую уже нет смысла ремонтировать, пускают в работу, пока окончательно не развалится... А ты не машина, думать надо! Не хочешь о себе, так о детях подумай, обо мне, наконец...

— А что о тебе думать? Вон ты какой здоровущий. А был такой хрупкий, тоненький мальчик... Помнишь, в семилетке, когда мы табуретки строили?

— Вот еще вспомнила ерунду какую! Спи лучше, а то завтра опять убежишь ни свет ни заря...

Да, действительно было похоже на ерунду. Замысел был хороший, но никто не знал, как и что нужно делать. Заводшеф прислал инструменты, несколько слесарных и столярных верстаков. Привезли телегу досок, и началось обучение. Егор Иванович, старичок с прокуренными усами, страдал пристрастием к дремоте и воспоминаниям. В промежутках, когда он не предавался воспоминаниям возле

плиты, на которой варился столярный клей, или не рассказывал, как в старое время мастер «вздрючивал» его за каждую мелочь и однажды с похмелья даже облил кипящим клеем, учил их строгать царги и проножки для табуреток и опиливать железные пластинки неизвестного назначения. Немногие законченные табуретки обрастали пылью и грязью в школьном сарае, а металлические пластинки терялись или просто выбрасывались, что никого не огорчало. Она свою пластинку так и не допилила. До железки ли было, если тогда осваивалась перехваченная у старших девочек магическая формула стреляния глазами: «В угол, на нос, на предмет»... Техника была освоена и тут же многократно проверена на ближайшем «предмете» — Васе. Сраженный триединой формулой, Вася и допиливал за нее окаянную пластинку. Теперь он этого не помнит. А она помнит, словно все было вчера... Господи, за стеной спит дочка уже такого возраста, а ей все детские глупости вспоминаются!

Нет, такое обучение им не нужно. У Макаренко? У него другое — там колонисты должны были по необходимости работать, как настоящие рабочие: средств не хватало. Теперь в этом нет нужды, государство их обеспечивает.

И все-таки Яша прав: мастерская нужна. Без обязательного урока, без нормы, погони за планом, заработком. Но такая, чтобы были заняты руки и головы... Так что же это будет? Игра в мастерскую? Пусть. Жизнь детей начинается с игры. Девочка с куклой повторяет то, что мать делает с ней, мальчишка подражает отцу. Из них не выйдут токари или слесари? Неважно! Они сами будут собирать, строить, создавать свою мастерскую. И даже не научась чему-то определенному, не приобретя профессии — это они получат потом, в ремесленном, ФЗО,— они научатся любить работу, в которой один помогает другому, поддерживает, подгоняет. Пусть пока по-детски они узнают и полюбят инструменты, орудия труда, чтобы потом встретить их как добрых, испытанных помощников, сжать молоток, как твердую, надежную руку друга!..

15

Ранним утром, когда над городом, перекрывая гудки других заводов, рокотала могучая октава «Орджоникидзестали», детский дом был разбужен грохотом. Повскакав с коек, ребята бросились к открытым окнам. Посреди двора клубилось сизое облако. Выпустив пулеметную очередь,

облако стало гуще и почернело. Раздались еще три выстрела, и стрельба прекратилась. В опадающем облаке обнаружились контуры мотоцикла, восседающий в седле Вадим Васильевич, а в коляске, которая все еще раскачивалась и кланялась,— Ксения Петровна. Узнав среди выбежавших ребят недавних знакомых, Вадим Васильевич прищурился и кивнул:

— Ну как, троглодиты, бьете баклуши?

— Нет, работаем! Вот посмотрите!

— В другой раз, а то на завод опоздаю... Так я после работы заеду за тобой? — повернулся к жене Вадим Васильевич.

— Нет уж, пожалуйста! Когда опять захочешь меня убивать, придумай что-нибудь попроще...

Вадим Васильевич вздохнул и сказал, подмигивая ребятам:

— Судьба всех гениальных творений — недооценивают!..

Ребята оценили гениальное творение: они не спускали с мотоцикла восхищенных глаз. Вадим Васильевич нажал стартер — в мотоцикле заурчало, булькнуло и смолкло. Он передвигал какие-то рычажки, что-то крутил — мотоцикл был недвижим. Вадим Васильевич покраснел от досады. Мотоцикл не двигался. Девочки улыбались. Ксения Петровна хохотала. Ребята, негодуя, шикали на них. Что тут смешного? Обыкновенная неполадка. У кого не бывает?!

— Вы садитесь, а мы толкнем,— сказал Митя.— Взяли, ребята!

Тарас Горовец снисходительно улыбался. Конечно — техника, но Метеора, например, не надо толкать всем домом, чтобы сдвинуть с места...

Ребята облепили машину со всех сторон. Мотоцикл медленно тронулся и, убыстряя ход, покатился к воротам. В нем снова заурчало, он затрясся, выпустил пулеметную очередь, окутался черным дымом и вымчал за ворота. Ребята выбежали следом. Подпрыгивая на булыжниках и вызывая грохотом истерику у собак, мотоцикл скрылся за поворотом. Ребята возвращались взбудораженные и счастливые. Им уже мерещилось, как в своей мастерской они собирают такой же мотоцикл и он получается нисколько не хуже, а может, даже лучше. На смертную зависть мальчишкам, они раскатывают в нем по городу, и все, даже милиционеры, шарахаются в стороны, уступая дорогу, а за заборами истошно лают очумелые от ужаса собаки...

Предложение Людмилы Сергеевны устроить мастерскую ребята поначалу встретили сдержанно. Еще какая-то работа... Зачем? А уроки? А подсобное? Интерес начал пробуждаться, когда выяснилось, что работать в ней будут только те, кто захочет, никого принуждать не станут. А что делать? Столы, скамейки? А радиоприемник собрать можно? А модели делать?.. И даже с двигателями? А фото будет? А если мотор собрать? Или даже... даже машину! А что? Взять где-нибудь старый «газик» и отремонтировать! А? Тогда и Метеора не надо!.. А права получить — плевое дело!..

Подхлестываемое коллективными домыслами, воображение ребят начинало рисовать будущую мастерскую такими размашистыми мазками и в таком темпе, что, не придержи его Людмила Сергеевна, детдомовская мастерская превзошла бы все новостройки послевоенной пятилетки. Не отвергая окончательно взлелеянной тут же ребятами мечты о собственной автомашине, Людмила Сергеевна осторожно опустила их с заоблачных высот на землю, где пока еще даже не предвиделось помещения для мастерской. Свободных комнат не было. Спальни, комнаты для занятий — и тех мало,— столовая да крохотный кабинетик самой Людмилы Сергеевны, он же и канцелярия, и приемная, и в случае нужды изолятор. Вот и все. Не разгуляешься. И строить нельзя: ни денег, ни материалов. Вот только если сарай достроить?..

Опрошенный о возможностях и посильности такой достройки, Устин Захарович помолчал, пожевал губами и кивнул:

— Можно.

Он же указал на обширные запасы главного стройматериала: зарастающие травой бугры кирпичного хлама — унылые памятники не столь давних бомбежек. Доставку глины и песка, нужных для раствора, вопреки сопротивлению Тараса, возложили на Метеора, единственная лошадиная сила которого должна была способствовать появлению множества новых, окованных сталью. Творило, забытое штукатурами и сохраненное «на всякий случай» Устином Захаровичем, лежало в том же сарае.

Остатки дома на пустыре растаяли быстро — целого кирпича там было мало, да и тот оказался ломким. После недолгих колебаний Людмила Сергеевна решила, что соседствующие с домом развалины никому не возбраняется разбирать. Хозяева до сих пор не объявились, а горсовет может только сказать спасибо: одной кучей мусора на

улице станет меньше. И ребята принялись самозабвенно рыться в грудах кирпичного боя, извлекая все сколько-нибудь пригодное, и стаскивать на свою стройплощадку к недостроенному и уже начавшему разваливаться сараю. Их не нужно было ни призывать, ни подгонять. Призывало их собственное желание, а подгоняло нетерпение.

Галчата, после обиженных воплей и слез допущенные к разборке, носили кирпичи на руках — носилки были для них недостижимы. «Свои» кирпичи они складывали в особую кладку, чтобы было видно, сколько наносили они и сколько старшие. Старших было меньше, часть их разбирала завал и очищала кирпич от прикипевшего раствора, поэтому кладка галчат оказывалась внушительной и они надувались от гордости. Валет сказал было, что пацаны потихоньку воруют и подкладывают себе кирпичи из кладки старших, но это вызвало такой взрыв негодования, что Лине Борисовне с трудом удалось удержать галчат, которые готовы были подтвердить свою честность градом камней, обрушенных на обидчика.

Ребята с утра принимались за работу и к концу дня все были перепачканы, благо стояли теплые дни и можно было мыться прямо под краном во дворе или сбегать к морю. На пустыре появились кучи глины, песка, выросли внушительные кладки кирпича. Кирпич был со щербинами, прикипевшими шлепками раствора, но все же годный в дело.

С кладкой недоведенной стены и настилом крыши легко было управиться до сентября, однако Людмила Сергеевна становилась все более хмурой. Затея с мастерской, как и многие хорошие замыслы, оказалась непродуманной — значит, несерьезной, и Людмила Сергеевна все злее корила себя за легкомыслие, с которым откликнулась на мысль о мастерской. Стены и крыша — еще не мастерская. А много ли наработают, да и что могут сделать ребята перочинными ножами и единственным молотком Устина Захаровича! В гороно ее сообщение о мастерской встретили удивленными взглядами и внушительным напоминанием о том, что смета есть смета, а выдумки есть выдумки; за соблюдением первой гороно следить обязано, а за вторые пусть отвечает тот, кто выдумывает.

Людмила Сергеевна возлагала надежды на предприятия, которые не могли не откликнуться на просьбу детского дома. Что значит для них при многомиллионных оборотах выделить какое-то жалкое количество инструментов и материалов!

Оказалось, значило многое. Она побывала на трубном, на судоремонтном, и там ей, словно сговорившись, повторили одни и те же слова о хозрасчете, снижении себестоимости, внутренних ресурсах и недопустимости их разбазаривания. Из окна управления судоремонтного, где шел разговор, Людмила Сергеевна видела на заводском дворе бунты ржавой проволоки, кучи железного хлама, изъеденные солнцем и непогодой обрезки досок, теса и со злостью показала собеседнику на эти «внутренние ресурсы». Тот развел руками:

— Да, лежит. А дать не имеем права.

Людмила Сергеевна снова пошла в гороно поговорить с заведующей: просить не денег, которых заведомо нет, а поддержки, чтобы не быть одиночкой в борьбе с чиновниками и трусливыми бюрократами, как честила она чересчур усердных стражей законности. Ожидая, пока освободится заведующая, Людмила Сергеевна пошла в методотдел и подсела к своей давней сослуживице. В другой комнате зазвонил телефон, через открытую дверь послышалась знакомая размеренная, немного в нос речь, в которой, казалось, звучали не только слова, но даже и знаки препинания. Людмила Сергеевна заглянула туда — по телефону разговаривала Елизавета Ивановна. Заметив Людмилу Сергеевну, она сделала вид, что не узнает ее, и отвернулась.

— Разве она у вас теперь? — спросила Людмила Сергеевна приятельницу.

— Кто, Дроздюк? Да, дня три уже работает.

Людмила Сергеевна почувствовала под сердцем холодок. Она выгнала, а здесь приютили. Нескладно. Наверняка теперь будут неприятности.

Они начались тотчас.

Завгороно приняла ее сухо, поздоровалась, против обыкновения, кивком:

— Слушаю вас.

Людмила Сергеевна рассказала, как возникла в детдоме мысль о мастерской, с каким энтузиазмом приняли ее ребята, как усердно они работают и как теперь может рухнуть все дело оттого, что чинуши не хотят ничем помочь.

Заведующая слушала, глядя на стол и поглаживая пальцами карандаш.

— Чего же вы хотите? — подняла она глаза на Людмилу Сергеевну, когда та замолчала.

— Помогите нам, Ольга Васильевна. Вы ведь понимаете, как это важно...

— Да, понимаю. Это важно.. — прищурилась она,— потому что не нужно!

— Как! Почему?

— Детдом — не ФЗО и не ремесленное. У вас дети живут до четырнадцати лет. Работать им рано. Они должны закончить семилетку, а потом уже в другом месте приобретут квалификацию. У вас они должны учиться, и ничего больше.

— Но ведь это не в ущерб занятиям! И лучше же будет, если они заранее хоть немного ознакомятся, подготовятся.

— Конечно! Будут работать в мастерской, а из школы носить двойки? Как вы, педагог, можете предлагать такие вещи? Вы знаете, как у нас обстоит с успеваемостью?

— У меня нет двоечников.

— Так есть у других. И я не хочу, чтобы они появились у вас тоже. Мы по области чуть ли не на последнем месте...

— Но нельзя же так...— Людмила Сергеевна на секунду замялась,— как в шорах. Сиди носом в учебник, и всё. Это же дети, им развиваться нужно...

— Они и так перегружены в школе, а вы хотите еще нагрузить?

— Наоборот! Это им облегчит. Это и разрядка и практические знания. Ведь программы у нас академичны, дети выходят неприспособленными, ничего не умеют...

— Программы составляем не мы, наше дело — их выполнять! И давайте сначала научимся их выполнять как следует...

— Почему «сначала»? Пока мы научимся одному, потом возьмемся за другое, дети вырастут, им не нужны будут ни наше умение, ни наша инициатива.

— Я тоже за инициативу, только инициатива бывает разная!..— раздраженно сказала завгороно и снова сердито прищурилась.— Не надо быть умнее министерства. Оно утвердило программы, оно утвердило положение о детских домах... И наше дело — выполнять их, а не нарушать.

— Так вы запрещаете мастерскую? — подобравшись, как перед броском, спросила Людмила Сергеевна.

— Ничего я не запрещаю! — окончательно рассердилась завгороно.— Но и на поддержку мою не рассчитывайте. И имейте в виду: если только у ваших воспитанников понизится успеваемость — а мы проверим! — пеняйте на себя...

— Я не понимаю, Ольга Васильевна, почему вы сегодня со мной так разговариваете?

— У меня есть основания. Не мешало бы и посоветоваться насчет Дроздюк.

«Ну вот, добрались до корня!» — с горечью подумала Людмила Сергеевна.

— Если гороно рекомендовало вам человека, значит, у него были основания.

— Да разве это человек? — возмутилась Людмила Сергеевна.— Это же надсмотрщица! Дай ей волю — она всех ребят в карцер упрячет...

— Товарищ Дроздюк — опытный педагог, думающий работник. Недооценили — пеняйте на себя.

Людмила Сергеевна ушла. «Неприятно как! Ольга Васильевна — разумный ведь человек, а вот нá тебе... Просто амбиция заговорила: она Дроздюк рекомендует, а я выставляю. Человек молодой, к должности не привыкла, вот ей и мерещатся покушения на авторитет. И Дроздюк, конечно, наплела... Батюшки! А с мастерской-то что же? Вот затеяла на свою голову! Ведь сказать ребятам — крылья им подрубить. Это же разочарование, обида на всю жизнь: работали, работали — и все впустую. Может, пока им не говорить, раньше времени не разочаровывать?»

Однако Людмила Сергеевна не удержалась. Решив, что даже плохая правда лучше самого хорошего обмана, она позвала «свою опору» — Яшу Брука, Аллу, Митю Ершова, Тараса Горовца — и рассказала о неудачных попытках добыть инструменты и материалы. Ребята задали несколько растерянных вопросов и примолкли. Все великолепные мечтания рухнули. Не будет ни автомашины, ни лодки, ни моделей. Зря только возились с этими кирпичами... Нет, совсем не зря — помещение так или иначе пригодится. Людмила Сергеевна еще попытает счастья, выход найдется...

16

Яша Брук усердно помогал разбирать развалины, но к мастерской не испытывал интереса — работать в ней он не собирался. Круглый отличник, он мог рассчитывать, что ему позволят окончить десятилетку и поступить в вуз. Яша был равнодушен к мастерской, но не к переживаниям товарищей. Они бодрились, старались убедить друг друга, что «будет порядок», Людмила Сергеевна добьется, однако верилось в это плохо, и возня с кирпичами начинала казаться бессмысленной. Несколько дней ребята пытались что-

нибудь придумать, найти выход, но ничего не придумали, и тогда Яша неуверенно, думая вслух, предложил:

— А что, если пойти к Шершневу?

Они сидели втроем — Яша, Митя и Лешка, которому под честное слово секрет был доверен. Лешка не понял и вопросительно поднял на Яшу глаза, а Митя отрицательно покачал головой.

— К директору «Орджоникидзестали»? Не даст!

— Он ведь и депутат! — сказал Яша.

Во время недавних выборов на всех стенах висели плакаты, с которых смотрел на прохожих худощавый человек с глубокими морщинами от крыльев носа к углам губ. Взгляд у него был суровый...

Митя покачал головой.

— Прогонит он нас, и все!

Лешка не видел плакатов, но тоже сомневался: станет депутат слушать каких-то пацанов! Яша опасался только одного: что секретарь в приемной не пустит их к депутату.

Секретаря не оказалось. В коридоре на первом этаже здания горсовета напротив одной из дверей стояли два деревянных диванчика. На одном сидела старуха с кошелкой и, вздыхая, рассказывала молодой женщине с накрашенными губами, как обижают ее родной сын и невестка, гонят из собственной хаты. Молодая женщина кивала головой, но прислушивалась не к ней, а к тому, что происходит за плохо притворенной дверью. Возле двери, переминаясь с ноги на ногу, стоял парень в кургузом пиджаке и лыжных штанах. Парень нервничал: поминутно одергивал пиджак, приглаживал волосы и зажигал все время гаснущую папиросу. Ребята тихонько сели на вторую скамейку. Из комнаты вышел старик рабочий, надел обеими руками фуражку и сказал, ни к кому не обращаясь:

— Ладно. Поглядим!

Парень был уже в приемной. Оттуда доносился невнятный торопливый говор, потом сердитый голос громко произнес:

— Я прогульщиков не покрываю. Прогулял — отвечай за это. И больше ко мне не приходи.

Парень вышел потный и красный, зло швырнул окурок на пол и зашагал к выходу. Женщина с накрашенными губами, заранее искательно улыбаясь, скрылась за дверью. Она сидела долго, а старуха потом еще дольше. Ребята несчетное число раз прочитали на двери объявление о том, что депутат Верховного Совета УССР тов. М. Х. Шершнев принимает по вторникам от 6 до 8 вечера, пожелтелый

плакат, на котором была изображена муха величиной с курицу и сообщалось, что муха — разносчик заразы и поэтому пить сырую воду нельзя. Между собой они говорили мало и то — шепотом. Наконец старуха, сморкаясь и вытирая глаза, вышла. Ребята переглянулись и поднялись.

В глубине комнаты за столом сидел крупный человек в синем костюме и что-то писал в блокноте. На скрип двери он поднял голову.

— Вы что, ребята?

— Мы к вам. На прием,— сказал Яша.

— На прием? — удивился Шершнев.— Ну заходите, садитесь. Только дверь прикройте — сквозит,— озабоченно оглянулся он на открытое окно позади стола.

Шершнев оказался совсем не таким, как на предвыборных плакатах. Там он был какой-то весь приглаженный и моложавый. А здесь сидел пожилой сутулый человек с нездоровым, землистым лицом. Седеющие волосы его были острижены под машинку. Только и было похожего, что глубокие морщины, падающие ко рту от толстоватого носа, да взгляд — суровый и внимательный.

— Что скажете? — Он отодвинул блокнот, оперся подбородком о кулаки, поставленные один на другой, и уставился на Митю.

Митя покраснел. Они условились, что говорить будет Яша, как самый культурный, но Шершнев смотрел на Митю, и приходилось говорить ему. Он наклонил свой крутой лоб, словно собираясь бодаться, и сказал:

— Мы пришли потому, что нам все отказывают. А мы считаем — неправильно!

— В чем отказывают? Давай с начала, а не с конца.

Митя, изредка направляемый репликами Яши, рассказал о мастерской в детском доме, о сарае, как ребята работают и хотят, чтобы была мастерская, а никто ничего не дает. Лешка разглядывал депутата, его блокнот, стол, застеленный зеленой бумагой. Бумага была в чернильных пятнах, на красном переплете блокнота блестела тисненная бронзой надпись: «Депутат Верховного Совета УССР». Лицо депутата не обещало ничего хорошего.

— Так не дают директора? — переспросил Шершнев и выпрямился.— Я вот тоже директор и... тоже не дам. Не имею права. А если бы узнал, что кто-то с завода дал, я бы его — под суд.

Митя встревоженно оглянулся на Яшу.

— А как же, если шефы? — спросил Яша.

— Шефство — одно, а иждивение — другое. Это раньше с шефов, как с дойных коров, тянули. Пора эту штуку прикрывать: надо беречь государственное имущество...

— Но мы ведь тоже — государственные! — сказал Яша.

— Вы? — Брови депутата поднялись и опустились.— М-да... Вроде так.— Он помолчал, потер подбородок.— Вот что, ребята: с завода я дать ничего не могу, не имею права. Но — подумаем!.. Как вашего директора фамилия? — Он записал в блокнот.

Ребята встали.

— Нам еще прийти? — спросил Яша.

— Нет, приходить не надо. Я дам знать.

Забыв попрощаться, они торопливо протиснулись все разом в дверь и плотно прикрыли ее за собой.

— Я говорил — не даст,— сказал Митя.— Только хуже сделали... Еще, может, Людмиле Сергеевне из-за нас попадет... Эх ты, академик! Придумал тоже: депутат... А что ему, если у нас мастерская пропадает?!

Яша молчал.

Людмиле Сергеевне решили пока ничего не говорить: может, обойдется, депутат забудет, и всё...

Проводив взглядом нахохлившихся ребят, Шершнев посидел с минуту неподвижно, потом потер ладонями лицо, будто умываясь или стирая усталость, и снял телефонную трубку.

— Соедините меня с Гущиным... Привет, Иван Петрович. Долго у себя будешь? Я зайду.

Виделись они часто — на заседаниях бюро, совещаниях, но там не было времени для отступлений от повестки дня, а чувства гасил жесткий регламент. Тем более дорожили оба редкими и недолгими встречами, когда не надо принимать решений, некуда торопиться, а можно просто поговорить о чем взбредет в голову и даже пожаловаться на что-нибудь. Оба уважали друг друга и даже любили, если можно назвать любовью отношения двух пожилых, видавших всякие виды мужчин, ценящих друг в друге уменье работать, уменье видеть за мелочами главное и во имя этого главного не щадить ни себя, ни других. Каждый думал о другом, что тот — «хороший мужик», вкладывая в это грубоватое определение сложный комплекс качеств, определяющих настоящего человека. Не склонные к проявлению нежности с детства и окончательно отученные от нее

последующей не слишком легкой жизнью, они прикрывали эту взаимную симпатию шутливо-ироническим, поддразнивающим тоном, в котором разговаривали при встречах с глазу на глаз.

— Ну, накадили! — еще у входа замахал рукой Шершнев.— Да если бы в мартеновском такой дым стоял, охрана труда меня бы в порошок стерла...

— У тебя охрана труда ручная, кроткая. Где ей на тебя руку поднять!.. Погоди, вот мы доберемся!

Сизые ленты дыма, потревоженные Шершневым, лениво поколыхались и снова неподвижно повисли в воздухе.

— Мы — что! — продолжал Иван Петрович.— Надымили в комнате — и всё, ты вон на весь город дымишь...

— Огня без дыма не бывает,— отшутился Шершнев.

— Ты за прибаутками не прячься. Долго будешь эту красоту над городом развешивать? Добро бы еще к нам писатели, поэты ездили — ну, те бы умилялись такой индустриальной картине. Так ведь не ездят!

— Может, еще расхрабрятся, приедут?

— Так ты для них стараешься, красоту эту хранишь? А народ дышать этим должен?

— Да ведь и я дышу!

— Ну, сам хоть в колошник залезь... А с дымом и пылью кончай, а то гляди — хотя ты и депутат и все такое...

— Да ведь, Иван Петрович, все эти эксгаустеры, уловители — это ж миллионы... Где их взять? Бюджет — не копилка: захотел — положил, захотел — мороженое купил...

— Не прибедняйся! Если по-старому говорить, ты вроде «отца города»... А что? Полгорода работает у тебя. Шестьдесят процентов жилплощади — твои. Строишь — больше всех. Вот и оправдывай звание... А за это тебе потом памятник: «От благодарных потомков...» — засмеялся Гущин.

— Или «строгача с занесением»?

— Это уж как заработаешь... Смех смехом, Михаил Харитонович, а давай думай!

— Думы — есть, денег пока мало... Вот давеча из-за пустяка в краску вогнали. Являются ко мне на прием три шпингалета с этакими сердитыми глазами. Из детдома. И просят, чтобы помог им мастерскую устроить. И как, понимаешь, просят: с сознанием полного своего права и моей обязанности.

— Из какого детдома? Из первого? А, это там, где Руса-

кова. Молодец баба! Правильно придумала — не барчуки, рабочий народ растет!.. Ну, помог?

— Да не могу я, права не имею.

— Опять прибедняешься! Небось в своем детском доме и портьеры, и дорожки...

— Это не из моего бюджета, Иван Петрович,— завком делал.

— А зря, между прочим, вы там роскошь развели! Дети должны жить просто, без баловства, тогда и люди из них вырастают. Я по своему сыну сужу: все у него есть, он и бесится... На днях брякнул: не буду больше здесь учиться, желаю в школу юнгов — и баста! Что его теперь, пороть? И в кого такой уродился?

— Не иначе, как в батю... Ну и что же, всыпал?

— Пока так обошлось... А что же делать с детдомовцами? — Гущин прищурился, задумчиво побарабанил пальцами по столу и снял телефонную трубку.— Третье ремесленное. Да... Я прошу Еременко... Привет, товарищ Еременко! Гущин, да. Ты помнишь, как на выставку к себе зазывал? Помнишь? Цела она у тебя? Ага. Ну хорошо. Послезавтра приедем смотреть. Часов в двенадцать... Всего!

— Еременко? — с сомнением сказал Шершнев.— Это ж кремень, а не человек.

— Ну да ведь и я не мякиш...— улыбнулся Гущин.

...Людмила Сергеевна металась с предприятия на предприятие, всюду получала отказ и окончательно упала духом. Словно в довершение всех бед курьер принес пакет из горкома, в котором ей предлагалось явиться к секретарю. Что еще могло случиться, зачем она понадобилась?..

В приемной за столом сидела молоденькая девушка с лицом, напряженным от стараний выглядеть внушительнее. Она была в очках, по-видимому, слишком больших — очки поминутно сползали на кончик ее короткого носика, и она становилась похожей на юную бабушку. Девушка сердито подталкивала их пальцем к переносице, но как только наклонялась над столом, они снова съезжали, и она опять становилась похожей на бабушку.

— Товарищ Гущин сейчас уезжает и никого принять не может,— придерживая пальцем очки и строго глядя через них на Людмилу Сергеевну, сказала девушка.— Вас вызвали? Сейчас узнаю.

Гущин вышел сам с кепкой в руках.

— Вы меня вызывали, товарищ Гущин? — поднялась Людмила Сергеевна.

— Здравствуйте, товарищ Русакова. Не вызывал, а просил прийти. Это, наверно, Ира строгостей напустила,— посмотрел Гущин на техсекретаря.— Ужасно строгая девушка, я даже сам иногда побаиваюсь. Машину вызвали, Ира?

— Да, Иван Петрович.

— Я через часок буду, а может, и раньше. Пойдемте,— кивнул Гущин Людмиле Сергеевне и пошел вперед.

Шофер распахнул дверцы кофейной «Победы». Гущин сел рядом с ним, озадаченная Людмила Сергеевна — на заднее сиденье.

— Куда, Иван Петрович? — нажимая педаль стартера, спросил шофер.

— В третье ремесленное.

Ни шины, ни рессоры не спасали на булыжной мостовой от тряски. Придерживаясь рукой за спинку переднего сиденья, Людмила Сергеевна смотрела в затылок Гущину, словно на нем надеясь прочитать объяснение. Затылок как затылок, чересчур, пожалуй, плотный. Раньше такие называли апоплексическими... «Да что он, в жмурки со мной играет?» — возмутилась Людмила Сергеевна.

— Что, товарищ Гущин, комиссия какая-нибудь?

— Вроде, вроде,— покивал, не оборачиваясь, Гущин.

Двухэтажное здание ремесленного училища было старой, времен первой пятилетки, постройки, когда не в меру бойкие архитекторы пытались в своих проектах объединить оранжерею с пакгаузом. В этом здании, несмотря на обилие окон, пакгауз явно восторжествовал.

Гущин покосился на мрачные бетонные стены и помянул черта.

— Углем, что ли, они его красили, идолы?

Вопрос не был обращен к ней, Людмила Сергеевна промолчала.

Со второго этажа, топоча по каменным ступеням, сбегали два подростка в черных рубашках. Один догнал другого и щелкнул по затылку. Тот хотел дать сдачи, но оба одновременно заметили посторонних, присмирев, чинно прошли мимо и потом еще быстрее ринулись к выходу. Людмила Сергеевна внимательно приглядывалась к ремесленникам — года через два и ее ребята сюда пойдут... Ничего. Бледноваты немножко. Кормят их плохо, что ли? Или на воздухе мало бывают? А так ничего, веселые.

К перилам на всем протяжении лестницы были привинчены угловатые деревянные бруски.

— Видали? — показал на бруски Гущин.— Это чтобы ребятишки не скатывались. Сам в детстве небось не одни штаны порвал, а для других изобрел... Гений!

— Так что же, пусть катаются? — сдерживая улыбку, спросила Людмила Сергеевна.

— Ну, не знаю... Во всяком случае не лестницу портить!

В гулком пустом коридоре во всю стену шло окно, другую прорезали одинаковые двери. В простенках, едва не под самым потолком, висели щиты. На них были аккуратно прикреплены машинные детали, тщательно отшлифованные инструменты.

По коридору навстречу пришедшим спешил низенький рыхлый мужчина в вышитой рубашке с закатанными рукавами.

— Вот — знакомьтесь,— сказал Гущин.— Это и есть главный кузнец кадров, Еременко.

Людмила Сергеевна назвала свою фамилию. Вытирая пот со лба, «кузнец кадров» недоуменно шевельнул бровью, озабоченно улыбнулся и протянул руку.

— Пройдемте в кабинет? — задыхающимся, астматическим тенорком спросил он.

— Кабинеты нам не нужны, свои надоели,— сказал Гущин.— Давай хвастай достижениями.

— А вот,— широким жестом показал Еременко на щиты с экспонатами.— Пойдемте оттуда смотреть.

Они вернулись к началу коридора.

— Ты бы их еще к потолку подвесил,— сказал Гущин.— Боишься — сопрут?

— Да нет, пока такого не было, а...— Он осторожно улыбнулся.— Береженого, говорят, бог бережет.

— Тебе бог не нужен — ты лучше бога упрячешь...

— Вот первой группы слесарей,— поспешил перевести разговор Еременко.— Тут простая работа. Планки всякие, гайки, молотки хлопцы пиляют... Потом — замки, ключи, инструмент попроще... А вот тут кронциркули, штангеля, плашки...

— Нравится? — повернулся Гущин к Людмиле Сергеевне.

— Ничего,— сдержанно похвалила Людмила Сергеевна, стараясь не выдать нарастающую в ней досаду. Что он, дразнить ее привез?

— Ничего? — еле заметно улыбнулся Гущин.— Помоему, просто хорошо.

Еременко рассказывал об экспонатах и поглядывал на нее. Он никак не мог понять, кто такая эта дамочка и зачем Гущин ее привез. Из области или из Киева? Видать, шишка, если сам с ней приехал. Хуже нет, когда не знаешь, кто перед тобой: не то — товар лицом показывать, не то — прибедниться...

Они прошли в кабинет холодной обработки металлов. Там было собрано лучшее: полные комплекты слесарного инструмента, всевозможные резцы, фрезы, сверла. Гущин переходил от стенда к стенду, похваливал и приглашал Людмилу Сергеевну полюбоваться, потом уселся на ученическую скамью, размял папиросу и с удовольствием затянулся дымом.

— Так второе место, говоришь, на областной выставке заняли? Хорошо! А потом что?

— Поедем на республиканскую.

— А дальше?

— Может, и дальше, як така наша доля будет... Всемирной пока по трудовым резервам не намечается,— посмеялся Еременко.

— Нет, а потом что?

— Чего же еще потом? — Еременко перестал смеяться и насторожился.— Потом опять у себя развесим — нехай новенькие завидуют и обучаются.

— Так. Выходит, перья?

— Какие перья?

— Страусовые. Раньше барыни страусовыми перьями украшались. А вы — вот этим.— Гущин снял со стенда никелированный микрометр и подбросил на ладони.— Кто — перьями, кто — кольца в нос вставляет, а вы — бирюльками...

— Это микрометр — бирюлька?! — возмущенно привскочил Еременко.— Голубчики! Да он же тысячные доли миллиметра берет!

— Ну, у вас он только пыль берет...— Гущин провел пальцем по скобе, и в пальцевом следу блеснул никель.— Видал? И это не потому, что у тебя уборщицы плохие. Если он в деле, в работе — не запылится, а у тебя — бесполезная вещь, бирюлька... Новых ребят наберешь — они опять понаделают, и ты опять развесишь?..

— Так шо ж вы хотите, Иван Петрович? — Еременко ожесточенно вытер платком бритую голову.— Торговать мне, чи шо?

— Зачем торговать? Найди применение. Не умеешь — другие помогут. Вот ей взять негде,— кивнул он в сторону

Людмилы Сергеевны,— а у тебя зря лежит. Я бы на ее месте с полными карманами отсюда ушел, даром что ты свое добро под потолком развесил...

Людмила Сергеевна подалась вперед и почувствовала, как кровь прилила к ее лицу. У Еременко брови поднялись, лицо растерянно вытянулось.

— Да кому ж это?

— Детдому.

— Так шо, выходит, отдать детдому?

— Не отдать, а подарить! Подачки твои никому не нужны, а за подарок — «спасибо» скажут.

— Да на шо мне то «спасибо»?! Я ж его сюда не повешу?

— Видали скопидома? — повернулся Гущин к Людмиле Сергеевне.— Сам не гам и другому не дам...

— Да, Иван Петрович, я ж права не имею!

— Право мы тебе дадим. Обяжем — вот и будет у тебя право. Тебе ж лучше: место освободишь для новых экспонатов,— улыбнулся Гущин.

— Вам смешно, а шо мне хлопцы скажут, як узнают, шо их работа кудысь в детдом... Они ж такую бучу подымут!

— Не поднимут! Парнишки — народ подельчивый. Это мы, старые грибы, всегда боимся, что нам не хватит... Ну, все ясно? — повернулся Гущин к Людмиле Сергеевне и по горящим радостью глазам ее увидел, что все теперь стало ясным.— Тогда поехали. Можешь не провожать, хозяин.

Еременко, непрестанно вытирая взмокшую лысину, все-таки шел следом.

— Так вы только ради этого и приезжали?

— А как же! Да если бы она одна пришла, ты бы разве дал? Ты вон и передо мной руками махал: «Не имею права, незаконно!..» Ох, как мы любим махать руками от имени закона!.. И получается у нас закон вроде пазухи: залезем туда и всем кукиш кажем — нельзя, мол... Спокойная жизнь!.. Что нос повесил? — повернулся Гущин к Еременко.— Привык, расставаться жалко? Думать надо! Ее ребятишки — завтра твои ученики. Понятно?

— Оно конечно,— уныло вздохнул Еременко.

— Ну вот. Будь здоров! И не вздумай зажилить, я памятлив!

Уже в вестибюле Гущин повернулся к директору, оставшемуся на площадке:

— Слушай, Еременко. Ты бы покрасил дом-то посветлее. Прямо не поймешь: не то сундук, не то гроб... Да

посбивай к чертям эти колодки на перилах. Всю лестницу изуродовали... Приду, самого съехать заставлю! — без улыбки пригрозил Гущин.

— Я... я прямо не знаю, как благодарить!..— сказала Людмила Сергеевна, выходя на улицу.— Я ведь уже не знала, что делать, куда податься...

— Положим, знали,— улыбнулся Гущин,— ход-то вы придумали правильный.

— Какой ход?

— А пацанов своих к Шершневу подослать.

— К Шершневу?! Да не посылала я, Иван Петрович! Честное слово, не посылала!

— Ну? — Гущин, усмешливо прищурившись, посмотрел на нее и кивнул: — Ладно, не посылали так не посылали...— Он повернулся к шоферу: — Подбрось меня в горком, а потом отвезешь товарища...

Машина остановилась возле горкома. Гущин пожелал Русаковой успеха, пожал руку и ушел. По улыбке и прищуренным глазам его Людмила Сергеевна поняла, что он ей так и не поверил.

Во дворе под наблюдением дежурившего Мити Ершова суетились галчата: старались увеличить свою кладку кирпичей, чтобы старшие не могли их догнать. Митя отрапортовал, что старшие с воспитателями ушли на «подсобку», и с напряженным ожиданием уставился на Людмилу Сергеевну. Такими выжидательными взглядами встречали ее теперь после каждой отлучки.

— Все в порядке, Митя, будут инструменты, все будет! — сказала Людмила Сергеевна.— Только надо узнать, кто из ребят ходил к Шершневу.

— А что, помог? — Митя расплылся в счастливой улыбке и тут же отвел глаза в сторону.— А разве кто ходил?.. Я не знаю...

— Ух вы, заговорщики! — смеясь, погрозила пальцем Людмила Сергеевна.

17

Маленький Слава засорил кирпичной пылью глаз. Промывание не помогло: глазное яблоко покраснело, веки набрякли, из-под них все время струилась слеза. Прикрепленный к детдому педиатр Софья Наумовна, увидев окривевшего Славу, раскричалась и потребовала, чтобы его немедленно отправили в детскую поликлинику к специалисту. Вести больного поручили Лешке. Притихший Слава ухватился за его руку и, спотыкаясь от непривычки смот-

реть одним глазом, покорно побрел в поликлинику. Там, пока, вывернув ему веки, промывали глаз, а потом закапывали лекарство и бинтовали, он держался храбро, только старался все время не выпускать Лешку из поля зрения. После перевязки он повеселел: боль утихла, толстая повязка закрывала половину лица, и все смотрели на него с сочувствием, что Славе очень нравилось.

На обратном пути, в сквере, Слава выдернул свою руку из Лешкиной и, смешно наклонив голову зрячим глазом вперед, побежал: под кустом, качаясь на дрожащих лапках, пищал мокрый, взъерошенный котенок. Слава подхватил его, начал гладить и ласково приговаривать. Котенок выпустил свои крохотные острые когти, вырвался и, выгнув дугой спину, запрыгал прочь. Слава бросился следом. Навстречу, засунув руки в карманы, шел подросток с бесцветными, гладко причесанными волосами и бледным лицом. Поравнявшись с котенком, он дрыгнул ногой; котенок, переворачиваясь, взлетел в воздух и шлепнулся на газон. Слава ошеломленно остановился, задрожал и, подняв кулаки, бросился на кошачьего обидчика... Тот, презрительно улыбаясь тонкими губами, дождался нападения и встретил Славу тычком, от которого тот растянулся на аллее. Паренек опять сунул руки в карманы, но сейчас же выхватил — к нему ринулся Лешка.

После злополучного детсовета Лешка дал себе честное-пречестное слово ни с кем не драться. Но когда белобрысый ни за что ни про что ударил Славку, страх перед детсоветом, предупреждение Аллы и честное-пречестное слово были мгновенно забыты.

Белобрысый сильно ударил его в скулу, но Лешка даже не почувствовал боли и так заработал кулаками, что тот отпрянул и пригнулся. Лешка снова подскочил, но тут же с размаху ударился головой обо что-то твердое — перед глазами его все покачнулось и опрокинулось. Как сквозь стену, он услышал негодующий крик: «Камнем, подлюка?!» — глухие удары и удаляющийся топот. Лешка оперся на руки, поднял гудящую голову. Перед ним, заглядывая ему в лицо, присели на корточки перепуганный Слава и паренек с толстыми губами и густыми, нависшими бровями.

— Витька?

— О! — заулыбался Витька.— Вот здóрово! Я думал, тебя уже нет...

Лешка сел и почувствовал на щеке горячую струйку. Из рассеченного надбровья текла кровь.

— Это он камнем, гад...— объяснил Витька.— Я, как увидел, ка-ак дал ему... Здоровый, черт! Я с ним уже дрался.

— Ну?

— Меня тоже побил. Раньше... Это Витковский.

Лешка потрогал разбитое место: там вздувалась опухоль.

— Пойдем к фонтану, помойся,— сказал Витька.

Кровь перестала бежать, Лешка смыл ее водой из фонтанного бассейна. Шишка становилась все больше. Витька сорвал с куста широкий листок:

— На́, приложи.

— Не поможет,— вздохнул Лешка, но все-таки приложил. Его беспокоила не шишка — он опять вспомнил о детсовете и грозном предупреждении Аллы.— Ох, и будет мне!

— А что тебе будет? Разве ты начал?.. Я ведь видел!.. Вот пойду с тобой и скажу... И вон малый — он ваш? — он тоже видел...

— Ты не бойся,— успокоил Слава.— Я скажу, что ты не виноват. Ты же за меня дал ему...

Листок нагрелся. Лешка выбросил его. Все равно такую шишку листочком не прикроешь. Как картошка...

— Ладно, пошли,— сказал Лешка и опять взял Славу за руку.

Витька пошел рядом.

— А я тебя искал,— сказал он.

— Я тоже... Попало тебе тогда за ракету?

— Не... не очень.

— Так и не долетела до Луны? — улыбнулся Лешка.— Больше не стрелял?

— Бросил. Ракеты — чепуха!.. Ты кем будешь? — внезапно остановился он.

— Я? Не знаю.

— А я — моряком. Кабы не родители, я бы сейчас уехал. В школу юнгов,— ответил он на вопросительный Лешкин взгляд.— Только не захотел их расстраивать... Но я все равно уже учусь. Хочешь со мной? Может, тебя тоже возьмут...

— Куда?

— Как — куда? Я ж тебе объясняю: на водную станцию. Это вроде школы будущих моряков.

Перед Лешкой, как на вспыхнувшем вдруг экране, заблистал простор штилевого моря, «Гастелло», белый пароход махинджаурских мечтаний, зазвучал тревожный

голос маяка. И все исчезло. Под ногами — неровный кирпичный тротуар, вокруг — бурые, растрескавшиеся стволы акаций и рядом — Слава с обмотанной бинтами головой. Лешка вздохнул:

— Не пустят меня. Директор не разрешит.

— Что значит — не разрешит? Вот пойдем сейчас и скажем ей...

Храбрость Витьки сразу увяла, как только он увидел, что Лешкин директор — та самая Людмила Сергеевна, из-за которой ему когда-то досталось. И, хотя случилось это давно и теперь она была совершенно посторонней для него, Витька присмирел.

Людмила Сергеевна выслушала спотыкливый рассказ Лешки о столкновении с белобрысым мальчишкой и, вопреки его ожиданиям, не рассердилась, а только расстроилась. Витьку она похвалила за помощь, и тот снова расцвел. Рассказ Лешки показался ему слишком коротким и скучным. Он дополнил его живописными подробностями: «Ка-ак Витковский даст!.. Лешка — брык... А я Витковскому ка-ак дам!...» — и хотел рассказать, какой гад этот Витковский, но Людмила Сергеевна сказала, что достаточно, все ясно.

Несмотря на благодушную встречу, немедленно отпустить Лешку на водную станцию она не согласилась.

— В другой раз,— сказала Людмила Сергеевна.— Иди, Ксения Петровна перевяжет.

Витька пошел с приятелем к воспитательнице, посмотрел, как Лешка морщится и кряхтит от йода. Потом Лешка проводил Витьку за ворота.

— У них всегда так! — огорченно сказал Витька. Он не объяснил, что «они» означает «взрослые», но Лешка отлично понял, кого он имеет в виду.— Никогда ни с чем не считаются... Думают, важное только то, что сами придумали. А тут, может, в сто раз важнее...

— Так ты приходи! Ладно?

— Ладно... Если не уйдем в плавание,— значительно добавил Витька и покраснел: про плавание он соврал — никаких походов на водной станции не предвиделось.

Он прибежал в воскресенье. Людмила Сергеевна после некоторого колебания разрешила Лешке пойти, напомнив, что он обещал не заплывать.

— Да мы вовсе и не будем купаться! — заверил Витька.

На станции было тихо, прочесанный граблями песок еще чист и не изрыт босыми пятками будущих моряков. На двери маленького белого домика висел замок. Под замком

были двери сарая, в котором хранились весла, паруса и прочее имущество. Седая старушка с добрым морщинистым лицом сидела возле дома, в тени дерева, и необыкновенно быстро вязала из красной шерсти какую-то большую ажурную штуковину. Она взглянула на пришедших и сказала:

— Али не поспеете? Вы бы с вечера приходили, еще бы лучше...

— Здравствуйте, тетя Феня! — сказал Витька.— Мы нарочно, тетя Феня, пораньше... Мы покататься хотим. Вот тут, совсем близехонько... Вы нам весла дадите, тетя Феня?

— Нет, не дам,— ласково ответила тетя Феня.

— Что вам, жалко? Вы же меня знаете, я же на станции...

— Всех я вас знаю, все одинаковы. И не улещай — все одно не дам,— еще ласковее сказала тетя Феня.— Придет Петр Петрович или товарищ Лужин, тогда и катайтесь. Пойдите-ка погуляйте покуда, а то враз здесь намусорите...

— Мы совсем немножко...— уныло попробовал Витька еще один «подход».

Но и этот подход не удался: тетя Феня не ответила, крючок ее замелькал еще быстрее.

— До чего вредная старуха! — сказал Витька, когда они отошли.— И что ей жалко?.. Матрос, Матрос, сюда! — закричал он и захлопал себя по ноге.

Лопоухий щенок, лежавший в тени железного ящика для мусора, поднял голову, усердно заработал хвостом, но выбежать на солнцепек не пожелал.

Сидеть на песке было жарко — ребята перебрались на причальные мостки между детской станцией и досфлотовской. Под мостками у самой поверхности воды застыли стайки черноспинных мальков. Нагретые доски пахли смолой и тиной, вода тихонько плескалась о сваи, по ним бегали солнечные зайчики.

— Вон наш корабль,— показал Витька.— «Моряк» называется. Шесть тонн водоизмещения.

Метрах в пятидесяти от берега на якоре стоял большой бот с черными смолеными бортами и толстой мачтой.

— Что значит «водоизмещения»?

— Ну, помещается шесть тонн.

— Воды?

— Нет!.. Ну, вроде груза...— Витька слегка покраснел и нахмурил густые брови.— Так говорится только.

Лешка понял, что Витька сам «плавает», и деликатно переменил разговор:

— А вон та тоже ваша?

Ближе к берегу, покачиваясь даже в такую тихую погоду, стояла лодка, до половины закрытая палубой; в бортах ее виднелись крохотные иллюминаторы.

— То «Бойкий», швербот. Он так тихоходный, а в свежий ветер всех обставит... О, смотри: яхта «Орджоникидзестали»...

От рыбачьей гавани в открытое море скользил косой белый парус. Казалось, гигантская белая бабочка, сложив крылья, села на воду и даже не ветер, а солнечный свет несет ее, невесомую, по сверкающей ряби.

— В порт пошли... Эх, на такой бы яхте в кругосветное! Здóрово бы, да?

Лешка вдруг отчетливо увидел разлинованные меридианами ультрамариновые океаны школьного глобуса. Белокрылая бабочка выпорхнула из-за полюса, села между курсивными буквами *«Великий, или Тихий»*, и сразу исчез курсив, исчезли линейки меридианов. Косой белоснежный треугольник парусов, накренясь, скользил по синим пенистым волнам, с печальным криком оставались позади чайки. И вот уже не было ничего и никого, только ветер, море, жгучее солнце и стремительный полет, от которого щемило под ложечкой и перехватывало дыхание...

— А меня примут? — спросил Лешка.

— Конечно!.. Я с Петром Петровичем поговорю, как только придет. Это наш инструктор.

До прихода Петра Петровича было далеко. Витька и Лешка разделись, попрыгали в воду. Стайки мальков брызнули в разные стороны, и, словно тоже стараясь убежать, заметались солнечные зайчики на сваях и досках настила.

— А ну, нажми! — закричал Витька и поплыл к берегу.

Лешка «нажал» и приплыл первым.

— Ничего плаваешь! — сконфуженно признал Витька.— Я б тебя догнал, только водой поперхнулся.

На берегу появилась девочка в пестром платье и стоптанных туфлях. Она подошла к решетчатому белому ящику на столбе, поднялась по небольшой лесенке и отперла ключом дверцу ящика. Прозрачными льдинками сверкнули термометры.

— Вон «бог погоды» пришел,— сказал Витька.

— Кто?

— Наташка Шумова. Она за погодой наблюдает... Здорóво, «бог погоды»! — крикнул Витька.

Девочка мельком оглянулась и начала записывать что-то в блокнот. Ребята подошли ближе.

— Ураган скоро будет? — насмешливо спросил Витька.

Девочка не ответила, только ресницы ее дрогнули. Они были необыкновенно длинные, густые; большие глаза казались мохнатыми. Наташа была некрасива: худая, угловатая, со скуластым лицом и большим ртом. Стриженые вьющиеся волосы падали на лоб, щеки, и в пышной этой шапке лицо ее казалось еще более худым. Она заперла дверцу и, не обращая внимания на ребят, направилась к другому столбу, на котором было установлено ведро — дождемер.

— Правильно! Меряй осадки! — засмеялся Витька.— Тут сейчас такой ливень был!..

Девочка взобралась наверх и заглянула в ведро.

— Видал, задается! — сказал Витька.— Считает, что все мальчишки дураки...

— Зачем все? — ломким голосом отозвалась Наташа.— Хватит тебя одного.

— Ты не очень-то, а то...— нахмурился Витька.

— А то что? — с насмешливым вызовом спросила Наташа.— Драться будешь? Ну, попробуй! — Сжав кулаки, она подошла ближе.

— Нужно мне связываться!..

— То-то! Герой...— засмеялась Наташа.

Она побежала к мосткам и на веревке забросила в воду термометр в деревянной оправе.

— Кабы не тут, я бы ей показал,— сказал Витька.

— С девчонкой?

— Ого, она так дерется с ребятами — дай бог! Она верткая, и рука у нее тяжелая. Маленькая, маленькая, а как стукнет...

— И тебя? — улыбнулся Лешка.

— Ну, меня!.. Я про других говорю... Да ну ее! — сказал Витька.— Пошли, вон уже ребята собираются.

Ребята собрались. Из-под мусорного ящика, потягиваясь и виляя хвостом, вылез Матрос.

Пришел Петр Петрович. Он не был ни седым, ни старым, как ожидал Лешка. На загорелом полном лице его не было ни одной морщинки, только в уголках глаз от постоянной прищурки змеились гусиные лапки. Под черными подстриженными усами то и дело в улыбке блестели очень крупные зубы. На плечах синего рабочего кителя Петра Петровича еще сохранились тесемки для погон.

Инструктора окружили несколько ребят, и он ушел с ними в комнату, где стояли недостроенные и уже совсем готовые модели яхт и пароходов.

Тетя Феня сняла замок, ребята начали выносить из сарая весла, пробковые поплавки. Инструктор вышел наконец из комнаты моделистов. Витька и Лешка подошли к окруженному ребятами Петру Петровичу, чтобы поговорить о Лешкином производстве в будущие моряки.

Широкоскулый мальчик упрашивал инструктора:

— Разрешите, Петр Петрович, на «двойке», а? Вот мы с Давыдовым покатаемся...

— Моряки на шлюпках не катаются, а ходят! Понятно? Катаются дачники...

— Разрешите походить... Немножко!

— А сигнализацию выучил?

— Выучил!

— Флажков нет... Ну ничего, давай пиши руками: «Военный моряк должен образцово знать сигнализацию»...

Мальчик отступил на шаг, свирепо закусил губу и, вскинув руки, начал двигать ими в разные стороны, вверх и вниз. Закончив, он вытер рукой пот на верхней губе и улыбнулся, ожидая похвалы.

— Плохо,— сказал Петр Петрович.— Пишешь быстро, а неграмотно. Какой же из тебя будет сигнальщик? Слово «военный» пишется через два «н», а не через одно, а слово «образцово» — через «з», а не через «с». Ты сегодня получишь «двойку», только не лодку, а... по русскому!

Ребята засмеялись, мальчик покраснел и, понурившись, отошел.

— Петр Петрович! — сказал Витька.— Можно вот ему,— показал он на Лешку,— поступить к нам на станцию? Он сейчас в детдоме, а папа у него был моряк, и он тоже хочет...

Петр Петрович оглянулся:

— Очень хорошо! А директор разрешит? Принеси разрешение и табель. Как у тебя с отметками?

— У меня... у меня еще нет табеля,— растерялся Лешка.— Я еще не учусь.

— Ну, — Петр Петрович даже присвистнул.— Так дело не пойдет. Поступай в школу, принеси табель, тогда и поговорим.

Лешка отошел.

— Ты не расстраивайся,— утешал Витька.— Главное — не теряйся!.. Подумаешь, табель! Принеси за первую четверть — и все, и примут...

Когда-то оно еще будет!.. Как ни старался Витька развеселить его, Лешка, возвращаясь, всю дорогу молчал, размышляя о своей невезучести и о том, как неправильно все устроено. Никогда нельзя сразу, легко и просто получить, если чего захочешь, а приходится ждать и что-то для этого делать.

Доступное не имеет цены, дорого — добытое трудом, но эта простая истина далеко не всегда утешает взрослых, и еще меньше она могла утешить Лешку.

18

Еременко выполнил обещание. Однажды около полудня во двор детдома въехала полуторка. В кузове ее, придерживая что-то прикрытое рогожей, стояли трое ремесленников, в кабине сидел Еременко. Он вылез из кабины, пожал руку Людмиле Сергеевне и вытер платком лысину.

— Вот привезли, пользуйтесь... Где ваша мастерская?.. Вот это?! — задохнулся он, когда увидел сарай.— Да тут все поржавеет! Крыша течет?

Людмила Сергеевна сказала, что ее застелили новым толем — течь не должна.

— Обязательно потечет! — заверил Еременко.— А замок? Как же можно без замка?

— Нам пока запирать нечего.

— Что значит «пока»? Вот уже есть... А ну давай, хлопцы!

«Хлопцы», среди которых была девочка, с любопытством глазели на детдомовцев, окруживших машину, а те с не меньшим интересом разглядывали их форменные синие рубашки, белые металлические пуговицы, на которых были выдавлены молоток и гаечный ключ. По команде Еременко ремесленники открыли борт, спустили на землю два побрякивающих железом ящика. Еременко открыл ящики и широким жестом показал на инструменты:

— Прошу!

Ребята окружили их плотным кольцом, но Еременко опасливо прикрыл руками:

— Расступитесь, молодые люди, потом... Принимайте, хозяйка!

Он достал из кармана два листа бумаги, протянул один Людмиле Сергеевне, а по своему начал читать:

— Французский ключ один...

Стриженный под машинку голубоглазый ремесленник вынул из ящика ключ и положил на траву.

— Ножовка и к ней три полотна...

Ножовка и полотна тоже легли на траву. Еременко прочитал весь список.

— Все правильно?.. А теперь...— Он повернулся к машине и легонько махнул кистью.— Давай, Оля!

Девочка, остававшаяся в кузове, стащила рогожу, и перед онемевшими детдомовцами оказался настоящий, всамделишный, поблескивающий краской и маслом токарный станок... Кира захлопала в ладоши, захлопали все, а Валерий Белоусов с дурашливым восторгом закричал: «Ура-а!» Еременко расплылся в улыбке, прижимая одну руку к своей вышитой груди, а другой вытирая взмокшую лысину. Людмила Сергеевна, пытаясь перекричать шум, благодарила.

Ремесленники снисходительно улыбались: они-то знали цену этому подарку, который называли попросту «козой» или «таратайкой». Завезенный в незапамятные времена не то из Бельгии, не то из Англии, он давно утратил не только паспорт и марку, но даже признаки своего происхождения. За исключением высокой бодылястой станины, в нем не осталось ни одной десятки раз не смененной детали. Еще до первой пятилетки он был признан инвалидом и списан с производства в школу ФЗУ, где, подремонтированный, вернее, заново построенный, терпеливо выносил все промахи будущих рекордсменов на отечественных «ДИПах»... В школе ФЗУ появились станки поновее, а он, все так же стуча и гремя, тянул лямку. Работал он не от мотора, а от шкива: для смены скоростей нужно было менять каждый раз шестерни; никакой сложной и тонкой работы выполнять он не мог и, в сущности, годился только для обдирки — самой грубой обработки простейших деталей. В нем меняли вконец разболтавшиеся бабки, обеззубевшие шестерни, суппорт, изъеденные временами салазки, и дряхлый ветеран упорно сопротивлялся всем попыткам новичков привести его в полную негодность. Иногда он, как упрямая коза, и впрямь нескладной своей стáтью похожий на козу, артачился и переставал работать. Еременко звал ремонтного мастера и говорил:

— Посмотри, голубчик,— опять что-то капризничает...

Мастер крутил папиросу, искоса поглядывая на заупрямившийся станок, и спокойно заверял:

— Уговорим!

После длительных «уговоров», смены деталей, станок, скрипя и постукивая, начинал работать. Случалось, выведенный из себя ученик бросал со злостью резцы, ключи

и кричал, что «нехай на этой чертовой таратайке сам директор работает!». Еременко приходил, ласково похлопывал по плечу недовольного:

— Ничего, голубчик! Работай, работай... Этот же станок — ему цены нет! Он же у тебя характер выработает, а не только токарем сделает...

— Мне не характер, а норму надо вырабатывать! — кричал ученик.

— Ничего! — успокаивал его Голубчик, как между собой ученики прозвали Еременко.— Привыкнешь...

Это было давно. После войны мастерскую в ремесленном не восстанавливали: на «Орджоникидзестали» была оборудована новая, с хорошими станками. «Коза», окончательно списанная по амортизационному акту, но не допущенная Еременко под копер, осталась ржаветь в ремесленном. Сначала она стояла в бывшей мастерской, а когда мастерскую превратили в гимнастический зал, ее отправили в подвал. Оттуда она перекочевала в сарай, где и обрастала грязью и ржавчиной.

Пристыженный Гущиным, Еременко отобрал слесарные инструменты поплоше — все равно там поломают! — и хотел отправить, но вспомнил о «козе». Ее извлекли из сарая, очистили от грязи и ржавчины, смазали, и она столько напомнила Еременко о его молодых годах, что опять показалась красивой и нужной, и ему стало жалко отдавать. Но отступить не было возможности: он сам позвонил Гущину и, будто спрашивая совета, похвастал щедрым даром. Гущин похвалил и, конечно, запомнил. Память у него как клещи...

Шофер, Устин Захарович и ремесленники осторожно спустили по доскам «козу» и, поддевая ломиками, втащили в сарай.

— Где ж вы ставить будете? Прямо на землю? — снова ужаснулся Еременко.— Нельзя, фундамент нужен! Дело ваше, но я предупреждаю... Пойдемте оформим? — сказал он Людмиле Сергеевне.— Не репа все-таки, а станок...

Еременко и Людмила Сергеевна ушли в кабинет. Девочки, перекинувшись несколькими словами с ремесленницей, сразу же перешли на приятельский шепот и увели ее в сторону. У ребят было труднее. Они с доброжелательным интересом приглядывались к ремесленникам, те к ним, но и те и другие молчали.

— Закурим, что ли? — спросил высокий черноглазый ремесленник.— У тебя есть, Сергей?

Сергей, русоволосый паренек с широким улыбчивым

лицом, такого же роста, как и Лешка, только постарше, достал пачку сигарет «Прима». Оба взяли по сигарете, Сергей протянул пачку детдомовцам:

— А может, вам не разрешают?

— Не разрешают.

— Ясно. Ну, а как вы тут живете?

— Ничего. Живем.

Разговор иссяк. Оба ремесленника старательно затягивались и выпускали дым.

— А вы токари? — спросил Митя.

— Вон он токарь,— кивнул Сергей на товарища,— а я сталевар.

— Сталевар? — фыркнул Лешка.— Разве сталь варят?

— Думаешь, только борщ варят? — Оба снисходительно, но не обидно посмеялись.— Еще как варят!

— А как?

— Долго рассказывать... и не поймешь. Приходите — покажем. На борщ не похоже,— снова засмеялся Сергей.

— А работать на нем трудно? — спросил Митя, кивая на станок.

— На «козе»?.. Плевое дело! — сказал черноглазый.— Вот у нас в мастерских станки — да! А в цеху и вовсе мировецкие...— Он тут же спохватился.— «Коза» тоже ничего, работать можно...

— Бросай, Ломанов! Голубчик идет...— негромко сказал черноглазый.

Сергей торопливо бросил сигарету и наступил на нее башмаком.

— А вам разрешают? — усмехаясь, спросил Яша.— Ясно!

Ломанов улыбнулся и подмигнул:

— Ничего, живем!

— Ну вот, голубчики,— сказал Еременко подходя,— пользуйтесь, учитесь... и берегите! Дарим мы вам с открытой душой и с открытой душой говорим: подрастете — идите к нам! Научитесь делать и инструменты и еще много чего... Желаем успеха!

— Спасибо! — сказала Людмила Сергеевна.— Только знаете, товарищи... если уж у нас завязалась дружба, давайте ее продолжим... Правильно я говорю, ребята?

— Правильно! — поддержали детдомовцы.

Еременко, вытирая лысину и приподняв бровь, настороженно слушал: куда она гнет?

— Хорошо, если бы ваше училище взяло шефство над нашим домом и помогло нам в смысле обучения. У нас

специалистов нет, а у вас — целая армия,— ласково оглянулась Людмила Сергеевна на ремесленников.

«Эка лукавая баба! — Еременко не сомневался, что посещение Гущина и вся история с инструментом — ее рук дело.— Теперь примется доить!..»

— Мысль, конечно, хорошая, здоровая мысль,— сказал он.— Ну, сам я этого не решаю, поставим на обсуждение. А теперь — бывайте здоровы; до побачення!.. Давай, хлопцы, по коням!

Ремесленники взобрались в кузов, закрыли борт. Еременко попрощался с Русаковой, сел в кабину, и машина, провожаемая всем детдомом, тронулась. Шофер переключил на вторую скорость, но в воротах внезапно затормозил. Дверца кабины приоткрылась; Еременко, высунувшись, закричал высоким тенорком:

— Смазывайте! Смазывайте, говорю, всё! А то поржавеет к свиньям.

— Смажем! — смеясь, закричали ребята, замахали руками.

Ребята десятки раз пересмотрели, перещупали все инструменты и приставали к Устину Захаровичу с бесконечными вопросами. Устин Захарович, хмурый, помрачневший, отмахивался, говорил «не знаю», потом ушел совсем.

Он не любил машин. Они были сложны и непонятны. Они могли испортиться, сломаться, для них нужны были ток, смазка — и мало ли еще что было нужно. Устин Захарович понимал, что машины облегчают труд, но, по его мнению, они делают человека торопливым, легкомысленным, потому — какая же может быть серьезность у человека, если работа у него легкая! Сам он никогда не работал за станком, дело это казалось ему легким, ненастоящим, и квалифицированных рабочих он называл про себя «паны»... В сущности, из всех инструментов он по-настоящему ценил только один — свои руки. Для них ничего не было нужно, и они всегда были готовы для любого дела. Он считал, что ценность и важность работы определяется ее тяжестью, и был убежден, что настоящим делом занимается только тот, кто работает на земле...

До сих пор детдомовцы охотно трудились на подсобном участке. Устин Захарович боялся, что с появлением мастерской участок отодвинется на второй план, а на первом будут привезенные из ремесленного «цацки», как в сердцах назвал он подарок училища.

Ребятам не терпелось пустить в ход полученные сокро-

вища, а самое главное — пустить станок. Это оказалось совсем не просто. Нужно было поставить станок на фундамент, а никто не знал, как это сделать; нужно было достать мотор и установить, а этого никто не умел. «Коза» стояла у стены мастерской, наводя на ребят уныние. Попытки Людмилы Сергеевны заручиться помощью ремесленного не удались: Еременко говорил, что без собрания нельзя, а до начала учебного года не собрать — все разъехались... Выход нашла Ксения Петровна. Он открылся в громе и треске «драндулета».

— Спасибо, что приехали! — сказала Людмила Сергеевна.— Вы прямо как «бог на машине»... [1]

— Античные боги злы, мелочны и завистливы,— ответил Вадим Васильевич.— Я если бог, то — добрый...

— Какой он бог? — засмеялась Ксения Петровна.— Он просто домовой. Такой же озорной и безалаберный...

Вадим Васильевич в сопровождении всех пошел в мастерскую. Увидев «козу», он широко открыл глаза и восторженным шепотом закричал:

— Народы! Ведь это реликвия! На нем еще Ной обтачива мачту своего ковчега...

Ребята серьезно и выжидательно смотрели на него — они не поняли.

— Ну ладно! Где будем ставить?

Он обследовал стены, обмерил станину и указал место:

— Копайте яму. Нужны кирпич, цемент и болты...

Потом оказалось, что нужны мотор и трансмиссия, приводной ремень и решетки для ограждения, рубильник и провода — словом, столько всякого имущества, что Людмила Сергеевна пришла в ужас и спросила, не лучше ли отправить Еременко обратно его щедрый дар. Вадим Васильевич озабоченно посопел носом в кулак и сказал, что отправить всегда успеется, надо попробовать достать. «Драндулет» умчал своего хозяина, а через несколько дней стрельбой и треском возвестил первую победу: в коляске лежал обломок трансмиссии со шкивами холостого и рабочего хода. Потом появились болты, рубильник. Припертый к стене, Еременко отыскал среди хлама, ржавеющего в сарае, небольшой моторчик...

Треск и грохот стали для детдомовцев сигналом: они бросали всё и стремглав летели во двор к окутанному сизым

---

[1] Искаженное «deus ex machina», «бог из машины»,— в античной трагедии бог, появляющийся на сцене при помощи механического приспособления.

облаком мотоциклу. Вадим Васильевич, не выпуская руля нравной своей машины, горделиво подмигивал и кивал на коляску. Оттуда с ликованием извлекался очередной трофей.

Уже во время установки «козы» и мотора сами собой определились пристрастия и симпатии. Митя Ершов с головой ушел в электротехнику. Он не расставался с книжкой, принесенной Вадимом Васильевичем, был его первым помощником по «электрооборудованию», как он говорил, и мечтал о техникуме. Самыми азартными токарями оказались Кира и Толя Савченко. Они сразу же заспорили, кто первый начнет работать на станке, хотя он еще не был установлен на фундаменте.

Кира оказалась первой, потому что с Толей произошел скандал и он на некоторое время потерял общее расположение. Это случилось вскоре после того, как группа Ксении Петровны побывала на экскурсии в краеведческом музее.

19

По сторонам входной двери стояли исклеванные ветром каменные бабы с плоскими лицами, большими животами и толстыми, короткими ногами. Ребята заглянули во двор. Там стояли, валялись на земле такие же бабы. С полдюжины их, привалившись к стене, равнодушно смотрели пустыми глазницами на зачем-то привезенный сюда кладбищенский памятник — на беломраморного ангела с опущенными крыльями и жеманно склоненною головкой. В первой комнате на скамейке сидела тетка с вытаращенными ярко-голубыми глазами и медно-красным лицом. Вывихнутыми руками она держала веретено и кудель. Тетка из папье-маше изображала крепостную, выполняющую оброк.

Чем меньше музей, тем усерднее он старается быть похожим на большие и тем он смелее. Там, где богатые экспонатами и ученым аппаратом большие музеи отступают, понимая тщетность попыток объять необъятное, маленькие храбро бросаются на это необъятное и расправляются с ним решительно и простодушно. В этом музее было все. Он старался быть и был всемирным и всеобщим. История Вселенной отлично укладывалась в две рисованные от руки схемы. История Земли, энергично сведенная к четырем картинкам, подкреплялась моделью мастодонта размером с кошку, бюстом питекантропа и настоящим зубом мамонта. Все последующие эпохи и годы были объединены в отдел «Дореволюционное прошлое». Его открывал бюст

неандертальца, который, несомненно относясь к дореволюционному прошлому, должен был, по-видимому, служить связующим звеном между эрой мастодонтов и эпохой капитализма. Несколько рисунков и фотографий с картин показывали, как помещики эксплуатировали крестьян, а также как обжирались и кутили купцы. Целый угол был отведен для демонстрации помещичьего быта: там, под колпаком, были выставлены тарелки и чашки товарищества М. С. Кузнецова, стоял резной позолоченный столик на изогнутых ножках, два пуфа и креслице белого дерева с шелковой обивкой. На креслице лежала картонка, запрещающая садиться и трогать руками. Несмотря на запретительную надпись, Валерий Белоус попробовал, «мягко ли паразиты сидели». Остальные тоже пощупали и убедились, что паразитам сидеть было мягко. После нескольких картинок, показывающих революцию и гражданскую войну, шли диаграммы и плакаты об индустриализации и коллективизации. Посреди зала стояла прекрасная металлическая модель домны. Она была не больше самовара, но сделана так хорошо, что, казалось, зажги — и над ней закурчавится пыль и дым, а из летки потечет ослепительная огненная струйка. Рядом, с портрета маслом, сердито смотрел на ребят знатный доменщик Коробов. Он имел основание сердиться: усы у него были почему-то зеленые...

Вся история города — от плана запорожской крепости до фотографии памятника летчикам — героям Великой Отечественной войны, стоящего в городском парке,— помещалась в крохотной комнатке. Здесь же находились могильные кресты, похожие на огромные орденские знаки немецкого Железного креста.

Кира вспомнила их — она оставалась с матерью в городе, когда здесь были немцы. Центральный городской сквер немцы превратили в свое кладбище, и там торчало много таких крестов...

На гладких квадратах в центре крестов были сделаны надписи. Ксения Петровна прочла одну из них:

Soldat
Otto Fricke
kw Zg 8/616
geb. 17.1.21.
gef. 2.5.42

Надпись была сделана масляной краской. При желании ее легко было замазать и сделать иную, для другого, который мог geboren (родиться) позже или раньше, но не

миновал чугунного креста. Впрочем, в этом не было нужды: кресты заготовлялись в изобилии.

Ребята притихли и помрачнели. Им не было жалко Отто Фрике, у них были с ним свои счеты. Отто Фрике получил заслуженную награду, но он напомнил им о том, что все дальше уходило в прошлое, но не забывалось: о голоде и страхе, ненависти и утратах.

В следующем отделе — чучела птиц, ящики с образцами почв, лягушки, ужи в формалине. Один угол был отведен под панораму заповедной целинной степи. Из пыльной соломы, изображающей буйные степные травы, выглядывало траченное молью чучело волка, рядом с ним перепелка безмятежно разглядывала собственное гнездышко, а сверху на фоне линялого неба распластал крылья подвешенный на шпагате коршун.

Последний отдел показывал послевоенное восстановление города и его производственные достижения. Фотографии и любительские картины изображали дымящие трубы, корпуса, возле которых суетились крохотные человечки. Две картины были одинаковые, только одна маленькая, а другая шириной метра в два. В чернильной темноте, заливавшей оба холста, висели оранжевые пятна и пятнышки. Называлась картина «Орджоникидзесталь» ночью». Ребята поискали среди фотографий свою улицу, детдом — не нашли и с удовольствием вышли во двор к жеманному ангелу и каменным бабам.

Простодушное усердие, с которым устроители затолкали в музей все, от космических туманностей до сводки выполнения плана рыбоконсервным комбинатом, могло внести изрядную сумятицу в ребячьи головы, и Ксения Петровна в небольшой беседе выделила только одну тему. Пренебрегая мастодонтами и неандертальцами, она рассказала о жизни рабочих при капитализме, о том, как надрывались в непосильном труде простые люди, а помещики и капиталисты, сами ничего не делая, заставляли других работать на себя. Она немного знала дореволюционную историю города, и в ее рассказе безликие и не очень понятные «капиталист» и «помещик» приобрели фамилии, характеры и поступки, стали достоверными и понятными. И точно так же она рассказала о том, как переменился город и люди после революции, как вместо церквей и кабаков появились школы и дворцы культуры, как бельгийского управляющего на заводе сменил рабочий и завод стал носить имя Ленина, как в первую пятилетку был построен гигант «Орджоникидзесталь».

Ребята внимательно слушали. Пригорюнившись, слушал мраморный ангел, и лишь каменные бабы все так же равнодушно смотрели пустыми глазницами. Валерий Белоус потихоньку швырял в них камешки, а потом, чтобы оживить плоское каменное лицо, обломком кирпича пририсовал одной длинные запорожские усы.

Ребята вернулись домой, экскурсия не оставила никаких видимых следов. И вдруг они проявились в неожиданном скандале.

Толя Савченко был тихий, послушный мальчик, усердно, хотя и без блеска, учился, в меру баловался, с удовольствием принимал похвалу, когда его ставили в пример другим,— словом, был отрадой воспитательских и учительских сердец. И Людмила Сергеевна не поверила, когда к ней прибежала Жанна и с порога возмущенно закричала:

— Идите скорей — там Толька сдурел!

— Что за глупости, Жанна?

— А конечно, сдурел! Не хочет работать, не хочет дежурить...

Возмущение было так сильно, что сейчас «Великая немая» размахивала руками и частила не хуже Киры. Людмила Сергеевна пошла следом за Жанной. Посреди столовой стоял разгоряченный, покрасневший Толя Савченко и вызывающе сверкал глазами на Киру, Симу и Митю, которые громко и враз кричали на него. Из раздаточного окна выглядывала Ефимовна с сердито поджатыми губами. Увидев директора, ребята замолчали и расступились, а Толя втянул голову в плечи, словно опасаясь удара, но не опустил сверкающих глаз.

— В чем дело, ребята?

— Он накрывать на стол не хочет... А уже на обед звонить надо...

— Почему, Толя?

— Не хочу, и всё!

Привлеченные скандалом, ребята столпились в дверях, заглядывали в открытые окна.

— Но ведь причина-то есть? Объясни, почему не хочешь.

— Я не слуга и накрывать не буду. Лакеев нет, теперь не капитализм... Это при капитализме одни на других работали...

За окном кто-то, должно быть Валет, громко засмеялся.

— А Ефимовна? Воспитатели? А я? Мы что же, лакеи, по-твоему?

— Вы зарплату получаете. А я не обязан.

Людмила Сергеевна побледнела. Толя начал трусить, но смотрел так же вызывающе. Он «занесся» и теперь, как бы ни повернулось дело, ни отступить, ни остановиться не мог. В иное время дикий заскок этот без труда можно было бы унять, нелепый гнев и глупая оскорбленность взбудораженного мальчика угасли бы в конфузливом смешке, но сейчас исход поединка подстерегала вокруг в десятки глаз и ушей выжидательная тишина. Да Толя и не услышал бы ничего: сейчас он упивался своим геройством. Любая нотация, наказание только ожесточили бы его, а глупая выходка засияла бы ореолом жертвенности.

— Хорошо,— как можно спокойнее сказала Людмила Сергеевна.— Раз так — обеда сегодня не будет.

— Как — не будет? — открыла глаза и рот Кира.

— Толя считает, что он никому не обязан, ничего не должен делать, и для него никто не будет делать... Закрывайте, Ефимовна, окошко, а вы, девочки, уберите посуду,— уже поворачиваясь, чтобы уходить, распорядилась она.

— Да ведь перепреет все! — заворчала было Ефимовна, но, встретив злой, вприщурку взгляд директора, отпрянула от окна и захлопнула застекленную раму.

Запрету никто не поверил. Не могла же, в самом деле, Людмила Сергеевна оставить без обеда весь детдом потому, что Толька Савченко, по определению Тараса, «сказывся»! При чем здесь остальные? Виноват Савченко, а отвечать должны все?.. Разумеется, это была только угроза, и в конечном счете получилось, что Толька вышел победителем... Людмилу Сергеевну любили, уважали, некоторые побаивались. Но как было не порадоваться тому, что во всем правую и всегда ставящую на своем Людмилу Сергеевну тоже, оказывается, можно «подковать»!.. Валерию исход дела понравился как нельзя более, и он, злорадствуя, одобрил:

— Правильно, Толька! Так ей и надо!

— Ты помолчи...— презрительно процедил Митя.

— Алла, иди сюда! — крикнула Кира, увидев в окошко Аллу.

— Что у вас там опять? — Алла, поморщившись, подошла к открытой двери.

— Толька Савченко не хочет дежурить! Скажи ему...

— Опять детские капризы?

— Да нет, он, понимаешь, такое выдумал... Я, говорит, не лакей, теперь не капитализм...

— Дур-рак! — процедила Алла, искоса посмотрев на Толю, и отошла от двери.

— Куда же ты, Алла? Скажи ему, ты же председательница!..

— Так и нянчиться с вами без конца? Некогда мне...

— Чего это она? — удивленно произнес Митя.

— А, уже не первый раз... В техникум зачислили, вот и задается...

— Подумаешь!

Ребята посмотрели вслед Алле, потом снова повернулись к Толе.

— Я считаю так, ребята,— сказала Кира.— Савченко не хочет подавать другим, и ему никто не будет. Пусть как хочет. А почему остальные должны не обедать? Правильно? Снимай повязку!

Толя отстегнул дрожащими пальцами булавку:

— Нá... Очень нужно!..

— Это мы увидим,— сказал Митя.— Кто завтра должен дежурить?.. Сима и Горбачев? Надевай, Горбачев, повязку, иди с Жанной к Людмиле Сергеевне — пусть разрешит обедать. А с Савченко мы еще поговорим...

Все нашли, что это правильно. Однако Лешка и Жанна вернулись от директора обескураженные. Людмила Сергеевна отобрала у Лешки повязку и сказала, что никакой замены не разрешает, обеда сегодня не будет.

— Ничего не хочет слушать... И больше, говорит, никаких адвокатов...

— Значит, мы из-за одного паразита так и будем сидеть? — звенящим от негодования голосом спросила Кира.

Толя Савченко, гордый победой, уговаривал себя, что, в конце концов, один день можно и поголодать, зато он настоял на своем и, значит, был прав. Он не понимал, что присутствие Людмилы Сергеевны было скорее защитой для него, чем опасностью, и что, уходя, она оставила его с глазу на глаз с судьей, не знающим пощады.

Некоторое время этот многоголосый судья недоумевал по поводу странного упрямства Людмилы Сергеевны, которая оставляла всех без обеда из-за «оболтуса», у которого вдруг «вывихнулись мозги», но потом внимание от задержанного обеда и решения директора естественно переключилось на самого «оболтуса» и характер его «вывиха». С обедом можно и потерпеть, но что значит — он не лакей? А другие — лакеи? И что он такое, чтобы ему подавали? Да ему только при капитализме жить, а не при социализме!.. Ишь какой барон выискался!..

Толя пытался спорить и огрызаться. Он не понимал

того, что затронул и обратил против себя самое опасное. Коллектив признáет авторитет одного, если он заслужен, но он не прощает пренебрежения к себе. И теперь многоликая, сверкающая насмешливыми сердитыми глазами Немезида взяла провинившегося в тесное кольцо. Толя попытался уйти, но ему преградили дорогу и оттеснили к стене. Его не собирались бить, хотя кое-кто предлагал «дать ему как следует», а Ефимовна, снова появившаяся в окне, приговаривала что-то о пользе применявшейся прежде березовой каши. Если бы его прибили, было бы легче. Над ним смеялись.

Даже Валет, который недавно кричал, что «ей так и надо», теперь тоже, зловредно осклабясь, обозвал его «Фон-Патефоном». В течение нескольких минут в дружной, наперегонки и вперехлест, язвительной атаке Толе Савченко показали его «паразитскую сущность».

Толя перестал отбиваться. Подвиг его вывернулся наизнанку и оказался постыдным срамом, а геройский ореол мгновенно превратился в беззвучно и бесследно лопнувший мыльный пузырь. Он затравленно озирался и уже не геройские искры, а подозрительная влага поблескивала в его глазах. «Фон-Патефон» доконал Толю. Губы у него задрожали, по щекам заструились слезы.

— О, барон сок пустил! — добивая, провозгласил Валет.

На него цыкнули. Виноватый получил по заслугам, даже, пожалуй, чуточку сверх заслуг — ничего, пусть помнит! — и они недолгое время молча смотрели, как жертва их приговора, вздрагивая всем телом и задыхаясь, размазывает по щекам горючие доказательства раскаяния.

— Ну, хватит! — нарочито суровым голосом сказал Митя.— Подбери нюни... и иди к Людмиле Сергеевне. Проси прощения.

Сердобольная Сима разжалобилась и протянула Толе салфетку:

— Вытрись!

Толя вытерся рукавом и, опустив голову, пошел в кабинет заведующей.

Людмила Сергеевна уже жалела о своем поспешном решении. Эка придумала: из-за одного сбрендившего мальчишки оставить всех без обеда... И отступить нельзя. Умные-то, постарше которые, те бы поняли. А остальные, маленькие?.. Для них дурачок этот станет героем. Как же — самой директорши не побоялся! Тогда какие слова ни говори, не поможет. Нет, такие вещи надо под корень!

А не слишком ли глубоко лопату засадила? Что, как черенок хрустнет да обломится?.. И если как в первый год, когда еще был Ромка Кунин? С криком, свистом — камни в окна... Их ведь легко повернуть. Не может быть! Не должно быть!

Послышался робкий, скребущийся стук, и в приоткрытую дверь втиснулся Савченко с красным, истерзанным переживаниями лицом. Сдерживая ликование и жалость к замурзанному «борцу за идею», Людмила Сергеевна как можно спокойнее спросила:

— Что скажешь, Толя?

— Я больше не буду,— глядя в землю и шмыгая носом, сказал Толя.— Простите меня...

Слезы уже не текли из глаз, но накапливались на носу, и он то и дело проводил под носом рукой.

— Ты не меня оскорбил, а товарищей. У них и надо просить прощения. Пойдем.

Жалкое, прерывистое Толино лопотанье ребята выслушали молча.

— Как вы считаете, ребята,— спросила Людмила Сергеевна,— можно его простить? Я думаю, можно. Он ведь неплохой мальчик, просто у него заскок случился...

— Я ж говорю: сказывся,— подтвердил под общий смех Тарас.

Этот смех, уже не язвительный, а добродушный, означал прощение.

— Иди умойся...

Через пять минут все еще красный, но уже лишь изредка шмыгающий носом Толя приколол повязку дежурного и разносил тарелки с борщом.

Так закончился бесславный «бунт» Толи Савченко.

Лешке было жалко запутавшегося по глупости Тольку, но он понимал, что возмездие необходимо. А если оно не очень нежное — не нарывайся. Про себя Лешка решил, что он-то никогда не нарвется. Однако он «нарвался». Это случилось уже в школе.

20

Документы Лешки нашлись в армавирской школе — убегая из Армавира, дядя Троша о них не вспомнил. Людмила Сергеевна добилась через гороно, чтобы Лешку приняли в ту же школу, где училось большинство детдомовцев, и сказала Лешке, что он зачислен в шестой «Б». За несколько дней до первого сентября ему выдали новенький

дерматиновый портфель, тетради и два потрепанных учебника: по географии и ботанике. Учебников не хватало, пользоваться ими нужно было сообща. Тарасу Горовцу достались история, зоология и задачник. Симе и Жанне, как более аккуратным,— остальные. С Тарасом и девочками Лешка был в одном классе. Валерий Белоус тоже ходил в шестой, но его Лешка не считал. Он предпочел бы учиться с Яшей и Митей, но те вместе с Кирой были уже в седьмом.

Школа была такая же, как и в Ростове,— двухэтажная, с большими окнами и начисто вытоптанным небольшим двором. Так же как и там, возле забора торчало несколько обломанных, затоптанных прутиков — измочаленные остатки торжественно вкопанных саженцев. Лешке на минутку показалось даже, что он опять в Ростове. Вот сейчас по лестнице, стуча башмаками, сбежит Митька, изловчится и стукнет его портфелем... Кто-то изо всей силы хлопнул его по спине. Лешка повернулся — сзади сиял улыбкой Витька Гущин.

— Здоров!

— Здоров!

— Ты тоже у нас? Вот хорошо!

Лешка обрадовался Витьке. Жаль только, что он в другом классе. Они сбегали посмотреть Витькин класс. Лешка заглянул через дверь — там смеялись и громко, как глухие, переговаривались впервые после каникул встретившиеся ребята. Среди них была большеротая девочка с мохнатыми глазами — «бог погоды».

— И она тут?

— Кто, Наташка Шумова? Ну да... пошли во двор.

Двор гудел от топота и крика. Кто-то на радостях уже сражался портфелями. Витьку окликнули, он исчез в толпе. Лешка подождал, потом решил идти в класс. Он пробирался между бегающими друг за другом младшеклассниками, и вдруг его резко толкнули плечом. Перед ним стоял в новеньком костюмчике, гладко причесанный Витковский и вызывающе улыбался. В руках у него был не ученический, дерматиновый, а настоящий кожаный портфель, и он раскачивал его, держа за ручку одним пальцем.

— Ты что?

— Ни-че-го! — процедил Витковский.

— Лучше не лезь!

— А что будет? — прищурился Витковский.

— Неважно будет,— пообещал из-за спины голос Тараса.

Лешка обернулся — рядом стояли Тарас и Валет. Валет

вложил в рот пальцы и коротко призывно свистнул. Сразу же откуда-то появились Митя Ершов, Толя Савченко, все детдомовцы, с которыми Лешка шел в школу.

Они молча и выжидательно окружили Лешку и Витковского полукольцом. Улыбка Витковского стала напряженной.

— Детдомовцев не тронь! Понятно? — сказал Митя.

— А может, ему того... объяснить? — замысловато покрутил кистью Валерий.

Витковский, презрительно улыбаясь, сделал шаг назад, повернулся и отошел, раскачивая на пальце портфель.

— Он что, опять? — расталкивая школьников, подбежал на помощь Витька.

— Нет, струсил.

— Надо было дать ему!

— Ничего, дадим, когда надо будет!

Звонок рассыпал по двору призывную трель, с шумом и гамом ребята побежали в распахнутую дверь.

Лешка сидел рядом с Тарасом и, слушая учительницу, приглядывался к классу. К нему тоже приглядывались: он то и дело ловил на себе изучающие взгляды. Подросток на соседней парте рассматривал Лешку во все глаза. Он был толстощекий, с широко открытыми, словно радостно удивленными глазами и почти постоянной улыбкой, от которой на щеках прорезывались ямочки. Учительница вызвала Юрия Трыхно, и толстощекий поднялся. Он, улыбаясь, выслушал и записал на доске пример, постоял, подергал себя за чубчик полубокса и, все так же улыбаясь, сказал, что не знает, как решить.

— Чему же ты радуешься? — спросила учительница.— Садись на место.

Трыхно нисколько не устыдился, а улыбнулся еще шире. Учительница спросила, кто может решить? Со всех сторон поднялись руки. Лешка — не очень решительно — поднял тоже.

— А, новенький! — заметила учительница.— Иди к доске.

Лешка, чувствуя спиной взгляды, быстро решил пример и оглянулся. Жанна с передней парты улыбалась, Сима одобрительно кивала.

— Хорошо,— сказала учительница.— Только не надо так стучать мелом...

В этот день Лешку вызывали еще раз, по русскому, и он опять хорошо ответил: несмотря на длительный перерыв, он помнил многое. Его хвалили все: и учителя, и Ксения

Петровна, и Людмила Сергеевна, которые подробно расспросили его о первом дне занятий в школе.

Первые недели проходили знакомое Лешке по недолгим занятиям в Ростове и Армавире, готовить уроки не было нужды, и он незаметно привык к мысли, что учить их незачем будет и дальше. Дальше было совсем не так. Учительница географии вызвала его, чтобы он показал самую большую реку Западной Европы. Указка в руках Лешки некоторое время поколебалась между Днепром и Дунаем, потом поползла вверх по Днестру.

Класс зашевелился, Сима в ужасе схватилась за щеки.

— По-твоему, реки текут из моря? — спросила учительница.— Надо показывать от истока к устью. Какую реку ты показал?

Лешка скосил на карту глаза, но прочитать не смог. От ближних парт донеслась еле слышная подсказка «...тр ...тр ...р-р».

— Днепр! — догадался Лешка.

— Вот как! Вместо Дуная показал Днестр, да и тот переименовал в Днепр... Покажи Печору.

Лешка начал с Вычегды, потом переметнулся на Сухону и слишком поздно понял ошибку. На лице у Симы было отчаяние, класс смеялся, а учительница уже ставила отметку. Борис Костюк, приподнявшись с передней парты, заглянул и потом, чтобы не видела учительница, поднял вверх два пальца...

Лешке было неловко, как бывает при досадном промахе, мелкой неудаче. Неловкость быстро прошла. На следующей неделе он получил двойки по украинскому и по математике. Привыкнув еще в Ростове к превратностям ученической судьбы, Лешка не огорчался.

После очередной двойки, когда они возвращались из школы, Митя Ершов подошел к нему и внушительно сказал:

— Ты это брось!

— Что?

— Двойки хватать!

— А тебе что?

— То есть как — что?.. Слышите, ребята?

Ребята слышали. Сжав губы, сердито щурясь, они окружили Митю и Лешку.

— Мы что, домашние дети, чтобы плохо учиться? Мы — государственные!.. Понятно?

Лешка пожал плечами:

— Ну так что?

— А то, чтобы двоек больше не было! А то мы с тобой иначе поговорим...

Лешка вспомнил «разговор» с Толей Савченко, и ему стало жарко.

— Словом, кончай это дело, не нарывайся! — внушительно посоветовал ему Митя и пошел вперед.

С ним ушли все ребята, кроме Яши. Уходя, Кира несколько раз оглянулась. Когда ребята напали на Лешку, она молчала. И даже, кажется, жалела... Очень ему нужно, чтобы она жалела!

— Ты не должен обижаться,— мягко сказал Яша.— Понимаешь, ты ведь не один, не сам по себе, а с нами. Значит, мы за тебя отвечаем. Если тебе трудно, мы поможем — и я и другие.

Лешка покосился на Яшу — тот и не думал смеяться. Яша никогда не смеялся над другими и не говорил пренебрежительно, свысока, хотя знал больше, чем остальные. Лет ему было столько же, сколько другим, но говорил он умудренно, словно ушел вперед и, протягивая руку из своего далека, терпеливо и добродушно ждал, пока к нему подойдут. Знал он не по возрасту много, и ребята называли его «академиком». В классе его вызывали последним, если уж никто не мог ответить, и он отвечал всегда.

— Мне кажется,— продолжал Яша,— тебе трудно потому, что ты мало читаешь...

— А когда же читать? На уроки времени не хватает...

— Но я же читаю! И другие тоже... Тебе только кажется, что времени не хватит и помешает учиться... Когда человек развивается, ему легче воспринимать и не надо зубрить...

— А я разве не хочу? Так у нас же книг нет.

— В школе мало,— согласился Яша.— Пойдем со мной, тебя запишут в библиотеку.

Через два дня окружающее перестало для Лешки существовать. Он читал книжку «Белый рог», и каждая страница открывала перед ним двери в новый мир, в котором не было места ни будничному, ни скучному. Лешка не подозревал об умении писателей видеть необыкновенное в обыкновенном, изумляться ему и радостно удивлять других. Ему казалось, что герои книжки — люди удивительные, непохожие на других, и такими сделала их профессия. Лешка тоже захотел стать таким — он твердо решил учиться на геолога. Яша одобрил это решение, но сказал, что геологу нужно очень хорошо знать математику, физику и химию. Лешка приналег на уроки и некоторое

время снисходительно поглядывал на Валерия, который «парился» у доски на каждом уроке математики.

Добытая где-то Витькой замусоленная, растрепанная и вспухшая, как мочало, книжка Сетон-Томпсона о животных захлестнула Лешку новыми восторгами, а кинокартина «Лесная быль» окончательно заслонила недавнее. Нет, не геологом, а натуралистом и охотником следовало Лешке быть! Потом Джек Лондон зажег мерцающее таинственным светом полярное сияние над бескрайними льдами Арктики, а «Два капитана» Каверина указали Лешке его окончательное призвание полярника... Паустовский рассказал о превращении гиблой Колхиды в апельсиновый сад, а в рассказах Станюковича заплескалось, зашумело море, и Лешка снова услышал призывный голос маяка...

Бесконечная и необъятная, единая и многоликая жизнь звала его тысячью голосов, простирала перед ним тысячи дорог, и Лешка с замирающим сердцем метался между всеми дорогами, откликался на все голоса. До уроков ли уж тут!

Ксения Петровна увидела Лешкин табель за первую четверть и всплеснула руками:

— И тебе не стыдно?

В тот же вечер его позвали к Людмиле Сергеевне. Лешка не видел ее целый день и, войдя, поздоровался. Людмила Сергеевна ответила не глядя. В комнате сидели Сима, Жанна и все члены детсовета. Они тоже не смотрели на Лешку. Только Кира и Алла коротко взглянули и сейчас же отвели глаза.

— Что будем с ним делать? — спросила Людмила Сергеевна, кивнув в Лешкину сторону и опять даже не взглянув на него.

— Пусть он сам скажет, как это получилось,— предложил Митя.

— Он уже высказался.— Людмила Сергеевна взяла лежащий перед ней Лешкин табель и показала.— Что он еще может сказать? Что он неспособный? Что к нему придираются?

Все посмотрели на табель, потом на Лешку.

— Молчите? Тогда я скажу. Вы плохие товарищи! Да, да!.. Вы гордитесь, что, мол, вы все за одного... Где, в драке? Там, конечно, вы вступитесь. А если он плохо учится, портит себе будущую жизнь — вам нет дела?

— Мы говорили,— вставил Митя.— Воздействовали...

— Это Яша виноват,— сказала Кира и покраснела.— А что? Конечно!.. Он его книжками заразил...

— Глупости какие!..— усмехнулась Алла.— Просто Горбачев — лентяй.

— Никакие не глупости! Я же знаю... Раньше он хорошо учился... ну, не совсем хорошо, а все-таки ничего... А потом начал книжки читать и забросил уроки. Даже в столовой пробовал читать...

— Пожалуй, верно,— смущенно признал Яша.— Я думал: он полюбит читать, станет культурнее и ему будет легче. А получилось вот так...— развел он руками.

— Запретить ему, и всё! — энергично тряхнул кулаком в воздухе Митя.

— Запретить читать книги? Вот уж это действительно глупости! — сказала Людмила Сергеевна.— Запрещать мы не будем... Эх, Алеша, Алеша! — вздохнула она и помолчала.— Я думала, ты уже большой, сознательный мальчик и все понимаешь... Если мы за галчатами... за малышами следим, чтобы пуговицы были целы, чтобы под носом было чисто, это понятно — они маленькие... А ты... Ну что ж, будем и тебе нос вытирать.

Все ребята, кроме Аллы, улыбнулись. Она смотрела на Лешку с недосягаемых высот техникумовского первого курса с таким пренебрежением, с таким холодным и даже брезгливым любопытством, будто и на самом деле под носом у него повисла капля.

— Можешь идти,— сказала Людмила Сергеевна.— А вы останьтесь.

Лешка ушел.

Как он их ненавидел!.. Ну — книжки читал, ну — не учил уроков... А может, ему эти уроки совсем не нужны? Может, у него будет такая специальность, что можно без всяких уроков?.. Очень просто: вот возьмет уедет и станет... Лешка остановился под тополем и задумался о том, кем он станет.

Дул холодный ветер, голые ветви, обледенелые после мокрого снегопада, стеклянно звенели. Под ногами громко шуршали палые, тоже заледеневшие листья. Лешка бегал с ребятами к морю и знал, что по утрам у берега появляется хрупкий, тонкий ледок, вода стала густой и тяжелой, будто тоже сжалась от холода.

А на Севере, куда ушел «Гастелло», должно быть, сплошные льды. Может, «Гастелло» вмерз где-нибудь в ледяное поле. Алексей Ерофеевич, капитан с Чернышом и все стали как челюскинцы... Оттого, наверно, Алексей Ерофеевич ни разу не написал. И хорошо, а то бы Людмила Сергеевна написала ему про двойки. Лешка представил,

как Алексей Ерофеевич читает такое письмо, Анатолий Дмитриевич заглядывает ему через плечо и, присвистнув, говорит: «Сдрейфил парень! Кишка тонка...» Алексей Ерофеевич молчит и только прищуривается, как... как будто это не он, а Алла.

Ну и пусть! А он уедет, и пусть щурятся как хотят, и пусть говорят... Вот сейчас он потихоньку уйдет, сядет на поезд, на товарный какой-нибудь, и всё... Его хватятся, будут искать, заявят в милицию. А он будет сидеть на площадке, будет холодно, но он все равно не слезет с поезда и не вернется...

Ветер пронизывал брюки у коленей, задувал под куртку. Лешка запахнул куртку плотнее и уже без восторга рисовал себе последствия бегства.

— Ты что здесь стоишь? — подбежала к нему Кира.— Пойдем, замерзнешь...

— Не твое дело. Отстань!

— Какой ты...— дрогнувшим голосом сказала Кира, потопталась около него и убежала.

— Ребята! — услышал издали ее голос Лешка.— Заберите Горбачева, вон он там стоит... Он же простудится!

К нему подошли Яша и Тарас.

— Пойдем домой,— сказал Яша.

— Да что вы привязались? Маленький я, что ли? — закричал Лешка.

— А то нет! — ответил Тарас.— Вон и Людмила Сергеевна говорила, что маленький... Сам пойдешь, чи отвести?

Лешка пошел сам.

Мало-помалу горечь и обида после разговора у Людмилы Сергеевны ослабевали. Ослабела, а потом и вовсе исчезла мысль о бегстве, однако со своими обидчиками Лешка не разговаривал. Они делали вид, будто ничего не случилось.

Кто-то разболтал о том, что было на детсовете, и однажды вечером Валет, ухмыльнувшись, сказал, ни к кому не обращаясь:

— Может, деткам пора баиньки?..

Лешка притворился, что это его не касается.

В другой раз Валет, уже глядя прямо на Лешку и так же отвратительно ухмыляясь, запел:

Спи, младенец мой прекра...

Лешка ринулся к нему, но его перехватили несколько рук, усадили на кровать и придержали, пока он не перестал вырываться. К Валету подошли Митя и Тарас.

— А ну пойдем, поговорим, — сказал Митя и кивнул на дверь.

— А чё те надо? — огрызнулся Валет, но, посмотрев на обоих, притих и вышел вместе с ними.

Разговор был недолгий. Валет вернулся запыхавшийся, слегка помятый. На Лешку он не смотрел.

Лешкино ожесточение не смягчилось. Не нужно ему ни заступничества, ни помощи. Раз с ним так, и он будет тоже... От ребят он держался в стороне, и ему все чаще становилось не по себе. Все чаще Лешке приходилось подхлестывать затихающее воспоминание, заново растравлять обиду, чтобы не заговорить, не засмеяться, когда смеялись другие, и чтобы не получилось, будто он все забыл и уже не сердится.

Он не собирался ни забывать, ни прощать. Пусть не думают... Тоже нашлись умные! Он не глупее. Захочет — не хуже их будет. Вот возьмет и докажет...

Доказать оказалось трудно. Надо было наверстывать пропущенное и учить новое, чтобы не отстать. А новое зачастую было непонятно — оно опиралось на пройденное, там же у Лешки обнаруживался то один, то другой провал. Лешка злился и ожесточенно читал и перечитывал пройденное. Иногда, запутавшись, он поднимал голову от учебника и ловил взгляды Мити, Киры, Яши. Взгляды выражали сочувствие и готовность немедленно помочь. Лешка отворачивался и, сжав виски кулаками, начинал снова. Думают, он попросит. Не дождутся!..

Прошло немало недель, пока двойки исчезли. Их заменили тройки и даже четверки. Теперь, когда Лешка отвечал, на лице Тараса появлялось сдержанное одобрение, «Великая немая» улыбалась, а подпухшие глазки Симы сияли. Лешка делал вид, будто ничего не замечает. Очень ему нужно их одобрение! И вообще они ему не нужны. У него есть настоящий друг — Витька Гущин.

Кроме Витковского, Витька ладил со всеми одноклассниками, но привязался к Лешке, может быть, потому, что тот охотнее других слушал, как и каким великолепным моряком станет он, Витька, не спорил и не подсмеивался. Дома Витька перерисовывал из книг все картинки с парусниками, пароходами и развешивал их на стенах. Милочке иногда удавалось проникнуть в комнату брата и благодаря Лешкиному заступничеству остаться там. Она с завистливым восхищением смотрела на картинки и тяжко вздыхала: у нее таких не было. Лешка рисовал для нее пароходы, и они получались очень похожими на настоя-

щие. Но Милочка не признавала реализма. Прижимая верхнюю губу языком и пыхтя от усердия, она легкий дымок из трубы заменяла толстой кудрявой спиралью, на палубе пририсовывала человечков ростом с мачту, а над пароходом помещала самолет, похожий на растрепанную курицу...

Часто и надолго к Гущину ходить не удавалось: надо было успевать домой к обеду, ужину, готовить уроки. А дома он все время чувствовал себя скованно и неловко. Как ни расковыривал Лешка свою обиду, переживать ее наново не удавалось. Теперь он уже не понимал, почему и за что так рассердился, рассорился с ребятами на всю жизнь. В том, что ссора на всю жизнь, он не сомневался.

Однажды после уроков Митя поотстал от ребят, поравнялся с Лешкой и сказал, будто продолжая прерванный разговор:

— Вот видишь, я оказался прав!

Лешка покосился на него.

— Все говорили, что тебе надо помогать, а я говорил — не надо, ты и так догонишь... Ну, вот догнал, и хватит дуться.

— А я дуюсь?

— А кто, я, что ли, голова садовая? — засмеялся Митя и стукнул его портфелем по спине.

— А что же, я? — также засмеялся Лешка и тоже стукнул его портфелем.

— Ребята! Наших бьют! — закричал Митя.

Он сгреб горсть снега и швырнул в Лешку. Тот ответил. Подбежали ребята, снежки посыпались на него, на Митю, и через минуту на улице бушевала снежная пурга. Прохожие замедляли шаг и, улыбаясь, смотрели. Дожно быть, им вспоминалось свое, такое же веселое, горластое детство, снежные баталии, и им тоже хотелось, наверное, залепить в кого-нибудь хорошим зарядом, но они были взрослые. Они подхватывали с земли горсть снега, уминая его, смущенно улыбались и шли дальше по своим, взрослым делам, унося быстро тающую между пальцами памятку юности.

Внезапно в кипящий бой ворвался крик:

— Вы что безобразничаете? Хулиганы!

Пожилой мужчина на тротуаре потрясал палкой. На черной драповой груди его красовалась снежная корона — след вдребезги разбившегося снежка.

— Полундра! — крикнул Валерий.

И, подхватив портфели, ребята бросились бежать.

Они вовсе не испугались ни толстого гражданина, ни

его палки. Им просто было так же весело и радостно бежать, как только что было весело и радостно бросать друг в друга хрустящие в руках, пахнущие холодом и свежестью снежки. И они бежали, крича во все горло и изо всех сил топая, чтобы громче хрустел и звенел под ногами снег.

Шумная пурга на улице смела призраки обид, которые Лешка собирался на всю жизнь поселить между собой и товарищами. Он опять пошел с Яшей в библиотеку. Опять открывал каждую книгу, как сказочную дверь в новый, неведомый мир, чудодейственно поместившийся на нескольких сотнях страничек. Только теперь Лешка уже не пытался захлопнуть эту дверь за собой и забыть об остальном.

...«Коза» и моторчик уже стояли на фундаментах, трансмиссия со шкивами была прикреплена к стене, проводка сделана. Теперь, когда Вадим Васильевич в воскресенье влетал на мотоцикле во двор детдома, Кира, Митя и Толя запирались с ним в мастерской, и оттуда доносились то басовое гудение, то треск и постукивание. Наконец Вадим Васильевич объявил, что все готово и можно, пожалуй, попробовать, но тут же добавил, что следует обставить все по-человечески.

Что значит «по-человечески»? Конечно, это не гигант тяжелой индустрии, но мастерская у них, в детдоме, открывается не каждый день. Разве это не торжество? И разве для тех, кто на этом ветхозаветном ветеране снимет первую в своей жизни стружку,— это не праздник? Отчего бы и не назвать так: «Праздник первой стружки»? А? Ничего звучит! Может, у них даже появится такая традиция, чтобы каждый, кто начинает работать на станке, снимал свою первую стружку при всех, торжественно? Традиции надо не только чтить, но и создавать... Неплохо придумано, а?

Вадим Васильевич склонил набок голову, зажмурил левый глаз и широко открытым правым вопросительно оглядел всех, став похожим на диковинную лысую птицу. Никто не замечал в нем смешного, будущие токари смотрели на него с обожанием.

— И из ремесленного позвать! — предложила Кира.

— Правильно! — поддержала Людмила Сергеевна.

Из ремесленного пришли уже знакомые ребята-воспитанники и Еременко. Еременко с ревнивой тщательностью осмотрел все, перещупал, даже попробовал покачать «козу» на фундаменте.

— Ничего, ничего,— проговорил он, отдуваясь и выти-

рая руки концами.— Смазывать побольше надо! Она... станок, я говорю, смазку любит!

— А разве мало? — удивилась Кира.

Она следила за каждым движением Еременко, вместе с ним заглядывала всюду, перепачкалась, и даже на носу у нее появились черные пятна.

— Нет, ничего, ничего,— успокоил Еременко.— Вот из тебя будет токарь, по носу видно! — засмеялся он, увидев масляные пятна на Кирином носу.— Ну что ж, голубчики, начинайте!

— Нет уж, начинайте вы,— сказала Людмила Сергеевна, протягивая ему ножницы.— Ваш подарок — вам и начинать.

Рукоятка рубильника была привязана к щиту тоненькой красной ленточкой. Такой же ленточкой был привязан к станине суппорт станка. Зрители расположились полукольцом вокруг станка — маленькие спереди, постарше сзади. Даже Ефимовна оставила свою кухню и пришла посмотреть, как будут пускать станок. Позади всех высилась сутулая фигура Устина Захаровича. Он укладывал фундамент, помогал устанавливать мотор и станок, но отношения к ним не переменил и смотрел на все неодобрительно.

Еременко ступил в полукруг. В наступившей тишине ножницы в его руках дважды щелкнули.

— В час добрый, как говорится! — сказал он, отступил от станка и машинально, словно привычный микрометр, попытался засунуть ножницы в карман гимнастерки.

Митя подошел к мотору и включил рубильник. Мотор загудел. Дрогнув, побежал вверх приводной ремень и, как метроном, защелкал швом о шкивы. Напряженная, слегка побледневшая Кира ступила на деревянную решетку возле станка и оглянулась на Вадима Васильевича. Тот кивнул. Кира вставила в патрон круглую заготовку и, поворачивая патрон, начала ключом поджимать кулачки. Ключ вырвался у нее из рук и звякнул о салазки.

— Осторожно! — страдальчески крикнул Еременко, протягивая к станку руку, в которой так и остались ножницы, не влезающие в карман. Он недоуменно посмотрел на них и сунул соседу.

Кира дернула рычаг рабочего хода — патрон с заготовкой завертелся. Склонившись над ней, Кира осторожно подвела суппорт. Резец чиркнул по заготовке раз, другой; на темной, почти черной заготовке сверкнуло блестящее

колечко, расширилось в ленточку. Съедая черноту, к патрону поплыла блестящая поверхность обнаженного металла.

Подрагивая, вилась спиралью стружка. Запахло нагретым маслом и железом. По остывающей стружке бежали желто-синие разводы. Резец дошел до кулачков. Кира отвела суппорт, выключила станок и обернулась.

— Ну вот, а мне не верили! — сказал Еременко. — Я же говорил: прекрасный станок! — и первый захлопал в ладоши.

Захлопали, закричали все зрители. Кира вытерла пальцами выступившие от волнения бисеринки пота на губе, на лбу. Там появились темные пятна и полосы. Ребята засмеялись, захлопали еще усерднее. Они смеялись не над нею, а от радости. Перепачканная масляными пятнами, она была сейчас не смешной, а красивой, эта девочка с полуоткрытым в счастливой улыбке ртом и сияющими гордостью глазами.

Еременко снял обточенный валик, осмотрел и одобрительно сказал:

— Ничего, очень даже ничего!

Валик пошел по рукам. Каждому хотелось потрогать, понюхать эту еще горячую, будто она живая, блестящую штуку. Они зачарованно поглаживали теплый кусок круглого железа и неохотно выпускали его из рук, потому что кто же не завидовал сейчас Кире и кому же не казалось, что он держит в руках кусочек и своего будущего!

Вадим Васильевич поднял змеящуюся, в синих разводах спираль стружки. Отломив кусок, он положил его в коробочку, которую достал из кармана.

— Конечно, это не брильянт, — сказал он, — но пройдет время, и ты поймешь, что память о сделанном впервые своими руками дороже всех брильянтов. На́ береги.

Кира осторожно, будто кусок стружки мог вспорхнуть и улететь, взяла коробочку. Снова изо всех сил хлопали в ладоши и что-то кричали ребята. Она не слышала: синий цвет побежалости сиял цветом счастья. Такого дня еще не бывало в Кириной жизни, и она была бы совсем-совсем счастливой, если бы... если бы не противный Лешка Горбачев. Он стоял в стороне, разговаривал с Сергеем Ломановым, чему-то смеялся и не обращал внимания ни на Киру, ни на ее радость.

Витька переменился. Он то притихал на несколько дней, то вдруг начинал отчаянно озоровать, на переменах кричал больше всех, задирал других и при малейшем поводе дрался. Внушения не помогали. Он диковато смотрел в сторону, обещал, что «больше не будет», и продолжал безобразничать. Учиться он стал неровно: то получал пятерки, то съезжал на тройки. Классная руководительница вызывала в школу мать. Оказалось, и дома Витька вел себя так же: то замолкал — слова не добьешься, то приставал к сестре, доводил ее до слез, грубил домработнице и даже матери.

— Переходный возраст,— вздыхала руководительница.— В этом возрасте многие дети так... Надо устранять, по возможности, все раздражающие факторы...

— Да кто его раздражает?! Он сам всех раздражает.

— Психология подростка — сложная вещь. Надо оберегать, надо оберегать...

Одноклассники не собирались оберегать Витьку. Его «прорабатывали» на собрании класса, на сборе пионерского отряда. Красный, надутый, он монотонно и угрюмо оправдывался. Он оглядывал исподлобья своих прокуроров и сердито сжимал пухлые губы. Заладили: уроки, отметки, успеваемость. Разве им можно открыть душу?.. Смятенная Витькина душа жаждала открыться, излить радости и горести, меж которых, как щепка на штормовой волне, металась эта душа и заставляла его безобразничать. Потом он раскаивался, но раскаяние быстро уходило, а смятение оставалось, и все шло по-прежнему. Один Лешка Горбачев не лез к нему с вопросами и нравоучениями, и ему Витька решился рассказать.

Они возвращались после уроков, и Витька нарочно дал крюку, чтобы дольше идти вместе. Он шел по краю тротуара и стукал ногой по стволам деревьев. Ветки деревьев вздрагивали и роняли пушистый иней. Внезапно решившись, Витька повернулся к приятелю:

— Никому не скажешь?

— Нет. А что?

— Слово?

— Слово!

— Ты был когда влюбленный?

Лешка удивленно открыл глаза и покраснел. Кто же говорит об этом вслух?

— Нет,— ответил он.

— А я влюбился,— мрачно сказал Витька и изо всех сил пнул ногой очередное дерево.

Лешка поколебался, не зная, что в таких случаях надо говорить, и спросил:

— В кого?

— В Наташу Шумову...

— В Шумову?

— Ну да... А что? — с вызовом спросил Витька.— Что, некрасивая, да? Я тоже так думал... раньше.

Эта большеротая, скуластая девочка с растрепанными волосами действительно не казалась Лешке красивой.

— И почему это так? — недоуменно продолжал Витька.— Была некрасивая, некрасивая, а потом вдруг стала красивая!

— Не знаю,— сказал Лешка.

Он твердо знал, что Алла всегда была красивая и становилась все красивее.

— Неправильно это! — вздохнул Витька.

— Что?

— А вот — когда так...— туманно ответил Витька.— Только смотри: слово!

Еще совсем недавно Наташа Шумова ничем не отличалась от других девочек в классе и даже от ребят. Ее можно было при случае дернуть за волосы, стукнуть, а уж дразнить и подавно. Витька делал все это не без удовольствия, потому что она сама задиралась и ни в чем не уступала ребятам. Когда она на большой перемене сказала, что у него из одной губы можно выкроить три, Витька погнался за ней, намереваясь дать ей как следует. Он нагнал ее возле самого забора, так что дальше бежать было некуда, схватил за руку и дернул. Наташа повернулась к нему, раскрасневшаяся, растрепанная, сердито сверкая большущими своими глазами:

— Ну тронь! Тронь только!..

И вот тут-то Витька, уже размахнувшийся для удара, вдруг увидел, что она красивая. Две-три секунды он остолбенело смотрел на нее, потом покраснел, будто его ошпарили, и опустил руку. Наташа убежала.

Пораженный внезапным открытием, Витька весь урок украдкой поглядывал на Наташу. Она была удивительно, необыкновенно красива! Все в ней было красиво. И глаза, и брови, и не подчиняющиеся гребешку волосы, и даже рот, ее большой рот, не казался теперь Витьке ни большим, ни некрасивым. А как блестели у нее зубы, как она взмахивала

своими мохнатыми ресницами или изгибала тонкую шею так, что на ней сквозь кожу просвечивала голубая жилка!

Наташа давно забыла про Витьку. Она слушала учителя, писала, шепталась с подругой и ни разу не взглянула в Витькину сторону. А он краснел, бледнел и не сводил с нее глаз. Наташа поднимала худенькую, тонкую руку — его пронзала нежность и почему-то жалость к бледной маленькой руке. Она поворачивалась спиной, и он, как величайшим радостным открытием, любовался аккуратной штопкой на локте ее зеленой шерстяной кофточки. Он смотрел и смотрел, готов был смотреть все время, всегда, вечность... Но вечность любви не в ладах со школьным расписанием: обрывая ее, загремел звонок на перемену. Наташа убежала с подругами, а Витька побрел следом, чтобы хоть издали, хоть мельком видеть ее. С этого дня Витька не задирался и не дразнил ее. Он безропотно сносил от Наташи любые насмешки, безмолвно плелся за ней, куда бы она ни шла; терзаясь стыдом и обмирая от радости, терпел от нее все и думал только об одном: что бы такое сделать, лишь бы Наташа одобрительно посмотрела на него и улыбнулась. Придумать Витька ничего не мог. Он надувался, пыхтел, с пылающими ушами и сердцем вертелся возле нее и даже домой начал ходить по другой улице, чтобы издали следить за ней. Наташа не обращала на него внимания. Если Витька дрался или выкидывал еще что-нибудь нелепое, она поводила плечами и смотрела на него, как сквозь пустое место. Витька много раз давал себе честное слово не подходить к Наташе, даже не смотреть в ее сторону. Но, как только он приходил в школу, ноги его сами собой шли, а голова поворачивалась туда, где была она.

Обиженный равнодушием Наташи, Витька мечтал о болезни, с мрачным ликованием и щемящей жалостью к себе рисовал в воображении картины своей смерти и запоздалого горя Наташи, которая слишком поздно поняла и оценила его и безутешно плачет возле гроба, а он лежит бледный, холодный и ко всему безразличный... Витька вглядывался в зеркало, отыскивая на своем лице следы страданий, предвестников близкой смерти, но видел там всё те же красные, будто подпухшие губы, всё те же толстые щеки, налитые румянцем, никак не подходившие умирающему от скорби страдальцу.

Витька был убежден, что безответное чувство похоронено в глубине его сердца, но, придя как-то в класс, увидел формулу, написанную мелом на доске: «Г + Ш = ?» Витька покраснел и поспешно стер. На следующей переме-

не формула появилась снова. Витька сделал вид, что надпись его не касается, но, посмотрев в сторону Наташи, похолодел: красная от смущения, она метала в Витькину сторону ненавидящие взгляды. Подозревая в глупых надписях то одного, то другого, Витька грозил и даже дрался, но это не помогло — надписи появлялись снова. Однажды уже другую формулу — «Г : Ш = дурак» — увидел на доске Викентий Павлович. Удивленно подняв брови, он посмотрел на нее и сказал:

— М-да... Уравнение назидательное. Однако сотрите.

Витькины кулаки не помогли, помогла привычка. К его «влюбленности» привыкли и перестали замечать, как не замечали прошлогоднюю царапину на доске и чернильное пятно на полу возле первой парты.

Наташа не разговаривала с Витькой, но уже как будто и не очень сердилась. Витька до сих пор не осмеливался ничего сказать, теперь он решил выяснить отношения. Исписав и изорвав целую тетрадь, он убедился, что никакие слова не могут передать его чувства. После долгих поисков он нашел наконец способ выразить их кратко и красноречиво. Ни чернила, ни карандаши для этого не годились — это должен был быть голос самого сердца. Витька утащил у Сони иголку и заперся в своей комнате. Уколов палец иголкой, он выдавил на чистое перо каплю крови, нарисовал сердце, а посередине написал: «В + Н».

Целый день Витька не мог собраться с духом, и только перед последним уроком с упавшим сердцем он подбросил записку, сложенную в крохотный четырехугольник. Он боялся, что Наташа выбросит ее, не развернув. Она не выбросила. Витька притворялся слушающим учителя, а сам, скосив глаза, наблюдал. Наташа развернула записку и начала краснеть: щеки, уши и даже шея у нее стали малиновыми. Она нахмурилась и спрятала записку. Потом Витька увидел, что она достала записку и что-то старательно пишет на ней. Обмирая от волнения, Витька ерзал на парте и ждал ответа. Ответа не было. Вместо этого Витька увидел, как Наташа показала записку соседке и та фыркнула. Записку передали на другую парту, там девочки тоже зафыркали, зашептались. Записка пошла от парты к парте, ее перехватил Вощаков, и теперь уже ребята поглядывали на Витьку и смеялись. Он побагровел, оперся висками на кулаки, чтобы скрыть горящие щеки и закипающие на глазах слезы. Сзади зашевелились, захихикали. Витька обернулся и выхватил злополучное послание. Во что оно превратилось! Наташа старательно замазала букву «Н»,

написала полностью «Виктор», а к нарисованному Витькой кровью сердцу пририсовала длинные, обвисшие уши. Пылающее любовью сердце стало похоже на унылую ослиную башку...

Такого оскорбления никто не наносил Витьке за всю его жизнь. Уткнувшись в книгу, он делал вид, будто читает, но строчки сдваивались и таяли, плавали в радужном тумане.

Едва досидев до звонка, Витька схватил заранее уложенный портфель и первым выскочил из класса. Пулей слетел он по лестнице, вырвал пальто из рук сторожихи и полуодетый выбежал на улицу. Он бежал, не слыша зовущих его сзади голосов. Звенел и пел под ногами схваченный морозом снежок, сияло на ясном голубом небе солнце. Небо казалось Витьке черным, солнце дрожало, тряслось от смеха, и визгливым хохотом заливался снег... Гром и Ловкий заскулили от Витькиных пинков, осыпая штукатурку с притолоки, грохнула дверь.

— Явился, вояка! — заворчала Соня.

Витька заперся в своей комнате и после настойчивого стука прокричал через дверь, что обедать не будет, не хочет, и еще что-то неразборчивое.

Милочка подошла к запертой двери и прислушалась: из-за двери доносились странные звуки.

— Витя плачет,— растерянно прошептала Милочка кукле и на цыпочках отошла от двери.

Витька плакал. Так он еще никогда не страдал. Все было оскорблено, унижено и растоптано. И, задыхаясь от обиды и сострадания к себе, Витька заливался слезами.

Бурные грозы — недолгие грозы. Смыв первую, самую острую горечь обиды, слезы иссякли. Витька, лежавший лицом в подушку, перевернулся на спину, заложил руки под голову... Дальнейшая жизнь не имела смысла. Если никто в мире (то есть Наташа) не понимает и не ценит его, зачем Витьке этот мир? И не лучше ли с гордым презрением отказаться от него? Он, Витька, расстанется с ним без сожаления. Все уже потеряно, больше нечего терять и не о чем жалеть. Пожалеют о нем, но будет поздно...

С мрачной решимостью Витька начал перебирать доступные ему способы покинуть этот мир, но тут пришла мама, громко постучала в дверь и сказала, чтобы он перестал валять дурака и немедленно шел обедать. Витька попытался прикинуться спящим и даже захрапел, однако мама не поверила и пригрозила, что расскажет о Витькиных фокусах отцу. Прощание с миром пришлось отложить.

Витька умылся, но глаза остались красными, опухши-

ми. Мама заметила и со свойственной родителям нечуткостью начала допытываться, что случилось. Он сказал, что ничего не случилось, он просто поссорился с... Вощаковым. Поссорился или подрался?.. Ну, пускай подрался...

Уныло размышляя о своей трагической судьбе и неумении родителей «найти общий язык» с детьми, когда те страдают, Витька незаметно съел суп, котлету, а киселя попросил было вторую чашку, но спохватился, горестно махнул рукой и отказался. Что кисель!..

Потом, вместо того чтобы учить уроки,— зачем теперь они? — Витька, опершись подбородком о кулаки, смотрел за окно, где медленно кружились, падали мохнатые снежинки.

Так он, сломленный горем, и заснул и потом не мог вспомнить, каким образом оказался в постели.

Утром Витька наелся хлеба с маслом, выпил чаю и собрался в школу — все это только для того, чтобы не вызвать подозрений у мамы. Как назло, почти у самых ворот он столкнулся с Толей Крутилиным.

— Пошли вместе? — спросил Толя.

Витька собрал всю свою выдержку и пошел рядом. Увидев входящую в класс Наташу, он мучительно покраснел, отвернулся и больше в ее сторону не смотрел.

Вранье маме про Вощакова оказалось пророческим. На большой перемене Вощаков так, чтобы видел Витька, приложил к голове кисти рук и пошевелил ими, будто длинными ушами. Витька бросился в драку. Вызванный к директору, Витька взял всю вину на себя. Больше всего он боялся, что Вощаков расскажет, из-за чего они подрались. Вощаков притворился непонимающим и ничего не рассказал.

Наташа не замечала Витькиных мучений. Она попрежнему отлично училась, бегала на переменах и не думала страдать оттого, что Витька ходит с несчастным видом. Витька старался не смотреть в ее сторону, но очень хорошо замечал, что она все чаще и охотнее разговаривает и смеется чему-то с Витковским, а после уроков идет домой с ним вместе...

Хуже этого быть не могло. Если уж она предпочла этого прилизанного пижона, о чем можно было говорить, чего она заслуживала?! Только одного — презрения.

Не вдаваясь в подробности, Витька объявил Лешке, что в жизни он разочарован, никакой любви нет, это все чепуха, выдумки и что он лично ценит по-настоящему только мужскую дружбу. Раньше он дружил с Сережкой Ломановым,

но тот после шестого ушел в ремесленное, и, если он, Лешка, хочет, они будут дружить всю жизнь.

Лешка обрадованно заверил его, что он, конечно, хочет дружить, потому что самый лучший его друг, Митька, остался в Ростове. Относительно любви Лешка промолчал: он не знал, что о ней думать.

Лешкина любовь не походила на бурные метания Витьки. И вообще это не была «любовь». Любовью занимались взрослые в книжках, которые он читал. Там люди очень много и скучно говорили про любовь, страдали и были несчастными. Потом они женились или выходили замуж и снова страдали и были несчастными. То, что он чувствовал, совсем не было похоже на описанное в книжках, и ему казалось, что такого не было и не могло быть у других, а было только у него.

Сначала он был убежден, что просто ненавидит Аллу, да так оно и было. Но чем чаще он встречался с Аллой, тем с большим трудом вызывал в себе враждебное чувство к ней. Первая стычка на совете давно утратила остроту, забылась обида, вызванная ее высокомерной речью, и он уже без неприязни, а с удовольствием смотрел на нее, слушал, когда она говорила. Она была красивее всех, умнее всех и все делала лучше всех. И голос, звонкий и певучий, и походка, легкая, скользящая, были у нее не такие, как у других, а несравненно лучше. Вещи ее были тоже лучше, чем у других. Они были такие же, но они были лучше потому, что принадлежали ей. Он всегда старался сесть или стать так, чтобы видеть Аллу. Ему и в голову не приходило подбрасывать записки, подобные Витькиной. Он бы сгорел от стыда, если бы Алла догадалась о том, как нравится Лешке смотреть на нее. Сам он никогда не заговаривал с Аллой, а если ей случалось обратиться к нему, он терялся, краснел и уходил.

Алла ни о чем не догадывалась. Она была поглощена занятиями в техникуме, новыми впечатлениями, знакомствами и подругами по первому курсу. Возвращалась Алла уже поздно, в темноте. Лешка старался оказаться во дворе к тому времени, когда она возвращалась, а то выходил и за ворота. Если ему везло, он видел, как по аллейке, обсаженной подстриженными кустами, легкой, скользящей походкой Алла приближалась к дому и скрывалась за воротами. Завидев Аллу, Лешка прятался в тень и провожал ее взглядом.

Случалось, Аллу провожали новые подруги, соученицы. Они громко разговаривали и еще громче смеялись. В пос-

леднее время бывало все чаще, что ее провожали не девушки, а ребята, вернее, всегда один и тот же парень. Они останавливались, не доходя до детдома, на аллейке, и говорили уже совсем негромко. У Лешки становилось сухо во рту, и ему хотелось сделать что-нибудь назло. Нет, не ябедничать Людмиле Сергеевне, а подговорить, например, ребят посадить провожатого на забор и заставить кричать петухом, как это делали парни в Ростове, если девушек с их улицы провожали чужие... Лешка молчал. В конце концов, если бы Алла послала Лешку за ним, за тем парнем, он и тогда затаил бы обиду, но пошел...

22

Людмила Сергеевна с тревогой думала об Алле, хотя и не подозревала о ее вечернем провожатом. Оставаясь в детском доме, Алла все меньше проявляла интереса к его жизни, у нее прорывалось пренебрежительное ко всему отношение. Конечно, она старше других ребят, конечно, у нее новая среда в техникуме, новые интересы, но слишком легко и поспешно Алла отрекалась от того, что совсем недавно было ее жизнью. Было ли? Или увлеченно занималась она всем этим только потому, что стояла на виду, главенствовала? И прежде прорывались у нее нотки превосходства, пренебрежительного старшинства. Прежде были нотки, теперь это становилось линией поведения. Раньше не происходило в детдоме ничего, в чем бы Алла не участвовала, о чем бы не знала. Теперь она не участвовала ни в чем, ничем не интересовалась, а если ее привлекали, со скучающим видом ожидала, когда все кончится. Детсовет, бессменной председательницей которого она была полтора года, захирел, а де́ла достаточно... Один Белоус чего стоит!

Как и у многих, отец Валерия погиб на войне. Солдатской пенсии, которую получала мать на Валерия, и ее зарплаты уборщицы не хватало, но кое-как от лета до лета, когда появлялись овощи, перебивались. Окаменившая землю засуха сорок шестого лишила единственного подспорья — огородной зелени. Пошли на толкучку остатки и без того небогатого имущества, но это поддержало ненадолго. Как всегда в трудное время, с необыкновенной быстротой расплодилось крикливое, увертливое племя спекулянтов, цены на базаре взвились так, что к продуктам не подступиться. А Валерик рос, ему нужны были и сахар и масло... Спасал пайковый хлеб. Недоедая, мать выкраивала буханку и несла на базар, чтобы продать из-под полы

и купить что-нибудь на приварок. Торговля хлебом в ту пору строго преследовалась. Мать Валерия задержали вместе с группой крупных спекулянтов и осудили на пять лет.

Валерий остался один в пустой комнате. Все, что можно, было уже продано, а есть нужно было каждый день. Соседки жалели мальчишку, изредка прикармливали — давали то тарелку супа, то несколько картофелин. Однако у каждой была своя семья, свои заботы, и Валерий забыл, что значит есть досыта. В садах зрели яблоки, груши. После ночных набегов с ребятами на чужой сад Валерий ходил со вздувшимся животом, но оставался голодным: яблоки не хлеб — от них сыт не будешь. Да и удавались такие набеги не часто — хозяева сторожили сами или держали в садах злых, горластых кобелей. Валерий начал промышлять на базаре. По неопытности, еды ему удавалось добыть мало, зато часто попадало от разъяренных торговок. Здесь он сблизился с такими же безнадзорными ребятами и получил кличку «Валет». Новые приятели смеялись над неловкостью и наивностью, с которой Валерий выпрашивал или воровал съестное: они признавали только добывание «шайбочек», то есть кражу денег. Настоящим вором Валерий стать не успел: милиция приметила замурзанного начинающего блатного, его забрали в детприемник, оттуда отправили в детский дом. Здесь он сразу же стал правой рукой, есаулом, подручным, кем угодно, у Ромки Кунина.

...Ах, какое время было! Что этот Ромка вытворял! Самый старший, самый сильный, никого не боялся и не слушался. Да и кого слушать, кого бояться? Одни малыши, ни пионерской организации, ни воспитателей... А ему уже пятнадцать, здоровенный парень. Курил не таясь, малышей гонял за папиросами, даже водкой от него иногда пахло... Случалось, уходил и дня два не показывался вовсе.

А в тот раз, когда принес кучу пряников, конфет и раздавал малышам, как барин дворне... Украл, конечно, — где же иначе взять! Те, глупенькие, радовались, ели... А она — тоже хороша! — совсем потеряла голову: вырывала у них, бросала на землю, топтала и кричала что-то про воровскую «малину», про жуликов... Вот тоже умна была!.. Ушла к себе, металась по комнате, чуть криком не кричала: как же быть? что делать?! А тут со двора свист, камни в окно... Прямо бунт самый настоящий... Это он подбил ребятню, Ромка. Еще немного — и всё бы разгромили. Не помня себя выбежала во двор, к ним, закричала:

— В меня целили? Ну вот я, бросайте! У кого камни есть? У тебя, у тебя?..

Только этим и остановила. Не бросили. А могли и бросить. Ох, как она боялась, что бросят!.. Обошлось. Ромка в дом ворованного больше не приносил, но и ее только что терпел.

— Вы не старайтесь больно-то,— говорил он,— все одно я тут жить не буду...

Сколько раз пыталась объяснить ему, что он катится по наклонной плоскости и в конце концов пропадет. Он, пренебрежительно усмехаясь, выслушивал, и все оставалось как было. После поножовщины на Стрелке, когда Людмилу Сергеевну вызывали в милицию для опознания ее воспитанника Кунина, она в несчетный раз попыталась пробудить разум Ромки, нарисовала его будущее, если он не исправится: суд, тюрьма, какой-нибудь исправительно-трудовой лагерь... Ромка угрюмо слушал, потом сказал:

— Ничего вы со мной не сделаете! Отправьте лучше в колонию... А тут дела не будет.

То же самое еще раньше ей советовали и в гороно и в милиции, но Людмила Сергеевна не соглашалась. Ей было жаль этого полуюношу с тонким лицом, непреклонным характером и, как ей хотелось думать, хорошими задатками. Должно быть, Ромка и сам понимал, на какую дорогу он становится, но не мог оторваться от темной компании за стенами дома. А у нее не было ни сил, ни умения оградить его от дурных знакомств, от самого себя. И она сдалась. Единственное, на чем настояла,— чтобы ехал сам, а не с сопровождающим, как отправляют преступников. В милиции над нею посмеялись, предсказывая, что поехать-то он поедет, только совсем в другую сторону. Но Людмила Сергеевна уловила, как поражен был Ромка ее предложением, как оно польстило его самолюбию, и ей так хотелось верить его обещанию...

Она купила ему билет, дала — из своих — денег на дорогу и проводила на вокзал. До отхода поезда стояли под дождем на открытой платформе. Оба молчали. Ромка время от времени зябко поводил шеей от затекающих за воротник холодных струек и говорил, глядя в землю:

— Вы идите, чего вам мокнуть?

— Ничего, я подожду,— отвечала Людмила Сергеевна.

Глухо, будто под мокрым мешком, брякнул второй звонок. Людмила Сергеевна протянула Ромке, как взрослому, руку и сказала:

— До свидания. Я верю, что ты станешь хорошим человеком.

Он искоса посмотрел на нее и полез в вагон. Поезд ушел. Людмила Сергеевна стояла на платформе и смотрела ему вслед, пока перронный контролер не предложил ей уйти.

Из колонии пришло официальное извещение, что Кунин прибыл. Потом год — ни весточки, ни звука. И вдруг пришло письмо. Ромка продолжал жить в колонии, начал опять учиться и играл в духовом оркестре на баритоне, что нравилось ему больше всего. Он вспоминал свои подвиги в детдоме и, хотя теперь уже было поздно, просил прощения... С тех пор он писал каждые два-три месяца, сообщая не только названия попурри, разученных духовым оркестром, но и отметки. Ромкины письма хранились в коробочке, где самое ценное: метрики девочек, мужнина орденская книжка и облигации займов...

Ромка — характер! Такие или ломаются и гибнут совсем, или выпрямляются и становятся настоящими людьми. Валерий, как вьюн, ускользал между пальцами. Он никогда не решался на открытое сопротивление, но, делая вид, что подчиняется, не подчинялся, обещая что-либо сделать, не делал ничего.

После отъезда Кунина Валерий, потеряв вожака и заводилу, на некоторое время притих. Потом попытался сам стать вожаком. В это время уже был создан детсовет, появились ребята постарше, и с него быстро сбили спесь. Однако почти все дурное, проникавшее в детдом с улицы, шло через него... Он первый завязал знакомство с блатными голубятниками, привел их в детдом. Он потихоньку курил, подбирая на улице «бычки» — окурки. Он отлынивал от работы при малейшей возможности и с радостью поддерживал всякую «бузу», как называл проявления недовольства.

Призванный к ответу на детсовет или к Людмиле Сергеевне, Валерий протестовал, врал и всячески отпирался, а будучи уличен, соглашался со всем, с необыкновенной легкостью и щедростью давал обещания, которых потом не выполнял. Он взял на себя роль добровольного шута и старался смешить других, издевался над теми, кто был слабее его, но не затрагивал сильных. Учился он через пень-колоду, дневник его не знал ни одной пятерки, зато тройки были в изобилии, случались и двойки. Все методы, все средства были испытаны, и ни одно не дало нужных результатов. Валерий юлил, каялся, врал и не менялся. Не бить же его, в самом деле! Выведенные из терпения ребята не раз грозили «дать ему жизни», и Людмила Сергеевна

всерьез опасалась, что они вот-вот потихоньку отдубасят Валерия.

Людмила Сергеевна решила еще раз поставить вопрос о нем на сборе. Сбор все равно был необходим, чтобы заменить Аллу в совете отряда.

Яша огласил повестку дня: избрание председателя совета и о Валерии Белоусе. Все немедленно оглянулись и посмотрели на Валерия. Тот выразил на лице полное равнодушие и бесстрашие, однако притих и перестал «выжимать сало» — двигаться по скамейке и теснить соседей.

Людмила Сергеевна объяснила, что теперь, когда Алла занимается в техникуме, нагрузка у нее большая, она не может уделять совету достаточно внимания, и работа от этого страдает, поэтому она предлагает Аллу освободить и избрать другого председателя.

Алла сидела в президиуме и с деланным безразличием смотрела в окно. Ей было жалко, что она уже не будет главной среди ребят, ее слово — самым авторитетным, и вместе с тем радовалась: пора развязаться с детскими нагрузками; в конце концов, она уже взрослая, незачем ей путаться среди малышей, у нее дела поважнее.

— Митю Ершова! — закричало несколько голосов.

— Яшу Брука!

— Киру! — крикнула Сима.

— Хватит девчонок!

— Нет, не хватит! У девочек дисциплина лучше!

— Зато авторитета нет!

— Хватит для вас авторитета!

— Митю!

Яша поднял руку и, когда ребята стихли, объявил, что записаны три кандидатуры: Митя Ершов, Кира Рожкова и он, Яша Брук.

— Только меня не надо, ребята,— сказал Яша.— Я делаю самоотвод, потому что не гожусь.

— Почему это самоотвод? Мы сами знаем, кто годится, кто — нет.

Тарас Горовец поднял руку.

— Про Яшу ничего не скажешь — он и авторитетный и, мабуть, культурнее всех. Вот только он слишком добрый, ему всех жалко... А лодырей жалеть нечего! Председатель должен быть — во! — Тарас сжал кулак и потряс им перед воображаемым лодырем.

— Что ж ему, драться, что ли? — иронически спросила Сима.

— Не драться, а требовать дисциплину. Поэтому я предлагаю Митю.

Сима вскочила с места и стала доказывать, что Кира ничуть не хуже: она хорошо учится и сумеет наладить дисциплину. Выбрать надо обязательно ее, чтобы мальчишки не зазнавались. Кира сидела рядом и, опустив голову, дергала Симу за платье, чтобы та села: она стеснялась, когда ее расхваливали при всех, и знала, что мальчики будут против — она их всегда задирала. Большинство проголосовало за Митю Ершова. Он нарочно опустил глаза, чтобы не смотреть на голосующих, изо всех сил старался сохранить равнодушное выражение, и от этих усилий его даже поводило в сторону, но, когда Яша объявил результат, он не выдержал, улыбнулся и покраснел, выдав свою радость.

Алла поднялась и направилась к двери.

— Ты куда? — спросил Яша.

— Мне теперь нечего здесь делать,— напряженно усмехнулась Алла через плечо.

— Как это — нечего?

— А вот так!

Дверь захлопнулась.

— Чего это она?

— Обиделась?

— Понимает о себе много...

— Ну и ладно. Обойдемся!

— Следующий вопрос — о Белоусе,— объявил Яша и посмотрел на Людмилу Сергеевну.

— Вот сейчас ты получишь! — пообещала шепотом Сима, обернувшись к Валерию.

Тот, втянув голову в плечи, смотрел на директора. Людмила Сергеевна встала, с минуту покусывая губы, молчала. Нехорошо с Аллой получилось. Надо было предварительно поговорить... И с Белоусом нельзя с бухты-барахты. Надо сначала обсудить...

Чем больше она молчала, тем тише становилось в комнате и тем больше съеживался на своем месте Валерий.

— Вот что, ребята,— сказала наконец Людмила Сергеевна,— вопрос в повестке дня сформулирован неправильно... По моей вине,— сейчас же оговорилась она.— И вообще, я думаю, лучше сначала обсудить его на совете, а потом, если нужно, вынести на сбор.

— Так закрывать собрание?

— Закрывай. А совет пусть останется.

Ребята разошлись, остались только члены совета и нахохлившийся Белоус.

— Ты тоже можешь идти,— сказала Людмила Сергеевна.

— Так про меня же будете...

— Ничего, когда надо будет — позовем...

Такого еще не было. Ругали его всегда при всех. Валерий, втянув шею и раскрыв рот, во все глаза смотрел на Людмилу Сергеевну. Тарас подошел и легонько стукнул его под нижнюю челюсть:

— Закрой! И давай не задерживай.

Валерий вышел.

— Совсем не о том пойдет речь, о чем думаете вы,— сказала Людмила Сергеевна.— Через неделю будет день рождения Валерия. Я предлагаю его отпраздновать...

Члены совета дружно рассмеялись. Они поняли: Людмила Сергеевна предложила это нарочно, и с удовольствием смеялись веселой шутке.

— Я предложила совершенно серьезно.

Смех затих.

— Вы помните, какой это хороший праздник в семье — день рождения! Надо ввести и нам. Семья у нас большая, именинников будет много... А начать я предлагаю с Белоуса.

Ребята переглянулись.

— Тю! Да он же хулиган!..

— Босяк!

— Лодырь!

Кира вскочила и, захлебываясь от возмущения, перечислила преступления Валерия: он плохо учится, ничего не хочет делать, по-уличному ругается, пишет на стенах всякие гадости... Обижает маленьких, делает пакости девочкам и всем, кто послабее. Он не честный, а врун и вообще — гад!.. И такому устраивать именины?! Если уж начинать, так с кого-нибудь сто́ящего... А если таким делать именины, тогда она просто не знает что...

— Правильно!

— Пусть заслужит!

— Все это я знаю, ребята,— сказала Людмила Сергеевна.— И не согласна с вами. Вы думаете, что Белоус плохой, а я думаю, что он только притворяется таким. Из озорства, из молодечества... И, может быть, назло. Вы, мол, считаете меня плохим, ну, я и буду плохим... Так ведь тоже бывает! А как к нему относятся?..

— А что, плохо? Только и знаем нянчимся...

— Да, но как? Ругаем да прорабатываем, будто он бог весть какой преступник... А он просто мальчик. Пока еще не слишком большой и не слишком умный...

— То верно! — сказал Тарас.

— И ему так же, как и вам, будет приятно, если отпразднуют его день рождения. .

— Ну вы ж и хитрые! — лукаво прищурился Тарас.

— Не очень,— улыбнулась Людмила Сергеевна.

И все тоже заулыбались.

— Выходит, подарки ему надо дарить? — спросил Митя.

— Конечно.

— А пирог? — подхватила Кира.— Ой, какой пирог мама делала! С вареньем...

— Правильно: и пирог. Чтобы был настоящий праздник. Вот давайте все и обдумаем... Только ему ничего не говорите, держите пока в секрете...

В секрете не удержали. Дня два растерянная ухмылка не сходила с лица Валерия. Он не знал, как следует отнестись к предстоящему празднику, и подходил то к одному, то к другому:

— Слыхал? Мине именины делают... Вот чюдаки!

23

«Чудаки» старались изо всех сил. Ефимовна с трудом отбивалась от советчиц и добровольных помощниц. Нового председателя совета и Людмилу Сергеевну осаждали предложениями купить, сделать, подарить. Осуществись все эти предложения — Валерию понадобилась бы кладовка, чтобы хранить подарки, а продовольствия хватило бы на целую зимовку. Тарас Горовец, именины которого никогда не праздновали и в семье, считал это ненужной выдумкой и недовольно ворчал:

— Да что он, с голодного краю, чи шо? Надумали! Да вин трисне, а не поест!

Людмила Сергеевна вынуждена была охлаждать не в меру разыгравшееся усердие, и детсовет постановил: по одному подарку от мальчиков и от девочек. Дело не в количестве.

Проснувшись в воскресенье, Валерий не спешил вставать — он не спешил никогда,— потянулся и вдруг заметил, что брюк и рубашки на спинке кровати нет. Он вскочил, заглянул под кровать — там тоже не было.

— Ребята, кто мою робу взял?

К нему повернулись удивленные лица:
— А кому она нужна?
— Да бросьте разыгрывать! Кто спрятал?
Валерия и его койку окружили:
— Никто не прятал. Ты поищи получше. Сам небось засунул...
— Нужно мне совать...
Но Валерий все-таки проверил всю постель, еще раз заглянул под кровать. Одежды не было.
— Ну чё, в самом деле... — начал злиться Валерий.
— А это что? — показал Митя на сверток в газете, лежащий на тумбочке.
Валерий развернул газету — там лежали новые брюки и рубашка.
— Это не мои...
Тарас деловито пощупал материал:
— Ничего! Даже жалко...
— Чё жалко?
— Все одно скоро порвешь.
— Так это мине?
— А кому же? У тебя на тумбочке — значит, тебе.
Валерий недоверчиво посмотрел на ребят, на обновку и осторожно, словно боясь обжечься, начал одеваться. Обновка громко шуршала и пахла мануфактурным магазином.
— Ну прямо хочь картину с него пиши! — засмеялся Тарас.
Новый костюм стеснял Валерия. Он привык к своей всегда измятой и уже не раз штопанной «робе», а теперь, хотя костюм был как раз впору, нигде не жало и не резало, ему казалось, что всюду жмет и режет. Валерий попробовал ухмыльнуться всегдашней пренебрежительной ухмылкой — улыбка получилась растерянной. Ребята подходили, рассматривали; будто щупая материал, щипали Валерия. Он притворялся равнодушным, но не мог удержать улыбку. Так она и осталась на его лице до самого вечера — озадаченная, растерянная улыбочка.
Перед ужином, когда все собрались в столовой, Митя, уловив кивок Людмилы Сергеевны, поднялся и постучал вилкой по графину:
— Ребята... то есть товарищи! Сегодня у нас торжественный день... Мы празднуем день рождения нашего товарища Валерия Белоуса...
— Встань! Встань! — зашипели на Валерия со всех сторон.

Валерий поднялся. Он привык к тому, что его стыдили, ругали. И не ощущал при этом ни раскаяния, ни неловкости. Ему даже нравилось, что он был предметом общего внимания, держался свободно и независимо. Сейчас его не собирались ругать или стыдить, и он вдруг почувствовал неловкость и смущение. Особенно плохо было с руками. Их некуда было девать и нечем занять. Он попробовал сунуть их за пояс — это было неудобно. Пошарил сзади, отыскивая спинку стула,— она была слишком далеко. Тогда он левую руку глубоко засунул в карман, а правой, согнув ее в локте, оперся о бедро и так, избочившись фертом, застыл в неуклюжей, смешной позе.

— Сегодня ему исполняется четырнадцать лет. От имени всех ребят поздравляю тебя с днем рождения и выражаю уверенность... выражаю уверенность,— запнулся Митя,— что ты с честью оправдаешь надежды...

Аплодисменты выручили оратора, не привыкшего к длинным, торжественным периодам.

— Девочки тебе дарят... Кира!.. дарят свое вышивание...

Кира подошла и протянула Валерию два вышитых крестиком платочка. Все захлопали. Валерий неловко, будто деревянной рукой, взял платочки и сунул в карман.

— А мы, ребята,— вот...

Митя развернул оберточную бумагу и преподнес имениннику толстую общую тетрадь с картинкой на обложке. Подходящей к случаю картинки не нашлось — на обложке был изображен дед-мороз с елкой за плечами, красной краской было напечатано: «С Новым годом!» Валерий взял тетрадь и сел, но тотчас же встал: к нему подошли Людмила Сергеевна и Ксения Петровна. Они тоже поздравляли Валерия и чего-то желали ему. Расслышать, что ему желали, помешали аплодисменты.

Лешке понравилось все, кроме речи Мити. Парень он хороший, только говорить совсем не умеет. Вот Алла — та бы сказала так сказала!.. И все было бы интереснее и лучше. Аллы не было. Сославшись на какие-то мероприятия в техникуме, она ушла не целый вечер.

Подали ужин — котлеты с гречневой кашей, разнесли чай. Кира, Сима и Жанна убежали на кухню и торжественно вышли оттуда, неся на прикрытых полотенцами блюдах пирамиды нарезанного пирога. Их встретили овацией. Девочки остановились за спиной у Валерия; тот озадаченно оглянулся.

— Что ж ты? — сказала Людмила Сергеевна.— Сегод-

ня ты именинник, хозяин, все у тебя в гостях — вот и угощай...

Взмокший от волнения Валерий взял у Киры блюдо и пошел вдоль столов, раскладывая куски пирога на тарелки. Он роздал все, сел на место и горделиво оглянулся.

— Ну, как пирог? — войдя в роль хозяина, спросил он.

— Мировой! — набитым ртом ответил Тарас.

Валерий только взял было свой кусок, как на всю столовую зазвенел дрожащий от обиды голос:

— А мне?

Маленькой Люсе не хватило. Она подождала, надеясь, что сейчас ей принесут тоже, но ей всё не несли, а соседи уже начали есть. Пирог был такой пышный, с такой красивой корочкой, в нем столько было повидла... Слезы появились у Люси на глазах.

— А мне?

Так хорошо начавшийся праздник мог закончиться скандалом. Старшие девочки переглянулись, вскочили.

— Возьми у меня половину, Люся! — подбежала к ней Кира.

— Не хочу половину!

— Ну, возьми весь!

— Не хочу! Он твой... А где мой? — Люся, уткнувшись в ладошки, безутешно заплакала.

Валерий сердито оглянулся на вздрагивающий бант в Люсиных волосах — «так бы и дал ей по затылку»,— посмотрел на свой кусок, схватил его и поставил перед Люсей:

— На́! Вот твой пирог! Не реви, рева-корова!

Плач оборвался. Люся из-под растопыренных мокрых пальцев посмотрела — пирог стоял перед ней. Прерывисто вздохнув, она потянулась к нему и сразу успокоилась.

— Чего там? — появилась в окошке голова Ефимовны.— Не хватило, что ли? Нате вот...

На стойке появилась тарелка с пирогом.

Валерий умял свою порцию. Пирог был вкусный — ему хотелось еще. Тарелка стояла перед ним, там было много кусков, и прежде он не задумываясь потянулся бы за вторым. Но теперь он, удивляясь самому себе, не протянул руку, а запрятал обе в карманы и с деланным равнодушием отвернулся. Пусть не думают, что он жадный, он вообще не нуждается...

Именинный столбняк не проходил несколько дней. Валерий с равнодушием, слишком заметным, чтобы оно могло быть настоящим, носил обновку; придя в класс,

первым делом выкладывал на парту дареную тетрадь с дедом-морозом. Носовых платков он не признавал, но теперь, обойдясь при помощи пальцев, доставал из кармана вышитый платок и проводил им под носом. Мало-помалу костюм стал привычным, тетрадь потерлась и платки потеряли праздничный вид. Валерий опять стал прежним: так же шумел на уроках, делал каверзы и не упускал случая поднять кого-нибудь на смех.

Однако именины не прошли бесследно. Внезапно устроенный в его честь праздник внушил Валерию мысль, что он не такой уж пропащий, как до сих пор ему говорили, а может, он ничуть не хуже всяких активистов, вроде Ершова или Рожковой. Может, даже и лучше. Только он не лезет вперед, как они, но в случае чего докажет...

Случай «доказать» вскоре представился. Митя Ершов сказал ему, что на следующий день он, Валерий,— старший дежурный. Старшим его еще никогда не назначали. Валерий обрадовался, но виду не подал.

— Ну так что?

— Сам не знаешь? Следи, чтобы был порядок.

На следующий день Валерий вместе с санкомиссией обошел все помещения. Комиссия проверяла, как убраны постели, нет ли где мусора, пыли. Валерий, привалившись к притолоке и ухмыляясь, наблюдал. Всерьез эту проверку он не принимал.

После обеда он вместе с Симой должен был взять из кладовой пряники к чаю. Идя к кладовой, Валерий услышал, как Кира сказала:

— Ну, Валет до кладовой дорвался — всю переполовинит.

Валерий хотел было дать ей подзатыльник, но вовремя заметил идущую по двору Ксению Петровну. В кладовой он нарочно стал возле самой двери, чтобы его видели со двора, и наблюдал, как Сима отсчитывает пряники. Потом его пронзила мысль: если Сима ошибется и хотя бы одного пряника не хватит, все подумают, что съел он!..

— Пусти, я сам,— сказал он, отстраняя Симу.

Он начал считать и, так как очень боялся ошибиться, несколько раз ошибался, злился и начинал считать заново. В другое время он не упустил бы случая набить себе карманы, теперь же думал только о том, как бы не сбиться со счета. Счет оказался правильным. Никто не обратил на это внимания, но Валерий чувствовал себя героем и горделиво поглядывал на Киру. Дежурный — вроде начальства, хотя

и временного. Валерию нравилось всюду ходить и наблюдать, чувствуя, что он старший.

В комнате для занятий малыши решали примеры и на все лады писали, как мама дает Маше кашу и Маша кашу ест. Слава уже покончил с Машей, которая без конца ела кашу, и, высунув от усердия язык, рисовал на обертке букваря звезду. Звезда получилась кривобокая. Слава старательно подправлял, но она все больше кособочилась. Старших ребят в комнате не было, и Валерий не удержался.

— Уроки делай! — начальственно сказал он Славе.

— Я уже.

— Что — уже? А ну, покажи!

Слава готовно открыл тетрадь, но сидящая рядом Люся сказала:

— А чего это ты будешь смотреть? Ты не учитель!

— Я дежурный, а это все равно что учитель!

— Тоже — учитель! А у самого двойки да тройки...

Малыши засмеялись: все знали, что его то и дело пробирают за плохие отметки.

— Ты поговори! — вспыхнул Валерий.— Вот я тебе... Вот ты у меня...

Он хотел ее застращать, даже вздуть... Но вместо этого сорвал повязку дежурного и побежал к Людмиле Сергеевне.

— Нате! — бросил он повязку.— Не буду я дежурить!

— Почему?

— Не хочу!

— Но почему?

— Раз не слушают, так и не хочу!..

— Кто тебя не слушается?

Признаться, что на смех его подняли самые маленькие, было стыдно. Валерий уже пожалел, что прибежал: сейчас директор начнет про все допытываться и, конечно, допытается... Людмила Сергеевна допытываться не стала.

— Не капризничай. Надень повязку и кончай дежурство. Сейчас не слушают, потом привыкнут... Ты думаешь, авторитет приобрести просто? Его заслужить надо!..

Несколько дней Валерий ходил мрачный. Потом пришел к Людмиле Сергеевне и сказал, что потерял дневник и пусть ему выдадут новый.

— Как же ты потерял? Где?

— Не знаю.

— Ты поищи как следует — может, он найдется.

— И искать не буду! На кой он мне...

— То есть как — не будешь?

— Пускай новый дают, а старый искать не буду!
— Но там же отметки.
— Ну и пусть! Нужны они мне...
— Как — не нужны? Нет, здесь что-то не так!
— А что не так? Не хочу я старый, и все... Пусть тогда совсем без дневника.
— Что за выдумки? А ну, посмотри на меня. В чем дело, Валерий?
Валерий шмыгнул носом, но головы не поднял.
— Не хочу я... Какой у меня может быть авторитет, когда там такие отметки?..
Он еще ниже опустил голову. Людмила Сергеевна порадовалась, что он не видит ее улыбки. Бедный малый! Там сплошь плохие отметки, и вот Валерий — Валет! — уже не мог с этим мириться: жизнь начиналась заново...
— Хорошо,— серьезно сказала Людмила Сергеевна.— Я попрошу, чтобы тебе выдали новый дневник.— Теперь она не сомневалась, что старый вовсе и не потерян, а попросту уничтожен.— Но больше не теряй, а главное — опять не испорти его плохими отметками...
Валерий стрельнул в Людмилу Сергеевну повеселевшими глазами и убежал.
Он не давал никаких обещаний, честных слов, да с него их никто и не требовал, но жизнь действительно начиналась заново. Он привык к тому, что его ставят ни во что, и даже гордился этим: он не был похож на других. И он заботился о том, чтобы эта непохожесть не забывалась: дурачился, уроков не учил, непрестанно задирался. Его ругали, стыдили, и он принимал это с удовольствием, потому что какая ни на есть, а это была слава.
И вдруг оказалось, что внимание к себе можно привлечь не только этим. Оказалось, он ничуть не хуже других — «всяких задавак»: можно дежурить, командовать, и его слушаются так же, как и других. А старшинствовать и командовать ему чрезвычайно нравилось. Жизнь начиналась заново, и в ней все должно быть новым. Если бы было возможно, Валерий сменил бы даже кожу. После очередного медосмотра Людмиле Сергеевне рассказали, что Белоус чуть ли не со слезами требовал, чтобы его лечили — свели татуировку. В давние, безнадзорные, времена ему вытатуировали на левой кисти имя, и так как татуировщики были в грамоте не очень сильны, имя было без «и» краткого, и получилось как бы на французский лад: «Валери». На груди тоже была татуировка: морской якорь обвивала длинная, похожая на спиральную пружину змея. Одни

завидовали ему и с восхищением смотрели на татуировку, другие смеялись над малограмотной вывеской на руке, над якорем и змеей и называли Валерия моряком с потонувшего корабля. Теперь Валерий был бы рад избавиться от татуировки, но снять ее можно было только с кожей.

Жить по-новому Валерий начал с таким рвением, что его приходилось сдерживать то Мите, то самой Людмиле Сергеевне. К месту и не к месту он делал другим замечания, выговоры, требовал дисциплины, грозился поставить вопрос на детсовете и так всем надоел, что на совете поставили вопрос о нем самом. Опять, как прежде, он стоял перед всеми у стола, красный от стыда, и все по очереди «вправляли ему мозги», чтобы не заносился, не задавался и не корчил из себя начальника.

Валерий перестал приставать с замечаниями, но ударился в другую крайность: он решил стать оратором. То ли зависть к товарищам, которые так складно ругали его на совете, то ли пробудившееся тщеславие выталкивали его вперед на каждом собрании, заседании, и он произносил речи. Это были ужасные речи. Если очистить их от бесчисленных «вот», «значит», «такое дело» и бесконечных повторений, любую его речь можно было уложить в две-три фразы, но он говорил и говорил, пока его не лишали слова и силком не усаживали на место. Ребята смеялись над ним, он и сам посмеивался, но упрямо повторял:

— Ладно, смейтесь! Буду говорить, пока не посинею, а все одно научусь...

Собрания в детдоме были не часты, там ораторский зуд Валерия сдерживали, и он отводил душу в школе. По любому поводу он поднимал руку и «отрывал» речи. Они были бестолковы и бесконечны. Ребята хохотали, и, если бы не вожатый, Валерию не удавалось бы их заканчивать. Старший вожатый Гаевский строго одергивал ребят и даже ставил Валерия в пример: вот раньше он хулиганил, а теперь становится настоящим активистом. Ребята, ухмыляясь, переглядывались, а Валерий ликовал: наконец его оценили, и не кто-нибудь, а сам пионервожатый!

24

Елку устраивали впервые. Раньше было не до того, да и не было денег. Теперь Людмила Сергеевна сказала детсовету, что удалось выкроить немного денег. На елку, подарки хватит, но придется и поработать: самим сделать украшения и все, что понадобится. Новогодняя комиссия

заседала запершись. Малыши напрасно подслушивали у дверей и допытывались. Ксения Петровна и члены комиссии, загадочно улыбаясь, отвечали, что еще ничего не решили. Валерию поручили хозяйственную часть. Он ходил с завхозом по магазинам, покупал разноцветную бумагу, картон, краски и даже бегал несколько раз на базар — посмотреть, не появились ли в продаже елки, и прицениться.

Все едва не провалилось из-за того, что Людмила Сергеевна запретила покупать и зажигать на елке свечи — она слышала о несчастьях, которые бывали со свечами. А какая же могла быть елка без огней? Тогда в комиссию привлекли Вадима Васильевича. После праздника «Первой стружки» он все чаще бывал в мастерской, и как-то само собой получилось, что он стал ее руководителем. Ребята учились работать на «козе», чинили, делали сами замки и ключи, и вскоре все двери в детдоме, даже те, которые не нужно было запирать, оказались с новыми замками и ключами. Ребята поменьше строили модели танкера и самолета. Томочка Павлова и Сима выпиливали из фанеры рамки. Вадим Васильевич прохаживался среди ребят, зажмурив левый глаз, осматривал их работу, похваливал и показывал, как надо переделать. Случалось, никто ничего не делал, все сидели вокруг Вадима Васильевича и слушали, как он рассказывал о разных местах и городах, в которых побывал.

— Вы прямо внештатным воспитателем у нас заделались,— улыбаясь, говорила ему Людмила Сергеевна.— Бросайте-ка завод да переходите к нам!

— А это — идея! Подумаю, подумаю! — серьезно отвечал Вадим Васильевич, но так при этом щурился, что было очевидно — завода он не бросит.

С приходом Вадима Васильевича комиссия повеселела и стала еще таинственнее. Валерий, по его выражению, «как соленый заяц», мотался по городу в поисках материалов. Митя каждый вечер сидел, опутанный звонковым проводом и прилаживал к нему крохотные патрончики, галчата под руководством Лины Борисовны рисовали и клеили флажки, барабанчики, красили алюминиевой краской орехи. Ксения Петровна и Кира готовили самодеятельность, и до самого отбоя из столовой доносились музыка, топот и веселые голоса. Для Анастасии Федоровны тоже нашлась работа: вместе с лучшими рукодельницами она шила и подгоняла под рост костюмы. Один костюм, для которого купили синий сатин и большой пакет ваты, она

сшила дома, принеся, никому не показала, и его заперли в кабинете Людмилы Сергеевны.

Наступило тридцать первое декабря. После обеда Лина Борисовна увела малышей гулять. Против обыкновения, ребята шли неохотно и не только не просились погулять «еще чуточку», но рвались домой: они боялись прозевать, когда будут устанавливать и украшать в столовой елку. Привезенная Валерием и Тарасом, она уже целые сутки стояла возле мастерской. Малыши то и дело бегали пощупать ее зеленые иголки и понюхать: елка вкусно пахла смолой и снегом... Малыши все-таки прозевали. Когда они вернулись, елка уже стояла в столовой, дверь была заперта, окна занавешены. Оттуда доносились голоса старших ребят, Ксении Петровны, но как ни плющили галчата свои носы о стекла, рассмотреть ничего не удалось.

Лешка попросил у Людмилы Сергеевны разрешения привести на елку Гущина и побежал за ним.

Витька решил в школу не ходить. Зачем? Смотреть, как Витковский будет хвастать новым костюмом и вертеться возле этой задаваки Наташки?.. Вообще какие могут существовать для человека удовольствия, если он — окончательно и бесповоротно разочарованный! Решение не ходить в школу, как и разочарование, было окончательным и бесповоротным, но и сидеть дома было скучно. Не очень-то большая радость слушать, как пищат и бегают в столовой вокруг елки Милка и ломановский Мишка! Хорошо бы пойти к Сереже, да тот ушел к себе в ремесленное. Поэтому приходу Лешки Витька обрадовался, но напустил на себя еще больше разочарованности. Что он, маленький,— ходить на елку? Однако уговорить Витьку не стоило большого труда. В конце концов, почему он должен страдать? Сам он, разумеется, не получит удовольствия, но почему не доставить его приятелю, если он так просит? И Витька пошел, сохраняя выражение разочарованности, то есть насупливая брови и накопыливая пухлые губы, отчего лицо его становилось совсем детским, обиженно надутым. Поначалу он чувствовал себя неловко среди детдомовцев, но, увидев знакомых — Яшу, Киру, Митю,— повеселел, губы и брови его вернулись в нормальное положение. Время от времени он опять насупливался, вспомнив о своей неутешной печали, потом и вовсе забыл о ней.

Кира вбежала в комнату для занятий, где все толпились в ожидании, и крикнула, что уже можно идти.

В столовой горела только одна маленькая лампочка над входной дверью. Увешанная игрушками и флажками, елка

была в полумраке скучной и мрачной. Возле стены, выгородив столами угол, стоял Митя. Из этого угла к потолку тянулись провода, на одном столе стоял какой-то черный аппарат и поблескивал стеклышком в короткой трубке. Притихшие, разочарованные унылым видом елки, галчата разместились вокруг нее, сзади них стали старшие.

— Можно начинать? — спросила Ксения Петровна и посмотрела на часы-браслет.

— Начинайте, начинайте,— сказала Людмила Сергеевна.

Дверь закрыли, и почти сейчас же в нее три раза стукнули.

— Кто это может быть? — очень громко удивилась Ксения Петровна.

— Не знаю. Войдите, пожалуйста! — так же громко сказала Людмила Сергеевна, поворачиваясь к двери.

Все тоже повернулись. Из трубки, в которой поблескивало стеклышко, уперся в дверь сноп голубоватого света. Дверь распахнулась, хлынули клубы стылого пара, и среди них вдруг оказался белобородый, краснощекий Дед-Мороз...

— Ой! — восторженно простонали галчата.

Дед-Мороз шагнул в комнату, дверь захлопнулась. Он был совсем-совсем настоящий: с суковатым посохом в руках, в белой шапке, с белыми нависшими бровями и такими пышными усами и бородой, что видны были только красный нос да румяные щеки. На отороченной белым синей шубе поблескивали серебряные звезды.

— Здравствуйте, ребята! — сказал Дед-Мороз хрипловатым, натужным голосом.— Меня в компанию примете?

— Здрасте! Примем! — закричали малыши.

— Вот и хорошо! А что это вы в потемках сидите? Собрались веселиться, а скучаете? А? Ну-ка...— Он стукнул об пол посохом.

Сноп света погас, и тотчас вспыхнули огоньки на елке, задрожали, заискрились гирлянды канители, засверкали разноцветные стеклянные шарики, а на макушке елки алым пламенем загорелась красная звезда. Ребята захлопали в ладоши.

— Хороша елочка? — спросил Дед-Мороз.— А ну, поворотись, красавица, покажи себя.— И он снова стукнул посохом об пол.

Митя пригнулся в своем уголке, что-то заскрипело, елка осторожно, тихонько повернулась вокруг своей оси. Галчата хлопали изо всех сил, не спуская глаз с Деда-Мороза.

Они были ошарашены и потрясены. Открыв глаза и рты, они ждали новых чудес.

— Дела у меня сегодня много,— сказал Дед-Мороз, прищурив левый глаз и поглаживая белоснежную ватную бороду,— но решил и к вам заглянуть, посмотреть, как вы тут живете, как уроки учите...

— Хорошо! — засмеялись ребята.

— Ладно, про уроки спрашивать не буду — вас и в школе спрашивают. Но на будущий год, глядите, приду проверю. Двоечников не люблю! — погрозил Дед-Мороз варежкой.

— У нас нету! — сказал Слава и покраснел от смущения.

— Молодцы! — похвалил Дед-Мороз.— За это вам полагается награда. Какой награды желаете? В эту ночь я вас по всему свету могу покатать, всё показать. Желаете?

— Хочем?! Желаем!

— Ну, поехали, коли так!

Мороз стукнул посохом об пол, люстра и елка погасли. Из аппарата, стоящего возле Мити, брызнул сноп лучей, и на белой стене появились зеленоватое море, ледяные горы. На льдине стоял белый медведь и, задрав голову, смотрел на полыхающее вверху северное сияние.

— Это вот мое постоянное место жительства — Арктика. Прописан я там, а живу и в других местах, навещаю людей, подбадриваю... Кто похрабрее, меня не боится, тот и сам ко мне забирается. А вот...

Мороз снова стукнул посохом, на стене появилась новая картина: среди оледеневших скал, осыпанных снегом деревьев, стоящих по берегам сплошной стеной, клокотала, пенилась и рвалась куда-то вдаль могучая река.

— А это матушка-Сибирь. Богатый, красивый край. Я там подолгу живу, а все не приедается...

Много еще раз стучал посохом об пол Дед-Мороз, всё новые и новые картины вспыхивали на стене перед завороженными слушателями.

— Хватит, пожалуй,— сказал наконец Дед-Мороз,— а то вы, чего доброго, и школу бросите, путешествовать захотите.— Он в последний раз стукнул посохом, елка и люстра вспыхнули снова.

— Понравилось? — зажмурив левый глаз, оглядел всех Дед-Мороз.

— Да!.. Очень!.. Еще!..— закричали ребята, хлопая в ладоши.

— Ну, а теперь что вы желаете?

— Сказку! — пискнула Люся и спряталась за подружек.

— Сказку! Сказку! — подхватили все галчата.

— Сказку? — Похоже было, что Дед-Мороз смутился. Он зажал нос варежкой, озабоченно посопел в нее.— Вот сказку-то я и не припас... Да и стар уж я для сказок, память слабовата... Да... Ну ладно, попробую...

Жили-были два мальчика: Там и Тут. Были они соседи и родились в одно время. Когда-то у них, как полагается, были другие имена, но потом они забылись, и мальчиков просто так и звали: Там и Тут. А звали их так вот почему.

Сначала они, как все дети, лежали в зыбках. Когда хотели есть — плакали. А если им было тепло, сухо и есть не хотелось — они пускали пузыри и смеялись... Потом начали ползать, ходить, понемножку разговаривать. И вот один из мальчиков как увидит новое, незнакомое, так к нему и тянется. Ползет туда и сам себя подгоняет: «Там!.. Там!..» Второй был спокойный: ползать ему не нравилось, ходить он не любил. Все, бывало, лежит или сидит на одном месте. А если ему чего захочется — гребет к себе руками и кричит: «Тут! Тут!» — сюда, мол, давай. И орет, пока не дадут.

Вот так и стали их звать: одного — Там, а другого — Тут.

С Тамом отец и мать намучились. Правду сказать, и попадало ему частенько. Начал ходить, вышел за порог и увидел кур. Поковылял за ними в курятник. Извозился, наседка его исклевала. В другой раз выбрался за ворота, а там — чего только нет! И люди, и коровы, и лошади. Он и побрел все разглядывать. Вернули его, а он не унимается, рвется узнать, что там такое. Хоть за ногу привязывай! Поначалу мать и привязывала, и в избе запирала. Пока маленький был, помогало, потом не стало удержу.

Увидел речку.

— Что там? — спрашивает.

— Вода,— говорят.

— А в воде?

— Рыба, живность, всякая.

Там полез в воду, едва не утонул, однако научился плавать.

В поле вышел, поначалу во ржи заблудился, потом сам нашел дорогу домой.

Скоро и места такого не стало в деревне, где бы он не

ходил, всего не разглядел. И все, бывало, соседа с собой зовет:

— Тут, пойдем в поле жаворонков слушать.

— А ну их! — отвечает сосед.— Я лучше тут посижу.

— Тут, пошли на речку, там хорошо!

— А мне и тут ладно! — отвечает Тут.

И он никуда не ходил.

Подрос Там, в деревне всё увидел, узнал, стал допытываться про то, до чего не дойдешь, рукой не достанешь. А у кого спрашивать? Отец, мать — на работе, дома одна бабка старая.

— Месяц на небе зачем? — спросил Там.

Бабка, простая душа, объяснила мальчику, как умела:

— Ночью солнца ведь нету, темно? Вот месяц вместо него и светит.

— А солнце куда девается?

— Оно, чай, за день-то тоже наморится! Вот и уходит спать.

— А где оно спит?

— А там... Вон, видишь, лесок? Оно спрячется за лесок-то, выберет полянку поприглянее, сунет под голову облачко белое, пушистое и лежит, похрапывает...

Там пошел в лес. В первый раз он не дошел — далеко было и проголодался. На другое утро взял кусок хлеба, и, едва солнце поднялось, Там — за ним. Идет-бежит, торопится, а не поспевает. Только в самую середку леса зашел, а солнце уже за деревьями прячется. Влез Там на высокое дерево, смотрит, в какой стороне солнце ложиться будет. Видит — за лесом опять поле, деревни и снова поле. Солнце за ними скрылось, а ложиться и не подумало. Обманула, выходит, бабка, или сама не знала...

Слез Там на землю, а в лесу уже темно, дороги домой не найти.

«Ничего,— думает Там,— я теперь хоть на лешего посмотрю. Коли домового нет, может, хоть леший есть?»

Про домового и лешего ему тоже бабка рассказывала. Насчет домового он проверил: лазил ночью и под печку, и в чулан, и в подполье. Не оказалось нигде домового, не было. «Бабка старенькая,— решил тогда Там,— видит плохо, вот ей домовой и померещился».

Ночью в лесу темно, жутко. Таму боязно, а он сидит, ждет, страху не поддается. Притаился под кустом, его и не видно и не слышно.

Ночью для всех лесных жителей самая настоящая жизнь и начинается. Повылезали они из норок, из своих

тайничков, чтобы поразмяться, подкормиться, других посмотреть и себя показать. Мыши засуетились, еж колючий по своим срочным делам пробежал. Потом филин на дереве пугукать начал, других лесных жителей пугать. Он пугает, а им не страшно, они своими делами занимаются.

Зайчиха зайчат вывела обучать, какую травку щипать, какие кустики обгладывать, как от лисы и от филина хорониться. Наверху, на дереве, белка зачокала. Потом и лиса пробежала, помахала пышным хвостом. Вот только птиц, кроме филина, не было слышно. Но чуть-чуть небо начало светлеть, и они голос подали. Запели нежно малиновки, потом дятел, усердный работник, застучал, скворцы спозаранку поссорились, а потом и кукушка начала года отсчитывать. Там принялся считать, сколько ему лет жить, но то ли он, то ли кукушка сбилась, счет и спутался...

А лешего так и не оказалось. «Может, леший меня испугался? — подумал Там.— Так чего ему бояться? Я — маленький, а он, леший — большой и старый. Значит, его просто нету,— решил мальчик,— выдумали его люди. Только потом, когда стал большим, Там понял, что люди, если чего-нибудь не знают или не понимают, всегда выдумывают, и обязательно пострашнее...

Ночь не спавши, Там притомился да под тем кустиком и заснул. Здесь его и нашли отец с матерью и прочие люди, которые пошли разыскивать Тама.

Стали его ругать: зачем без спросу в лес убежал?

Там объяснил, рассказал все, что видел, и сказал, что лешего никакого нет, он сам проверил. Люди над ним смеются: ишь малый что выдумал! Среди них случился молодой учитель. Он сказал, что смеются зря: парнишка маленький, а ничего не боится, до всего своим умом доходит.

Подошла Таму пора учиться, он поступил в школу.

Тута тоже в школу отвели. Он ревел, упирался — очень ему не хотелось. Учился он через пень-колоду, так, только место занимал.

— Я и так проживу, без ученья! — говорил Тут.— У меня отец знаешь кто? Вот то-то!

А Там учился. Узнал в школе про всякие машины, разные науки, другие страны. Кончил школу и захотел дальше учиться, свет посмотреть. Звал с собой и Тута, но тот не захотел.

— Чего еще учиться, смотреть? Все одно,— говорит,— мы самые главные, самые лучшие, лучше нас никто ничего

не придумает. Мы и своим умом проживем! Пускай у нас учатся!

Там уехал, а Тут остался.

Сидел он все время дома и наедал живот. Так наедался, что дышать не мог: все боялся, что другие съедят больше. А потом, наевшись до отвала, смотрел осоловело по сторонам — что бы припасти на другой раз?

Братья и сестры его помирали от разных болезней. Тут не плакал, а радовался:

— Хорошо! Мне больше достанется!

Ему досталось всё: и дом, и двор, и хозяйство. Из хозяйства он больше всего любил свиней: они тоже, как Тут, ели жадно, много и ничем не интересовались.

Тут и теперь наедался про запас, боялся, что другие съедят больше. Он даже на своих стариков — отца с матерью — сердился и кричал:

— Толку от вас нет, а есть вам — давай! Всё сожрете, а что я сам завтра есть буду?

Он все время думал и говорил про «завтра», хотя завтра у него не было, потому что всегда, каждый день, было то же, что и вчера.

Теперь Тут вовсе никуда не ходил. Он и голову-то поднимал только для того, чтобы посмотреть, скоро ли сядет солнце и когда можно будет идти спать. Даже через забор смотрел редко — если соседи несли что-нибудь к себе домой. Тогда он завидовал и сердился.

Прошло время, и Там вернулся. Был он все такой же худой, никакого имущества не имел, только и перемен, что глаза у него все время горели, будто видели такой свет, что когда-то навсегда отпечатался в них. Но Тут смотрел не в глаза, а на обтрепанные Тамовы штаны и старые башмаки.

— Эх, ты! — смеялся Тут.— С чем уехал, с тем и приехал? И зачем только таких посылают?! Вот я бы уж понавез — чемоданы бы все треснули!

Учитель, который учил Тама, уже умер. Там стал вместо него учить мальчишек и девчонок грамоте. И всегда вокруг него народ — большие и малые: этот спрашивает одно, тот — другое. А от ребят прямо отбоя нет. Ребятишки народ любопытный, им ведь всё нужно знать: и отчего из ржи хлеб черный, а из пшеницы белый, и почему одни люди хорошо живут, а другие плохо, и как самому построить самолет, и когда, наконец, маленьких ребят перестанут обижать — будут их назначать машинистами шагающих экскаваторов и посылать на Северный полюс?

Там всё, что знал, рассказывал. А если чего не знал, говорил:

— Расти, учись, и сам иди узнавай, что как делается и почему...

К Туту никто не ходил. Он ничего не знал, молчал и слушал, как хрюкали свиньи. А ребятам разве интересно слушать, как свиньи хрюкают?

Мало-помалу о Туте совсем забыли. Живой ли, нет ли, никто не знал: если человек живет только для себя и людям нет от него никакой пользы, зачем о нем помнить? Так он и жил заживо мертвый, пока не умер на самом деле, только этого, кроме Тутовых детей, никто не заметил. Тутовы дети съели свиней и разбрелись по земле. Их узнавали по тому, что были они ленивые, жадные и завистливые: им всегда было всего мало и казалось, что другим доставалось больше. Люди их не любили и даже поругивали:

— Ах вы, мол, Тутовы дети!..

Состарился Там и тоже помер. Все очень горевали и плакали. А потом поставили ему памятник и написали на нем:

«Он был нужен и любим здесь потому, что всегда был т а м».

Родились новые мальчишки и девчонки, подросли. Бегают они, играют и видят — к памятнику Тама всегда кто-нибудь несет цветы: то летчик, то моряк, то человек в шляпе и очках и всякие другие люди. Ребятишки прочитают надпись, удивятся и спросят:

— Дяденька, а где это — т а м?

Летчик покажет на небо, моряк — на море, человек в шляпе — на завод, еще кто-нибудь — на землю, остальные в разные стороны. Ребятишки обижаются, думают, что их обманывают. И тогда дяденьки рассказывают им про Тама, который одного подтолкнул в небо, и тот стал летать, другому про море рассказал так, что полюбилось оно на всю жизнь, и стал человек моряком, третьего научил в середку земли залезть и добывать уголь и другие сокровища, четвертого отвел на завод и научил делать умные машины... И так каждому открывал он дело по душе.

Новые ребятишки узнавали про Тама и тоже загорались желанием узнать, что находится т а м...

Появлялись всё новые маленькие Тамы. Узнавали они всё больше, делали всё лучше, а от этого людям становилось жить всё легче и радостнее.

Дед-Мороз замолчал, зажмурил левый глаз, а правым оглядел слушателей. Воспитатели, старшие ребята, а вслед за ними малыши захлопали в ладоши. Дед-Мороз поднял руку, дождался тишины и сказал:

— Сказка сказкой, а соловья, говорят, баснями не кормят. А таких соловьев, как вы, кормить надо три раза в день, не меньше. По сему случаю приготовил я вам гостинцы...

Он открыл дверь и втащил в комнату мешок.

— Ну-ка, подходите по очереди, подставляйте ладошки!

Он запустил руку в мешок и вынул бумажный пакетик, на котором красной краской было напечатано: «С Новым годом!» Раздав подарки, Дед-Мороз почему-то сунул мешок завхозу и сказал:

— Ну, вы веселитесь, мне пора. А то что-то жарко становится. Пойду поддам морозцу градусов на пять по Цельсию... До свиданья!

— До свиданья! Спасибо! Приходи еще! — закричали ребята.

Мороз стукнул палкой, свет погас, в дверь опять ворвался клуб холодного пара, а когда свет зажегся, Деда-Мороза уже не было. Слава бросился к двери.

— Куда? — перехватила его Ксения Петровна.

— Посмотрю, как он мороза поддает...

— Простудишься! Иди на место... Ребята, начинаем наш самодеятельный концерт. Освобождайте место!

Все расселись вдоль стен, оставив пустой середину столовой. Сима позвонила в колокольчик и, выступив на середину комнаты, объявила:

— Отрывок из стихотворения Исаковского «Песня о Родине» прочитает Слава Кулагин.

Слава шагнул вперед, прижал руки к бокам и, вытаращив от усердия глаза, прочитал стихотворение.

— Русская. Протанцуют Кира Рожкова и Тома Бондаренко.

Ксения Петровна села за пианино и заиграла. Из-за ширмы выбежали Кира в сарафане и Тома в косоворотке, в брюках и сапогах. Они плавно прошлись по кругу. Потом Кира остановилась и начала обмахиваться платочком, а Тома, сдвинув фуражку на затылок, застучала каблуками неторопливо и как бы вызывающе. Кира ответила пренебрежительным перестуком. Тома застучала быстрее, требовательнее, и Кира опять ответила. С каждым разом переборы учащались и наконец слились в единый дробный

перестук, танцорки ухватились за руки, закружились на одном месте и убежали. Им долго хлопали, они выбегали раскрасневшиеся, счастливые и снова убегали.

В приоткрывшуюся дверь протиснулся Вадим Васильевич и сел позади всех. Лицо его поблескивало от вазелина, на брови остался кусочек ваты.

Толя Савченко, стараясь говорить басом, прочитал отрывок из поэмы Маяковского «Хорошо!». Валерий с застывшей, будто наклеенной улыбкой начал танцевать «Яблочко», но поскользнулся и сел на пол. Все засмеялись и тут же захлопали, чтобы он не очень переживал. Но Валерий и не думал переживать: он поднялся и с той же улыбкой достучал танец до конца. Потом малыши начали разыгрывать «Квартет» Крылова.

Витька сказал, что ему надо уходить, и вместе с Лешкой пробрался к выходу. Лешка тоже оделся и пошел его проводить.

— Весело у вас,— сказал Витька.— И вообще — хорошо!

— Ага,— согласился Лешка.

— Здорово она танцевала!

— Кто?

— Ну эта, Рожкова, в сарафане... И вообще она ничего.

Лешка удивленно посмотрел на приятеля — что могло ему понравиться в Кирке?

Обратно Лешка шел медленно. Покалывал щеки легкий мороз, громко и весело хрустел под ногами снег. Мохнатые от инея ветки деревьев сплетались в замысловатые кружева, нависающие над головой. Разрисованные морозом окна были освещены, за ними звенели смех и голоса.

Лешка чувствовал себя счастливым. До сих пор он не задумывался, хорошо у них или плохо, а теперь подумал, что Витька прав и хорошо, что он попал в этот детдом. Он был бы еще счастливее, если бы Алла не ушла в техникум. Лешка с грустью подумал, что ей там веселее, чем с ними. Может, она уже возвращается и они встретятся?..

Лешка дошел до сквера перед домом и, как уже не в первый раз, остановился в тени, между кустами. Подмораживало сильнее. Ярче разгорались звезды, звонче хрустел снег под ногами редких прохожих, и от этого явственнее становилась тишина. Во дворе детдома зазвучали голоса, смех — ребята ушли в спальни, догадался Лешка. Ссутулившись, глядя себе под ноги, прошел Устин Захарович. Потом Лешка услышал голос Ксении Петровны:

— Ну, как мои артисты? Хорошо, по-моему! А? Такие забавные! — Ксения Петровна засмеялась.

Смех неожиданно прервался, послышалось всхлипывание, и сейчас же огорченно и укоризненно зазвучал голос Вадима Васильевича:

— Ну, вот опять, Сеничка! Не надо...

— Боже мой! — сдавленно проговорила Ксения Петровна.— Ты так любишь детей... и я.. У нас... мы могли тоже...— Ксения Петровна заплакала.

— Не надо, Сеничка, не надо! — встревоженно уговаривал Вадим Васильевич.— Успокойся, не надо!

Плач затих, заскрипел под ногами снег.

Сердце Лешки громко билось. Он долго стоял и прислушивался, боясь, что они не ушли и могут увидеть его. Он не понял, о чем они говорили, почему плакала Ксения Петровна и дрожал голос у Вадима Васильевича. Оба всегда такие веселые. А теперь рядом с ним плакало, трепетало большое горе...

В доме напротив хлопнула форточка, из нее вырвался белый пар и гнусавый, с повывом голос: «У меня есть сердце, а у сердца песня...» Смех заглушил поющего. Форточку закрыли.

Ноги у Лешки окоченели. Он вышел из своей засады. Улица была пуста. В свете фонаря, медленно кружась, падал с проводов невесомый иней. Лешка зябко поежился и пошел домой.

25

Ребята пристрастились к газетам.

Разбитые гоминдановцы откатывались под натиском Народно-освободительной армии. Уже были освобождены Мукден, Гирин, Чанчунь. Народные войска овладели проходами в Великой Китайской стене, вступили в Северный Китай и вплотную подошли к Тяньцзиню. Бойцы Народно-освободительной армии знали, что за каждым их шагом с волнением и радостью следят и шанхайский ткач, и кантонский кули, и не знающий ни одного иероглифа пастух Синьцзяна. Но они не подозревали о том, что за двенадцать тысяч километров от них есть город на берегу Азовского моря, а в нем — небольшой детский дом, в котором каждая их победа, каждый шаг вызывали ликование и восторг.

На одной из читок ребята поставили Ксению Петровну в тупик своими вопросами. Они хотели понимать все, что написано в газете, и знать больше, чем в ней написано.

Отрывочные газетные телеграммы, в которых мелькали трудные китайские имена и названия, будили жадное любопытство, но не могли рассеять незнание. Ксения Петровна пообещала через несколько дней провести специальную беседу. Она обе́гала библиотеки и знакомых, собирая книжки и статьи о Китае, разыскивая карты и картинки, и потом рассказала ребятам все, что смогла узнать. Беседа продолжалась два часа, а закончившись, началась снова: слушатели узнали много, но хотели знать еще больше.

— Ребята! — взмолилась наконец Ксения Петровна.— Так же нельзя! Я не министр иностранных дел и не профессор, я не могу все знать. Давайте изучать вместе! Каждый пусть читает все, что сможет найти о Китае, а потом рассказывает остальным. А в комнате для занятий устроим специальный уголок. Сделаем большую карту и будем отмечать положение на фронтах. Интересные сообщения и картинки тоже будем вывешивать...

Активнее всех участвовал о создании уголка Гущин. Придя на каникулах к Лешке, Витька остался послушать беседу Ксении Петровны и тоже увлекся Китаем. Он вызвался начертить большую карту, только, конечно, не один, а с помощью других. Из всех других он явно предпочитал Киру Рожкову, хотя надписи она делала неважно, а рисовать не умела совсем. Витька доверял ей только карандашные наброски, всегда переделывал их потом, но говорил, что она очень хорошо помогает.

Пока длились каникулы, Витька чуть не каждый день приходил в детский дом и вместе с Кирой старательно рисовал. Они рисовали и разговаривали о Китае: какая это интересная страна, как геройски сражается Народно-освободительная армия и как здорово было бы, если бы удалось туда поехать, чтобы тоже воевать против гоминдановцев за народную власть! Каждый раз они с грустью приходили к выводу, что поехать и воевать не удастся: из дому не отпустят.

Когда начались занятия, Витька и для школы нарисовал карту Китая. Ее повесили в зале, и, как только появлялись новые сообщения, Лешка, который делал это и в детдоме, перекалывал булавки и передвигал красную ленточку, показывающую линию фронта. Увлечение Китаем охватило старшие классы, как незадолго до этого оно охватило детдом. Ребята перерыли свои квартиры в поисках вещей китайского происхождения. Юрка Трыхно принес металлическую коробочку из-под чая. Коробочка была старая, ржавая, но на ней явственно виднелись выдавленные

иероглифы. Юрка, горделиво улыбаясь, показывал всем свое сокровище. Подошел Яша, внимательно осмотрел и забраковал:

— Чепуха! Это дореволюционная русская жестянка, только сделана под китайскую... Вот смотри.— И показал на донышке остаток стершегося печатного текста: «... и К°. Москва».

Народно-освободительная армия подошла к Бейпину, и гоминдановские войска в нем капитулировали. На большой перемене Лешка подставил к карте стул и, окруженный толпой наблюдателей, воткнул булавку с красным флажком в кружок, обозначавший на карте местоположение Бейпина, который снова стал Пекином.

— Очень хорошо, ребята, что вы интересуетесь международной политикой,— сказал чей-то голос.

Лешка обернулся. За его спиной стоял Гаевский, старший пионервожатый школы.

— Если вы так интересуетесь этим делом, мы подготовим специальный сбор... Приходи и ты,— сказал Гаевский Лешке.— Ты ведь не пионер?.. А почему?

Лешка замялся:

— Так...

— Что ж ты плохо над своим товарищем работаешь? — обратился Гаевский к Гущину.— Ходите всегда вместе, а он до сих пор не пионер. Нехорошо! Все сознательные школьники должны быть пионерами. Ну, мы еще поговорим об этом...

Гаевский отошел.

— А ты чего, в самом деле, не поступаешь? — спросил Витька.— Я уже скоро в комсомол буду подавать.

В Ростове Лешка был пионером, но потом бросил школу и перестал быть пионером. Какое там пионерство в забегаловке дяди Троши!.. Однако на сбор, посвященный Китаю, Лешка пришел.

Председатель совета дружины Толя Крутилин, который уже носил комсомольский значок, открыл сбор и объявил, что слово предоставляется Борису Радову.

Веснушчатый, коротко остриженный шестиклассник подошел к столу, положил перед собой тетрадку и начал по ней читать доклад. Читал он плохо, запинался и подолгу застревал на трудно произносимых, должно быть непонятных ему, словах. Боясь потерять строчку, он следил за ней не только глазами, но даже двигал из стороны в сторону головой. Все,что он читал по тетрадке, ребята уже знали — они знали значительно больше,— слушать и смотреть на

обращенное к ним стриженое темя докладчика было неинтересно, и в классе началось гудение. Если оно слишком усиливалось, Толя Крутилин или сам Гаевский стучали карандашом по столу и покрикивали:

— Тихо, ребята!

Докладчик поднимал покрасневшее от натуги лицо, набирал воздуху в легкие и, опять уткнувшись в тетрадку, читал.

Лешка тоже перестал слушать, разглядывал ребят, президиум и вожатого. Гаевский следил глазами за ребятами и, встретившись взглядом с говорунами, укоризненно покачивал головой. Худощавое лицо его было бледным, как у болезненных людей, которые никогда не загорают даже под сильным солнцем, а только розовеют. Однако он не казался ни больным, ни хилым, всегда озабоченно куда-то торопился. Он даже улыбался озабоченно, и тогда запавшие, близко поставленные глаза его почти совсем скрывались в лучащихся морщинках. Зачесанные назад очень светлые волосы падали ему на виски, он поминутно горстью поправлял их и прижимал к затылку, но, как только опускал руку, они сейчас же распадались от лба до макушки на две льняные пряди.

Докладчик дочитал тетрадку и сел за стол, с опаской поглядывая на ребят: он ожидал вопросов и боялся, что ответить на них не сумеет. Кто-то спросил его о династии Мин в Древнем Китае, но вожатый сказал, что доклад — о современном международном положении Китая и залезать в дебри незачем. Больше вопросов не было.

— Кто хочет высказаться?

Несколько ребят сразу же подняли руки. Один за другим они выходили к столу и читали по запискам, что отряд такой-то или звено такое-то в ознаменование побед Народно-освободительной армии Китая обязуется повысить успеваемость, добиться еще больших успехов в учебе. Слова употреблялись разные, в разных сочетаниях, но все были об одном и том же: об уроках, дисциплине и домашних заданиях. Гаевский внимательно слушал и одобрительно кивал. Потом он поднялся, похвалил докладчика, выступавших и сказал, что они очень правильно понимают задачу пионеров и всех школьников: святой долг всех школьников — отлично учиться, чтобы стать достойной сменой.

На этом сбор окончился. Лешка, Витька и Кира пошли домой вместе. Витька нарочно делал теперь крюк, чтобы идти вместе. Он то задерживал Лешку, то торопил его,

и всегда получалось так, что они выходили с Кирой одновременно. Лешка давно разгадал эти маневры. Неприязнь к Кире у Лешки прошла, он уже не злился, если она была с ними, и только не понимал: если Витьке хочется быть вместе с Кирой, зачем нужен при этом он, Лешка?

Лешка был Витьке необходим. При нем он чувствовал себя свободно и говорил всю дорогу. Стоило ему остаться с Кирой вдвоем, как он безнадежно замолкал, надувался и ничего не мог выдавить из себя, кроме «ага», «понятно», «конечно», если Кира пыталась разговаривать. Кира удивленно посматривала на него, тоже умолкала, и обоим становилось неловко и трудно, будто они поссорились.

Витька понимал теперь, что вся история с Наташей Шумовой была ошибкой. Это была никакая не любовь, а просто увлечение. Бывает же, увлекаются люди, а потом у них открываются глаза. О таких увлечениях знакомых говорили между собой мама и Соня и он читал в книжках. Теперь у него тоже открылись глаза — он понял ошибочность своего увлечения. Правда, и сейчас при встрече с Наташей сердце у него почему-то обмирало, но это скоро проходило. Тем самым подтверждалось его убеждение, что с увлечением покончено и только теперь началась настоящая любовь.

Ему хотелось все время быть возле Киры, и он под всякими предлогами старался это устроить. Если б можно было, он перешел бы в параллельный класс, в котором училась Кира, но не мог придумать основания для такой просьбы. Каждую перемену он подходил к Кире, а если предлог не отыскивался, просто вертелся где-нибудь поблизости. Больше всего он любил их совместные, втроем, возвращения из школы. Тут никто не мешал Витьке говорить, строить планы дальнейшей жизни и хвастать будущей профессией моряка. Кира смеялась, называла его выдумщиком, и Витька блаженствовал.

Сегодня он молчал. Ему уже было мало блаженства, испытываемого в одиночку. Неразделенное, оно начинало казаться ему неполноценным и даже сомнительным. Любовь распирала его, но он помнил, во что Наташа Шумова превратила его написанное кровью послание, терзался сомнениями и вздыхал. Вздохи были такие мрачные и громкие, будто воздух с шипеньем выходил из лопнувшей камеры.

Лешка сказал, что сбор ему не понравился.

— Почему? — спросила Кира.

— Скучный. Все читали по бумажкам. Зачем это — по бумажкам?

— А как же иначе? Вожатый прочитал всё, проверил, чтобы не было ошибок. Он помог и написать выступления.

— Выходит, он за всех написал? Пусть бы тогда он один и выступал, а то долдонят, как попугаи...

— А если так полагается?

Лешка не нашелся что ответить и промолчал. Они дошли до сквера перед детским домом.

— Ну, всего! — сказал Лешка и вместе с Кирой свернул в аллейку.

Витька остался на тротуаре. Он посмотрел им вслед, испустил еще один страдальческий вздох и окликнул:

— Кира! На минутку...

Кира вернулась.

— Понимаешь, я должен сказать тебе одну вещь,— угрюмо сказал Витька, глядя в сторону.— Пройдем туда.

Они прошли в боковую аллейку, на которой не было прохожих.

— Только дай честное слово, что никому не скажешь.

— Честное слово! — пообещала Кира.

— Понимаешь, это очень серьезное дело...— Витька говорил с таким трудом, будто бегом взбежал на крышу «пятиэтажки», жилого дома «Орджоникидзестали», самого высокого в городе.— Дело в том...— Он переступил с ноги на ногу, зажмурившись, ринулся с «пятиэтажки» вниз.— Дело в том, что я тебя люблю!

— Ой, что ты! — попятилась Кира.

— Факт! — мрачно отрезал Витька и покраснел.

Кира испуганно посмотрела на него и тоже начала краснеть.

— Вот честное слово!

— Что ты, Витя! — повторила Кира.— Тебе просто показалось...

— Ничего не показалось. Я же не маленький! — горько возразил Витька.

— Ну, зачем это? — растерянно сказала Кира.— Так было все хорошо...

Краска залила Кирино лицо, она отвернулась. Не менее красный Витька тоже смотрел не на нее, а куда-то поверх заиндевелых кустов. Так, глядя в разные стороны и боясь посмотреть друг на друга, они постояли некоторое время молча.

— Знаешь, Витя,— сказала наконец Кира,— давай не будем про это... А? Пускай будет как раньше. Хорошо?

— Хорошо! — готовно согласился Витька.— Просто, понимаешь, я должен был тебе сказать, вот и всё.

— И больше никогда не надо. Ладно? До свиданья!

Кира убежала.

Получилось совсем не так, как бы ему хотелось, да и по правде говоря, он и сам не знал, как бы ему хотелось, чтобы это объяснение произошло, но оно произошло, и Кира вовсе не смеялась. Настроение Витьки сразу улучшилось. Он, разбежавшись, подкатывался на «ковзанках» — ледяных дорожках, накатанных ребятишками на тротуарах, стучал портфелем по заборам и калиткам. Собаки во дворах гремели цепями и лаяли. Звон цепей и собачий лай провожали Витьку, как оркестр.

Гром и Ловкий бросились у калитки хозяину под ноги. Притворившись, что поскользнулся, Витька упал и начал с ними бороться. С притворной яростью Гром и Ловкий бросились на него, он хватал их за шею, за ноги, и они, взвихривая снег, лохматым клубком катались по двору. Соня начала выговаривать за вывалянное в снегу пальто, но он так смешливо и весело оправдывался, что насмешил и Соню. На шум выбежала Милочка. Витька схватил ее за спину и живот, приподнял, перевернул колесом и опять поставил на ноги. Милочка завизжала от удовольствия. Витька вдруг понял, что все вокруг — необыкновенно веселые, добрые и хорошие. Себя он тоже чувствовал добрым хорошим, веселыми и хорошими были дом и этот день, а еще лучше должно быть завтра. Вся жизнь впереди звенела и переливалась радостью.

26

— Тебя Людмила Сергеевна зачем-то звала,— сказала Сима, когда Лешка садился обедать.

Он отодвинул стул и побежал к директору.

— Тебе письмо, Алеша,— сказала Людмила Сергеевна.

— От кого? — удивился Лешка.

— Вскрой — вот и узнаешь,— улыбнулась Людмила Сергеевна.

На смазавшемся почтовом штемпеле с трудом можно было разобрать окончание слова «...манск». Лешка надорвал конверт. Письмо начиналось словами: «Здравствуй, тезка!»

— Ой, вы знаете, от кого это? — поднял Лешка просиявшее лицо.— От того старшего помощника с «Гастелло», что меня привел... Помните? Алексей Ерофеич...

Письмо было коротким. Алексей Ерофеевич сообщал, что они находились в длительном и трудном плавании в Заполярье, потому он не мог написать раньше. Николая Федоровича уже не было на «Гастелло», его перевели на Черное море капитаном пассажирского теплохода, и он уехал вместе с Чернышом. Капитаном «Гастелло» назначен он, Алексей Ерофеевич. Все остальные на местах, помнят Лешку и шлют ему приветы. Как ему живется в детском доме? Ладит ли он с товарищами? Он, конечно, учится, а вот какие у него отметки? «Помни, тезка,— писал Алексей Ерофеевич,— чтобы стать настоящим человеком, заслужить уважение других, нужно хорошо делать свое дело. Мы ждем от тебя письма и сообщения о твоих успехах». Анатолий Дмитриевич в короткой приписке спрашивал, не разводит ли он сырость, как тогда в Батуми, и повторял свой совет: «Всегда идти полным ходом вперед, чтобы ветер свистал в ушах!»

Лешка протянул письмо Людмиле Сергеевне:

— Прочитайте!

— Хороший, видно, человек...—задумчиво сказала Людмила Сергеевна, возвращая письмо.

— Вы еще не знаете, какой он хороший! — восторженно подхватил Лешка.

С Алексеем Ерофеевичем он был всего два дня, но Лешке казалось, что он знает его много лет и что другого такого хорошего человека нет на свете. Лешка показал письмо Яше, Мите, оно пошло по рукам. Его читали и перечитывали, с завистью поглядывая на Лешку: шутка сказать — ему писал настоящий капитан дальнего плавания! С Лешкиного лица не сходила восторженная улыбка.

На следующий день он пришел в школу пораньше, чтобы показать письмо Витьке. Весть из Заполярья Витьку ошарашила. Каждую перемену он бежал к Лешке, отводил его в сторону и горячо шептал — почему-то ему казалось это тайной — о том, куда и какое плавание совершил «Гастелло» и что пришлось пережить его экипажу. Витька был убежден, что плавали они по Великому Северному морскому пути, что их затирали льды, они голодали, болели цингой... Он не прочь был допустить, что «Гастелло» раздавили торосы и моряки, как челюскинцы, жили на льдине. К Витькиному сожалению, Алексей Ерофеевич ничего об этом не писал. По счастью, в тот день Витьку не вызывали, иначе в дневнике его остались бы печальные следы смятения, вызванного письмом капитана.

И без того всегда взбудораженное, Витькино воображение получило такой сокрушительный толчок, что в течение нескольких дней он не мог говорить ни о чем, кроме моря, ледовых полей, торосов, айсбергов и великолепной, отчаянной и неподражаемой жизни моряков-полярников. Сам он — это было ясно, как дважды два,— должен стать таким же капитаном, как Алексей Ерофеевич.

— Я ему тоже напишу! Ладно? — сказал он Лешке и, не удержавшись, выдал свою сладостную надежду: — Может, он к себе возьмет? Хоть кем-нибудь, а?

Лешка написал ответ и принес Людмиле Сергеевне, чтобы она проверила — вдруг там ошибки.

— Нет, зачем же проверять? — сказала Людмила Сергеевна.— Пусть будет как есть. Алексей Ерофеевич ждет письма от тебя, а не от меня. А это будет вроде подделки.

Лешка подумал и решил, что это правильно. Если даже и есть ошибки, так что уж... Вот выучится — тогда другое дело.

— А про отметки написал? Хорошо бы послать Алексею Ерофеевичу табель за обе четверти. Вроде полного отчета. Я думаю, ему это будет приятно.

— Ага! Только...—Лешка замялся и слегка покраснел,— только, может, за одну вторую четверть?

— Что ж, можно и за одну вторую,— улыбнулась Людмила Сергеевна.

Лешка старательно переписал табель. Людмила Сергеевна заверила и от себя приписала, что «воспитанник Алексей Горбачев хорошо учится, дисциплинирован и дружно живет с товарищами».

Витька хотел было послать свое письмо отдельно, потом передумал: в одном конверте будет вернее.

«Дорогой товарищ Алексей Ерофеевич! — писал Витька.— Мы лично незнакомы, но я лично хочу стать капитаном, как вы. Мы с Горбачевым — друзья. Он рассказывал, как плавал с вами на теплоходе «Николай Гастелло». Мне очень понравилось. Напишите, как сделаться настоящим капитаном дальнего плавания. Я хотел уехать в школу юнгов, но мне сказали, что такой школы нет. По-моему, это неправильно. Многие хотят стать юнгами, только не знают как. Может, вы возьмете меня в юнги? Я буду стараться и делать все, что скажут. Я с самого лета в кружке юных моряков, умею грести и немножко управлять парусом, а скоро научусь совсем. Я знаю азбуку Морзе, умею семафорить флажками. Мороза я не боюсь, хожу всю зиму

с расстегнутым воротником, так что в Заполярье могу ехать когда угодно...»

Они пошли вдвоем, чтобы опустить письмо в почтовый ящик. Витька приподнял откинутую крышку, а Лешка сунул конверт в узкую щель. Витька на всякий случай постучал по ящику.

— А то еще застрянет,— сказал он.— Жди тогда...

Они постояли, посмотрели на ящик, мысленно прослеживая путь письма из этого ящика до Мурманска, о котором они только и знали, что там полгода не бывает солнца, стоит полярная ночь, протекает Гольфстрим и поэтому море не замерзает.

— Эх, авиапочтой надо было! — спохватился Витька.— В два счета бы дошло...

Всю дорогу он прикидывал и рассчитывал, когда Алексей Ерофеевич получит письмо и когда можно ждать ответа. Сроки получались самые неопределенные.

— Все равно,— решил Витька,— надо готовиться!

Подготовка шла по двум направлениям: изучения Заполярья и личной закалки, тренировки в борьбе с лишениями. На стене Витькиной комнаты появилась большая самодельная карта советского Заполярья, рисунки кораблей были оттеснены перерисованными или просто вырванными из книг картинками, изображающими затертые льдами суда, северное сияние и торосы. Путешествуя по своей карте с запада на восток и с востока на запад, Витька заучил названия островов, мысов и заливов и все, что сумел найти о них в Большой Советской Энциклопедии, стоящей в отцовском шкафу.

Теоретической подготовке никто не мешал, и она подвигалась успешно. Хуже обстояло дело с личной закалкой: мама и Соня восставали при малейших попытках Витьки перейти от слов к делу. Особенно плохо было с едой. Если бы не они, Витька доказал бы, что он, как настоящий полярник, может несколько месяцев питаться одними сухарями и консервами. Но чуть что — мама и Соня начинали кричать о «дурацких выдумках», грозились пожаловаться отцу, и приходилось есть свежий хлеб, супы и прочие разнеживающие блюда. Как ни скандалил Витька, отстоять кепку не удалось — пришлось носить ушанку. Витька принципиально не опускал наушников, приучая лицо к холоду, но все-таки это было не то. Отыгрывался он на том, что сразу же за воротами сдергивал кашне, совал его в карман и целый день ходил с расстегнутым воротом куртки.

Против меховой куртки Витька не возражал: она напоминала кухлянку.

Полярникам приходится на долгие месяцы расставаться с близкими, любимыми людьми и стойко переносить разлуку. С папой и мамой расстаться, конечно, нелегко — Милка в счет не шла,— но Витька не сомневался, что разлуку перенесет. Вот только проверить было нельзя: никакой разлуки в ближайшем будущем не предвиделось.

Иное дело — разлука с любимыми. Любовь к папе и маме была совсем «отдельная», домашняя. Настоящая любовь была у Витьки к Кире. После объяснения о ней больше не говорили, но Витька был убежден, что любовь существует и становится сильнее. Сможет ли он перенести разлуку с Кирой? Витька представил себе, что́ будет, если он не сможет каждый день видеть Киру, слышать, как она скороговоркой сыплет слова и заразительно смеется. Ему стало скучно от этой мысли, он почувствовал какую-то унылую пустоту. Должно быть, так и страдают от разлуки моряки и полярники. Витька попробовал растравить свое страдание, но оно не стало сильнее, и он подумал, что ничего страшного нет, переживет. Разлука будет даже полезна, чтобы проверить свою любовь. Вдруг Кира права и ему действительно «просто показалось»? Дойдя до этого пункта размышлений, Витька опять почувствовал смущение, которое все чаще испытывал последние дни.

Он был убежден, что с Наташей Шумовой покончено раз и навсегда, она нисколько его не интересует. Однако он замечал все, что она делает и что вокруг нее происходит. Так, он заметил, что Наташа уходит домой уже не с Витковским, а с подругами или одна, а с Витковским даже не разговаривает. Конечно, Витьке это было абсолютно безразлично, тем не менее он почувствовал удовольствие оттого, что Наташа с Витковским рассорилась. Потом однажды Наташа, как будто она ни в чем не была виновата, обратилась к Витьке, и он, вместо того чтобы гордо отвернуться, ответил и даже заулыбался от удовольствия. За эту улыбку Витька презирал себя и решил, что больше такое никогда не повторится. Но повторилось это на следующий же день и с тех пор повторялось непрестанно. Все началось сначала, как будто не было сердца, превращенного в ослиную башку, и его страданий. Опять, как стрелка компаса на север, Витькина голова постоянно была обращена в Наташину сторону. Опять он томился, если не мог подойти к ней, а другие подходили, и опять он был счастлив, если Наташа разговаривала с ним. В то же время ему по-прежнему

хотелось быть вместе с Кирой. Значит, он продолжал ее любить? А при чем тогда Наташа?

Витька пытался разобраться в этой путанице, но разобраться не мог и со страхом ожидал, что или та, или другая догадается и засмеет его. Наташа и Кира подружились, хотя учились в параллельных классах, и на переменках держались вместе. Они ведь могли просто рассказать друг другу — девчонки такие болтушки! Витька иногда замечал, что девочки лукаво поглядывают в его сторону и улыбаются. Витька в панике убегал.

Он попробовал поговорить об этом с Лешкой, умышленно начав с отвлеченных предположений:

— Скажи, ты бы, вот если кого полюбишь, мог сделать все, что тот захочет?

Лешка подумал, что бы могла потребовать от него Алла, и кивнул.

— А ради нее прыгнул бы с пятого этажа?

— Зачем?

— Ну так, вообще... А в огонь прыгнул бы?

— Не знаю! — честно признался Лешка.

— Я бы, наверно, прыгнул! — вздохнул Витька.

Отвлеченные вопросы были исчерпаны, но ничего не прояснили. Он помолчал и осторожно спросил:

— А как по-твоему, можно любить двоих сразу?

Лешка мысленно поставил рядом с Аллой всех девчонок, каких знал, и решительно сказал:

— Нет. По-моему, нельзя.

Витька насупился.

— А что,— усмехнулся Лешка,— ты уже двоих любишь?

— Нет, я просто так спрашиваю,— замял Витька разговор.

Лешка страданий друга не принимал всерьез. И любовь Витькина и метания его — все это было ребячеством. Они были однолетки, но ребяческого, детского в Витьке оказывалось значительно больше, чем у Лешки. Витька во все вносил азарт и увлечение, какие возможны только в игре. Лешка относился к этому снисходительно, как старший. Живя с дядей Трошей, он разучился играть. Сталкиваясь с чем-нибудь и увлекшись, он начинал прежде всего пристально, неотступно думать об этом. Витька не думал, а выдумывал.

Письмо Алексея Ерофеевича подхлестнуло увлечение морем. Необузданное воображение легко и просто подставляло Витьку на место капитана «Гастелло», переносило

в Арктику, на Северный полюс, куда угодно. Стоя коленками на стуле, он водил пальцами по самодельной карте и выбирал маршрут поопаснее. Мысленно он уже совершал его: плыл по разводьям, пробивался через торосы, слышал, как трещит корпус судна, сдавленного льдами, нес вахты в темноте полярной ночи. Он допускал и даже надеялся, что Алексей Ерофеевич оценит его и вытребует к себе. Лешка не верил, что такое счастье может вдруг упасть на него или на Витьку. Это случалось в сказках, в жизни так не бывало. Он вспоминал отца, маячный зов в Махинджаури, двухдневный переход на «Гастелло», Алексея Ерофеевича, капитана. То были настоящая жизнь и настоящие люди. Нельзя было сразу очутиться в этой жизни и стать такими, как они. Для этого, писал Алексей Ерофеевич, нужно хорошо делать свое дело. А где это дело, в чем оно? Он уже прожил немалую жизнь, а еще ничего не сделал и даже не знал, что он должен делать. Вот говорят: будь как Корчагин, как Сережа Тюленин. А как стать таким? Шла война, и они показали свое геройство. А что ему делать? Случись война — он бы себя, конечно, показал, будьте уверены! Но мы ведь за мир и воевать не хотим...

Воспитатели и учителя говорили, что нужно хорошо учиться, окончить школу, а тогда, избрав специальность, посвятить ей всю жизнь. Лешке казалось, что этот совет отодвигает начало жизни до тех пор, пока он кончит школу. Но ведь он уже живет, жизнь идет и не будет ждать, пока он окончит школу!

Лешка говорил с Ксенией Петровной, но или не сумел объяснить, или Ксения Петровна не поняла и повторила то, что он уже слышал много раз: надо окончить школу, стать полноценным человеком, и тогда все станет ясным. Людмила Сергеевна тоже не сразу поняла, чего Лешка добивался.

— У нас есть мастерская, кружки. В школе тоже есть кружки. Понемногу мы подходим к политехническому обучению. Выбирай себе дело по душе и занимайся.

Лешка не понял, что значит «политехническое обучение», и сказал, что он говорит не про это.

— А про что же?

— Про жизнь.

— Жить не работая нельзя, правда? Вот выберешь себе профессию, работу и занимайся ею.

— Но ведь жизнь — это не только работа? А сама жизнь? — спросил Лешка и замолчал, не умея выразить свою мысль точнее.

— Ну, жизни, дружок, только сама жизнь научит! — улыбнулась Людмила Сергеевна.

Такое объяснение ничего Лешке не объяснило.

Хорошо было бы поговорить с Вадимом Васильевичем, но, очень занятый в последнее время на заводе, он в детский дом не приходил. Книги многое объясняли и многому учили, но они все были о том, что уже случилось, произошло раньше. Книги рассказывали о жизни людей, которые жили прежде, большинство рассказывало о таких, которые жили, когда Лешки не было даже на свете. Читать о других людях было интересно, но они были д р у г и е, их жизнь уже кончилась, а Лешкина только начиналась, и ему казалось, что она совсем не похожа на другие жизни, своя, особая, и все должно происходить в ней иначе, чем в чужих, прежних жизнях.

Среди книжек для детей было много таких, что Лешка не мог их дочитать до конца. В сущности, это были не книги, а сборники задачек по поведению, примеров того, что нужно и похвально делать детям и что делать нельзя и не похвально. Придуманные мальчики и девочки, совсем не похожие на тех, что были вокруг Лешки, прилежно решали эти скучные задачки.

Такие книжки напоминали пироги, которые пекла Лешкина мама, когда ничего для начинки не было. Назывались они «пироги с аминем». Снаружи пирог как пирог, даже корочка красивая, а внутри не было ничего — только смазано постным маслом, чтобы не слиплось...

Чем могли они помочь, скажем, в истории с Яшей?

Однажды Лешка наткнулся в коридоре на группу ребят, ожесточенно споривших. Толя Крутилин, неизменный староста Витькиного класса, сердито нападал на Витковского:

— Ты не виляй, ты прямо говори! По-твоему, все евреи — космополиты, да?

— А то нет? — усмехнулся Витковский.

— А те, что воевали, погибли за родину? Они тоже космополиты?

— Где они воевали? — презрительно искривил губы Витковский.— В Ташкенте?

— А ты сам где был? В Сталинграде, да? — закричал Витька.— Небось с папой-мамой в Свердловске сидел!

— Подожди, Виктор, не в том дело,— остановил его Толя.— По-твоему выходит, и Яша Брук и другие ребята — тоже космополиты и у них нет родины?

За Толиным плечом Лешка увидел бледное лицо Яши.

Витковский заметил Яшу, отвернулся и так же пренебрежительно сказал:

— А что же!..

Толя сжал кулаки, но сдержался и сунул их в карманы.

— Тогда я скажу тебе, кто ты такой,— с яростной сдержанностью отчеканил он.— Ты — сволочь, Витковский!.. Яшин отец убит на фронте. Его мать, учительницу, немцы расстреляли около нашей школы... И он — человек, а ты — мразь!.. Пошли, ребята!

Лешка ожидал, что Яша бросится на Витковского, но Яша не только не дал Витковскому по его ухмыляющейся морде, но даже не попытался спорить. Он опустил голову и отошел. Яша Брук всегда отстаивал справедливость, а теперь, услышав подлость, смолчал. Почему? Почему Витковский говорит «они» с такой злобой? Откуда вдруг это взялось? Книги не отвечали на Лешкины вопросы, и, значит, книги не всегда могли помочь жизни. Вот не сумел же Яша отстоять себя, ответить Витковскому как следует...

Школа? В школе занимались только одним: учились. Но, если жизнь не укладывалась во все книжки, какие существуют на свете, где уж было втиснуть ее в школьные учебники! В школе были кружки, но они считали своей задачей только повторять то, что говорили учителя и ученики. А учителя непрерывно говорили об одном и том же: о дисциплине и учебе, об учебе и дисциплине.

На пионерских сборах тоже непрерывно говорили об учебе и дисциплине, только уже не взрослые, а сами ребята. То один, то другой пионер читал по тетрадке доклад на сборе, и, о чем бы он ни был, какой бы он ни был, дело всегда сводилось к тому, что нужно быть дисциплинированным и хорошо учиться. Пионеры непрерывно учили друг друга хорошему поведению и усердию. Помогало это плохо: то одного, то другого «прорабатывали» за неуспеваемость или баловство. Они произносили много торжественных слов, но слова эти были как бы сами по себе и не влияли на их поступки. Стоило им уйти со сбора, и они так же шумели и баловались, подсказывали и списывали, так же притворялись больными, не выучив урока, и радовались, если удавалось провести учительницу.

Детдом и воспитатели, школа и учителя подталкивали Лешку на торную дорогу. Лешка уже не упирался, идя по ней. Но во все стороны уходили, переплетались и вновь разбегались иные дороги и тропы, то гладкие, то изрытые, по ним шли другие люди. Лешка оглядывался, но ему говорили: «Рано, успеешь!», или: «Нехорошо, нельзя!»

Лешка шел по торной дороге и озирался по сторонам, раздираемый нетерпением, желанием увидеть, чтó там, на других, узнать, почему нехорошо и нельзя...

Отрочество! Незаметен шаг, неуловим момент, когда ребенок перешагивает его черту и от бездумной радости бытия переходит к затаенным раздумьям, настойчивым попыткам понять. В детстве радуются радостному, печалятся печальному, не понимая и не доискиваясь причин. Наступление отрочества — рождение сознания. Оно бесстрашно и беспощадно всматривается в мир — «Каков он?» — и в себя — «Зачем я?».

Обнеся чертой то, что, по их мнению, составляет круг детских интересов, взрослые с помощью книг, нотаций и даже наказаний пытаются удержать в нем детей. Но черта существует только в их воображении. Дети непрестанно перешагивают ее, а если им запрещают, делают это тайком.

Родители пытаются оградить детей от узнавания множества вещей. Но дети видят и узнают всё. Они видят смерть и горе, узнают любовь и ненависть, подлость и благородство, низменные поступки и высокие взлеты. В сущности, человек уже в отрочестве узнает жизнь и все, что в ней происходит. Потом он узнáет больше, точнее, будет думать и чувствовать тоньше, но никогда последующие высокие витки спирали не могут сравниться с первыми, отроческими, по которым он ковылял еще нетвердо и неуверенно, оступаясь и падая, с душой, потрясаемой то ужасом, то восторгом.

Мир ребенка не сýжен расчетливым делением на нужное, полезное и безразличное. Мир его неделим, в нем нет деления на м о е и н е м о е, всё — его и для него. В нем нет места получувствам, прихотливым смешениям удовольствий с огорчениями. Чувства здесь чисты и могучи. Никогда не будет так безутешен и возмущен человек в зрелом возрасте, как подросток, когда в его безоблачном мире появляется первая тень обмана. Ничто не приносит взрослому ликования и восторгов, равных испытанным в отрочестве. Не потому ли на склоне жизни он благоговейно вспоминает не удовольствия зрелых лет, а бесхитростные радости отрочества?..

27

Лешка не умел думать высокими, торжественными словами. Все его метания уложились в формулу, ему доступную, столь же краткую, как и емкую: «Скучно!»

Скучно стало убирать постель и дежурить по дому, скучно стало ходить в школу и учить уроки, скучно стало все вокруг — привычное, наперед известное!

Витька, которому Лешка сказал об этом, сразу согласился, что, правда, все скучно и надоело. Но Лешка начал разговор не для того, чтобы ему посочувствовали.

— Учиться! — сказал он.— Учиться — мало. Ну, вот в книгах герои разные — они ведь не ждали, пока их научат, всё сами узнавали. А почему мы должны ждать, пока нам скажут и научат?

— Правильно! Мы же готовимся к будущему,— сказал Витька и, повторяя чужие слова, добавил: — Будущее принадлежит нам, детям!

— Мы не дети!

— Ну да, конечно, но большие считают, что мы еще дети... Вот мы им и докажем!..

— Вовсе ничего не надо доказывать. Мы ведь не для того, чтобы задаваться, а для будущего...

— Погоди! Мы еще такое сделаем — ахнут!

Через два дня Витька с таинственным видом отозвал Лешку после уроков, переждал, пока ребята ушли вперед, потом оглянулся и решил, что улица — неподходящее место для серьезного разговора.

— Пошли в сквер.

В боковых аллеях снег укрывал дорожки нетронутой пушистой пеленой. Ветер раскачивал голые хлыстики кустов, ерошил перья нахохлившихся на ветках воробьев. Скамейки были убраны еще осенью, ребята сели на поваленную урну для мусора.

— Будем сами,— сказал Витька.— Будем все изучать и готовиться. Испытывать себя и закаляться. Я считаю, что нужно организовать такой кружок или общество...— Витька оглянулся по сторонам.— Вот как раньше делали, чтобы никто не знал... Все будут считать, что мы — как все, обыкновенные, а мы будем изучать и готовиться, и, когда дойдет до дела, окажется, что мы всё знаем и умеем.

— Да что знаем-то?

— Как — что? Ты кем хочешь быть? Я лично буду капитаном. А ты не хочешь?

— Нет, почему...— сказал Лешка.

Стать капитаном было неплохо, только он слабо верил в такую возможность.

— Так вот и будем готовиться. Читать всякие книжки, изучать морское дело, корабли, закалять волю и выдержку, чтобы ничего не бояться и никогда не отступать... Можно,

конечно, и в кружке юнморов на водной станции, только там что — в матросы готовят... Лучше самим!

— А зачем тайком?

— Ну как ты не понимаешь? Во-первых, интереснее... Кружок — все равно как школа, там все. А мы — сами. Никто не будет знать, а потом — вот, видали? — Витька вытянул ладонь, будто показывая грядущий эффект внезапного превращения их в капитаны.— Ну, а потом...— Он замялся.— Мало ли что... Вдруг не получится! Смеяться же будут!.. А так никто не узнает.

Лешка согласился: верно, в случае неудачи обязательно засмеют, лучше помалкивать.

— Нет, надо клятву дать, чтобы не проговориться... Название я уже придумал: «Будущее». Хорошо? Только лучше не по-русски, чтобы, если кто услышит, было непонятно. «Будущее» по-латински «футурум». Вот пускай и у нас будет «Футурум». Здо́рово, правда?.. Только надо еще девиз придумать.

— Какой девиз?

— Ну, это... как лозунг. Чего мы хотим. Понимаешь? Ну вот, как в средние века на гербах писали.

— Так сейчас же не средние. Выдумываешь ты!

— Ничего не выдумываю. Вон в «Двух капитанах» у Сани и Петьки была клятва: «Бороться и искать, найти и не сдаваться!» А у нас цель есть? Есть! Вот и надо, чтобы в девизе была сказана цель.

— «Будем капитанами!» — засмеялся Лешка.— Так, что ли?

— Ну, если ты будешь смеяться...—обиделся Витька.

— Ладно, не буду. Девиз так девиз, все равно.

— Я думаю, так: «Знать и уметь!» Ничего?

— Ничего. Только... надо же и делать?

— Тогда постой. Тогда вот как...

Витька отломил прутик и столбиком написал на рыхлом снегу:

В И Д Е Т Ь!
З Н А Т Ь!
У М Е Т Ь!
Д Е Л А Т Ь!

— Здо́рово, по-моему, а?

— Хорошо! — согласился Лешка.

Девиз был деловит и энергичен, как приказ.

— Только полностью писать не будем...— сказал Вить-

ка и старательно затоптал написанное.— А кого еще примем?

— Зачем — еще?

— Интереснее будет. А то что мы всё вдвоем да вдвоем... Как ты думаешь,— с притворным безразличием спросил он,— если Киру?

— Придумал! Что она понимает? И девчонок во флот не берут! Какие из них моряки?

— Не знаешь, а говоришь! А капитан дальнего плавания Щетинина? А эта... вот забыл только фамилию!.. Она капитаном в китобойной флотилии на Дальнем Востоке. Ого, еще какие капитаны!.. И Кира — ты зря на нее. Она развитая и очень интересуется...

Лешка сказал, что если Витьке нравится водиться с девчонками, пусть водится, это его дело, а капитанство здесь ни при чем. Он для того все и выдумал, чтобы чаще с ними быть, а Лешку это не интересует. Витька обиделся, и они поссорились.

Вся затея с обществом, девизом и секретами казалась Лешке детской, а привлечение Киры и вовсе делало ее легкомысленной. Потом Лешка остыл. В конце концов, не все ли равно, будет Кира или нет! Чем она помешает! И стоит ли из-за этого терять дружбу?

Через несколько дней Лешка подошел к Витьке и сказал, что он передумал — пусть Витька принимает кого хочет. Оказалось, тот хотел принять и Наташу Шумову. Он не потерял времени даром: Кира и Наташа были уже посвящены в тайну, а сам Витька изготовил герб общества и печать. Он вырезал их на резине, для чего отодрал с каблуков набойки. Дома удивились, как это обе набойки отвалились сразу, потом Соня ворча носила башмаки к сапожнику, чтобы поставил новые. Печать была простая — латинская буква «Ф», заключенная в кольцо, а герб даже красивый: по морю, ребристому, как рифленые шторы у магазинов, плыл, накренившись, парусник; по четырем углам стояли начальные буквы девиза.

Придумать торжественную клятву Витька не успел. Лешка сказал, что, по его мнению, обыкновенное честное слово лучше всяких клятв. Витька примирился с этим при условии, что слово дадут торжественно.

В том же сквере, в боковой аллейке, все четверо скрестили руки в едином рукопожатии и дали честное слово никому и никогда не выдавать ни «Футурум», ни его членов, ни то, что они делают или сделают... Лешке казалось, будто они разыгрывают самодеятельный спектакль, и он не

мог сдержать улыбку. Кира рассеянно проделала все, что требовалось, не придавая этому значения. Только Витька и Наташа держались как настоящие заговорщики: говорили торжественным шепотом и опасливо оглядывались.

Покончив с обещанием, Лешка сказал, что хватит разводить всякое такое, пора переходить к делу. Перейти к делу хотели все, но не знали, в чем оно должно состоять. Витька сказал, что летом они сделают поход на лодке. Он управлять парусом умеет, остальные научатся в походе.

— А пока будем изучать корабли,— сказал Витька.— Теоретически и практически. У меня есть книжка, и там описываются всякие.

— А практически? — спросил Лешка.— Море замерзло, в порту ни одного парохода.

— Ничего подобного! — сказала Наташа.— Около мола стоит. Тот, что немцы сожгли. Для начала годится. И около «Орджоникидзестали»... Там совсем большой пароход.

— Где ты тонул? — спросил Лешка.

— Ну да,— кивнул Витька.— Я — за. Только всем вместе ходить нельзя: очень заметно. Давайте разделимся по двое.

Решили, что Кира и Витька проберутся в порт на сгоревший барк, Наташа и Лешка — на взорванный пароход.

В воскресное утро Лешка, как условились, дождался Наташи возле школы. Ветер дул с востока, от «Орджоникидзестали» поднималось и распластывалось в небе широкое полотнище дыма. Не очень заметный в городе, ветер стал пронизывающим, как только они вышли на окраину. Перед ними лежала заснеженная луговина. Кое-где ветер сдул снег, обнажив выцветшую траву, в иных местах возвышались снежные наносы, присыпанные копотью и красноватой пылью.

— Как пойдем? — спросил Лешка.— Где-нибудь дорога, наверно, есть.

— Ну да, еще искать, обходить! — сказала Наташа.— Пошли напрямик — ближе.

Присыпанный пылью наст был тонок и непрочен, с хрустом подламывался, и они проваливались в рассыпчатый, будто толченый, снег. Лешка обходил наносы: идти было легче и снег не набивался в ботинки. Наташа несколько раз презрительно оглядывалась на Лешку и наконец сказала:

— Так ты закаляешься? Тут и снегу-то по щиколотки.

Снега было немного, но туфли Наташи то и дело погру-

жались в него, он таял на ногах, чулки Наташи стали мокрыми, потемнели. Ветер донимал ее, она поворачивалась к нему то одним, то другим боком, а то и спиной и шла вперед пятясь. Задетый замечанием, Лешка шел, не выбирая дороги, с усмешкой поглядывал на Наташу и ждал, когда она пожалуется на холод. Наташа не жаловалась. Упрямо закусив губу, она шагала напрямик.

Пароход, укутанный снежными сугробами, вздымал из-под них только ржавые трубы и рваные прутья поручней. У самого борта ребята провалились в сугроб по пояс. Лешка обозлился. И зачем он согласился на такую глупую выдумку! Что тут изучать — рваные трубы да обгорелые каюты?

В полузанесенных снегом каютах не было ветра, но казалось холоднее, чем наверху, словно стылое железо само излучало холод. Наташа впервые попала на пароход, с любопытством все разглядывала и расспрашивала Лешку. На мостике Лешка показал штурманскую рубку, объяснил, как в пустой ныне коробке нактоуза плавала прежде картушка компаса, как действует руль. Наташа тронула рукоятку щербатого штурвала — колесо скрипнуло и повернулось.

— О, работает!

Глаза Наташи вспыхнули, она встала к штурвалу и ухватилась за рукоятку:

— Командуй!

Команда раздалась снизу:

— А ну, слазьте!

На палубе стоял мужчина в коротком полушубке и, задрав голову, сердито смотрел на них.

— Вы чего залезли?

Наташа и Лешка спустились с мостика.

— Что вы тут делаете?

— Ничего,— ответил Лешка.— Мы просто посмотреть.

— Нечего тут смотреть! — так же сердито сказал мужчина в полушубке.— Расшибетесь, а потом за вас отвечай. Смотрельщики...

Они спустились с парохода, поднялись на берег к домику. Сердитый мужчина шел следом. Из трубы дома вился дымок. Он напомнил о домашнем тепле, и от этого сделалось еще холоднее. Наташа, выбравшись с запретной территории, осмелела:

— За что вы нас прогоняете? Мы ничего не делали.

— А может, сделаете, почем я знаю? Не положено посторонним, и всё.

Он подошел к двери домика, собираясь ее толкнуть, но Наташа не могла уйти, не оправдавшись:

— Мы ничего не собирались, просто пришли изучать. Мы пароходы изучаем.

— Кто ж их на кладбище изучает? Надо не покойника, а настоящий, живой. А тут что? Коробка, и всё.

— А вы сторож? — спросил Лешка.

— Капитан-шкипер,— усмехнулся человек в полушубке.

— Тут все время и живете? — с трудом двигая непослушными от холода губами, спросила Наташа.

— Тут...— Он внимательно посмотрел на нее, на Лешку и так же сердито, как на палубе, скомандовал: — А ну, идите греться, изучальщики!

Из открытой двери пахну́ло сухим жаром, устоявшимся запахом махорки и овчины. Маленькая железная печурка была раскалена докрасна, по ней, догоняя друг дружку, перебегали искры. Наташа и Лешка сели на табуретки поодаль, протянули к печке лиловые, непослушные пальцы.

— Ближе, ближе садитесь! — сказал шкипер.— Ты сними-ка да просуши чулки, красавица.

Наташа немножко постеснялась, потом сняла. Лешка повесил их над печкой, а туфли Наташи прислонил стоймя к ящику с углем.

— Ты бы тоже снял.

Лешка пошевелил в ботинках занемелыми пальцами, вспомнил, что у него на пятке носка дырка, и сказал, что ничего, он так.

— На чем же вы сядете? — смущенно сказала Наташа: она и Лешка заняли обе табуретки.

— У меня есть трон без износу...

Шкипер снял полушубок, присел на чурбак и подбросил в печку угля.

— А зачем его сторожить, если он потонул? — спросила Наташа.— Его же не украдут.— Она расстегнула пальто и уселась поудобнее, поджав по себя голые ноги.

— Как это — зачем? Государственное имущество. Полагается охранять, и всё. А украсть, конечно, не украдут. Он свое отработал.

— Он вокруг света плавал?

— Вокруг света? Нет, вокруг света не ходил. Куда ему, незадачливому! Пароходá — они как люди: тому везет, а другому нет. Раньше он как военный крейсер закладывался. Их четыре было, как братья одинаковые. Ну, там

вредительство, что ли, было какое, два забраковали, перестроили в танкеры. Только ни тому, ни другому не повезло. Один в шторм затонул под Туапсе, с этого сняли машины, водили на буксире, как баржу. Потом он в Керчи на свой якорь напоролся, и сделали из него базу, перекачную станцию в порту. А тут — война. Из порта вывели, сюда приволокли. Тут и остался... Куда его? Ни вывезти, ни разобрать... Немцы ему всю середку и разворотили. В сорок пятом еле подняли. Ну, пластырь — дело временное, он постоял, постоял и опять на грунт сел.

— Так и будет стоять?

— Стоять ему нельзя. Зачнут опять руду возить, а тут он поперек ковша торчит — ни повернуться, ни выйти... Уберут!

Наташа надела высохшие чулки. Туфли разогрелись и как будто стали еще более мокрыми. Она сказала, что добежит так. Ребята попрощались со шкипером и ушли. От домика в город вилась утоптанная тропинка. Ветер дул теперь в спину. Лешку не так донимал холод, но Наташа опять посинела — ноги в мокрых туфлях застыли.

— Стоило из-за этого мерзнуть! — сказал Лешка, когда они вошли в город.

— А п-по-м-моему, очень интересно,— стуча зубами, ответила Наташа.

— Пустое дело! Выдумывает Витька всякую ерунду...

Витькина экспедиция была еще неудачнее. По льду Кира и Витька добрались до сгоревшего барка. Железный корпус его почти был подо льдом, только устремленный к морю бушприт высоко вздымался над сугробами, будто силился вырвать мертвый корабль из ледового плена. Внутри коробки все выгорело и тоже было затянуто льдом; прямо изо льда поднимались ржавые стальные трубы мачт. Ветер пересыпа́л от борта к борту недавно выпавший снежок, мачты уныло и глухо отзывались на его порывы. Кира и Витька ушли ни с чем и на трамвае вернулись в город. Витька не оправдывался и не пытался спорить, когда Лешка напал на него. Насупливая густые брови, он признал, что придумано было плохо. Он расстроился еще больше, узнав, что Наташа не пришла в школу. Кира после уроков сбегала к ней. Наташа лежала с высокой температурой, врач сказал, что у нее грипп, но не исключено воспаление легких. Все это Кира выложила Витьке, безжалостно напирая на то, что Наташа промочила ноги во время похода — значит, в болезни Наташи виноват Витька, и никто другой. Огорченный и подавленный, Витька размышлял

о своей невезучести, о том, что все его затеи приводят к смешным или печальным неудачам. Потом он подумал, что великим начинаниям всегда сопутствовали трудности, а знаменитые люди потому и становились знаменитыми, что стойко переносили неудачи и не отступали перед трудностями. Отсюда легко было перейти к мысли, что неудачи выпали на Витькину долю не зря. Самое обилие их доказывало Витькину незаурядность и непременное торжество в будущем. Приободрившись, он принялся обдумывать дальнейшие шаги «Футурума» и пути его членов к славе. Следствием этих размышлений были записки, которые он сунул через день Лешке и Кире, вызвав их во время перемены на улицу. Кира получила две — одна предназначалась для Наташи.

— Что это? — спросил Лешка, развернув записку.

В ней не было ничего, кроме нескольких строчек, заполненных цифрами.

Витька оглянулся по сторонам и тихо сказал:

— Шифр.

— Зачем?

— Теперь насчет «Футурума» будем сообщать друг другу шифром. Чтобы, если кто увидит, не мог догадаться.

— Да зачем нам записки? Каждый день видимся, можно и так сказать.

— А! Ну как ты не понимаешь? — досадливо поморщился Витька.— Мало ли что — могут услышать...

— Опять ты детскую игру затеваешь — записки, шифры...

— Ну, знаешь,— обиженно надулся Витька,— это ты по-детски, а не я. Если тайное общество, так надо уметь хранить тайну. И потом,— рассердился он,— никто тебя не заставляет! Не хочешь — не надо! Обойдемся!

Кира не возражала против шифра, ее забавляла таинственность, которую напускал на все Витька. Витька объяснил, как расшифровать записку.

На уроке немецкого языка Лешка заложил ее в учебник, отвернулся от Тараса, сидящего рядом, и расшифровал. Записка сообщала, что чрезвычайный сбор «Ф» назначается в сквере Надежд в полдень воскресенья.

«Вот выдумщик! — рассердился Лешка.— Полчаса надо возиться, чтобы прочитать, а читать нечего...»

Он оглянулся по сторонам, спрятал записку в карман. Сидящий через проход Юрка Трыхно смотрел на доску. Тарас, шевеля губами, списывал в тетрадь упражнение. Лешка тоже принялся переписывать задание, но не успел

до звонка и задержался на несколько минут. Сунув тетрадь и книгу в парту, Лешка выбежал в коридор, где уже поджидал его Витька.

— Ну, прочитал?

— Прочитал. Если б знал, что такая чепуха, и возиться бы не стал! Очень нужно копаться! И что это за сквер такой? Где он?

— Это наш сквер! Помнишь, где мы первый раз про «Футурум» разговаривали? Ну, а я так назвал, чтобы... Да ведь неинтересно это, когда без всякого названия! А что, плохо, да?

— Нет, не плохо.

— Вот видишь!.. А записку сжег? Надо сжечь.

— Где я ее жечь буду? Порву, да и все.

Он полез в карман, пошарил в нем, потом полез в другой. Записки не было.

— Потерял?!

— Да нет, куда она денется...

Лешка вынул платок, вывернул карманы. Записки не было.

— Эх, ты! — презрительно сказал Витька.— Так тебе можно доверять?

Лешка побежал в класс. Дежурный Юрка Трыхно старательно вытирал мокрой тряпкой доску. Лешка заглянул под парту, сдвинул ее. Он хорошо помнил, что сунул записку в карман, но на всякий случай перерыл книжки и тетради, потом, глядя под ноги, прошел от парты к двери.

— Ты чего ищешь? — спросил Юрка.

— Ничего... А ты ничего не находил?

— Нет. А что?

Большие улыбчивые глаза Юрки смотрели спокойно и открыто.

Лешка, не ответив, ушел из класса.

— Нету?

— Нет,— пристыженно пожал Лешка плечами.

Витька насупился, помолчал, потом неожиданно улыбнулся:

— Ну, кто прав? Если кто нашел, все одно ничего не поймет... А ты говорил!

Воспоминание о потерянной записке возвращалось несколько раз, но Лешка не придавал ей значения и к концу дня забыл о ней.

На следующий день после большой перемены, когда прозвенел звонок и все сидели на местах, в дверях класса появилась Нина Александровна.

— Горбачев! — окликнула она.— Поди сюда.

Провожаемый удивленными взглядами товарищей, Лешка вышел за дверь.

— Мне... нам надо поговорить с тобой.

Следом за классной руководительницей он пошел в учительскую.

Учителя уже разошлись по классам, в комнате возле окна стоял только Гаевский. Он подождал, пока Нина Александровна сядет, плотно прикрыл дверь и сел за стол рядом с Ниной Александровной.

28

Викентий Павлович давно решил бросить курить. На папиросы уходила пропасть денег, стал донимать кашель, особенно по утрам. Просыпался рано, сразу же начинал кашлять и будил весь дом. И нервы начали сдавать: чуть что, нервически начинало дрожать левое веко, все труднее становилось сдерживать вспыльчивость. Для сосудов никотин — смерть. На щеках уже проступали багровые склеротические жилки. Врачи в один голос настаивали — бросать немедленно. Викентий Павлович без врачей знал, что бросать надобно, необходимо, твердо решил бросить и только со дня на день отодвигал исполнение решенного.

Теперь, когда решение было окончательным и назначен срок — завтрашний день,— каждая папироса стала особенно драгоценной. Придя с урока, Викентий Павлович забивался в угол, чтобы спокойно и сосредоточенно выкурить «отдохновенную».

Докурить «отдохновенную» во время большой перемены помешали. К столу, за которым, окутанный дымом, сидел Викентий Павлович, подошли Нина Александровна и Гаевский. Викентий Павлович не любил Гаевского и отвернулся к окну.

— Вот, полюбуйтесь,— многозначительно сказал Гаевский,— чем занимаются ваши подшефные.

— Ничего не понимаю. Цифры какие-то...

— Я тоже не понимаю. И ничего удивительного: записочка-то шифрованная!

— Что вы! — засмеялась Нина Александровна.— Просто какая-нибудь задача, головоломка, вот и все. Ребята поиграли и бросили. Мало ли чем они занимаются...

— Ну, знаете! Надо знать, чем они занимаются. Совсем не головоломка, и ее не бросили, а потеряли! Головоломку

не разыскивают так, как Горбачев искал эту записку. Он чуть не весь класс облазил...

— Так это у Горбачева? А откуда...

— Не играет значения, откуда я знаю,— прервал Гаевский.— Я бы на вашем месте вызвал Горбачева. Пускай объяснит, что это за записка.

Викентий Павлович покосился на стол. Перед Ниной Александровной лежал смятый листок бумаги, она в нерешительности смотрела на него.

— Вызвать нетрудно, только вдруг это пустяки какие, а я буду допрашивать...— Она подняла голову и встретилась взглядом с Викентием Павловичем.— Как по-вашему?

— Что такое? — досадливо поморщился он, взглянув на дотлевающий окурок.

— Да вот,— протянула Нина Александровна записку,— не знаем, что это — задача или...

Викентий Павлович взял записку. На ней было три строки цифр, вместо подписи стояла латинская буква «Ф», заключенная в кружок. Он посмотрел на обратную сторону:

— Похоже на криптографию. Когда-то я интересовался этим делом.

— На что похоже? — не понял Гаевский.

— Тайнопись. Шифр.

— Вот видите! — с торжеством сказал Гаевский.— А я что говорил?

Нина Александровна растерялась:

— Как же теперь?.. Он ведь не скажет...

— Что значит — не скажет? Скажет как миленький!

— Погодите,— остановил их Викентий Павлович, продолжая разглядывать записку.— Кажется... Если я не ошибаюсь, это проще пареной репы... Одну минутку! — Он начал что-то писать, потом оставил и сказал Гаевскому: — Дайте-ка, пожалуйста, вон с того стола алфавитную книгу.— Он пронумеровал буквы алфавита и, сверяясь с ним, начал переводить записку.— Ну конечно! Самый наивный и примитивный шифр из всех существующих... Младенческий, можно сказать. Вот, пожалуйста! — И он протянул Нине Александровне перевод записки:

«В ! З ! У ! Д !

Чрезвычайный сбор членов «Ф» назначается в полдень воскресенья в сквере Надежд.

Ф»

— Что это значит? — недоумевая, спросила Нина Александровна.

— Вот уж этого не знаю! — развел руками Викентий Павлович.— Какие-нибудь «сыщики-разбойники»... Шифр детский, почерк тоже... Словом, пустяки, ребята забавляются... Пошли на урок, звонят.

...Нина Александровна достала из кармана сложенную бумажку, расправила на столе и, придерживая, показала Лешке:

— Ты знаешь, что это такое, Горбачев?

Лешка, узнав Витькину записку, почувствовал замешательство, но тут же сообразил, что никто не видел у него записки, доказать ничего нельзя.

— Нет.

— Это не твоя записка?

— Я же говорю — нет. Если б моя, так я б знал...

— Так-таки ничего про эту записку и не знаешь?

Лешка отрицательно покачал головой.

— А зачем ты ее искал?

Лешке вспомнились открытые, ясные глаза Юрки Трыхно. Он перевел дух и, помрачнев, сказал:

— Откуда вы знаете, что́ я искал? Я вовсе не записку, а карандаш.

— Так... И что в ней написано, ты тоже не знаешь?

— Откуда я могу знать? Что, я ее писал?

— А кто ее написал?

— Что вы у меня спрашиваете? Не знаю я, и все!

— Хватит дурака валять! — жестко сказал Гаевский.— Говори правду. Ну! — прикрикнул он.

Лешка посмотрел на него, и ему показалось, что там, где обычно у Гаевского прятались улыбающиеся, близко поставленные глаза, сидят маленькие острые колючки.

— Вот что, Горбачев,— не дождавшись ответа, сказал Гаевский,— мы знаем, что тут написано. Мы знаем больше, чем ты думаешь... Да, да! — подтвердил он, поймав Лешкин, исподлобья, взгляд.— Но мы хотим, чтобы ты сам рассказал обо всем. Если расскажешь, ни тебе, ни твоим товарищам ничего не будет. Ну, а если будешь запираться, отрицать, дело кончится плохо. Оч-чень плохо!.. В твоих интересах рассказать нам всю правду. Разве мы хотим тебе зла?

Гаевский переменил тон, старался говорить задушевно, колючки шарили по Лешкиному лицу, и тот не поверил задушевному тону.

— Что такое «Ф»? Кто ее члены?

Кончики Лешкиных ушей начали гореть.

— Да чего вы ко мне пристали? Не знаю я ни про какое «Ф»...

— Смотри, Горбачев! — угрожающе сказал Гаевский.— Говорить мы тебя заставим. Ты еще раскаешься и пожалеешь, только потом будет поздно...

— Чего мне каяться, если я ни в чем не виноват? — с вызовом посмотрел Лешка в сверлящие колючки Гаевского.— Я пойду в класс.

— Никуда не пойдешь!

— Подожди, Горбачев,— сказала Нина Александровна.— Зачем ты упрямишься? Расскажи нам все, что знаешь, тогда и пойдешь заниматься.

— Ничего я не знаю, нечего мне рассказывать,— сказал Лешка и нарочно стал смотреть в окно, чтобы они видели, что он ничего не боится.

— Пойдемте к Галине Федоровне,— сказал Гаевский.— Оставлять так нельзя.

Из-за дверей классов доносились неясные голоса учителей. За дверью Витькиного класса послышался смех и тотчас стих.

Уборщица мела в коридоре пол. Она посторонилась, покачала головой, увидев, как между пионервожатым и учительницей идет на расправу к директору очередной баловник. Они прошли, уборщица опять стала мести.

Рыхлая, стареющая женщина в очках сидела за столом, читала какую-то бумагу и делала в ней пометки толстым красным карандашом.

— Можно к вам, Галина Федоровна? — спросила Нина Александровна, приоткрывая дверь.

Галина Федоровна зажала пальцем строку, подняла голову и сняла очки:

— Кто там? В чем дело?

Гаевский подошел к столу, положил перед директором Лешкину записку и перевод:

— Вот, посмотрите, чем наши школьники занимаются! Шифровочка!..

Галина Федоровна прочитала записку, подняла глаза на Гаевского.

— Шифр, условное место встречи, все как полагается. Вы понимаете, что это значит?..

Подбородок директора дрогнул.

— Вот он потерял, Горбачев, из шестого «Б»... Нам ни в чем не признается. Спросите его сами.

— Подойди, Горбачев. (Лешка подошел к столу). Это

твое? — протянула Галина Федоровна руку к записке, но не дотронулась, будто боялась обжечься.— Откуда это у тебя?.. Отвечай, когда спрашивают!

Она говорила строгим голосом, брови ее сердито хмурились, но Лешка видел, что в прыгающих глазах у нее не гнев, а страх.

— А что мне отвечать? Я ничего не знаю и не буду говорить...

— Нет, как вам это нравится?! — возмущенно воскликнула Галина Федоровна.— Он не будет говорить!

Она с негодованием посмотрела на Нину Александровну и Гаевского. Нина Александровна тоже выразила на лице негодование, а Гаевский сидел с таким зловещим видом, что подбородок у директора затрясся.

— Сейчас же выкладывай все! Слышишь?

Лешка исподлобья посмотрел на нее, переступил с ноги на ногу и сказал:

— Что вы на меня кричите, если я ни в чем не виноват?

— Он еще будет...— начала Галина Федоровна и осеклась.— Хорошо, Горбачев,— сказала она, помолчав,— я первая буду рада, если ты не виноват, потому что это такое... такая... тень на школу, что...— Голос ее дрогнул, она снова замолчала.— Если ты ни в чем не виноват, тебе нечего бояться и незачем скрывать то, что ты знаешь. Этим ты только навредишь себе, своим товарищам и школе... Я тебя не принуждаю, а прошу: помоги нам разобраться во всем для твоей же пользы. Иди сюда, садись и расскажи все, что ты знаешь об этой записке...

Лешка не сел и продолжал молчать.

— Может быть, тебе ее дали не в школе, а где-нибудь на стороне? — с надеждой в голосе спросила Галина Федоровна.— Неужели ты не любишь своих товарищей, тебе не дорога школа, ее честь? Ты хочешь подвести всех нас?

Галина Федоровна подождала ответа, потом сухо сказала:

— Иди на урок. И чтоб завтра твой отец пришел в школу!

— У него нет родителей,— сказала Нина Александровна.— Он из детдома.

— Тогда пусть придет директор. Напишите записку, Нина Александровна, я подпишу. И передайте через когонибудь другого.

— Шо там таке? — прошептал Тарас, когда Лешка вернулся в класс и сел на место.

Лешка не ответил Тарасу. Опершись скулами о сжатые

кулаки, он смотрел на парту и думал, что́ теперь будет и что́ скажет Людмила Сергеевна.

Прозвенел звонок, ребята повскакали с мест:

— Что? Что такое, Горбачев? Зачем вызывали?

Лешка отодвинул их рукой и шагнул через проход к парте Юрки Трыхно. Тот очень сосредоточенно и старательно перекладывал в ящике парты тетради и книжки.

— Так ты ничего не находил? — спросил Лешка.— И записку не видел?

Юрка поднял на него большие, открытые глаза.

— Нет, ничего,— ответил он.

Юрка не покраснел, не смутился, но по тому, как еле уловимо дрогнули, покосились куда-то в сторону его глаза, Лешка понял, что выдал его он. Юрка тоже догадался, что Горбачев понял, и, не сводя с него глаз, начал отодвигаться, отстраняться от него. Лешка, не замахиваясь, ударил его по лицу раз и другой.

— Стой! Что ты? За что? — схватили его ребята и оттащили от Юрки.

По щекам Юрки торопливо побежали крупные слезы, они стекали в полуоткрытый трясущийся рот, и он торопливо слизывал их языком, не сводя с Лешки все таких же открытых и правдивых глаз. Юрка не возмущался, не оправдывался, и потому, что он не делал ни того, ни другого, Лешка окончательно убедился, что записку подобрал и передал Юрка. И тут же он понял, что выдал себя. Прежде он мог все отрицать, отпираться от записки — никаких доказательств, что она принадлежала ему, не было. Сказанное Юркой можно было оспаривать и не признавать. Избив Юрку, он доказал свою виновность. Если он не знал о существовании записки, не имел к ней отношения, за что же тогда бить Трыхно?!

Лешка вырвался и выбежал из класса. Чтобы не отвечать на расспросы, он на улице дождался, пока позвонят на урок, и вошел в класс вместе с учителем. На перемене он хотел опять убежать, но Тарас, Сима и Жанна удержали его; подошел Яша и другие детдомовцы.

— За шо ты ударил Трыхно? — спросил Тарас.— Яка то была записка?

— А какое вам дело? — огрызнулся Лешка.

— Як то — какое дело? — сказал Тарас и оглянулся на товарищей.

Лешка увидел встревоженное лицо Киры. «Боится!» — презрительно подумал он и сказал вслух:

— Ничего я не скажу!

Митя оглянулся — их начала окружать толпа школьников.

— Хватит, ребята! — сказал он.— Дома поговорим.

Лешку оставили в покое, но и на переменах и на уроках он ловил на себе недоумевающие взгляды. Чтобы не встречать этих взглядов, он смотрел на парту или на доску, не понимая написанного, не слыша того, что говорят ученики и учитель. После уроков он отделился от ребят, старался идти медленнее, чтобы отдалить разговор с Людмилой Сергеевной. Его догнал запыхавшийся, озабоченный Витька:

— Где ты пропадал? Целый день не было... Тебя к директору вызывали?

— Ага.

— И Трыхно морду набил?

— Набил. Мало! — с сожалением вздохнул Лешка.— Это он записку передал.

— Он сам сказал?

— Нет. Да уж я знаю!

— Ну и что?

— Сначала классная руководительница и Гаевский допытывались, грозили, потом директор... Теперь Людмилу Сергеевну вызывают.

— И чего они так перепугались?

Лешка промолчал.

— Что ж теперь будет, а? — растерянно спросил Витька.

— Не знаю. Да уж что будет...

Он оглянулся и увидел на лице Витьки страх.

— Не бойся, не выдам! — горько усмехнулся Лешка.

— Да вовсе я не боюсь! — сдавленным голосом сказал Витька.

Это была неправда: он испугался. Не за себя. Что будет, если дознаются о его участии и сообщат отцу?.. Витька редко вспоминал, как из-за него — он был убежден, что из-за него,— заболел отец после Витькиного столкновения с Людмилой Сергеевной. Сейчас все вспомнилось с такой страшной отчетливостью, будто случилось не два года, а два часа назад.

Лешка не знал о Шарике, болезни Витькиного отца и не понимал причины испуга товарища, но ясно видел, что Витька боится. Наташа болела — она в счет не шла. Испуг Киры был в порядке вещей, другого Лешка от нее не ждал. Но оказалось, что и Витька, друг и товарищ на всю жизнь, тоже боится. Лешка оставался один, ему одному приходилось брать все на себя, отвечать за всех.

Митя протянул Людмиле Сергеевне пакет из школы, подождал, пока она прочитала записку, спросил:

— Насчет Горбачева?

— Да. Что там случилось?

— Я сам хотел поговорить... У Горбачева нашли какую-то записку, вызвали к директору. А он потом побил Трыхно, из своего класса. Вроде за то, что тот передал записку... Это, конечно, подло со стороны Трыхно, но драться же нельзя! Опять будут говорить, что детдомовцы задираются... Может, его на совет? Пускай объяснит, в чем дело.

— Потом, Митя, на совет успеем. Позови его сюда.

— Ну, что ты опять натворил? — спросила Людмила Сергеевна, когда Лешка вошел.

Лешка придумал целую речь. Из нее очень ясно и убедительно следовало, что он ни в чем не виноват, а что касается Трыхно — ему следовало еще и не так дать... Но стоило ему войти в кабинет — вся его прекрасная речь вылетела из памяти, от нее осталась только одна фраза:

— Побил Трыхно.

— О Трыхно потом. Зачем тебя вызывали к директору?

Лешка сглотнул переполнившую рот слюну и опустил голову.

— Какую у тебя нашли записку?.. Почему ты молчишь? Это что, секрет?

Лешка кивнул.

— Допустим. Однако Галина Федоровна уже знает твой секрет и, конечно, расскажет мне.

— Ничего она не знает! И какое ей дело? Я ничего такого не делал!

— В записке ничего плохого не было?

— Нет.

— А что в ней?.. Ну что ты молчишь? Все равно она мне покажет!

— Она шифром была написана, вот они и пристают...

— Шифром?.. Что же в ней было?

Лешка сказал.

— А что это значит?.. Да что мне, клещами из тебя каждое слово тянуть? — рассердилась Людмила Сергеевна.

Лешка посмотрел ей в глаза и сказал:

— Вы лучше меня не спрашивайте, я все равно не скажу.

Людмила Сергеевна потерла пальцами внезапно заболевшие виски:

— Я думала, Алеша, мы с тобой друзья, ты мне доверяешь, а оказывается — нет.

Лешка посмотрел на нее исподлобья и опять опустил глаза. Ну как же она... Всегда все понимала, а теперь не хочет понять!.. Он прерывисто вздохнул.

— Разумеется,— сказала Людмила Сергеевна,— это не только твой секрет. Я не знаю, что такое «Ф», но раз там речь идет о членах, значит, есть и другие... О них я говорить не могу, не знаю. Но ты, наверно, тоже член этого «Ф»? Вот завтра мне директор скажет, что у Горбачева нашли такую записку, и если он боится рассказать...

— Вовсе я не боюсь, а не имею права! Я же слово дал!.. Вы сами всегда говорили, что слово надо держать...

— Да,— вздохнула Людмила Сергеевна.— Слово надо держать...

— Людмила Сергеевна! — горячо сказал Лешка.— Вот честное слово. Если бы что плохое, я бы сам рассказал. Ничего плохого я... мы не делали! Я б вам все рассказал, вы бы увидели, только я не могу — я же дал честное слово! И пусть делают, что хотят,— я все равно не скажу! — крикнул он и выбежал из кабинета.

Людмила Сергеевна решила больше не допытываться. Успокоившись, мальчик сам расскажет тайну, которую сейчас так горячо оберегает. В том, что она не содержала ничего ужасного, Людмила Сергеевна не сомневалась. Значительно больше ее тревожила драка Лешки с одноклассником. Невозможно, конечно, чтобы мальчишки выросли без стычек, но не слишком ли много их у Горбачева? Чего доброго, привыкнет к кулачной расправе как к единственному способу доказывать свою правоту...

С утра пришлось заниматься хозяйственными делами, ходить по всяким «торгам» и требовать выполнения разнарядок, потом с бухгалтером и завхозом сверять счета. О Горбачеве Людмила Сергеевна вспомнила только вечером и пришла в школу, когда уроки закончились.

Галина Федоровна была в кабинете не одна. Рядом с ней, не опираясь на спинку стула, сидела необыкновенно прямая и строгая Елизавета Ивановна. Против двери сидели Гаевский и Нина Александровна. В углу около окна клубился дым. Там Викентий Павлович, глядя в стол, что-то чертил карандашом. «Пирамиды рисует»,— подумала Людмила Сергеевна. На всех заседаниях Викентий Павлович рисовал одно и то же: пирамиды и сфинкса. У сфинкса было удивленное и жалобное лицо, будто он спрашивал: «Сколько еще это будет продолжаться?» Каждый раз Люд-

мила Сергеевна собиралась узнать, к чему относится жалоба сфинкса — к пребыванию среди песков или к заседанию,— и каждый раз забывала.

Галина Федоровна сухо поздоровалась с Людмилой Сергеевной и сказала:

— Садитесь, пожалуйста. Кстати пришли, мы только начали...— Она нервно поправила задравшуюся красную скатерть и, оглянувшись на Елизавету Ивановну, продолжала: — Это кладет тень, пятно на всю школу... и неизвестно, чем кончится. Мы решили обсудить, посоветоваться... Расскажите, Нина Александровна...

Классная руководительница шестого «Б» волновалась. Она тревожилась за Горбачева и боялась за себя. Класс она приняла только в этом году, но все равно ответственность лежала на ней. Нина Александровна потрогала горящие щеки и виноватым голосом рассказала о том, что найдена записка у ученика шестого «Б» Горбачева. В записке назначается сбор какого-то «Ф» и указано условное место сбора. Хуже всего, что записка написана шифром. Она и старший пионервожатый не могли сами прочитать, и только Викентий Павлович помог разобраться...

— Ерунда! — раздалось из угла, окутанного дымом.

Все оглянулись на этот угол и опять повернулись к Нине Александровне.

— Нет, не ерунда, Викентий Павлович! Я тоже думала, что ерунда, а выходит — совсем не так. Я и товарищ Гаевский разговаривали с Горбачевым — он ни в чем не признается. И Галине Федоровне ни в чем не признался...

— Да, может, это не его записка?

— Нет, его! — сказал Гаевский.— За что он тогда избил Трыхно? — Гаевский победительно оглянулся.— Давайте спросим самого Трыхно. Я нарочно его задержал...— Гаевский приоткрыл дверь в коридор.— Юрик! Зайди сюда...

Трыхно бочком вошел в дверь, поздоровался и окинул всех ясным, открытым взглядом.

— Горбачев бил тебя вчера?

— Ага,— вздохнул Трыхно.— Два раза. То есть два раза ударил...

— За что?

— Он догадался, что я передал записку.

— Вот эту?

— Ага.

— А как же ты ее нашел?

— Я еще на уроке видел, как он читал и прятал. А

когда из класса уходил, у него из кармана выпала. Я посмотрел — там непонятное. Я тогда взял и отдал Якову Андреевичу. А Горбачев догадался и начал меня бить...

Юрка снова обвел всех большими, правдивыми глазами. Людмила Сергеевна смотрела на него с неприязнью. Тихоня, округлое безмятежное лицо, чубик полубокса, ямочки на щеках. И ни капли смущения. Таким был, наверно, и с Горбачевым. Наверно, всегда такой: что бы ни сделал — ни тени неловкости, ни проблеска стыда. Увидел записку и не сказал тут же, при всех, а побежал наушничать... Уже сейчас двуличен и бессовестен. Сколько ему? Тринадцать? А что станет с ним потом?..

— Не бойся,— сказал Гаевский,— больше он тебя бить не будет.

В углу послышалось невнятное ворчанье. Все опять оглянулись, но ворчанье смолкло.

— Можешь идти домой,— сказала Галина Федоровна.

Трыхно вышел.

— Как же теперь быть? — спросила Нина Александровна.— Надо что-то решать. Нельзя же так оставить, чтобы ребята вышли из-под надзора...

Елизавета Ивановна что-то шепнула Галине Федоровне, та кивнула и сказала Людмиле Сергеевне:

— Горбачев живет в вашем доме. Что вы о нем скажете?

— Да, я скажу... Мне кажется, поторопились с этим делом. Ведь ничего не известно, что же обсуждать? Надо прежде выяснить, а здесь мы ничего не выясним. И получится, что мы что-то будем говорить и решать, лишь бы себя застраховать — вот, мол, мы обсудили... А дело ведь не в этом! Я не знаю, что это за организация и есть ли она. Может, ничего подобного нет, а просто какая-то ребячья выдумка, я почти уверена в этом... Почему? — повернулась она к Гаевскому, задавшему вопрос.— Потому что знаю Горбачева, знаю его историю. Это очень трудный характер, замкнутый, но мальчик он честный, прямодушный. Правда, пока он и мне не рассказал, но он дал мне честное слово, что ничего дурного за этим нет. И я ему верю...

Елизавета Ивановна насмешливо улыбнулась.

— Я знаю Горбачева,— продолжала Людмила Сергеевна,— и потому спокойна. Я уверена, через некоторое время, если его не дергать, он сам все расскажет, и мы убедимся, что ничего страшного нет...

— Извиняюсь! — резко сказал Гаевский.— Мы будем нянчиться с Горбачевым, а *они* — действовать? *Они* заме-

тут следы, а когда Горбачев начнет откровенничать, будет поздно...

Людмила Сергеевна вспыхнула и едва не пустила ему «дурака». Сейчас она видеть не могла его худую физиономию, со втянутыми щеками и лихорадочно поблескивающими глазками.

— Меня не удивляет...— сказала Елизавета Ивановна и подождала, пока все головы повернутся к ней,— меня не удивляет, что в этом деле замешан Горбачев и что директор дома, где он живет, проявляет такое спокойствие.

Она говорила неторопливо и даже как бы торжественно. И, хотя она ни разу не взглянула на Людмилу Сергеевну, та очень хорошо чувствовала и понимала, что Елизавета Ивановна торжествует.

— Я умышленно употребила слово «живет» а не «воспитывается», потому что, к сожалению, о воспитании в этом детдоме говорить не приходится. Я работала в этом детдоме — правда, очень недолго, но достаточно, чтобы познакомиться с порядками в нем. Горбачев очень испорченный подросток, и меня нисколько не удивляет его участие в этом скверном, а может быть — мы еще не знаем! — очень вредном и опасном деле. Мы, советские педагоги, не можем относиться безразлично к тому, что делают дети вне школы, вне нашего надзора. Более того: мы несем ответственность за то, что́ они делают! — значительно подчеркнула Елизавета Ивановна.— Я имела возможность наблюдать, с каким спокойствием товарищ Русакова относится к тому, что происходит в детском доме... Товарищ Русакова и сейчас спокойна. Вот такое спокойствие, а вернее — равнодушие, и приводит к подобным фактам... Но об этом — особый разговор, и происходить он будет не здесь. Что касается дела Горбачева, то, мне кажется, школа не может стоять в стороне от него, она должна высказать свое мнение по этому поводу.

Людмила Сергеевна возмущенно вскочила, чтобы ответить, но Галина Федоровна остановила ее.

— Пожалуйста, Яков Андреевич.

Гаевский встал, собрал в горсть рассыпающиеся волосы и прижал их к затылку.

— Допустим, товарищи,— сказал он,— что директор детского дома права и ничего такого,— покрутил он в воздухе растопыренной пятерней,— здесь нет. Посмотрим на факты, товарищи. Каковы эти факты? У нас для детей — все. Им обеспечено счастливое будущее, о них заботятся, их учат, воспитывают. Нам поручили воспитывать молодежь,

и мы ее воспитываем в духе беззаветной преданности. Так, товарищи? А тут появляется какая-то особая организация. Почему? Я думаю, это не случайно, товарищи!..

— Конечно! — раздался от окна раздраженный голос Викентия Павловича.— Развели зеленую тоску, вот они и начали выкамаривать...

— Что вы хотите сказать? — повернулся к нему Гаевский.

— То, что сказал. Скука у вас! Скука зеленая!

— Конечно, в нашей работе есть недостатки... Мы их сможем исправить при помощи педагогов, но я что-то не замечал, чтобы вы, Викентий Павлович, помогали мне в работе!

Решив, что Викентий Павлович сражен этой репликой, Гаевский опять собрал волосы и придержал их на затылке, собираясь продолжать. Но Викентий Павлович не был сражен. Сначала с удивлением, потом с возрастающим возмущением он слушал, как здесь произносили всякие страшные слова, сами их пугались и начинали говорить еще страшнее. Гаевского он не любил и не уважал, решив после нескольких кратких бесед, что человек он ограниченный, малограмотный, прикрывающий малограмотность свою умением произносить по любому поводу трескучие фразы. Шифрованной записке Викентий Павлович не придал никакого значения и тотчас забыл о ней. Узнав, что из-за нее придется задержаться, пожал плечами и чертыхнулся: он устал и хотел есть. Увидев теперь, как раздувают из нее дело, возмутился окончательно.

— Это в чем я вам должен помогать? — нахмурив густые седеющие брови так, что они стали торчком, сверкнул он глазами на «пустобреха», как называл про себя Гаевского.— Докладчиков из детишек делать? Они же у вас все докладчики! Этакие сопливые старички... Вот облысеют, животы отрастят, пусть тогда и становятся докладчиками. А сейчас они дети! Понимаете? Дети! Им нужно играть, веселиться, выдумывать, а не заседать...

— Па-азвольте! — почти закричал Гаевский, перебивая Викентия Павловича. Всегда бледное лицо его побледнело еще больше.— Па-азвольте, товарищ Фоменко! Это что же они должны выдумывать? Тайные организации? Шифровочки? И вы это одобряете, к этому призываете?.. А вы знаете, кто стоит за этой организацией, кто ее направляет? А что, если за ней шпана, уголовники или еще какой элемент?! Но допустим, там никого нет. Мы воспитываем подрастающую смену в свете вышестоящих указаний. А вот

товарищ Фоменко не согласен. Мне лично неизвестны указания, что пионерская организация работает плохо. Советскую власть она устраивает, а товарища Фоменко не устраивает. Он считает, что пионерская организация, созданная Советской властью,— подчеркнул Гаевский,— работает плохо. Вы понимаете, против чего вы выступаете?! — вздымая указательный палец, почти закричал Гаевский.

Викентий Павлович побагровел, левое веко задергалось. Столкновения с демагогами вызывали у него приступы ярости. Он закрыл глаза, боясь, что она прорвется и сейчас.

— Молчите? — торжествовал Гаевский.— Нет, отмолчаться вам не удастся!

Ярость прорвалась.

— Молодой человек! — Викентий Павлович поднялся и сжатыми кулаками оперся о стол.— Я Советскую власть изучал не по газетам. Я за нее воевал. Дважды. Я не против Советской власти и пионерской организации. Я против трусов, которые ничего не понимают ни в той, ни в другой и той и другой мешают воспитывать детей... Вам бы не пинкертоновщину разводить, а поучиться и подумать, чего хотят дети, что им нужно. Но учиться вам лень, а думать вы не умеете и не хотите...

— Вам не удастся! — крикнул Гаевский. Он не знал, что такое пинкертоновщина, и потому оскорбился сверх всякой меры.— Вам не удастся замазать! Мы проявляем бдительность, а вы замазываете? Это ва́м так не пройдет! У вас еще спросят, почему вы их так горячо защищаете!..

— А вы и на меня дело заведите! Донесите на меня, как вам этот сопляк донес на Горбачева...

Галина Федоровна давно уже поднимала руку, стучала по графину:

— Викентий Павлович! Да что это такое?! Тише, товарищи!

Она попыталась сгладить, замять ссору. Конечно, сказала она, в деле Горбачева нужно разобраться в самый короткий срок. Горячность споривших свидетельствует о том, что они очень близко приняли все к сердцу и, конечно, найдут общий язык.

Викентий Павлович сердито фыркнул, услышав о надеждах на «общий язык», и стал одеваться. Галина Федоровна извиняющимся тоном сказала несколько слов Елизавете Ивановне, потом подошла к нему.

— Ну что это вы скандал такой устроили? — укориз-

ненно зашептала она.— Да еще при инспекторе. Какое у нее мнение будет о коллективе?

— Наплевать! — буркнул Викентий Павлович.

— Вам наплевать, а мне каково? Спросят не с вас, а с меня. Неизвестно, как обернется для школы эта история, а вы еще затеяли ругань. Какими глазами я теперь должна смотреть...

Викентий Павлович, уже надевший пальто, схватил палку, будто собирался пустить ее в ход.

— Вы о себе думаете,— громко, на весь кабинет, сказал Викентий Павлович,— а надо, извините, о детях думать! Да-с! — и со стуком стал вколачивать башмаки в калоши. Порванная подкладка на заднике подвернулась, ботинок не лез в калошу, и Викентий Павлович рассердился еще больше.— О детях! Красивые слова говорить умеем, а доходит до дела — в кусты! О себе заботимся! — и, пристукивая палкой, вышел, не обратив внимания на оскорбленное лицо директора.

Толстую, узловатую палку он завел когда-то давно из щегольства и для солидности. Она не была ему нужна и теперь — слабым он себя не чувствовал, но к палке привык и всегда ходил с ней. Заново переживая только что разыгравшуюся ссору с «пустобрехом» и «трусливой клушей», как тут же окрестил он Галину Федоровну, Викентий Павлович сердито ерошил стоявшие торчком брови и колотил палкой по стволам деревьев, словно это были не стволы, а «пустобрех» и «клуша».

30

Людмила Сергеевна никак не ждала, что история с запиской примет такой оборот. Перестраховщик Гаевский затеял дело, перепуганная Галина Федоровна не в состоянии погасить его, а Дроздюк, конечно, поможет раздуть, чтобы насолить ей, Людмиле Сергеевне. В изображении Дроздюк она оказывалась если не прямой, то косвенной виновницей. Скоро обнаружилось, что так думает не одна Дроздюк. Курьерша гороно принесла записку, в которой заведующая предлагала Людмиле Сергеевне немедленно явиться в гороно. Объяснение было долгим и очень неприятным. Заведующая почти теми же словами говорила то же, что и Елизавета Ивановна. Новым было одно: оттого, что Ольга Васильевна была дальше от дела Горбачева, меньше знала о нем, оно, как это всегда бывает, казалось ей еще более серьезным. Дроздюк лишь глухо и неопределенно

угрожала, Ольга Васильевна говорила об ответственности Людмилы Сергеевны прямо и жестко, будто уже было доказано, что виновата во всем она одна и ей придется отвечать за это по служебной и партийной линии.

Людмила Сергеевна возмущалась, говорила, что это бред, Гаевский и другие делают из мухи слона, но слова ее повисали в воздухе: доказательств не было. Доказательств не было и у тех, кто затеял дело, но их это не смущало. Прямо какая-то дичь! Не доказав виновности, от нее требовали доказательств невиновности и отсутствие их изображали как доказательство вины. Черт знает что: боятся недобояться...

Однако доказательства были необходимы, и дать их мог только Горбачев. Хватит миндальничать! Он корчит из себя рыцаря, а ей будут трепать нервы?..

Людмила Сергеевна вернулась к себе, решив сейчас же узнать у Горбачева все, и послала за ним. Вместо Горбачева пришла Ксения Петровна и сказала, что Горбачев из школы не вернулся, книги его принес Тарас.

— Этого еще не хватало!

Тарас рассказал, что в школу они шли вместе. Горбачев был, в общем, ничего, только хмурый. Во время первой перемены к нему подошла классная руководительница и что-то сказала ему. Он про то никому ничего не сказал, а потом куда-то девался, никто и не заметил когда. Пальто и шапки его в раздевалке не оказалось, а книжки и тетради Тарас принес домой.

— То правда, шо его из школы выключат? Хлопцы говорят, что выключат обязательно.

— Глупости какие! — рассердилась Людмила Сергеевна и отослала Тараса.

Она совсем не была уверена, что это глупости, и побежала в школу. Нина Александровна не знала, куда девался Горбачев. Она только предупредила его, чтобы он, когда начнется урок, опять пришел в канцелярию, но Горбачев не явился, а ушел совсем. Может быть, и убежал.

Когда Горбачев исчез, Гаевский окончательно уверился, что дело чрезвычайно серьезно, и поглядывал на всех с мрачным ликованием. Теперь никому не удастся замять это дело, вскрытое благодаря его, Гаевского, бдительности.

Людмила Сергеевна пыталась поговорить с Галиной Федоровной, но та, напуганная зловещими намеками Гаевского и тоном, в котором разговаривала с ней утром заведующая гороно, даже радовалась исчезновению Горбачева. Оно казалось ей признаком того, что организация суще-

ствует где-то на стороне, и тем самым угроза, нависшая над школой, то есть над ней, Галиной Федоровной, становилась меньше. С Людмилой Сергеевной она разговаривала неприязненно, невольно распространяя на нее вину Горбачева и видя в ней причину неприятностей для себя.

Ничего не узнав, Людмила Сергеевна вернулась домой. Горбачева не было. Прошло уже много часов с тех пор, как он исчез. Ребята встревожились. Ей казалось, что она замечает в глазах у них осуждение ей, Людмиле Сергеевне: как она могла допустить, чтобы Лешка Горбачев убежал, и почему она ничего не делает, чтобы разыскать его? Людмила Сергеевна попросила Ксению Петровну сходить в милицию и сообщить о бегстве Горбачева, спросить, не знают ли там что-нибудь.

С Ксенией Петровной, со всеми она говорила о бегстве, только о бегстве, и себе не позволяла думать ни о чем другом. Но как ни старалась она отгонять мысли об этом «другом», они возвращались, становились все упорнее и отчетливее. От таких подозрений взрослому впору растеряться, а ведь тут мальчишка!

Ксения Петровна вернулась. В милиции ничего не знали, обещали принять меры.

Людмила Сергеевна, будто по делу, заходила в комнату для занятий, в спальни. Ее встречали настороженные взгляды и выжидательное молчание. Каждый раз она замечала, что особенно пытливо и настороженно смотрела на нее Кира. Людмила Сергеевна через силу улыбалась, делала вид, что ничего не случилось, спрашивала о чем-то, что-то говорила, не слыша ответов и плохо понимая, что она сама говорит.

Наступал вечер, вместе с гаснущим светом таяли надежды на возвращение Горбачева. Людмила Сергеевна заставляла себя думать, что ничего ужасного не произошло. Иззябнет, проголодается и вернется...

Но они же не оставят его в покое! Опять Гаевский будет допрашивать, угрожать... Он ведь трус. Потому пугает, что сам боится. Самые жестокие люди — это трусы... Они Горбачева доведут... Бог знает до чего могут довести! С этим нельзя, невозможно мириться, надо бороться, принимать меры...

Гаевский запугал директора школы, эта мороженая вобла Дроздюк запутала и тоже напугала Ольгу Васильевну... С перепугу начали городить дело... И получилось черт знает что! Шутка сказать: возводить на мальчишку такое обвинение... Нельзя ждать, надо... в горком партии,

к Гущину! И не одной. Не только она — Фоменко тоже возмущается. Как он этого болтуна отхлестал! Надо с ним идти, обязательно с ним! И не откладывать...

Людмила Сергеевна решительно схватила пальто, начала одеваться. В дверь тихонько постучали.

— Кто там?.. Ты что, Кира?

Кира прикрыла за собой дверь.

— Ты что-нибудь хочешь сказать?.. А нельзя потом? Мне надо уходить...

Вместо ответа Кира отвернулась к стене, уткнулась в согнутый локоть и заплакала.

— Что с тобой, кто тебя обидел?

Кира плакала все горше, худенькие лопатки ее вздрагивали под тонким платьем. Она перебежала через двор раздетая, без пальто. Людмила Сергеевна взяла Киру за плечи, повернула к себе:

— Ну, что такое? Что с тобой?

— П-правда, что Горбачева исключат? Р-ребята говорят — исключат из школы и из детдома...

— Да нет же! Откуда ты взяла?

Кира по лицу Людмилы Сергеевны старалась угадать, правду ли та говорит. Набегающие слезы мешали ей, она вытирала их пальцами, размазывала по лицу.

— Да! Вы не хотите сказать... А его исключат, я з-знаю!..

— Ничего ты не знаешь! Перестань плакать, глупенькая... Откуда вы это взяли?

— Все говорят, и в школе т-тоже...

— Успокойся... Об исключении не было речи...

— А почему он уб-бежал?..

— Да, может, не убежал. Он не хочет ничего рассказывать и очень вредит этим себе...

— Он гордый, все равно не расскажет! — всхлипнула Кира.

— Ну вот... А мне трудно его защищать — я сама ничего не знаю.

Решив, что из этого следует исключение Горбачева, Кира снова заплакала, бессвязно говоря, что ей все равно, пусть тогда исключают и ее.

— Да ты-то тут при чем?

— А п-почему он один должен... если и другие т-тоже...

— Что «тоже»? — схватила ее за плечи Людмила Сергеевна. — Ты тоже?.. А ну сейчас же перестань плакать! Нá платок, вытрись и говори. Ты знаешь об этой организации?..

Кира, всхлипывая, кивнула.

— И ты в ней состоишь?

Кира опять кивнула.

— Только это не организация, а «Футурум»... А если я расскажу, его не исключат?

— Конечно, нет!

Замеченный Лешкой испуг Киры вовсе не относился к ней самой. Она испугалась за него.

С первого дня, когда у входа в столовую она отчитала новичка, ей понравился этот мальчик с серыми сердитыми глазами. Ей очень хотелось помириться и подружиться с ним, она делала всякие попытки к сближению, но не могла удержаться, опять говорила ему что-нибудь язвительное, и недружелюбное отношение к ней Лешки усиливалось. Она ругала себя за невыдержанность и длинный язык и в конце концов перестала задирать Лешку обидными словами, но было уже поздно. Лешка не обращал на нее внимания и даже не заметил перемены ее отношения к нему. Ему было все равно: есть она или нет, говорит она или молчит. Это было обиднее, чем если бы он ее преследовал или говорил гадости, как Валет.

Лешка был уверен, что его отношение к Алле — тайна, о которой никто не подозревает. Так оно и было: никто не подозревал, кроме Киры. Кира замечала все и иногда потихоньку плакала. Алла была очень красивая. Как хотелось Кире быть такой же красивой, выдержанной и умной! Разглядывая себя в зеркало, она каждый раз с грустью убеждалась, что до Аллы ей далеко, она совсем не красивая, и задавала себе вопросы, на которые не могло быть ответа: почему так несправедливо устроено, что одни красивые, а другие нет, и отчего человеку нравится не тот, кому он нравится, а кто-то другой?

Витькино объяснение в любви испугало ее. Она не знала, что ей делать с этой любовью, не хотела никакой любви, считала все это глупостями. О любви она знала из книжек, о любви шептались между собой девочки. Кира фыркала, смеялась над ними. Любовь — это было что-то очень сложное, большое и отдаленное. Ничего похожего на описанное в книжках Кира в себе не находила.

Пароходы ее нисколько не интересовали, становиться капитаном она не собиралась, твердо решив, что будет токарем. Ей нравился станок, нравилось работать на нем, даже нравился запах нагретого металла и масла, которым пахла стружка. Однако она с удовольствием согласилась вступить в «Футурум», потому что Витька — выдумщик

и там могло быть интересно, а главное, потому, что там должен быть Лешка, а ей хотелось быть везде, где был он.

Вызов Лешки к директору, драка с Трыхно встревожили ее, а когда ребята начали говорить, что Горбачева исключат из школы, Кира испугалась.

Наташа болела, она ничем не могла помочь. Кира отозвала на большой перемене Витьку Гущина, вытащила на улицу и напала на него чуть не с кулаками. Почему Лешка должен отвечать за всех? Почему он, Витька,— он же сам все затеял! — прячется теперь за спину другого? Если так, то он трус, и ничего больше! Как он может допустить, чтобы отвечал один Лешка, если все виноваты? Положим, они ни в чем не виноваты, но Горбачева считают виноватым и его исключат, а Витька будет ходить и притворяться, что ничего не знает? Да она его после этого презирает, и больше ничего!

Багровый от стыда, Витька оправдывался, говорил, что ничего не будет, ниоткуда Горбачева не исключат — не имеют права. Раздавленный безжалостными доводами Киры, он сказал наконец потерянным голосом, что, если Лешку будут исключать, он пойдет к директору и все расскажет. Молчит он вовсе не потому, что боится, а потому, что... Вместо того чтобы объяснить, почему он молчит, Витька неожиданно всхлипнул и убежал.

Лешка в детдом не пришел. Кто-то пустил слух, что если его исключат из школы, то исключат и из детского дома. Кира была уверена, что Лешка из гордости ничего не расскажет и пострадает один. Почему он должен страдать один? В решимость Витьки рассказать все Кира не поверила. Выходило, что спасти Лешку могла только она, Кира. Ну, а если ... если исключат, так пусть исключат и ее тоже! Записку могли найти не у Лешки, а у нее, тогда отвечала бы она одна. Она бы тоже, как он, молчала и никого не выдала!.. А теперь другое дело. Она расскажет не потому, что боится, а чтобы выручить его, или если уж отвечать и страдать, так отвечать и страдать вместе...

Всхлипывая, комкая мокрый платок в тугой мячик, Кира рассказала Людмиле Сергеевне о «Футуруме», для чего он возник, что сделал и как несправедливо, что за всех должен отвечать один Горбачев.

Людмила Сергеевна обняла ее за худенькие плечи:

— Спасибо, Кира!

— А ему ничего не будет? — заглянула ей снизу в лицо Кира.

— Ничего... Думаю, теперь ничего.

Кира сказала, что их всего четверо, но Наташу и Витьку не назвала. Про себя она решила, что пусть ей будет то же, что и Алеше. Но разве она имела право выдавать Витьку, хотя он больше всех виноват, а особенно Наташу?.. Но, рассказав о «Футуруме», Кира испугалась.

— Только... только вы ему не говорите, что я сказала! — спохватившись, прижала она руки к груди.

Все прежние попытки ее выступить на защиту Лешки раздражали его. Теперь он мог ее возненавидеть. Пусть лучше не знает ничего и думает, что все сделалось само собой, а не благодаря Кире...

— Не бойся, Кира, он не будет знать. И никто не узнает... Однако пойдем. Мне надо уходить.

Прижав Киру к себе и прикрыв полой своего пальто, Людмила Сергеевна довела ее до крыльца домика, в котором помещались спальни.

— Умойся и ложись спать. А я пойду воевать за Горбачева.

Взбежавшая на крыльцо Кира обернулась, распухшее, заплаканное лицо ее просияло радостью.

31

Викентий Павлович был не в духе.

Вернувшись домой и все еще бурля от негодования, он рассказал жене о скандале у директора. Клавдия Степановна огорчилась, но совсем не так, как он ожидал. Вместо того чтобы разделить его возмущение, она начала упрекать его в несдержанности, легкомысленной горячности. Зачем он путается не в свое дело? Ведь он же беспартийный! Пусть они сами разбираются... И откуда он знает, что там ничего серьезного нет? А если есть? Как он тогда будет выглядеть?.. Даже если ничего серьезного нет, почему обязательно ссориться с начальством? Ну хорошо, Гаевский не начальство, а Галина Федоровна — директор. Гороно скорее прислушается к ней, чем к нему, скандалисту. Зачем было ей грубить? Ему это припомнят, не сейчас, так потом... Если он не хочет думать о себе, то о семье он обязан думать!

Со свойственной ей бестактностью Клавдия Степановна сказала, что он сердится потому, что она права. Сердиться надо не на нее, а на самого себя. Викентий Павлович засту-

чал по столу и закричал что-то о мещанстве, обывательском отношении. Клавдия Степановна замолчала. Лицо ее приняло кротко-обиженное и вместе с тем упрямое выражение. Такое выражение появлялось всегда, когда она хотела показать ему, что ее ничем не удивишь, она не в первый раз терпит из-за его грубости и легкомыслия, стерпит и на этот раз, хотя знает заранее, что потом он признает себя виноватым и будет просить извинения. Викентий Павлович очень хорошо знал, что так оно и будет, и потому окончательно рассвирепел, хлопнул дверью, ушел в спальню, не поужинав и не выпив чаю.

На следующее утро они не разговаривали. Искромсав хлеб и холодное вареное мясо, он кое-как приготовил себе бутерброд на завтрак. Поостыв, он находил в словах Клавдии Степановны больше резонов, чем накануне, и уже сожалел о горячности, с которой напал на Гаевского, хотя тут же с удовольствием вспоминал, как выложил тому все, что о нем думал и чего тот заслуживал.

На уроке в шестом «Б» он вызвал Горбачева. Вместо Горбачева поднялся староста и сказал, что Горбачев был на первом уроке, потом ушел, и никто не знает куда. Спрашивать Горбачева Викентию Павловичу было не так уж необходимо. Он вызвал его, чтобы посмотреть, как тот держится. Горбачев не пропускал уроков из озорства и легкомыслия, как, случалось, делали другие. Значит, парня довели, если сбежал из школы...

Возмущение снова поднималось в нем, как опара в квашне. Чтобы опять не взорваться, он старался не смотреть на Гаевского, который с торжествующе-озабоченным видом вертелся в учительской... Поэтому, когда запыхавшаяся Людмила Сергеевна вторично прибежала в школу и, поймав Викентия Павловича в коридоре, предложила ему идти с ней в горком партии, он почти не колебался и махнул рукой на обед, который ожидал его дома.

Колебания относились не к тому, следовало или не следовало идти. Идти было нужно. Колебался он потому, что не любил встречаться с начальством. Викентий Павлович не боялся начальства, но опасался, что другие подумают, будто он боится, и особенно, что подумает это само начальство, и при таких встречах пытался подчеркнуть свою естественность и непринужденность. Но, как только он это делал, естественность и непринужденность исчезали, он становился неловким, натянутым, сердился за это на себя и делался еще более неловким.

Строгая Ира, глядя не на них, а куда-то мимо, между

ними, выслушала Людмилу Сергеевну и ушла в кабинет Гущина. Потом, открыв и придерживая рукой дверь, словно боясь, что они самовольно пойдут не в эту, а в какую-нибудь другую дверь, предложила войти.

Гущин разговаривал по телефону. Увидев входящих, он покивал и показал рукой на кресла возле стола.

Лицо у него было очень усталое. Усталыми были и глаза под широкими, срастающимися на переносице бровями. Сидел он боком, повернувшись к столику, на котором стояли три телефона. Людмила Сергеевна смотрела ему в затылок, словно по нему надеясь угадать, какой характер примет разговор.

Секретарь повесил телефонную трубку, привстав, пожал руку Людмиле Сергеевне, подал Викентию Павловичу и назвался:

— Гущин.

— Фоменко,— буркнул в ответ Викентий Павлович и поспешно придвинул к себе пепельницу.

Пепельница зацепила скатерть на столе, сморщила ее складками. Викентий Павлович смутился и напряженной рукой поправил свои вислые, горьковские усы. Поправлять их не было нужды, это было ненатурально. Викентий Павлович рассердился на себя за эту ненатуральность и не стал поправлять скатерть. Однако морщины на ней раздражали его, он то и дело сердито посматривал на них.

— Викентий Павлович преподает в школе, где учатся мои ребята,— пояснила Людмила Сергеевна.— Пришли мы вот почему... Четверо ребят, в том числе двое из детдома, организовали сами кружок будущих капитанов и назвали его «Футурум». Они решили изучать морское дело, корабли и всякое такое, чтобы не позже как по окончании семилетки сразу же выйти в капитаны,— улыбнулась она. (Гущин тоже улыбнулся.) — В общем, это скорее похоже на игру, чем на что-то серьезное... Но у одного из них нашли записку...— Она протянула расшифрованный текст.

Гущин прочитал, густые брови его приподнялись:

— А что это значит? Зуд какой-то?

— Это сокращенный девиз. Они себе девиз придумали: «Видеть, знать, уметь, делать».

Брови Гущина опустились, он захохотал:

— Вот бисовы дети!.. А что, неплохо! Мне такой «зуд» нравится!

— Но дело в том, что записка эта была шифрованная, написана шифром...

— Каким шифром?

— Ерунда! — сказал Викентий Павлович.— Детский шифр: буквы алфавита пронумерованы и вместо букв ставятся цифры...

— А зачем?

— Как это — зачем? — заранее раздражаясь от возможных возражений, переспросил Викентий Павлович.— Чтобы тайна была! У каких мальчишек не бывает тайн? Без них же неинтересно!.. Да я сам в таком возрасте изобрел иероглифическое письмо и с приятелем через улицу только посредством таинственных письмен и сообщался... А вы? Вы сами не захлебывались всякими тайнами, не играли в «Пещеру Лейхтвейса»?

— Нет,— улыбнулся Гущин.

Улыбка у него была как бы смущенная, то ли оттого, что он чувствовал себя виноватым, так как не играл в «Пещеру Лейхтвейса» и даже не знал о ней, как не знает и теперь, то ли потому, что неожиданно ему напомнили детство, которое некогда было вспоминать и которое казалось таким далеким и навсегда забытым, словно его не было вовсе. Сейчас оно вдруг вспомнилось с удивившей Гущина нежностью, хотя умиляться в нем было нечему.

— Нет, не играл,— повторил он.— Некогда было... Да и какие игры! Я мальчишкой воевать ушел...— стирая с лица улыбку, сказал он.

— Д-да...— помолчав, произнес Викентий Павлович.— Тогда другое дело было...

— Ну, так что же? — вопросительно посмотрел на них Гущин.

— Шифрованную записку,— продолжала Людмила Сергеевна,— передали пионервожатому Гаевскому, а тот завел целое дело о какой-то организации...

Людмила Сергеевна рассказала о совещании у директора, о том, какую окраску придали всему, даже не узнав, не разобравшись, о том, как к этому отнеслись в гороно, и что запуганный Алексей Горбачев ушел из школы, не вернулся в детдом и хорошо еще, если просто убежал...

Гущин, переводя внимательный взгляд то на Викентия Павловича, то на Людмилу Сергеевну, все более хмурился.

Викентий Павлович при одном упоминании о Гаевском рассердился, рассердившись, перестал чувствовать скованность и излил свое возмущение этим демагогом, который, запугивая других, пытается из пустяка раздуть дело. Окончив, он почувствовал себя совершенно свободно, расправил морщины на скатерти и закурил, не обращая внимания на

то, что густые брови Гущина нависли над самыми глазами, а лоб прорезала глубокая складка.

Гущин посмотрел на часы, нажал кнопку звонка. Строгая девушка заглянула в кабинет.

— Вызовите завгороно. И если есть там эта... Как фамилия инспектора?.. Дроздюк? Пусть тоже приедет. Сейчас же. Позвоните и пошлите за ними машину.

Ждали молча. Гущин поднялся, начал ходить за столом от стены к окну. Возле окна он задерживался, прищурившись вглядывался в темень за окном и шел обратно. Людмила Сергеевна понимала, что секретарь молчит умышленно, желая выслушать и другую сторону, но хмурое это молчание тревожило ее, и тревога становилась тем сильнее, чем больше молчал Гущин. Тревога Людмилы Сергеевны передалась Викентию Павловичу, но он делал вид, что чувствует себя превосходно, и процеживал табачный дым сквозь усы.

Дроздюк и Новоселова пришли. Ольга Васильевна скользнула взглядом по лицам Людмилы Сергеевны, Викентия Павловича и повернулась к Гущину. Елизавета Ивановна казалась еще более попрямевшей, будто ее только что вынули из-под пресса. На щеках ее выступили розовые пятна. Они были признаком не волнения, а торжества: в своем торжестве она не сомневалась. Викентий Павлович на пришедших не смотрел. Он выбирал из пепельницы спички, ломал их и мрачно думал, что сейчас он и Русакова получат на орехи.

— Вы знаете, что произошло в пятой школе? — спросил Гущин.

— Да, Иван Петрович. Я даже хотела к вам зайти по этому поводу,— сказала Новоселова.

— Так что же там произошло?

— Вам, наверно, уже сообщили,— повела глазами Новоселова в сторону Русаковой и Фоменко.

— Мало ли что мне сообщили! Я хочу, чтобы вы рассказали.

— Вот товарищ Дроздюк расследовала это дело...

Спокойно и размеренно Елизавета Ивановна изложила историю с запиской.

— Мы еще не изучили это дело в деталях,— резюмировала она,— и сделаем это в кратчайший срок. Но и сейчас можно сказать: дело оч-чень нехорошее! Если посмотреть на это дело политически...

— Да в самом деле! — встрепенулся Гущин, который до сих пор внимательно, с неподвижным лицом слушал.—

Ну, так что же получается, если посмотреть на это политически? — И он, откинувшись на спинку кресла, приготовился слушать.

В интонации Гущина что-то насторожило Елизавету Ивановну, она взглянула в лицо секретарю, но не уловила ничего опасного.

— Если там нет ничего *такого*,— подчеркнула она,— то и тогда это нездоровое явление. Что значит — возникает какая-то тайная организация?.. Я лично считаю...— Она сделала паузу, снова вглядываясь в непроницаемое лицо Гущина, и продолжала так же уверенно и веско: — Мы не можем с этим мириться! Мы еще не знаем, чем она занималась, но уверены, что организация эта вредна, и должны в корне пресечь это явление!

— Та-ак... А вы что скажете? — повернулся Гущин к Новоселовой.

— Я согласна с товарищем Дроздюк,— ответила Ольга Васильевна.

— Угу! — Гущин помолчал, наклонился вперед и облокотился о стол.— Вот что я вам должен сказать, товарищи дорогие... Политика, политически — для нас слова высокие, и бросаться ими попусту, зря мы не позволим. Если на то пошло, политическая сторона не в том, что вам мерещится, а в том, что раздули дело из пустяка, а когда разумные люди с этим не согласились, их тоже начали обвинять и подозревать...

Ольга Васильевна испуганно моргнула. Елизавета Ивановна медленно, с шеи начала краснеть.

— Что произошло по существу? Сейчас это просто ребята, которым скучно, и они придумали себе занятие по вкусу и, в общем, полезное — изучать морское дело, готовиться в капитаны... Правильно? — обратился Гущин к Людмиле Сергеевне. Она наклонила голову, подтверждая.— Но им мало, чтобы было полезно, интересно по существу, нужно, чтобы было интересно и по форме. Вот они и придумали, чтобы была тайна, таинственные записки... Что их толкнуло на это? Вы не знаете, что за этим стоит? Я скажу вам: скука! И равнодушие к детям! — начиная раздражаться и багровея, повысил голос Гущин.

Он замолчал, пересилил себя и снова заговорил, уже спокойнее:

— Сейчас это обыкновенные хорошие ребята. Им и в голову не приходит то, в чем вы их подозреваете. А что получится, если их начнут подозревать, таскать туда, сюда?.. Они озлобятся, возненавидят тех, кто их преследу-

ет... Надо не выдумывать опасности, а уметь разгадывать настоящие!.. И очень плохо, что вы этого не понимаете, если пошли на поводу у Гаевского... Кстати, кто он такой, этот Гаевский?

— Я просматривала его анкету,— сказала Новоселова,— у него все в порядке, прекрасная биография.

— Да черта ли в его биографии! Когда вы научитесь в душу людям смотреть, а не в анкеты?!

— Но, Иван Петрович... нельзя же — объективные данные. Он вполне проверенный человек.

— Проверенный-то проверенный, но ведь он же дурак! — возмутился Гущин.— Он хочет нажить политический капитал, похвастать бдительностью и раздувает дело. А вы, вместо того чтобы разобраться, ударяетесь в панику... Вы бы лучше детей охраняли от дураков и карьеристов!..

Гущин вскочил с кресла, прошелся за столом от стены к окну, опять остановился у стола:

— Черт его знает! Телят, поросят выращивать — и то ведь призвание и знание надо иметь. А вы детей... д е т е й доверяете трусливому болтуну, у которого за душой ничего, кроме шпаргалок!.. Кого он может воспитать? Таких же болтунов и лицемеров, как сам?.. Ну, вот что,— сказал он, садясь,— прекратите возню, что этот Гаевский там затеял,— следствие, расследование и всякие «тащить и не пущать»... Надо не искоренять, а воспитывать!

— Но, Иван Петрович...— Новоселова замялась.— Нельзя же безнаказанно... Что дети будут думать о педагогах, воспитателях? У них авторитет упадет...

— Пусть не роняют! Все равно правду не спрячешь и авторитет обманом не удержишь... Ничего! Наши ребятишки — народ смышленый, дотошный, разберутся, кто ошибся, а кто напакостил... Ну, а что будем делать с этими конспираторами? — вопросительно оглядел он всех.— Надо им как-нибудь поделикатнее повернуть мозги от этой чепухи... Может, вы что-нибудь подскажете? — обратился Гущин к Людмиле Сергеевне.

— Разрешите мне попробовать,— сказал Викентий Павлович. Все сказанное секретарем чрезвычайно ему понравилось. Он, в знак полного своего одобрения и чтобы скрыть торжествующую улыбку, то и дело поправлял усы и подкашливал.— Надо что-нибудь в их духе...

— Да! — улыбнулся Гущин.— Вы же специалист по всяким тайнам, пещерам, вам и книги в руки. Обратайте их по-своему!.. Ну что ж, товарищи, все ясно?

Гущин проводил их до двери, потом подошел к окну.

Оно было обращено к югу. В летний день за курчавой зеленью Слободки открывалось море. Когда он сидел за столом, подоконник скрывал дома и зелень, море начиналось сразу же за подоконником. Оно наполняло кабинет блеском и басовыми гудками пароходов. Теперь море было сковано льдом, за окном темно. Стекло дребезжало от ветра.

«Задула низовка,— подумал Гущин,— наверно, ломает лед. Пора... И мы ломаем! — невесело усмехнулся он.— Вот доморощенные мудрецы чуть дров не наломали... Ладно, оказались тут Русакова и учитель этот... как его... Фоменко. Не испугались громких слов. А эти вот деятели перепугались...»

Из-за окна донесся неясный гул. Лед? На таком расстоянии?.. Гущин прижался ухом к стеклу. Стекло дрожало, звенело под напором ветра. Где-то прорывались через Перекоп и Тамань передовые разведчики весны — черноморские ветры и ломали торосистый лед. С громом и скрежетом дробились в темноте ледяные поля, рушились торосы, очищая дорогу весне. Тихим, дрожащим звоном откликались стекла на ее поступь.

Новоселова холодно попрощалась с Людмилой Сергеевной. В другое время Людмила Сергеевна расстроилась бы, теперь не обратила внимания. Она не обращала внимания и на то, что говорил Викентий Павлович. Наслаждаясь победой, тот доказывал, как отлично они сделали, пойдя к Гущину, как он отлично все понял и какой он, по-видимому, отличный человек. Людмила Сергеевна отвечала невпопад. Радость победы была отравлена тревогой. Она была бы полнее, эта радость, если бы пришла раньше, до того как Горбачев исчез. Не пришла ли эта победа слишком поздно?

Детдом спал. Скрипел, мотался под ветром самодельный флюгер, установленный ребятами над мастерской. Налет загремел цепью навстречу ей, узнал хозяйку и полез опять в будку. Людмила Сергеевна вошла в домик, где помещались спальни. Ксения Петровна дремала в дежурной комнатке над книгой. Услышав шаги, она поднялась, заспешила на цыпочках к директору, но не успела. Людмила Сергеевна уже открыла дверь и при свете ночника, маленькой прикрытой бумажным абажуром лампочки, увидела Лешку.

Он спал, прижав ко лбу сжатый кулак. Лицо его и во сне оставалось хмурым и печальным. Людмила Сергеевна осторожно прикрыла дверь.

— Пришел! Сам пришел! — радостно блестя глазами, шепотом сказала Ксения Петровна.— Все уже спали, когда вернулся...

Ксения Петровна посмотрела директору в лицо и отвела взгляд.

— Изморось какая-то на дворе...— сказала Людмила Сергеевна, вытирая мокрые щеки.— Ну, спокойной вам ночи! Теперь уже спокойной...

Она вышла на улицу. Ветер сдувал, гнал по ней неразличимый в темноте сор, раскачивал деревья. Наверху торопливо клубились, неслись облака. Вместе с ними наплывал крепкий соленый запах освободившегося моря.

32

Лешка не думал о бегстве. Раз он не виноват, ничего ему сделать не могут...

Оказалось — могут. Ребята узнали — непостижимым образом они всегда всё узнавали,— что вчера вечером в кабинете директора был разговор о нем, и Валерий первый сообщил Лешке, что его исключат из школы. Валерию Лешка не поверил, но, когда Нина Александровна сказала, чтобы он после перемены пришел в кабинет директора, сомнений не осталось — его исключали. Зачем иначе среди уроков снова звать его к директору? Лешка схватил в раздевалке пальто, шапку и выбежал на улицу.

Школа гудела. Истомленные почти часовой неподвижностью и молчанием, ребята бегали сломя голову и кричали что есть мочи. Они понимали, что это нехорошо, так не следует делать, даже не хотели этого делать. Это делалось само собой. Сами собой ноги бежали изо всех сил, топая как можно громче, само по себе, помимо их воли, горло испускало оглушительные вопли. Паровой котел взорвется, если избыток пара не израсходовать или не выпустить через предохранительный клапан. Нерастраченная энергия распирала ребят, неподвижных во время урока, и они с радостным чувством облегчения выпускали ее в предохранительный клапан перемены.

В окнах обоих этажей мелькали головы, прибойный гул сотрясал стены, рвался в открытые форточки.

Лешка слушал этот гул, смотрел на бегающих по двору ребят. Он уже не мог бегать с ними. Они оставались в школе, от него школу отделяло свистящее, как хлыст, слово «исключить». Свистящий хлыст отсекал все, что у Лешки

было, очерчивая вокруг него роковой круг. Вне круга было все: школа, товарищи, будущее. В кругу были только Лешка и его обида. От нее горели глаза и бессильно стискивались кулаки.

Сейчас его позовут и станут говорить всякие такие слова. Его будут укорять и упрекать, будто бы жалеть, и угрожать. А потом все равно скажут: «исключить». Он может не выдержать и заплакать. Но они исключат. Они уже решили, и им все равно, плачет он или не плачет, жалко ему школу или нет, честный он или обманщик. Они решили, что он плохой и его надо исключить. Ну, так не будет он перед ними плакать и просить! И незачем ему слушать всякие слова...

Звонок рассыпал дребезжащую трель по лестницам и коридорам. Гул грянул еще громче и начал затихать. Хлопнула дверь за последними ребятами, бегавшими по двору. Школа смолкла. Сейчас Викентий Павлович входит в класс, оглядывает раскрасневшихся ребят, трогает усы желтым от табака пальцем и говорит привычное: «Ну-с, молодые люди, ноги устали, головы отдохнули? Перейдем к делу...» Лешка не то всхлипнул, не то шмыгнул носом и пошел по улице. Теперь уже все равно! Незачем ходить и на этот урок, если потом, дальше никаких уроков не будет. Он привычно свернул к дому и остановился. Там начнут расспрашивать, отчего да почему... Теперь его, наверно, из детдома тоже исключат. Там все учатся, а если он не будет учиться, его держать не станут.

По тротуарам проспекта спешили люди. За окнами закусочной люди сидели на стульях в белых чехлах, что-то ели и пили. Немного ниже, возле кинотеатра, ребятишки топали ногами, пританцовывали от холода. На рекламном щите нарисованная фиолетовой краской женщина плакала. Слеза на ее щеке была размером с грушу и тоже фиолетовая. Над базаром висели гам и пар. За городом буро-красные домны и трубы «Орджоникидзестали» плыли навстречу низовке, распластав по ветру полог дыма и пара. «Четверка» скрежетала на повороте, позванивая, спускалась вниз, к рыбачьей гавани.

Прохожие обгоняли, толкали Лешку, спешили навстречу, переходили улицу. Всюду, со всех сторон, были озабоченные, торопливые прохожие. Они проходили, скользнув равнодушным взглядом по нему, и исчезали. За ними появлялись другие и тоже исчезали. Опять, как в Батуми, Лешка чувствовал себя затерянным в нескончаемой их веренице.

Продрогнув, Лешка заходил в магазины — там было не так холодно. Он становился у стены, разглядывал застекленные витрины прилавков, пока домохозяйки не начинали с подозрением коситься на него, крепче перехватывая ремешки и ручки сумок. Лешка выходил из магазина и снова блуждал по улицам.

Сам не зная зачем, он забрел в сквер. В боковой аллейке, где возник «Футурум», снег присыпал следы. Поваленная урна лежала на том же месте. Лешка смахнул с нее снег и сел.

Все вокруг было такое же, как тогда, и все было теперь совершенно иным. Сквер Надежд превратился в сквер Крушения. Никаких надежд больше не было. Эта жизнь, в которой Лешке становилось все лучше и интереснее, кончилась. Должна была начаться какая-то другая, но как она начнется и какой будет, Лешка не знал. Глаза все время жгло, пощипывало.

Захрустел снежный наст. Понурившись, с несчастным лицом по аллейке шел Витька. Увидев Лешку, он удивился и обрадовался:

— О, ты тут? А тебя везде ищут!

— Кто?

— Ну, я... Кира, ребята. Что ты тут сидишь?

— А где мне сидеть? Все равно исключат...

— Ну да, так и исключат!..

Лешка не ответил. Витька тоже замолчал, сел рядом. Выход оставался только один.

— Я завтра пойду и все расскажу!

— Ну и что? Исключат тебя тоже, вот и всё!

Так могло случиться. Даже наверняка так и будет. Они же не лично против Лешки, а против организации, а если Витька — главный закоперщик, его в первую очередь и вытурят...

— Пошли,— сказал он вставая.

— Никуда я не пойду. Начнут опять приставать. Очень нужно!

— Да нет, ко мне!

У Витьки можно было отогреться и переждать до вечера. Лешка решил вернуться домой, когда все будут спать. А утром — что уж будет, то будет...

Обедать Лешка отказался. Витька принес ему хлеба с маслом и свой компот. Пока Лешка ел, Витька ерошил волосы, тяжело вздыхал и мыкался из угла в угол: он решал и не мог решиться.

— Я знаешь что думаю? Придет отец, я ему все расска-

жу. Давай вместе расскажем. Он у меня здорово толковый! Я, понимаешь, только боюсь... Нет, не то, что мне попадет... Он здорово вспыльчивый, а сердце у него больное. Он из-за меня еще хуже заболеть может, как тот раз... А тут, понимаешь, не Шарик, тут посерьезнее...

Витька рассказал о своем столкновении с Людмилой Сергеевной и о том, что произошло тогда с отцом.

Лешка подумал и сказал, что отцу говорить нельзя. Во-первых, он может заболеть, а во-вторых, получится, что он заступается за сына.

— Ну да, не больно-то он заступается! Отвечай, говорит, сам. Тогда он мне, ого, дал жизни! — сказал Витька, но не объяснил, как именно «дал ему жизни» отец. Признаваться было стыдно и теперь.

Они заспорили, и чем больше спорили, тем больше Витька утверждался в своем решении. Конечно, благородно с Лешкиной стороны, что он брал всё на себя, но получалось, что он один благородный, а остальные — трусы. Признать себя трусом Витька не хотел, так же как и оказаться менее благородным.

Подошло время, когда отец приезжал обедать, но он не приехал, а позвонил по телефону и сказал, что сейчас ему некогда, он постарается вернуться пораньше домой и тогда уже заодно будет обедать и ужинать. Стемнело, наступил вечер. В кабинете Ивана Петровича часы пробили девять.

— Я пойду,— поднялся Лешка.

— Подожди! Он скоро. Может, сейчас придет...

Лешка подождал еще, потом решил уходить.

— Ладно,— помрачнев, сказал Витька,— я и один скажу...

Лешка ушел. Витька прилег на постель и начал обдумывать, как лучше обо всем рассказать отцу. Чтобы не заснуть, он поставил настольную лампу к самой постели и зажег верхнюю лампу. Яркий свет резал глаза, мешал думать.

Витька погасил верхний свет, настольную лампу отгородил раскрытой книгой. Думать стало намного легче. Витька углубился в размышления и незаметно, нечаянно заснул.

Ветер толкал Лешку в спину, доносил неясный шорох и гул. Лешка остановился, прислушался. Гул шел с моря. Что-то медленно, монотонно и неостановимо ворочалось

в темноте. Это было жутко и непонятно, как Лешкино завтра...

Ксения Петровна обрадованно улыбнулась, поманила Лешку к себе:

— Поешь. Простыло только все.

Под полотенцем на столе стоял ужин и стакан холодного чая. Лешка поколебался и сел за стол, ожидая, что сейчас она начнет спрашивать. Ксения Петровна читала.

— Спасибо,— сказал Лешка.

— На здоровье,— опять улыбнулась Ксения Петровна и прикрыла полотенцем опустевшую тарелку.

Лешка постоял в нерешительности, ожидая, что она все-таки спросит, где он был. Теперь ему хотелось, чтобы она спросила об этом и не думала ничего плохого.

— Иди ложись,— сказала Ксения Петровна.— Уже поздно.

Лешка пошел в спальню, лег. Свистящее, как хлыст, слово опять зазвучало в ушах, отсекая все, что было вокруг: дом, ребят, эту спальню, Людмилу Сергеевну, койку, на которой так привычно и удобно лежать, Ксению Петровну, ее улыбку... Почему она не сердилась, а улыбалась? Даже принесла ужин, хотя это не полагалось. Жалела напоследок?.. Всю ночь ему снилась улица. Нужно было дойти до ее конца, там он мог узнать что-то важное... Самое важное: что будет потом? Он спешил, бежал. Навстречу шли прохожие, миллионы прохожих. Лешка натыкался на них, его толкали, но он бежал и бежал. Улица была бесконечна, поток прохожих нескончаем...

— Откуда ты взялся? — вытаращил Валерий глаза, когда Лешка проснулся.— Хлопцы, пропащий нашелся!

Ребята окружили Лешку:

— Ты куда убежал? Почему с уроков ушел? Где был?

— Никуда я не убежал. А ушел, потому что... потому что голова заболела.

— Знаем мы эту голову!..

— Ребята, что вы мне обещали? — раздался голос Ксении Петровны.— А ну, быстро — убирайте постели, марш умываться!

Лешке Ксения Петровна тихонько сказала:

— Людмила Сергеевна уже пришла, зовет тебя. И не бойся — все хорошо! — улыбнулась она.

Сердце Лешки застучало, он перебежал через двор.

— Здравствуй, Алеша,— встретила его в дверях кабинета Людмила Сергеевна.— Я еще вчера приходила, чтобы

сказать, да ты спал. Бояться тебе нечего, никто тебя не исключит, все это дело прекращается. Ну, рад?

— Ага. Спасибо, Людмила Сергеевна!

— А вот я тебе спасибо сказать не могу,— ответила Людмила Сергеевна.— Я думала, ты мне больше доверяешь, больше полагаешься на нас, а ты убежал... Мы ведь чего только не передумали...

Людмила Сергеевна говорила укоризненно и печально.

— Я не убежал, я у Витьки был,— попробовал Лешка оправдаться и покраснел. Еще хуже: она беспокоилась, а он отсиживался у Витьки. Окончательно смешавшись, Лешка пробормотал спасительную детскую формулу: — Я больше не буду!

— Хорошо,— улыбнулась Людмила Сергеевна.

Какие они все хорошие! И Людмила Сергеевна, и Ксения Петровна, и Гущин... Это, конечно, он все сделал! И Витька молодец — сказал, не побоялся!.. А он сам... решился бы он сказать маме — отца Лешка помнил смутно,— если бы это было так опасно и она могла бы даже умереть? Нет, он бы все-таки не решился. А Витька решился. Вот это настоящий друг!

...«Настоящий друг» плелся в школу в унынии и тоске. Он презирал себя за то, что заснул, так и не приготовив своей речи отцу; и за трусость, с которой утром ушел от двери спальни. Отец еще спал. Соня предупредила, чтобы Витька не шумел и не разбудил отца — тот вернулся поздно. Однако, презирая себя, в глубине души он радовался и тому, что заснул, и тому, что не решился разбудить: он помнил пророчество Сони, что когда-нибудь «уморит отца»...

Увидев бегущего к нему Лешку, Витька покраснел и даже приостановился. Лешка ничего не заметил. Он еще издали кричал:

— Уже, Витька! Понимаешь, он уже сделал!..

— Кто?

— Да отец твой! Людмила Сергеевна сказала, что всё, ничего не будет... А ты боялся! Здорово он сердился? — Лешка не ждал ответа, ему не нужен был ответ.— Людмила Сергеевна говорит: иди и ничего не бойся, ничего, говорит, не будет... Здóрово! А?

Витька понял только одно: все обошлось. Он повеселел и с размаху хлопнул приятеля портфелем:

— А ты как думал!

— Расскажи, как было? Он сердился? Очень?

Витька замялся, опять начал краснеть:

— Ну — как. Обыкновенно.

Звонок выручил его, они разошлись по классам.

Учителя Витька не слушал — он терзался. Все произошло к лучшему, уладилось без него. Но Лешка уверен, что произошло это благодаря Витьке, а он растерялся и постыдился сразу признаться, что ничего не сделал. Лешка считает его настоящим товарищем, благородным и смелым, а он совсем не благородный и смелый, а трус. И врун! Притворился, что так все и было... В конце концов, честный он человек или нет?..

На переменах говорить было не с руки. Домой шли втроем: он, Лешка и Кира. Лешка и Кира горячо обсуждали события, хвалили Людмилу Сергеевну, Витькиного отца, самого Витьку. Кира почему-то особенно напирала на то, как хорошо Витька сделал, рассказав все, какой он молодец. Витька краснел, надувался и молчал.

Юго-западный ветер гнал с неба отары белых облаков, расчищая дорогу солнцу. Оно так пригревало, что в пальто и теплых шапках стало жарко.

— Что это ночью шумело? — вспомнил Лешка.

— Может, лед ломался, низовка уже сколько дней дует,— сказала Кира.— Побежим посмотрим?

Между булыжниками Морского спуска журчали ручьи, по бетонным ступенькам тротуара плескались крохотные водопады. Задорно покрикивали паровозы возле станции, звонко и отчетливо перестукивались буферами вагоны. Ребята, перебираясь через тормозные площадки, миновали железнодорожные пути. Сразу же за ними вздымались стоящие торчком, наклонившиеся глыбы зеленоватого льда. Высоким валом они подступили к берегу, вгрызлись в него. На глубине могуче ворочалось невидимое море. Лед над ним медленно и неостановимо шевелился, стонал и звенел. То там, то здесь зеленоватые глыбы вздымались, со скрежетом, хрустом громоздились на другие и рушились грудой обломков. Далеко за ними слепила глаза тонкая полоска чистой воды. Сверкающим ножом она рассекала щель горизонта и среза́ла с моря взъерошенную кору льдов. Они пятились к берегу и рассыпа́лись.

— Теперь уже скоро,— сказал Витька.— Тремонтан задует — всё разгонит. Пошли? А то ветрено тут...

— Эх ты, моряк! Ветра испугался! — засмеялась Кира.— А знаете, мальчики? — сказала она.— Пойдемте к Наташе. Нам все равно мимо идти.

Лешка и Витька заколебались: там небось мама и всякое такое...

— Мамы боитесь, да? — поддразнила их Кира.— Тоже мне — герои!..

Дверь открыла Наташина мама. Выслушав Киру, оглядев с улыбкой смущенных Лешку и Витьку, она сказала:

— Вот вешалка. Раздевайтесь. Только ноги вытрите хорошенько,— потом открыла дверь в одну из комнат и громко объявила: — Ната, к тебе кавалеры пришли.

Лешка и Витька смутились еще больше и от смущения так долго и старательно вытирали ноги о половик, что Наташина мама засмеялась:

— Ладно, идите уж, а то без подметок останетесь.

Наташа была в постели. В одной руке она держала книгу, другой гладила кошку, которая лежала у нее на животе. Кошка, прижав уши и зажмурившись, выжидала момента, чтобы удрать, но, как только она шевелилась, Наташа хлопала по ее спине, и кошка опять, прижав уши, замирала. На стуле возле кровати стояли аптекарские пузырьки, в комнате пахло лекарствами.

— Ну, как ты тут живешь? Здравствуй! — сказал Витька.— А мы, понимаешь, решили тебя проведать...

— Ничего они не решили, это я их привела! Они твоей мамы боялись,— засмеялась Кира.

— Очень хорошо!.. Ну, рассказывайте... Ой, нет — берите стулья, садитесь.

— Это ты после парохода, когда ноги промочила...— сказал Лешка.

— Ага... Лежи смирно! — шлепнула кошку Наташа.— Ну, рассказывайте!

— Ой, Наташа, что было! Его,— показала Кира глазами на Лешку,— чуть-чуть не исключили!..

Наташа широко открыла глаза:

— За что?

— За «Футурум»...

Кира и Лешка начали рассказывать — вернее, рассказывала сама Кира, то и дело поворачиваясь к Лешке и Витьке за подтверждением: «Правда?» Лешка, подтверждая, кивал. Наташа хмурилась и ужасалась.

— Я бы тоже ничего не рассказала! — горячо сказала Наташа, глядя на Лешку.— Пусть они хоть что! — и пристукнула сжатым кулаком.

Удар пришелся по кошке, она утробно мяукнула и бросилась с постели.

Кира еще сильнее расписала Витьку, выставила его настоящим спасителем. Витька краснел и старался глубже запрятаться между шкафом и этажеркой.

За время болезни Наташа побледнела, исхудала, глаза ее, казалось, стали еще больше.

Они поговорили о том, скоро ли Наташа выздоровеет, рассказали, что на море сломало лед, и ушли. Витька проводил их до самого дома.

— Погоди,— остановил он Лешку.

Он подождал, пока Кира отошла, и, глядя в землю, сказал:

— Понимаешь, я тебе должен сказать одну вещь...— Он замялся, потом решительно отрубил: — Это неправда!

— Что?

— Ничего я отцу не говорил... Ты думаешь, что я сказал, а я побоялся, отложил на сегодня... И они сами всё... Это, конечно, подло с моей стороны, и ты имеешь полное право презирать...— Губы Витьки задрожали, он замолчал.

— Так он про тебя ничего на знает?

— Нет!

— Чудак! — засмеялся Лешка.— Так это же хорошо! И нечего надуваться! Будь здоров!

33

Юрке Трыхно стало трудно жить.

С того дня, когда Горбачев ударил его и крикнул, что он — предатель, ребята относились к нему настороженно и неприязненно. Они узнали, как всегда все узнавали, что Юрка донес Гаевскому на Горбачева, передал ему какую-то записку, потом узнали, что Трыхно вызывали к директору и он подтвердил свой донос при всех. Потом неожиданно прогнали Гаевского. Значит, Горбачев был не так уж виноват, а может быть, и совсем не виноват, если его не исключили и даже ничего ему не сделали, а Гаевского вдруг уволили. Но доносчик остался безнаказанным.

Школьники не сговаривались и не уславливались, но теперь все наказания и выговоры в прошлом приписывали его наушничеству. С ним перестали разговаривать, ему не давали ни книги, ни карандаша, ни резинки. Его не слышали, если он спрашивал, и обращались к нему только для того, чтобы назвать его предателем.

Веселый, жизнерадостный Юрка притих и увял, в голубых глазах его застыл страх. Он изнемогал в атмосфере общего презрения, часто плакал, но не жаловался: боялся, что станет хуже.

С Владиком Белкиным Юрка сидел на одной парте с третьего класса. Они никогда не ссорились прежде, но

теперь Владик, как и все, перестал с Юркой разговаривать Юрка некоторое время крепился, потом не выдержал

— За что ты на меня сердишься? — сказал он так, чтобы другие не слышали.— Я ведь тебе ничего не сделал. А, Владик?

Владик молчал.

— Слышь, Владик!.. Давай — как раньше... А? Хочешь, я тебе свой аллоскоп подарю?.. Чего захочешь, то и подарю...

— Ша, хлопцы! — закричал Валерий Белоус. Он вертелся поблизости и все слышал.— Гадюка Белкина покупает.

Юрка съежился, а Владик вскочил.

— Я с тобой и сидеть больше не буду, а не то что...— решительно отрубил он.— Я.., я к тебе пересяду,— сказал он Валерию.

Валерий один сидел на «камчатке» — последней парте.

— Давай! — согласился тот.— Чего с этой заразой сидеть!

Глаза Юрки наполнились слезами.

— Не реви, не разжалобишь!

— Иди, ябедничай!

— Жалуйся.

Юрка заплакал и выбежал.

К концу уроков пришла Нина Александровна и задержала весь класс.

— Белкин, почему ты пересел?

— Я не хочу там сидеть.

— Почему?

— Просто так.

— Завтра же садись на свое место!

Владик Белкин был тихий, покладистый мальчик. Он хорошо учился, не шумел на уроках, не безобразничал на переменах, его всегда ставили в пример другим. Нина Александровна не сомневалась, что он послушается. Ребята ждали того же.

— Я не сяду,— упрямо наклонив голову, сказал Белкин.

— Как не стыдно, Белкин? Я тебе запрещаю менять место!

Владик посмотрел Нине Александровне в глаза.

— За что вы меня стыдите? Я ничего такого не сделал. А сидеть с ним не буду!

— Правильно! — закричали ребята.— Верно!

Нина Александровна поняла, что сделала оплошность,

начав разговор при всех. Она распустила ребят, оставив Лешку, Белкина и старосту класса, Сережу Проценко.

— Это ты, Горбачев, настраиваешь товарищей против Трыхно?

— Никого я не настраиваю... У кого хотите спросите — я хоть слово сказал?

— Правда,— подтвердил Сережа,— он ничего не говорил.

— А ты — староста, должен следить, чтобы товарища не обижали... Какой ты староста, если не можешь повлиять на класс?!

— Если я плохой староста, пускай меня переизберут...— обидчиво сказал Сережа.— А заступаться за Трыхно не буду. Никакой он нам не товарищ, если на товарища ябедничает!..

Нина Александровна долго убеждала их, что они поступают неправильно, жестоко, что они должны повлиять на товарищей, чтобы мальчика перестали мучить, помирились с ним. Ребята не возражали, но лица у них были непреклонные.

Белкин остался на «камчатке», отношение к Трыхно не переменилось. Нина Александровна провела специальную беседу во время оргчаса. На этой беседе присутствовал и директор школы. Они уговаривали ребят, убеждали, что те поступают жестоко и неправильно, что с Трыхно нужно помириться. Ребята не спорили и не соглашались. Положение Трыхно стало не лучше, а хуже. Заступничество директора и классной руководительницы только ожесточило их. В школу приходила Юркина мать, Нина Александровна привела ее в класс. Дрожащим голосом она просила пожалеть Юру, простить его, они ведь хорошие, добрые мальчики. «Добрые мальчики» угрюмо молчали, стараясь не встречаться с ней глазами. Под конец она рассердилась, сказала, что они «бессердечные, прямо звери какие-то».

— Если мы звери, зачем вы к нам пришли? — спросил Проценко.

Юркина мать расплакалась и ушла, ничего не добившись.

Юрка побледнел, осунулся. Приходя в школу, он смотрел в землю, он знал, что с ним никто не поздоровается.

Юрка страдал. Он всегда слушался старших и поступал так, как они велели. Он совсем не хотел зла Горбачеву и никому не хотел зла. Он старался быть хорошим товарищем. Яков Андреевич всегда хвалил его. Он похвалил его даже тогда, когда Юрка нечаянно разбил в классе стекло.

Не за то, что разбил, а за то, что признался. Юрка мог не признаваться — никто не видел, что разбил он,— но Юрка пошел и признался. Потому что он — честный. Яков Андреевич похвалил его и сказал, чтобы он не боялся, ему за это ничего не будет, раз он сам признался.

Гаевский тогда долго говорил с Юркой. Расспрашивал о ребятах, как с ними Юрка дружит, как к нему относятся. Юрка дружил со всеми, все относились к нему хорошо. Яков Андреевич похвалил и за это, сказал, что он, значит, хороший товарищ. Настоящий товарищ должен помогать другим... если даже они этого не хотят. Не все ведь такие честные, как он, правда? Другой сделает что-нибудь плохое и не признается. Так человек может привыкнуть к плохому и совсем пропасть. Настоящий товарищ не может такого допустить. Он должен повлиять на того, кто плохо поступает. А если он не надеется повлиять, он должен сказать тому, кто может повлиять. Например, ему, Гаевскому.

Юрка растерянно сказал, что это получится, что он ябедничает. Яков Андреевич очень быстро доказал, что это совсем не значит ябедничать. Ябеда — это когда рассказывают назло, хотят навредить. А разве Юрка будет делать назло? Наоборот! Для пользы того, кто сделает что-нибудь плохое. Он поможет его исправить. Разве он, Гаевский, хочет кому повредить?

— Так вот,— одобрительно похлопал его по плечу Гаевский,— хочешь быть моим настоящим помощником?

Юрка поспешил согласиться.

— Если ты узнаешь, что кто-нибудь сделал или собирается сделать что-то нехорошее, то будешь мне рассказывать...

Юрка опять заколебался. Выходит, он должен шпионить за ребятами?

Яков Андреевич возмутился. Как ему это в голову пришло? Шпионы — это классовые враги, агенты капиталистов. А какой же Юрка агент и враг?

Среди ребят врагов нет, преступлений они не делают. Но пионер должен быть всегда бдительным... Вот, допустим, если Юрка увидит, что кто-то тонет. Он ведь протянет ему руку, чтобы спасти, правда? Ну, а если кто-нибудь захочет сделать нехорошее, будет подбивать других? Его ведь тоже надо спасти, чтобы не утонул в этих нехороших поступках!

Юрка согласился, что так оно и есть. Он не мог уловить в словах Гаевского грани, за которой кончалась правда

и начиналась ложь. Ему даже не приходило в голову, что в словах вожатого могла быть ложь.

— Ты умный парень, все понимаешь правильно! — сказал Гаевский.— Только вот что: не все так, как ты, сумеют разобраться, понять, правда? Есть еще малосознательные ребята, над которыми надо работать. Они могут не понять, что ты делаешь для их же пользы. Так что об этом разговоре рассказывать никому не надо.

Юрке очень понравилось, что у него с Яковом Андреевичем будет тайна, которую надо хранить от других ребят. Ни у кого нет, а у него есть!

Все шло очень хорошо. Яков Андреевич не заставлял его делать ничего плохого, только расспрашивал, что ребята делают, о чем говорят между собой. Юрка рассказывал. Иногда он сам прибегал и рассказывал так, чтобы другие не слышали. Ничего плохого из этого не происходило. Случалось, некоторым ребятам попадало, они удивлялись, как Гаевский мог догадаться... Юркина совесть была чиста: он выполнял свой долг, помогал исправлять других.

Так было, пока он не подобрал записку, потерянную Горбачевым. Все хорошее сразу оборвалось, началось одно плохое. Гаевский мог бы вступиться за Юрку, доказать, что он исполнял долг, но Гаевского прогнали...

Юрка без конца перебирал в памяти всё, что говорил ему Гаевский, все свои поступки, лихорадочно отыскивая когда и как он из настоящего пионера превратился в ненавистного ребятам доносчика. Все слова как будто были правильные, поступки тоже, и все-таки он был ябедой... Он отел просить прощения, дать любое обещание и молчал — он знал, что ему не поверят.

Юрка подстерег Викентия Павловича, давясь слезами, просил за него заступиться. Викентий Павлович, сердито нахмурившись, слушал. Жалость к запутавшемуся, затравленному мальчишке боролась в нем с брезгливостью, которую он старался в себе подавить.

— Скверно! — сказал он.— Потерять доверие товарищей легко, а вернуть... Я поговорю, попробую на них повлиять.

Он выполнил обещание. Ему ответил один Проценко, но это был ответ за всех.

— Мы вас уважаем, Викентий Павлович,— сказал Сережа,— а когда вы за Горбачева вступились, стали уважать еще больше... Только за Трыхно вы не заступайтесь! Все равно...

Сережа не объяснил, что «все равно», это было ясно по

внезапно замкнувшимся, упрямым лицам ребят. Викентий Павлович впервые почувствовал, что слова его встречены холодным отчуждением и что бы он ни говорил, ему не удастся их переубедить. Во времена его детства законы мальчишеского товарищества были так же неумолимы. Мальчишеская этика не знает компромиссов, прямодушная логика не допускает этических софизмов: правда есть правда, ложь есть ложь, подлость есть подлость.

Трыхно перевели в параллельный класс. Он стал пропускать занятия. Вызвали его мать, и выяснилось, что он аккуратно уходил в школу каждый день, но в школе не появлялся. Потом в школу пришел отец Трыхно. Он возмущался, кричал в канцелярии, что его сына травят, а учителя, администрация школы не хотят с этим бороться, он будет жаловаться, он им покажет... Быть может, он жаловался, но отношения к Юрке ребята не переменили. Это был уже не прежний розовощекий, всегда улыбающийся Юрка, а его бледная, пугливая тень. Его больше не ругали, не издевались над ним, его просто перестали замечать. Даже исчезновение его заметили не сразу. Только неделю спустя Сережа Проценко, который бегал за классным журналом в канцелярию и не преминул заглянуть в него, заметил, что Трыхно вычеркнут из списка учеников.

— Перевели в другую школу,— сказала Нина Александровна, когда ее спросили о причинах.

34

Нового пионервожатого звали Костей Павловым. Он не созывал сборов, не выстраивал дружину, чтобы познакомиться с пионерами, а с неделю ходил по классам, смотрел, слушал и разговаривал с ребятами. Разговаривая, он все время посмеивался, но не обидно и так, что нельзя было понять, смеется ли он над тем, что они делали раньше, или над пионерами которым не нравилось то, что они до сих пор делали. Высокий, подвижной и, должно быть, очень сильный, он приходил без кепки, а скоро начал ходить и без пиджака, хотя было совсем не жарко. Еще не наступили знойные дни, а улыбчивое открытое лицо его и брови были опалены солнцем. Яша после беседы с новым вожатым и особенно после того, как проиграл ему партию в шахматы, объявил, что Костя образованный. Витька многозначительно крутил головой и говорил: «Башковитый!»

Лешка молчал. Костя Павлов не был похож на Гаевского, но кто его знает, какой он на самом деле... Поэтому

Лешка не хотел идти на собрание старших классов, но пошел — его позвал сам Викентий Павлович.

Викентия Павловича уважали и побаивались. Объяснял он очень интересно, но спрашивал строго и терпеть не мог, когда вызванный начинал «плавать» или врал что-либо несусветное, надеясь угадать правильный ответ. Брови Викентия Павловича становились торчком, шевеля усами, он исподлобья смотрел на «пловца» и говорил:

— Иди на место, вались дерево на дерево...— и краснел от досады на самого себя.

Это случалось редко — зоологию учили старательно. Когда стало известно, что благодаря Викентию Павловичу Горбачева не исключили и даже уволили Гаевского, который раздувал дело, уважение к Викентию Павловичу возросло еще больше. Он был справедливее всех, он знал больше всех, не сердился зря, а рассердившись, не давал спуску. Поэтому, когда Викентий Павлович сказал Лешке, чтобы он пришел на собрание и привел всех «футуристов», Лешка не прийти не мог.

В седьмом «Б» ребята устроились по трое, даже по четверо на парте, за учительским столиком сели вожатый и Викентий Павлович.

— Мы не будем проводить собрание,— сказал Костя,— а просто побеседуем... Пожалуйста, Викентий Павлович...

— Детство мое,— сказал Викентий Павлович,— в которое вам так же трудно поверить, как в свою будущую старость, вы относите ко временам почти доисторическим...

Ребята вежливо посмеялись.

— Однако в свое время я тоже бегал в коротких штанишках и, как вы, думал, что взрослые ребят затирают: не пускают на войну, не доверяют ни паровоза, ни парохода, а только заставляют учить правила и решать задачи... Как многим из вас, нам казалось это скучным, неинтересным, и мы старались сделать свою жизнь интереснее. Мы думали, что окружающее буднично, обыкновенно, наперед известно, и тосковали о неизвестном, необыкновенном и таинственном. И так как мы были убеждены, что ничего необыкновенного и таинственного вокруг нет, мы выдумывали его сами...

Лешка толкнул Витьку локтем, покосился на него. Витькины уши порозовели.

— Должен признаться, молодые люди,— усмехнулся в усы Викентий Павлович,— я выдумывал усерднее других... Мы искали несуществующие клады, доспехи русских богатырей и с этой целью исковыряли не один холмик.

Пробовали подстерегать привидения, бог весть почему верили, что в Глухове у кого-то хранится папирус из гробницы Тутанхамона, и, не зная языка Древнего Египта, переписывались друг с другом при помощи иероглифов...

Витька поймал взгляд Наташи и насупился.

— А тайны были вокруг, они заглядывали нам в глаза и полным голосом звали нас. Мы затыкали себе уши и поворачивались к ним затылком... Маленькие дикари, мы верили в магическую силу выструганной нами лучинки и отталкивали могущественный жезл знания, который мог открыть ошеломляющие тайны жизни... В силу разных причин мы поумнели позже, чем можете это сделать вы. Поэтому не все из нас сумели стать тем, кем хотели и могли бы...— Викентий Павлович замолчал и, ероша брови, прошелся по классу.— Не повторяйте наших ошибок: откройте глаза и уши, повернитесь лицом к будущему. Примеры не надо искать. Мы живем на берегу моря. Что вы знаете о нем? Что море — это очень много воды, что на нем бывает штиль и бывают бури? Нам кажется, что море производит только шум прибоя, а у него есть свой голос. Мы повторяем поговорку: «Нем как рыба», а на самом деле рыбы...

—...поют,— ехидно подсказал Витковский.

— Да-с, поют! — покосился на него Викентий Павлович.— Вам рассказывали о хитроумном Одиссее, который слышал завораживающее пение сирен. Быть может, эти сирены — преображенные фантазией сциены, крупные рыбы Средиземного моря. Сциены могут издавать разнообразные звуки. Морской петух Черного моря умеет гудеть и ворчать, дельфины свистят. Многие рыбы и морские животные могут издавать и слышать звуки. Азовские и черноморские рыбаки ловят лобана на рогожи, когда он, испуганный резкими звуками, выпрыгивает из воды. Море совсем не глухо и немо, как нам кажется.

Многие рыбы и морские животные слышат то, чего не можем слышать мы,— голос моря. Человеческое ухо воспринимает звуковые волны, имеющие от пятнадцати колебаний до двадцати тысяч колебаний в секунду. За нижним порогом звуковых волн идут инфразвуковые. Они используются для регистрации землетрясений, геологической разведки. Академик Шулейкин открыл, что во время шторма при движении ветра над гребнями и подошвами волн возникают особые инфразвуки. Академик назвал их голосом моря. Они не затухают на громадных расстояниях, распространяются в воде с огромной скоростью — тысяча

пятьсот метров в секунду. Это и есть голос моря. Морские животные задолго до приближения шторма, услышав грозный голос его, прячутся. Морские блохи, рачки из семейства гаммарус, которые всегда прыгают среди влажной гальки, уходят на сушу, где их не может достигнуть прибой. Крабы прячутся среди расщелин, на глубинах. На глубину уходят медузы и рыбы. Голос моря предупреждает их о приближении шторма задолго до того, как барометр предскажет его нам.

Мы живем на берегу самого маленького из всех морей. И самого мелкого: всего каких-то четырнадцать метров предельная глубина. Тайфунов не бывает, огромных волн тоже, островов почти нет... Скучное море, не правда ли? Неправда! Это самое замечательное море! Оно маленькое и мелкое, но оно дает больше рыбы, чем любое другое. Восемьдесят килограммов рыбы с одного гектара площади дает оно нам! Это в три раза больше, чем дают самые богатые — Японское и Северное. Черное море дает в пятьдесят раз меньше рыбы с гектара, чем наше, Азовское. Это единственное в своем роде море. Оно — рассадник, богатейшая кормушка для многих рыб. Загляните в него пытливым взором, и оно откроет вам такие дива и чудеса, что вы не сможете отвести взгляд. И уж никогда не могут сравниться с ними придуманные вами тайны и прочие пустяки!..— решительно закончил Викентий Павлович.

— Все это,— сказал новый вожатый,— Викентий Павлович рассказал не для того, чтобы вы все, как один, бросились в моряки или гидробиологи... Я приведу другой пример. Попробуйте представить, что вдруг, в один момент исчезли железо и сталь. Что произойдет с миром? Вам нечем будет писать и не на чем — исчезнут стальные перья и бумага, которую сделали машины. Нет ни плуга, ни трактора — нечем пахать землю, нечем убирать хлеб. Погас электрический свет, и даже нет керосина. Нет фабрик и заводов и всего, что они делают. Нет каменного угля, железной дороги, пароходов и самолетов. Рухнут дамбы и причалы, элеваторы, плотины и мосты. Нет даже домов, потому что наши дома нельзя построить без железа и стали. Человек будет отброшен на тысячи лет назад, в его руках останутся только два орудия — палка и камень... Основа современной техники и цивилизации — чугун и сталь. Их выплавляют, варят ваши отцы и братья на металлургическом гиганте — «Орджоникидзестали»... Кто-то из вас захочет стать, как его отец, доменщиком или сталеваром, другой мечтает о самолетах, третий надеется вырастить

виноград с огурец величиной... Не надо ждать! Нельзя ждать! Многие рассуждают так, вот кончу школу, потом вуз, стану специалистом, а тогда сделаю такое, что все ахнут... Не ахнут, если вы будете сидеть и ждать, пока само не придет. Само ничто не приходит!.. Вот вы окончите школу и получите бумагу, которая называется «аттестат зрелости». Станете ли вы зрелыми? Для чего? Что вы сумеете делать? Ничего. Вы будете ходить и раздумывать, что с собой делать, куда себя девать. А вам будет шестнадцать-семнадцать лет... Четырнадцати лет Лермонтов писал стихи, поражающие взрослых и теперь. Шестнадцатилетний Герцен на Воробьевых горах дал клятву посвятить жизнь освобождению народа. Гимназист Володя Ульянов уже избрал для себя путь, с которого не свернул ни на шаг за всю жизнь... Вы скажете: «Они гении, а мы — нет»...

— Конечно! — откликнулся кто-то.

— Откуда вы знаете? — серьезно и строго спросил Костя Павлов. Ребята, смущенно улыбаясь, переглянулись.— А может, кто-нибудь из вас прославит свою школу, город, страну?.. Конечно, если будущий гений не будет сидеть сиднем... Вам часто говорят, и вы знаете, что вы — будущие хозяева жизни. А что значит — хозяин? Некоторые думают, что, если они умеют произносить речи, командовать и особенно если умеют кричать на других, то они хозяева жизни... Об этих что говорить! Это все равно как сказать, что телега едет потому, что под дугой у лошади брякает колоколец... Стать хозяином жизни означает — знать, уметь и делать. Многие из вас жаловались: скучно! Конечно, без конца проводить заседания и собрания скучно. Что вы на них делаете? Прорабатываете да поучаете друг друга, как надо вести себя и учиться... Давайте займемся делом! У каждого свои вкусы и желания. Давайте заниматься тем, к чему каждого тянет!.. Будут у нас кружки или звенья. В таком звене все интересуются одним делом, помогают друг другу, соревнуются: кто больше узнает, лучше сделает... И понемногу вы будете становиться специалистами. А за вами потянутся все школьники. Так и должно быть: ведь вы пионеры, а значит — передовые, первые... Интересно?

— Да! Очень!

— Только сразу условимся: через месяц, даже через два,— улыбнулся Костя,— вы не сделаете гениального открытия, не построите межпланетный корабль и не изобретете новую подводную лодку. Не в обиду вам будь сказано — вы еще маленькие, только начинаете подбирать и по-

нимать крохи того, что уже узнало человечество. А у него был для этого большой срок — тысячи лет,— и узнать оно успело многое... Но вы приоткройте для себя пока неведомый вам уголок знания, полюбите его и научитесь обращать его на пользу людям... Быть может, вы ошибетесь в выборе своего дела, призвания — у вас будет время исправить ошибку. А в сорок или пятьдесят этого уже не сделаешь. Но и то, что вы узнаете, пригодится. Ненужных знаний и бесполезных навыков не бывает, бывают только ленивые люди, не умеющие найти им применение... Ну как, согласны? — улыбаясь, спросил Костя Павлов.

Кто-то сзади хлопнул в ладоши, и сразу весь класс загремел аплодисментами.

— Подождите! — поднял руку Костя.— Это не всё. Каждый кружок или звено будет заниматься своим делом. Но мы не будем сидеть в кабинетах и классах. Если ты пионер, так ты должен плавать лучше всех, бегать быстрее всех, не хныкать, если надо пройти пять — десять километров, и не дрожать, если попал под дождь... Словом...

— «Не бояться ни жары и ни холода»! — подсказал Толя Крутилин.

— Правильно! И мы будем предпринимать походы и экспедиции. Не в поезде, на пароходе или в машинах — пешком! Побываем на заводе, в порту, сделаем поход в заповедник целинной степи, по берегу моря, и там дело будет для всех — и мичуринцев, и биологов, и фотографов, и радистов...

— Ура! — закричал кто-то из ребят.

— Погодите, рано кричать «ура». А ходить-то вы умеете?

— Как это? Что мы, безногие?

— Ноги есть, а ходить не умеете. Смотришь, идут пионеры: тоска берет! Плетется по тротуару табунок — не в ногу, вихляются из стороны в сторону, барабанщик лупит без всякого смысла, а в горн тутукают все по очереди... Разве так посреди улицы пройдешь? Засмеют. А должны завидовать! Поэтому — никаких тротуаров! Ходить посреди улицы настоящим строем. Горнист один и сигналит только когда нужно. А барабанщик должен научиться барабанить так, чтобы вся улица начинала идти в ногу, когда он бьет в барабан. И уж если пойдем в поход — никаких нянек! Все нести на себе, никаких поваров и обслуживающего персонала — все делать самим! Ну, согласны? Не струсите, не захнычете?..

— Мировой парень, а? — восхищался Витька, когда

они с Лешкой шли домой.— Я обязательно в звено военморов. Ходить буду всюду, а главное — в морское...

Кира решила изучать станки. Наташу более всего поразили поющие рыбы, не слышимый человеком голос моря, тайны, которые скрывали зеленые морские глубины.

А Лешка то и дело вспоминал предложение Кости Павлова представить мир без железа. Оно было всюду. Вилка и нож, которыми он ел, были из стали, Ефимовна варила обед в покрытых эмалью железных кастрюлях, на чугунной плите, над улицей скрещивались, нависали провода, грейфер портового крана и весь кран были из стали, «Николай Гастелло» и все пароходы были из железа, ожившей сталью грохотали автомашины на улицах, железной цепью гремел Налет, железом был подкован Метеор, и даже каблуки Лешкиных башмаков были прибиты железными гвоздями... И все чаще с жадным любопытством Лешка следил взглядом за никогда не гаснущими факелами домен «Орджоникидзестали». Там днем и ночью в незатухающем ни на секунду громе творилось огневое чудо.

35

Лешка разрывался от противоречивых желаний и завидовал целеустремленности Витьки. Лишь только потеплело, тот все свободное время проводил на водной станции — помогал конопатить и красить «суда», катался на лодке, был уже несколько раз матросом на шверботе и учился им управлять. Лешку тянуло и на водную станцию, и в физический кабинет, где Митя добывал из электростатической машины маленькие молнии; ему хотелось, как Наташе, изучать животный мир моря, который носил такие звучные названия — планктон, нектон и бентос... Но ничуть не меньше его занимали раскопки Пантикапеи, на которых рассчитывал побывать Толя Крутилин, собиравшийся ехать на лето к тетке в Керчь, и по-прежнему каждая новая книга уводила его в свой, неповторимый, манящий мир. И, уж конечно, он не мог не пойти на «Орджоникидзесталь», когда Костя Павлов организовал туда экскурсию...

Вахтер, смешно тыкая пальцем в воздухе, пересчитал затылки, потом открыл турникет проходной. Широкий двор за проходной был уставлен портретами и плакатами. С портретов смотрели на ребят большие, как великаны, передовики, плакаты призывали увеличить выпуск чугуна, стали и проката. На булыжной мостовой рычали грузовики.

Дорога повернула, ребята очутились неподалеку от темно-красных железных башен.

— Это — каупера,— сказал Костя.— В них подогревается воздух, который вдувают в домны. Пойдемте на рудный двор.

Огромную площадь сплошь покрывали высокие островерхие горы красноватой руды. Промежутки между ними были как ущелья. По крутым откосам с шорохом скатывались вниз комочки, рудная пыль. Двор обрывался у берега деревянной причальной стенкой. У противоположного берега, задрав левый борт, стоял затонувший теплоход.

С глухим рокотом по железным эстакадам двигался над горами руды мостовой кран. Откуда-то из-под земли появлялись продолговатые железные коробки, по наклонным решетчатым формам ползли к макушке домны и опрокидывались. Над домной всплывал клуб розовой пыли.

— Скипы,— сказал Костя,— они подают в печь руду, кокс и флюсы.

— А как же они... где же люди?

— Людей здесь немного. Вон в кабине — машинист крана, есть машинист у скиповой лебедки, около бункера два-три человека...

Костя рассказал, как в шахту подают кокс, известь, руду, как снизу, через особые трубы, вдувают подогретый воздух и как, наконец, жидкий чугун и шлак выпускают из горна. Ребята слушали и смотрели на грузные башни доменных печей, увенчанные четырьмя колоннами закрытых железных труб. Коленчатые трубы, подобно суставчатым лапам, спускались вниз. Другие, кольчатые, трубы красными змеями уползали по опорным столбам прочь.

В аппаратной стены были сплошь уставлены измерительными приборами. Тонкие, поблескивающие стрелки медленно ползли, прыгали, дрожали на циферблатах, мигали сигнальные лампочки, на вращающихся бумажных барабанчиках и дисках штифты вычерчивали плавные кривые, неровные частоколы.

Мастер привел ребят на площадку к фурмам, но к горновым не пустил:

— Там шлак выпускают. Мало ли что: брызнет, беды не оберешься...

Толстая железная труба опоясывала домну. Изогнутые колена опускались от нее вниз и вонзались в печь.

— Там фурмы... Ну, это такое сопло, через которое вдувается воздух.

Трубы глухо ревели, от них несло жаром.

Все по очереди посмотрели через глазок в печь. Через синее стеклышко был виден белый свет, неясные тени. Лешка различал, как с неясной тени сбегают, падают светлые капли.

— Это что?

— Чугун капает.

Валерий, нечаянно дотронувшись до металлического кожуха, испуганно отдернул руку.

— Обжегся? — улыбнулся мастер.— Да она холодная!..

Он приложил к кожуху руку, и все ребята тоже приложили. Кожух был прохладным.

— Водой охлаждается,— объяснил мастер.— А то ведь там тысячи полторы температурка-то...

— А если лопнет?

— Не лопнет! — засмеялся мастер.

На всякий случай ребята отодвинулись подальше — кто ее знает... Железные листы пола дрожали, шипел где-то воздух, в печи грозно гудело. Все было очень интересно, однако Лешка с облегчением почувствовал под ногами землю, когда спустился вниз.

Они пошли посмотреть, как выпускают шлак. Под высокой горновой площадкой стояли на массивных тележках два ковша, похожие на широкие конусы, перевернутые вершиной вниз. В один из них сверху по желобу стекала светлая струя. Под ярким солнцем и на расстоянии она была вовсе не страшной. Струя иссякла. Воздух над ковшом дрожал. Кургузый, без тендера, паровозик тонко свистнул и потащил прочь пышущие жаром ковши.

Мартеновский цех был громаден. Застекленная крыша казалась далекой, как небо. С правой стороны один за другим вытянулись прямоугольники печей. Из круглых окошек в печах падал яркий свет. С левой стороны цеха, оставляя широкий, как улица, проход, стояли ярко освещенные кабины. Застекленные передние стенки их были обращены к печам, все остальные — уставлены приборами.

Возле печей стояли люди, переговаривались, вернее, перекрикивались между собой и даже смеялись. Никакой опасности не было заметно, но ребята старались держаться поближе к вожатому: очень уж грозный гул и рев шел от печей. И потом — звонки. То спереди, то сзади внезапно раздавались пронзительные, тревожные звонки. Ребята испуганно вздрагивали, оглядывались. Никто, кроме них, не обращал на звонки внимания. Перед одной из печей на

веренице вагонеток стояли узкие стальные корыта с металлическим ломом.

— Это — мульды,— сказал Костя.— Сейчас начнется завалка... А ну, давайте в сторонку.

Занимая почти всю ширину пролета, на них надвигалась приземистая машина-платформа. На ней, огражденный щитком, сидел машинист.

Машина остановилась против печи. Одно из круглых окошек поползло вверх. Оказалось, окошко было не в печи, а в стальной крышке. Крышка поднялась, открыв квадратное окно. В нем бушевало пламя. Машина толстым длинным хоботом подхватила мульду, хобот с мульдой выдвинулся, въехал в завалочное окно и повернулся там. Опорожненная мульда стала на место, хобот подхватил другую и снова, вдвинув ее в печь, вывернул.

Первое окно закрылось, машина передвинулась немного, крышка следующего окна поползла вверх. Громыхающая умная машина быстро и ловко совала тяжеленные мульды с ломом и выворачивала их в огненном чреве печи. Мульды опустели, машина спрятала хобот и укатила в другой конец цеха. Тревожная дробь звонка загремела у ребят над головами.

— Не бойтесь,— заметив их испуг, сказал Костя.— Это газ кантуют... В печи горит смесь доменного и коксового газа. Его подают то с одной, то с другой стороны. Чтобы был равномерный обогрев. Вот когда меняют направление, звонок и звенит.

Возле первой от входа печи к мастеру подошел невысокий широкоплечий парень. К козырьку его кепки были прикреплены большие синие очки.

— Кончаем доводку, Платон Никифорович,— сказал он и, задрав полу расстегнутой спецовки, вытер на лице пот.

— Анализ?

— Нормальный.

Оба подняли головы к торцовой стене цеха. Там, под потолком, светились огромные цифры и латинские буквы, составленные из горящих лампочек.

— Возьми еще пробу, я посмотрю,— сказал мастер.

Широкоплечий парень отошел к печи.

— Кто это? — спросили ребята.

— Сталевар.

Подручные сталевара взяли «ложку» — черпак на длинном железном пруте. Один держал рукоятку, двое других на ломике поддерживали середину прута. Черпак

нырнул в открывшееся окно и появился раскаленный, рассыпающий искры. Его повернули над стаканчиком, стоящим на полу. Жидкий огонь забурлил, закипел в стаканчике, выбрасывая вверх колючие искорки. Сталевар, мастер и подручные, склонившись над стаканчиком, внимательно наблюдали кипение.

Кто-то толкнул Лешку в бок, он оглянулся.

— Сергей!

Сергей Ломанов тоже был в спецовке поверх форменной рубахи...

— Ну как наш борщ, нравится? — улыбнулся Сергей.

— А ты... разве ты здесь?

— Где же мне быть? У нас практические занятия. В печь смотрел? Пойдем, покажу!

Он подвел Лешку к смотровому окну в крышке. От нее несло нестерпимо палящим жаром. В круглое отверстие бил ослепительный свет. Глаза Лешки сразу начали слезиться.

— На,— протянул Сергей синие очки в деревянной оправе.

В синем мраке исчезло все, кроме круглого отверстия в крышке. Там металось, неслось куда-то бесконечное белое пламя.

— Видишь, как кипит? — спросил Сергей.

Сначала Лешка ничего не видел, кроме бесноватых вихрей огня. Потом ниже различил такую же белую, как пламя, поверхность. На ней вспухали и сейчас же лопались волдыри, будто невидимый дождь пузырил поверхность огненной реки.

— Это — сталь? — спросил Лешка.

— Нет, шлак. Сталь внизу, ее не видно.

Раздался крик. Лешка отпрянул от крышки.

— Сейчас пускать будут,— пояснил Сергей.

Мастер провел ребят на площадку, идущую с тыльной стороны печей. Огражденная парапетом из железных прутьев, она нависала над огромным пролетом.

— Разливочный пролет,— объяснил Лешке Сергей.— Вот уже ковш подают.

Мостовой кран бережно, будто стеклянный, нес толстенный стальной ковш.

Внизу, возле дальней стены, стоял целый поезд вагонеток с высокими прямоугольными формами — изложницами.

— Давай! — крикнул сталевар. Он тоже появился на задней площадке вместе с подручными. Один из них подо-

шел к середине печи и принялся ломом разбивать стенку, как показалось Лешке. Лешка недоуменно оглянулся на Сергея.

— Лётку пробивает,— сказал тот.

В летке заклубился розовый дым. Внезапно дым стал светлее, из летки брызнул сноп искр. Свет побежал над желобом, тонкая струя жидкого огня хлынула в ковш. Навстречу ей метнулся трескучий фонтан искр. Струя стала толще, тяжкий огнепад с грозным гулом забурлил в ковше. Трепетный розовый свет озарил цех.

Электрические лампочки померкли. Дрожащий, переливающийся свет живого огня выхватил из сумрака фермы крана, ажурные переплеты крыши, оттолкнул, пересилил бледное сияние дня.

Заслонив глаза очками, смотрели на ревущий огнепад мастер, подручные, сталевар. На потном лице сталевара застыла забытая улыбка.

Кипящая сталь заполнила ковш. Сталевар поднял руку, что-то крикнул, желоб приподнялся, струя оборвалась. Неся над собой розовое зарево, постреливая огненными брызгами, ковш приподнялся и величаво поплыл к изложницам.

Дневной свет показался тусклым и бледным. Ребята восторгались, расспрашивали Костю о непонятном. Лешка молчал — перед ним сиял розовый свет. Сталевар, его подручные, Сергей Ломанов, все эти люди — как они были не похожи на великанов, нарисованных во дворе завода, какими маленькими казались в цехе рядом с огромными печами, машинами, кранами. И какими сильными и смелыми были они в трепетном свете подчиненного их воле и уменью живого огня!..

36

Людмила Сергеевна не поверила своим глазам·

— Ну-ка, ну-ка, подойди ко мне!

— Что такое? — недовольно спросила Алла.

Людмила Сергеевна достала и протянула ей свой платок:

— Вытри сейчас же!

Алла вспыхнула, с вызовом откинула голову. Несколько секунд продолжалось единоборство взглядов, потом Алла опустила голову, достала свой платок и вытерла краску с губ. Она подчинилась, но на ресницах ее дрожали злые слезы обиды

Долгий разговор не помог. Людмила Сергеевна стыдила, объясняла, убеждала. Алла, полуотвернувшись, слушала, но Людмила Сергеевна видела, что слушает она уже не ее, а только свою обиду.

Противно было видеть, как молоденькая девушка изуродовала краской свои свежие губы. Но дело было не в накрашенных губах, не в выщипанных в ниточку бровях, которые придали лицу Аллы удивленно-глуповатое выражение. И не в том, что у нее появилась привычка закидывать голову и громко хохотать, с явным расчетом привлечь к себе внимание. Или привычка непрерывно моргать при разговоре: широко открывать глаза и тут же закрывать их. «Хлопает ставнями», — говорили мальчишки.

Эти и другие замашки, перенятые Аллой у новых подруг, были смешны и не очень опасны, хотя другие воспитанницы начинали ей подражать. Глупенькая! Ей не терпелось поскорее стать взрослой, как будто это уйдет от нее...

Все это пустяки. Значительно важнее и хуже было то, что, оставаясь в детдоме, Алла все дальше отходила от него. Ее ничто не трогало и не интересовало. Перестав быть председателем детсовета, она окончательно отдалилась от всего, чем жил детдом. В сущности, она была отрезанный ломоть. Воспитательницы уже ничего не значили для нее, только Людмила Сергеевна еще имела некоторое влияние, но влияние это становилось все слабее и вот уже вызывало сопротивление и досаду.

Прежде у нее находилось время для всего. Алла ходила в школу, учила уроки, вышивала, выпускала стенгазету, играла с малышами. Высоко держа свой председательский авторитет, она была грозой баловников, успевала вечно что-то стирать и гладить. Общительная, веселая, она была признанной главой коллектива. Теперь ей было некогда. Она ходила в техникум и выполняла домашние задания с таким видом, будто ничего важнее и труднее на свете не существует. Если ее просили что-либо сделать, она досадливо отмахивалась или отвечала удивленно-пренебрежительным взглядом: почему ее беспокоят пустяками?

Она была старше всех воспитанников, и только она одна училась в техникуме. Ей одной разрешалось ложиться спать не вечером, а ночью, так как занятия кончались поздно. Ей одной были куплены особые учебники, александрийская бумага и готовальня. Для нее делали исключение из общего правила, и Алла поняла это как признание своей исключительности. Отсюда был один шаг до уверенности

в том, что, сохраняя все права, она не имеет никаких обязанностей. И Алла сделала этот шаг.

Однажды Людмила Сергеевна заметила, что постель Аллы убирает Сима.

— В чем дело, почему Алла не убрала сама? — спросила Людмила Сергеевна.

— Она торопилась, ей к зачету готовиться надо...

На следующий день Людмила Сергеевна нарочно пришла в спальню и услышала, как Алла небрежно сказала:

— Девочки, заправьте мою постель, я ухожу...

Выговор директора Алла выслушала со злым лицом, постель прибрала, но всем своим видом показывала, что она права, а директор «придирается». Потом стычка произошла из-за дежурств. Митя растерянно сказал, что Алла дежурить отказывается, а он не знает, должна она дежурить или нет. Алла не только не была пристыжена, когда ее позвали к директору, но сама возмущалась и негодовала.

Какое право они имеют заставлять ее? Они не понимают, что такое техникум? Это им не примерчики решать! Какое они имеют право принуждать, если у нее такая перегрузка? Нет в детдоме других? Ничего с ними не случится, если лишний раз подежурят... Что она, мало работала в свое время? Пусть теперь поработают другие, а она не может...

Алла ушла, хлопнув дверью.

Да, это, конечно, не маленький Толя Савченко, запутавшийся в трех соснах. Она будет бегать и протестовать, жаловаться и кляузничать, требовать справедливости и доказывать свое право ничего не делать...

Жалобы и кляузы — пустяки, их не составит труда разъяснить. Хуже всего было то, что в детдоме вырос иждивенец. Пример Аллы мог заразить и уже заражал других. А этого терпеть было нельзя.

Как и когда это случилось? Чего не заметили, что проглядели она, Людмила Сергеевна, и воспитатели? Задатки, склонности? Чепуха, они не передаются, а прививаются. Каким образом пример для всех, активистка превратилась в эгоистичное, самодовольное и наглое создание? Может, дело именно в том, что слишком часто и много подчеркивали, что она такая и сякая, расхорошая? От неумеренных похвал головы кружатся, взвиваются кверху носы и у зрелых, взрослых людей... Всегда ставили ее в пример, в особое положение, вот и поверила в свою исключительность. А где уж исключительным снисходить до обязанностей! Они их признают только для других, сами

имеют одни права. И чем больше прав, тем меньше обязанностей.

Физический вывих исправить легко. Душа — не лодыжка: нельзя дернуть и поставить на место... Нотации не помогают. Наказания озлобят. Поверить в свою исключительность куда как легко, а отказаться от нее — попробуй-ка!.. Единственное средство — создать человеку такие условия, чтобы он не стоял ни над кем, чтобы вокруг были такие же, равные. Равенство — наилучшее лекарство от зазнайства, а труд — от паразитизма... Жалко? Да, трудно ей придется. Не раз поплачет, посетует на жестокость... Ничего. Пока хрящи не превратились в кости, выправить можно. Потом останется только ломать. Это больнее, да и не всегда помогает. И нужен урок остальным. Маленькие смотрят на нее с обожанием — она ведь красивая, умная, старшая! — и подражают, как обезьянки.

На собрание пришли все ребята, но, в отличие от обычных сборов, не смеялись, громко не разговаривали. Алла, пренебрежительно прищурившись, оглядела собравшихся и отвернулась к окну.

— На повестке дня один вопрос,— объявил Митя,— о поведении Аллы Жуковой... Вы скажете, Людмила Сергеевна?

— Да.— Людмила Сергеевна встала, оглянулась на Аллу, но та упорно смотрела в окно и пренебрежительно щурилась, только щеки ее слегка заалели.— Мне так же, как и вам, ребята,— вздохнув, сказала Людмила Сергеевна,— тяжело и больно, что вопрос о поведении Аллы вынесен на обсуждение... Год назад она была председательницей нашего совета, была примерной воспитанницей, призывала других к дисциплине и усердной, честной работе. А теперь мы должны говорить о ней. Алла перестала интересоваться жизнью детдома. Она считает, что уже стала взрослой и у нее нет времени. Допустим, хотя это не так. Но Алла не хочет ничего делать, отказывается работать. А этого допустить мы не можем! Детский дом — коллектив. Здесь нет лучших и худших, у всех одинаковые права и одинаковые обязанности. Каждый должен работать в меру сил и уменья, работать и для других, потому что другие работают для него. Алла же решила, что имеет право ничего не делать для других, но все обязаны делать для нее и за нее. Вы помните, как запутался Толя Савченко. Толя ошибся, но он понял свою ошибку и исправился. Алла уже большая девочка, она не ошибается, делает это сознательно. Я много раз говорила с ней, Ксения Петровна —

тоже, и всё безрезультатно. Пусть теперь она всем объяснит свое поведение. Еще не поздно исправить. Может быть, она осознала, что поступает неправильно, и исправится. А может быть, вы просто согласитесь, что она имеет право ничего не делать и вы все будете за нее и на нее работать?

Людмила Сергеевна села. Ребята перевели хмурые взгляды с директора на Аллу.

— Говори! — сказал ей Митя.

— Как же! — огрызнулась Алла.— На меня будут наговаривать, а я должна оправдываться?

— Встань! — жестко сказал Митя.

— Не буду я вставать — я не подсудимая!..

— А Людмила Сергеевна подсудимая? — повысил Митя голос.— Она встает, а ты будешь барыней сидеть? Встань!

— Вставай, вставай! Нечего! — закричали ребята.

Многим из них приходилось стоять перед советом, когда Алла сидела на председательском месте. А теперь она посмела отказаться от того, к чему понуждала других?!

— Ну и встану, подумаешь...— Алла вскочила.— Только все равно вы не имеете права меня судить. И директор на меня наговаривает, придирается, оскорбляет. Вы не имеете права меня оскорблять! Я знаю, я узнавала... Я не стану делать все, что ей захочется. Это маленьких она пускай уговаривает, а я не маленькая. По закону, я имею право жить в детском доме, и всё. Ничего вы мне не сделаете! Вы хотите, чтобы я занималась всякой ерундой и плохо училась? Мой долг — хорошо учиться, и я буду его выполнять. А заставлять меня никто не имеет права...

Аллу любили и уважали, ей завидовали и подражали. Даже когда она перестала быть председательницей, ее слово по-прежнему было решающим, поступки — выше критики. Узнав, что на собрании будут обсуждать ее поведение, ребята растерялись: как ее можно осуждать, если осуждала всегда она и осуждала правильно? Но чем больше говорила Алла, чем больше смотрели они на раскрасневшееся, искаженное злостью красивое лицо, тем скорее первоначальную неловкость вытесняло раздражение. Что она воображает? Кто она такая, чем лучше других? Подумаешь — учится! А они что, не учатся?

Один за другим ребята вставали и стыдили Аллу, напоминали, как она призывала других, требовала их наказания, а теперь сама хочет быть барыней, жить на всем готовом. Алла презрительно кривила губы, бросала уничтожающие взгляды на ораторов.

Лешка сидел у самой стены, позади всех. Ему было жалко Аллу, его возмущало то, что говорили о ней. Он страдал так, как если бы говорили все это о нем самом. Но он молчал — это было справедливо.

— Что ж нам говорить? — сказал Яша, выступавший последним.— Алла была лучшей среди нас, мы ею гордились... А теперь она не хочет нас слушать, не уважает коллектив. Она просто презирает нас. И я не знаю, что мы теперь должны делать...— Он посмотрел на Людмилу Сергеевну.— Мы постановим, а она не будет подчиняться...

— Конечно, не буду! — крикнула Алла.

— Яша сказал правильно,— поднялась снова Людмила Сергеевна.— Алла перестала уважать коллектив, считаться с ним. Она думает, что стоит выше коллектива и ей все позволено... Это самая скверная и тяжелая болезнь. Лечить ее нужно решительными мерами. Поэтому я предлагаю обсудить вопрос об исключении ее из детского дома...

— Вы не имеете права! — крикнула Алла.

— Не беспокойся — имеем.

С минуту длилось растерянное молчание.

— А как же?..— несмело спросил кто-то.

— Я была в гороно, в техникуме и договорилась. Учится она хорошо, ей дадут место в общежитии и стипендию. Мы должны думать не о том, как ее наказать, а о том, как ей помочь, исправить ее. Мы уже не можем на нее повлиять, пусть повлияет сама жизнь. Ей шестнадцать лет. Другие в этом возрасте работают, живут самостоятельно. Вот пусть и она поживет самостоятельно. Здесь она на всем готовом, там ей придется самой заботиться о себе, самой работать... А работа — самое лучшее лекарство от зазнайства. Здесь она находится в исключительном положении, а там будет в таком же, как и остальные студенты. Ей будет трудно, но не труднее, чем другим. Это не страшно. Страшно, когда человеку легче, чем всем остальным, и он поэтому начинает думать, что он лучше остальных...

Алла ушла на следующий день. Уложив в корзинку свое «приданое» — белье, платья и учебники,— Алла вышла из спальной.

Во дворе, не сговариваясь, собрались все. Это был не такой уход, к какому готовили ее и какого желали все. Но Алла уходила в самостоятельную жизнь, и ее жалели, о ней тревожились. Как-то ей там будет? Уживется ли? Сумеет ли?

Окруженная галчатами, Анастасия Федоровна украдкой вытирала слезы. Прячась за внушительной фигурой своей наставницы, маленькие девочки всхлипывали. Хмурились ребята, печально смотрели на Аллу старшие девочки. Из кухни, скорбно поджав губы, вышла Ефимовна.

Увидев собравшихся, Алла на секунду приостановилась, потом горделиво вскинула голову и, ни на кого не глядя, пошла через двор. Губы ее кривились в пренебрежительной усмешке, но тонкие, выщипанные брови придавали лицу удивленно-глуповатое выражение. Она никого не поблагодарила, ни с кем не попрощалась. Так и не произнеся ни слова, она прошла мимо собравшихся, отворила калитку и скрылась за распустившимися кустами акаций.

Людмила Сергеевна поспешно ушла к себе. Хмурясь, разбрелись ребята. Лешка с тоской смотрел на кусты, за которыми исчезла Алла, унося свою корзинку. Неужто унесла она только то, что было в этой корзинке: несколько книжек и тряпки? Как можно было уйти вот так, ни на кого не оглянувшись, ни о чем не пожалев?..

Тараса Горовца еще зимой, когда по ботанике проходили раздел сельскохозяйственных культур, поразил рассказ о том, как картофель на юге вырождается. Растение умеренного климата, его выращивали на юге так же, как и в других местах: сажали весной и собирали осенью. Рос картофель хорошо, но клубнеобразование приходилось на самую жаркую пору. Оно замедлялось или прекращалось совсем, и осенью собирали картофель мелкий, как орехи. Урожай был маленький, а какое мучение чистить мелкий картофель, Тарас хорошо знал... Академик Лысенко предложил на юге сажать картофель не весной, а летом: картофель мог расти и в жару, а клубнеобразование приходилось на солнечную, но не знойную пору ранней осени, и клубни должны получаться крупные и многочисленные.

Тарас немедленно побежал с этим открытием к Устину Захаровичу. Тот выслушал и сказал:

— Не можно!

— Почему, дядько Устым?

— Вытребеньки! — махнул рукой Устин Захарович. «Вытребеньками» Устин Захарович называл все, что было, по его мнению, выдумкой, не стоящей внимания серьезного человека.

Тарас заколебался. До сих пор авторитет дядьки Устыма был непререкаем, но академик, он ведь тоже что-то

понимал. У Тараса впервые появились сомнения: так ли уж хорошо и правильно все, что говорит и делает дядько Устым? Тарас пытался отогнать эти сомнения, но, однажды зародившись, они уже не исчезли. Не мог же ошибаться академик! Он доказывал по-ученому, а дядько Устым только отмахивался.

Весной, когда прогрелась земля и подошла обычная пора сажать картофель, Устин Захарович наметил день выезда на подсобный участок. Тарас воспротивился и сказал, что сажать надо летом.

— Вытребеньки! — снова отмахнулся Устин Захарович.

— Не вытребеньки, а наука, дядько Устым.

— Картопля растет и без науки.

— Да ведь так же, по науке, лучше! — сказал Лешка, который был тут же.

— А де ты бачив, що лучше? У кнызи? Картопля в поле растет, а не в книжках...

В спор вступили Митя Ершов, потом директор. Людмила Сергеевна стала на сторону Тараса и сказала, что надо испробовать — часть посадить летом. Этого требует агротехника, и ребятам будет легче — занятия к тому времени окончатся.

Тарас победил, но победе не обрадовался. Он был доволен, что картошку будут сажать «по науке», но ел себя поедом за то, что подорвал авторитет дядьки Устыма. Валерий вздумал было разукрасить эту победу:

— Так и надо! Шо он понимает? Отсталый человек, некультурный...

Тарас озлился:

— А ты культурный? Да у тебя в голове того нет, шо у дядьки Устыма в пятке!..

Тарас страдал, оттого что сам вынужден был пойти против дядьки Устыма, и уж никак не мог допустить, чтобы другие наговаривали на него, да еще такие «брехуны», как Валерий...

Устин Захарович подчинился решению директора, но через несколько дней пришел к Людмиле Сергеевне и попросил отпустить его. Совсем отпустить. С работы.

— Да что вы, Устин Захарович? Что вы надумали? Неужто из-за того, что Тарас выступил против вас? Да он совсем и не против вас, а против старого метода. Ничего обидного в этом нет. Ребята учатся, всё на лету хватают...

— Да яка ж там обида? Ниякой обиды нема. Тарас — хлопчик розумный, работящий, из него люди будут...

А я пиду. До колхоза пиду, робыть буду. Який з мене вчитель? Робыты я умею, а вчиты — ни...

Устин Захарович уехал, но совсем не туда, куда собирался.

Через несколько дней после этого разговора в детдом пришел щеголеватый молодой лейтенант милиции и спросил, здесь ли работает Устин Захарович Приходько. Устин Захарович, увидев его, выпустил из внезапно ослабевших рук седёлку, лицо его задрожало. Встревоженные ребята окружили лейтенанта и Устина Захаровича.

— Устин Захарович Приходько? — официально спросил лейтенант.— Распишитесь в получении. Отношение из Тернопольского облрозыска. Александр Андреевич Приходько, восьми лет, и Василий Андреевич Приходько, девяти лет, проживают в детском доме в Тернопольской области. Адрес указывается...

— Внуки...— глухо, осипшим голосом проговорил Устин Захарович.

— Ну да! — улыбнулся лейтенант и сдвинул фуражку на затылок. Белобрысые волосы упали на лоб, вся официальность с него разом соскочила.— Видишь, дед, а ты сомневался! Я ж тебе говорил — разыщем. Если милиция возьмется — будь покоен!

— Внуки! — повторил Устин Захарович.— А Галька?.. Невестка ж где?..

— Насчет Галины Приходько ничего не известно,— помрачнел лейтенант.— Может, и найдется, только навряд... Дети есть, а ее нет... Ну, держи, дед, расписывайся..

Кое-как Устин Захарович накорябал свою подпись, потом схватил обеими руками руку лейтенанта:

— Ой, спасыби вам!.. Ой, яке ж спасыби!.. Хороша вы людына!..

— Да ну! Да что! — польщенно улыбался лейтенант и пытался освободить свою руку.

Но Устин Захарович не отпускал:

— Ой, яке ж велыке спасыби!.. Внуки мои...

Два дня, пока Устин Захарович оформлял увольнение и получал деньги, показались ему годом. Мысли его непрестанно перескакивали то к внукам, то снова к Гальке. Теперь, когда не осталось надежды на то, что Галька найдется, он уже не помнил своего прежнего к ней отношения, не помнил, как сердился и ругал ее. Ему казалось, что он всегда ценил ее, уважал и даже любил. Теперь он уже думал, какая она была хорошая пара Андрею, какая работящая, веселая, как песни пела — «аж душа дрожала!» —

и какая хорошая мать своим и Андреевым детям, его внукам!.. Он старался представить себе, какие они стали, но представить не мог и вспоминал всегда одно и то же: как Галька голосит, а они, малята, с ужасом смотрят на мать и захлебываются от крика... Сколько с тех пор намучились, набедовались!.. Ну, теперь уже всё, теперь, когда он заберет их и привезет домой... О том, что будет, когда он привезет внуков, думать Устин Захарович не мог. Все сливалось во что-то яркое, звучное и радостное, что можно было назвать лишь одним словом — счастье.

Провожать Устина Захаровича на вокзал пришел весь детский дом. Когда уже совсем собрались уходить, Ефимовна выбежала из кухни и сердито сунула Устину Захаровичу увесистый узелок.

— Нá вот,— ворчливо сказала она.— Сам доро́гой поешь и внукам гостинца привезешь... Я ведь вас, мужиков, знаю: никогда ни про что не подумаете!..— и ушла на кухню, вытирая глаза.

Устин Захарович стоял на платформе, окруженный галдящими ребятами. Щеки его густо синели и пылали свежими порезами после недавнего бритья. Все старались сказать ему напоследок что-нибудь хорошее, ласковое, только Тарас молча стоял рядом и прижимался к его большой жилистой руке.

— Так смотрите, Устин Захарович,— сказала Людмила Сергеевна,— как договорились: забирайте своих внуков и возвращайтесь. Внуки будут в доме жить, и вы при них. А то что ж так... Они ведь маленькие, им женский присмотр нужен.

— Добре, добре!.. Спасыби!

Устин Захарович вошел в вагон и сейчас же высунулся в открытое окно. Ему махали платками, руками, кричали о здоровье, счастливом пути. Он тоже махал рукой и что-то говорил. Было странно, непривычно видеть улыбку на его всегда угрюмом, неподвижном лице. И не понять было, чего больше в его улыбке — радости от предстоящей встречи со своими «малятами», внуками, или грусти от разлуки с этими «малятами», к которым так прочно приросла его душа.

Поезд тронулся. Замелькали окна, двери, флажки проводников, скоро только хвостовой вагон смотрел красным сигнальным зраком на ребят, а они всё еще стояли и махали вслед своему суровому другу.

Не было горечи в разлуке с Устином Захаровичем: он ехал к своим внукам, навстречу радости Но ребятам взгру-

стнулось. Может, это было предчувствие новых разлук? Они подступали все ближе. Кончались экзамены, скоро семиклассники навсегда оставят детский дом.

37

Миновали со всеми их страхами и волнениями такие бесконечные и так быстро пролетевшие экзамены. В последний день в класс пришли Галина Федоровна и Нина Александровна. Они поздравили ребят с переходом в седьмой, пожелали им хорошо отдохнуть, набраться сил для новых успехов. Борис Проценко от имени всех поблагодарил учителей и под общий смех пожелал им тоже хорошо отдохнуть от них, от ребят, потому что хотя они старались баловаться поменьше, но все-таки, кажется, баловали порядочно... Валерий Белоус шепнул, что сейчас он тоже «оторвет речугу». Сидящие рядом ребята придержали его за куртку, за штаны, и речь не состоялась.

Потом целой толпой с гамом и смехом провожали домой Викентия Павловича. Ребята подхватили друг друга под руки и плотной шеренгой заняли всю улицу. Викентий Павлович шагал посередине. Прохожие удивленно оглядывались на шумную толпу школьников и седеющего человека с вислыми усами, который смеялся и кричал ничуть не меньше ребят.

Возле дома Викентия Павловича шумная ватага распалась, начала расходиться. Кира, Наташа, Витька и Лешка пошли вместе. Они поговорили о том, что́ каждый будет делать, куда пойдет. Наташа оставалась в школе. Кира шла в ремесленное, Витька, так как о военно-морском училище рано было говорить, собирался в электротехникум. У Лешки не спрашивали, считая, что он будет учиться в седьмом.

— Получается — все в разные стороны,— сказала Кира.— Жалко как! Но мы будем встречаться, обязательно! Правда?..

— Да что мы, расстаемся, что ли? — сказал Витька.— А поход?

Накануне совет дружины решил провести первый поход, пока небольшой, за двадцать километров, в Найденовский рыболовецкий колхоз. Отправиться должны были через три дня после экзаменов, но Костя предложил сначала послать передовую группу, разведчиков, чтобы договориться с колхозом, подобрать место для ночлега, для выступления самодеятельности. В передовую группу назначили Толю Крутилина, Наташу и Киру. Толя замялся —

он хотел сразу после экзаменов ехать в Керчь и участвовать в походе не собирался. Витька во время обсуждения ерзал, насупливая брови, и наконец спросил:

— А вы что, пешком?

— Подвернется попутная машина — хорошо,— сказал Костя,— а нет — пешком.

— Так у вас на разведку два дня уйдет! А я предлагаю на шверботе. По берегу далеко, а морем я вас в три часа по прямой доставлю!..— сказал Витька и горделиво надулся.

— Что ж,— сказал Костя,— это, пожалуй, идея. С Лужиным о шверботе я договорюсь.

Вместо Толи, к удовольствию обоих, был назначен Витька. Он с восторгом сообщил эту новость Лешке, ожидая, что и он так же обрадуется, но лицо Лешки никакого восторга не выразило.

— Ну так что? И поезжайте,— сказал он, опуская глаза.

Витька озадаченно посмотрел на него, стукнул себя кулаком по лбу и бросился обратно.

— Постой! Подожди! — крикнул он, обернувшись, и убежал.

Через несколько минут Витька прибежал еще более сияющий.

— Всё! — еще издали закричал он.— Костя разрешил!

— Что — разрешил?

— Чтобы ты с нами! Понимаешь? Я ему говорю: так и так... А он говорит: «Правильно! Кто же, мол, друзей оставляет... Вообще, говорит, его надо привлекать, он, кажется, хороший парень...» Это про тебя. Понимаешь?.. Вот молодец, а? Я ж говорил — башковитый!

Отъезд был назначен на четыре часа, но уже в час Витька прибежал в детский дом и заторопил Киру и Лешку.

Они зашли за Наташей и побежали на водную станцию, потом часа два маялись, ожидая Костю и поминутно выбегая на дорогу, чтобы спросить у прохожих, который час. Наконец вожатый пришел. Витька давно уже подвел «Бойкого» к мосткам. Костя проверил, есть ли спасательные поплавки и, на всякий случай, весла, и скомандовал отчаливать. Витька поставил на место руль, Костя поднял парус.

Он затрещал, захлопал, потом выгнулся под ветром, у бортов зажурчала вода. Вдали от берега ветер усилился, накренил швербот, вода закурлыкала громче. Здания на

берегу сливались в пеструю неразбериху, тонули в зеленом разливе садов. Белые облака разбегались от солнца и таяли.

— Хорошо как! — сказала Кира и, зажмурившись, подставила лицо солнцу.

Сиреневая падымь затянула дома и зелень, лишь прозрачный, высоко поднявшийся в небо дымный полог «Орджоникидзестали» напоминал об оставленном сзади береге.

— Ну, капитан, может, повернем? — спросил Костя.

— Пригнитесь! — скомандовал Витька.

Сжав губы, с напряженным лицом он перебросил парус, сделал поворот и горделиво осмотрелся.

Костя похвалил, остальные не поняли блеска Витькиного маневра.

Наташа старалась поймать мелькающие мимо бортов студенистые блюдечки медуз.

— Хорошая завтра будет погода! — уверенно сказала она.

Костя оглянулся на множество всплывающих наверх медуз и подтвердил: должна быть хорошая.

Берег снова появился, потемнел, на нем выросли трубы, домны завода. В ковше против красноватых гор рудного двора темнел утюг затонувшего парохода. Лешка вспомнил первую встречу с Витькой в трюме парохода, поход с Наташей. Наташа смотрела на пароход и, должно быть, тоже вспоминала. Взгляды их встретились, они улыбнулись недавнему своему ребячеству. Теперь оно казалось им далеким и давним.

И уж совсем далеким, таким далеким, словно это было не с Лешкой, а с кем-то другим, вспоминались Ростов и Махинджаури, вопли маяка, перекошенное злобой лицо дяди Троши, побег, грузно кланяющийся волнам «Гастелло», первые дни в детдоме... А сейчас уже наступали и последние...

Рано утром, выбрав момент, когда Людмила Сергеевна была одна, Лешка пришел к ней.

— Ты что, Алеша?

— Я хочу спросить... Вы пустите меня в ремесленное?

— В ремесленное? Что тебе не терпится? Ты еще год можешь жить здесь. А на кого ты хочешь учиться?

— На сталевара.

— На сталевара? Это трудно — сталеваром.

— Я знаю... Но я хочу.

— Хотеть мало.

— Я выдержу... Смогу!

— Ну что ж, — сказала Людмила Сергеевна, — иди,

если хочешь и уверен, что сможешь... Но еще есть время: подумай как следует!

— Ладно. Только я все равно не передумаю! — улыбнулся, убегая, Лешка.

Еще какой-нибудь месяц — и надо подавать заявление, и начнется уже совсем другая жизнь...

Завод остался по левую руку, потом позади. Откос берега за ним отливал стеклянным блеском.

Вдруг на нем показалась, потекла вниз ярко-красная струйка.

— Что там? — показала Кира.

— Отвал. Шлак выливают,— объяснил Костя.— Не устал, капитан? А то давай сменю.

— С чего это я устану? — оттопырил губу Витька.— Первый раз, что ли?

Его распирала гордость. Пусть никто, кроме Кости, не понимает, как здорово водит он швербот, но Костя-то понимает!

Показался крутой обрыв Найденовки, причальные мостки приемочного пункта рыбзавода. Они причалили к мосткам, потом, пока позволяла глубина, подвели «Бойкого» к берегу.

Костя и ребята ушли в правление колхоза.

Лешка остался сторожить швербот — вахтенным, объяснил Витька. Лешка сел на носу, свесил ноги через борт.

У самого уреза воды ходили скворцы, важные, как лакеи во фраках из заграничных фильмов, и клевали тюльку, выброшенную волной на берег.

Переваливаясь и гогоча, пришли гуси и прогнали скворцов. Скворцы уселись все на один небольшой куст и громко затрещали, не то ругая грубых гусаков, не то ссорясь между собой. Потом сделали дружное «фр-р» и улетели.

Катер подвел к причалам две большие лодки, до бортов налитые серебристой тюлькой. Рыбаки опустили в лодку раструб прорезиненного ребристого шланга. Заработал мотор — вздрагивающая труба рыбососа начала вбирать, всасывать тюльку и выбрасывать ее на транспортер.

Бегучая дорожка транспортера проходила под соляным бункером, из него сыпалась соль, и уже посоленная тюлька падала в чан.

Косые тени стали бесконечными, когда Костя и ребята вернулись на берег.

Их сопровождал рыбак с морщинистым коричневым от загара лицом.

— В сушилке будем ночевать,— сообщил Витька.— Там ме́ста на всю школу хватит...

— Давайте быстрее, ребята,— сказал Костя.— Пора домой, а то что-то ветер затихает...

— А он уж вовсе убился,— сказал рыбак.

Ветра не было. Замерли деревья на откосе, море стало зеркальным.

— Вам бы катером, он бы враз отбуксировал до города,— сказал рыбак.

— Да ведь он ушел!

— Ушел.

— А ветер, как думаете, поднимется?

Рыбак посмотрел на море, на небо:

— Навряд. Коли о сю пору убился, до утра навряд чтобы поднялся.

— Что будем делать? — спросил Костя.

И Лешке показалось, что он лукаво прищурился.

— Переночуйте, вот и вся недолга,— сказал рыбак.— Хоть у меня в хате. Места хватит.

— Я от швербота не пойду,— сказал Витька,— я за него отвечаю.

— Правильно! А остальные как? — спросил Костя.

— А мы...— загорелись у Наташи глаза,— а мы — хуже? Давайте мы тоже. Вот хоть здесь,— показала она на ворох старых, ожидающих починки сетей.

— Да идемте в хату! — предложил рыбак.

— Нет, спасибо! Решили — останемся здесь,— сказал Костя. По всему было видно, что он очень доволен таким решением.— Только, может, кто о мягкой постели горюет?..

— Это мы-то? — возмутилась Кира.— Да я могу и вовсе не спать!

— Вот видите,— сказал Костя рыбаку, разведя руками.— Ну ладно, устраивайтесь, а я пойду в «Рыбкооп» за провиантом.

Костя и рыбак ушли. Витька и Лешка пошли собирать все, что могло гореть: сухие ветки, палки.

Лешка, вспомнив ночевку в поле, собирал коровьи лепешки.

— Фу, гадость! — сказала Наташа, увидев Лешкину добычу.

— Не гадость, а топливо,— возразил вернувшийся Костя.— Палочки сгорят в полчаса, а этого добра хватит на всю ночь. Там, где леса нет, кизяк — топливо первый сорт.

Они поели колбасы и хлеба, принесенных вожатым, напились сладкой и липкой фруктовой воды.

Над уснувшим поселком громкоговоритель под рассыпчатое треньканье долго и тягуче призывал: «Приходи же, друг мой милый!..» Потом в громкоговорителе щелкнуло, на поселок упала тишина.

Звезды одна за другой вспыхивали в небе, и тотчас загорались их близнецы в черной глади моря. Красноватые отблески костра змеились по ней, тянулись к звездам и не могли дотянуться.

Витька, уткнувшись лицом в согнутый локоть, засопел, Кира и Наташа тоже прилегли.

Звезды в море начали дрожать, двоиться, и Лешка незаметно уснул.

Проснулся он от предутренней свежести. Костер потух.

Был тот предрассветный час, когда сгущается ночная тьма, словно пытаясь противостоять наступлению света. Его еще не было, но он близился, подступал к горизонту, и темнота бросала ему навстречу всю свою мрачную, глухую силу.

Деревья на обрыве шумели; тихонько лопотали, всплескивали волны.

Еле различимо мерцали звезды в небе, но уже ни проблеска света не было в море.

Лешка подбросил в костер веток, начал раздувать тлеющие угли.

Костя проснулся.

— Вставайте, ребята! Надо ехать, пока ветер.

Поеживаясь от холода, ребята забрались в швербот. Темно-серое крыло паруса шевельнулось над ними, и сразу где-то позади, во мраке, остались причал, рыбачий поселок и берег.

— Как же мы в потемках? — спросила Кира.— Еще заедем куда-нибудь...

— Не заблудимся,— сказал Костя, сидевший теперь на руле.— Выйдем на мысок — откроется город, завод. Да и утро скоро...

Цепочка далеких мерцающих огоньков вскоре открылась по горизонту с правого борта, но Костя вел швербот дальше, в открытое море. И только когда задрожали в воде отражения таких же далеких огней завода, он положил руль на борт и перебросил парус.

— Смотрите, смотрите! — закричала Кира.

Среди мутного марева заводских огней вспыхнула огненная нить.

— Плавка идет,— сказал Костя.

Огненная нить померкла, потом вспыхнула снова, пронизывая, прожигая мрак. Он сдался и отступил. Небо позади домен посветлело, окрасилось розовым. Будто зажженная огненной нитью, занималась заря.

Костя сменил галс, парус закрыл завод, но не мог скрыть зарю. Отблески ее струились по воде, светом наливалось небо, и даже парус, будто накаляясь, начал розоветь.

Ветер дул с севера — Косте приходилось лавировать. Когда он снова сменил галс и перебросил парус, солнце уже поднялось над горизонтом и уже не розовым, а золотистым светом залило берег. Ребята никогда не видели его при восходе солнца — он показался им незнакомым и таинственным.

— Мы...— сказала Наташа,— мы сейчас как аргонавты...

— Ага,— подхватил Витька,— как у Джека Лондона. Помнишь:

Как аргонавты в старину,
Покинули мы дом.
И мы плывем, тум-тум, тум-тум,
За золотым руном...

— Да нет! — поморщилась Наташа.— То ж золотоискатели. Вот оно, золото, смотрите!

Она перегнулась через борт, зачерпнула в горсть воды. Солнце стекало с ее пальцев золотыми каплями.

— Капитаны! — вскочил Витька. Капитаны были для него воплощением всего лучшего, и, приближая мечту, он называл всех и себя капитанами.— Капитаны! Золотой берег перед нами. Полный вперед!

Ветер, заходя к востоку, усилился. Костя переложил руль — «Бойкий» накренился и стремительно понесся к берегу.

Лешка вспомнил напутствие Анатолия Дмитриевича.

— Полный вперед! — крикнул он.— Чтобы ветер свистал в ушах!..

Ясный свет разгорающегося утра струился на легкой волне и бежал им навстречу.

Книга вторая
Жесткая проба

1

Все началось с балета.

В субботу утром Алексей увидел большие белые афиши и тотчас забыл о них. По дороге к цеху его догнал Виктор.

— Видал? Оперный приехал!

Алексей безразлично кивнул.

— Чудак! — закричал Виктор.— Хоть и областной, так что? Настоящий театр оперы и балета — шутка! Лично я ни одного не пропущу...

Виктор считал себя артистом: больше года ходил в драмкружок при Дворце культуры и без конца репетировал. Однажды он затащил с собой Алексея. На полуосвещенной сцене сквозняк шевелил облупившиеся крашеные холсты. Пахло застоялым клеем и пылью. Худенькая девушка испуганно оглядывалась в зал, где сидел режиссер, и тихонько бормотала, а Виктор, красный от натуги, кричал не своим голосом и поминутно хватался то за руку девушки, то за свой лоб. Потом режиссер что-то им объяснял, девушка снова бормотала, а Виктор кричал.

— Ну как? — спросил Виктор, когда они вышли.

— Глотка у тебя — дай бог!

Виктор самодовольно улыбнулся. В кружок Алексей больше не ходил.

Опера еще хуже. Это когда долго поют на разные голоса и нельзя понять ни одного слова. Алексей пробовал слушать по радио, но ни разу не выдержал до конца. Один или с Виктором он бы не пошел, но когда Наташа сказала, что она просто не понимает, как можно не пойти,— это же впервые приехала опера, и уж она-то, во всяком случае,

пойдет,— Алексей немедленно согласился. Не пойти означало не увидеть в этот вечер Наташу.

Пришли задолго до начала, и Виктор сейчас же убежал. Всю дорогу он хвастал театральными связями и уверял, что достанет самые лучшие места. Должны они идти навстречу художественной самодеятельности или нет?! Время от времени он появлялся потный, взъерошенный, чертыхал администратора, которого никак не мог поймать, и снова убегал. Алексей был доволен — он оставался с Наташей один и мог на нее смотреть. Он даже подумал, как было бы хорошо, если бы Виктор вовсе не достал билетов. Они пошли бы просто гулять, к морю, например. Сидели бы на берегу, Наташа и Виктор разговаривали, а он бы смотрел на нее и был счастлив... Но тут же он спохватился. Счастья никакого не будет. Она так нетерпеливо ждет этого спектакля, так радуется, прямо светится вся. И больше всего боится, что билетов не окажется...

— Чему ты улыбаешься, я не понимаю? — сердито сверкая глазами, сказала Наташа.— Ни за что теперь Витьке не поверю! Наобещал, нахвастал, и вот — пожалуйста! Сама буду покупать билеты, и все...

Но Виктор уже проталкивался через толпу, по расплывшемуся лицу его было видно, что билеты есть.

— Порядок! Пятый ряд. Правда, немножко сбоку, ну ничего, зато близко...

Места оказались крайними в ряду, у самого забора. Небо еще голубело, и молочный шар фонаря над головой казался желтым и тусклым. За барьером перед сценой торчали головы музыкантов. Там вразнобой пиликали, тутукали инструменты, заглушая всех, резко и отрывисто рявкала в небо медная труба, как отдаленный гром, глухо рокотали невидимые барабаны. Прожектора осветили занавес. На подставку перед оркестром поднялся длинноволосый человек в черном и постучал палочкой. Пиликанье оборвалось, но зрители еще рассаживались, громко разговаривали и смеялись. Длинноволосый оглянулся, обвел требовательным взглядом ряды скамеек. В зале начали громко шикать друг на друга, шум стал еще сильнее. Так и не дождавшись тишины, длинноволосый повернулся к оркестру, плавно повел палочкой, и оттуда, где только что раздирала уши звуковая сумятица, хлынула певучая волна. Наташа, будто захлебнувшись в ней, глубоко вздохнула и замерла, так и оставив чуть приоткрытым рот. Волна растекалась все шире, нарастала, в нее вливались все новые и новые. Еле заметные вначале, они росли, заслоняли собой

прежние, стихали и возникали вновь. Длинноволосый раскачивался всем туловищем, волосы упали ему на глаза, но он не обращал на это внимания и все требовательнее размахивал обеими руками. Повинуясь ему, волны вздымались все выше, потом, будто попав в теснину между скал, заметались, взбудораженно и тревожно, и, разбиваясь одна за другой, начали стихать и гаснуть. В зале захлопали. Наташа перевела дыхание.

— Хорошо как, а?! — невидящими глазами посмотрела она на Алексея.

Виктор сложил ладони чашками и гулко, как в бочку, захлопал. Длинноволосый небрежно поклонился зрителям, взмахнул головой так, что волосы его легли на место, снова поднял палочку, оркестр заиграл, и занавес раздвинулся.

Среди плоских, преувеличенно красивых деревьев танцевали пестро одетые девушки и парни. Танцевали долго, на всякие лады. Только один парень, лучше всех одетый, с длинным напудренным лицом и необыкновенно толстыми ляжками, в танцах не участвовал и слонялся как неприкаянный.

— Это принц, Зигфрид,— шепнула Наташа.

Дружная компания всячески старалась развеселить принца, но он прикладывал согнутую руку с растопыренными пальцами к голове или к сердцу, медленно отводил ее в сторону и, подрагивая толстыми ляжками, отходил. Потом все стали смотреть вверх и показывать туда руками. Перед нарисованным небом, отбрасывая на него тень, проплыла вереница летящих птиц. Очень быстро начало темнеть, все вприпрыжку убежали за кулисы, направо, а принц, схватив игрушечный лук, приделанный к ружейному прикладу, показал, как он будет целиться в пролетавших птиц, и убежал налево.

В антракте гулять не пошли. Наташа, радостно сверкая глазами, объясняла, что будет дальше: ее мама видела этот балет в Ленинграде и все ей рассказала. Алексей слушал, но почти ничего не слышал: он смотрел на Наташу и радовался ее радости...

Принц большими скачками сделал круг по сцене, остановился и начал оглядываться. За кустами и камнями виднелось нарисованное озеро. По небу снова пролетела вереница птиц, и вскоре по озеру в затылок друг другу поплыла череда лебедей. Они доплыли до середины сцены, потом, будто наткнувшись на что-то, остановились, разом дернулись вперед и снова остановились.

— Заело! — басом сказал кто-то сзади.

Виктор громко фыркнул, Наташа яростно толкнула его локтем. Лебеди вдруг дали задний ход, потом двинулись вперед и уже без остановок уплыли за кулисы. Принц ускакал налево, а оттуда, где скрылись лебеди, начали выбегать девушки. Их было тридцать или сорок, и все совершенно одинаковые: как спортсменки, затянутые в трико, только белое, а там где полагается быть труса́м, в коротеньких юбочках. Юбочек на каждой было много. одна короче другой, и все стояли торчком.

— Чего они нацепили? — спросил Алексей.

— Это пачки,— объяснила Наташа.

— Пачки чего?

— Так называется — пачки. Молчи и слушай.

Помахивая руками, девушки цепочкой побежали по сцене. И тут явственно послышался стук копыт.

— Топочут, как козы,— сказал Виктор.

— Ничего ты не понимаешь! — рассердилась Наташа.— Это у них балетки с твердыми носками. Ну-ка, попробуй просто так походить на пальцах...

— А зачем?

— Потому что красиво!

— Ладно, в антракте попробую,— ухмыльнулся Виктор.

Наташа уничтожающе посмотрела на него, и он замолчал.

В оркестре жалобно запели скрипки, виолончели, и, словно скользя по этой певучей волне, появилась Одетта. Плавно покачиваясь и переливаясь, волна подступала все ближе, незаметно подхватила и понесла за собой Алексея. Он перестал замечать и шевелящиеся от ветра декорации, и топот балерин, и чрезмерно напудренные лица. И то, что происходило на сцене, уже не имело значения. Простодушная история о том, как Зигфрид полюбил заколдованную Одетту и эта любовь должна была уничтожить колдовские чары, но злой волшебник Ротбарт подставил вместо Одетты коварную Одиллию, и Зигфрид увлекся ею и едва все не погубил, но потом опомнился и стал бороться с волшебником,— все это Алексея не трогало. Разве может быть в жизни так, чтобы человек полюбил девушку и тут же, с ходу, другую, даже если они очень похожи? Вот он, например? Да пускай будет сколько угодно девушек, и пусть они как угодно будут похожи на Наташу, разве он ошибется, спутает какую-нибудь с Наташей, которая сидит рядом и сейчас не видит и не слышит ничего, кроме происходящего на сцене, словно ее тоже околдовали, как ту

Одетту? Да ни за что! Только такой слабак, как этот длинномордый Зигфрид с толстыми ляжками, может заблудиться в двух соснах... И, наверно, все это надо понимать иначе, не просто так вот — полюбил одну, потом другую, а вообще: как человек может ошибиться, увлечься, сбиться с пути и тогда может напортить всем, даже погубить и других и себя. Так ведь бывает и в любви, и в дружбе, и вообще в жизни. Алексей смотрел на сцену, слушал музыку, но она уводила его все дальше от того, что происходило на сцене, и думалось ему почему-то не о Зигфриде и Одетте, а о его собственной жизни, пускай она пока еще не очень долгая, но было в ней уже немало всякого. Ему вспомнилась такая далекая жизнь в Ростове с мамой, а потом с дядькой, жизнь здесь, в детском доме; как на киноленте, всплывали в памяти люди, с которыми он встречался, сталкивался. Он придирчиво смотрел из нынешнего своего далека на самого себя. Может, и он был в чем-нибудь слабаком, вроде Зигфрида, кого-то обманул, подвел? Было всякое: и глупое, и детское... Но ни обмана, ни предательства не было. Ну, а уж теперь и подавно не будет. Разве может он обмануть надежды Наташи или подвести, скажем, лучшего своего друга Виктора? Смешно даже думать...

Черный волшебник со сверкающими глазами был повержен, корчась, упал в озеро, волшебные чары сброшены, возлюбленные соединились в ликующем танце. В ограде театра вспыхнул свет, танцоры, тяжело дыша, улыбались и кланялись.

Виктор, гулко хлопая в ладоши, повернулся к Наташе.

— Тю! Чего ты ревешь?

В глазах у Наташи стояли слезы.

— Дурень, это от радости...

— Хорошее дело! Конечно, маленькие лебедята и этот Роберт вкалывали здорово...

— Не Роберт, а Ротбарт! И вообще лучше не высказывайся...

Наташа вытерла слезы. Они долго хлопали выбегающим артистам, потом вышли в сад. Домой идти было рано, они побродили по аллеям. Наташа захотела пить. Около зеленой фанерной будки стояли парни и ждали, когда освободятся крýжки. В будке продавали только пиво.

— Пошли в ресторан? — сказал Витька.

— Из-за бутылки воды?

— Не только воды...

— А чего же еще? — сухо спросила Наташа и остановилась.

— Мороженого, например.— Виктор подмигнул Алексею.

У Алексея загорелись уши. Он переодевался второпях и забыл деньги. Что-то есть, но, наверно, пустяки. В кармане три мятые бумажки. Хорошо, если пятерки, а то, может, трешки или даже рубли...

В летнем ресторане почти у самого входа сидел Олег Витковский. Несмотря на духоту, он был в толстом, как одеяло, пушистом свитере. Витковский увидел их, замахал рукой.

— Приветик, детки! Давайте к нам, у нас весело.

На столе стояли пустые коньячные бутылки, пивные кружки. Остатки еды были утыканы окурками. Сидящие за столом парни уставились на Наташу. Шея у Алексея одеревенела.

— Ни за что! — тихо сказала Наташа.

— Другим разом,— ответно помахал рукой Виктор.

Они протиснулись в угол террасы, где освобождался столик. Маленький плешивый официант в засаленной белой куртке, стоя к ним спиной, составил на поднос грязную посуду и ушел. Алексею показалось в нем что-то знакомым, но он не уловил что.

Наташа брезгливо завернула край скатерти на залитую столешницу, положила книжку.

— Может, все-таки трахнем, а? — Виктор наклонился над столом.— По маленькой?..

— Мальчики, если вы будете пить, я сейчас же уйду!

— Чутошную...

— Без меня.

— О женщины! — Виктор трагически откинулся на спинку стула и тут же снова наклонился.— Ну, а пиво? Мужчины мы или не мужчины?

— Пейте, если не можете без гадости...

— Абсолютно!

Алексей знал, что Виктор врет. Не так уж он любит пиво, а водку тем более. Просто считает — раз пришли в ресторан, надо пить, чтобы быть не хуже других.

— Знаешь, что я тебе скажу, Виктор...— Наташа осеклась — к ним пробирался Витковский.

Он был пьян, толкал сидящих, хватался за спинки стульев. Следом шел длинноволосый парень в светлом костюме. Правую руку он держал в кармане, голову слегка наклонил и повернул так, будто косился на свою левую пятку. Длинные желто-рыжие волосы падали ему на лицо, он вздергивал голову, грива ложилась на место и тот-

час снова падала. По этому дерганью Алексей узнал его.

— Приветик! — сказал Витковский и с маху сел на стул.— Знакомьтесь.— Он оглянулся, протянул руку к спутнику.— Мой друг. Мировой парень.

«Мировой парень» дернул головой, вынул руку из кармана и протянул Наташе.

— Юрий Алов. Привет, ребята.— Он старательно произносил каждую букву.— Разрешите присесть?

— Да садись, чего ты...

Витковский рванул от соседнего столика пустой стул, с грохотом подвинул. Алов откинулся на спинку, снова сунул руку в карман и стал там чем-то побрякивать — ключами или мелочью.

— Как вам понравился балет? — все так же выговаривая каждую букву, спросил Алов у Наташи.

— Очень! Очень понравился!

— А мне, знаете, не очень... Меня, собственно, пригласили просмотреть, чтобы написать рецензию. Но я, по-видимому, откажусь — ничего особенного...

— А вы...

— Я по профессии журналист... Ну и приходится иногда заниматься вопросами, которые, так-скать, не в сфере моих интересов...

Он говорил медленно, отчетливо, побрякивал чем-то в кармане и лениво поглядывая из-под опущенных век. Глаза у него были тоже желтоватые, кошачьи.

Витковский все время порывался что-то сказать, но никак не мог собрать губы. Он сжимал, мял их горстью, но как только убирал руку, лицо опять разъезжалось.

— Ребята,— проговорил он наконец,— пошли к нам. У нас там мировые парни. Пошли — выпьем. Пошли?

— Тебе уже хватит. По завязку,— сказал Виктор.

— Кому? Мне? — Витковский обиделся.

— Что это вы читаете? — Алов взял книжку, полистал.— Завидую. Мне, к сожалению, уже некогда. Пройденный этап. Приходится самому писать.

Лежавший в книжке платок упал на землю. Наташа покраснела,— сумочки у нее не было, книжка служила сумочкой.

— Я извиняюсь,— сказал Алов и подал платок.

Наташа затолкала его в манжет рукава и покраснела еще больше.

Витковскому снова удалось собрать губы.

— Нет, ты скажи, кому хватит? Мне, да?

Сидящие за соседними столиками начали оглядываться. Перехватив насмешливые взгляды, Наташа потупилась.

— Сейчас все будет в порядке,— сказал тихонько Алов и хлопнул Витковского по плечу.— Олег, ребята зовут. Пошли.

Витковский поднялся и, хватаясь за спинки стульев, побрел к своему столику.

— Надеюсь, знакомство наше продолжится. Привет! — сказал Алов Наташе и, оглядываясь на левую пятку, пошел следом.

Алексей облегченно выдохнул воздух.

— Он в самом деле журналист? Настоящий? — спросила Наташа.

— В нашей многотиражке работает.

— А что он пишет?

— Он и про Лешку писал,— сказал Виктор. Толстые губы его расползлись в предательской ухмылке.

— Правда? Почему ты не рассказывал?

— А, пустяки! Чего там рассказывать,— отмахнулся Алексей и пнул под столом Виктора.

Подошел плешивый официант, помахал над скатертью мятым полотенцем так, что все крошки остались на месте, вынул маленький блокнотик и, покатывая огрызок карандаша между указательным и большим пальцем, приготовился писать.

Ну конечно, это он! Только вроде стал меньше ростом и как-то ссохся, что ли. Налитые когда-то щеки обвисли, как брыла у лягавой собаки. Под глазами мешки. Большой жабий рот скорбно сжат и стал похожим на куриную гузку.

— Мороженое, ситро и две кружки пива,— сказал Виктор.

— Водочки не желаете?

— Нет.

Официант вздохнул, спрятал блокнотик и повернулся, собираясь уходить.

— Дядя Троша! —негромко окликнул Алексей.

Официант оглянулся, недоуменно шевельнул бровями. Рот его дрогнул, в глазах что-то мелькнуло и тут же погасло.

— Не узнаешь?

— Лешка... Алексей! Господи!

Он по-бабьи всплеснул руками, затоптался на одном месте.

— Как же ты?.. Господи, бож-же ж мой... Да разве признаешь?!

Неподалеку за столиком громко застучали по тарелке.

— Сию минуту! — откликнулся дядя Троша.— Бож-же ж ты мой...— повторил он, переступая с ноги на ногу.— Вот так встреча!.. Я сей минут, сей минут! — и засеменил к столику, за которым еще требовательнее застучали.

— Кто это? — спросил Виктор.

— Жаба. Дядька двоюродный.

— Тот самый? От которого убежал?

— Тот самый. Помнишь,— повернулся Алексей к Наташе,— я рассказывал, как он меня избил и я убежал? — Наташа кивнула.— Сильно я его тогда боялся. И ненавидел. Пожалуй, даже больше ненавидел, чем боялся.

— Ты же маленький был.

— Маленький... Убежал в сорок восьмом, теперь пятьдесят второй. Почти пять лет.

Дядя Троша принес заказанное и остался стоять, разглядывая Алексея. Алексей полез в карман, но Виктор уже положил на стол двадцать пять рублей. Дядя Троша дал сдачу, поколебался и отсчитал мелочь тоже.

— Да ты присядь, вон стул свободный.

— Не полагается нам. Ничего, я так... Убежал ты тогда. Обидел меня. Крепко обидел. Ну ничего, я зла не помню... Как же ты потом-то, а?

— Хорошие люди привезли сюда. Был в детдоме, в ремесленном, теперь работаю.

— Та-ак, определился, значит, к месту... Ничего, видно, живешь, неплохо.— Дядя Троша осторожно пощупал материал Алексеева пиджака и вздохнул: — Хорошая вещь!.. Вон ты какой вымахал! В отца, значит, пошел...

— Наверно. А ты как живешь? Почему из Махинджаури уехал?

Лицо дяди Троши стало еще более скорбным.

— Выжили... Справедливости-то, ее днем с огнем не отыщешь!.. Был человек, а стал — видишь кем... Ни кола, ни двора. Теперь здесь вот — подай да прими... А годы уже не те. Не по годам бегать-то...

— А что тетя Лида?

— Нету тети Лиды! Нету,— горестно вздохнул дядя Троша.— Померла. Два года, как померла.

— Она же все время лечилась!

— Лечилась. А вот...

— Может, оттого и померла? Это бывает,— сказал Виктор.

Дядя Троша посмотрел на него, пожевал губами, ничего не ответил и снова повернулся к Алексею.

— Живу в приймах, угол снимаю... Да... Старость не радость... Ты как, не женился? — покосился он на Наташу.

— Нет.

— Это, конечно, успеется...

— Эй, старичок, давай сюда! — закричали за одним из столов.

— Сей минут!.. Ты бы зашел как-нибудь, а? Посидели бы, поговорили... Или свой адресок дай, сам приду. Я ведь не гордый. Не до гордости теперь. А мы как-никак не чужие все-таки.

Алексей сказал адрес, дядя Троша убежал.

— Жалкий какой! — сказала Наташа.

Они допили пиво и ушли. Виктор долго шагал молча, что-то соображал, выпячивая толстые губы и шевеля нависающими густыми бровями.

— А знаете,— сказал он наконец,— по-моему, это устарело — балет... То есть не вообще балет. Вообще-то это здорово. А вот, скажем, «Лебединое озеро». Сказка! Всякие там принцы, волшебники... Для дошкольников!

Наташа возмутилась. Ничего он не понимает! Сказка или не сказка — важно, чтобы было искусство. А сказка, если он хочет знать,— отражение жизни!

— Какая это жизнь — волшебники, принцессы? Надо, чтобы наша жизнь была. Почему можно из жизни всяких королей, а из обыкновенной нельзя? Об этом и газеты пишут.

— А что ты из обыкновенной жизни в балете изобразишь? Как у станка стоишь?

— Или Маркина, например,— сказал Алексей.

— Кто это Маркин?

— Фрезеровщик у нас в цехе. Вон, Витькин учитель. Маленький такой, старичок уже, но ехидства в нем!.. Недавно на цеховом собрании председатель завкома доклад делал. Маркин всегда молчит, а тут вылез на трибуну. Налил себе воды из графина, выпил, будто второй доклад собрался делать, и говорит: «Вот тут докладчик долго объяснял, как завком о нас заботится и беспрестанно посылает рабочих на курорты. В порядке очереди. Очень распрекрасно! Вот я имею, к примеру, заболевание радикулитом, требуется мне для лечения курорт Цхалтубо. Я, конечное дело, состою в очереди, и очередь у меня трехсотая. А путевок бывает две штуки в год. Выходит, я на

курорт через сто пятьдесят лет поеду? Покорно вас благодарю, товарищи!» И слез с трибуны... Хохоту было!

Они посмеялись. Виктор сам слышал речь Маркина и теперь смеялся больше всех, потом сказал:

— Ну, Маркин — известный бузотер. Есть настоящие люди — передовики.

— Уж не ты ли?

— Хоть бы и я? А что?

— Ты же липовый передовик.

— Я не работаю, да? Норму не перевыполняю?

— Ты пенки снимаешь.

— Это я-то?

— Ты-то!

— Мальчики, не ссорьтесь! Ну что вы вдруг затеяли?

— Не вдруг. Я ему раньше говорил,— сказал Алексей.

— Это ты здесь храбрый! Ты там, в цеху, скажи!

— И скажу!

— Ну и говори!.. И иди ты знаешь куда... Ты... Ты просто завидуешь!

Виктор сунул сжатые кулаки в карманы и быстро зашагал к углу.

— Витя! Витя! — позвала Наташа.

Виктор поддал ногой камень, тот грохнул в ворота, за ними залаяла собака. Виктор, не оборачиваясь, свернул за угол.

— Зачем ты так?

— Ничего, подуется — перестанет.

— Это верно, он быстро остывает. Добрый.

— А я?

— Не знаю. Ты, может, еще добрей... Только — сердитый.

— Вот так определила!

Они засмеялись и забыли о ссоре, которых и раньше было несчетное число и которые забывались так же мгновенно, как забылась нынешняя.

2

Писатель устал. Нарочно пришел пораньше, чтобы застать директора на месте, но разговор не получился. Шершнев уже собирался идти по цехам, вежливо, но непреклонно отказался взять его с собой и сплавил к главному инженеру. Пошутил, что свита ему еще не положена. И заниматься он будет всякими будничными делами, что ему, писателю, вряд ли интересно. Объяснять, что как раз это —

самое интересное, уже было некому: Шершнев показал сутулую спину и ушел. Силен мужик. Только, видно, болен: худой и лицо какое-то землисто-желтое. А был, наверно, здоровяком: несмотря на сутулость, едва не достает до притолоки и плечи как у грузчика.

Главный инженер так долго потирал лоб, раздумывая, кого бы с ним послать, что писателю стало неловко. Он попросил не беспокоиться — зайдет в редакцию, там ему помогут.

— Конечно, конечно, само собой! — обрадованно сказал главный инженер и покосился на отложенную папку.

Понять их нетрудно: заняты делом, а тут одолевают всякие представители и пришлые, вроде него...

Сотрудник заводской газеты сначала позабавил писателя. У него были желтоватые глаза и желто-рыжие волосы. Ходил он, засунув одну руку в карман и немного наклонив голову, будто косился на свою левую пятку. И поминутно встряхивал головой, чтобы рассыпающаяся желтая грива легла на место. Прямо какой-то аргамак. Как его назвал редактор? Черт! Никогда не запоминаются фамилии... Кажется, Балов?..

Он оказался неостановимым разговорником и через полчаса смертельно надоел. Его распирало желание говорить и показывать. И о чем бы он ни говорил, обязательно добавлял: «Об этом я писал в своем очерке», «Об этом я упоминал в статье». Проще всего было бы сказать «спасибо, хватит» и уйти, но проклятая вежливость не позволяла. Желтоглазый расшибался в лепешку, отказ мог его обидеть, и писатель все шел и шел по заводу, смотрел, куда показывали, и слушал, что говорили, хотя все это было не нужно. Он бывал на многих заводах, в далекой молодости работал на заводе сам и знал, как все происходит. И для дела это было не нужно. Приехал заниматься трудоустройством окончивших десятилетку, ну и занимайся. Нечего шляться по заводу и глазеть. Это не музей и не выставка. Люди работают, и экскурсанты раздражают их ничуть не меньше, чем когда-то раздражали его самого. Зеваки — кто бы они ни были — всегда раздражают работающего...

Августовский зной меньше всего ощущался в горячих цехах. Сквозняки. И вентиляторы ревут как звери. А вот в механическом душно. Рубашка сразу прилипла к лопаткам. Он резко передернул плечами, в правом боку кольнуло. Начинается... Это, конечно, отбивная. Не следовало оставлять чайную. После того как из супа с лапшой он вытащил трамвайный билет, перешел в пельменную — бог

его знает, что можно вытащить в следующий раз! В пельменной показалось чище, но первых блюд не было, и вообще не было ничего, кроме свиных отбивных, попросту кусков сала, зажаренных в сухарях. Не удержался, съел, и теперь наступала расплата. К вечеру станет, конечно, хуже. Не хватало только расхвораться здесь. Приехать по делу и цацкаться со своей печенью... Нет уж, лучше есть суп с трамвайными билетами. И вообще пора переходить на травку: пятьдесят, молодость не воскресишь...

Она воскресла внезапно у выхода в главный пролет. Молодой высокий парень осторожно повернул на разметочной плите окрашенную белой краской поковку и, проверяя угольником вертикали, начал подбивать клинышки под края. Писатель подошел ближе, сотрудник многотиражки тоже. Алексей покосился на них и отвернулся к поковке.

— Молодой человек,— сказал сотрудник,— это я о вашем общежитии писал?

— О нашем,— хмуро ответил Алексей.

— Помню, помню... Потом мы еще давали «По следам наших выступлений». Твоя фамилия Горбачев? Вот, Горбачев, товарищ писатель интересуется твоей работой...

— Здравствуйте,— сказал писатель.— Можно посмотреть? Не помешаем?..

— Смотрите,— пожал плечами Алексей.

Конечно, они мешали. Любому человеку будет мешать, если ему уставятся на руки или в спину. Но писатель не мог заставить себя уйти. Вот так же и он когда-то красил клеевой краской отливки и поковки, устанавливал и переносил чертеж на металл. Приятнее всего было работать по латуни. Поковки тоже ничего, особенно когда одна сторона обработана уже на фрезерном или строгальном. А вот с чугунным литьем беда. Без конца нужно подтачивать концы циркуля и рейсмуса — вплавившийся формовочный песок съедал их, как наждак.

Сотрудник многотиражки томился. Что ему далась эта плита? Ничего интересного, а он стоит и стоит... И вообще какой-то... не такой. Молчит, ничего не записывает. Ни фамилий, ни показателей... Даже ни разу самописки не вынул. Только головой кивает. Что он все-таки написал? Надо забежать в библиотеку, спросить, а то неудобно может получиться... Что писатель — безусловный факт: он сам тогда, у редактора, посмотрел членский билет, даже перелистнул — взносы за пятьдесят второй год уплачены. Пусть не очень известный, все-таки случай упускать нельзя... Домой пригласить? Не пойдет, наверно. Да и дома не ахти.

В сад — далеко. Лучше всего — в пельменную. От Дома приезжих близко, и вообще... Что он любит — водку или коньяк? Прошлогодний художник, тот коньяк глушил...

— Слушай, друг,— сказал писатель,— а можно мне?.. Дай-ка я попробую тоже. Пустяковину какую-нибудь... Да нет, ты не бойся, не испорчу — я когда-то этим делом занимался.

Алексей, поколебавшись, достал из ящика инструменты сменщика, кернер дал свой, запасной.

— Вот, если хотите.

Это была действительно пустяковина — уже окрашенная поковка ползунка какого-то приспособления, весом не больше килограмма. Сейчас нужно только наметить срезы боковых граней. Минут на пять работы. Но как ее, черта, укрепить? Писатель растерянно оглянулся. Алексей протянул ему струбцину и кивнул на пустотелый опорный квадрат:

— Зажмите.

Срам! Азы забыл. Конечно, прижать к квадрату струбциной, дальше уже ерунда. Черт, какой тугой барашек... Так, циркулем наметим осевую, теперь отложим радиусом толщину. Ага, здесь выступ, на десять миллиметров в одну сторону больше. Теперь можно снять и прокернить. Только бы по пальцу не стукнуть... Плохо, молоток не по руке. Вот когда свой пригодился бы! Не тяжелый, а прибоистый, и рукоятка превосходная — из вяза, отполированная рукой и временем... Так и ездит со мной повсюду. И в войну, и в эвакуацию. Из города в город, из квартиры в квартиру. И не нужен, а выбросить рука не поднимается. Память. Сантименты... Кажется, все? Да, а несколько кернов с линии съехало. Срам... И возился, наверно, полчаса. Вот тебе и пять минут...

Он протянул поковку Алексею, достал платок и вытер с лица пот внезапного волнения.

— Ну как?

— Ничего.

— Бывает хуже?

— Бывает,— улыбнулся Алексей, и писатель тоже стесненно улыбнулся.

— И на том спасибо!

— Пойдемте дальше? — спросил желтоглазый.

Писатель вздохнул и покорно пошел, хотя уходить не хотелось. В главном пролете он оглянулся.

— Красивый парень,— сказал он.

Спутник его тоже оглянулся на склоненную над плитой фигуру.

— Ничего особенного, по-моему.

— Это вы не пригляделись. Рот! Широкий, твердый. Настоящий мужской. И глаза. Серьезные глаза. Сердитые...

Сотрудник газеты пожал одним плечом, писатель неприязненно покосился на него. Ты-то хорош, гусь желтоглазый. Небось себя красавцем считаешь. Ишь поджал губы бантиком...

Возле фрезерного снова остановились.

— Вот этот, мне представляется, интереснее! — перекрывая шум, прокричал желтоглазый.— Передовик,— и показал на стоящий на инструментальном ящике фанерный вымпел, покрашенный красной краской.

Стоявший у станка коренастый парень с толстыми губами и густыми черными бровями оглянулся на них.

— Привет, Гущин! — прокричал еще громче газетчик.— Как жизнь? Как норма?

Широко улыбаясь, фрезеровщик поднял кверху два растопыренных пальца.

— Скоростник? — спросил писатель.

— Не то чтобы... Но — имеет шанс. Видите — двести процентов.

Писатель, улыбаясь, покивал. Улыбался он не успехам толстогубого фрезеровщика, а воспоминанию о только что пережитом волнении, когда вдруг оробел перед молодым разметчиком, словно они обменялись возрастами и он снова почувствовал себя мальчишкой, учеником. Как он, стервец, снисходительно процедил свое «ничего»!.. Доблести большой, конечно, не обнаружилось.

Выйдя из цеха, писатель решительно остановился.

— Я думаю, на сегодня хватит, у меня еще дела в городе. Большое вам спасибо, товарищ Малов...

— Алов,— поправил желтоглазый.

— Простите...— Вот черт, все-таки спутал! — Редкая у вас фамилия.

— Это псевдóним. Фамилия моя Слимак.

— Зачем же вам в многотиражке псевдони́м? Все равно вас тут все знают.

— Это же приятно,— сказал Алов.— У вас ведь тоже есть?

— Нет, знаете, как-то не обзавелся. А теперь уже поздно, да и вроде ни к чему. Всего хорошего.

— Вы разрешите к вам вечерком заглянуть? Вы ведь

в Доме приезжих остановились? Мне бы хотелось поговорить кое о чем...

— Заходите,— безрадостно сказал писатель и тут же поспешно добавил: — Пожалуйста.

Алов встряхнул гривой, сунул руку в карман и, косясь на свою левую пятку, ушел.

«Черт бы тебя, слюнтяя, побрал!» — глядя ему вслед, подумал писатель. Пожелание относилось не к самодовольному молодому нахалу, а к нему самому. Вечером надеялся поработать, теперь все пойдет прахом. Проклятая вежливость!

Алов пришел. Он волновался, пыжился, стараясь показать свою независимость, но то и дело сбивался на подобострастие, на губах застыла подхалимская улыбочка. Писателю стало неловко, он опустил глаза, подвинул гостю коробку папирос. Алов не курил, но папиросу взял, неумело затянулся, помахал рукой, гася спичку, и затолкал ее обратно в коробок. Писатель неприязненно покосился.

— Как вы тут устроились? У нас ведь не очень шикарно.

Писатель оглядел убогий командировочный уют комнаты, конторский стол, карболитовый письменный прибор, в котором вместе с чернилами окаменели мухи.

— Стол, койка есть, больше мне ничего не нужно.

— Вы еще не ужинали? Может, пройдем в пельменную? Здесь недалеко... Посидим, так-скать, в культурной обстановке.

— Ну, какая там культура! Там сейчас водку пьют...— усмехнулся писатель.— И потом — видали? —на стене там в огромной раме висит взбесившаяся яичница. Называется «Девятый вал». Бедный Айвазовский! Почему его так любят вывешивать в ресторанах и забегаловках?..

Он взял коробок, отыскал обгоревшую спичку и выбросил в пепельницу.

Алов жалко улыбнулся. Плохо! Какой может быть разговор всухую...

— Я, видите ли, пришел с вами посоветоваться. У нас по творческим вопросам абсолютно не с кем поговорить.

— Почему же? А сотрудники редакции? Потом, наверно, есть начинающие...

— Понимаете, не тот уровень. Варимся тут, как говорится, в собственном соку... Я, разумеется, работаю над собой. Только времени абсолютно не хватает, газета поглощает все время... И для себя приходится работать по ночам.

— Да, да...— Писатель покивал головой.— Так чем я могу?..

— Вот.— Алов торопливо начал развязывать тесемки толстой папки. Потные пальцы с трудом одолели узел.— Вот то, что уже напечатано.

В альбоме из толстого картона были аккуратно наклеены газетные статьи и заметки. На обложке приклеена бумажка с типографским оттиском «Юрий Алов». Писатель полистал альбом, пробежал взглядом заголовки и отложил.

— Тут вам более полезны советы товарищей, редактора. Наверно, они и были... А что еще?

Алов извлек из папки толстую рукопись. Регистрационные номера на изрядно помятой и засаленной обложке были тщательно замазаны чернилами.

— Куда-нибудь посылали?

— Нет... То есть да... Но вы же знаете, когда автор неизвестен, без всяких связей, пробиться абсолютно немыслимо.

— Этого я не знаю. Талантливой книге пробиваться не надо, она идет без всяких связей.

— Вы хотите сказать?..

— Только то, что сказал.

Он перелистал рукопись, просмотрел наугад несколько страниц. Ну конечно... Протокол о том, как варят сталь. Изредка в протоколе появлялись абзацы, начинающиеся с тире. В тех местах, где герои обучали друг друга, как ее надо варить.

— Не многовато ли у вас тут сталеварения и вообще всякой индустрии? Что вам писали рецензенты?

Уши Алова порозовели. В рукописи его действительно непрерывно лилась кипящая сталь, грохотали блюминги, крутились станки. Какой-то сволочной рецензент написал, что станки прочно стоят на фундаментах, а вовсе не «крутятся», вращаются же шпиндели станков...

— А что они пишут? «Изучайте жизнь, читайте Пушкина, Гоголя...»

Рецензентов Алов ненавидел: завистники, неудавшиеся писатели и по злобе всех бракуют... А главное — рецензии он писал сам и знал, как это делается. Изредка городская газета помещала небольшие отзывы о книгах, писал их Алов. В таких случаях он в подшивках центральных газет находил ранее напечатанные рецензии и пересказывал их в своей. Это было очень легко и просто. Важно было только не повторять буквально, не переписывать, а переиначивать

сочетания слов и последовательность их. Сложнее было, когда приходилось рецензировать книжку, о которой еще не писали. В таких случаях самое опасное — перехвалить. Вдруг ее потом обругают? Если автор был неизвестен, например издан в области, Алов писал, что автор молодой, начинающий и не сумел создать полнокровных образов; в книге есть достоинства, но они не компенсируют недостатков. Если же об авторе нельзя было сказать, что он молодой и «не создал», Алов осторожно хвалил, говорил, что автор «создал полнокровные образы», хотя и не без недостатков, но недостатки не могут заслонить достоинств и книга войдет в золотой фонд...

— Рецензенты! Им самим надо изучать жизнь!.. Уж что-что, а жизнь я знаю.

— Вам сколько лет? — спросил писатель.

— Двадцать пять. Какое это имеет значение?

— Имеет. В двадцать мы всё знаем. Потом будет хуже. В пятьдесят — шестьдесят всё знают только дураки и невежды.

— Во всяком случае производство я знаю. И я свою вещь читал, между прочим, сталеварам. Очень хвалили.

— А женщинам?

— Что — женщинам?

— Женщинам читали? Обыкновенным женщинам. Молодым, старым.

— Они же ничего не поймут!

— А вы что, пишете только сталеварам для служебного пользования? Писать надо для всех.

— Выходит, равняться на обывателей?

— Эка вы... Так недолго все население в обыватели зачислить... Впрочем, у критиков это тоже ходовой прием: читателям книга нравится, а ему нет — значит, написана в угоду мещанским, обывательским вкусам...

— Да нет... Я, собственно говоря, не это хотел... Возможно, я немного перегнул... То есть, само собой разумеется...

Алов окончательно запутался и потянулся за папиросой. Писатель искоса наблюдал, не сунет ли он опять обгоревшую спичку в коробок, но тот бросил в пепельницу.

— Видите ли, я, собственно, хотел с вами не по этому вопросу. Эта повесть, так-скать, пройденный этап. Я с вами хотел поделиться замыслом новой вещи. Так-скать, апробировать...— Писатель внимательно смотрел на него, Алову это мешало.— Дело в том, что я задумал большую вещь, роман о династии сталеваров.

Писатель поднялся, ссутулившись, зашагал по комнате. Семь шагов туда, семь обратно.

— Вы ведь знаете, об этом пишут и в газетах, и в журналах: о рабочем классе мало произведений. Особенно о ведущих профессиях, определяющих, так-скать, лицо... Вот я и хочу показать не одного, а целую династию, во всю ширь, так-скать...

Писатель попытался распахнуть окно, но оно было заколочено. Открытая форточка духоты не умаляла. Он уже читал подобный роман. Обнаружился такой специалист по рабочим династиям. Как все полуинтеллигенты, ненавидит интеллигенцию. Интеллигенцию оплевал, а рабочих расписал патокой и мармеладом...

Сказать этому балбесу? Не поймет ни черта... Как бы ему поделикатнее? И чтобы он своим рукоделием вреда поменьше принес...

— А вы знаете? Ну ее к шуту, эту династию... Вы как-нибудь потом про династию. А может, и вообще не надо?.. Видите, какая штука... У королей или царей другого занятия не было, кроме как державным задом сидеть на шее у подданных. Вот это их поочередное сидение и составляет понятие «династия». Какое же это имеет отношение к нынешнему рабочему? Сегодня он рабочий, завтра — инженер, значит, интеллигент, а сын его, глядишь, стал врачом, ученым...

Человеческое древо жизни тем и лучше настоящего, что оно всюду корни пускает... Мы часто очень неосторожно обращаемся со словом. Надо сказать поторжественнее — не долго думая лезем в церковнославянский, а то и в дворянский, придворный чулан. А слово — вещь могучая, оно за собой многое тащит, не ровен час, в такую сторону утянет, что — батюшки светы!.. О современности, о современном рабочем надо бы писать иначе, по-современному, а не умеем... Пишем ему хвалы, а ему ни хвала, ни хула не нужны, ему правда нужна... Вот и вы, коли всерьез занялись литературой, вам тоже с этим придется столкнуться и искать, без конца искать...

— Конечно, творческий процесс...

— Бросьте,— поморщился писатель.— Слова эти придумали пачкуны, чтобы набить себе цену. Есть хорошее слово — работа! До пота, до одури, до зубовного скрежета иной раз...— Он замолчал, прошелся по комнате.— Для начала вам бы не роман, а что-нибудь полегче, попроще.

— Что же вы мне советуете делать?

В голосе Алова звучало ожесточение. Этого следовало

ожидать. Все они, видно, одинаковы — и рецензенты и писатели. Сами дорвались и теперь всех отпихивают, боятся, что молодые затрут...

— Подумайте... Сейчас выходит много книжек, брошюр о передовиках производства. По-видимому, они приносят пользу. Такая работа, мне кажется, послужила бы вам для начала неплохой школой...

«А в самом деле? Кажется, неплохая идея... Такую книжку можно очень быстро сделать».

— Да, но будет ли такая книга иметь, так-скать, художественную ценность? Ведь для того чтобы подавать заявление в Союз писателей...

— Это уж зависит от вас, от того, как вы ее сделаете. От меры вашего труда и таланта...

— А вы не разрешите... Вы не откажетесь взять надо мной, так-скать, шефство? Не в смысле... А просто, если она окажется, по-вашему, стоящей, рекомендовать ее издательству или в журнал, может быть? Я, конечно, могу послать и сам, но, вы понимаете, ваш отзыв мог бы просто ускорить, так-скать...

— Что ж, присылайте мне, если хотите.

Радостно взволнованный, Алов потянулся снова за папиросой, но она лопнула по шву клейки, он долго и неумело заклеивал ее.

— Возьмите другую.

— Ничего, уже... А как вы думаете, о ком следует писать?

— Вот уж не знаю! О том, что вам всего ближе, что лучше всего знаете.

— О сталеварах, пожалуй, не стоит, о них уже много написано, есть целая серия... О доменщиках тоже... А как вы думаете, если о том фрезеровщике, помните, я вам сегодня показывал, о Гущине?

— Это губастый который, черноволосый?

— Он самый.

— Если хороший человек и работник, можно и о нем.

— Я, видно, последую вашему совету...— Как ему самому не пришло это в голову? — Большое вам спасибо!

Алов простоял еще не менее получаса и наконец ушел. Писатель посмотрел на часы и вздохнул. Вечер пропал. Он давно заметил: еще приходить вовремя люди иногда умеют, уйти вовремя не умеет почти никто.

3

Алексей старался не подходить к табельной доске в одиночку. Ему было неловко, как всегда, когда он не оправдывал чьих-либо надежд, оправдывать же надежды Голомозого он не собирался. Голомозый, нежно поглаживая веснушчатую лысину, поздоровался первый.

— Что ж ты не показываешься? Разок пришел, и все. Или не понравилось?

— Нет.

— Что так?

Василий Прохорович избавил Алексея от необходимости отвечать. Снимая табель, он нарочно громко спросил, чтобы слышали проходившие:

— Ну, святой, когда в рай собираешься?

Голомозый улыбнулся осторожной, злой улыбочкой.

— Мы поспеем... Это вы, горластые, наперед всех лезете. А мы — когда призовут...

— То-то! Рай раем, а за землю держишься... Смотри, призовут — кобелей прихвати, они и там сгодятся ангелов гонять... Пошли, Алёха!.. Собаку у него отравили, мальчишек рвала, так он двух теперь завел, чтобы в сад не лазили...

— Дядя Вася, а если к тебе залезут?

— Ну, ко мне!.. Я в крайнем разе уши нарву. И мне, чай, можно: я святым не притворяюсь... Ты чего квёлый? Гуляешь много?

— Да нет, не много.

— Будто я не знаю! У меня усы-то тоже не сразу седые выросли...

Он свернул налево, к своему большому продольно-фрезерному, Алексей — к плите. Возле нее лежала груда чугунного литья, но ни чертежей, ни нарядов не было. Алексей прислушался — в главном пролете кричали. Мастер должен быть там.

Скандалил Маркин. Сухонький, с морщинистым, перекошенным сейчас лицом, он размахивал перед носом мастера левой рукой со скрюченными пальцами и кричал, что его это не касается, его должны обеспечить деталями, а там пусть мастер и все начальники хоть пополам перервутся. Сопляков обеспечивают, а его что, хотят выжить, да? Мастер поднимал руку, пытаясь вставить хотя бы слово, но сделать это не удавалось, он опускал руку и вздыхал.

— Дает жизни старик,— улыбаясь, сказал Виктор. Он уже зажимал оправкой стопку заготовок.

Все голоса и шумы внезапно исчезли, утонули в могучем реве третьего гудка. Алексей подошел к мастеру, потянул его за рукав, но тот, оглянувшись, досадливо отмахнулся. Чтобы не слоняться без дела, Алексей взял инструменты и пошел к точилу — подправить. Голомозый прошел мимо, сделал шаг к нему, но Алексей отвернулся и включил мотор точила. Хватит, один раз попался...

Это случилось в первый месяц его работы в цехе. Месяц был трудный, и как раз тогда Алексей остался один. Виктор ушел в отпуск, повез мать и Милку к знакомым рыбакам на Кривую косу. Ребята в общежитии были малознакомые, из транспортного цеха, с ними Алексей еще не свыкся и боялся, что они, уже видавшие виды, поднимут его на смех. В цехе же он, вчерашний ремесленник, еще ни с кем не успел сойтись. Вот только Голомозый...

Голомозый всегда был приветлив и даже ласков. В дружбу он не лез — и какая могла быть у них дружба, если Алексей едва подбирался к восемнадцати, а Голомозый, должно быть, и забыл, когда на его голой, как абажур, голове было что-нибудь, кроме больших рыжеватых веснушек? Однако, проходя, он не упускал случая заговорить, деликатно посочувствовать.

К концу смены разламывало спину, ноги наливались тяжестью. Тяжесть накапливалась и где-то внутри. Эту тяжесть нельзя было стряхнуть, ее не снимали ни сон, ни отдых, и Алексей все чаще со страхом думал — как же будет дальше? Вот это и есть труд? И так будет всегда? Он вызывал в памяти все слова, которые слышал прежде о труде, доблести и геройстве, аршинными буквами они кричали со стенных плакатов и транспарантов. Слова не помогали. Они существовали сами по себе, а он изо дня в день должен поднимать, ворочать чертово железо, стоять и стоять, стучать и стучать молотком по кернеру, и ничего в этом героического не было.

Голомозый, когда Алексей сказал ему о своих сомнениях, скорбно вздохнул.

— Такие слова люди говорят в утешение. А суть в том, что человек обречен в поте лица добывать хлеб свой... Очень просто: надо жить, жить без денег нельзя, а тебе за твое стояние и стук платят деньги. Другим — за другое. И человек должен терпеть... Однако, если у тебя какая заминка, ты не стесняйся... Табельщик — человек маленький, но и от него кой-чего зависит. А я — всей душой... А как же? Волки и те в стаи сбиваются, подсобляют один

одному. А мы ить не волки, помогать дружка дружке все одно как брат брату — это есть человеческое предначертание.

Особенно охотно Голомозый говорил о том, что жизнь человеческая — путь тернистый, много на нем всяких соблазнов и испытаний. В одиночку человеку их не преодолеть, не вынести. Один человек, как колосок у дороги — и ветер его на все стороны клонит, и каждый прохожий затопчет. А нива засеянная, она, как стена, стоит — колосок к колоску, под ветром клонится, да не ломится. Если, конечно, посев добрый и не засорен плевелами... Мимоходом спросил, не верует ли Горбачев в бога.

— В бога? — удивился Алексей.— Да кто в него сейчас верит?

— Если про церковь говорить, то немногие,— согласился Голомозый.— И что удивительного? Душа человеческая жаждет познания истины, а в церкви какая может быть истина? Рясы, иконы, идолопоклонство языческое... Театр, а не религия. Не просветляют разум, а затемняют его.

В другой раз Голомозый начал расспрашивать, как Алексею живется, что он делает в свободное время, не скучно ли в общежитии. В общежитии было скучно. Унылая голая комната, в которой стояли стол и шесть коек, наводила тоску. В ней старались находиться как можно меньше: спали, ели из бумажек запасенные в «Гастрономе» или на базаре харчи и спешили уйти — в кино, в сад или просто так, «прошвырнуться», лишь бы не сидеть в осточертевших стенах. Иногда выпивали, но и это предпочитали делать в забегаловках, а если денег случалось больше — в пельменной на главной улице.

Голомозый сокрушенно кивал головой. Да-да, верно, верно. Молодежь не знает, чем себя занять. Хлеб насущный ей обеспечен. А этого мало! Напитав тело, человек стремится напитать душу, а пищи духовной не находит, бродит в потемках грубых плотских развлечений. Однако, утоляя жажду телесную, нельзя утолить жажду духовную. И жажда эта иссушает человека, делает его черствым, равнодушным к ближнему. А ведь и марксистское учение говорит, что человек — существо общественное... Нельзя человеку в одиночестве бродить по земле. Жить нужно в братском единении, когда человек протягивает другому не только половину своей краюшки, но и душу свою. И есть люди, которые стремятся помочь другим, не таят души своей и сообща идут к светлому будущему... Если Горбачев

хочет, он, Голомозый, может познакомить его с такими людьми. Они собираются вместе, беседуют, помогают друг другу и словом и делом. И пусть он не думает, что там одни старики. Там и молодежь, которая устала бродить в потьмах и приобщилась к свету. И они не только наставляют друг друга, но и развлекаются. Достойным образом. Поют, играют в разные игры...

— У вас кружок какой самодеятельный или что? — спросил Алексей.— В самодеятельность я не хочу — не умею.

— Не то чтобы кружок... Да что рассказывать? Приходи, сам посмотри, послушай. Делать тебе ничего не надо. Мы никого не принуждаем...

Ехать пришлось далеко, в самый конец Стрелки. Трамвай, как всегда в воскресенье, был забит. Не только мальчишки, но и взрослые цеплялись за рамы окон, гроздьями висели по обе стороны вагона. На предпоследней остановке все хлынули налево, к пляжу, Алексей пошел направо по щербатой мостовой. В конце тупикового переулка возле калитки стоял Голомозый. Он обрадованно заулыбался, повел Алексея через сад к дому. Двор посреди сада был огорожен невысоким аккуратным заборчиком. От сарая к ним бросился рыжий пес. Коротко подхваченная цепь рванула его обратно, пес запрокинулся набок, но сейчас же вскочил, яростно запрыгал на задних лапах. Он душил себя цепью, лаять уже не мог и только надсадно хрипел. В большой комнате, как в кинотеатре, были расставлены рядами стулья и скамейки, перед ними стоял маленький столик, у стены приткнулась коричневая штуковина, похожая на маленькое горбатое пианино.

— Устраивайся,— сказал Голомозый.

Алексей сел в угол, за маленькой шаткой этажеркой.

— Что это? — показал он глазами на коричневую штуковину.

— Фисгармония. Посиди немножко, я должен встречать...

Голомозый ушел. Впереди, ближе к окнам, сидели несколько девушек, они тихо и серьезно перешептывались. У противоположной стены стоял здоровенный, выше Алексея, парень. Он старался смотреть прямо перед собой, но то и дело скашивал большие синеватые белки на девушек и моргал белыми, телячьими ресницами. Старушка в кружевной накидке склонилась над маленькой книжечкой, беззвучно шевеля губами, читала. Такую же книжечку держал в руках наголо обритый мужчина в чесучовом

пиджаке. По-видимому, у него были полипы или насморк — он сидел с открытым ртом, в носу его непрерывно булькало и хлюпало.

В комнату тихонько и осторожно, будто к покойнику, входили новые люди, скрипя стульями, рассаживались. Последним, вместе с Голомозым, пришел коренастый розовощекий мужчина с подстриженной черной бородой. Под приглаженными усами его влажно поблескивали толстые красные губы. Он двигался солидно, неторопливо, только глаза его, черные, маслянистые, зыркали по-цыгански горячо и быстро.

Голомозый и чернобородый прошли к столику.

— Братья и сестры! — сказал Голомозый.— Начнем наше собрание. Слово сегодня произнесет присланный к нам из Таганрога брат Павел...

Чернобородый открыл обернутую газетой толстую квадратную книжку, зыркнул по лицам слушателей.

— Собеседование наше посвятим ныне речению Екклезиаста, глава четвертая, стих девятый, десятый и двенадцатый.

Он далеко, как все дальнозоркие, отставил книгу и медленно, торжественно прочитал:

— «Двоим лучше, чем одному; потому что у них есть доброе вознаграждение в труде их:

ибо если упадет один, то другой поднимет товарища своего. Но горе одному, когда упадет, а другаго нет, который поднял бы его.

И если станет преодолевать кто-либо одного, то двое устоят против него: и нитка, втрое скрученная, не скоро порвется».

Брат Павел отложил книгу и строго посмотрел на слушателей.

— Что означают слова эти? К чему призывают они нас? Какие выводы должен сделать из них каждый? Двояко их значение, глубок их смысл. Помогать ближнему в труде и беде его — нет дела более похвального. Исцелить недужного, накормить алчущего, напоить жаждущего, поддержать слабого — кто из братьев во Христе откажется? Но недуги телесные — не самые страшные. Страшнее беды духовные, слепота безверия. Люди, бредущие по терниям житейским, они ранят стопы свои, но, озаренные светочем веры и знания, они видят цель и смысл жизни. Это придает им сил и бодрости, твердости духовной и телесной. Они, счастливые, не должны забывать о ближнем, идущем рядом с ними, но не знающем, куда идти. Как бы ни было, их,

заблудших, много, каждый остается один, ибо с ними и в них нету бога...

Брат Павел говорил легко и бойко, слова сыпались из его красногубого рта гладкие и круглые, как колобки. Все внимательно слушали. Бритый сосед Алексея открытым ртом ловил слова проповедника, растроганно сопел и хлюпал носом.

Алексей, пригнувшись, почти спрятался за этажеркой. Уши его горели. Он порывался встать и уйти, но боялся, что все обернутся на его шаги, и продолжал сидеть.

Вот так влип! Если кто из ребят узнает — хана, засмеют... Бог, вера, Христос... Это было такое древнее, призрачное и никчемушное, что о них никто никогда не говорил всерьез. И не всерьез тоже. Они просто не существовали. Их не было. И все это знали. И вот, оказывается, есть какие-то книги про этого бога и люди, которые их читают и уговаривают друг друга, что надо верить и ждать, когда он снова придет на землю.

Красногубый брат Павел все так же стрелял глазами и бойко сыпал круглые слова. По этим словам получалось, что церковь стала на службу богатым и эксплуататорам, а инстинная вера не знает никакого чинопочитания, в ней нет ни священников, ни первосвященников, и это правильно, потому что отец Иисуса был пролетарием, имел специальность плотника, а сам Христос никаким имуществом не обзаводился, разоблачал богатых и заботился о бедных... Потом он говорил об усмирении гордыни, о том, что каждый должен в этом смысле тренироваться, не брезговать ближним и, чтобы воспитывать в себе смирение, полезно чаще проделывать обряд омовения...

Голомозый и его жена принесли несколько тазиков, разномастных мисок и полотенца. Брат Павел сел, разулся. Голомозый вымыл и вытер ему ноги. Потом сел Голомозый, и ноги ему вымыл брат Павел. То же самое проделали еще несколько человек. Тазики и полотенца унесли.

— А теперь споем, братья и сестры, наш псалом,— сказал брат Павел.

Старушка в накидке села к фисгармонии, начала по очереди, будто ехала на велосипеде, нажимать педали внизу, а руки положила на клавиши. Фисгармония громко задышала, из нее потянулись тягучие, гнусавые звуки. Все запели. Пели в один тон и тоже почему-то гнусаво, будто все сразу схватили страшный насморк. Алексей плохо понимал слова нудной песни, понял только, что в ней речь идет о том, как Христос снова придет на землю и устано-

вится его тысячелетнее царство. Парень с телячьими ресницами пел фальцетом, все время сбивался с тона, но не умолкал и особенно старательно выводил припев:

Как прекра-асно, как прекрасно
Будет там, будет там!..

Алексей отодвинул стул и, не таясь, вышел. Желтый кобель, увидев его, вскочил на дыбы и, полузадушенный цепью, захрипел. Алексей поискал, чем бы в него пульнуть, но на чисто выметенном дворе не было ни камня, ни палки.

4

Алексей надеялся, что никто не узнает о его посещении адвентистов. Оказалось, его видели.

Напротив плиты, через пролет, стоял большой продольно-фрезерный станок. В смене Алексея на нем работал Василий Прохорович Губин.

При Семыкине Василий Прохорович частенько подходил к плите, умащивался на высоком, в полроста, узком табурете и, поглядывая на свой станок, неторопливо беседовал. После перевода Семыкина в другую смену он подходить перестал. Однако в понедельник, на другой день после молитвенного собрания у Голомозого, он включил самоход, подошел, сел на табурет и долго молча смотрел, как Алексей работает.

— Привыкаешь?

Алексей хотел было небрежно сказать, что привыкать, собственно, нечего, он же проходил практику и все такое, но вместо этого вздохнул и сказал:

— Трудно...

Василий Прохорович как будто даже обрадовался.

— Очень хорошо! Коли ты это понимаешь, из тебя люди будут...

— Что же хорошего, если трудно?

— А как же? Работать — это тебе не фигели-мигели... Думаешь, зря слова из одного корня, что «труд», что «трудно»?..

— И всегда так будет?

— Привыкнешь — полегче станет, а совсем легко не будет, нет... Легкая жизнь только у жуликов... покуда не прищемят. Ну, а которые дураки, те утешаются — на небе, мол, легко будет. Молятся, у бога подачек клянчат...

Алексей почувствовал, что краснеет, наклонился над чертежом.

— Ты, видать, тоже собрался на небо тропку топтать?
— С чего вы взяли?
— А у соседа моего вчера что делал? Мне все видать. И как голосят, богу своему жалятся — слышно.
— Голомозый заманил. Я не знал, что они там молиться будут...
— А чего ж еще штундам делать?
— Каким штундам?
— Ну, штундисты, баптисты всякие... Теперь бога-то, как штаны, каждый по-своему кроит. Собираются по квартирам и молятся. Думают, без попов до бога дорога ближе. А что с попами, что без них, все одно вокруг себя крутятся. И ты туда же?
— Я в бога не верю.
— Ну и правильно. Бог, он кому нужен? Кому прятаться надо. Голомозым, например, без бога никак. Бог им заместо забора, они за ним свою двуличность прячут. Взять того же Голомозого. Вон какую домину выстроил! Сад, огород. Думаешь, на зарплату? Зарплата ему — для прикрытия; баба его за яблоки на базаре в одно лето столько насшибает, что ему и в пять лет не наработать. Его послушать, так он вроде последнюю рубашку отдаст, а ребятенок падалицу поднимет — он из ружья бы палил, кабы не боялся, что засудят. И выходит, все его божественные слова — фальшь и враки...

Иначе, но столь же категорично высказался и Вадим Васильевич, когда Алексей рассказал ему о том, что побывал у адвентистов. Он зажал нос в кулак, посопел в него и сказал:

— Бог, милый друг Алексис, это было удобное изобретение. Эскимос при незадаче порол своего деревянного или костяного бога: куда, мол, ты глядел, когда происходило несчастье... Православные христиане уже не держали бога под рукой, поместили его на небо, и выпороть его стало трудновато... Однако всегда можно было свалить вину на бога — его воля... И вдруг бога не стало, человек остался наедине с самим собой. Некого пороть и не на кого сваливать. Ты — всему причина и сам во всем виноват: в хорошем и в дурном. И оказалось, глядеть себе в глаза трудно, наедине с собой непривычно и жутко. Для этого надо быть очень честным. И очень смелым... Да. И могут это не все. Далеко не все! — Вадим Васильевич вздохнул и помолчал.— Великое может стать смешным и жалким, а ничтожное — великим... Только время определяет действительную ценность идей, людей и вещей. Так и с религией. Когда-то

огромный мир бога и веры стал все более умаляться, уходить, пока не осел прочно в маленьком мире, где ворованная любовь, соседские плевки в борщ, прилипчивые, как чума, модные песенки, хулиганская ругань...

С тех пор прошло больше года, к адвентистам Алексей больше не ходил и от разговоров с Голомозым уклонялся, а Василий Прохорович, как прежде, при Семыкине, частенько стал подходить к плите покалякать и незаметно превратился для Алексея в дядю Васю. Почти все его разговоры были в сущности монологами. Взмостившись на табурет и поглядывая то на Алексея, то на станок, он неторопливо излагал свою точку зрения на какой-либо предмет — а своя точка зрения была у него на все предметы — и вовсе не требовал участия Алексея в разговоре: сам задавал вопросы и сам отвечал на них, выдвигал возражения и тут же их разбивал. Болтовня старика не мешала. Алексей вчитывался в чертежи, ставил и снимал детали, а дядя Вася говорил и говорил. Больше всего он любил распространяться о месте и значении рабочего в жизни и о жизни вообще.

— Жить — это не просто! — говорил он.— Да... Тут тебе и сверху печет, и сбоку продувает, и сзади подталкивает. А ты сумей не сбиться, линию найти... Ты свою нашел?..

— Не знаю. Наверно, нет.

— Как так?

— Я сталеваром хотел быть. А вот...

— Значит, мало хотел...

Нет, он очень хотел, а не получилось. И не только у него. Вот были они все вместе, мечтали, спорили, надеялись. И ничего не получилось. Мечты не сбылись, надежды не оправдались. Витька хотел стать капитаном и не стал: умер отец, пришлось идти на завод учеником, теперь фрезеровщик. Яша Брук кончил с медалью, поехал в Киев, в политехнический. Не приняли, хотя и медалист. Теперь, кажется, в городской библиотеке что-то такое делает и то вроде без зарплаты, а так чего-то подбрасывают... А Наташу приняли. Уж лучше бы наоборот: приняли бы Яшу, а ее — нет. Тогда ей не нужно было бы ехать в Ростов. А то вот осталось несколько дней, а он все никак не может ей сказать...

А он сам? Собирался стать сталеваром, и ничего не вышло... Ему сказали, что группа сталеваров укомплектована и нужно идти в слесари. Он тогда побежал к Еременке, доказывал, что ему обязательно нужно в сталевары, что он

хочет, у него призвание... Еременко долго слушал, вытирал платком лоб и вдруг сказал:

— А я люблю черешню.

Лешка от неожиданности открыл рот.

— Нет, не есть... Есть я ее, конечно, тоже люблю. А еще больше — сажать и выхаживать. По моему рассуждению, это самое что ни на есть красивое дерево на земле. Весной, как зацветет, это же разве дерево? Невеста!.. Мне по моему характеру садик бы иметь и хлопотать в нем. А я вот сижу тут, тебя, дурачка, слушаю да еще уговаривать должен... Думаешь, мне это очень нравится? Ты погоди губы надувать! Ты, голубчик, пойми: мы пошли тебе навстречу, приняли раньше, чем положено, поскольку ты — сирота, воспитанник детского дома. А ты кобенишься. Подумай сам, чего выйдет, если каждый будет вроде тебя: того не хочу, а желаю этого. Таким манером все наше государство вверх тормашками полетит. Правильно я говорю?

Что Лешка мог возразить? Что государство никуда не полетит, если он, Алексей Горбачев, станет сталеваром? Или пускай оно идет куда хочет, а он хочет в мартеновский? А потом уже, когда Еременко сам позвал его и предложил «взять курс на разметку, поскольку есть такая наметка», Лешка даже не возражал. Если не в сталевары, какая разница, кем быть?

Еременко молодец, своих ребят не забывал и, как любил повторять, доводил «до ума». А в случае чего бросался за них в драку на кого угодно, как тогда с Витковским...

Каждый раз, когда группа заканчивала учебу и практику, ребята получали разряды и были оформлены, Еременко в первый день их самостоятельной работы сам приводил всю группу строем в цех и сдавал начальнику с рук на руки. «Чтобы чувствовали! — говорил он.— Не с ветру пришли, а трудовые резервы...» Может, хотел он поторжественнее обставить вступление ребят в коллектив, чтобы запомнили на всю жизнь и гордились, а может, просто тщеславно показывал свой «товар» лицом... В Лешкиной группе торжество не получилось. В цехе сменили начальника, Витковский, за какие-то грехи или упущения переведенный из главных механиков, рвал и метал. Он исподлобья посмотрел на выстроившихся в центральном пролете ремесленников и отрывисто спросил:

— Что за пацаны? Зачем?

Еременко, улыбаясь и, как всегда, вытирая пот, сказал, что это — не пацаны, а станочники, новое пополнение.

— У меня станков с сосками нет! Мне с них работу спрашивать или на горшок сажать? Ты кого привел?

Ребята в группе, кроме Лешки, которого в то время погнало в рост, подобрались на редкость мелкорослые. Еременко перестал улыбаться, побагровел и вдруг — чего никогда с ним не бывало — закричал:

— У тебя что здесь, цирк? Борцы, гладиаторы тебе нужны?

Витковский ушел в контору, Еременко бросился следом. Ребята, встревоженные такой встречей, против обыкновения, не расползались в разные стороны присесть, облокотиться, а так и стояли тесной группкой, ждали. Наконец Еременко вышел из конторы, не глядя похлопал кого-то из ребят по плечу:

— Все в порядке, голубчики, давайте по местам... Но в случае чего — враз ко мне!..

В ожидании «случая» он несколько раз приходил в цех, проверяя, не затирают ли его питомцев, не придираются ли попусту, но ремесленников не затирали, попусту не придирались.

Так без всяких торжеств и речей они начали: приходили по гудку, снимали табели и шли к станкам, Алексей — к разметочной плите.

В газетах и книжках он читал о ребятах, как они, окончив школу или ремесленное, идут на завод, как поначалу немножко там ошибаются или бедокурят — проедают, например, зарплату на конфеты,— а потом очень быстро исправляются, становятся передовыми, гордыми и счастливыми.

Алексей заговаривал о таких книжках с товарищами, они, смеясь, отмахивались — «мура!», проверял себя, но ничего похожего не получалось и у него. Конфет он не любил и зарплаты не проедал, пока ничего не портил, но ни счастья, ни гордости не испытывал. К концу смены болели ноги, еще раньше начинало ломить поясницу, непрерывно нужно было ворочать, двигать тяжелые отливки и поковки, в цехе душно, от испарины тело все время кажется грязным, руки стали шершавыми от клеевой краски, окалины и формовочного песка. И постоянно приходится ругаться с мастером: то нет наряда, то наряд есть, а нет чертежа, а то и ни того, ни другого. Или с Маркиным. Очки мало помогают, видит он плохо и, чуть что, кричит, будто ему нарочно размечают так, что ничего не видно... И каждый день одно и то же. Вставать по гудку в шесть, всухомятку что-то жевать, бежать к автобусу, который отвезет на завод, долго

идти пешком к цеху и в холод, и в дождь, и в зной. И никакого счастья, ничего героического в этом не было. Особенно трудно было в самом начале, когда учителя его перевели в другую смену и Алексей впервые остался один у плиты.

Семыкин давно уже не помогал, не проверял размеченные Алексеем заготовки, но он стоял рядом, в любую минуту мог посоветовать, помочь или вступиться, если что-нибудь оказалось бы не так и пришлось отвечать за ошибку, недогляд или даже брак. Его сорок лет, седьмой разряд и спокойная уверенность были опорой и заслоном от любых неожиданностей и осложнений.

И вдруг опоры и заслона не стало. Рано или поздно это должно было произойти. Алексей был к этому готов, но, когда это случилось, оказалось, что он совершенно не готов и случилось все слишком рано. Он стоял у плиты и всем телом ощущал направленные на него выжидательные и настороженные взгляды из всех пролетов, от всех станков. От этих взглядов у него деревенели шея и спина, сводило руки. Он поднимал голову, поспешно оглядывался — никто на него не смотрел. На минуту напряжение ослабевало, потом появлялось снова. Он проверял сделанное дважды, трижды и, так как очень боялся ошибиться и напутать, путал, ошибался и начинал сначала. Все, что он знал и умел, вдруг оборачивалось незнанием и неумением...

— А почему хотел быть сталеваром? — допытывался дядя Вася.— На портретах красоваться? Специальность у тебя не громкая, однако гордая, без нее все другие ни тпру ни ну... У нас завели моду — об одних кричат, про других молчат. Кричат про доменщиков, сталеваров. Вроде как они генералы в рабочем деле... А почему так считается? Потому что они на конце стоят, как пекарь. Кто-то хлеб сеял, убирал, зерно молотил да молол, а он с пылу с жару пироги выдает,— ему, выходит, слава и почет... А на самом деле в нем доблести, как в других,— стоит при своем деле, и все. И без других ни взад ни вперед. Считается, сталевары — ведущая профессия, других, значит, ведут... А ну-ка, ты вот деталей не разметишь, станочники не обработают, слесаря не соберут, и будет «кукушка» ржаветь, как дырявый чайник: ни тебе лом подвезти, ни чугун, ни флюсы. Опять же футеровщики, огнеупорщики — без них сталь где варить, куда лить? В карман? Коксовики, доменщики газа не дадут — на костре варить будешь? Выходит, никакие они не ведущие, а следом идущие. И коли перед ними народ свое дело не сделает, ничегошеньки они не могут... Важно

не кем быть, а каким быть! Да. Каждый в своем деле может быть как бог Саваоф.

— Так уж и бог!

— А ты думал? И Карл Маркс говорил: рабочий — это демиург, что по-древнему означает бог, творец. Ты Карла Маркса читал?

— Нет. Нам про него рассказывали.

— «Рассказывали»... Всё-то вы понаслышке, как дрозды, с чужого голоса. До всего, брат, надо своим умом доходить, а не на слово верить. А то сегодня тебе про одно скажут — белое, ты поверишь, завтра про то же самое, что оно — черное. И ты снова поверишь?

— Нет.

— Поверишь! За душой-то у тебя только и того, что тебе в уши надули... А надуть чего хочешь можно. Или еще хуже — и тому и другому верить перестанешь. А это уж последнее дело, когда человек ни во что не верит. Это как дерьмо в проруби: ни взлететь, ни утонуть... А когда до всего своим умом дошел — тут уж тебя никто не собьет. Вот, к примеру, я. «Капитал» я, конечно, не осилил — образования не хватило,— а другие книжки читал. Рабочему книжки эти нужные, чтобы он гордость свою понимал.

— Для утешения?

— Утешение только дуракам помогает. А умным понимать надо.

Рассуждения дяди Васи хотя и не вызывали такого раздражения, как покусывающие речи Голомозого, но помогали так же мало. Помогала привычка. Чем больше втягивался, привыкал Алексей, тем меньше уставал. Однако творцом, демиургом, как говорил дядя Вася, он себя не чувствовал. Он размечал детали, части каких-то станков, машин, и они бесследно исчезали. Делал он всё больше и лучше, но все сделанное уходило из поля зрения, и ему казалось, что вся его работа — только видимость, никаких результатов и следов после нее не оставалось.

Иначе было с долбежным станком, стоявшим у начала главного пролета. Его разобрали для срочного капитального ремонта. Мастер, которого за склонность к спешке и страху перед начальством называли в цехе Ефимом Паникой, почти все время стоял над душой, торопил, подгонял, и, должно быть, поэтому Алексею запомнились детали долбежного, которые он размечал. Приходя в цех, уходя из него, Алексей видел, как возле оголенной станины накапливалось все больше готовых деталей, как слесаря подгоняли их, шабрили рабочие плоскости и начали собирать.

Это уже была не видимость, а настоящая большая и нужная вещь. Алексею нравилось наблюдать, как станок рождается заново — он ведь рождался и при его помощи! — и если выдавалась свободная минута, подходил, смотрел, как его собирают. Сборку закончили, станок опробовали, на нем снова начал работать прежний его хозяин, старый долбежник. У Алексея целый день было праздничное, радостное настроение. Его станок работал! Ну, не его, конечно, одного, но он ведь тоже делал, тоже помогал, и без его, Алексея, помощи он был бы, наверно, не таким, каким-то другим, а этот был своим... И каждый раз, приходя в цех, Алексей посматривал на его зеленую станину, сверкающие плоскости, матовые шкивы, отполированные руками рукоятки. «Работаешь, старик? Давай, давай!..»

Алексей даже огорчился, когда у старого долбежника появился ученик: невысокий коренастый парень в солдатской гимнастерке. Лицо у него было широкоскулое, с маленькими раскосыми глазами, на верхней губе росли редкие черные волоски. Это был комсорг цеха, звали его Федор Копейка. То, что он комсорг, ничего не меняло — мог запороть станок за милую душу, как и всякий... Комсорг учился старательно, потел от усердия, вместе с потом размазывал по лицу масло и ходил поэтому всегда замурзанный, но станок не запарывал.

Потом Алексею довелось размечать цилиндр, золотники и несколько дышел для заводской «кукушки» — маленького, без тендера, паровозика. Это был 9П-782. Алексея и теперь потянуло проследить, куда ушли размеченные им части. После работы он бегал на сборку и смотрел. Паровозик отремонтировали. Деловито сопя и звонко покрикивая, он опять начал сновать по гигантскому заводскому двору, то толкая перед собой огромные, пышущие зноем ковши с расплавленным чугуном от домны к мартеновскому, то уволакивая в отвал ковши со шлаком. Кургузый паровозик этот казался Алексею необыкновенно красивым, а пронзительный свисток его самым звонким и приятным. Каждый раз, увидев свой 9П-782, Алексей провожал его взглядом и, даже не видя, узнавал по свистку. Это тоже был его «крестник».

У мостового крана, ходившего под главным пролетом механического, полетели зубья ведущей шестерни. Новую шестерню для крана размечал Алексей. И потом каждый раз, когда, рокоча и подвывая, кран двигался над головой, Алексею в этом рокоте слышался голос нового «крестника».

Таких «крестников» становилось все больше и больше. Они не были живыми и вместе с тем как бы жили: двигали, двигались сами, работали... Проходя по двору, он слышал звонкий голос «своей» «кукушки», у самого входа в цех стоял коренастый, чем-то похожий на нового хозяина Федора Копейку долбежный, брызгал малиновыми искрами шлифовальный, рокотал мостовой кран, торопливо, будто запыхавшись, поперечно-строгальный выговаривал: вжик, вжик...

Алексей и теперь не чувствовал себя творцом: он сам, один, не сделал ничего, ни одной вещи, ни одного станка или машины. Его работа растворилась в работе других, ее заканчивали люди, которых он даже не знал. Но сделанное им направляло, определяло всю дальнейшую работу, ее конечный результат.

Плита стояла посреди цеха. Краны, вагонетки, а иногда и просто руки чернорабочих в заскорузлых, рваных рукавицах несли к ней все, что поступало в цех,— шершавые иссера-черные чугунные и стальные отливки, тускло поблескивающие бронзовые, сизо-красные, в осыпающейся окалине поковки. Отсюда исчерченные по меловой, сразу берущейся ржавчиной краске они растекались по станкам. Их обтачивали, строгали, долбили, сверлили, фрезеровали, шлифовали. Они возвращались вновь на плиту, снова исчерченные, простроченные кернерами уходили к станкам, их снова шлифовали, фрезеровали, сверлили, долбили, строгали, растачивали.

Все, что делал, подготавливал и выпускал цех, проходило через плиту. От всех станков, из всех пролетов, отделов к ней тянулись, на ней скрещивались, сталкивались, боролись, побеждали или отступали и уступали интересы и устремления сотен, тысяч людей. В цех со всех сторон наплывали требования, устремления других цехов, отделов заводоуправления, конструкторского бюро, бриза, главного механика, энергетика, главного инженера, технолога... Случалось, приходили заказы, требования от завода имени Ленина, из порта, паровозного депо, трамвайного или поступал, как сейчас, большой спецзаказ... И все — то еле слышно, в шелесте бумаг, то в пронзительном трезвоне телефонов, то в вежливых и язвительных спорах планерок и заседаний, то в ругани во все горло на месте, в цехе,— собиралось, сгущалось и разражалось над чугунной разметочной плитой, строго поблескивающей недавно простроганным зеркалом...

Теперь Алексей не жалел, что не стал сталеваром.

Профессия разметчика действительно была не громкая. Она была строгая. Здесь нельзя было ничего делать шаляй-валяй, надеяться, что кто-то «подрубает», «подчистит». Малейшая ошибка разметчика вела за собой вереницу чужих ошибок, делала бессмысленной, бесплодной работу множества других людей. У Алексея исподволь, незаметно выработалась жесткая требовательность к тому, что делал он сам, а потом и к тому, что делали другие. Ошибка и фальшь означали и могли означать только одно — брак. И так во всем... Незаметно для него жесткая требовательность распространилась на все, что говорил и делал он сам, другие люди. Что, кроме вреда и ошибок, могла принести фальшь во всем остальном?.. И как нельзя было сделать правильно разметку, не прочитав весь чертеж, не поняв устройства и назначения узла, так нельзя было и определить свое отношение к людям, не разобравшись во всем до конца, не решив, кто они и что они.

...— Дядя Вася, а как, по-твоему, Гущин — передовик?

Василий Прохорович посмотрел на Алексея поверх очков.

— Дружок твой? Прыщ он... на ровном месте, твой Гущин!

Смена кончилась. Алексей поспешно убрал инструменты и зашел за Виктором. Виктор был занят. Растопырив треногу штатива посреди пролета, фотограф наводил аппарат на Виктора. Тот опирался рукой на горку готовых деталей и изо всех сил старался выглядеть солидным. Виктора еще ни разу не фотографировали для доски Почета, и, как он ни тужился, как ни хмурился, толстые губы его расползались в улыбке. Мимо шли рабочие, оглядывались, ребята помоложе приостанавливались, посмеивались.

— Витька, подбери губу — в аппарат не влезет!

— Это тебя к ордену или сразу в лауреаты?

Виктор надулся, но тут же заулыбался снова.

— Прошу не мешать,— строго сказал фотограф.— Товарищ Гущин, не отвлекайтесь, смотрите сюда.

Фотограф поднял палец, Виктор послушно уставился на него.

— Ты скоро? — спросил Алексей.

Виктор сделал гримасу, показывая, что не знает.

— Товарищи, так же нельзя работать! — рассердился фотограф.— Ну вот — кадр пропал... Давайте еще раз. Смотрите сюда... Теперь становитесь к станку.

Виктор перешел к станку, фотограф взял штатив и на-

чал выбирать для него место. Алексей махнул Виктору рукой и ушел. Времени было в обрез, чтобы доехать, переодеться и успеть к Наташе.

5

Успеть не удалось. На скамейке возле входа в общежитие сидел дядя Троша. Увидев Алексея, он вскочил, искательно улыбаясь, заспешил ему навстречу.

— Вот и ты... Я уж тут сижу-сижу, думаю: придет ли, нет ли?

— Мне уходить надо.

— Да ведь я на минутку только... Не задержу, нет, нет...— Он суетливо семенил рядом, снизу вверх заглядывая Алексею в лицо.

— Ну, пошли.

— Погоди, давай вот сюда в сторонку отойдем... Понимаешь, беда у меня...— Алексей усмехнулся.— Нет, нет, так все в порядке... С квартирой! Я снимал там у одной боковушку, вроде чуланчика... А к ней сын приехал, с семьей. Куча детей... Ну, она меня и... «Что ж, говорит, ты жить будешь, а детишек я на улице класть должна?»

— Так куда я тебя? В общежитие посторонним нельзя.

— Сам-то я ничего, перебьюсь. Приткнусь где-нибудь. А вот вещички не знаю куда девать... Люди кругом незнакомые. Оставишь, а потом... У меня и вещей-то всего ничего — чемоданишко с барахлом. А пропадет — жалко! Как-никак последнее...—Губы дяди Троши задрожали.

Алексей молча смотрел на него. Когда-то он мечтал вырасти, снова встретить дядю Трошу и отомстить ненавистной Жабе за все: за поруганную память отца, за унижение, за побои, за жизнь, которая была бы непоправимо загублена, если бы не чужие люди...

Теперь не было ни ненависти, ни желания мстить. Мордатый, самодовольный и страшный дядя Троша превратился в плюгавого сморчка и не вызывал ничего, кроме брезгливой жалости.

— Приноси ко мне свой чемодан, места не пролежит.

— Вот... Вот уж спасибо! — просиял дядя Троша.— Выручил ты меня — прямо не знаю как... Можно сейчас? Я в один момент... А?

— Давай, только поскорее. Пока переоденусь.

— Сей минут, сей минут!

Дядя Троша засеменил по тротуару. Алексей умылся, переоделся. Дяди Троши не было. Алексей вышел на ули-

цу, посмотрел в ту сторону, куда убежал старик. Его не было. Алексей вернулся в комнату, посмотрел на часы. Наташа уже одета, ждет. Алексей снова выбежал на улицу. Никого. И ребят из комнаты нет. Он побежал отыскивать тетю Дашу, чтобы предупредить о чемодане,— тетя Даша куда-то запропастилась. Алексей решил плюнуть на все и уходить, но в дверях столкнулся с дядей Трошей. Пыхтя и задыхаясь, он тащил большой фанерный баул.

— Опоздаю я из-за тебя...—сердито сказал Алексей.

— Да ведь не молоденький! И так еле дух перевожу...

Алексей поднял потертый, исцарапанный баул.

— Получше не мог купить?

— А на какие шиши?.. По барину и говядина...

Алексей затолкал баул под свою койку.

— Ну всё, пошли.

— Как? Вот тут и оставишь?

— А где же еще?

— Да ведь ты здесь не один...

— Ну так что? Никто не тронет.

— Мало ли... Береженого, говорят, и бог бережет...

— Чего ты боишься? У тебя там ценное что?

— Какие у меня ценности!.. Барахлишко всякое — старые кальсоны да рубашки, на них никто не позарится... А документы? Да! Вот документы у меня там... Все справки: где работал, что, как... Барахло и пропадет — не жалко, а документы — сам понимаешь...

— Что же мне его, с собой таскать? У нас вон все лежит, ничего не пропадает.

— Может, камера есть? Хранения...

— Какая, к черту, камера?! — Алексей посмотрел на часы и выхватил из-под койки чемодан.— На! И цацкайся с ним сам... Некогда мне, понимаешь?

Лицо дяди Троши выразило такой испуг, огорчение и растерянность, что Алексей еще раз чертыхнулся и побежал отыскивать тетю Дашу. Она уже сидела на своем всегдашнем месте в коридоре, между окном и бачком для воды.

— Тетя Даша, заприте чемодан!

— А сам не можешь?

— Да нет, в кладовку... Это не мой, я потом расскажу...

Тетя Даша выбрала из связки ключ, со вздохом поднялась и, шаркая опухшими ногами, с трудом понесла свое рыхлое, изработанное тело к темной кладовушке в конце коридора. Алексей помчался за баулом. Дядя Троша се-

нил следом, на ходу проверяя замок. Висячий замочек был новенький, отменно прочный. Алексей сунул баул в угол.

— Ну, всё?

— А квитанцию?

— Какую еще квитанцию?

— Хоть какой-нибудь документик!.. Принято, мол, на хранение... Порядок такой...— заискивающе, жалко улыбаясь, дядя Троша смотрел то на Алексея, то на уборщицу.

Проклиная дядю Трошу, баул и все на свете, Алексей сунул в руки тете Даше карандаш, клочок бумаги и тут же пожалел об этом: писала тетя Даша еще медленнее, чем ходила. Первое слово «один» благополучно разместилось, но второе поехало вверх, и бумага кончилась прежде, чем слово: получилась «чима». Тетя Даша подумала, решила, что этого достаточно, и старательно вывела подпись с маленькой буквы — «зуева».

— Вот.— Она полюбовалась своей работой и улыбнулась.— На. Прямо как в банке.

Алексей выхватил «квитанцию», сунул дяде Троше и, убегая, прокричал:

— Приходи в другой раз... Пока!

Дядя Троша вслед ему угодливо закивал.

Наташи дома не было. Мать, которой Алексей еще с мальчишества стеснялся и побаивался, насмешливо сказала, что кавалерам опаздывать не полагается, к Наташе пришла подруга, они ушли к кому-то, а потом пойдут в театр. Алексей, не найдя что сказать, покраснел и ушел. Наташу теперь не отыщешь, в общежитие возвращаться незачем, к Виктору идти не хотелось. Алексей решил проведать Вадима Васильевича.

Знакомство с ним, начавшееся в детдоме, оборвалось, когда Алексей поступил в ремесленное, и возобновилось с поступлением на завод. Осваивая под строгим присмотром Семыкина разметку, Алексей тяготился, как ему казалось тогда, ее кустарным характером: каждую деталь нужно размечать отдельно, никакой механизации, всё от руки. А на собраниях и в газетах все время говорили о рационализации, новаторских приспособлениях, ускоряющих и облегчающих труд. Он решил, что и разметку можно рационализировать, облегчить и ускорить. Надо только подумать. Думал он долго, старательно и втихомолку. Результатом раздумий был чертеж приспособления, которое должно было полуавтоматически переносить контуры чертежа на заготовку. Алексей хотел было показать свое изобретение Семыкину, но потом —

сам себе не признаваясь в надежде поразить и сразить учителя необыкновенной конструкцией — решил сначала идти в бриз. И первым, кого он там увидел, был Вадим Васильевич. Раздирая скулы зевотой, тот читал какую-то инструкцию. Приходу Алексея он явно обрадовался.

— Что скажете, молодой человек?

— Вы меня не помните? А я помню,— улыбаясь, сообщил Алексей.

— Вполне возможная вещь! — серьезно ответил Вадим Васильевич, в глазах его запрыгали бесенята.

— А как же! Вы еще к нам, в детдом, на мотоцикле приезжали, и мастерскую мы потом строили... А как мотоцикл? Ездите?

— Увы! Рассыпался, мир праху его... Хотя, впрочем, праха не осталось — растащили соседские мальчишки...

— Здорово он у вас работал!

— Громко, да...

Они посмеялись, вспоминая треволнения детдомовского строительства, праздник «Первой стружки».

— Ну, а это что? — кивнул наконец Вадим Васильевич на трубку чертежа в руках Алексея.

— Вот — придумал. Может, годится?

Вадим Васильевич, склонив набок голову и зажмурив один глаз, внимательно просмотрел чертеж, потом посопел в кулак и, переходя на «ты», спросил:

— Ты как, очень обидчивый? Говорить сразу или разводить цирлих-манирлих?

— Сразу.

— Тогда скажем прямо: Эдисон из тебя пока не получился.— Смягчая удар, он улыбнулся: — Может, потом прорежется? Вполне возможная вещь! А пока... Как тебя зовут?

— Горбачев, Алексей.

— А пока, милый друг Алексис,— пшик... Понимаешь, штука, которую ты тут изобразил, давно изобретена, называется она пантограф и применяется в чертежном деле... Но черчение — одно, разметка — другое. Чтобы такой прибор мог гарантировать точную разметку, он должен быть очень солидным и сложным, а овчинка, как известно, не всегда стоит выделки... Вот тут как раз и есть такой случай. Окромя всего вышесказанного, существует такая штуковина — копировальный станок. На заводе у нас таких нет пока, а вообще есть. У станочков этих большое будущее! В таковой станочек закладывается чертеж и заготовка. Электронный глаз ползет по чертежу, а фреза срезает с заготовки всякие

ненужности... И получается в результате копия того, что нарисовано на чертеже, только в виде готовой металлической вещи. Понятно? Ну вот. Принимая во внимание, что существуют хорошие копировальные станки, зачем же делать еще и плохие чертежные? Получается вроде как бы не нужно?

— Не нужно.

— Вот и договорились! Обидно?

— Нет, что ж тут обидного?

— Ну, это ты врешь, милый друг! Обидно, да еще как, по себе знаю. Мне ведь тоже случалось... изобретать изобретенное. И поскольку рабочий день окончился, изобретение похоронено по четырнадцатому разряду, а погода жаркая, может, махнем к морю и смоем вместе с пылью все огорчения? А то от этой инструкции по внедрению и распространению я что-то очумел...

Они махнули к морю. Плавали, валялись на песке и разговаривали. Просидели на берегу до заката. Вадим Васильевич спохватился:

— Друг милый, а не пора ли чего-нибудь пожевать? У меня как-то скучно стало под диафрагмой...

Алексей посмотрел на свою спецовку.

— Тебя смущает фрак? Двинем ко мне. Ксения Петровна перенесет тебя и в таком.

Ксении Петровны дома не оказалось. Вадим Васильевич, сопя и оттопыривая губы, долго шарил в буфете, кухонном шкафчике, гремел посудой в чулане, потом озадаченно остановился посреди комнаты и ухватился за нос.

— Что сей сон означает? — Внезапно он просиял и хлопнул себя по темени.— Еду-то поручено купить мне, а я — забыл!.. Так... Ты читал когда-нибудь высокоученый труд Елены Молховец? Напрасно! Чрезвычайно толстая женщина... То есть книга. В ней кулинарные рецепты на все случаи жизни. От рождения и крестин до похорон и поминок. Там даже есть такой — очень полезный! Я запомнил: «Если к вам пришли гости, а в доме решительно ничего нет, вы спускаетесь в погреб, достаете холодную телячью ногу...»

— А где же?

— Вот именно! Где погреб? А главное — где нога? Гуляет, подлая, в собранном виде со всей прочей телятиной... Я тебе по секрету скажу: дама эта, несмотря на ученость, была все-таки дура. Она не описала в своем трактате блюдо, на котором несколько столетий держалась Российская империя... Знаешь ли ты, что такое мурцовка?

Не знаешь. «Учись, мой сын, науки сокращают нам дни быстротекущей жизни». Примерно так сказал поэт или несколько иначе...

Вадим Васильевич отрезал несколько ломтей ржáного хлеба, изломал их крупными кусками, нарезал лук и сложил все в миску, посолил, полил водой, добавил немного постного масла и перемешал.

— Вот держи этот инструмент,— протянул он Алексею ложку,— и считай, что ты цивилизованнее Александра Македонского и даже Аристотеля, потому что они орудовали пальцами... Итак, что есть перед нами? Мурцовка, она же — тюря, она же — опора отечества... Ну как?

— Вкусно! — набитым ртом ответил Алексей.

— То-то! Харч богов!.. Будь богом, уминай этот харч, но помни: есть тюрю можно, самому быть тюрей не следует...

Они умяли мурцовку, потом пили чай. Это был попросту сладкий кипяток, так как чая в доме тоже не оказалось. Воду Вадим Васильевич кипятил в стеклянной банке из-под консервов, воткнув в нее самодельный электрический кипятильник.

— Жена не признает,— пояснил он,— говорит, не вкусно. Но женщины, как известно, народ отсталый, заклятые сторонники кухни и враги прогресса...

Чай был действительно невкусный, у Алексея во рту осталось ощущение, будто он долго сосал медную ложку.

Так началась между семнадцатилетним Алексеем и пятидесятилетним Вадимом Васильевичем их несколько необычная дружба. Вадим Васильевич обрел слушателя, который жадно смотрел ему в рот и которому можно было сказать почти все, что думаешь. У Алексея появился оракул — учитель жизни и ходячая энциклопедия. Вадим Васильевич знал все, по крайней мере говорить мог обо всем. И говорил он всегда забавно.

Иногда на него находила хандра. В таких случаях он отмалчивался, отвечал коротко, отрывисто, зачастую язвительно и зло. Алексей охотно бывал у Калмыковых, засиживался допоздна. И только с тех пор как в жизнь его поновому вошла Наташа, приходить перестал.

Ксения Петровна обрадовалась.

— Алеша! Заходи, заходи... Господи! И куда тебя гонит? Растешь, прямо как картошка в погребе... А ты все-

таки бессовестный! Хоть бы разок зашел в детдом. Людмила Сергеевна все время о тебе спрашивает.

— Перестань его тащить обратно в пеленки! — прокричал из соседней комнаты Вадим Васильевич.— Он вырос. Вот облысеет, как я, тогда его потянет к воспоминаниям...

Алексей покраснел. Вадим Васильевич угадал то, в чем он не признавался сам себе. Он любил Людмилу Сергеевну и Ксению Петровну, но к встречам с ними не стремился. Они были в его детстве, детство кончилось, и напоминания о нем оставляли его равнодушным. Другое дело — Вадим Васильевич, он весь взрослый, не любит никаких воспоминаний и говорит только о настоящем и будущем.

Ксения Петровна не заметила смущения Алексея.

— Очень хорошо, что ты пришел,— тихонько сказала она,— а то Вадим опять скис, захандрил... Ну, мальчики,— громко добавила она,— я ухожу. Проголодаетесь — в чулане творог и молоко... И — пожалуйста, без холостяцкого свинства.

Проверяя, все ли в комнате на месте, она оглянулась вокруг и ушла. Для нее и лысый, много старше ее муж, которого она считала большим ребенком, и недавний воспитанник — теперь долговязый юноша — были мальчиками, за которыми по-прежнему нужен глаз да глаз.

Вадим Васильевич, заложив руки под голову, лежал на тахте, рядом на полу валялись газеты и журналы.

— Место для седалища найди сам,— мрачно уставясь в потолок, сказал он.— Живешь?

— Живу?

— А зачем?

Алексей замялся.

— Не тужься. Этого про себя никто не знает. Про других — тоже...— Он помолчал.— Ну, рассказывай...

— Я балет видел. «Лебединое озеро».

Вадим Васильевич, все так же лежа, передразнил: подогнул одну ногу, руки торжественно прижал к сердцу и откинул голову.

Алексей засмеялся.

— На Зигфрида похоже... А музыка?

— Что музыка? Музыку Чайковского толковать ногами — все равно что на белендрясах сыграть теорию вероятности... Понятно?

— Нет.

— Мне тоже — нет,— вздохнул Вадим Васильевич и надолго умолк.

— А сегодня к нам в цех писатель приходил,— сказал Алексей.

Вадим Васильевич, не поворачивая головы, скосил глаза.

— Только я фамилии не знаю... Попросился разметить чего-нибудь. Я дал.

— Ну?

— Разметил. Так себе.

— Что говорил?

— Ничего.

— Ну вот — изучил жизнь! Теперь напишет про тебя эпопею...

— Про меня нет, про Витьку, наверное. Он около Витьки долго стоял.

— Это который приятель твой? А что он?

— В передовики лезет.

— А это плохо?

— По-моему, плохо... То есть не вообще, а как он... Никакой он не передовик. Я ему так и сказал.

— Ну?

— Обиделся... Ему и вымпел, и на доску Почета сфотографировали. А все равно — неправда! И я докажу.

— Что ж, доказывай. Одним враньем меньше будет...

Алексей хотел рассказать во всех подробностях, почему Виктора нельзя считать настоящим передовиком, но Вадим Васильевич, занятый своими мыслями, явно не слушал. Алексей умолк, полистал журналы, потом попрощался и ушел.

6

Устали оба — и Виктор, и Алов. Они сидели битых два часа, но дальше первой странички не пошли.

Сначала все было легко: родился там-то, тогда-то, отец — партработник... Последнее время был секретарем горкома. Первым секретарем. Мать? Обыкновенно, домашняя хозяйка. Есть еще младшая сестра Людмила. Перешла в четвертый. Когда пошел работать? Когда кончил семь классов, умер отец... Вот тогда и пошел. Подробнее? Что ж тут подробнее? Обыкновенно...

Рассказывать об этом не хотелось.

...Поход начался так хорошо, у Витьки так здорово все получалось. Никто лучше его не мог стоять на руле. Даже у Семена «Моряк» рыскал, а у Витьки шел как по ниточке. А тут еще шторм... Ну и прихватило их тогда! Через час

всех свалило. Остались на ногах только Петр Петрович, Семен да Витька. Им хоть бы что. Ничуточки не укачало. Они все время и несли вахту, посменно. «Моряк» валился то с носа на корму, то с борта на борт. Тут кого хочешь укачает. Петр Петрович говорил, что шторм баллов на семь, но ребята были уверены, что на самом деле все двенадцать...

На третьи сутки ветер упал, волны стали меньше.

К Бердянску подошли утром. За ночь море успокоилось, ребята отоспались, отдохнули, и теперь их распирала гордость: штормяга был что надо, а они, как настоящие моряки, выдержали свой курс, и никаких гвоздей...

Отмытый штормовыми ливнями город пламенел черепицей, слепил белизной домов. Деревья сушили на легком ветерке помолодевшую зелень, в лужах плыли подрумяненные купы облаков. Мостовая причальной стенки шаталась и дергалась, как пьяная. Ребята с хохотом следили друг за другом, за своими ногами. Они перестали повиноваться. За четверо суток тело приноровилось к зыбкой шаткости палубы, втянулось в непрерывную качку, и теперь, хотя под ногами была надежно неподвижная земля, тело продолжало раскачиваться, ноги искали опоры там, где ее не было, и натыкались на нее, когда она не была нужна. Весело горланя, ребята вдребезги разбивали заглядевшиеся на себя в лужах облака и заново учились ходить по твердой земле.

Петр Петрович ушел к капитану порта. Вернулся он скоро, неожиданно строгий и хмурый.

— Все ко мне! — резко скомандовал он. Ребята стихли, подбежали.— Мне нужно отлучиться. Заместителем назначаю Семена Горина. Готовить завтрак, раздать. С корабля не отлучаться, не купаться. Ясно? Гущин пойдет со мной.

Витька готовно зашагал рядом. Зайдя за штабеля пустых селедочных бочек, Петр Петрович остановился, положил руку на Витькино плечо.

— Такое дело, Гущин... Ты показал себя как настоящий моряк. Как мужчина. Понятно?.. Так вот. Мужчиной надо быть всегда...

— А что? Что такое? — нетерпеливо спросил Витька.

— Такое дело... Беда, брат, случилась... Умер отец... Твой отец.

Витька поднял широко открытые глаза на Петра Петровича.

— Вот...— Петр Петрович вынул из кармана кителя бумажку, протянул Витьке.— Телеграмма.

Витька прочитал:

КАПИТАНУ ПОРТА БЕРДЯНСК СРОЧНО ПЕРЕДАТЬ КОМАНДИРУ УЧЕБНОГО БОТА «МОРЯК»

ВВИДУ СМЕРТИ ОТЦА НЕМЕДЛЕННО ЛЮБЫМИ СРЕДСТВАМИ ОТПРАВИТЬ ДОМОЙ УЧМОРА ГУЩИНА ПОХОРОНЫ СЕДЬМОГО ЧЕТЫРНАДЦАТЬ ЧАСОВ НАЧВОДСТАНЦИИ ДОСААФ ЛУЖИН.

Горло Витьки что-то перехватило и туго сжало. Он отвернулся и ткнулся лицом в днище бочки. От нее нестерпимо воняло соленой рыбой. «Старые, пустые,— подумал Витька.— Свежая так не воняет».

— Ну, ну...— сказал Петр Петрович. Голос его звучал глухо, как через вату.— Держись.

Он оторвал Витьку от бочки, повернул лицом к себе, смахнул с его лба налипшую рыбью чешую.

— Держись. Мужчина должен держаться — вот!..— Большой волосатый кулак его сжался так, что побелели косточки.

Витька посмотрел на кулак и кивнул.

— Ага.

— Сейчас десять. На автобус ты еще вполне успеешь...

Горло было по-прежнему чем-то зажато, и не проходила странная глухота. Ломовик беззвучно шлепал широкими, как тарелки, копытами по камням, железные прутья на подводе тряслись беззвучно, и даже мотоцикл, обдавший их сизым дымом, шелестел еле слышно.

На автобусной станции было пусто, окошко кассира закрыто. Грязь на полу, густо замешенная на подсолнечной шелухе, начинала подсыхать. Петр Петрович распахнул дверь к диспетчеру. Тот зубами вытаскивал резиновую пробку из бутылки с молоком, на газете лежала булка. Увидев вошедших, он выплюнул пробку и сердито сказал:

— Русским языком написано: «Сегодня рейсы отменяются».

— Почему?

— Грязь.

— Тут, понимаете, срочный случай...

— При чем тут случай? Одна вышла и за городом на пузо села. Теперь жди, когда из эмтээс трактор пришлют...

— Когда же пойдут?

— А я знаю? Когда дорога протряхнет... Не раньше как

через сутки. Дождь вон какой лил. Теперь не грейдер, а... водохранилище, матери его черт!

— Понимаете, у парня отец умер...

Диспетчер посмотрел на Виктора, помолчал.

— Что ж я, автобус по воздуху пошлю?.. А вы вот что: попробуйте на аэродром. Только навряд и там...— с сомнением покачал он головой.

По дороге на аэродром Петр Петрович завел Витьку в чайную, заказал шницель и чай. Витька поковырял шницель и отложил вилку. Есть не хотелось. Почему-то все время пересыхало горло. Он жадно выпил стакан чая, потом второй. Горло осталось пересохшим.

В комнате дежурного по аэродрому, несмотря на распахнутые окна, плавал синий табачный дым. Четыре летчика весело смеялись. Трое были в кителях и фуражках, четвертый в шлеме и комбинезоне.

— Сюда нельзя! — сказал летчик, сидевший за столом.

— Вы дежурный? — спросил Петр Петрович.— Нужно срочно отправить одного пассажира. Вот этого.

— Какие пассажиры! — засмеялся дежурный.— Мы тут скоро водолазами заделаемся...

— Лягушками. Меня уже квакать тянет...— сказал другой летчик в комбинезоне, остальные заулыбались.

Петр Петрович протянул дежурному телеграмму. Тот прочитал, перестал улыбаться.

— Сами видите — ни взлететь, ни сесть. Ну, отсюда вытолкнем, а там не примут. Почта и та лежит. Вон пилот — с утра дожидается...

— Как же быть?

Дежурный пожал плечами.

— Может, к вечеру...

— Придется ждать,— сказал Петр Петрович, когда они вышли.— Одна надежда на самолет. А пока нужно побывать на «Моряке», всё ли там в порядке... Пошли?

Витька представил, как все ребята начнут спрашивать, смотреть на него, и покачал головой.

— Я лучше тут...

Петр Петрович внимательно посмотрел, кивнул.

— Добро. Я скоро обернусь.

Огромное поле аэродрома сверкало широкими лужами. Возле домика дежурного, будто куры у запертого курятника, сгрудилась стайка грязно-зеленых и серебристых «кукурузников». Полосатая «колбаса» на шесте то надувалась, как маленький дирижабль, то мешком опадала вниз.

Витька никогда не видел самолетов вблизи. Он сделал

несколько шагов к «кукурузникам» и вернулся. Разглядывать самолеты перехотелось. Он сел на скамейку возле домика. Маленькие черные муравьи хлопотливо суетились возле дырочки в земле, стараясь протолкнуть в нее серый комочек, раз в пять больший, чем любой из них. Витька вяло удивился, почему это он так отчетливо все видит, будто и самолеты, и полосатая «колбаса», и муравьи, и все-все вырезано и раскрашено яркими детскими карандашами. Только все какое-то стало неслышное. Или у него уши вдруг испортились? Он потрогал уши. Нормальные. Может, потому, что так болит голова? Он наклонился и, скорчившись, прилег. Край земли у самого горизонта стал приподниматься, полез вверх...

Он вскочил, едва не свалившись со скамейки. К домику приближался пилот в комбинезоне. Тот самый, что сидел у дежурного. Только теперь он шлем держал в руках и волосы у него были длинные. Выходит, он — женщина? Женщина-пилот внимательно посмотрела на Витьку и ушла в домик. Солнце склонилось к западу. Справа, над морем, набухали облака, подножие их у горизонта темнело синеватой изгарью. Полосатая «колбаса» уже не опадала пустым мешком, а моталась под окрепшим ветром. А Петра Петровича все нет...

Петр Петрович пришел. На плече у него болтался Витькин рюкзак.

— Ну как? — спросил он, опуская рюкзак на скамейку.— Поешь, там ребята положили... А я узнаю.

Вернувшись, он присел рядом, озабоченно посмотрел на небо.

— Билет дали. На всякий случай. Говорят, попробуют.

Они сидели молча и ждали. Из домика, натягивая шлем, вышла женщина-пилот. Дежурный с порога прокричал:

— Так не забудь, Маруся,— в клеточку! В универмаге недавно были... Зайди обязательно!

— Ладно! — отозвалась Маруся.

Она подошла к стоящему с краю серебристому «кукурузнику», стянула с мотора брезентовый чехол. Откуда-то появились двое парней в засаленных комбинезонах, взялись за концы крыльев и легко, как послушную лошадку под уздцы, откатили самолет. Маруся влезла в переднюю кабину, подняла руку. Один из парней покачал пропеллер, резко крутнул его. Пах, пах...— выстрелил мотор и ровно затарахтел. Пропеллер исчез, вместо него заструился зыбкий прозрачный круг. Потом мотор заглох, пропеллер снова появился, покачался и застыл. Маруся вылезла,

открыла дверцу второй кабины. Парень принес и бросил в нее брезентовый мешок. «Почта»,— подумал Витька. Маруся обернулась к нему:

— Давай!

Витька подхватил рюкзак. Петр Петрович помог расправить лямки, протянул руку.

— Ну, Виктор, вот твой билет. Будь здоров. И держись!

Сгорбившись, держась за лямки рюкзака, Витька пошел к самолету. Маруся спустила подножку у дверцы кабины.

— Влезай. В случае чего — вон лежит бумажный мешок...

Витька кивнул, хотя не понял, зачем ему бумажный мешок... Петр Петрович, стоя в отдалении, махал рукой. Маруся закрыла дверцы. В полукруглый прозрачный колпак над головой были видны только небо в наплывающих тучах, мотающаяся на ветру полосатая «колбаса» и крыша домика. За стеклом, отделяющим место пилота, появилось лицо Маруси, она кивнула ему и отвернулась. Мотор снова затарахтел, самолет дернулся, стал раскачиваться и подпрыгивать. Качка незаметно кончилась, мотор загудел тише, ровнее, и в колпаке показалась земля. Она накренилась набок, словно собиралась опрокинуться. На краю поля возле домика стояли игрушечные самолеты. Поодаль Витька различил крохотную фигурку, в которой угадал Петра Петровича.

Витька привстал. Фигурка уменьшалась, убегала в сторону, назад. И Витька вдруг понял, что уходил, исчезал не только необыкновенный и неподражаемый Петр Петрович. Вместе с ним уходило, исчезало все, что было до нынешнего утра,— «Моряк» и его дружная команда, твердая вера в свое обязательное капитанство, уходило все безоблачное, радостное, безвозвратно уходило детство. А впереди... То, что предстояло ему, то, что было там, дома, и теперь стремительно надвигалось на него, как мрачные тучи, плывущие с моря,— это было так страшно и невыносимо, что Витька вдруг припал к брезентовому мешку с почтой и заплакал отчаянными, последними и безутешными слезами детства.

Слезы иссякли, Витька сел на место. Самолет все время потряхивало, валило со стороны на сторону. Иногда сиденье проваливалось под ним, падало вниз. Витька обмирал и упирался в стенки узкой кабины, словно это могло удержать от падения. Самолет не падал. Через секунду его поддавало снизу, будто он натыкался на твердый уступ, взбирался на него и, раскачиваясь, летел дальше. Время от

времени Витька замечал обращенное к нему лицо пилота. Маруся ободряюще кивала, хотя лицо ее оставалось суровым и напряженным. Тучи с моря наплывали все ближе, наливались синеватой чернотой. Черноту прорезал слепящий зигзаг, и тотчас огненные хлысты, один за другим, принялись полосовать набухшие громады. Они сверкали вдоль, поперек, падали в море, взрывались внутри туч, и те вспыхивали жутким багровым отсветом. Самолет, как бы испугавшись, тарахтел тише и прижимался к земле. Прямо под хлипкими крыльями мелькали растрепанные ветром макушки тополей, крыши, наперегонки уносились назад разномастные полотнища посевов, змеиные извивы балок. Волоча за собой темноту, тучи надвигались вкруговую, внизу осталась только небольшая полоса, на которой можно было различать деревья, дома, петляющую нитку дороги Самолет наткнулся на что-то, подскочил, снова ударился и, подпрыгивая, покатился по земле. Из-под колес взлетели косые фонтаны воды, захлестали по нижним крыльям.

Самолет остановился, мотор взревел и заглох. Маруся открыла дверцу, Витька взял рюкзак, спрыгнул на землю. В лицо брызнули дождевые капли.

— А где дорога к городу?

— Вон, мимо красного бензовоза,— сказала Маруся, доставая мешок с почтой.— Да ты погоди, скоро...

Витька не дослушал и пошел. Большак был изрыт колдобинами, до краев налитыми грязевой жижей. Липучая, как тесто, земля на обочине хватала за ноги, толстенными лепешками нарастала на башмаках. Дождь пузырил поверхность луж, потом припустил, зачастил монотонно и устойчиво. Разъезжаясь ногами в жидкой грязи, Витька прошел с километр, когда сзади просигналила автомашина. Не оборачиваясь, он отступил в сторону. Обдав его грязью, грузовик с фанерной будкой на кузове проехал немного вперед и остановился.

— Давай сюда, слышь, парень! — услышал Витька голос Маруси.

По-мужски сильные руки ее вздернули Витьку в кузов. Заскрежетали шестерни передачи, угрожающе запрокидываясь со стороны на сторону, машина двинулась. Витька смотрел на убегающую из-под колес дорогу. Пропаханная шинами сдвоенная колея разверзала бесконечный зев, и он тут же захлебывался в жидкой грязи.

В центре машина остановилась.

— Тебе куда? — спросила Маруся.

— Я тут. Спасибо,— невнятно ответил Витька, спрыгнул на мостовую.

Свет горел только в кухне. Витька осторожно стукнул в окно. За стеклом мелькнуло исплаканное лицо Сони. Всплеснув руками, она бросилась открывать.

— Ой, Витя, Витя! — горестно прошептала она.— Такое стряслось!..

— Кто там? — прозвучал в темной прихожей чужой осипший голос, большое рыхлое тело прижалось к нему и забилось в рыданиях.

— Ох, Витя, Витенька... Нету, нету его, нашего голубчика!..

Соня зажгла свет. Витька придерживал трясущиеся плечи матери и тихо повторял:

— Мам, ну, мам...

— Ой, лишенько! Да будет уже вам...— вмешалась Соня.— Вы поглядите, он же мокрёхонек, нитки сухой нет... Еще простудится да заболеет...

Она силком оторвала мать от Виктора.

— Вон лужа какая натекла!.. Скидай все тут, я сейчас сухое дам.

Витька стеснялся переодеваться при матери, но она неотступно ходила следом.

— А теперь молочка горяченького... И говорить — ничего не говори! Пей, и все...

Витька через силу пил молоко. Мать, привалившись головой к стене, закрыла глаза. Опасливо поглядывая на нее, Соня торопливо шептала:

— В одночасье! Хоть бы хворал или что... Сидел на службе в кабинете. Вошли, а он уж и не дышит... Ох горе горькое!.. А на похоронах что народу было! Идут и идут! И всё венки и флаги... Два оркестра на переменку...

Витька поднял на нее глаза. Какие оркестры? Какая теперь разница, сколько было оркестров...

— Где Милка?

— Я ее к соседям загодя отвела. К Ломановым. Чего ей душу надрывать?! И так уж...

Из-под сомкнутых век матери непрерывно текли слезы. Витька отставил стакан.

— Мама, тебе нужно лечь!

— Да разве я засну?

— Заснешь не заснешь, а лечь нужно... Пойдем!

Пустая столовая, где еще стоял длинный стол, застеленный красным, была затоптана, усыпана сосновой хвоей. Не раздеваясь, мать прилегла в спальной на кровать.

В кабинете все осталось, как было. Витька осторожно потрогал стол, письменный прибор. Все это было *его*. Все осталось, а *его* уже нет. Больше никогда не войдет *он* в эту комнату, не будет кричать в трубку, что «поставит вопрос на бюро», не сядет за этот стол и не спросит у Витьки: «Ну, архаровец, чем живешь, о чем думаешь?..» Не стало *его*, Витька остался, но странным образом все, чем жил и о чем думал Витька до сих пор, ушло вместе с *ним*. Теперь нужно было жить как-то иначе, думать о другом. Как и о чем?..

Витька сел в кресло, переплетая пальцы рук, оперся локтями о стол. По оконному стеклу, догоняя друг дружку, как слезы, торопливо текли дождевые капли.

— Вот так... вот так он всегда сидел!..— услышал Витька прерывистый, задыхающийся голос.

Мать стояла в дверях, держась за притолоку, слезы неостановимо лились по ее щекам. Витька вскочил.

— Не могу я там...— виновато сказала мать.— Я тут посижу немножко...

Витька уложил ее на диван, принес подушку. Мать покорно, как маленькая, подчинялась. Витька погасил свет, сам прикорнул у нее в ногах.

Утром они пошли на кладбище. Могильный холмик был завален венками. Они лежали в несколько слоев, друг на друге, часть съехала на соседние холмики. Дождь размыл краску надписей, забрызгал глинистыми шлепками цветы, ленты. Охряными змейками от осевшей могилы расползлись потоки жидкой глины. Мать рухнула на колени, со стоном припала к могиле. Витька больше не плакал. Он стоял и смотрел, как сотрясаются от рыданий плечи матери.

— Ну, хватит, мама,— насупив брови, сказал он.— Пойдем!

Он очистил от глины запачканное платье ее, взял под руку, увел.

Вечером, когда Витька разбирал отцовские бумаги, пришел директор «Орджоникидзестали» Шершнев. Высокий, всегда сутулящийся, он теперь показался сгорбившимся. Морщины вокруг плотно сжатых губ прорезались резче. Он коротко поздоровался, присел к столу. Шершнев был другом отца, но в дом приходил редко. Зачем пришел теперь? Сочувствовать? Насупившись, Витька ждал. Шершнев долго молчал.

— Я пришел не утешать,— сказал он.— Утешить в таком горе нельзя... Как думаете жить дальше?

Мать махнула рукой, снова заплакала.

— Какая теперь жизнь? Нету теперь у нас жизни. .

— А дети? — сурово спросил Шершнев.

Мать пересилила себя, прерывисто вздыхая, проговорила:

— Как-нибудь... Он все говорил: «Я двужильный, меня надолго хватит...» А вот...

Шершнев переждал, пока мать успокоится.

— Пенсию вам дадут...

— Что ж пенсия? Разве проживешь? Соню отпустить придется. Работать пойду.

— Кем?

— Когда-то была воспитательницей в детском садике...

— Ну это, мам, чепуха! — решительно сказал Витька.— Ты лучше дома. Я сам пойду работать!

Шершнев искоса, сверху вниз посмотрел на него.

— А что? — загорячился Витька.

— Куда ты пойдешь, ты же маленький! — сказала мать.

— Никакой я не маленький! Отцу, когда начал работать, сколько было? Пятнадцать! И мне скоро будет пятнадцать... И я вон какой здоровый, сильнее всех в классе!

— Да,— покивал Шершнев,— Иван Петрович, как я, начал в пятнадцать. А семнадцати в армию ушел, добровольцем.

— Вот! — торжествуя, сказал Витька.— А в девятнадцать он уже директором был! — и потряс в воздухе затертой бумажкой. Эту бумажку он только что нашел.

«30/IX 1921 г. Екатеринославский Губсовнархоз
Отдел Металла
Заводу бывш. «Старр»

Настоящим Отдел Металла командирует к Вам на основании командировки Губпарткома за № 6317 тов. И. П. Гущина в качестве практиканта заведующего заводом, при чем разрешается предоставить тов. Гущину 2-недельный отпуск, ссылаясь на постановление ЦК КП(б)У.

Завгубметалла».

— Директором он долго не был,— сказал Шершнев, возвращая бумажку,— ушел снова в армию, в бронечасть, а потом — на рабфак...

— Все равно! А начал когда? Вот и я начну...

— А учиться?

— Буду и учиться! Что я — один? Есть же вечерние

школы, ребята там учатся и работают. Пойду учеником, и все. Я быстро научусь, у меня к технике способности.

— Каким учеником?

— Отец сначала кем был, фрезеровщиком? Вот и я буду! Таким, как он...

— Таким, как он, стать трудно,— сказал Шершнев.

— Стану!

Мать с сомнением качала головой, Шершнев молча раздумывал.

— Подумайте,— сказал он наконец.— Может, он и прав. Все равно ему надо на ноги становиться, и раньше, пожалуй, лучше...

Витька настоял на своем. После смерти отца само собой получилось так, что во всем главном решал теперь Витька. Мать по-прежнему указывала ему, что надеть, когда есть, как себя держать, но ничего серьезного без него не предпринимала, обо всем советовалась. Витька незаметно перестал быть Витькой и стал Виктором — главой семьи, кормильцем. Как он был горд, как была счастлива мать, как хвастала перед соседями, когда он принес свою первую, не ученическую уже, а настоящую рабочую зарплату...

А Милка, пришибленная несчастьем, изреванная Милка, которая первые дни ходила за ним по пятам, как пришитая? Ей ведь тоже нужна была опора, защитник, наставник. Прежде им был отец, теперь стал Виктор. И прежде он для Милки был всезнающим и всеумеющим, недосягаемым образцом, примером и повелителем. Теперь эта маленькая душа прилепилась к нему всей силой своего испуга перед смертью, вошедшей в их дом, всей жаждой найти от нее защиту, незамутненной любовью и верой в то, что он самый лучший, самый и самый...

Разве можно все это рассказать? И зачем это знать Алову? Он же будет писать про производственное, а все это — семейное, его, Виктора, личное, никому до этого нет дела.

Алов обгорелой спичкой чистил огромный, в сантиметр, ноготь на левом мизинце и морщился.

— Ну, молодой человек,— сказал он,— так дело не пойдет. Мне нужны подробности. Факты и самые мелкие фактики.

— А зачем?

— Видишь ли, молодой человек...— со вкусом повторил Алов. Он любил, когда можно было обращаться к людям

снисходительно. Снисходительность к другим возвышала его в собственном мнении.— Видишь ли, молодой человек, я собираюсь написать о тебе не статью, а брошюру. Может, даже книжку. Но для этого мне нужны всевозможные факты. Без этого нельзя творчески проникнуть в материал... Давай так: ты день-два подумай, а потом мы снова встретимся. Только пока об этом не трепаться! Понятно?..

Виктор думал, будет заметка в газете, а оказывается — целая книжка! Это похлеще любой доски и всяких там фотографий. У них в цехе... Да что там в цехе! На всем заводе ни про кого нет книжки! А про него будет!

Всю дорогу домой он старался держаться солидно, но губы его расползались в улыбке. Жалко, нельзя рассказать... Нет, Лешке можно, он не разболтает. Виктор хотел забежать в общежитие, но вспомнил: Алексей, конечно, ушел к Наташке, и теперь их не найдешь...

В цех утром он не шел, а летел. У входа в пролет Виктор не удержался, оглянулся на доску, где вывешивались приказы и всякие объявления. Вчера здесь повесили «молнию»: на куске обоев красными печатными буквами было написано, что «фрезеровщик В. Гущин выполнил 220 процентов сменного задания. Берите пример с передовика производства!» «Молния» была на месте. Только с ней что-то произошло. Виктор не сразу понял, подошел ближе. Наискось через весь текст черным по красному было написано одно слово — «Липа». Виктор растерянно оглянулся, заметил обращенные к нему взгляды, улыбки. Он вспыхнул и побежал по пролету. Алексей уже был у плиты, рассматривал чертеж. Виктор подбежал.

— Понимаешь?.. Ты же видел «молнию» про меня, вчера повесили... Так какой-то гад написал на ней «Липа»!

Алексей поднял голову и спокойно сказал:

— Это я.

— Ты-ы?! — протянул Виктор и отступил.— Ну ладно! Попомнишь.

7

Как только люди начинают мудрить и выдумывать, обязательно получается какая-нибудь чепуха. И пусть бы еще была польза. Наоборот! Им же всегда хуже. А все равно мудрят, крутят и крутят. Прямо набиваются на неприятности. Вот и Лешка. Все ему нужно рассуждать, обсуждать: то не так, это не эдак. Он да еще Кирка. Та тоже воображала. Вот и навоображала на свою голову...

Кира Виктору нравилась. Он даже объяснялся ей в люб-

ви, когда учились в седьмом. Ничего из этого не вышло, да и что, собственно, должно было выйти? Они ведь были пацанами... А потом она стала еще красивее. Правда, зубы у нее чуть великоваты и рот всегда немножко приоткрыт. Но это ее не портило. Наоборот, от этого она как-то казалась еще красивее. И Виктор влюбился еще больше. Тем более что она была не ломака, как другие, а прямо, можно сказать, «свой парень». Виктор и думал, что все будет просто, без фокусов. Особенно когда они были в Найденовке. Поехали вчетвером: Кира, Наташа, Лешка и он, Виктор. Они так и дружили вчетвером, хотя Виктор уже давно работал на заводе, Наташа заканчивала девятый, Лешка и Кира кончили ремесленное.

Второго мая они собирались с утра пойти в городской сад, но Кира вдруг сказала:

— Нет, знаете что? Давайте поедем в Найденовку. Вот куда мы ездили с Костей Павловым, когда были маленькими. Это всегда очень интересно — когда станешь взрослой, поехать туда, где была маленькой... Помните, как тогда хорошо было?

— Такая ты сильно взрослая стала,— усмехнулся Лешка.

— Ну уж и не маленькая!

Они бы обязательно заспорили и поссорились — они всегда спорят и ссорятся, как только встретятся,— но Наташа сказала, почему в самом деле не съездить, и Виктор тоже сказал, что это будет здорово.

В Найденовку интереснее было поехать на лодке, как и тогда, в первый раз, но лодку достать не удалось, и они поехали рабочим поездом. Поселок был такой же, как и прежде, но причал неузнаваемо переменился. Старый, должно быть, разбило штормом, новый уходил дальше в море, распростерся вширь и закрыл место, где они когда-то жгли костер и ночевали. Зажигать снова костер и ночевать они не собирались, но им стало немножко грустно — воспоминание о той ночи было приятным, а люди и время поторопились уничтожить все, что о ней напоминало... Они постояли на конце причала. Виктор отколупнул от резиновой ленты транспортера несколько ссохшихся тюлек и бросил в воду — пускай другие рыбы кормятся. Тюльки остались на поверхности, ни одна рыбешка к ним не подплыла. Ветер трепетал над запертым правлением уже надорванный флаг, в поселке орали громкоговорители и пьяные. Делать здесь было нечего, и они пошли обратно к разъезду. Кира, как и все поначалу, притихла, потом снова развеселилась:

— Вон какая чу́дная балочка! Пойдемте посмотрим. Ну что в городе делать? Успеем еще.

Изгиб балки, зарастающей кустарником, почти вплотную подходил к дороге, потом круто отворачивал и терялся в степи. Внизу было знойно и тихо, ветер сюда не достигал и лишь на краю оврага раскачивал бурые прошлогодние будылья чертополоха и гнал по небу взбитую пену облаков.

Среди кустов открывалась маленькая лужайка. Девушки сели, Лешка лег на спину и заложил руки под голову.

— Странно как,— сказала Наташа.— Вот мы были в Найденовке не так уж давно, правда? А кажется, что уже прошло много-много лет, и будто это даже не я, а какая-то другая девочка была там, и похожая и совсем не похожая...

— Конечно,— сказал Лешка,— все были другие.

— Почему? Только что стала больше, выросла?

— Обновилась, как икона,— сказал Виктор.— Была некрасивая, а стала ничего себе...

— Придумал!

— Это не я придумал, ученые. Говорят, у человека каждые сем лет весь организм обновляется. Вместо старых появляются новые клетки. Все меняется. И мускулы, и мозг, и кожа.

— Это только змеи меняют кожу. И ящерицы.

— Нашли о чем говорить! — сказала Кира.— Пойдемте лучше поищем родничок — пить хочется. В таких балках всегда есть роднички. Вода в них холодная и вкусная — прямо ужас... А ну давайте, кто скорее найдет!

Кира вскочила и побежала по дну балки. Виктор тоже поднялся и побежал.

— Догоняйте! — крикнула Кира.

Пестрое, в цветочках платье ее уже скрылось за кустами. Виктор оглянулся — Лешка и Наташа остались на месте. Догонять Киру оказалось трудно. Платье ее, словно дразня, то появлялось, то скрывалось за кустами. Разбежавшись, Виктор почти наткнулся на нее. Кира, запыхавшись, остановилась и, откинув голову, дышала открытым ртом. Лицо ее раскраснелось, платье на груди поднималось и опадало, поднималось и опадало... Виктору вдруг стало жарко. Он стоял на месте и смотрел на Киру, а сердце стучало все сильнее, будто он продолжал бежать все быстрее и быстрее. Сейчас... Вот сейчас, может быть... Нет, будет! Как с Нюсей...

Нюся — продавщица газированной воды на углу их улицы. Сколько ей лет, Виктор не знал. Это было неважно. Она была молодой и удивительно красивой. В нее Виктор тоже влюблен уже давно. У нее пухлые губы, коротенький носик. Когда она смеется — а смеется она непрерывно,— носик забавно морщится, в уголках губ появляются и исчезают маленькие пузырьки. Глаза у нее как чернослив. Они тоже всегда смеются. Когда она смотрела, Виктор обмирал и тут же его обдавало жаром. Должно быть, поэтому он непрерывно пил у нее воду. Каждый раз с двойным сиропом. Его тошнило от приторной пахучей сладости, но он пил и пил. Живот вздувался как барабан, в нёбо стреляло газовой отрыжкой, но он без конца сновал по улице, подходил к киоску и просил воды. С двойным сиропом. Брать дешевле он стеснялся. Сдачу он тоже стеснялся брать, делал вид, что забывает, но Нюся, смеясь, окликала его и отсчитывала мокрые медяшки. В смехе ее не было пренебрежения, Виктору даже казалось, что она смотрит на него по-особенному и как бы чего-то ждет. Он вовсе не был трусом, но никак не решался сказать ей то, что хотел. Сказала она сама. Однажды, подавая стакан, она сказала:

— Сто пятьдесят седьмой.

— Что? — не понял Виктор.

— Стакан,— засмеялась Нюся.— Вы заболеете и умрете. Или просто лопнете. Зачем изводить столько денег на воду? Лучше пригласили бы меня в кино...

В фойе кинотеатра Виктор молчал и все время озирался — почему-то он боялся встретить знакомых. Знакомых не было, но с облегчением вздохнул Виктор только тогда, когда они сели на место и погас свет.

Виктор сидел лицом к экрану, но видел и чувствовал только одно — Нюся рядом. В ушах и висках гулко бухало, пульс бился даже в пальцах, плечи сводило от старания держаться свободно. Он слегка двинулся и почувствовал ее плечо. Оно не отстранилось. Он подался чуть влево, и ее плечо слегка качнулось в его сторону. Он пошевелил затекшими пальцами и почувствовал ее руку, подвинул руку влево, ее рука податливо устремилась навстречу. Пальцы их сплелись. Крепко. Очень крепко. Так, оцепенев, они просидели весь сеанс.

Домой они шли рука об руку, пальцы их были так же крепко сплетены. Дом прятался в глубине сада. На полдороге под развесистой яблоней стояла скамейка. Не произнося ни слова, они остановились, потом сели... Нюся не

затевала никаких объяснений, не «переживала» и ничего не требовала. Все было легко и просто. Значит, так и должно быть...

Виктор шагнул вперед. Кира, прикусив губу, смотрела за его спину, туда, откуда прибежали.

— А они? — спросила она.

— Остались. Никак не наговорятся.

Стук в ушах стал оглушительным. Виктор сделал еще шаг и поцеловал ее прямо в чуть приоткрытый рот. Кира отшатнулась, удивленно и обиженно уставилась на него.

— Ты с ума сошел! Что это за новости?

— Да брось, чего там...— пробормотал Виктор и обнял ее.

Кира уперлась ему в грудь острыми локтями, потом высвободила руку, коротко и резко ударила кулаком снизу в подбородок. От боли и неожиданности Виктор разжал руки, не удержался и с маху плюхнулся на землю.

— Психованная! Чего ж ты дерешься?..

Кира не ответила, быстро пошла обратно. Виктор поднялся и, потирая ноющий подбородок, зашагал следом. Скажет или не скажет? Мало того, что треснула, еще и просмеет...

Наташа сидела все так же, обхватив колени руками, Лешка полулежал, опершись на локоть, и смотрел на нее.

— Нашли воду? — спросила Наташа и, не ожидая ответа, снова повернулась к Лешке. То, о чем они говорили, было важнее.— Нет, дело не в том, герой или не герой. Понимаешь? Герой — это... ну вот сделал что-то, какой-то поступок, очень хороший. И люди говорят — герой. Но ведь нельзя подряд, непрерывно! Ну, пять, ну десять подвигов... Ведь геройский поступок — это как всплеск. Всегда очень коротко, быстро. А потом? Ведь вся жизнь — длинная. И, конечно, герой — это хорошо, но не у всех такие случаи бывают, чтобы стать героем, правда? И, по-моему, самое важное, как ты живешь всегда, какой ты изо дня в день. Вот о чем надо думать!

— А чего тут думать? — сказал Виктор.— Живи, работай, и всё.

— Как «живи»?

— Как все!

— А все одинаковые? Все хорошие? — спросил Лешка.

— Ну, не все. Люди разные.

— А ты какой?

А ты не знаешь, да? Чего вы тут мудрите?

— Мы не мудрим. А человек должен знать, какой он, зачем он, иметь перед собой цель.

— Цель у всех одинаковая — строить коммунизм.

— Это — вообще. А твоя?

— И моя тоже. Работаю? Работаю. И не плохо. Значит, тоже участвую. Что еще надо?

— У тебя нет воображения,— сказала Наташа.

— У меня? Да я такое могу выдумать, что вам и не снилось...

— Верно, ты — выдумщик. А воображение — совсем другое. Понимаешь? Это — мысль, деловая, мысль, которая работает во всех направлениях, но с определенной целью. Да, вот именно, с целью! Вот мы с Лешей и говорим, что человек должен всегда думать: что и зачем? Почему так, а не иначе? Человек должен обо всем думать и за все отвечать.

— Это не я фантазер, а вы! Я должен за свою работу отвечать. Поставят на другую — там буду. А сейчас я что, за мастера, за начальника цеха должен? Может, за директора? Или еще за кого?

— За всех.

— Вот вы и отвечайте. Больно много на себя берете. Что они, меньше нас знают?

— Больше. Но они не знают чего-то, что знаем мы. Или узнаем.

— Что вы там можете знать? Поменьше надо воображать о себе и не корчить из себя каких-то цац...— Виктор опасливо покосился на Киру. Она сидела опустив голову и покусывая травинку.— Жить надо просто. Без выдумок...

— Ну да: пусть за тебя думают, за тебя решают? А ты идешь, куда толкают, делаешь, как скажут? Так живут овцы.

Виктор хотел сказать что-нибудь резкое, но ничего не придумал и очень обиделся.

— Ладно, посмотрим, кто из нас окажется овцой...

— Поедемте домой,— внезапно сказала Кира, поднялась и, не оглядываясь, начала взбираться по склону.

Они поднялись и тоже пошли. Сначала Виктор, потом Наташа и Лешка. Так и шли всю дорогу до разъезда. Кира раза два оглянулась, потом ускорила шаг и намного опередила всех. Виктор не знал, как подступиться теперь к Кире, и не хотел догонять. Присоединяться к Наташе и Лешке, которые шли не торопясь и о чем-то опять оживленно говорили, тоже не хотелось.

В вагоне Наташа и Лешка сели у столика, Кира стала у открытого окна напротив. Виктор обошел полупустой вагон, постоял на площадке, потом вернулся. Он заметил, как Кира оглянулась на сидящих в купе и тут же отвернулась. Ветер трепал ее кудряшки, пузырями надувал короткие рукава платья. Виктору было стыдно перед ней, он хотел как-то загладить происшедшее, но не знал, что нужно сказать или сделать. Он подошел и стал рядом. Кира не оглянулась. Пристально, не моргая, она смотрела куда-то поверх редких кустов, туда, где яркая зелень степи обрезала голубую стену неба. Внезапно Виктор заметил, что из широко открытых глаз ее выкатываются и медленно ползут по щекам слезы. Она не вытирала их и только когда слеза стекала к углу рта, подхватывала ее кончиком языка. Виктор покосился на сидящих за столиком, заслонил Киру плечом и сказал:

— Ну чего ты... Слышь, Кира, ты не сердись... Я не хотел, понимаешь. Так получилось... Не обижайся, ладно? Ты не думай...

Кира оглянулась, не сразу поняв, о чем он говорит, губы ее досадливо дрогнули.

— Господи, да отстань ты! Очень ты нужен — думать про тебя...

— Нечего тогда и реветь,— обиженно сказал Виктор.

После этого как-то так получилось, что гуляли они уже только втроем — Кира больше не приходила. Виктор не чувствовал никакой утраты, так было даже лучше — воспоминание о происшедшем в балке появлялось все реже, но оставалось неприятным. Теперь в нем появился другой оттенок — неприязненно он думал не о себе, а о Кире. Тоже, подумаешь, сокровище — недотрога. Просто ломака, и больше ничего...

Потом он узнал, что за ней ухаживает слесарь из ремонтного, и вскоре после этого, что она выходит замуж. На свадьбе Виктор не был. Может, его и позвали бы, но в это время он получил отпуск и увез Милку и мать на Кривую косу — отдохнуть и как следует покупаться. Лешка тоже не был на свадьбе — не пошел, а может, и не позвали. Весть о замужестве Киры Виктор принял совершенно равнодушно и сам удивился. Он же был в нее влюблен! Теперь какой-то чужой парень стал ей мужем, а ему все равно. Ни ревности, ничего. Может, он и не был в нее влюблен? Наверно, это было просто так, детское увлечение... С тех пор Виктор ни разу не видел Киру, и лишь изредка о ней говорила что-нибудь Наташа: получила

комнату, маленькую и в коммунальной квартире, но ничего... У нее будет ребенок... Так скоро? Почему скоро? Нормально...

Потом как-то Наташа сказала, что, кажется, Кира не очень счастлива, может, даже просто несчастна.

Виктор не стал допытываться и не почувствовал сострадания. Иначе и не могло быть. Слишком много о себе воображала, ждала неизвестно чего. А жить надо просто...

8

Он, Виктор, жил просто. Делал все, что надо, и не мудрил, не произносил всяких слов. Как будто слова что-то меняют. Надо дело делать, а не болтать. Человека проверяют по делам, а не по словам. И если его проверять по делам, в конце концов получается неплохо, не хуже, чем у других... Вот умер отец... Другой бы на месте Виктора раскис, спрятался за спину матери — ты, мол, вкалывай, а мне учиться надо, родители должны обеспечить... А он сразу решил сам идти заработать. Мать больна да и пожилая уже — что она там заработает? И Милка растет, ей учиться надо. Решил, и точка. Поставил перед собой цель и добился. Через полгода получить третий разряд — это не каждый сумеет. Он сумел. И в цехе себя поставил. То есть сумел оправдать. Ну, Маркин, конечно, работает лучше... Да нет, он просто опытнее. Так он уже сколько лет по седьмому, за станком состарился. Ничего, Виктор и Маркина догонит. Пятый разряд не сегодня завтра получит. А потом...

Что произойдет потом, он еще не решил. Каждый раз ему представлялась другая картина. То, например, в цех приходит заказ. Какой-нибудь изобретатель придумал необыкновенно важную и сложную машину. Отлили детали, прислали в цех, и тут — стоп! Никто не знает, как их обрабатывать. Собирается все начальство: и цеховое, и главный технолог, и главный инженер. Крутят и так и сяк — ничего не получается. Маркин отказывается наотрез — нельзя, он не умеет. Губин тоже. Про молодых и говорить нечего — никто не берется. А заказ срочный, какой-нибудь там литерный, совершенно секретный. И когда все уже впадают в окончательную панику, у него, у Виктора, мелькает мысль... Какая именно, сейчас неважно. Важно, что она мелькнет. Он приходит и небрежно говорит:

— Давайте, я попробую.

Все удивленно таращат глаза, машут руками. Куда? Не справишься! Инженеры не знают, а он берется...

И ребята отговаривают:

— Брось это дело, гробанешь! Чего тебе ввязываться? Пускай они думают, им за это деньги платят.

Но Виктор небрежно и независимо говорит:

— Минуточку! Минуточку!..

Самую сложную деталь подают ему на станок. Он ее ставит по-особому... Ну, там оправки, подкладки всякие... Словом, пристраивает и включает станок. Вокруг стоит все начальство и смотрит. Никто не верит, и все думают, что он запорет. А он работает как ни в чем не бывало и ни на кого даже не оглядывается. И вот у него начинает получаться — всем уже видно, все переговариваются между собой, приходят люди из других пролетов, целая толпа вокруг станка, все ахают и удивляются. А он спокойненько работает. Потом выключает станок и говорит:

— Прошу.

И тут все кидаются мерить, проверять, но ни к чему не могут подкопаться. Все начинают жать ему руки, поздравлять, говорить, как он выручил, буквально спас завод, что с сегодняшнего дня он — гордость завода, о нем сообщат в главк, в министерство...

Или, например, он придумает... ну, скажем, новую фрезу. Совсем новую, какую до сих пор никто придумать не мог. Чем она будет отличаться? Ну, это потом, когда придумает, так уж придумает... Важно не какая она, а то, что с ней производительность сразу подскочит на триста процентов. Или даже на пятьсот! Сначала он у себя попробует, а когда все откроют рты, он скрывать не станет — пожалуйста, пользуйтесь. И все в цеху перейдут на его фрезу. А потом другие заводы... По всему Союзу на всех заводах будет только его фреза. Фреза Гущина. Узнают за границей. И там тоже будут ее применять, называть фрезой Гущина и думать, что он инженер-механик, а он просто фрезеровщик... Нет, к тому времени он уже будет не фрезеровщиком, а инженером. Специалистом по станкам. И на других станках он тоже что-нибудь рационализирует...

Или, например, он придумает какой-нибудь новый способ обработки металла. Не то что там по очереди точить, фрезеровать, строгать, а сразу... Ну, неважно как. Важно, что закладываешь болванку и через какое-то время — готовая вещь. Это же полная революция в технике! Не надо разных станков, специальностей. Миллионы, миллиарды рублей экономии, производительность подскочит прямо на тысячи процентов. Он станет таким авторитетным, что без него никто шагу не ступит, даже профессора, академики...

Иногда его заносило в сторону, и он думал не о производственных успехах, а театральных. Больше года он участвовал в драмкружке при Дворце культуры металлургов и уже несколько раз выступал на сцене. Роли были не бог весть какие: то солдата без слов, то перепоясанного пулеметными лентами матроса, который, потрясая деревянным маузером, бежал через сцену и кричал: «Даешь!» Тут, конечно, не развернешься. Но кружок готовил «Любовь Яровую», и там Виктор мог бы показать класс. Поручик Яровой ему не нравился, для себя он облюбовал роль Шванди. Поручили ее не Виктору, а технику Кожухову, получалось у него, по правде сказать, неплохо и заменять его не собирались. Но Виктору представлялось, что вдруг перед самой премьерой (бывает же такое!) Кожухов заболел. Не опасно, конечно, не серьезно, но — надолго. Все в панике, режиссер в отчаянии — срывается премьера на Октябрьские праздники. И тогда Виктор скромно, но уверенно говорит:

— Разрешите, я сыграю. Роль у меня отработана. Готовил просто так, для себя. Если хотите, могу сейчас врезать пару монологов...

Он «врезает» всего один, и все видят — вот он, настоящий Швандя. Куда Кожухову! Идет спектакль, театр — гремит. Виктора вызывают двенадцать раз. Ребята все — наповал, девушки на улицах провожают его взглядами, краснеют и вздыхают. Спектакль везут на смотр самодеятельности в Киев, потом в Москву. И там к нему приходят представители из Малого театра или из МХАТа и говорят: «Виктор Иванович, вы — самородок. Вам нечего делать в самодеятельном кружке, вы законченный артист. Мы будем счастливы видеть вас на подмостках нашего театра...» И потом... потом начиналось такое, что в голове Виктора все путалось и плыло в каком-то хороводе зеркал, сверканий и восторгов.

Картины возникали сами по себе, одна приятнее другой, и в каждой Виктор был красивый, ловкий, находчивый и вместе с тем сдержанный, тонный, как заграничный дипломат из кинокартины. Причин и поводов для будущих успехов могло быть множество. Какие — не имело существенного значения. Как только Виктор пытался определить, что именно он сделает, откроет, изобретет, все становилось зыбким, неопределенным и улетучивалось, как след дыхания на стекле. Зато все, что должно последовать дальше, было очень отчетливым и ярким. И он перепрыгивал через неясные пока причины и поводы к радужным след-

ствиям. Представлять их себе было необыкновенно приятно, и он без удержу влетал к сияющим вершинам близких успехов.

В том, что они недалеки, Виктор не сомневался. Однако время шло, но они не приближались. Кожухов был здоров, как бык, и болеть не собирался — кроме драмкружка он занимался в секции тяжелоатлетов. Никто не изобретал невиданной сложности станков, а какой должна быть фреза Гущина или новый способ обработки металла, оставалось неясным. И получалось как бы, что Наташа была права, сказав, что у него нет воображения, он просто фантазер и мечтатель...

Оказалось, что это замечание задело его больше, чем сравнение с овцой. «Овца» — ругательство, а замечание Наташи — определение характера. С этим определением он категорически, абсолютно не согласен. Виктор был убежден, что человек он деловой и дельный, а вовсе не мечтатель.

Хуже всего, что поговорить об этом было не с кем. Не с Наташей же! Лешка, тот молча будет слушать, потом усмехнется и скажет что-нибудь не очень приятное. Мать? Она и без того убеждена, что ее Витя — самый способный, самый лучший, самый-рассамый...

Оставалась Нюся. Но с ней вообще нельзя говорить, она оказалась дурой. Просто набитой дурой. Болтает всегда такую чепуху, что уши вянут. И занимают ее одни пустяки: кто за кем ухаживает, кто женился, кто развелся, из-за чего поссорились, как мирились. Нельзя сказать, что она не интересуется делами Виктора. Когда он говорит о своих делах, она молчит и слушает. А когда он заговаривает о своих планах и о том, что будет, когда они исполнятся, она начинает прижиматься и громко дышать... Она его, конечно, любит, даже восхищается им, но восхищение свое проявляет всегда одним способом.

Очень хорошо, что ее киоск перевезли на другую улицу, а то соседи обязательно бы заметили и догадались. Может, уже заметили? А то с чего бы мать вдруг заговорила о девушках:

— Почему это, Витя, к тебе, кроме Алеши, никто не приходит? Неужели у тебя нет никакой знакомой девушки?

— А что? — настороженно спросил Виктор.

— Ну, так... Привел бы в дом, познакомились. Лучше ведь сидеть и разговаривать в уютной обстановке, чем бродить по улицам или стоять в подворотнях. Ты не стес-

няйся. Я даже прошу тебя. Так и вам будет лучше и мне спокойнее.

«Чего бы мы тут делали? — подумал Виктор.— Много с ней наговоришь, как же...» — и ничего не ответил матери.

Этот вопрос был ясен. Неясным оставалось, каким образом Виктор докажет свою принадлежность к разряду дельных, деловых людей, а не фантазеров и выдумщиков. Как он ни старался, как ни экономил время, выше ста двух — ста трех процентов плана подняться не удавалось. Попытки изобрести какие-нибудь приспособления, которые могли повысить производительность, ни к чему не привели. Мысли привычно сворачивали с неподатливого предмета размышлений на гладкую плоскость возможных результатов в будущем и без задержки скользили по ней бог знает куда...

Когда Ефим Паника передал, что председатель цехкома Иванычев хочет с ним говорить, Виктор отнесся к этому без всякого интереса — опять будет мораль читать.

Появился Иванычев недавно, в цехе показывался редко — больше сидел в конторке и разбирал какие-то протоколы или инструкции, напечатанные на папиросной бумаге. Однако за работу принялся энергично: до него собрания проводились редко и как бы на бегу, теперь они стали частыми и затяжными, как осенние дожди. На каждом собрании Иванычев произносил речь и в каждой речи доказывал, что долг всех рабочих — повышать производительность труда и поэтому во всю ширь нужно развернуть соцсоревнование.

Иванычев отложил бумажки и поднял голову. Голова у него была маленькая, волосы росли на ней чуть не от бровей. К собеседнику он поворачивался всем телом, и тогда под гимнастеркой, охваченной широким ремнем, колыхался большой тугой живот.

— Такое дело, товарищ Гущин... Ты давай садись. Помимо мероприятий общего порядка для дальнейшего развития соцсоревнования мы решили применить конкретный, так сказать, индивидуальный подход... В чем дело, товарищ Гущин? Я, кажется, ничего смешного не сказал...

— Нет, это я так...— пряча ухмылку, сказал Виктор. Он вспомнил, как Иванычев применил индивидуальный подход к Губину.

Однажды Ефим Паника долго кричал над Губиным о срочном заказе, прорыве и сознательности. Кричал он, обращаясь к спине Василия Прохоровича,— старик упорно

смотрел на фрезу и к мастеру не поворачивался. Потом ему, видимо, надоело, он обернулся и сказал:

— Станок — не конь, я на нем скачки устраивать не буду. Понял? И иди отсюда под три чорты, не мешай работать!

Ефим Паника убежал, но скоро вернулся с Иванычевым. Иванычев подошел к Губину, подождал, пока тот обернется.

— Привет, товарищ Губин. Жалуются, понимаете, на вас... Как же это?

— Может, еще кого приведете? — спросил Василий Прохорович.— Давайте уж всех кряду.

— Нехорошо получается, товарищ Губин. Все стараются повышать темпы, дать как можно больше продукции... А у вас что же получается? Выходит, вы против?

— Мне стараться некогда, я работаю.

— Работать можно по-разному. Можно форсировать.

— А ты знаешь, сколько этому станку лет? Он старше нас с тобой.

— Не играет значения. Когда перед нами стоит задача...

Василий Прохорович смотрел на него поверх очков и шевелил губами, что-то говоря про себя, потом сказал:

— Ломать станки перед нами задачу не ставили. Раз ты этого не понимаешь, ты ко мне не ходи и не агитируй. Ты еще сопли по земле волочил, а я уж у станка стоял. А коли ты...— Он внезапно покраснел и закричал:— А коли ты больше моего знаешь — на, показывай! — Он выключил станок и, схватив концы, начал с остервенением вытирать руки.— Давай свои темпы!

— Это... это демагогия, товарищ Губин! — сказал Иванычев и отступил на шаг. Шея его начала багроветь.— Я о вас поставлю вопрос.

— Ты его тут ставь! — тыкая согнутым пальцем в станок, сказал Губин.

— Не беспокойтесь, я поставлю где следует!

— А там хоть ставь, хоть клади...

На собрании, когда Иванычев начал говорить о несознательном, недостойном поведении некоторых рабочих, о нежелании, например, фрезеровщика Губина повышать темп, начальник цеха Витковский поморщился и сказал:

— Это вы оставьте. Станок — рухлядь и держится только потому, что в хороших руках. Какие там темпы на нем показывать — развалится!..

Так ничем все и кончилось

Ты эти смешки брось, ничего смешного. Ты договор на соцсоревнование подписывал?

Договор со своим сменщиком Виктор подписывал каждый квартал. Первый раз они обязались дать сто двадцать процентов и с трудом дотянули до ста. Их нарисовали в стенгазете сидящими на черепахе, и с тех пор они аккуратно подписывали одни и те же обязательства: дать не меньше ста процентов плана, не опаздывать, экономить рабочее время и инструменты, нести общественные нагрузки...

— Так вот, товарищ Гущин, показатели у тебя, прямо скажем, не ахти. Верно я говорю? Ты, так сказать, типичный середняк, а мог бы быть передовиком. Есть у тебя такое желание?

— Есть,— пожал плечами Виктор.— А что я могу сделать? Не получается.

— Должно получаться!.. Я с тобой буду говорить откровенно. Народ в цеху разный. Есть, конечно, и опытные, заслуженные кадры. Им везде, как говорится, почет, но ведь — старики! Не сегодня завтра заболеют, уйдут. Мы на них ставку делать не можем, надо готовить им смену, молодые кадры, перспективные. Понятно? Вот мы считаем, что ты мог бы стать одним, так сказать, из лучших передовиков, чтобы служить примером, подтягивать, вести за собой остальных. Как ты чувствуешь, потянешь это дело?

Виктор, не зная, что ответить, пожал плечами.

— До сих пор ты шел так себе... А почему? Не видел перспективы. Вот мы тебе даем перспективу. Только надо взяться за дело по-рабочему. С огоньком, душу вложить. Понимаешь? Ну, а мы со своей стороны поддержим, постараемся создать условия...

Первое время никаких разительных перемен не произошло. Правда, теперь Виктору не приходилось простаивать в ожидании нарядов или деталей, но детали шли в обработку самые разнородные, без конца приходилось менять фрезы, оправки, и как он ни старался, больше ста пяти не вытягивал. Но когда поступил спецзаказ, положение изменилось. На обработку к Виктору шли все время одни и те же запчасти, он приловчился, набил руку, а потом, по совету технолога, в особую оправку стал зажимать по десятку деталей и фрезеровать сразу весь комплект. Экономия времени была огромной, выработка подскочила до ста пятидесяти, потом до двухсот процентов. Это вызвало нарекания и даже скандалы. Особенно скандалил Маркин, учитель Виктора. Большинство фрезеровщиков получало

запчасти враздробь, несерийно, им по-прежнему приходилось тратить время на смену фрез и оправок. Стало быть, они делали меньше и меньше зарабатывали. Виктор чувствовал себя неловко. Получалось, что он на каком-то особом положении, и некоторые ему говорили в глаза, что он «на чужом горбу в рай лезет».

Иванычев развеял все сомнения.

— Кто это говорит? Отсталые элементы. Ты что, плохо, недобросовестно работаешь? Хорошо работаешь! А как мы можем поощрить хорошего работника? Дать ему возможность развернуться, показать, что он может. Подумай сам, что получится, если мы будем тебе давать несерийные детали. Ты будешь работать, как все. Остальные от этого выиграют? Нет. А производительность упадет, стало быть, цех меньше сделает, государство меньше получит. Кому это выгодно? Только врагам нашим. Дело ведь не в том, кто сделает, а в том, чтобы сделано было больше. Ты можешь больше — ты это уже доказал. Вот почему мы — учти: в интересах государства! — идем тебе навстречу, создаем условия. Потому что ты оправдаешь. И, кроме того, есть пример, образец, на который должны равняться остальные. А разговорчики эти... Ты нам скажи, кто их ведет, мы быстро призовем к порядку.

Виктор ни на кого не ябедничал, но и внимания на «разговорчики» больше не обращал. Что бы там ни говорили, не на себя же он работает и не сам себя выдвигает. Что он, ловчил, хитрил, просился на доску Почета или в «молнию»? Значит, заслужил... То, что Лешка был на стороне всяких шептунов, его не трогало. У того вообще всегда свое мнение, всегда что-нибудь выдумывает. Но одно дело разговор, другое — пачкотня на «молнии». Это он нарочно выставил его на посмешище. Виктор видел, как смеялись проходившие мимо, смеялись над ним... И это друг называется! Исподтишка, из-за угла... Это хуже, чем подножка. Это просто подлость, и больше ничего! И уж теперь он с ним цацкаться не будет. Сам набился — не жалуйся...

У двери в конторку он остановился. Все-таки получалось как-то не очень... Лучший друг... Нет, дело даже не в том, что друг и что лучший. За всю жизнь он еще ни на кого не жаловался, не ябедничал. Если нужно было, он давал сдачу. В открытую. Били его, бил он. А сейчас он прятался за чужую спину и выставлял чужой кулак. Большой и сильный... Чепуха! Что они, на кулачки дерутся, что ли? Иванычев говорил, что дело не в личности, а в пользе государству. И тут неважно, Виктор или не Виктор, друг

или не друг... Надо стать выше личных отношений. Быть принципиальным. А быть принципиальным — значит не считаться с личностью. Подумаешь! Каждый будет делать, что ему захочется, и нужно молчать? А Лешка такой безупречный? Он же сдуру, от недопонимания. Вот ему и вправят мозги... Чтобы допонял раз навсегда!

9

Иванычев всегда держался солидно, ходил, заложив руки за спину и разворачивая носки наружу. Теперь он забыл о солидных повадках. «Молния» лежала перед ним на столе. Иванычев тыкал пальцем в черную надпись и кричал на всю контору:

— Это что такое? Что такое, я тебя спрашиваю? Кто это сделал?

Ефим Паника исподлобья посматривал на Алексея. Все сидящие в конторе подняли головы и прислушивались. Пускай слушают.

— Я.

— Наглец! Он даже не стыдится признаваться!

— Так это же правда.

— Что правда?

— Правда, что написал я. И написал правду.

— То есть как это правду? Что же Гущин — не передовик? Он не перевыполнил норму?

— Перевыполнил. А передовик — никакой. Потому я и написал.

— Да ты кто такой? Цехком? Начальник цеха? Треугольник, общественность считают, что Гущин — передовик, а он, понимаете, нет! Ты что, личные счеты сводишь?

— Никакие не счеты. Он — мой друг.

— Хорош друг! Я бы такого друга... Ну, его дело... А вот с общественной точки это тебе не пройдет! Тут тебе не детский сад, а цех, производство. Мы не покладая рук бьемся, чтобы повысить производительность, поощряем передовиков, а ты передовиков чернить будешь? Дискредитировать? Знаешь, чем это пахнет?.. Постой, может, тебя кто подучил? Подсказал?

— Никто не подучивал, я сам. Раз он не передовик...

— Да ты кто такой, чтобы решать, передовик он или не передовик? Сам без году неделя на заводе, а туда же — рассуждает... Ты тут хозяин? Кто твое мнение спрашивает, кому оно нужно?

— Не один я, так многие думают.

— Уже подговорил, работку ведешь? Организуешь общественное мнение?

— Ничего я не организую. Спросите кого хотите.

— Спросим! И спросим с тебя, а не с кого-нибудь. Узнаешь, как выступать против общественности, против лучших людей...

— В чем дело? — раздраженно спросил Витковский, подходя.

— Вот, Владимир Семенович, полюбуйтесь! Мы вчера повесили «молнию» о фрезеровщике Гущине... А этот, понимаете, вон что наделал! Цех выдвигает человека, поощряет, а он, понимаете, не согласен... И даже не скрывает, сознается!

Витковский был встревожен и раздражен. Только что закончилась планерка. Август подходил к концу, а программа явно заваливалась. И теперь уже никакие штурмы не помогут. Черт его знает, литье шлют всё в раковинах, не литье, а кудрявые бараны. Поковки в трещинах... Холодняк куют, что ли, прохвосты? Обнаруживается все у него, в механическом, и виноват оказывается он...

Неприятный разговор назревал давно, но Витковский не ждал, что он будет настолько неприятным. Шершнев, как всегда, начал с доменного, мартеновского, проката. Начальник рельсобалочного — неважный тип этот Ребров! — пожаловался на механический: задерживают детали рольганга, нельзя закончить ремонт... Шершнев вызвал Витковского, спросил, когда сдадут детали. Он заверил, что сегодня к вечеру сдает, как положено по плану, и думал, что на этот раз обошлось. Однако Шершнев не перешел к транспортному. Глухо покашляв в микрофон, он жестко сказал:

— Кстати, Витковский, мне давно не нравится ваша сводка. Вы намерены выполнять план? Раньше вы жаловались на несерийность номенклатуры. Теперь у вас идет спецзаказ, сплошь серийный. Долго вы еще будете раскачиваться? Я вас предупреждаю...

— Да ведь, Михаил Харитонович...

— Причин для невыполнения нет. Оправдания меня не интересуют. Оправдывайтесь дома, например, перед женой.

— Михаил Харитонович!

В трубке резко щелкнуло, отключил... Вот черт горбатый... Ребров и Яворский небось радуются, хохочут... И почему он — про жену? Просто так, к слову, или что-нибудь знает? Эта дурища грозилась идти в партком, жаловаться. Может, уже наболтала?... Что этот длинный

парень натворил?.. Надо ее как-то успокоить. А то натреплет, нажалуется — опозорит так, что хоть с завода беги... И сыном надо заняться. Вчера опять пьяный пришел. Где он только деньги берет? Ходит в каких-то пестрых бабьих кофтах... Надо с ним построже, распустили... Вообще молодежь распустилась. Вот и этот тоже...

— В общем, давайте так,— прервал Витковский председателя цехкома,— напишите докладную, я ему влеплю выговор по приказу за хулиганство. Нечего с ними цацкаться, распустились... Иди работай!

Алексей не был ни подавлен, ни испуган. Что бы там Иванычев ни кричал, прав он, а не Иванычев. И Витковский просто грозится. Никакого приказа не будет, они же должны понимать...

Приказ появился перед обедом. Ефим Паника принес вкладыш для срочной разметки, в сердцах швырнул на плиту наряд.

— Допрыгался? — сказал он.— Я тебе сколько раз говорил: не зарывайся! Вот и пожалуйста, схлопотал выговор...

Никогда ничего подобного он не говорил, но теперь ему казалось, что он предупреждал, предостерегал Горбачева, и все случилось так потому, что Горбачев его не послушался.

Алексей, не ответив, пошел к доске приказов. На узком листке бумаги на машинке было отпечатано:

«За хулиганский поступок, направленный на дискредитацию передовиков производства, разметчику А. Горбачеву объявить в ы г о в о р.

Начальник цеха В. Витковский».

— Окрестили тебя? — раздалось у Алексея над ухом.

Из-за его спины читал приказ токарь Гладышев. Алексей поспешил уйти.

Все-таки объявили... Ну ладно, Иванычев... А Витковский? Хоть бы спросил или что?.. Просто гад, и все. Наверно, потому у него и сын такой. Зря он тогда вмешался, пусть бы дали как следует...

...Однажды, возвращаясь от Вадима Васильевича поздно ночью, Алексей услышал впереди на темной улице глухие удары, топот и хрип дерущихся людей. Он ускорил шаги. Под деревьями двое били одного. Тот уже не отбивался, прикрывал руками лицо и только дергался всем телом. Нападающие с двух сторон молотили его кулаками,

пинали ногами. Алексей с налета треснул одного по уху так, что тот покатился по земле, схватил второго за шиворот, оторвал от избиваемого.

— Вы что... двое на одного?!

— Не лезь, а то сам получишь,— прохрипел тот.

— Я вот тебе получу! — встряхнул его Алексей так, что голова у него задергалась, как привязанная. Алексей с удовольствием почувствовал, что наука драчливых мальчишеских лет не забыта, что он — сильнее и справится с обоими. Пойманный попытался пнуть его ногой, тогда Алексей наградил и его такой же затрещиной. Первый тем временем поднялся, подбирался сзади. В темноте тускло блеснуло лезвие. Алексей перехватил его руку, заломил за спину, вырвав нож, швырнул его через забор, а потом, придерживая хулигана одной рукой, другой бил наотмашь и приговаривал:

— Не балуй... ножом!.. Не балуй ножом!..

Бил он уже озлясь, и когда отпустил хулигана, тот больше не пытался нападать, покачиваясь, отошел. Второй скрылся за деревьями. Из темноты они хрипло ругались и грозили:

— Погоди, сволочь! Мы тебя перестренем!..

— Иди, иди, а то догоню — добавлю!

Голоса смолкли. Избитый, всхлипывая, сморкаясь, пытался остановить кровь, текущую из носа. Поравнявшись с фонарем, Алексей без всякой радости узнал в избитом Олега Витковского. Они встречались только случайно, мимоходом и даже не здоровались: детские столкновения не были забыты ни тем, ни другим.

— Это ты? — сказал Алексей.— За что они тебя?..

Олег на вопрос не ответил.

— Я их еще поймаю...— с трудом проговорил он.— Попомнят!.. Соберу своих, тогда узнают...

— Ну ладно...— сказал Алексей.— Всего...

— Спасибо! Слышь...— вслед Алексею сказал Олег.— В случае чего...

Алексей махнул рукой и ушел. После этого Олег при встречах заговаривал, пробовал втянуть Алексея в свою компанию, но тому ни Олег, ни товарищи его — расфуфыренные пижоны — не нравились, и он от сближения уклонялся...

...О приказе сразу все узнали. Первым подошел Василий Прохорович.

— За что это тебя?

— За правду!.. Написал на «молнии», что Витька

Гущин — липовый передовик, вот и... А что, разве неправда?

Василий Прохорович подергал седой ус.

— Правда-то правда... Только один на ней верхом, а другой норовит под ней ползком. Каждый хочет ее по-своему взнуздать и в свою сторону повернуть...

— Что ж правда — кобыла, по-вашему, ее в любую сторону можно повернуть?

— Кобыла не кобыла, а... сколько людей — столько судей, судит каждый по-своему. Что человеку выгодно, удобно — то ему и правда.

— Так ведь есть же общая для всех, одна, настоящая?

— Есть. Обязательно есть!.. Только и на нее каждый из своего закута смотрит. Ну, и каждому кажется, что из его закута она виднее, правильнее... А повытаскивать из закутов не просто, люди там испокон веков обживаются. Слова всякие сколько ни говори — не поможет. А вот когда сама жизнь вытолкнет — другое дело... Тут она, вся правда, и обнаружится.

— Она не обнаружится, если ничего не делать.

— Делать надо, а в одиночку наскакивать не следует. Только лоб расшибешь, вроде как ты...

— Я не расшиб.

— Шишку, однако, тебе поставили. Изрядную.

Туманные разглагольствования Василия Прохоровича ничем не могли помочь. Не помогли и другие разговоры. Подходили многие. Одни возмущались и сочувствовали, другие посмеивались и советовали: «Плюнь! Что тебе, больше всех надо? Пускай выпендривается...»

В обеденный перерыв, когда Алексей сидел в скверике возле цеха, к нему подошел Голомозый, потоптался, сел рядом.

— Слыхал я, как давеча на тебя кричали... И приказ этот...

— Ну и что?

— Несправедливо! — вздохнул Голомозый.— Обидели тебя. Ни за что обидели. Вот такая она и вся жизнь: обидой питаешься, обидой укрываешься... А почему? Суета одолевает человеков... Вот революцию сделали, все стали равные. И правильно! Все равны перед лицом господа...

— Революцию не для бога делали.

— Да уж конечно!.. Так вот я и говорю: стали все люди равные. Ну и хорошо бы! Живите в мире и согласии, каждо-

му его доля, равная. И достатка, и всего... А потом начали людей выделять. А выделять — значит отделять, значит разделять...

— Как это «отделять — разделять»?

— А вот: делить на лучших и худших. Одни, мол, передовые, другие — рядовые, одни — руководящие, другие — завалящие... Отсюда у одних зависть...

— Я никому не завидую. Пускай он будет лучший, только по-настоящему, по правде!..

— Кто знает, что лучше и что хуже? У кого есть мера, чтобы человеков мерить?.. Ты вот отшатнулся от нас, не вдумался. А напрасно! Душа твоя — я вижу — ищет справедливости, правды. Только ищешь не там... Мы ведь тоже взыскуем равенства и всеобщего братства. И мы говорим: господь бог сделал всех равными, и суетно стремление возвысить себя над ближними твоими. Для нас нет ни передовых, ни отстающих, ни лучших, ни худших... Наша правда в смирении! Сегодня я смиренно омываю стопы твои, завтра — ты мои...

— Такой правды в бане еще больше. Там ноги лучше отмоешь.

— Ты в насмешку не переводи. В баню мы все ходим. Дело в симво́ле, в высоком смысле.

— На какой пес мне си́мволы? Правда нужна! И тут! А не на небе...

— Вот это верно! — сказал Федор Копейка. Подходя к скамье, он слышал последние слова.— Тем более что неба, как такового, нету. Ну-ка, подвинься малость... Ученые говорят, за стратосферой и вообще уже ничего нет. Безвоздушное пространство. И абсолютный нуль температуры — минус двести семьдесят три градуса. Холодновато для рая-то, а?

Голомозый поджал губы, поднялся и ушел. Копейка проводил его взглядом.

— Чего он тут пе́л?

— Сочувствие выражал.

— И как, помогло?

— А сочувствие помогает?

— Как кому. Некоторые любят.

— Ну, а я — нет. Не нуждаюсь.

— Тем лучше. А то я не умею сочувствовать. А поговорить мне с тобой надо. Не возражаешь? Закуривай... И не курил никогда? Молодец. А я вот всё собираюсь бросить, да пока не получается... Некоторые конфетки сосут, чтобы отвыкнуть. По-моему, чепуха. Вместо одной соски другую

Как маленькие. Да после конфеты-то еще больше курить хочется...

— Ты со мной насчет курения говорить хочешь? Так я уже сказал тебе — не курю. Давай лучше без подходов.

— Вон ты какой ерепенистый. Ладно, давай без подходов... Ты это почему сделал, с «молнией»?

— Потому, что все молчат. Все знают, что липа, а молчат.

— Так, а ты один храбрый? Ну, а дальше? Какой толк от этого?

— А мне никакого толку не нужно. Сказал правду, и все. Пусть знает.

— Кто?

— Витька. Виктор Гущин.

— Так это ты только для него? Сказал бы ему, и дело с концом, если дело только в нем.

— Не только. Пусть все знают. А ему я говорил. Обозлился, и больше ничего.

— Теперь ты обозлился, из-за приказа. Верно?..

— А что мне этот приказ?

— Да как ни говори, приятного мало.

— Ну и пускай.

— Ладно, отложим это пока... А почему ты не комсомолец?

— Так...— пожал плечами Алексей.— И зачем? На собрания ходить? Какая разница, на какие ходить? На профсоюзных тоже только про выполнение плана говорят.

— Не только. А повышение уровня, учеба?

— И так учусь. В вечерней школе.

— Это хорошо. Ну все-таки надо вращаться среди молодежи, в коллективе.

— А где я еще вращаюсь?

— Ты в семье живешь или в общежитии?

— В общежитии. Кончал ремесленное. Из детдома. Еще вопросы будут? А то сейчас гудок.

— Чего ж ты в пузырь лезешь, чудак? С тобой похорошему. Мне интересно, вот я и спрашиваю... Добре, сейчас и в самом деле гудок. Но мы еще с тобой поговорим. Ладно? Ну, будь.

10

Федор Копейка был недоволен собой. Разговор с Горбачевым не получился, и виноват был в этом один Копейка. Не сумел найти подхода. Вместо разговора по душам полу-

чился допрос, и парень озлился. Можно, конечно, отмахнуться — хулиган есть хулиган, и нечего искать к нему какие-то подходы... Но это не в характере Копейки, он упрям. Кое-кто считал его тугодумом, но в нем не было медлительности тупицы, с трудом ковыляющего от мысли к мысли, которыми не слишком перенаселена его черепная коробка. Федор считал, что всякое серьезное дело «трэба розжуваты». «Розжував» однажды и что-либо решив, он уже не отступал и не перерешал заново. Упрямо сцепив зубы так, что нижняя челюсть выступала вперед, он долбил в одну точку, пока не добивался, не настаивал на своем. Так было в детстве с мальчишками-сверстниками, так было в школе в единоборстве с геометрией и тригонометрией, дававшимися с трудом, так было в армии.

Школу Копейка кончил поздно, в институт не попал, и его взяли в армию. Война была позади, на долю Копейки и его сверстников достались не подвиги, а только чужие рассказы о них и — изо дня в день — боевая и политическая подготовка. Воевать Федору все-таки пришлось, но только с самим собой. Обязательной частью боевой подготовки была подготовка физическая. Не слабый от рождения, но без какой бы то ни было тренировки — в школе, как и многие, он увиливал от уроков физкультуры — он не мог выполнить простейших упражнений. Над ним посмеивались, выговаривали, потом наказывали. Федор, сцепив зубы, начал тренироваться. Он падал и расшибался, бегал, пока не отказывало сердце, без конца возился с гантелями. И наконец достиг желаемого: прыгал, несмотря на малый рост, не хуже длинноногих, стал штангистом, а в походе по выносливости не уступал самым крепким здоровякам. Усердная служба, покладистый характер и упорство, с каким он добивался цели, выделили Копейку среди других, и его избрали секретарем комсомольской организации. К концу срока службы перед ним открывалась перспектива, против которой он ничего не имел: остаться на сверхсрочную, пойти в военную школу, стать офицером, профессиональным военным. Письмо из дому заставило отказаться от этих планов.

Отец его работал в порту грузчиком. «Бабкок-вильконсы», «моррисы», а потом и отечественные «кировцы» изменили работу грузчиков. Им уже не нужно было на хребтине таскать кули, бочки и ящики из трюма на стенку и со стенки в трюм — теперь это делали краны. Но осталась нелегкая работа размещения грузов в трюмах, подтаскивание их к люкам при выгрузке.

Старый пароход, застигнутый штормом в море, не выдержал жестокой трепки, швы начали расходиться, и в трюмы хлынула вода. Кое-как пароход доплелся до порта. Срочно нужно было спасать груз от окончательной порчи, а пароход от затопления. Вместе с другими грузчиками-добровольцами Игнат Копейка шесть часов работал, стоя по колени в ледяной воде. Грузчики костерили начальство и капитана, раздолбанное железное корыто, которому давно пора утонуть, шторм и свою работу, но не уходили. Ругательства перекатывались, грохотали в трюме, как обвал, заглушая гром лебедок и кранов. Но грузчики не уходили и лишь время от времени согревались чаркой неразбавленного спирта, который нашелся у потерявшего голову старпома. Позже Игнат невесело шутил, что спирту скалдырник старпом пожалел и потому помог он только до половины. Игнат не простудился, не схватил даже насморка, но ноги отказали начисто, скрученные жестоким ревматизмом. Обезноженный Игнат долго лежал в больнице, кое-как стал ходить, но о возвращении на работу нечего было и думать, его перевели на инвалидность. Получив об этом письмо от отца, о потом — вдогонку более подробное — от соседей, Федор махнул рукой на мечту о военной школе. Матери Федор почти не помнил, она умерла давно, жили они вдвоем с отцом, и оставить «батю» одного, больного и беспомощного, было невозможно. Демобилизовавшись, Федор вернулся домой.

С помощью палки «батя» кое-как мог передвигаться по комнате, по двору, на большее сил не хватало. Соседка прибирала за стариком, стирала, готовила пищу. Сам он целыми днями сидел зимой у печки, а летом, не снимая валенок, во дворе на солнышке и читал. Смолоду было не до чтения, за прошедшие сорок пять лет он не прочитал и двух десятков книг и теперь жадно наверстывал упущенное. Вынужденное безделье и одиночество заставили его взяться за валявшуюся на нижней полке этажерки толстенную книгу — «Былое и думы» Герцена. Поначалу, одолев с трудом четыре-пять страниц, он уставал и начинал дремать. Потом втянулся и дремать над книжкой перестал. Закончив книгу, он долго думал, признался сам себе, что больше половины не понял, и начал читать сначала. После этого соседкина дочка должна была приносить ему из библиотеки сочинения Герцена том за томом. В библиотеке было полное двадцатидвухтомное собрание сочинений, к приезду сына старик заканчивал седьмой.

Федор поблагодарил соседку за все, договорился, чтобы

она стирала на них обоих, а все остальное — от снабжения книгами Герцена и до приготовления еды — он будет делать теперь сам. Никаких накоплений ни у отца, ни у сына не было, сидеть сложа руки не приходилось. Специальности Федор не имел, а таланту в обращении с ручным пулеметом применения «на гражданке» не предвиделось. В горкоме комсомола ему посоветовали идти на курсы, но Федору терять время на учебу не приходилось — деньги были на исходе. Тогда ему предложили идти техсекретарем заводского комитета комсомола на «Орджоникидзесталь». Комсомольскую работу он знает и вполне справится. Федор согласился.

Работа действительно была знакомой, с комсоргом ЦК ВЛКСМ отношения сразу наладились. Комсорг не ограничивал его обязанности только учетом, сбором взносов и содержанием в порядке бумаг, а давал и другие поручения: что-либо выяснить в цехе, согласовать, помочь провести занятия, а то и собрание. Особенно часто его посылали в механический цех, где комсорг был слабенький. Федор охотно и добросовестно выполнял все поручения, с удовольствием вел работу в механическом.

Отцу не понравилась работа, выбранная сыном.

— Тебе мешки таскать, а не бумажками шелестеть...

— Ты, батя, не понимаешь...

— Побольше тебя понимаю! Что это за работа для мужика? Вон Александр Иванович Герцен, тот говорит...

Теперь у старика Копейки всегда было в запасе подходящее изречение Герцена. Федор отмахнулся и забыл о недовольстве отца, однако потом оказалось, что первую тень сомнения в правильности выбранного пути заронил он.

Копейку изумлял и восхищал завод-гигант с десятками цехов и отделов, с тысячами людей, из которых каждый был занят своим делом, но дело каждого, сливаясь с другими, образовывало единое целое, а целое в свою очередь было только частицей в том огромном, которое называлось — страна. Федор знал, что страна эта — шестая часть суши, стало быть, что-то раз навсегда незыблемое и неподвижное, но ему казалось, что вся эта махина со всеми людьми, полями, реками, лесами и горами тронулась, сдвинулась с места и пошла вперед, набирая скорость. Страна была в пути. И всё, и каждый в ней тоже были в пути. И нельзя было ни остановиться, ни замедлить движения без того, чтобы не

сбиться с ритма и не отстать. Ей нужен и важен каждый, но только если он идет вровень и в полную силу. А как только мера становилась неполной, человек незаметно для себя превращался из водителя в пассажира, бесполезного зеваку... Федор работал в полную силу, не щадил ни времени, ни себя. Но мало-помалу у него появилось неясное ощущение неловкости, словно он сделал что-то не так или не сделал того, что должен был сделать. Как он ни раздумывал, ни вины, ни упущения в работе и поведении своем не отыскал. Понимание пришло после незначительного происшествия в мартеновском цехе.

Придя к Сергею Ломанову поговорить о деле, Федор угадал не вовремя. Бригада приготовилась выпускать плавку, гигантский ковш был уже подставлен под желоб, желобщик пикой пробивал летку. Сергей стоял сбоку и наблюдал. Обливающийся по́том желобщик, тяжко хакая, бил изо всех сил. Летка не поддавалась. Наружный слой глины отлетел, дальше виднелась раскаленная докрасна масса. Пика выскользнула из рук желобщика, ее подхватил другой подручный, оттолкнул желобщика, начал долбить сам. Федор подошел к Ломанову, но тот в это время ринулся к желобу.

— Уйди, не путайся под ногами! — зло ощерился он и, тут же забыв о Федоре, закричал: — Отставить! Приварилась... Прожигай!

Подручные подтащили баллон с кислородом, резиновый шланг с насаженной на конец железной трубой. Кислород зашипел, посыпались искры, от летки заклубился багровый дым, прорвалась сверкающая струйка, и наконец тяжким потоком хлынула слепящая жидкая сталь. Сергей минуты две наблюдал, потом подошел к Федору и, вытирая полой спецовки залитое по́том лицо, виновато сказал:

— Слышь, Федя, ты не обижайся! Сам понимаешь — под горячую руку... Тут выпускать надо, перестоит, а летка приварилась...

— А я не обижаюсь, я понимаю.

Федор действительно не обиделся. И даже задумался над этим только потом, позже. А начав думать, Федор додумывал все до конца. Он сидел один в помещении комитета комсомола: комсорга вызвали в горком. Все сводки были собраны и отправлены, протоколы в порядке, ведомость по взносам сдана, все поручения на сегодня выполнены. Перед концом рабочего дня здесь было тихо, только

иногда еле заметно дрожал пол и звенели стекла: по заводскому двору у самого забора проходил железнодорожный состав. Нахохлившись, Федор сидел за столом, сосредоточенно думал, машинально расписывался на стекле — «Ф. Коп.» — и выводил мудреные вензеля. Пыхтя сифоном, за стенами прошел паровоз, стекла зазвенели. Федор расписался, посмотрел и неожиданно для себя написал: «Вовсе ты не копейка, а грош, да еще ломаный»... Он тут же перечеркнул написанное, поплевал на стекло и стер чернила промокательной бумагой.

Надпись исчезла, мысль осталась. Да, все дело именно в этом: т а м шла настоящая жизнь, люди делали настоящее дело, а он только пририсовывал к этому делу замысловатые завитушки...

До сих пор он был убежден, что дела, которыми он занимается, очень важны. С этими делами он ходил в цеха к ребятам. Они были заняты другим делом, отрывались от него неохотно, иногда даже срывались, как Сережа Ломанов... Комсомольскими делами они занимались после работы или в обеденный перерыв, если оставалось время после обеда, комсомольские дела у них были на втором плане, а на первом — работа... Нет, наверно! Работа была главным и основным в их комсомольстве. Федор сам и все комсомольские работники всегда говорили: первый и главный долг комсомольца — быть передовиком на производстве... Ну вот: они — на производстве, а он только около, рядом. Он только ходит и уговаривает их быть передовиками. А они и без его уговоров вкалывают дай бог! Они ведь такие же комсомольцы, как и он. Зачем тогда он? Он же — как шкив холостого хода: крутится, шумит, а толку никакого...

Но в армии он был секретарем комсомольской организации! Нет, в армии было совсем иначе... Во-первых, он был там такой же, как все. На равных. Во-вторых, секретарем его выбрали на третьем году службы, когда он знал не меньше других, а умел больше многих. Там он всегда говорил о том, что хорошо знал. Говоря, он зажигался сам и зажигал других...

Здесь он тоже, проводя собрание или занятие, призывал и пытался зажечь, но иногда при этом почему-то появлялась неловкость. Теперь ему стало понятно почему. Здесь его призывы не были нужны: все шли и так, горели без его помощи. Они уже знали то, что Федор только собирался им сказать, но сверх того они знали и умели то, чего Федор не знал и не умел и лишь мог говорить об этом в о о б щ е, вокруг да около. И получалось, что он вовсе не возглавлял и не

вел, они шли сами, а он только пытался забежать вперед, путался у них под ногами и производил пустопорожний словесный шум. Зная наперед все, что мог им сказать Федор, они вежливо слушали и снисходительно терпели, так как надо, чтобы кто-то делал то, что делал он, раз существует такая должность.

Почему то, чем он занимается, считается должностью?! Ну хорошо, по должности он технический работник. Однако техническая работа — не главное, он ведет ее аккуратно, но она отнимает не так уж много времени, и по существу он ведет работу совсем другую. Но разве разговаривать с ребятами, советовать им, заседать, произносить речи — это должность? Это не могло, не должно быть должностью, службой! Ведь пребывание в комсомоле — не служба, ведь он вступил в комсомол потому, что хочет отстаивать идеи, выполнять программу! А он только призывает работать с энтузиазмом, а работают другие, не он. Выходит, энтузиазм превратился для него в профессию, в службу, он получает деньги за энтузиазм? Такой, понимаешь, резервуар с энтузиазмом, которым нужно накачивать других... Да кому его энтузиазм нужен? У них своего хватает! Вон у Сережи Ломанова на десяток таких, как он, хватит... Все! Точка.

Придя к таким малоприятным для себя выводам, Федор Копейка решил действовать немедленно и, как только комсорг вернулся из горкома, сказал, что ему нужно поговорить. О работе.

— Давай, Федя, давай,— сказал комсорг.— Что-нибудь неясно? Сейчас уточним.

— Наоборот, ясно. Я хочу перейти на завод. Начать работать по-настоящему.

— А сейчас ты не работаешь?

— Это видимость, а не работа.

— Что значит «видимость»?!

Федор выложил все свои соображения начистоту. По мере того как он говорил, лицо комсорга становилось все более хмурым и отчужденным.

— Ну знаешь, товарищ Копейка,— сказал он,— я тебе со всей прямотой скажу: мне твои рассуждения не нравятся. Нездоровые у тебя настроения! И рассуждения твои демагогические, подрывные. Ты что же, выступаешь против руководства?

— Я не против руководства, я только считаю, что руководить — это не значит речи произносить.

— А кто говорит, что нужно руководить вообще? Надо

конкретно вникать, разбираться в вопросах, обобщать опыт. А я еще тебя считал перспективным работником. Вот, думал, растет будущий комсомольский вожак... Я даже тебя собирался рекомендовать... Ну, теперь уж нет!

— Я считаю...

— Что ты там считаешь, маловажно. Важно, что ты тут наговорил. Мы с такими настроениями мириться не можем. Имей в виду, я о них поставлю вопрос на бюро.

Федор пошел к парторгу завода Латышеву.

— Что-то ты, Копейка, мудришь,— сказал Латышев, выслушав его.— Что же, нам всем бросить работу, на которую нас поставила партия, и идти в цех, к станкам?

— Я не про вас — вы другое дело. Вы раньше кем были? Вальцовщиком. И когда вы говорите: «Мы — рабочий класс»,— это одно. Вы на это право имеете. А я? Кончил десятилетку, служил в армии, теперь здесь служу... Вот комсорг говорит: «Была у тебя перспектива». Какая? Стать комсомольским работником. Так я же служащий, а не работник! А что же это такое — быть служащим в комсомоле?!

— Погоди, это формальная сторона дела. Ты в армии был секретарем комсомольской организации, у тебя есть опыт. А на заводе много совсем зеленой молодежи...

— Так дело же не в возрасте, важно, кто я! Ведь какой-нибудь сморкатый ремесленник и тот солиднее: у него специальность в руках, он делает, а я только говорю...

— Словом, заел «комплекс неполноценности»...

— Как это?

— Ну, что ли, болезненное ощущение, сознание того, что ты хуже, менее ценен, чем другие... Что ж, право руководить действительно надо заработать. Ладно, отпустим тебя в цех, приобретай квалификацию. Но имей в виду: от комсомольской работы не освободим. Наоборот, подбавим!

— А я и не отказываюсь.

Так Федор Копейка появился в механическом цехе в качестве ученика долбежника, а вскоре был избран секретарем комсомольской организации.

Отец перемене работы сына обрадовался:

— Вот это правильно! Портфель таскать и дурак может...

Когда Федор после первого дня работы у станка пришел домой неимоверно замурзанный и замасленный, старик настоял, чтобы он умывался не под краном, а во дворе.

— Что тут за умывание для рабочего человека? Ему простор нужен!

Федор понимал: отцу хотелось, чтобы все соседи видели, что его сын стал не кем-нибудь, а «настоящим рабочим человеком». Старик сам сливал ему. Он с трудом нагибался, черпая кружкой из ведра, и старался затянуть церемонию. Когда сели обедать, отец достал из-за шкафчика бутылку водки и торжественно поставил на стол. Водку он купил на «свои», пенсионные, сам ходил за ней в «Гастроном» чуть не два часа, после чего весь день кряхтел и отлеживался.

— Ну, сынок, с началом тебя!

Покончив с борщом, Федор подмигнул отцу:

— Как, батя, повторим?

— Повторить бы тебе ложкой по лбу! — рассердился старик.— Только-только нос в масле испачкал, а туда же — в бутылку заглядывать!

Еще стопку Игнат сыну налил, остальное прикончил сам, так как был убежден, что тому еще праздновать особенно нечего и праздник сегодня не у него, а у самого Игната.

В цехе Федора встретили с усмешливой настороженностью: посмотрим, посмотрим, что у тебя получится. Время от времени ребята «подначивали»:

— Ну как? Это тебе не речуги толкать... А?

Взмыленный, потный от старания, но счастливый, Федор отшучивался. Потом «подначка» прекратилась, он стал с в о и м. Это была победа. Не бог весть какая, но все-таки победа.

Оказалось, до главной победы еще далеко. Главное состояло в том, чтобы не только стать похожим, таким, как все, своим, а стать нужным. Не только всем вообще и сообща, а каждому. На собрании просто. Собирались парни и девушки, все они были р е б я т а. Всех занимали одни вопросы, заботили одни заботы. Они сообща думали, решали, делали. Здесь — Федор это знал и чувствовал — он был на месте и необходим. Но мероприятие кончалось, кончалось то, что свело их вместе, и каждый становился сам по себе. Помимо общего у каждого было свое. Это «свое» влияло, не могло не влиять на отношение каждого к общему, на все поведение, на жизнь каждого. А в чем оно и какое, Федор не знал или знал плохо. Хорошо он знал только то, что в этом «своем» он был им не нужен. Они с легкостью и даже с удовольствием обходились без него.

Со сверстниками Федору было легко. Федор знал о них все или почти все. Знал, о чем они думают, чего хотят, о чем мечтают. И они знали все о Федоре, и им не приходилось

искать никаких подходов, общий язык. Он и так был у них один.

Однако кроме сверстников было много ребят моложе, и становилось их все больше. И с ними было трудно. У них другие судьбы и в чем-то другой склад характеров. Небольшая разница в возрасте то и дело оказывалась непреодолимым препятствием, и разговор «по душам» не получался. Душу они держали на застежках. Черт его знает, получалось, что эти сопляки сдержаннее и строже, чем Федор и его сверстники. Нет, не в смысле дисциплины — дисциплина у них еще аховая,— а в смысле слов и чувств. Те, что постарше,— нараспашку: что думают, то и говорят. И работают на всю катушку, и веселятся на всю катушку, и все в них открыто. Эти, положим, тоже работают неплохо. Но скупы на слова. Словно они стыдятся. Стыдятся слов и стесняются проявления чувств. И уж к ним не разгонишься: «Ну, как жизнь?» Отвечают: «Нормально», и смотрят на тебя, как на дурака. Вопрос, конечно, не самый умный... А чуть что, наерошиваются, как Горбачев, и тогда уже слова не выжмешь.

Вот и Горбачев... Насчет хулиганства — конечно, глупости. Парень дисциплинированный, выдержанный. Однако штуку устроил хулиганскую. О чем-то он же думал, когда делал? А что он думал? Под черепок ему не влезешь, а знать это надо. Иначе опять может устругнуть... Или вообще свернуть черт знает куда. Вон баптист около него трется... Может, его влияние? Не похоже, сам его отшил. А что же тогда? Ревность? Зависть? Ерунда... А что же еще?

Может, Федор вообще взялся не за свое дело, слишком в себя поверил? Какой он руководитель, если не умеет подойти к обыкновенному парню?.. Стоп! Что значит «обыкновенный»? Такой, как все? Все — такие, как все, и все разные. Каждый по-своему. Не ищи ярлыков и общих мерок. Если все будут для тебя на одно лицо, вот тогда ты действительно балаболка, а не руководитель. И ни черта у тебя не выйдет. Человек отлично чувствует и понимает, как на него смотрят: как на человека или как на руководимую единицу. Никому не хочется быть единицей. Их нет. Руководить — не значит решать задачки по арифметике: складывать, вычитать или умножать... Руководить — значит вести. Вести за собой. Ты знаешь, куда нужно вести. За тобой идут. Но не все. Только потому, что они были для тебя единицами, ты стремился их сложить и умножить, ты занимался арифметикой, вместо того чтобы посмотреть им в лицо и заглянуть в душу. Не для того, чтобы влезть в нее

и распоряжаться, командовать: ходи так, делай этак... Нет, для того, чтобы дать им то, чего, может быть, у них нет или не хватает. Ты должен стать им полезным и, значит, нужным. Трудно? Очень! И не вздумай снисходить, корчить из себя благодетеля, спасителя. Им не нужны подачки, они не беднее тебя. Как только ты начнешь смотреть сверху вниз — конец. Ты кончился как руководитель и как товарищ. Останется только должность. От должности ты отказался. Уж не собираешься ли снова ухватиться за нее? То-то...

Ну ладно, задача ясна. Неясно пока только, как ее решить... Вот черт, опять арифметика! Отвыкай, отвыкай от мертвых, казенных слов. В чем-то этот Горбачев запутался. Надо понять, в чем, и помочь выпутаться. Сразу трудно, парень ершистый. Ты, положим, тоже не больно гладкий да ласковый... А у него жизнь, похоже, была потруднее. Вот и учти, не лезь нахрапом...

11

Больше всего понимания и сочувствия Алексей надеялся найти у Вадима Васильевича, но тот, выслушав Алексея, пожал плечами.

— Гущин — не первый и не последний. Легкая слава многих соблазняет.

— Дело не в Витьке. Он же не сам объявил себя передовиком...

— А тут, милый друг Алексис, начинает действовать могучая сила — спекулянты чужой славой. Не имея собственных заслуг, они чужую пустяковину раздувают до сверхгероического, потому как отблеск этой славы падет на них и они смогут сказать: под нашим руководством, мы воспитали... Это все та же муха, которая пахала, и пашет она все так же — словесами...

— Но ведь это вранье! С враньем ведь надо бороться, — сказал Алексей.

— Кланялся тебе дальний родственник...

— Какой? У меня нет родственников... Дядя Троша? Так он не родственник.

— Нет, не дядя Троша... Благородный идальго Дон-Кихот Ламанчский...

— Вам хорошо смеяться. А что мне делать?

— Не знаю, не знаю... Случай с Гущиным — нормальная, рядовая показуха. Если уж тебе так хочется с ней сражаться, попробуй обратиться к печати — сходи в ре-

дакцию газеты. А проще всего сделать, как тебе советовали: плюнуть и забыть. Впрочем, я уже старый барсук, не слушай меня, поступай как знаешь...

Возвращаясь в цех, Алексей смотрел под ноги и думал. Может, в самом деле плюнуть, и все? Что ему, действительно больше всех нужно? Но он знал, что плюнуть и забыть не сможет.

Дело в конце концов не в Викторе. Пускай он будет героем, Алексей первый будет рад. Но пусть он будет настоящим героем, а не... показухой! Ведь если мириться с одной такой, маленькой, появятся и другие, больше... У них в цехе, в других цехах, а там и по заводу, по другим заводам... Показуха в маленьком поведет за собой все бо́льшую и бо́льшую. Как лавина...

Алексей отчетливо увидел несущуюся лавину и вдруг испуганно отшатнулся — земля под ногами задрожала, в уши ударил обвальный грохот... В стороне многопудовая «баба» копра рухнула на искромсанную башню танка, она смялась, сплющилась, лопнула на сгибах.

Семь лет назад окончилась война, но еще шел и шел сюда, на шихтовый двор, стекался из «котлов» и «плацдармов» ржавый, выжженный огнем урожай войны: изувеченные лафеты, развороченные орудийные стволы, скрюченные балки и рельсы, растерявшие траки, продырявленные, навсегда остановившиеся танки... И здесь копер мял, крушил и окончательно уничтожал их останки.

Алексей постоял, посмотрел. «Баба» поднялась вверх и снова с громом рухнула.

Земля возвращала, выталкивала из себя враждебное жизни мертвое железо. Море не возвращало ничего. Где-то, быть может недалеко от города, глухой черной ночью последний раз взлетел на штормовую волну катер и в грохоте, пламени минного разрыва исчез навсегда. В дым и пыль, в ничто превратилась его команда и с ней моторист Иван Горбачев... Море поглотило все в самой равнодушной и необъятной из братских могил. Над ней не стоят наспех, по-походному сделанные обелиски с побуревшими от времени и ржавчины когда-то красными звездами.

У моря нет памяти, на нем не остается шрамов. И то и другое удел людей. Не потрескавшийся старый ремень с позеленевшим якорем на пряжке, который Алексей до сих пор бережно хранил, связывал его с отцом. Эта связь так велика, что ее нельзя выразить словами...

Люди врали и обманывали раньше, должно быть, всег-

да. Наверно, будут врать и потом... Если они не могут без этого, пусть врут в своем, мелком и личном. Но не в общем, не в большом. Не могут, не должны, не смеют!

В редакции заводской многотиражки «За металл» рабочий день кончился. В кабинете редактора уборщица, с грохотом передвигая стулья, подметала, в большой комнате сидел только Алов. Перед ним лежала зеленая папка. Алексей, увидев, что опоздал, попятился к выходу, но Алов поднял голову.

— А, Горбачев, привет! Входи, входи, не стесняйся.

К Горбачеву Алов относился хорошо. Статью о молодежном общежитии — Алов называл ее очерком,— написанную со слов Горбачева, на «летучке» хвалили. Даже сам редактор сказал, что статья подходящая, «ставящая вопрос».

— Как жизнь? Как там у вас в общежитии?

— Ничего.

— Да проходи, чего ты стесняешься? Ты по делу или так?

— Поговорить хотел... Я — потом.

— Почему потом? Давай поговорим.

Алексей не хотел говорить с Аловым. Опять напишет ерунду, как в прошлый раз...

...Прошлый раз Алов застал Алексея в общежитии одного, ребята ушли во Дворец культуры. В приоткрытую дверь было слышно, как, шаркая, ходит по коридору тетя Даша, громко вздыхает и на что-то жалуется сама себе. Алексей устал после работы — это было в те первые недели, когда он один остался у плиты,— идти никуда не хотелось, книги под рукой не было, и он валялся на койке просто так: глядя в потолок, заново переживал незначительные, но тогда казавшиеся очень важными происшествия дня.

В комнату вошел длинноволосый желтоглазый парень, бегло огляделся и сел.

— Привет,— сказал он.— Я сотрудник заводской многотиражки Юрий Алов. Вы здесь один? А где остальные?

Алексей приподнялся, сел на койку.

— Ушли.

— Тогда побеседуем с вами... Как тебя зовут? Кем работаешь? — Алексей сказал.— Ну, как вы тут живете? Меня, собственно говоря, интересует жизнь в общежитии, так-скать, быт, культура и прочее..

Алексей рассказал все начистоту, желтоглазый старательно записывал, потом сказал, чтобы Алексей следил за газетой и ушел.

Через неделю Виктор положил перед ним на плиту номер газеты и прихлопнул ладонью:

— Во как тебя расписали...

Статья начиналась так:

«У входа в молодежное общежитие нас встретил высокий юноша с напористым, энергичным выражением лица. Это был недавний воспитанник трудовых резервов, теперь разметчик ремонтно-механического цеха А. Горбачев. Мы разговорились.

В задушевной беседе юный представитель рабочего класса поведал нам о своем житье-бытье, о том, как проводит наша молодежь время в общежитии, как неустанно работает над собой, повышает свой культурный уровень...»

Дальше, будто бы от имени Алексея, в статье говорилось, что в общежитии скучно, не проводятся беседы и лекции, нечем культурно развлечься: нет шашек и шахмат. В заключение автор добавлял от себя, что «АХО и завкому профсоюза не мешало бы проявлять больше заботы и теплоты о молодом поколении рабочего класса».

В общем, все было правильно, но говорил Алексей совсем не то и не так, и ему было неловко, как-то даже стыдно читать те слова, которые Алов приписал ему.

Поначалу статья возымела действие. Дня через три комендант, он же завхоз Яков Лукич, выдал тете Даше занавески на окна, а сам принес и торжественно положил на стол складную шахматную доску, в которой побрякивали фигуры.

— Вот,— сказал.— Под вашу ответственность. В случае чего — пишите куда хотите... писатели сморкатые.

— Так это ж не мы, Як Лукич,— сказал Костя Поляков,— это из газеты... А он еще, между прочим, писал, чтобы проявить побольше теплоты. Как бы уголька, Як Лукич, подкинуть, а?

— У меня не Донбасс, а норма — два ведра в сутки. Не расхлебянивайте дверь, вот и тепло будет.

Еще через день прислали лектора. Яков Лукич собственноручно открыл запертый всегда красный уголок. Долго ожидали, пока соберутся. Лектор стоял в коридоре и курил, отмахивая рукой дым ото рта. Собралось человек двадцать, почти одни девушки. Ребята заранее сбежали во Дворец культуры: там тоже была лекция, но после нее

обещали показать кинофильм, и все надеялись, что будет четвертая серия «Тарзана».

— Что ж, начнем,— сказал лектор и прошел к столу.— Тема моей лекции — «Было ли начало и будет ли конец мира». Итак, приступим...

Он вынул тетрадку, поднес к глазам и начал читать. Девушки томились. Их совершенно не интересовало начало мира, и по молодости они были твердо убеждены, что никакого конца его быть не может. Они собирались идти на танцы, а тут позвали на лекцию, отказаться было неудобно, а уйти посреди лекции еще неудобнее. Они томились и шушукались.

В уголке подремывала тетя Даша. Слушать лекцию ее не звали, но она должна была запереть уголок, когда все кончится. Можно было бы попросить девчат, но они могли забыть, и тогда Яков Лукич, который каждое утро обходил пятиэтажку и лез во всякую щелку, долго бы срамил ее, а потом повесил бы бумажку с «на вид». Бумажка пустяковая, а там кто ее знает... Нет уж, лучше подальше от всяких бумажек! Лучше уж дождаться и самой запереть. Кроме портрета Сталина, стола и скамеек, в красном уголке ничего не было, никто бы этого не украл, а все-таки береженого, говорят, и бог бережет...

Алов забежал в общежитие, удовлетворенно покивал, увидев занавески и шахматы, записал, какая была лекция. Потом в газете появилась заметка «По следам наших выступлений», в которой говорилось, что культурно-бытовое обслуживание в общежитии резко улучшилось, налаживается культурно-массовая воспитательная работа.

Лекций больше не было, и о них никто не тосковал. Мишка Горев нечаянно прожег папиросой дырку в занавеске. Яков Лукич заметил и приказал тете Даше убрать занавески в кладовую.

— Я — лицо материально ответственное,— в несчетный раз сказал он,— мое дело, чтобы вещь была в целости и сохранности... А на вас разве напасешься?

Никакой материальной ответственности он не нес; если вещь изнашивалась или ломалась, она актировалась и списывалась. Но Яков Лукич не мог видеть равнодушно никакой порчи или ущерба, и так как вещи лучше всего сохранялись в кладовой, он предпочитал оттуда их не выпускать. Обходились так? Ну и дальше обойдутся.

А потом запропастился черный король. Ребята слепили

нового из хлеба и даже покрасили его, но Яков Лукич и тут углядел.

— Это что? — спросил он, тыкая пальцем.

— Король, Як Лукич...

— Самоделошный? А где казенный король?

— Закатился куда-то.

— Ага! — зловеще протянул Яков Лукич.— Закатился? Ну, все! Королей я сам не делаю, короли денег стоят, — сгреб шахматные фигуры и унес.

Тем все и кончилось, если не считать того, что еще долгое время ребята донимали Алексея цитатами из статьи. Особенно изощрялся Костя Поляков.

— Слушай-ка, представитель молодого пополнения, поведай нам — нет ли у тебя трешки? А то, понимаешь, шибко охота поработать над собой, а на чекушку не хватает...

Или иногда, облокотившись о стол, он долго внимательно разглядывал Алексея и очень серьезно просил:

— Алеша, у меня к тебе большая просьба: сделай, пожалуйста, энергичное выражение лица... Только понапористей!

Алексей полушутя, полусерьезно тузил и Костю и других, но они только ржали, как жеребцы, и продолжали его поддразнивать, пока им самим не надоело...

...— Так в чем дело, молодой человек? — спросил Алов и спрятал зеленую папку в стол.

Алексей замялся. Этот Алов и теперь мог написать какую-нибудь чепуху... Но, в конце концов, он ведь написал тогда правду? Толку не было, верно. Но сейчас какой, собственно, нужен толк? Напишет правду — и все. А больше ничего и не нужно. Все, и Витька, конечно, тоже, поймут, что это показуха и очковтирательство...

Слушая Алексея, Алов прикидывал. Конечно, можно бы сделать заметку о дутых передовиках. Тут Горбачев прав, такие есть... Но, во-первых, редактор ругался уже не один раз: «Хватит, понимаешь, этой критики! Надо поднимать дух, воспитывать на положительных примерах, а не критиканством заниматься!..» А во-вторых, в столе лежала зеленая папка. На обложке ее каллиграфически была выведена надпись — «Опережая время» и подзаголовок — «Опыт передовика производства В. Гущина». Все листы в папке были еще девственно чисты, но на них незримо было записано его, Юрия Алова, будущее: деньги, слава и, кто знает, может быть, Киев или даже Москва... И все может обратиться в ничто из-за этого парня, на которого он

не пожалел тогда в очерке своих лучших образов и мыслей...

— Так, так, молодой человек,— сказал Алов, выслушав Алексея.— Хорошо, что ты пришел ко мне... Сам я этого вопроса решить не могу, мы посоветуемся с редактором... А пока — желаю успеха!

Как только дверь за Алексеем закрылась, Алов снял телефонную трубку.

12

Алексей пришел раньше назначенного часа. Он всегда приходил раньше. Не потому, что боялся опоздать. Чтобы без помехи подумать. О ней он думает постоянно. Она во всем. В том, что он думает, говорит, делает. Если бы не было ее, все было бы иначе. Как? Неизвестно. Только совсем иначе. Но она есть. И самое важное, что она — есть. Все другое тоже важно, но не так, по-особому. А она — всячески. Значит, вот это и есть любовь?

Почему он полюбил именно ее? И именно теперь. Не теперь, уже давно — больше года, но все-таки... Раньше ведь не любил. Раньше она ему просто не нравилась. Была просто себе девчонка. Некрасивая девчонка. Угловатая, голенастая, рот большой... И как мальчишка. Сдачи могла дать кому угодно, ничего не боялась. Бояться-то она и сейчас ничего не боится. Только совсем переменилась. Очень красивая стала? Если разобраться, ничего особенного. Глаза? Они и тогда были большущие. И волосы так же поднимались волнистой шапкой. Ну, выше стала, выросла — дело же не в росте. Каким-то непонятным образом угловатость превратилась в стройность и... стремительность. Это что-то такое в лице, в глазах. Они будто все время летят. Распахнуты навстречу всему. И летят...

Когда-то ему казалось, что лучше Аллы никого нет и быть не может. Смешно. Он ее встретил как-то. Она его не узнала или притворилась, что не узнает. Он узнал сразу, хотя узнать нелегко. Дородная, просто толстая женщина. А когда-то была тоненькая, как тростинка. Лицо такое же красивое, пожалуй, еще красивее. А дальше все поплыло, расползлось вширь, сквозь полупрозрачную блузку видны нависшие складки тела, как тесто, вылезающее из квашни. Кира говорила — она всегда все знает обо всех,— что Алла техникума не кончила, вышла замуж. За преподавателя того же техникума. Должно быть, он и вел ее тогда под руку. Щуплый, маленький. Похоже, что не вел, а держался

за нее. Как маленькая лодка за баржой. А она не шла — плыла, толстая, самодовольная тетка...

Глядя на нее, он думал, что вот сейчас начнется то замирание сердца, которое он испытывал когда-то, издали следя взглядом за Аллой. Никакого замирания не было, сердце билось спокойно и ровно. Почему же раньше его бросало в жар, если она обращалась к нему? Потому что тогда она была тоненькая, а сейчас толстая? Какие мы все-таки в детстве дураки. Не понимаем даже того, что видим. Она ведь и тогда была заносчивая и очень довольная собой девочка. И занята только собой. Но он тогда этого не понимал. Смотрел и смотрел на нее, как на икону, и все в ней казалось хорошим. Даже прекрасным. Он не видел ее три года. И время начисто стерло давние волнения. Три года. Совсем другой мир, другая жизнь...

Может, так будет и с Наташей? Пройдет время, и он будет думать о ней совсем иначе? Нет! С Наташей — навсегда. С Наташей пришла любовь. Большая и настоящая. Та самая, ради которой совершают подвиги и делают преступления, о которой написано столько книг... Любовь, которая не умирает. Умирают люди, но не любовь. Тысячи лет назад жили люди, целые народы, которых теперь даже вовсе нет на земле. И у них была любовь. Была и есть. Всегда и всюду. И сейчас, может, тысячи, сотни тысяч людей вот так же, как он, сидят и ждут, что придет она...

И у всех это одинаково? Как было тысячу лет назад и будет тысячу лет спустя? И все говорят одно и то же, делают то же самое? И то, что происходит у Мишки Горева, к которому приходит Клавка, и ребята говорят вещи, от которых Клавка краснеет так, будто сейчас сгорит, а Мишка глупо и самодовольно ухмыляется,— это тоже любовь? Или то, на что намекает Витька, рассказывая о какой-то Нюське, тоже любовь? Тогда она была и у толстой, как афишная тумба, тети Лиды и злобного жулика дяди Троши? И у него будет так же и то же самое, что у них?

Нет! Совсем не то и не так, совсем иначе! А почему? Что он, такой особенный?.. Нет, он не особенный — обыкновенный. Но у него все будет иначе. Не было, нет и не будет одинаково ни у кого. Это не может быть одинаково. Говорят, в мире нет двух одинаковых людей. Значит, не может быть и одинаковой любви. Любовь — это только слово, которым называют то, что бывает у людей. Но у всех и у каждого это бывает иначе, по-своему. И у него будет совсем иначе... Вот только трудно все это сказать, назвать словами.

Он читал порядочно книг и знает все слова, какие говорят о любви. Но эти слова не годятся. Они глухо брякают, как черепки. Они мертвые. Потому что они — чужие. Чужими словами нельзя передать и объяснить свое. А какие же его? Где взять с в о и слова, чтобы объяснить Наташе все? Он не может их найти. И потому молчит. То есть говорит будничное о будничном и молчит о главном. Но больше молчать нельзя. Наташа уезжает. Он должен сказать, и все. Как скажет, так и скажет, а там пусть что будет, то и будет. Она поймет. Все поймет.

...Вот стучат ее каблучки. Ее еще не видно, но он знает, что это ее каблучки. Спешит. Она всегда спешит. Она не бывает вялой и равнодушной. Просто не умеет. Как струна — тронь, и она зазвенит... Нет, не только если тронуть. Она сама отзывается на все...

— Опоздала?

— Не знаю. Нет... Все равно ты уже была тут. И мы разговаривали.

Наташа улыбнулась.

— О чем?

«Сказать? Вот сейчас взять и сказать все... Как я ее люблю, какая она совсем ни на кого не похожая. И как я ее люблю... люблю...»

— Почему ты так смотришь? Что-нибудь случилось? Или тебе не нравится платье?

— Нет. Платье нормальное.

«Платье нормальное. Это ты ненормальный. Ты просто трусишь. Проходишь и промолчишь весь вечер, потом опять будешь кусать кулаки...»

Наташа была печально-ласкова. Это не было направлено на Алексея или на что-нибудь определенное. До отъезда оставалось три дня. На четвертый она сядет в поезд и уедет отсюда навсегда. То есть не совсем навсегда — будет приезжать на каникулы, потом со временем в отпуск. Но она уже будет другая, и здесь все станет другим. Может, здесь все и останется таким же, но она-то переменится и ей будет казаться, что переменилось все и здесь. И сейчас, прощаясь, она смотрела на все с ласковой грустью и неясным ощущением вины — она уезжала, а все оставалось. Но ведь она не виновата: должна же она учиться дальше, потом работать и вообще жить... С этим ничего не поделаешь, так устроена жизнь. Рано или поздно приходит время и нужно уходить, уезжать и оставлять то, с чем сжился, сроднился,

что дорого и на всю жизнь незабываемо, но не может и не должно удерживать человека на одном месте.

Вот пришла и ее пора прощаться с детством и отрочеством. Ей не на что жаловаться — они были радостными. Правда, не было отца. Он погиб в самом начале войны, и Наташа его почти не помнит. А мама всегда была с ней, они ни разу не разлучались. Теперь мама останется одна. Она бодрится, делает вид, что ничего особенного, а сама волнуется, переживает... Ничего, пять лет — это ведь такой короткий срок! А потом Наташа кончит, устроится, заберет маму к себе, и они уже никогда не расстанутся...

Как бы хорошо все забрать с собой, чтобы ни с чем не разлучаться, чтобы не было этой жалостливой печали... Глупости какие приходят в голову! Что забрать? Дома, улицы, знакомых, воздух, море?.. Надо только обойти все-все, побывать всюду, на все посмотреть и запомнить навсегда, какое оно есть...

Ноги уже просто не ходят... Где только сегодня не были! Всюду, где гуляла Наташа, уже став девушкой, или бегала, когда была голенастой девчонкой. Обошли чуть не все улицы, и сквер, и сад. Особенно сад. Заглянули во все закоулки. Наташа посидела или хоть мимоходом прикоснулась ко всем скамейкам, на которых сидела когда-то. Каждый раз, когда они гуляли с Алешей вдвоем, где бы они ни были, под конец оба, не сговариваясь, поворачивали и шли к морю. И только потом уже он провожал ее к дому.

— Пойдем к морю,— сказала Наташа.— Надо же мне прощаться, а то три дня всего осталось...

Ссутулившиеся фанерные «грибки» сторожили мутно белеющий на песке бумажный сор.

Наташа порылась в сумочке.

— У тебя мелочь есть? Ну хоть десять копеек...

Алексей извлек из кармана все, что было.

— Нет, медяки не годятся. Это, знаешь, есть такое поверье: если бросишь в море серебряную монету — обязательно вернешься к нему...

— Они все равно не серебряные — никелевые.

— Считается, как серебряные.

— На́ вот рубль или трешку. Сильнее подействует.

— Никак не подействует! И нечего смеяться. Сама знаю, что суеверие. А все-таки...

— Что все-таки? Их же дочиста мальчишки выбирают. Курортники нашвыряют, а ребята подбирают. Я сам нырял, когда в детдоме был.

— Ну и пускай подбирают. Это же после...

Вот и Алеша остается... А она так к нему привязалась. Почти, можно сказать, полюбила... Ну, это глупости, конечно! Но он — хороший. Не навязывается никогда, не пристает с глупостями, как другие... И с ним ей всегда хорошо. Он, правда, молчаливый. Ну и уж лучше, чем как другие, без конца говорят, говорят, тужатся острить, форсят, задаются... А он, что называется, верный человек. Вот ходит с ней, куда бы она ни пошла. И устал, наверно, он же целый день работал, а скажи она...

— Пойдем? — предложила Наташа, протянув руку к лунной дорожке, дробящейся у берега в серебряные осколки.

— Пошли,— сказал Алексей и приподнялся.

— Сиди! — засмеялась Наташа.— Почему ты такой?

— Какой?

— Ты будешь сейчас бодаться?

С детских лет у Алексея сохранилась привычка в минуты волнения и задумчивости смотреть бычком, исподлобья.

— Я вспомнил. Мы ведь с тобой здесь в первый раз встретились... Помнишь? Когда были еще маленькими. Ты тогда мерила осадки, а Витька тебя дразнил, и ты его чуть не стукнула.

— И правда! — вскочила Наташа.

Они сидели на обрыве берега возле детской водной станции. Калитка была заперта, за низкой оградой ни души. Они перелезли через ограду, подошли к домику. Он показался теперь маленьким, значительно меньшим, чем был тогда. Песок, как и тогда, перепахан босыми пятками будущих моряков. Уже чужими, не их пятками... В отдалении покачивался на якоре «Моряк», черные смоленые борта его мяли, утаптывали лунную дорожку.

Далеко справа в холодном свете рефлекторов смутно виднелись решетчатые хоботы, костлявые руки кранов, мористее горели два красных огня, указывающих вход в порт.

Алексей смотрел на эти огни, решал и не решался. Больше откладывать нельзя.

Наташа проследила его взгляд.

— Куда ты смотришь?

Алексей решался.

На маячки... Здесь они маленькие. Я когда мальчишкой жил в Махинджаури, еще с дядькой, там, если дождь или туман, был слышен маяк. Он будто звал. Вот так. «О-у-у-у!..» Я думал, корабли так и ходят — от маяка к маяку... Потом оказалось, и люди так. Обязательно у че-

ловека есть кто-то, кто для него, как маяк, светится, показывает дорогу. А потом другой, может быть, третий. Так человек и идет — от маяка к маяку. Вот у меня, например. Алексей Ерофеевич подобрал меня тогда, привез сюда. Знаешь, какой это человек?! А потом — Людмила Сергеевна, директор детдома, потом Вадим Васильевич... Потом... Потом — стала ты...

— Тоже нашел маяк! — засмеялась Наташа.— Я еще даже не светлячок. Это как раз глупости... А вообще это очень верно! У меня тоже. Вот Викентий Павлович. Я ему знаешь как обязана? Если б не он, я бы ничего не понимала, ничего не знала про море. Я ведь по его совету решила стать ихтиологом, чтобы рыбу разводить. А то ведь вон оно, как пустыня...

Луну закрыли облака, сразу потемнело. Море колыхало у берега слабые отсветы городских огней и где-то совсем неподалеку уходило в глухую мглу, в которой не было ни звезд, ни огней, ни моря, ни неба. Наташа зябко поежилась.

— Его ведь и в самом деле в пустыню превратили. Оно же было самое богатое. В нем рыбу ловить, как в огороде репу рвать — тащи, и все. Только в огороде репу сажают, а здесь все выловили — и конец. Одна тюлька осталась. А с ней всю молодь, всех мальков вылавливают. Мы ходили протестовать.— Наташа невесело усмехнулась.— Делегацией от кружка. Помнишь, Викентий Павлович организовал?.. Пришли к начальнику рыбкомбината. Он нас минуту послушал и прогнал. «У меня, говорит, государственные дела, а вы тут лезете с детскими выдумками...» У самого морда — во! И по морде этой видно, что он ничего не понял и понимать не желает. Такому что? Лишь бы план выполнить, отрапортовать, чтобы похвалили... Не понимаю я этого. Ведь его же поставили хозяином! А он не хозяин, а проживала...

— Приживала?

— Нет, проживала! — упрямо тряхнула Наташа головой.— Проживает все дотла, а больше ничего не знает и не умеет.

Наташа помолчала.

— Я иногда подумаю — мне даже жутко становится... Вот говорят: мы наследники всего, всего... И все при нас должно стать лучше, красивее, богаче. Правда? И как же мы должны жить, чтобы по правде стать наследниками! Ты представляешь? Вот мы уже взрослые, у нас будут дети... нет, не у меня лично, а вообще... А мы станем старые. И они, дети, спросят нас: «Как вы жили? Что нам остави-

ли? Ага, они проживали, губили... А вы куда смотрели?» Нет! — пристукнула Наташа кулаком по колену.— Надо с этим бороться! Чтобы не было проживал, не было вранья...

— Я уже наборолся,— сказал Алексей.— Схлопотал выговор.

— За что?

Наташа слушала и старательно подгребала носком туфли, ровняла песчаный холмик, потом решительно наступила на него и раздавила.

— Знаешь, Леша? Только ты не сердись... Но, по-моему, это и в самом деле хулиганство. Это все равно как если б ты его побил. Ну, ты не побил, обидел. Что толку? У вас же есть организации...

— Предцехкома первый на меня орал. Кто же будет против Витьки выступать, если они сами его раздували?

— А ты один так думаешь про Виктора?

— Да почти все между собой говорят.

— Надо сделать так, чтобы сказали вслух, а не между собой.

— Как?

— Не знаю. Добивайся.

Вот и снова прошел вечер, снова он говорил о будничном и не смог о главном. Попробовал, и ничего не получилось. Завтра! Уж завтра, что бы ни было, он скажет...

13

В окнах комнаты горел свет. «Снова загуляли, черти. А завтра их не добудишься»,— подумал он и распахнул дверь.

Ребята лежали на койках, но не спали. Как только дверь открылась, все, будто по команде, повернули головы и уставились на Алексея.

— Чего это вы? — спросил он.

Костя Поляков повел глазами в сторону, и только тогда Алексей увидел, что в комнате сидят двое незнакомых. Один поднялся, прикрыл дверь и спиной прислонился к ней. Второй, держа в кулаке сигарету, затянулся, глядя на Алексея, и тоже встал.

— Алексей Горбачев?

— Я... А что? Что такое?

Тот, не отвечая, подошел, достал из кармана книжечку удостоверения и показал. Алексей рассмотрел только крупные буквы «УМ МВД» и фамилию, которую тут же забыл.

— Понятно? — внушительно спросил незнакомый.— И давай по-хорошему! Где чемодан?

Алексей пожал плечами, достал из-под кровати свой чемодан. Незнакомый положил его на стол, открыл, пересмотрел немудрое Алексеево имущество.

— А еще? Еще чемодан?

— У меня один, больше нету. Вон и ребята скажут.

— Нету? — с нажимом спросил незнакомый.— Я тебя предупреждаю: лучше по-хорошему!

— Так нет у меня больше ничего!

— А это?

Незнакомый поднес к его лицу клочок бумаги, на котором разъезжающиеся буквы напомнили: «Адин чима».

— А! — спохватился Алексей.— Так это не мой! Это дядька принес... Он у тети Даши в кладовке.

Подложив под голову свой платок, тетя Даша дремала в коридоре на деревянном топчане. Кряхтя и вздыхая, она поднялась, открыла кладовку. Алексей, за которым по пятам шел один из мужчин, внес баул в комнату, положил на стол.

— Ключ.

— У меня нет. Дядька не оставлял.

Незнакомый подергал новенький прочный замочек.

— Что там?

— Откуда я знаю? Дядька говорил, белье, старье всякое...

Второй мужчина подошел, всунул в дужку замка какую-то железку и нажал. Замок вместе с петлями отделился от баула. Сверху была ветошка, под ней, сверкая черным лаком, лежали в два ряда дамские босоножки.

— Так, говоришь, рубашечки, кальсончики? Ничего себе кальсончики!..

Ребята повскакали, подошли, заглядывая в баул.

— Товарищи, отойдите! Это вас не касается.

— Как это — не касается? — сказал Костя, подтягивая трусы.— Мы тут живем, нас все касается.

— Попрошу! — повысил голос незнакомый.

Ребята отошли.

Босоножки пересчитали — их оказалось двадцать восемь пар,— уложили снова в баул, перевязали его веревкой.

— Оружие есть?

— Нет.

По карманам Алексея уверенным движением скользнули чужие руки.

— Пошли!
— Куда?
— Там узнаешь.
— Так я ж тут при чем! Я ничего не знаю!
— Там скажешь.

Алексей растерянно оглянулся на ребят и вышел. Впереди него шел мужчина с баулом, второй шел сзади. Из подъезда пошли к деревьям. В тени их стояла закрытая автомашина, которой Алексей, подходя прежде, не заметил. Его подтолкнули в открытую дверцу кузова, один из мужчин влез следом и запер дверь. Мотор заработал, кузов затрясся, маленькая лампочка у потолка начала мигать. Ехали недолго. Машина остановилась, сопровождающий открыл дверь, вылез, подождал Алексея. Двор с железными воротами окружал высокий кирпичный забор. Машина стояла у подъезда.

— Проходи,— кивнул сопровождающий.

Дверь, ярко освещенный коридор. Еще дверь, еще коридор. В конце коридора сидел милиционер. Он поднялся, открыл дверь, обитую железными листами.

— Еще замели? — сказал милиционер сопровождающему.

Тот невнятно буркнул что-то, кивнул Алексею:

— Проходи!

Алексей шагнул и оказался в комнате, где не было никого. Он обернулся.

— Так как же...

Дверь с лязгом закрылась. В углу стоял длинный деревянный ящик, вроде топчана, с изголовьем из наклонной доски. Под потолком висел голый пузырь яркой электрической лампочки. Наглухо закрытое окно переплетала прочная решетка.

Алексей несколько минут стоял, не зная, что делать, потом застучал в железную дверь. В маленьком круглом отверстии показались глаз и часть носа милиционера.

— В чем дело?
— Почему меня заперли?
— Заслужил, вот и заперли. Сюда на вечеринки не возят.
— Так я же... Это — тюрьма?
— Ка-Пэ-Зэ. Камера предварительного заключения.
— Так за что?.. Я же...
— Значит, есть за что. Небось сам лучше знаешь.
— Ничего я не знаю. Ничего такого я...

— Это следователю скажешь. И хватит! Разговаривать не положено.

Глазок в двери закрылся.

Алексей сел на ящик, но сейчас же вскочил. Он не мог сидеть, не мог стоять на одном месте.

«Вот так влип.. Проклятая Жаба! Как был гадом, так и остался... Прикинулся — бедненький, несчастный... А я-то, дурак, нюни распустил, пожалел сволочь такую... Украл он их, что ли? Наверно, раз так... Значит, и его тоже? Иначе откуда у них тети Дашина расписка... Хотел за меня спрятаться, подлюга. Ну, врешь, я тебя покрывать не стану. Тюрьма по тебе давно плачет... А если?.. А если и меня? Нет, не может быть! Все же знают... А что знают? Никто ничего не знает! Никто не видел, кроме тети Даши. Скажут, соучастник — и все! Нет, я докажу! Я все расскажу, они поймут... Почему же не зовут?»

Алексей забарабанил в дверь кулаком.

— Прекратить безобразие! — крикнул в глазок милиционер.

— Пустите меня к следователю!

— Позовут, когда надо. И давай веди себя культурно, а то хуже будет!

— Так зачем я буду сидеть, когда...

— Сказано: когда надо — позовут. И не шуми!.. Впервой?

— А что же, по-вашему...

— Привыкнешь.

Глазок закрылся.

С милиционером не договоришься. И от него, наверно, ничего не зависит. Делает, что ему скажут, и все... Выходит, он самый настоящий арестованный, арестант, хотя ни в чем не виноват?.. Да, но они-то не знают, они считают, что он виноват... И ребята в общежитии тоже, наверно, думают... Ничего, час-два подержат, потом позовут, расспросят, и он пойдет домой. Хватит бегать...

Алексей сел, потом лег на деревянный ящик. В камере нестерпимо воняло карболкой. Наверно, недавно делали дезинфекцию.

Нечего паниковать. Они сразу увидят, что он ни при чем. Надо спокойно ждать, пока за ним придут. Не будут же его зря держать здесь всю ночь.

Алексей лежал и прислушивался. У него хороший слух, он издалека уловит звук шагов, звяканье ключей. Но шагов не было, ключи не звякали. И вообще не было ничего. Ни звука не доносилось ни от двери, ни через стены, ни сквозь

окно. В ушах стояла звенящая тишина. Только часто и сильно бухало сердце.

Ему хорошо — он посидит час-два, и все. А если люди в тюрьмах сидят годами? И ни звука, только сердце стучит... Жуткое дело! С ума можно сойти... Это, наверно, нарочно делают так, чтобы было тихо. Стены толстые или звукоизоляция?.. И потом, сейчас ночь. Уже небось часа два... А что, если все поуходили и спят, и никто не собирается вызывать? Над ними не каплет...

Алексей снова вскочил. Из жестяной кружки, прикованной цепью к бачку, напился воды. Она была теплой и тоже пахла карболкой.

Нечего психовать! Позовут. Они всегда работают по ночам, он не раз об этом слышал... Надо лечь и отдохнуть, завтра ведь на работу. То есть уже сегодня, а не завтра.

Его разбудил знакомый густой рев. Стены, двери, намертво закрытое окно отталкивали, глушили его, но он вползал, прорывался и победно сотрясал воздух камеры. Желто-оранжевые нити лампы еще горели, но в окно уже лился ясный свет дня. Первый гудок! На работу же...

Алексей загрохотал кулаком в дверь. Глазок приоткрылся, и уже другой голос, басовитый и хриплый спросонья, сказал:

— Тихо. Ну!

— Я на работу опоздаю! Мне же нельзя! Из-за меня простой будет. Что вы, шутите? Цех остановится!

— Из-за таких цех не останавливается. Посадили — сиди. И чтобы тихо!

Глазок снова был закрыт. Алексей заметался. Они же просто не знают, не понимают... Цех не цех, а у многих может быть простой... Ну, он оставил задел. А если не хватит? Или принесут что срочное?..

Проревел второй гудок. Алексея не звали. Третий. Его не звали...

Алексей отчетливо, будто это происходило у него перед глазами, видел, как Ефим Паника прибежал к плите, ткнулся туда-сюда, не найдя его, Алексея, побежал к Голомозому. Табель Алексея остался висеть. Прогул!.. Ефим Паника побежал к Витковскому... А потом всюду бегает и кричит: «Я говорил, я предупреждал...» И скоро все, весь цех знает, что Алексей не вышел на работу. Маркин опять будет кричать про сопляков, из-за которых нельзя работать... Дядя Вася, Витька... Ну, этот обрадуется — он же злится... А Иванычев? Вот кто крик поднимет: «Дезоргани-

затор! Прогульщик! На передовиков клевещет, а сам прогуливает, срывает работу!..»

Но они же еще не знают! А когда узнают, почему...

Алексей вскакивал и садился, бегал по камере, снова садился и снова начинал бегать. Он надеялся, что еще успеет забежать в общежитие, предупредить ребят, чтобы не трепались... Теперь все! Теперь узнают и в цехе, и всюду... И кто-нибудь обязательно скажет Наташе. Он еще про любовь хотел говорить... А его, как вора, как бандита какого...

Время шло, его не звали. Набегавшись до изнеможения, Алексей ложился, вставал, снова бегал. Его не звали.

Наконец дверь лязгнула.

— Выходи!

Коридор, дверь, еще коридор. Дверь. В комнате, спиной к окну, сидел капитан в серебряных погонах. Над его головой висели часы. Два часа... Все! Смена пропала...

— Садитесь. Имя, отчество, фамилия? Год, место рождения? Место службы, должность? Адрес?

Капитан спрашивал, не глядя на Алексея, и все записывал. Потом он поднял голову.

— Предупреждаю: за дачу ложных показаний вы несете суровую ответственность. Вы обязаны говорить правду и только правду.

Следователь смотрел не на Алексея, а куда-то за него, словно там, за Алексеевой спиной, было что-то такое, что Алексей пытался спрятать, скрыть, но что следователь уже видел, знал заранее и скрывать поэтому совершенно бесполезно. Алексей невольно оглянулся и тоже посмотрел назад, но ничего, кроме засиженного мухами плаката на стене, не увидел.

Алексей рассказал все, что он знал о дяде Троше раньше, как встретил его недавно, как тот упросил его подержать чемодан, пока он не найдет новую квартиру.

— Квартиру он скоро получит,— мимоходом сказал капитан, и Алексею показалось, что лицо его выглядит не таким суровым, как вначале.— Нико Чейшвили знаешь?

— Нет. А кто это?

— Вопросы задаю я, твое дело — отвечать. К тебе больше никто не приходил? Местный или приезжий, с Кавказа.

— Нет.

— На, прочитай и подпиши.

Алексей прочитал протокол и расписался внизу, где капитан поставил птичку. Часы показывали уже три.

— Если понадобится, вызовут в качестве свидетеля. А теперь можешь быть свободен... Подожди, ты ж на работу сегодня не вышел? Вот, покажешь начальству.

На узенькой полоске бумаги в машинописный текст капитан вписал фамилию Алексея и поставил дату.

— Держи.

Алексей взял бумажку.

«Повестка.

Гр. Горбачев А. И. действительно вызывался 1-м отделением милиции и находился в отделении с 01 ч. до 15 ч. 24 августа 1952 г.

Следователь Р/О милиции...»

— Так здесь же... Тут же не сказано почему... Они же подумают, что я...

— Не подумают. А начнут думать, пусть позвонят сюда.

— Можно идти?

— Можешь... Только вот что: будь поосторожнее. Парень ты молодой, тебя в два счета опутают всякие дяди Троши...

— Теперь уж нет! Уж теперь... А где он?

— Там, где полагается.

Капитан нажал кнопку звонка, в комнату вошел милиционер с сержантскими погонами.

— Проводите гражданина.

Сержант довел его до конца коридора и показал выход — через палисадник. Алексей вышел в распахнутую настежь калитку и поспешно оглянулся по сторонам. Неподалеку собака с хвостом, похожим на бублик, обнюхала дерево, подняла ногу и озабоченно побежала дальше. По другой стороне улицы спиной к Алексею шла старуха с кошелкой. Больше на улице не было никого, никто его не видел. Алексей почти бегом зашагал к проспекту.

Навстречу шли люди. На Алексея они не обращали внимания, но ему казалось, что они приглядываются к нему и угадывают, откуда он идет. Если не по виду, то по запаху. Запах карболки пропитал брюки, рубашку, волосы на голове. И ему казалось, что этот пронзительный запах так навсегда и останется при нем — ни отмыть, ни заглушить его ничем не удастся.

14

В цех Алексей прибежал к концу смены. Плита была уже прибрана, Семыкин складывал инструменты.

— Заболел или загулял? — кивнув Алексею, спросил он.

— Да нет... Вас из-за меня вызвали? Я сейчас...

В конторе он застал и мастера и начальника цеха.

— Прогуливать начинаешь? — строго сказал Ефим Паника.— Из-за тебя, понимаешь, график ломать, человека вызывать...

— Я не прогуливал... Вот!

Глаза Ефима Паника округлились. Витковский взял у него повестку, хмуро прочитал.

— Что ты там натворил?

— Не я... Меня свидетелем вызывали... Вы туда позвоните, следователю, он скажет... Это они спекулянта поймали, а я тут ни при чем...

— Надо будет — позвоним. Отдай табельщику.

— Можно, я отработаю? А то ведь Семыкина вызвали вместо меня...

— Можешь отработать.

Алексей рассказал обо всем Семыкину, дяде Васе. Они торопились домой и не выразили ни удивления, ни огорчения.

— Пустяки,— сказал Семыкин.

— Не пустяки, а хорошее дело,— возразил дядя Вася.— Я бы этих спекулянтов и не так прищучил...

Алексей снял пиджак, повесил в шкафчик. Трикотажной тенниске ничего не сделается, а брюки можно почистить,— подумаешь, важность большая... Зато будет порядок: он не прогулял, свое отработал. И никто не сможет попрекнуть. А если к следователю вызывали, так что?.. И правильно: таких гадов всех надо подчистую... И ничего такого тут нет. Он сделал то, что должен был сделать,— сказал правду, и все. Наташе можно все рассказать. А он почему-то думал раньше, что нельзя, стыдно. Наоборот! Плохо только, что Наташу сегодня не увидеть. Ну, зато завтра...

Товарищи по общежитию, несмотря на поздний час, потребовали отчета во всех подробностях. Алексей рассказывал и с удивлением замечал, что все теперь выглядит совсем не таким, каким воспринималось тогда, прошлой ночью: и те двое, пришедшие за ним, не казались такими мрачными и зловещими, и камера — обыкновенная комна-

та, только что с решеткой и заперта. А следователь? Капитан просто хороший человек! Сразу во всем разобрался...

Но как ни обыкновенна комната, называемая камерой, до чего же хороша своя, в общежитии! Ну, и тут стены голые и голый пузырь лампочки под потолком. Но из этой комнаты в любую минуту можно выйти и идти куда хочешь, а лампочку можно погасить и вытянуться не на деревянном ящике, а на податливой пружинной койке, закрыть глаза и не метаться, не ломать голову — почему, за что и что теперь будет.

Алексей не выспался, однако настроение было превосходное. Превосходным был и день, яркий, солнечный, и начался он хорошо, а вечер обещал быть еще лучше, потому что вечером он увидит Наташу. Никто не расспрашивал, почему он работал вчера не в свою смену, милицейская камера, допрос отодвинулись уже в далекое прошлое, из этого далека казались совсем незначительными и придавать им значение не было никаких оснований. И работа сегодня шла на редкость легко.

Алексей сосредоточенно кернил бронзовый вкладыш, когда почувствовал, что его легонько тронули за плечо. Рядом стоял Федор Копейка.

— Здоров.

— Здоров. Газету видал?

— Нет... А что, уже? Вот молодец Алов, значит, не соврал,— улыбнулся Алексей.— Я же к нему ходил, рассказывал...

Скуластое лицо Федора осталось неподвижным.

— Ты прочитай сперва.

Заметка называлась «Шире распространять опыт передовиков». Алексей начал читать, лицо его вытянулось.

— Так он же его расхваливает, Витьку...

— Читай, читай...

Описание доблестей Виктора Ю. Алов заканчивал призывом распространять шире его опыт, внедрять в производство передовые методы труда.

Дальше было еще несколько фраз:

«Однако в здоровом цеховом коллективе находятся люди, которые ведут подрывную работу, направленную на дискредитацию передовиков. В частности, некий А. Горбачев, разметчик того же цеха, распространяет всяческие измышления, порочащие достижения передовиков. Администрация цеха приняла соответствующие меры против хулиганского выпада Горбачева, однако организационных мер явно недостаточно. Необходимо, чтобы общественность

цеха присмотрелась к носителям нездоровых настроений, дала им надлежащую оценку, создала общественное мнение вокруг этого вопроса и приняла меры к его искоренению».

Алексей потерянно посмотрел на Копейку, снова на газету.

— Так это ж... Я же ему объяснял! Я же говорил... Вот гад!

— А что ты ему говорил?

Подергивая редкие черные волоски на верхней губе, Федор молча выслушал рассказ Алексея.

— Ну ладно, посмотрим,— сказал он, забрал газету и ушел к своему станку.

Алексей рассказал о заметке Василию Прохоровичу.

— Еще одна,— меланхолически заметил дядя Вася.

— Кто?

— Шишка.

— А, вам шуточки... Морду ему, гаду, набить, и все!

— Морду — нельзя. За морду тебе такое припаяют — не обрадуешься.

— Выходит, терпеть и молчать?

— Молчать не обязательно, а потерпеть покуда придется...

— А!

Алексей отмахнулся, ушел к плите. Старик все обращал в болтовню, в слова. А тут нужны не слова...

Он углубился в работу, время от времени поглядывая на часы — скоро ли обед. Прошло часа два. Алексей почувствовал какую-то неловкость, скованность. Он поднял голову и встретил взгляд маленьких, близко поставленных колючих глазок.

Человек в полувоенной, защитного цвета, несмотря на жару, наглухо застегнутой гимнастерке отвернулся и пошел по пролету.

Где он видел такие глазки, кого напоминает этот человек?.. Да никого не напоминает, это он и есть! Гаевский...

...Школа, капитаны, Витькина выдумка — игра в тайное общество «Футурум» — «Будущее». Гаевский прицепился и раздул целое дело. Если бы не Людмила Сергеевна и Витькин отец, вышибли бы его, и все... Кире, Витьке и Наташе ничто не угрожало, Алексей бы их ни за что не выдал, а его самого выгнали бы из школы и, может, даже из детдома... И все Гаевский... Прогнали его тогда из пионервожатых... Постарел. От лба поползли вверх взлизы, на макушке волосы поредели, просвечивают. Все такой же

бледный и худой. Только ходит иначе. Раньше все спешил, будто ему ужасно некогда, а теперь неторопливо, важно... И чего он тут ходит? Что он теперь делает?..

Идя к инструментальщику, Алексей снова увидел Гаевского. Он разговаривал с Виктором. Заметив Алексея, Виктор отвел глаза в сторону и вроде даже покраснел.

Вадима Васильевича Алексей в обед не застал.

Дядя Вася обедать в столовую не ходил. «Разве это обед? — говорил он.— За десять минут покидал в себя все, как в мешок, и — бегом, освобождай место... Обедать надо дома — с чувством, с толком, с расстановкой... А тут можно только перекусить». Из дома дядя Вася приносил обернутый в чистую тряпочку кусок сала; когда начинался перерыв, аккуратно резал его на кубики и на самодельном, из листа железа, маленьком противне жарил на горне в инструментальной. Потом располагался возле своего станка, подцеплял ножом шкварчащие, брызгающие жиром кусочки сала и неторопливо, один за другим, отправлял в рот. Покончив с салом, он куском хлеба тщательно подбирал смалец и до конца перерыва успевал выпивать две большие кружки чая. Во время еды разговаривать он не любил, все это знали и никогда к старику не подходили, пока не покончит со своей «перекуской».

Вернувшись в цех, Алексей увидел, что поджаренное сало осталось нетронутым, дядя Вася хмуро разговаривает с Гаевским. Тот наконец ушел. Дядя Вася съел остывшее сало, выпил чай и подошел к плите.

— Про тебя допытывался: что да как...

— Ну?

— Ну, я говорил, что знаю... Прятать-то тебе нечего?

— Нечего.

— Значит, и бояться нечего.

— А кто он?

— Из отдела кадров.

— Начальник?

— Нет, говорит, инспектор... Чего он вокруг тебя круги делает? Похоже, Алеха, будут из тебя воду варить...

— А что он мне может сделать? Ничего!

...Иванычев так не думал. Появление Гаевского встревожило его. Гаевский был представителем отдела кадров, частью его, а все, что составляло отдел кадров, требовало осторожного к себе отношения. Осторожность эта появилась давно.

Начало биографии его было кристально ясным. Закончив сельскую семилетку, он подался в райцентр, где

жил и работал на мельнице брат матери. Прельщавшая поначалу возможность стать, как дядя, рабочим на мельнице скоро потускнела перед другой, более привлекательной: поступить в техникум и стать техником-строителем, итэровцем. Техникума кончить не довелось. Со второго курса его, уже с год активного комсомольца, сделали инструктором райкома комсомола. Держался он скромно, даже робко и старательно выполнял все, что требовалось. Его ценили, при случае похваливали. Когда встал вопрос об укреплении городского отдела коммунального хозяйства, вспомнили о нем. «Парню надо расти,— сказали тогда.— К тому же он технически подкован, будет на своем месте. Не кончил техникума? Это маловажно, главное — свой парень и техническая закваска все-таки есть...»

Техническая закваска и с самого начала не была густой, а к тому времени без употребления начисто выветрилась, но гайки с шайбой он не путал, схемы и графики чертить умел, писать объяснительные, докладные записки научился, а большего на первых порах от него и не требовалось. Отдел коммунального хозяйства практически хозяйства не имел, и называть его следовало бы отделом коммунальных пожеланий и предположений, так как и водопровод, и канализация, и электросеть существовали пока только в папках проектов. Маленький городок, в котором самыми крупными предприятиями были мельница и маслобойка, не мог угнаться за новостройками, городами-гигантами, средства на благоустройство его отпускались скупо или не отпускались вовсе. Но — отпущены средства или не отпущены — Иванычев обязан был обеспечить, чтобы к Первому мая и Седьмому ноября на базарной площади была построена трибуна, дома на главной улице заново побелены, а кирпичный парапет перед Домом Советов зацементирован. Иванычев обеспечивал. Для побелки домов шла только известь, после первого дождя она шелушилась и осыпалась, цемент был такой, что, высохнув, растрескивался и отваливался большими шершавыми лепешками. Но в этом уже не было вины Иванычева, и хотя иногда его попрекали, но попрекали не слишком серьезно — все знали, что он тут ни при чем, виновато качество материалов. Словом, можно было жить спокойно. Иванычев жил. Он возмужал, посолиднел, женился. Жена, вывезенная из родного села, возилась с курами и детьми, обеспечивала положенный уход за мужем.

Спокойствие кончилось в 1935 году. Сам Иванычев был весь на ладони и проверку документов прошел без сучка без задоринки. Но кое-кто был исключен из партии. Исклю-

чили и начальника Иванычева, завотделом. Иванычева поставили на его место. В этом не было ничего необычного: всегда кого-то снимают, а кого-то назначают. Теперь пришла очередь Иванычева быть назначенным, надо же ему расти...

Однако вскоре Иванычеву стало не по себе и даже попросту страшно. Звезда его взлетела так высоко, что голова закружилась.

Две недели горсовет был без председателя. Иванычева неожиданно вызвали на бюро райкома. Разговор был короткий и какой-то странный: будто говорили с ним и всерьез и как-то в насмешку. Собственно, говорил один секретарь:

— Ну, товарищ Иванычев, что с вашим председателем произошло, ты знаешь... Город остался без хозяина. Мы тут посоветовались и решили рекомендовать тебя. Как твое мнение?

Иванычев растерялся.

— Как же... Я разве смогу?

— Говорят, не боги горшки обжигают... Ну, а ты явно не бог. Нет, не бог! Стало быть, подойдешь...— По сухощавому лицу секретаря скользнула не то ободряющая, не то насмешливая улыбка.

Жилой фонд города в основном оставался частным — домики и домишки, самосильно построенные жителями или доставшиеся по наследству. А так как они были частными, то о ремонте их обязаны заботиться частновладельцы, горсовет здесь ни при чем. У Иванычева и без того дела сверх головы. Район был сельскохозяйственный, все внимание парторганизации сосредоточивалось на селе, и Иванычев, кооптированный в члены райкома, не знал передышки. Год катился колесом, и в этом колесе уполномоченный райкома Иванычев был не последней спицей. Снегозадержание, ремонт тракторов, вывоз удобрений, весновспашка, посевная, прополочная, борьба с долгоносиком, уборочная, хлебозаготовки, силосование, заготовка технических культур, вспашка под зябь, мясозаготовки, заем... Положа руку на сердце, Иванычев мог сказать, что он если и не был лучшим, то уж во всяком случае был одним из лучших исполнителей. Он нещадно пресекал всякие нездоровые хвостистские настроения, не обращал никакого внимания на сетование председателей колхозов и колхозников, добивался досрочного окончания всех кампаний, а заготовки по его кусту всегда шли с перевыполнением планового задания. И его ценили. Ценил и новый, присланный из области первый секретарь райкома Петриченко.

Именно Петриченко после войны разыскал и вытащил Иванычева из туркменского совхоза, и Иванычев снова стал председателем горсовета.

Теперь это был уже другой район, с промышленными предприятиями и центром, не городишком, как прежде, а настоящим городом. Горсовет занимал большое здание, а самую большую комнату в нем — кабинет Иванычева. Здесь уже было все честь по чести: большой полированный стол и другой, длинный, для заседаний, ковровая дорожка, делающая шаги неслышными, сифон с газированной водой, два телефона, кнопка звонка для вызова секретарши. Секретарша сидела в приемной и строго охраняла двойную дверь, обитую войлоком и клеенкой.

Здесь в Иванычеве и произошла та разительная перемена, которая в далекое и смутное прошлое отодвинула худого, скромного, не очень сытого, но веселого и общительного паренька, приехавшего из села в город за специальностью.

Город, промышленные предприятия быстро восстанавливались, бюджет горсовета был большой, работы много. Теперь, если бы Иванычев и хотел, он не мог поспеть всюду, уследить за всем самолично. В этом и не было нужды. В аппарате горсовета было несколько десятков человек, а на объектах сотни. Когда-то Иванычев, подвижный, поджарый коммунхозовец, на своих двоих обходил все нужные места, сам писал справки, докладные, отчеты. Теперь ему делать это было некогда и за него делали другие. Все ответственные речи, а большинство речей было ответственных, он уже не произносил, а читал. Подготавливали и писали эти речи другие. Ему было некогда.

В подчинении у Иванычева были инженеры, рабочие, всякого рода специалисты. Он не был ни тем, ни другим, ни третьим. Он не знал и не умел делать того, что знали и умели делать инженеры, рабочие и специалисты. Его делом, его профессией было руководить. Предполагалось, что он знает и умеет что-то такое, чего не знали и не умели они.

Иванычев должен был давать указания и проверять их исполнение. Он сидел у телефонов, звонил, спрашивал: «Ну, как там у вас?» — и разносил. Звонили ему. Случалось, его ругали последними словами, и он научился ругать подчиненных этими словами. Его вызывали на заседания и совещания, он вызывал других на заседания и совещания. Заседания возникали самосильно, непроизвольно, как толь-

ко вопрос выходил за мелкие границы обыденного, повседневного и кто-то должен был взять на себя ответственность за его разрешение. И так как каждый опасался брать на себя эту ответственность, вопрос переносился на заседание. Вопросов скапливалась пропасть, все были важны, неотложны, и их обсуждали часами, чтобы выявить и подчеркнуть важность и неотложность их разрешения.

Проводя заседания, Иванычев вставлял в речи выступающих одобрительные или неодобрительные слова, подобающие случаю реплики. Таким образом становилось очевидно, что он ведет, направляет прения по нужному, правильному руслу. Потом он «суммировал» сказанное другими в заключительной речи и давал установки.

Для этого у него был свой язык, особый лексикон, набор длинных, неудобопроизносимых фраз и оборотов. Они придавали его речи, как ему казалось, торжественный и особый, руководящий характер. Он никогда не говорил «сейчас» или «теперь», но только — «в данный момент», «на данном этапе», не «положение», а «ситуация», не «дело», а «мероприятие», не «у нас есть», а «у нас имеется». С приятелями он разговаривал иначе. Для этого был особый жаргон: вместо «ладно» — «лады», вместо «до свиданья» — «ну держи», то есть возьми руку для рукопожатия...

Работы было много. Приемные часы пришлось строго ограничить, но он был так занят, что большей частью приемы не могли состояться и посетителей принимали заместители Иванычева. В кабинете он сидел до глубокой ночи. Не то чтобы в этом была действительная необходимость, но Иванычев знал, что Петриченко тоже сидит у себя, может в любую минуту позвонить, потребовать какие-либо сведения или справку, а его не окажется и получится неудобно: тот работает, а Иванычев отдыхает. И он сидел «на подхвате». И так как сам он не мог дать нужных сведений и справок, то у него тоже сидели «на подхвате» нужные люди.

У него появились живот, машина, одутловатость и взгляд поверх голов, устремленный будто бы туда, куда не могут посмотреть другие. Машина вначале причиняла немало огорчений. Это был «ХБВ». Расшифровывалось это — «хотел быть «виллисом». Так злоязычные шоферы окрестили первую, неудачную модель горьковского вездехода. Потом «ХБВ» заменили «Москвичом», самолюбие Иванычева перестало страдать, хотя влезать в «Москвич» было нелегко. Он носил теперь просторные костюмы и обязательно украинскую вышитую сорочку. Не потому, что ему

нравилась народная вышивка. Такую рубашку носил Петриченко, и к ней не нужен был галстук, с которым Иванычев так и не научился управляться.

Петриченко иногда отчитывал Иванычева, закидывал насчет живота:

— Зажирел, обюрократился... Вон сундук какой отрастил!

Но это была полушутка, а «сундук», хотя и поменьше, был у самого Петриченки. Иванычев отшучивался, как умел:

— От сидячей жизни, Степан Захарович. Сами знаете. Сидим до победного конца.

— Ты ешь поменьше. Да пешком ходи. Может, хоть тогда про мостовые вспомнишь, а то и люди и машины калечатся...

На ремонт мостовых не было ассигнований, а замечание насчет еды — несправедливо. Покушать Иванычев действительно любил плотно, основательно. Но разве это преступление? И что он, не заслужил?

При каждом удобном случае он призывал всех, особенно подчиненных, учиться, повышать знания, работать над собой. Себя он причислял к тем, кому учиться нет нужды, так как они сами учат и, значит, знают то, чего не знают другие. Когда-то в молодости он посещал политшколу, изучал в ней «Краткий курс». Каждый год его изучали заново, но, дойдя до четвертой главы, останавливались. Иванычев, так и не перевалив за четвертую главу, оставил политшколу — его выдвинули, и для учебы времени не оставалось. Потом времени не стало вовсе. Книги читать было некогда. Регулярно Иванычев просматривал только «Крокодил». Юмористические изображения бюрократов, дармоедов и плохих руководителей ему нравились, он считал, что так их и надо продергивать, «с песочком». Ему и в голову не приходило, что это — о нем самом.

Иванычев искренне верил в то, что он хороший член партии, настоящий коммунист, преданный работник, не жалеющий сил и здоровья для скорейшего завершения строительства коммунизма. О том, что движение к коммунизму происходит без него, что доли его в очевидных успехах строительства нет ни малейшей, он не догадывался. Его считали опытным работником. И он сам считал себя таким. А раз так, все, чем он обладал, принадлежало ему заслуженно, по праву, и расставаться с этим у него не было ни малейшего желания. Поэтому скорее безотчетно, инстинктивно, чем сознательно, он делал все, чтобы ны-

нешнее его положение не стало хуже, а по возможности даже лучше. Для этого нужно, чтобы им были довольны, чтобы вышестоящие товарищи отчетливо видели: причина всех достижений, всех успехов — он, а во всех недостатках и упущениях виноваты другие. Так он и делал...

Погубил проклятый забор. Началось, собственно, не с забора, но он оказался последним барьером, через который Иванычев не перепрыгнул, а свалился.

Квартира в центре города была хорошая, как говорится, грех жаловаться. Но Фрося тосковала на асфальтированной площадке двора, где не росло ни одной зеленой былки. Ни детям побегать, ни самой вздохнуть. А был бы свой домик, хоть какой, там бы и огородик можно, чтобы не бегать за каждым перышком лука в магазин. Разве ж там лук? Тряпка, а не лук... И курочек бы, хоть парочку! Кабанчика завести...

По правде говоря, не только Фросе, но и самому Иванычеву было не по себе в жактовском доме. Что ни говори — не свое. Вокруг народ, шум. Ну и свеженькое со своего огорода — тоже неплохо.

Иванычев подумал, поколебался, потом доверительно посоветовался с самым ловким и надежным из своих прорабов. Тот изъявил полную готовность соответствовать. К весне дом в четыре комнаты был готов.

Фрося расцвела. На участке, несколько большем, чем положено,— никто же не станет проверять, перемеривать! — появились куры, потом загоготали гуси и, наконец, шумно вздыхая, начала жевать бесконечную жвачку чистопородная Пеструшка.

Петриченко узнал о живности и хмуро сказал:

— Обрастаешь? Смотри, не увлекайся...

Так как прямого указания ликвидировать живность не было, встревожившийся Иванычев успокоился.

Все бы хорошо, но низенький, реденький заборчик из отходов не мог удержать кур на «положенной» территории, они бродили по чужим огородам, цыплята пропадали, то ли сожранные соседскими котами, то ли подбитые из рогаток мальчишками. А самое главное — все было на виду, открыто чужим взглядам. Что это за жизнь на юру? Начнутся завистливые сплетни, пересуды... Нужно было принимать срочные меры.

Торопливость и погубила. Вместо того чтобы выждать удобной ситуации, Иванычев дал указание завезти со стройплощадки жилдома достаточное количество шлакоблоков и поставить забор вокруг своего участка. Работа на

строительстве жилдома задержалась всего на какой-то месяц, но нашлись злопыхатели, написали кляузы и в область, и в Киев, и даже в Москву. Все письма вернулись обратно на расследование, но замять дело было уже невозможно, даже если бы Петриченко встал на защиту. А Петриченко и не подумал защищать Иванычева. Его без лишнего шума, но бесповоротно освободили от обязанностей председателя горсовета.

На бюро было нехорошо. Даже очень нехорошо. Все понимали, что Иванычев обречен, и говорили начистоту, без стеснения. Он зазнался и зажрался, обюрократился, окружил себя подхалимами, с рабочими разговаривал по-хамски, за что и заслужил кличку «мордоплюй»... Иванычев сидел багровый, непрерывно вытирал пот, который тут же проступал снова, и, обмирая, гадал — исключат или не исключат? Ему дали слово. Говорить просто так, не по бумажке, он давно разучился, в голове вертелись какие-то обрывки «руководящих» фраз, но произносить их сейчас было нелепо и бесполезно. Задыхаясь, он пролепетал, что заседание, то есть обсуждение явилось для него большой школой, то есть серьезным уроком, что он на данном этапе полностью осознал... Больше ничего подобного не будет иметь места, то есть никогда не повторится, он оправдает доверие... заслужит... засучив рукава, исправит допущенные недочеты, то есть ошибки... что он и впредь...

Он старался поймать хоть чей-нибудь взгляд, чтобы найти хоть тень надежды на защиту и поддержку, но членам бюро было неловко, неприятно смотреть на его перекошенное страхом, залитое потом лицо, и они упорно отворачивались, смотрели в стол.

Его не исключили, объявили строгий выговор с предупреждением. Две недели Иванычев просидел дома, переживая незаслуженную, по его убеждению, обиду, и ждал, когда его позовут. Его не звали. Он попробовал помогать Фросе по хозяйству. Но это была тяжелая и грязная работа, занимался он ею только в детстве, когда жил в селе, и давно отвык. После нескольких взмахов лопатой он обливался пóтом, начинало ломить поясницу, колоть в боку. Он бросал лопату и уходил в холодок. Куры озабоченно сновали по двору, купались на солнцепеке в пыли, в сарайчике вздыхала Пеструшка, сердито гоготали гусаки. Гусаки его раздражали. Ему казалось, что они его передразнивают: ходят солидно, неторопливо, как какие-нибудь руководящие птичьи работники, смотрят на всех свысока и начальниче-

ски покрикивают, «ставят на место» подчиненную им птичью мелочь...

Иванычев не находил себе места. Он привык быть всегда на людях, ездить на машине, звонить по телефону, пошучивать с приятелями, разносить подчиненных за упущения... Теперь вокруг были только куры, проклятые гусаки, расплывшаяся Фрося, притихшие дочери. «Москвич» стал недостижим: Толя, его верный, надежный Толя, возил ныне заместителя Иванычева. Бывшего заместителя... Телефон висел на прежнем месте, но молчал, будто его отрезали. Орать теперь можно было только на безответную Фросю за пересоленный борщ да на дочерей, чтобы не путались под ногами. Он орал, но от этого не становилось легче...

Он долго собирался с духом и наконец позвонил Петриченке.

— Привет, Степан Захарович! Беспокоит Иванычев...

— Слушаю.

Голос Петриченки был холоден и сух.

— Так как же будет со мной, Степан Захарович?

— Разговор не для телефона. Придешь — поговорим.

Иванычев шел пешком через весь город, изнывал от жары и проклинал себя, что построил дом в расчете на машину, далеко он центра. Ему казалось, что все узнают его, пересмеиваются за его спиной, показывают пальцами. Он багровел и шел не оборачиваясь.

Впервые он не мог войти к Петриченке без спроса, запросто, а должен был сидеть и ждать, пока секретарь-машинистка Шурочка скажет: «Пройдите!» И она тоже — прежде улыбалась, а теперь нос воротит, даже не смотрит в его сторону...

Петриченко принял его официально и сразу дал понять, что о назначении на какой-либо серьезный пост в городе не могло быть и речи.

— Поезжай в обком, в отдел кадров,— сказал Петриченко.

В обкоме Иванычеву предложили ехать в распоряжение горкома сюда, в этот город. Город большой, крупные заводы, в кадрах всегда нужда, горком подыщет ему какую-нибудь соответствующую работу. Надломленный снятием, взысканием, вконец истомленный неизвестностью, ожиданием и хождениями в отдел кадров, Иванычев согласился.

Секретарь горкома принял его без всякого энтузиазма. Из личного дела он уже знал все, что произошло с Иванычевым на прежнем месте.

— На заводе «Орджоникидзесталь» нужен человек для массовой работы в профсоюзе. Направим вас туда, посмотрим.

— Но ведь это мне не по специальности!

— А какая у вас специальность? — недобро усмехаясь, спросил секретарь.

Иванычев замялся.

— Коммунисты не торгуются, товарищ Иванычев, а идут, куда их посылает партия. Вам это особенно следует помнить! Присмотритесь к условиям, поработаете, проявите себя, потом, может, найдем вам другое применение...

Так Иванычев попал в завком профсоюза на «Орджоникидзестали», а вскоре стал председателем цехкома механического цеха. Председатель был не освобожденным, но Иванычева сделали как бы освобожденным, проведя по штату нормировщиком.

Завод его ошеломил и придавил своей огромностью, грохотом, ревом, сверканием, мельканием всяких машин, пламенем мартенов, льющейся стали, чугуна, живыми змеями раскаленного проката, всевозможными опасностями, подстерегающими на каждом шагу. До сих пор Иванычев бывал только на пивоваренном и сахарном заводах. Там было совсем по-другому. Тихо и мирно. На пивоваренном стояли бродильные чаны, машины, небольшие и нешумные, разливали пиво в бутылки и затыкали их пробками. А на сахарном еще лучше — ничего не шумит, не двигается, стоят автоклавы, в них варится сироп, все закрыто, а потом сыплется готовый сахарный песок...

Хорошо еще, что его направили в механический. Здесь все-таки тише и спокойнее. Правда, и здесь всюду что-то крутилось, двигалось, от станков вилась разноцветная стружка, брызгали раскаленные металлические опилки, над головой то и дело, гудя и завывая, мостовой кран переносил с места на место какую-нибудь тяжеленную вещь непонятного назначения... Вдруг сорвется — и на голову! Или от станка оторвется какая-нибудь штука, которая вертится с бешеной скоростью... А что же, станки не ломаются?..

Иванычев, стараясь не показывать этого, ходил по цеху опасливо, держась середины пролета, подальше от всяких вертящихся, двигающихся чертовщин. И вообще старался ходить поменьше. Его дело — работа с людьми. Это он знает и умеет.

Люди, правда, здесь какие-то такие, не совсем... Никак их не вызовешь на откровенный разговор, по душам. По-

дойдешь, спросишь: «Ну, как дела?» Отвечают: «Ничего», «Дела, как сажа бела» или еще что-нибудь двусмысленное, с подковыром. На вопрос ответят, и все. Ну ничего, он авторитет завоюет, поставит себя. Главное — опереться на передовых, лучших людей. Поддерживать их. И они поддержат, будут опорой...

История с «молнией» возмутила Иванычева до глубины души. Правильно начальник влепил этому мальчишке Горбачеву выговор! Иванычев предпочел бы, чтобы дело не приобрело широкой огласки, не вышло за пределы цеха. Произошло это в его цехе, таким образом, ответственность за это нес в какой-то степени Иванычев, это бросало на него тень... Статья в газете переменила ситуацию. Значит, он недооценил, недопонял это дело. Печать всегда правильно сигнализирует. Надо вокруг этого дела мобилизовать массы...

Когда же к Иванычеву пришел Гаевский и они, запершись в конторке, обсудили его всесторонне, он понял, насколько серьезно стоит вопрос. Со всем, что говорил Гаевский, Иванычев был полностью согласен и только кивал, подтверждая:

— Это — верно!.. Совершенно правильно!

16

Забежав к Вадиму Васильевичу после работы, Алексей снова не застал его. Сотрудник бриза сказал, что Калмыкова еще до гудка по телефону вызвали в отдел кадров. Дома в общежитии был только Костя Поляков. Сегодня у него был выходной. Стоя в одних трусах, он усердно и неумело наглаживал брюки одолженным у девчат утюгом.

— Ну, как в цеху?

— Все в порядке,— ответил Алексей, гадая, знает или не знает Костя о статье в газете.

— Тут приходил один, про тебя расспрашивал...

— Кто?

— Какой-то из отдела кадров.

— Худой, крысиные такие глазки?

— Ага... Ты его знаешь?

— Знал раньше... Так что?

— Я тебя так обрисовал — хоть к ордену... Это все из-за того дела с чемоданом?

— Наверно,— небрежно ответил Алексей.

Небрежность была напускная. Настойчивость, с какой

Гаевский кружил вокруг него, вызвала неприятное беспокойство. Виктор, дядя Вася, теперь общежитие... Зачем он петляет вокруг Алексея, выспрашивает всех? Чего он добивается, что ищет?

...Наташа была занята сборами. Столько нужно перебрать, проверить, перегладить, уложить — просто ужас! Она металась от одной вещи к другой, пыталась делать все сразу, ужасалась, смеялась, вспоминала что-нибудь забытое, но абсолютно — абсолютно! — необходимое, панически бросалась разыскивать и тут же теряла что-нибудь другое.

— Да что ты, десять чемоданов повезешь? Кто все это тащить будет?

— Мамочка, здесь же все абсолютно необходимое! И тут Алеша поможет... Ты меня провожать придешь?

— Само собой.

— Вот! А там — в камеру хранения...

— Ну ладно, иди гладь, уложу я сама, а то ты только мнешь все и путаешь.

Алексей собирался рассказать ей все — и о чемодане дяди Троши, и о допросе, и о статье в газете,— но Наташа так была поглощена предстоящим отъездом, так мало интересовало ее все остальное, что он подумал, поколебался и промолчал. В конце концов, какое это имело значение? Сейчас представляется важным, а потом пройдет время, и ему самому все покажется пустяками. Незачем ее расстраивать.

— Помнишь Гаевского, пионервожатого, который тогда меня за «Футурум» хотел выгнать?

— Помню. Противный такой...

— Да... Я его сегодня встретил. Тоже теперь на заводе работает. В отделе кадров.

— А что? Он что-нибудь снова?..— встревоженно заглянула ему в лицо Наташа.

— Нет, ничего...

— Хотя... Это ведь была такая ерунда,— успокаиваясь, сказала Наташа.— И столько времени прошло. Он, наверно, и забыл про все...

Ручка чемодана оказалась оторванной, один замок не работал. Алексей начал чинить. Мать Наташи то входила, то выходила. Наташа гладила и разговаривала. Алексей молчал. Он мог говорить только о главном, но говорить о главном было нельзя.

Гаевский ничего не забывал. Особенно если это имело принципиальное значение. А принципиальное значение имело все. Вещей маловажных нет, каждая мелочь может оказаться далеко не мелочью...

Умение видеть за каждой мелочью важное Гаевский выработал во время войны. То ли по внешней хилости, то ли потому, что бросалась в глаза его подчеркнутая исполнительность и аккуратность, в запасном полку Гаевского сделали писарем. Пополнения приходили, обучались и уходили на фронт. Штаб полка и писари при нем оставались. Полк, один из многих, готовил новые силы и, значит, ковал победу. В этом деле не могло быть ничего маловажного, каждый пустяк имел значение. И у Гаевского все было в ажуре. Иногда — из госпиталя или направленные на переформирование — в полк попадали фронтовики. Они не скрывали своего презрения к «окопавшимся в тылу». Сначала это его задевало, потом он убедил себя в том, что если его оставили в запасном, значит, он полезен. И потом, сами фронтовики говорят, что на фронте лучше. А он не жалуется. Служит, где поставили и как положено. А враги могут оказаться и в тылу, тут тоже надо быть начеку. Не зря развешаны всюду плакаты: «Не болтай! Враг подслушивает». Боец со строгим лицом прижимал палец к губам, а сзади нависала синяя тень огромного подслушивающего уха... Сам Гаевский не болтал и привык следить, чтобы другие тоже не болтали. Война окончилась, Гаевский вернулся в родной городок. Служба писарем в запасном полку не давала материала для хвастливых, картинных историй, которыми направо и налево сыпали возвращавшиеся фронтовики. Гаевский отмалчивался, а на расспросы отвечал коротко, значительно, но туманно. У слушателей складывалось впечатление, что он был на службе настолько важной, что говорить о ней нельзя, и проникались к нему уважением. Единственную свою медаль «За победу над Германией» Гаевский не надевал, носил только планку. О том, что планка не орденская, а медальная и медаль, которую имеют все, побывавшие в армии, на гражданке знал далеко не каждый...

Гаевский устроился в районное отделение милиции на должность секретаря. Это было не совсем то, к чему стремился Гаевский, но он был уверен, что найдет случай проявить себя, его оценят по-настоящему, переведут в оперативные работники. Так бы, наверно, и было, но произошла история с Григорием Маляровым...

Поздно вечером возле деповского клуба произошла драка. По пьяному делу кончилась она плохо: когда подоспели оперативники, один лежал в луже крови и был без сознания. Потрясенные, испуганные таким исходом участники драки без всякого сопротивления были доставлены в камеру. Пострадавший через сутки умер, и уже налицо была не драка в пьяном виде, а убийство. Среди арестованных Гаевский знал только Григория Малярова. Маляров был единственным земляком, которого случай свел с Гаевским в запасном полку. Маляров попал в запасный из госпиталя, рвался на фронт и вскоре уехал туда. После войны Маляров вернулся с двумя орденами Славы и несколькими боевыми медалями, работать начал в депо слесарем. При встрече с Гаевским Маляров громко при всех прохаживался насчет вояк, которые брали Берлин за две тысячи километров от Берлина... Гаевский ненавидел его смертной, но тихой и бессильной ненавистью — Маляров был скор не только на слово, но и на кулаки...

Теперь Маляров оказался замешанным в скверном деле. Гаевский не сомневался, что он был заводилой, а раз так, то и должен получить сполна... Вскоре пришло письмо, подписанное группой деповских рабочих. Авторы письма давали Малярову самую лучшую характеристику и свидетельствовали, что он в драке не участвовал, а бросился разнимать дерущихся, но было уже поздно. Некоторые из подписавшихся были этому очевидцами, просили их вызвать и допросить в качестве свидетелей. Гаевский положил письмо в самый нижний ящик стола.

Через два дня майор, начальник отделения, вызвал Гаевского.

— Где письмо рабочих? Почему не доложили?

Гаевский замялся. Он думал, что, не получив ответа, авторы письма присмиреют и поймут, что милиция сама знает, кого вызывать, кого не вызывать...

— Так это же, товарищ майор, подстроенное — одна шайка-лейка...

— Что? Председатель месткома, депутат горсовета, старые рабочие — шайка-лейка, по-вашему?

— Я не так хотел сказать... Я думал, письмо не должно влиять, чтобы следствие объективно...

— Думал? — закричал майор.— Ты думал, будешь тут подтасовывать, свои законы устанавливать?.. Немедленно сдавай дела Симоненке...

Когда Гаевский уходил из отделения милиции, в кармане его лежала выписка из приказа: «...уволить за не-

возможностью дальнейшего использования». В последнюю минуту майор пожалел его: «Может, еще поумнеет, зачем человеку портить жизнь?» — поэтому в приказе появилась такая формулировка, хотя должна была быть совсем иная. В городке пошли слухи о причинах, по которым его уволили из милиции, и Гаевский переехал сюда, в приморский город.

Город был большой, предприятий много, но устроиться он не мог: всюду требовались специалисты или квалифицированные рабочие, Гаевский не был специалистом и квалификации не имел никакой. В горкоме комсомола, куда он несколько раз обращался, в конце концов предложили ему поехать завхозом пионерского лагеря. Пионерский лагерь напомнил Гаевскому запасный полк: здесь также периодически менялся состав, а штаб, то есть начальник лагеря, вожатые и он, Гаевский, оставались. И здесь у него все было в ажуре: все переписано, учтено, все в целости и сохранности. А если что-нибудь ломалось или портилось, Гаевский немедленно «актировал», а для себя, в особой рапортичке, отмечал, кто виновник и какое взыскание или наказание понес, если оно было предписано.

В середине лета одна из вожатых заболела. Начальник лагеря, очень довольный старательностью Гаевского, предложил ему временно исполнять обязанности вожатого. Обязанности были несложными — не то завхоза при ребятах, не то сторожа: нужно было проводить экскурсии, вылазки,— но недалеко! — следить, чтобы из лагеря без надзора не отлучались, водить ребят купаться, но только в положенное время и на указанном месте, наблюдать, чтобы была дисциплина и вообще порядок, изредка проводить беседы, то есть читать какую-нибудь статью в газете и объяснять непонятное ребятам. Гаевский со всем этим справлялся, им были довольны, и, когда лагерь свернули, горком комсомола без всяких колебаний направил Гаевского старшим пионервожатым в школу.

Гаевскому стало трудно. Сторожить ребят больше было незачем, они жили дома, в школу приходили только учиться, здесь и должен был Гаевский вести с ними работу. Какую именно и как ее вести — он не знал. Он стал делать то, что умел: проводить собрания, вести счет проступкам, выявлять виновных и наказывать в положенных пределах. Гаевский пытался найти с пионерами общий язык — языка такого не было, особенно с ребятами постарше. Он говорил что-нибудь смешное — они не смеялись и смотрели так, что ему становилось не по себе. Он говорил серьезное и очень-

очень важное, именно тогда они почему-то начинали пересмеиваться или просто громко фыркать, и ему приходилось строго одергивать их, кричать, чтобы они затихли.

Самым мучительным были вопросы. Их нельзя было ни предугадать, ни предусмотреть. Они выскакивали внезапно, вдруг, и такие, что десять академиков не ответят. И тут — ни посоветоваться, ни подработать материал: десятки глаз смотрят и ждут ответа сейчас, немедленно. И лучше было не пытаться ответить даже на то, что знаешь,— тотчас выпрыгивали все новые и новые вопросы, им не было конца, от них не было спасения. Все время Гаевскому приходилось быть настороже, начеку: каждую минуту его могли спросить о том, чего он не знал, потребовать, чтобы он сделал то, чего не умел. На лице его непроизвольно закрепилось озабоченное выражение. Потом оказалось, что это удобно: он всегда занят чем-то важным, озабочен, и к нему все меньше приставали с вопросами — он был выше, ему не до того...

И все-таки Гаевский мучился, пока не сделал своим наушником Юрку Трыхно. Благодаря Юрке он знал теперь, что́ ребята затеяли или сделали, и это знание давало ему власть над ними: они не понимали источника его знания, удивлялись и проникались если не уважением, то опаской.

Все было хорошо, пока Юрка не принес Гаевскому потерянной Горбачевым шифрованной записки. Гаевский сразу понял, что это дело не шуточное, не обычные ребячьи выдумки. Шутка сказать — тайная организация! А кто за ней стоит? Кто ее направляет?

Если бы не вмешался секретарь горкома Гущин, он бы тогда это дело раскопал до конца! Он тогда написал куда следует, только там не обратили внимания на его сигнал, а Гущин настоял, чтобы Гаевского сняли с должности пионервожатого.

В горкоме комсомола Гаевского тоже пожалели — «зачем портить жизнь парню?» — уволили по собственному желанию и помогли устроиться в отдел кадров «Орджоникидзестали».

Гаевского приняли, поставили под начало старшего инспектора Софьи Ивановны, женщины суровой, с седыми волосами и большеносым строгим лицом. Гаевский схватывал всё на лету, и задолго до истечения испытательного срока Софье Ивановне и начальнику отдела кадров стало ясно, что отдел приобрел ценного работника. Гаевский не

щадил ни времени, ни себя — он нашел наконец дело по душе.

Теперь его уже не спрашивали, спрашивал он, и ему обязаны были отвечать. Если, случалось, спрашивали его, он многозначительно молчал или, чаще, просто смотрел мимо, за спину спрашивающего. И вопросы отпадали сами собой. Когда-то он выработал себе маску озабоченности, занятости делами, о которых другим знать не положено. Маска стала характером. Всем своим видом он давал понять, что о каждом знает все, больше, чем знает каждый о себе, и еще что-то такое, что могут знать только люди особо доверенные...

Работа в отделе найма и увольнения никаких специальных знаний не требовала. Люди сдавали направления, если они были, трудовые книжки, анкеты. Можно было складывать все в личные дела и тем ограничиться. Для Гаевского это было не концом, а началом. Свои обязанности он видел не в том, чтобы доверять, а в том, чтобы проверять. И он проверял. Все, что проходило через его руки. В огромном большинстве люди писали правду, но, случалось, ошибались, путали по забывчивости. Гаевский не верил в ошибки, он привык думать, что обманывают все. А если их не поймали, так только потому, что плохо проверяли. Как бы человек ни маскировался, он рано или поздно ошибется, выдаст себя — вот тогда его и можно взять на крючок, разоблачить... Людей безупречных, незапятнанных нет. У каждого в прошлом есть что-то, о чем он хотел бы умолчать, что хотел бы скрыть. Узнать скрываемое — значит взять его под жабры так, что уже ему не вырваться... Люди там ходят, работают, занимаются личными делами и думают, что они — главное. Главное было здесь, в шкафах и папках, пронумерованное и зафиксированное.

Гаевский не ограничивался служебной перепиской. Он внимательно следил за всем, что происходит на заводе, что о ком говорят, что пишет заводская многотиражка. И все брал на заметку — когда-нибудь могло пригодиться.

Статья Алова насторожила его. Горбачева, главного виновника в той школьной истории, он не забыл. Может, однофамильцы? Он проверил личное дело, сходил в цех посмотреть. Это был тот самый Горбачев! Вырос, вытянулся, но тот же, никакой ошибки быть не может...

Горбачев еще тогда сразу стал ему подозрителен, а потом и ненавистен. Эта их тайная организация в школе вовсе

не была детской игрой, как пытались некоторые изобразить. Только политически близорукие люди могли так думать. И, конечно, не случайно он теперь выступает против передовиков...

Уже первые поверхностные сведения, собранные Гаевским, убедили его, что он не ошибся. Звено за звеном обнаруживалась цепочка, которая могла далеко завести. Неясны пока его связи, знакомства. И он занялся проверкой...

17

Витковский не выдержал, взорвался из-за пустяка, дурацкого «Вовуни»... В пору молодости и любви ласковый уродец, в которого превратила его имя жена, нравился ему. Молодость и любовь прошли, уродец остался, но уже, кроме раздражения, ничего не вызывал. Каждый раз, когда жена, надеясь на возврат прежних отношений, называла его Вовуней, Витковского трясло от ненависти. Так и вчера не стерпел, заорал:

— Ты подумай, дурища, ну какой я, к черту, Вовуня?! Что мне, семнадцать?

— Когда-то тебе нравилось...

— Вспомнила...

— А что мне осталось, кроме воспоминаний?!

И — пошло: сморкание, хлюпанье... Нет уж, хватит совместных воспоминаний, тоже — удовольствие...

С удовольствием вспоминалась только своя, отдельная жизнь, с тех пор как окончил техникум, стал самостоятельным и впервые надел форменную фуражку техника. Форму уже давно не носили, она сохранилась у немногих, например у Ромодана. Витковский любовался своим учителем: всегда подобранный, чисто выбритый, поджарый, как борзая. И форму носил, несмотря ни на что. По традиции инженеров старой школы. Все-таки форма — это было хорошо, сразу выделяла человека. А теперь поди разбери, кто инженер, кто слесарь. Все, как из сиротского дома — в тенниссках и пиджаках из одного универмага. Теперь о форме нечего и думать. Собственно, и тогда носили уже единицы, над ними посмеивались, даже относились подозрительно — каста, мол, и прочий вздор. Он, Витковский, не побоялся насмешек и, как только окончил техникум, надел такую же фуражку, как у Ромодана: с зеленым околышем и гербом — молоток, перекрещенный с французским гаечным ключом. Пусть смеются. Дураки смеялись, а он стал инженером, как

и Ромодан. Таким же деловитым, всегда подтянутым и немногословным. Болтают бездельники, делают — инженеры и техники. Они — средоточие знаний и уменья, все остальное — вспомогательная сила или попросту балласт...

Витковскому хотелось и внешне быть похожим на Ромодана, но округлое лицо его с вислым носом совсем не походило на ястребиный профиль наставника. И одеваться так не пришлось: тужурка, галифе и хромовые сапожки с короткими голенищами как нельзя лучше шли высокому, стройному Ромодану и никак не подходили к длинному тулову и коротковатым ногам Витковского.

Внешность — не так важно. Важно, что Ромодан не сделал промаха, остался холостяком, а он вот не утерпел, женился. По молодости, по глупости. Жена опостылела в первый же год, но поделикатничал, не развелся, потом появился сын. И на кой черт это было ему нужно? Теперь вот мучайся... «Эфирное создание» оказалось вздорной бабой, ко всему еще и ревнива... А сын вырос балбесом и бездельником. И никуда не денешься. Только и радости, что по временам встряхнешься, расправишь косточки... Знает Олег или только догадывается? Что-то он, подлец, больно нахально смотрел, когда последний раз просил денег: «Ты меня должен понять, как мужчина мужчину...» Всыпать бы по первое число, а не денег давать!.. А премиальных за этот квартал не будет, план завалили. Значит, «подкожные» не светят.

Хорошо Яворскому в мартеновском. Всегда на виду, и командировки, и премиальные. Да и оклад выше. А его сунули в эту дыру — расхлебывай чужие грехи. Можно бы и здесь навести порядок, дисциплину, так ведь связан по рукам и ногам. Не единоначалие, а видимость. Каждый пустяк согласовывай, обсуждай. Вот идет деятель. Тоже небось думает, что строит коммунизм. Такие построят... языком. Строим его мы — инженеры, а эти болтуны только путаются под ногами...

Иванычев подошел к столу.

— Я, Владимир Семенович, насчет случая с Горбачевым. Может, соберемся, обсудим?

— А что, собственно, обсуждать?

— Как же — выступление печати, мы должны отреагировать. С нас спросят. Я предлагаю собрать вроде как треугольник, вызвать его и дать накачку как полагается...

— Хорошо, только недолго.

— Нет, накоротке, накоротке...

...Виктор упорно смотрел в сторону, на застекленную перегородку, отделяющую кабинет начальника цеха от конторы. Витковский за своим столом что-то малевал карандашом на бюваре. Ефим Паника, как всегда, смотрел в рот говорившему и тут же оглядывался на других — как реагируют. Рядом с Иванычевым сидел еще не успевший умыться замурзанный Федор Копейка. Подперев грязным кулаком подбородок, он уставился в лицо Алексею.

— Я уже говорил: на «молнии» написал потому, что Гущин — не передовик.

— А ты передовик, да? — вскочил Виктор.

— И я не передовик. Только я не притворяюсь, а ты притворяешься.

Виктор хотел посмотреть на Алексея презрительно, свысока, но презрительный взгляд не получился: Алексей вытянулся, а Виктор, хотя и подрос, стал крепышом, роста был среднего, и когда он пытался смотреть на Алексея сверху вниз, получалось смешно: взгляд его упирался Алексею в живот.

— Погоди, Гущин,— сказал Иванычев.— Почему он не передовик?

— Потому что ничего такого не сделал... Передовик — это который что-нибудь придумал, усовершенствовал... А он что усовершенствовал?

— Норму он перевыполняет?..— спросил Иванычев.— Привет, товарищ Гаевский! Мы как раз только начали...

Гаевский сел в сторонке. Начальник цеха покосился на него — он не знал, кто это такой.

— Норму он только сейчас перевыполняет, а раньше еле выполнял. И почему перевыполняет? Ему все время одни шестеренки идут — он и насобачился...

— Что значит — насобачился? Что за выражения?!

— Ну, наловчился... Ему Ефим Па... Ефим Петрович все время только шестеренки и подсовывает...

— Я ничего не подсовываю! Распределяю как положено.

— А почему Гущин все время одни детали делает, а другие — враздробь, что попало? Дядя Вася... Губин, то есть, или Маркин, они не могут? Маркин Гущина учил, он умеет не хуже. Так им — что попало, а Гущину — что повыгоднее? Это правильно?

Витковский исподлобья посмотрел на Алексея. Парень-

то того... Действительно, у Гущина идут серийные, легкие детали. С успехом мог делать любой другой. Тот же Губин или Маркин. Но Губин — упрямый старый козел, с ним не сговоришься, Маркин — скандалист... И оба старики. А нужны молодые, перспективные кадры... Что это за тип пришел? Из парткома? Не похоже, не встречал его там.. Черт его знает, шляются всякие, потом наговорят — не расхлебаешь... Надо переломить настроение. И так его все время шпыняют за то, что не занимается соревнованием, не растит передовиков. Вместо того чтобы делом заниматься, цацкайся тут со всяким...

— Я внесу ясность, товарищи. Специализацию в нашем цехе ввести трудно, но где только можно, мы ее осуществляем и будем осуществлять. Это — важнейший принцип современного производства.

— Вот! Понял? — сказал Иванычев.— И, понятное дело, мы передовиков поддерживаем. Их надо поощрять, создавать условия...

— Настоящих! А он не настоящий, а липовый. Кончится спецзаказ, он и съедет на свои сто пять процентов... Тогда будете с доски снимать? То на доску, то с доски? Над ним и так — кто ругается, кто смеется...

— Кто смеется? — вскочил Виктор.— Это ты подговорил, да?

Алексей укоризненно посмотрел на него.

— Эх, ты! Как был пацан, так и остался пацан... Ну зачем я буду подговаривать? Люди сами видят.

— По-моему,— сказал Федор Копейка, обводя всех серьезным взглядом,— по-моему, цэ дило трэба розжуваты... Может, он и перегнул, но тут что-то есть!

— Ты свои штучки брось! — оборвал его Иванычев.— Твои теории известны... (Федор Копейка покраснел и замолчал.) Вместо того чтобы работать с молодежью, воспитывать, ты тоже? Нашел кого поддерживать! Мы, понимаешь, мобилизуем людей, выдвигаем передовиков, воспитываем на положительных примерах, а он будет подрывать?! Дискредитировать! Этот номер не пройдет! Вот и печать нам сигнализирует. Серьезно сигнализирует! И мы к этому сигналу не можем не прислушаться. Не можем! Это что же получается? Страна, понимаете, строит коммунизм, весь народ, как один человек, вкладывает силы. И мы мобилизуем массы, весь коллектив, чтобы внести свой вклад, а тут, понимаете, появляются люди, которые пытаются ставить нам палки в колеса, тащить нас назад!

Так получается, товарищи? Мы с этим мириться не можем.

Алексея трясло от злости. Что они, с ума посходили? Он же им объяснил! Да пусть спросят кого угодно...

— А с враньем можете? С враньем миритесь? А еще говорите, что коммунизм строите!

Так говорить не следовало. Понял это Алексей слишком поздно, когда установилась зловещая тишина. Все, не отводя глаз, смотрели ему в лицо, только Ефим Паника зыркал то на одного, то на другого.

— Та-ак! Договорился...— сказал Иванычев.— Тебе не нравится, как мы строим коммунизм? Может быть, тебе и коммунизм не нравится? И заодно Советская власть?

— Может быть! — сказал Гаевский.

— Я не про Советскую власть и не про коммунизм. Я про вранье... Коммунизму правда нужна, а не вранье!

Его уже не слушали, смотрели на Гаевского, ждали, что скажет он.

— Лично меня поведение Горбачева не удивляет.— Гаевский говорил негромко, медленно и веско, как человек, уверенный, что его выслушают до конца.— Может, товарищи не в курсе, я поясню. Выступление против передовиков — факт не случайный. Надо присмотреться к общественному, политическому лицу этого человека. Кто такой Горбачев? Вам известно, что он связан с баптистами?

— Я не связан, неправда!

Гаевский даже не повернул головы.

— Вам известно, что он замешан, связан с подозрительными элементами и даже подвергался недавно аресту?

— Так я же свидетелем!.. Арестовали спекулянта, я свидетель, а не замешан!

— Мы еще не знаем, товарищи,— будто ничего не слыша, продолжал Гаевский,— что это за элементы... Может, это только спекулянты. Но спекуляция бывает разная. За ней может обнаружиться и кое-что другое... Лично я ничему не буду удивляться. Может, вам неизвестно, но мне известно: еще в школе Горбачев был замешан в историю с тайной организацией...

— Как не стыдно! — закричал Алексей.— Это же была детская игра! Вас же за это выгнали, что вы начали раздувать!..

Гаевский и теперь не взглянул на Алексея, только лицо его, и без того белесое, побледнело еще больше, колючие маленькие глазки сузились.

— Лично меня никогда ниоткуда не выгоняли, что легко проверить по моему личному делу... Так вот, товарищи, в свете этих фактов выступление Горбачева, направленное на дискредитацию передовиков и срыв спецзаказа, приобретает совсем другой характер! Я считал своим долгом внести ясность, ввести вас в курс.

Иванычев выжидательно смотрел на Гаевского, ожидая, что он скажет еще. Гаевский молчал. Виктор отвернулся, уши его горели. Федор Копейка хмуро разглядывал мозоль на левой ладони и ковырял ее ногтем. Ефим Паника ловил взгляд начальника цеха и заранее изобразил на своем лице удивление и негодование.

У Витковского поначалу отлегло от сердца — тип оказался не опасный. А Горбачев-то?.. Да нет, ерунда! Что-то этот подтасовывает, пришивает... Хотя кто его знает! Надо это дело ликвидировать. Пусть потом разбираются, кому нужно. А то наделают шума, начнут копаться: передовики, не передовики... Ему еще только не хватало, чтобы обвинили в очковтирательстве, выдвижении дутых передовиков...

— Что будем делать, Владимир Семенович, как думаете? — спросил Иванычев.

— Что тут думать? Паршивую овцу из стада вон, вот и все.

— Нет, Владимир Семенович, я не согласен. Поскольку был сигнал печати, а теперь еще обнаруживаются такие факты, мы просто так не можем... Надо вокруг этого дела создать общественное мнение, извлечь уроки. Правильно я говорю? И поскольку Горбачев — беспартийный, не комсомолец, заняться этим должна профсоюзная общественность. Я так думаю: подготовим вопрос и через день-два поставим на цехкоме. Нет возражений?

Последнее, что увидел Алексей, уходя, был взгляд Виктора — испуганный и вопрошающий. А, черт с ним! Дело теперь уже не в нем... Что они, все ослепли, сошли с ума? Ведь они на самом деле хотят, чтобы Витька был передовиком, чтобы цех перевыполнял план и завод тоже, чтобы страна шла к коммунизму. Так ведь и он хочет того же! И они, и он говорят одни и те же слова, а получается так, словно говорят они на разных языках...

———

Вадим Васильевич озабоченно хмурился, и не будь Алексей так взбудоражен, он бы заметил, что Вадим Васильевич отвечает очень неохотно.

— Их много развелось, таких защитников Советской власти... Попробуй, скажи громко: это не так, то не так, смотрите, товарищи, исправлять надо! Тут на тебя прямо хор, как в опере: «Клевета!» А кто кричит? Рабочий, крестьянин? Нет, чиновник кричит. Почему? За себя боится. Рабочий, колхозник, они так и останутся — рабочий и колхозник. А чиновника можно прогнать, снять с должности. Без должности же он — пшик, пустое место. Вот он и дрожит. Чуть кто скажет: «Это плохо, надо лучше», так сейчас гвалт: «Не видит достижений, одни недостатки... чернит! Клевета!» Вот так-то, Алексей свет Иванович! Зря ты в это ввязался. Намнут тебе бока, тем дело и кончится.

— Пускай! Этим не кончится.

— «Посмотрим, сказал слепой, как будет плясать хромой»... Только давай в другой раз, у меня башка трещит...

Алексей поднялся.

— Да, вот что... Ты об этих моих словесах не распространяйся... И вообще поменьше рассказывай...

— Зачем я буду рассказывать?

— Вот именно! Пользы не принесет, а вред — вполне возможно... Ну, будь здрав!

Страдальчески морщась, Вадим Васильевич всыпал в рот порошок и запил водой.

Нелепая выходка Горбачева, заметка в газете Вадима Васильевича не касались. Этого никак нельзя было сказать о вызове в отдел кадров. Разговор произошел очень напряженный и явственно показывающий, что это — отнюдь не конец, а только начало.

Человек, вызвавший его, оказался на редкость отталкивающим — с маленькими, цепкими, как пиявки, глазками. Он спросил, знаком ли Вадим Васильевич с разметчиком Алексеем Горбачевым. Получив подтверждение, попросил подробно рассказать о нем все, что Вадиму Васильевичу известно. Необходимо выяснить, так сказать, общественное лицо Горбачева. В интересах самого Горбачева. Отказать в этом, поскольку действительно это в интересах Горбачева, было нельзя. Вадим Васильевич сдержанно, но вполне положительно охарактеризовал Алексея. Гаевский сказал, что это правильно, так как подтверждается другими источниками, и спросил, не проскальзывало ли в разговорах

Горбачева чего-нибудь такого, неподобающего... Внутренне обмирая, Вадим Васильевич сказал, что ничего «такого» и «неподобающего» он от Горбачева не слышал. Это было истинной правдой, так как все разговоры с Горбачевым были в сущности монологами самого Вадима Васильевича. Гаевский задал еще несколько незначительных вопросов, потом сказал, что, возможно, придется его еще побеспокоить. Чтобы уточнить кое-что, если понадобится.

— Пожалуйста,— равнодушно сказал Вадим Васильевич.

Какое там, к черту, равнодушие! Теперь можно ждать чего угодно...

18

Идя на завод, Алексей, как не раз в детстве, думал: как бы хорошо, если бы все уладилось само собой! Виктор осознал, начальство поняло и стало на сторону Алексея, никто теперь не будет к нему приставать, грозить. А Гаевский?.. Гаевского за что-нибудь сняли, совсем прогнали с завода...

Он невесело усмехнулся. Вырос, а все еще не расстался с детскими надеждами на то, что все сделается само по себе, будет счастливый случай, чудо... Пора перестать верить в сказки. Нет в жизни легких дорог, волшебных случайностей, не бывает чудес, ничто не приходит само. Бывает только то, что ты сделал, чего добился... Вот он сделал. А чего добился?

Работа еще не началась, а Федор Копейка был уже замурзан. Он подмигнул, ободряюще кивнул Алексею. Что проку в его одобрительных кивках?

Виктор, заметив Алексея, отвернулся. Сколько раз Алексей слышал, читал: настоящая дружба состоит в том, чтобы указывать другу его ошибки, недостатки. Алексей попробовал, и теперь самый большой, настоящий друг показывает ему спину.

Дядя Вася, хмурый больше обычного, еле поздоровался. Неужто и он?..

Работалось трудно. Полночи он не спал, думал о вчерашнем, сейчас гнал от себя эти мысли и не мог не думать о том, что теперь будет и что они сделают. Будет плохо, тут нечего и думать. Если бы еще не Гаевский... А он, гад, все подобрал и повернул так, что Алексей получался самый настоящий враг... Другие ведь не знают, что это вранье,

и будут думать, что так оно и есть, что Алексей на самом деле баптист, уголовник и член какой-то тайной организации. Теперь попробуй доказать, что ты ни то, ни другое, ни третье и вообще не верблюд...

В цехе о вчерашнем, конечно, знали — Ефим Паника наверняка растрепал,— но к Алексею никто не подходил, никто с ним не заговаривал. Алексею казалось, что его даже сторонятся, встретив взгляд, отворачиваются, притворяются очень занятыми или уходят, боясь, что он т а к о й...

Незадолго до обеда к Алексею подошел мастер. Строго поджимая губы, он перебрал наряды уже размеченных деталей, собрал чертежи и небрежно спросил:

— Ну, что ты себе думаешь?

— А что мне думать?

— Свое «я» хочешь доказать? Смотри, допрыгаешься!

— Не пугайте. Меня вчера уже пугали.

— Я не пугаю, я советую. Пока не поздно. Вчера были цветочки, а ягодок лучше не дожидаться... Пошел бы, по-человечески сказал: так и так, мол, осознал, прочувствовал свои ошибки, и больше впредь ничего такого не повторится... Ну, чего-нибудь тебе припаяют, чтобы крепче осознал. И все. А будешь дальше свое «я» доказывать — тогда не жалуйся...

— Вам не пожалуюсь.

— Ты гордость эту брось! И не таких обламывали. Ведь это вопрос двоякий: как с тобой решат поступать...

— Не вопрос, совесть у тебя двоякая,— сказал Василий Прохорович. Он подошел незамеченный и стоял теперь возле плиты, обтирая руки концами.— Ты парня не сбивай, совесть ему не укорачивай. Что укоротишь, того не воротишь...

— Я его не сбиваю — советую. У меня опыта побольше его и голова на плечах...

— На твою голову, Ефим, только штаны надевать.

— Василий Прохорович! Я вас уважаю, но...

— Ладно, потом доругаемся. Докладываю, как начальству: я, видно, пошабашил сегодня. Пойду в здравпункт. Ломает меня что-то, просквозило, видать...

Ефим Паника посмотрел на станок — он был уже прибран.

— Да как же, Василий Прохорович? Ведь блок срочный!

— Тебе — блок, а мне к партийному собранию выздороветь надо.

— Так это ж на той неделе!

— А я не знаю, сколько я хворать буду... Вас чему учат? Самый ценный капитал — люди. А ты — блок! От тебя, Ефим, любая наука, как от стенки... На, держи, может, умнее станешь.

Он сунул в протянутую руку мастера грязные промасленные концы и пошел по пролету к выходу. Мастер посмотрел на ком ветоши, в сердцах швырнул его на пол.

Старик шел сгорбившись, ни на кого не глядя и даже чуть покачиваясь. Алексей догнал его.

— Дядя Вася, может, помочь?

— Не надо, я на ногах удержусь... Ты-то сам держись!

Алексей вернулся к плите.

Значит, дядя Вася на его стороне! Как он Ефима Панику... Интересно, Ефим сам или его послали «советовать»? Значит, Алексею просто хотят заткнуть рот. Отступись он, и они отстали бы от него...

Дядя Вася может быть спокоен: он будет держаться. Если он отступит, соврет сейчас, то потом будет врать всегда. Если сегодня стерпит чужую ложь, обман, завтра солжет и обманет сам. И тогда уже возврата нет. «Что укоротишь, того не воротишь»...

Пусть делают что хотят! В конце концов, что они — съедят его?..

Все это будет потом. А сейчас приближается то, что уж никак не может отодвинуться или не состояться. Поезд в шесть. Доехать, переодеться, добежать до Наташи — не меньше часа. Она просила пораньше...

За несколько минут до гудка Алексей убрал инструменты, умылся. И в это время подошел мастер.

— Иди в контору. Сразу после работы — заседание цехкома. По твоему вопросу,— внушительно сказал он.

— Почему сегодня? Я сегодня не могу...

— Как это — «не могу»?

— Не могу, и все! Занят сегодня.

— Ты с ума сошел? Какие могут быть занятия, когда об тебе вопрос?! Ты что, с этим шутки шутишь?

— Никакие не шутки! Что им приспичило? Я никуда не сбегу, можно и завтра...

— Может, ты вообще не пойдешь? Отменишь цехком? Набезобразничал, а теперь струсил?

— Ничего я не боюсь. А сегодня не пойду. Я же сказал — не могу!

— Иди объясняй Иванычеву, а не мне.

Самое разумное — было пойти и объяснить, почему он не может сегодня присутствовать на цехкоме, но он тут же понял совершенную невозможность сделать это. Сказать о Наташе? Поднимут на смех, скажут про нее какую-нибудь гадость... Он только задержится, опоздает и ничего не добьется.

— Я не пойду,— набычившись, сказал Алексей.

— Ты дурака не валяй! — закричал Ефим Паника.— Ты не понимаешь, чем это может кончиться? Да если только...

Рев гудка заглушил его слова. Алексей секунды две смотрел на его беззвучно кричащий рот, махнул рукой и побежал к выходу.

Он бежал по заводскому двору и чем больше удалялся от цеха, тем отчетливее сознавал, что делает непоправимое. Они и так готовы съесть его с сапогами, а он сам дает им козырь в руки, да еще какой!

В проходной, показывая пропуск вахтеру, он на секунду приостановился. Еще не поздно вернуться, еще можно поправить... А Наташа? Она же волнуется, смотрит поминутно на часы. Что она подумает? Как они вдвоем справятся с вещами? Да что вещи! Не увидеть ее в последний раз?! Алексей ринулся в автобус.

Место оказалось удобным, вещи были разложены, они вышли на платформу. По ней еще спешили отъезжающие с чемоданами, авоськами, цветами. В большинстве это была молодежь. Юность уезжала в науку, и над платформой звенели громкие голоса и смех, взлетали обрывки песен. Наташа улыбалась, наблюдая предотъездную суматоху, уговаривала мать не беспокоиться — что она, маленькая? — спрашивала о чем-то и тут же, не слыша ответов, сетовала, что не повидала Киру, не попрощалась с ней. Ей, бедняжке, трудно теперь с ребенком... Алексей молчал и не сводил с нее глаз.

— Почему у тебя такое лицо? Алеша! Что-нибудь случилось?..

— Нет, все в порядке.

Не это, совсем не это хотел и должен был он сказать... «Наташа, Наташа! Не уезжай. Останься здесь хоть на пять, хоть на три дня, пока не закончится это... Если бы ты знала, как ты мне нужна! С тобой я могу всё. Я все выдержу. Ничего не делай, ничего не говори, только будь здесь. Что-

бы был человек, который мне дороже всех, и чтобы я знал, что кому-то немножко нужен и я...»

Она ничем не могла ему помочь. Он и не ждал, что она поможет. Важно только, чтобы она была здесь, он мог прийти и сказать: «Понимаешь?» И пусть бы она даже не поняла, а только кивнула. Ему было бы легче. Он стал бы сильнее. Ах, как это важно, чтобы рядом с тобой был человек, к которому можно подойти и сказать: «Понимаешь?» И как часто, слишком часто такого человека рядом с тобою нет...

Алексей молчал. Он понимал, что не может, не должен, не имеет права сказать. Наташа не поймет и, даже поняв, все равно уедет. Этого нельзя изменить и остановить. В сущности, она уже уехала. Неподвижен поезд, она еще стоит у вагона, говорит, улыбается. Но ее уже нет. Она уже вся там, в Ростове, в институте, в своем будущем. И все прошлое для нее уже прошло, а настоящее уже стало прошлым. Оно возникнет в памяти лишь потом, как воспоминание, а воспоминания никогда не становятся действительностью...

И он молчал. Где-то возле паровоза задребезжал свисток, подхлестнутый им предотъездный гвалт забушевал сильнее. С печальной нежностью Алексей смотрел, как Наташа целует мать, и улыбался. Наташа протянула ему руку.

— Ты меня не забудешь? Будешь писать? Много и часто, да? А потом я приеду, и будет все, как было... Да?

Она побежала к вагону, вскочила на подножку, обернулась и прощально подняла руку. Внезапно все оживление словно сдуло с ее лица, рука опустилась, прижалась к горлу — так трудно стало вдруг дышать.

Только теперь она увидела, *какое* у него лицо... Боже мой, боже мой! Что же она делает? Зачем уезжает?.. Он молчит. Он всегда молчит. Ни разу не сказал ни слова, но она ведь знает... Давно знает. Он же любит ее! Как никто... И никто никогда так не полюбит. Почему все так глупо и ужасно? Они говорили о чем угодно — о рыбе, о звездах, о науке, обо всякой чепухе — и никогда об этом... А думали об этом. Почему? Почему так глупо устроены жизнь и люди? Стыдятся себя и своих чувств, самое лучшее прячут в ненужное, в пустяки... А потом плачут, но уже ничего нельзя изменить, вернуть, поправить. Как же он будет без нее? А она? И что теперь делать? Спрыгнуть? Остаться?.. Мамочка, милая, не сердись, что я не смотрю на тебя! Пос-

мотри на его лицо. Разве ты не видишь?.. Что же мне делать? Вот уже поезд трогается... Как же я могу уехать?

Опоздавшие вскакивали на подножку, толкали Наташу, кто-то над ней, перегнувшись, высунулся из тамбура, давил грудью ей на голову, она ничего не замечала и смотрела, смотрела. Проводница шла рядом с вагоном, доставала из футляра свернутый желтый флажок. Наташа прыгнула с подножки на платформу.

— Сумасшедшая! — охнула мать.

— Гражданка! — сердито закричала проводница.

Наташа подбежала к Алексею, приподнялась на цыпочки и поцеловала его.

— Вот это да! — завистливо сказал нарочитым басом парень, стоявший у открытого окна.

— Бис! — закричал его товарищ.

Наташа вскочила на подножку, протиснулась мимо ворчащей проводницы. Вагон пошел быстрее. Стоя за спиной проводницы, пылающая, заплаканная Наташа махала рукой: «Пока!» Колеса мягко прищелкнули на стыке рельсов, потом еще громче, еще громче и пошли отщелкивать резко и четко: «По-ка! По-ка!..»

— Ах, сумасшедшая, сумасшедшая...— шептала мать Наташи, махала рукой и вытягивала шею, стараясь разглядеть уже неразличимо отдалившуюся Наташу.

Алексей стоял неподвижно, сунув руки в карманы, исподлобья смотрел на удаляющийся поезд.

19

Вахтер в проходной поднял руку, останавливая Алексея.

— Ну-ка, дай.

Он посмотрел пропуск, сверяя с бумажкой на столике, и положил пропуск в карман.

— В чем дело?

— Приказано отобрать.

— Как? Мне же на работу!

— Значит, нельзя тебе на работу... Давай отойди, людей не задерживай.

Алексей ошеломленно отступил в сторону. Почему у него отобрали пропуск? Он же опоздает!..

Вахтер, поглядывая на пропуска идущих через проходную рабочих, время от времени косился на него.

— Ты давай не стой тут, ничего не выстоишь. Все равно не пущу.

— Да почему?

— Иди в отдел найма, там спрашивай, а меня это не касается.

Отдел найма и увольнения помещался в здании напротив главной проходной. Он был закрыт — там работа начиналась в восемь. Алексей сел на скамейке у входа.

Это все Гаевский устроил. За вчерашнее. За то, что он ушел. И вообще... Уходить не следовало! Хоть бы объяснил, сказал...

Алексей побежал к проходной: надо поймать когонибудь из цеха, сказать, предупредить, что сделал Гаевский...

Через проходную поодиночке, группами, молча, переговариваясь, чему-то смеясь, шли и шли рабочие. Десятки, сотни. Они шли спокойно, уверенно: до третьего гудка успеют, работать начнут вовремя. А он — нет... Алексей нетерпеливо переступал с ноги на ногу, искал глазами знакомые лица. Ни одного. Механический далеко, в него проходят раньше.

Поток рабочих слабел, иссяк совсем! И через несколько минут загудел третий гудок. Всё! Цех начал работать, а он нет... Проклятая контора закрыта, и не к кому обращаться, некому жаловаться.

Алексей снова сел у входа в отдел найма и через минуту встал. Сидеть целый час, ждать, пока придут все эти... И Гаевский тоже. И все будут смотреть на него, как он сидит здесь, взъерошенный, растерянный, и ничего не может сделать... Гаевский — особенно. Пусть только придет!

Он пошел вдоль ограды к ковшу заводского порта. Посреди ковша стояла завозня. Она служила базой для водолазов. Ковш очищали от «рвотины» — рваного огнем и взрывами железа,— которой завалили его во время войны. Теперь он был снова нужен: завод готовился к переходу на камышбурунскую руду, и порт подготавливали к приему рудовозов.

Полузатопленного парохода у правого, низменного берега уже не было. Еще весной его кое-как залатали, подняли и отвели к судоремонтному заводу — на слом.

Алексей сел на берегу. Когда-то из трюма этого парохода он вытащил едва не утонувшего Витьку. Сюда, проваливаясь по пояс в сугробы, он приходил с Наташей «изучать

пароходы», когда они затеяли «Футурум» — детское свое общество будущих капитанов... Пароход уже не существовал, Наташа уехала. Витька теперь помогал другим топить его, Алексея, и Гаевский снова начал возню вокруг «Футурума». Ничего у него не выйдет! Вот только Алексей получит обратно пропуск, пойдет в цех и все расскажет...

Дверь отдела найма уже была открыта. Алексей постучал в окошко, закрытое крашеной фанерной дверкой. Окошко открылось, большеносая седая женщина строго и вопросительно посмотрела на него.

— У меня отобрали пропуск.

— Из какого цеха? Как фамилия?

— Горбачев, из механического.

— А, Горбачев...— Она наклонилась над столом, поискала там, потом, сняв скрепку, разделила две бумажки, одну из них протянула Алексею.— Вот, оформляй.

— Что оформлять?

— Увольнение оформляй. Не видишь, что ли?

— Какое увольнение?! Дайте мой пропуск, я в цех пойду.

— Пропуска ты больше не получишь, и в цех тебе ходить незачем — там все уже отмечено.

— Да кто... На каком основании?

— По приказу начальника цеха.— Седая женщина подняла второй листок и прочитала: — «За нарушение трудовой дисциплины, попытку дезорганизовать производство и антиобщественное поведение разметчика А. Горбачева уволить с 27 августа 1952 г.»

Алексей вцепился руками в подоконник.

— Где Гаевский?

— Зачем тебе Гаевский? Его сегодня не будет.

Фанерная дверца захлопнулась.

На увольнительном обходном листке уже стояли подписи Витковского и мастера. Это они нарочно, чтобы Алексей не мог прийти в цех, рассказать, найти защиту... Вот гады! Ну, погодите...

В несколько прыжков Алексей оказался на втором этаже. Завком начинал работу в девять. В девять председателя завкома не было. «Наверно, пошел по цехам»,— сказала секретарша. В десять его тоже не было. Он пришел только в одиннадцать.

— Я к вам,— бросился к председателю Алексей.

— У меня прием с двенадцати... Ну ладно, заходи. В чем у тебя там дело?

— Меня уволили.
— За что?
— Неправильно уволили! Я ничего не нарушал и не дезорганизовывал... Это все подстроили!
— Погоди! Давай по порядку: из какого цеха?
— Из механического. Разметчик. Горбачев.
— А, Горбачев... Н-да... Говорили мне про тебя, говорили... Что ж, правильно тебя уволили.
— Как — правильно? За что? Я ж ничего не нарушал!..
— «Молнию» срывал? Ну, не срывал, писал на ней... Факт? Факт. Передовиков опорочивал? Факт. Ну и всякие там темные дела за тобой... А ты хочешь, чтобы мы тебя защищали? Мы защищаем людей, которые честно работают, помогают производству, а не дезорганизуют его.
— Так это все неправда!
— Ты мне байки не рассказывай! «Неправда»... Цехком разобрался, он решение начальника цеха поддерживает, и мы поддержим. Так что на нас не рассчитывай.
— Так что же мне делать?
— Что хочешь... Раньше нужно было думать.
Слова, множество слов душили Алексея. Горячих, гневных и правдивых. Но он смотрел в лицо председателя и видел, что все эти слова ни к чему, их не будут слушать и, даже выслушав, не услышат.
— Все, Горбачев. Разговор окончен.
Алексей вышел. Против двери завкома профсоюза была дверь заводского комитета комсомола. Алексей поколебался и вошел. Преждевременно располневший молодой человек читал какие-то бумаги и подчеркивал фразы толстым красным карандашом. Услышав стук в двери, он поднял голову.
— Слушаю.
Алексей сказал, что он, хотя и не комсомолец, пришел в комитет, чтобы ему помогли.
— Давай, давай, что там у тебя?
Алексей рассказал. Секретарь, поигрывая карандашом, подумал.
— Постой, это не про тебя газета писала?
— Про меня... Только это неправда.
— Как это — неправда? Наша печать неправды не пишет... Ладно, я проверю, поговорю с комсоргом вашего цеха. Только имей в виду: бузотеров мы не поддерживаем!

И если окажется правда — пеняй на себя.— Секретарь снова склонился над бумагами.

Грохоча башмаками по лестнице, Алексей выбежал на улицу.

Вот как они устроили всё! Он приготовился доказывать свою правоту, бороться. С ним не собирались бороться, никого не интересовали доказательства. Его просто отбросили в сторону, вышвырнули, он перестал для них существовать...

В общежитии не оказалось никого, кроме тети Даши.

— Ты что так рано? Али захворал?

— Уволили меня, тетя Даша...

— Батюшки! За что?

— Ни за что... С начальником спорил...

— Эка вы, языкатые! Кидаетесь, как кутята, на кого ни попадя, вам же и достается. Кто тебя за язык тянул? Сам небось?

— Сам.

— Ну вот! Нет чтобы посмирнее. Все ершитесь, хорохоритесь. А толку что? Что вот теперь делать-то будешь?

— Обжалую! Я докажу!

— Доказывай теперь, попробуй.

Тетя Даша ушла, но через несколько минут вернулась.

— А жаловаться пробовал?

— В завком ходил, в комитет комсомольский. Говорят, мы таких не поддерживаем...

Тетя Даша, скорбно поглядывая на Алексея, долго размышляла.

— А в суд? У нас вон во дворе сосед — его из артели уволили. И тоже все вот так-то от него отказывались. А он подал в суд, и скрозь суд его обратно на должность поставили. Еще и деньги заставили выдать за прогулянные дни...

Юридическая консультация находилась на солнечной стороне проспекта. Несмотря на опущенные шторы, в ней было так душно, что юрист, в просторном, как балахон, чесучовом пиджаке, изнывал от жары и поминутно вытирал пот. Приходу Алексея он явно обрадовался: его разморило не только от зноя, но и от скучного романа, который лежал в открытом ящике стола.

— Присаживайтесь, юноша, выкладывайте, что у вас стряслось?

Алексей спросил, можно ли подать в суд о восстановлении, если человека неправильно уволили с работы.

— Разумеется, можно. Речь идет, по-видимому, о предприятии, о заводе? В таком случае необходимо предварительное решение РКК, расценочно-конфликтной комиссии. Она состоит из представителя администрации и профорганизации. Если комиссия не придет к полюбовному соглашению или откажет жалующемуся, тогда появляется основание для судебного разбирательства конфликта.

Алексею представились лица Иванычева и председателя завкома.

— Она откажет.

— Ага!.. А почему вы так уверены? Кого именно уволили? Вас? За что?

Полное, добродушное лицо юриста, его готовность все объяснить расположили к нему Алексея, он начал рассказывать. Лицо юриста стало скучным.

— Так, так...— Юрист побарабанил пальцами.— Случай не из легких, случай весьма чреватый... Да. Ну, как бы там ни было, процедура остается такой же: РКК, потом — суд.

— Да какая же РКК, если у меня отобрали пропуск, в цех не пускают?!

— Тут уж я затрудняюсь, это — не моя сфера... Как-нибудь добивайтесь.

Алексей поднялся. Юрист, облегченно вздохнув, выдвинул ящик стола, в котором лежал раскрытый роман. Уж лучше скучный роман, чем такие кляузные дела...

Круг замкнулся. Для того чтобы обжаловать, опротестовать увольнение, он должен был проникнуть на завод, в цех, но туда его не допускали, а все, кто должен был вступиться и защитить, сделать этого не хотели или не могли. Подсказать выход мог только один человек — Вадим Васильевич...

Вадим Васильевич не удивился и не обрадовался, увидев сидящего на ступеньках веранды Алексея. Он открыл дверь, впустил Алексея и плотно прикрыл дверь.

— Ну, что у тебя, как дела?

— Уволили.

— То есть... совсем? — спросил Вадим Васильевич и покраснел: вопрос был не слишком умный.

— Совсем. Отобрали пропуск, дали обходной листок.

— А формулировка?

— За нарушение трудовой дисциплины, дезорганизацию производства и антиобщественное поведение.

— М-да, густо...

Вадим Васильевич, то подбирая, то оттопыривая губы гузкой, заходил по комнате.

— М-да... Ты погоди, я умоюсь...

Он умывался не спеша и торопливо взвешивал, прикидывал, потом долго смотрел, как тугая струя дробится на фаянсе в сверкающие капли, урча, уходит в решетку слива. Что ни думай, как ни прикидывай, все равно худо...

Вернувшись, он снова принялся ходить по комнате.

— Видишь, я тебя предупреждал. Однако чужой опыт впрок не идет, помогает только собственный... Что ж ты намерен делать? Идти на другой завод?

— Зачем? Меня здесь должны восстановить!

— Должны! — хмыкнул Вадим Васильевич.— А если не восстановят? Ты с кем-нибудь говорил?

Алексей рассказал о безрезультатном посещении завкома, комитета комсомола и юриста.

— Вот то-то и оно! Выслушав тебя, любой захочет выслушать другую сторону. Ты — одиночка, а другая сторона — организация. Кому скорее поверят?.. Кто там?

— Я, я, Вадим.— Ксения Петровна вошла в комнату.— О, Алеша! Здравствуй... Вы, по обыкновению, залезли в высокие материи натощак? Сейчас будем обедать...

— Материи не очень высокие. Вышибли этого правдолюбца.

— Как — вышибли?

— А вот так! — Вадим Васильевич щелкнул пальцами, как бы стряхивая пылинку с рукава.

— Господи! Да за что же?.. Сейчас я накрою на стол, и ты мне, Алеша, расскажешь.— Ксения Петровна вышла в соседнюю комнату.

— Посоветуйте, что мне делать, Вадим Васильевич.

— Советы спрашивают, чтобы их не выполнять и чтобы было на кого сваливать вину в случае неудачи... Я ведь тебе советовал плюнуть — не послушался. А что я теперь могу посоветовать? Можно и сейчас отступиться, плюнуть и идти на другой завод. Там примут, люди везде нужны...

— Выходит, признать, что они правы, а я на самом деле хулиган и дезорганизатор? Я же за правду, а не ради себя... Нет, я не отступлюсь!

— Тогда остается одно: превращайся в жалобщика. Пиши жалобы в область, в Киев, в Москву...

— А поможет?
— Не знаю, никогда не жаловался.
— Это — долго. Пока ответят... И потом они могут переслать мои заявления сюда?
— Насколько я знаю, именно это и произойдет. Все возвращается на круги своя...
— Так какой толк?
— По всем вероятиям, никакого.
Они помолчали.
— А я все-таки буду добиваться! — упрямо набычившись, сказал Алексей.
— Извечный спор между лбом и стенкой, между плетью и обухом... Что ж, валяй, упражняйся!
Вадим Васильевич несколько раз прошелся по комнате, поглядывая на Алексея, потом остановился, посопел в кулак.
— Только вот что... Это вопрос деликатный, постарайся понять меня правильно... По некоторым причинам я не могу объяснить тебе, в чем дело... Но у меня есть основания. И очень серьезные!.. Я тебе потом при случае расскажу... М-да... Видишь ли, я думаю... то есть так оно и есть, тут нечего и думать... Понимаешь, некоторое время нам лучше не встречаться, то есть встречаться пореже, чтобы не привлекать внимания... Повторяю, у меня есть очень серьезные основания, о которых ты не подозреваешь...
Алексей поднялся.
— Да нет, разве я тебя гоню? Я вообще говорю...
— Понимаю. Я все-таки пойду, мне повидать кое-кого надо...
— Постой, пообедаем, тогда и пойдешь.
— Мне не хочется. До свиданья.
Алексей повернулся и встретился взглядом с Ксенией Петровной, стоящей в дверях. Глаза ее были широко открыты, брови пораженно и гневно сведены.
— Подожди, Алексис! Так же нельзя... Может, тебе деньги нужны? Много у меня нет, а...— Вадим Васильевич сунул руку в карман и достал несколько пятидесятирублевок.
Алексей взглянул на деньги, посмотрел ему в лицо. Вадим Васильевич начал неровно, пятнами краснеть. Вместо руки друга он протягивал банкноты...
— Спасибо, денег мне не нужно... Я пойду. Извините,— сказал Алексей Ксении Петровне и пошел к двери.

— Алеша! Алеша! — закричала она.

Алексей, не оборачиваясь, сбежал с веранды.

— Вадим! — почему-то шепотом сказала Ксения Петровна.— Как ты мог, Вадим? — и прижала руку к полуоткрытому от ужаса рту.

— А что я мог? — закричал Вадим Васильевич. Чем еще, кроме крика, мог он заглушить стыд? — Что я могу сделать? Что я, должен подставлять свою голову?

Ксения Петровна молча и изумленно, словно впервые увидев, смотрела на него.

Молчание казнило хуже любых слов, брани, крика. Вадим Васильевич выбежал на веранду, яростно захлопнул за собой дверь. Двор был пуст, Алексей уже ушел. Вадим Васильевич заметался по веранде.

...Алексея сжигали горечь и стыд. Стыдно было смотреть в лицо Вадиму Васильевичу, встретить его ускользающий взгляд, слушать спотыкающуюся речь... Как хорошо Алексей понимал теперь Артура, будущего Овода, когда он обнаружил обман своего отца, друга и духовного наставника и написал ему: «Я верил в вас, как в бога, а вы лгали мне всю жизнь!..»

Вадим Васильевич не лгал ему всю жизнь — он лгал всей своей жизнью: думал и говорил одно, а делал другое. Недостаточно знать много и уметь произносить всякие слова. Надо еще уметь не бояться идти в драку, не рассчитывая и не прикидывая — побьешь ты или побьют тебя... Ему не нужно было драться самому, его не побили, даже не замахнулись, а он испугался.

Еще одна утрата... Утраты! Как стремительно надвинулись они на Алексея, вели друг друга за собой: уехала Наташа, лучший друг оказался врагом, работа — недостижимой, наставник — трусливым болтуном...

Дома его подстерегала еще одна. Ребята уже переодевались после работы и собирались уходить.

— Тебя комендант спрашивал,— сказал Костя Поляков, когда Алексей вошел.

Алексей хотел было идти отыскивать Якова Лукича, но тот сам открыл дверь.

— Горбачев пришел? Ага... Тебя уволили?

Все ребята удивленно уставились на Алексея.

— Меня восстановят, я добьюсь...

— Когда восстановят, тогда другой разговор будет. А теперь предупреждаю: в трехдневный срок освободить койку. Сегодняшний засчитывается. Так что собирай шмутки и в понедельник уматывай...

— Куда же я пойду?

— Меня не касается. Мне из АХО позвонили, дали команду. Понятно?

— Не имеете права,— сказал Костя,— он же будет добиваться!

— Ты тут пра́ва не устанавливай! Мне кого слушать — вас или начальство? Поскольку он теперь на заводе не работает, проживать ему тут не полагается. Понятно?

Яков Лукич ушел, ребята накинулись с расспросами. Алексей коротко рассказал.

— Ты вот что,— подумав, сказал Костя,— ты этого старого хрена не слушай! Живи, и все. Пока не восстановят. Что он тебя, с милицией будет выгонять?

— Постель заберут.

— Подумаешь! Со мной будешь спать, я не толстый, поместимся... А то куда же ты, на улицу?

Ребята поговорили еще, надавали хороших, но бесполезных советов и ушли. Алексей посидел немного и тоже пошел. Идти было некуда, но он не мог сидеть в четырех стенах, которые уже тоже становились чужими.

20

Деловито сопящие карапузы занимались в сквере извечной своей работой: лепили песочные пирожки, строили дома. Алексей присел на скамейку. Тело изныло от усталости, ноги горели. Следовало пойти в общежитие, но он слишком устал. Устал и ходить и думать. К ребятишкам подходили мамы, отряхивали с них песок и уводили домой — уже смеркалось. Детская площадка опустела. Алексей почувствовал жажду, подошел к киоску с газированной водой. Руку его со стаканом воды ухватили цепкие пальцы. Рядом стоял Олег Витковский.

— Кто ж эти помои пьет? Ты же рабочий класс! А что сказал талантливейший поэт нашей эпохи? «Класс, он жажду заливает квасом? Класс, он тоже выпить не дурак...»

Олег улыбался. От него несло водочным перегаром, крылья носа и виски у него побелели.

— Что смотришь? Думаешь, я на газу?

Витковский всегда был неприятен. Сейчас он был ненавистен: он был сыном того Витковского, который выгнал Алексея с работы... Хоть этому дать в морду!

Алексей медленно поставил стакан обратно.

— Слушай, Горбачев, ты ж мировой парень! Что ты из себя монаха строишь? За это денег не платят, орденов не дают. Знаешь, есть такой анекдот: приходит один...

Сбиваясь и похохатывая, Олег рассказывал, но Алексей не слушал. В морду не трудно... Ну, сорвешь зло, а потом?.. Может... Может, рассказать? Пускай поговорит с отцом, объяснит... Меня не захотел слушать, но если сын объяснит как следует, подробно и про баптистов, и про дядьку, и про «Футурум» — он же увидит, что все враки, выдумки того гада...

— Мне с тобой поговорить надо.

— Так в чем дело? Пошли!

— Давай тут.

— Всухую? За кого ты меня держишь? Пошли в пельменную, там посидим, а потом у меня есть один вариант...— Олег многообещающе ухмыльнулся и подмигнул.

Алексей только теперь вспомнил, что с утра ничего не ел.

— Ладно, пойдем.

В форточке гудел вентилятор, громкоговоритель грохотал, сидящим приходилось перегибаться через столики и кричать, чтобы услышать друг друга. Синие полосы табачного дыма колыхались над головами разомлевших от водки и духоты людей.

Олег и Алексей сели за столик у стены против входа. Над ними в огромной тяжелой раме оранжевые космы волн вздымались к желтому солнцу.

— Произведение, а? Мировая вещь! — кивнул Олег.— Клавочка! — Он обхватил проходящую официантку за место, где у нее когда-то была талия.— Сработай нам поллитровочку...

— Я пить не буду,— сказал Алексей.

— А кто будет пить, кто? Разве это называется пить? Ладно, для начала дай нам две полуторки с прицепом. Только в графинчиках, как полагается. Ну, селедочки, пельменей и все тому подобное, сама знаешь... Ты, может, стесняешься насчет монеты? У меня хватит, будь спок! — Он показал пачку денег.

Алексей не знал, с чего начать, озирался, разглядывал посетителей. Столики были заставлены пивными кружками, бутылками и едой. Под ложечкой уже не сосало, а жгло и резало. Клавочка принесла графин с водкой и кружки с пивом, расставила металлические тарелки с закусками.

— За дружбу! — разливая водку, сказал Олег.

— Я лучше пива.

— Кто пьет пиво? Извозчики! И тех нет... Пиво не пьют, им запивают. Ты что, маленький? Выпьем, потом поговорим...

Водка обожгла рот и горло.

— Пивком, пивком! — деловито подсказал Олег.

Алексей выпил пива.

— Ну вот, порядок.— Олег в свою очередь выпил водку, запил пивом.— Вообще говоря, между первой и второй не дышат... Ну, у тебя тренировки нет — закуси.

Алексей проглотил кусок жесткой от уксуса селедки. По телу разлилась теплая волна, поднялась к голове. Галдеж в пельменной, грохот громкоговорителя стали как бы тише. Кто его знает, может, этот Олег не такой уж плохой парень? В конце концов, что он ему сделал? Когда-то в детстве разок подрались. Велика важность. Кто в детстве не дрался?

— Сейчас мы это прикончим, захватим еще горючего и пойдем в одно место... Есть тут одна... Пластинки у нее — закачаться! Морячки прихватили. Из Западной Германии. Ударник и шесть саксов. Сила, представляешь?.. Пам-па-па-пап-пап-пап...— Олег начал напевать в судорожном, спотыкливом ритме, пристукивая донышком кружки по столу, потом спохватился, снова налил в стопки водку.— Знаешь, есть мировой тост: «Дин, скол, мин скол, аллавака фрика скол!»

— Это по-каковски?

— Кажется, по-норвежски, моряк один научил. «За тебя, за меня, за всех девушек!» Здорово, а? Ну, давай...

«Не за всех, за Наташу!» — подумал Алексей и выпил.

— До конца, до конца, не будь бабой.

Алексей допил. Теперь уже было не так трудно и противно. Он сам налил пива и запил. Минуту спустя горячая волна снова разлилась по телу. Пальцы стали неловкими — Алексей хотел подцепить кусок селедки и промахнулся.

— Я больше пить не буду.

— Что ты! Мы еще по полтораста не выпили...

Алексей гонял вилкой пельмени по жестяной тарелочке и думал, с чего начать. Наверно, лучше не сразу, подойти издалека...

— Слушай, ты в бога веришь?

— В бога? — Глаза Олега остановились.— Что я — сдурел? Я, если хочешь знать, ни во что не верю!

— Как это — ни во что?

— А так: дин скол, мин скол, аллавака фрика скол!.. И все! И точка! А все остальное — до лампочки!

— Это ты врешь!

— А чего бы я врал? Что я, кого боюсь? Да я никого не боюсь! Плевать я на всех хотел! — В духоте пельменной Олега быстро развозило.— И плюю... Давай выпьем и наплюем на все!

Алексею есть уже не хотелось. Мысли сделались легкими, ускользающими, удерживать их становилось все труднее.

— Мне тоже ребята говорили: «Плюнь!»

— И правильно!

— Не могу.

— Ну и дурак! Что ты, сто лет будешь жить? Да сколько б ни жил. Ну и дурак! — повторил Олег.— Или притворяешься...

— Я не притворяюсь.

— Все притворяются! И врут. А я — нет. Если хочешь знать, я — самый честный!

— Ладно,— сказал Алексей. Пьяный спор уводил слишком далеко в сторону.— Я с тобой не об этом хотел...

— Так и я не об этом! — подхватил Олег.— Я тебе, как другу... Понимаешь, как другу! Постой... Выпили еще? Выпьем! Вот так... Я тебе, как другу, советую: брось ты это дело!

— Что бросить?

Ну, ты там вкалываешь, в вечернюю школу ходишь... На черта тебе это надо? Живешь, как арестант... Ты же настоящий парень!

— А как жить надо?

— Как умные люди живут! Ну вот — я. Мог поступить в институт? Мог. Ну, там конкурс, медалисты... Плевать! Мой старик это бы дело устроил. А я не пошел. Что я потом с этого буду иметь? Вкалывай, как ишак, за это тебе семьсот в зубы и — будь здоров?

— А сейчас ты сколько получаешь?

— Я не получаю, я беру.

— Но ты же работаешь?

— Я? А зачем мне это надо? Работа дураков любит, пускай работяги и надрываются... Я и так проживу.

— И отец не возражает?

— А что отец? У меня старик ушлый, он тоже своего не упустит. Ему за пятьдесят, а он еще дает дрозда... Ну и правильно! Жить надо весело.

— А на что?
— Найдется, надо только шевелить извилинами... Понимаешь?
— Нет. Если все так будут рассуждать...
— Кто все? Все не рассуждают.
— Погоди! Люди работают, строят коммунизм...
— Детка! Ты меня хочешь агитировать? Не надо, я в коммунизме больше понимаю. Они еще строят, а я уже в коммунизме — получаю по потребностям.
— Не работая?
— Чудак! Что я тебе, рабочая скотинка, чтобы ишачить?
Теперь Алексей не слышал никакого шума, не видел ничего, кроме бледной самодовольной рожи Олега, по которой змеилась презрительная ухмылка.
— А кто же ты? Шкура?
— Постой...
— Значит, все пускай работают, а ты нет? Все — рабочая скотинка, а ты кто? Все на тебя, гада, должны работать, чтобы ты жил весело?!
Опираясь о столешницу, Алексей поднялся. Он не замечал, что уже давно кричит и окружающие слушают. Олег вскочил, ухватил его за руку.
— Погоди, ты не так понял...
— Я тебя хорошо понял... Уйди, гнида!
Алексей рванул руку, Олег не удержался на ногах, рухнул на стол. Жестяные тарелки, вываливая на него содержимое, попадали.
— Крепко! — с удовольствием во весь голос отметили за соседним столиком. Там сидели четверо молодых рабочих.
— Погоди, ты у меня получишь! — трясущимися губами проговорил Олег, но тут же попятился к стене и побледнел еще больше.
Задевая стулья сидящих, Алексей вернулся, сунул руку в карман.
— На, подавись! Я на твои не пил...
Он швырнул в лицо Олегу смятые бумажки, никелевая мелочь брызнула в стенку, на стол.
— Врежь этому тарзану как следует! — с вожделением сказал тот же голос.
Алексей повернулся и, покачиваясь, толкая сидящих, пошел к выходу.
Олег проводил его ненавидящим взглядом, с пьяной старательностью отряхнул костюм.

— Ух, я ему сейчас сам приварю! — пообещал голос.

Над соседним столиком приподнялась голова и плечи говорившего.

— Брось! — ухватили его за руки товарищи. — Не марайся. Его и так уже можно ложками собирать...

Опасливо оглядываясь, Олег отодвинулся, сунул подбежавшей Клавочке деньги и пошел к выходу. У двери он оглянулся, стараясь рассмотреть и запомнить лицо грозившего. Тот заметил это и снова начал приподниматься. Олег захлопнул за собой стеклянную дверь.

21

Ноги не слушались. Алексей осторожно поднимал ногу, старательно ее заносил, но опускалась она совсем не туда, куда нужно, а в сторону, туда же заносило его самого, и, чтобы не упасть, нужно было быстро-быстро перебирать ногами, пока равновесие не восстанавливалось, но со следующим шагом оно опять терялось, и Алексея относило в другую сторону. Он старался никого не задеть, но задевал, толкал прохожих и невнятно бормотал: «Извиняюсь...» Потом единоборство с непослушным телом поглотило все внимание, и он перестал извиняться. Одновременно идти и думать было трудно, но не думать он не мог. Время от времени он останавливался и говорил, не замечая того, вслух:

— Нашел кого просить! Ду-рак!.. — и тряс головой от отвращения к себе.

Потом он шел дальше и останавливался:

— Нашел с кем говорить! Ско-тина!..

От него шарахались, одни поругивали, другие посмеивались. Он ничего не замечал, не слышал и только иногда приостанавливался и оглядывался — туда ли он идет? Дорога была знакома, и, заваливаясь со стороны на сторону, он шел дальше.

Миновав сквер, Алексей остановился. Перед общежитием не было никаких ворот, а здесь между каменными столбами подвешены ворота из железных прутьев. Но он же шел домой и проверял дорогу, все было точно. Все точно: он пришел домой, только не в общежитие, а в свой дом, в детский дом...

Алексей привалился к каменному столбу. Когда-то, в первый день жизни здесь, после первого знакомства с Витькой, он заблудился и пришел сюда поздно ночью.

И все было так же, как теперь. И теперь так же горят тусклые лампочки у входа в кухню и в спальни, так же висит в небе бледный рожок месяца, так же лежат на земле черные тени тополей... Все такое же и уже не такое. Вот он снова заблудился, только иначе, и, не сознавая того, пришел в с в о й дом. Но он уже ничем не может ему помочь. Другие мальчишки и девчонки спят в спальнях, другими судьбами заняты Ксения Петровна и Людмила Сергеевна... Тогда он, измученный и голодный, ткнулся ей в плечо, заплакал, и она заплакала тоже. Он рассказал все о себе, навсегда поверил ей, а она — ему... А теперь? В чье плечо может уткнуться он, верзила, кому пожаловаться? И чему помогут жалобы теперь?

Его пронзила щемящая жалость к самому себе. Нельзя вернуться в детство, ничего нельзя вернуть... Надо уходить! Нельзя, чтобы видели его здесь таким... Он с трудом оторвался от столба.

— Кто здесь? Что вы тут делаете? — спросил встревоженный женский голос.

Маленькая полная женщина присматривалась к стоящему в тени Алексею. Он панически метнулся в сторону. Нельзя, нельзя, чтобы она видела его таким!..

— Что вам здесь надо?

Ноги подвели, Алексей ухватился за столб.

Языка во рту было так много, что он с трудом поворачивался. Но нельзя, чтобы она напугалась!

— Я с-сейчас... Я уйду, Людмила Сергеевна...

— Кто это?.. Господи! Алексей, Алеша... Ты что, больной?

Алексей оторвался от столба, его качнуло к Людмиле Сергеевне.

— Да ты пьяный! — с отвращением сказала она.

— Н-нет, я не пьяный...— помотал головой Алексей.— Я все понимаю...

— Что уж тут понимать!.. Зачем ты сюда в таком виде явился? Здесь же дети!

— А я уйду... Я так... Не сердитесь, Людмила Сергеевна...

Алексей, то торопливо перебирая ногами, то с трудом переставляя их, валясь со стороны на сторону, пошел через сквер. Людмила Сергеевна догнала его.

— С чего это ты нагрузился? Получке обрадовался?

Алексей махнул рукой и не ответил. Он старался идти быстрее, чтобы уйти от Людмилы Сергеевны, но она не отставала.

— Домой-то дойдешь?
— Д-дойду... А что же я, не д-дойду?..
Пройдя квартал, он увидел у ворот скамеечку, постоял, покачиваясь, и плюхнулся на нее.
— Ну? — строго спросила Людмила Сергеевна.— Чего уселся? Пойдем. Где твое общежитие?
— Там...— махнул рукой Алексей.— Н-ну его к черту вместе с этим... со всем... Вы идите... А я не п-пойду, мне нехорошо... А тут — хорошо!..
Людмила Сергеевна растерялась. Что делать? Оставить нельзя!
— А ну, вставай! — Она изо всех сил затрясла его за плечи.— Вставай сейчас же!
Алексей покорно поднялся. Людмила Сергеевна взяла его под руку и повела.
Он шел осторожно, стараясь не толкать Людмилу Сергеевну, но все-таки толкал, наваливался на ее плечо грузным, беспомощным телом.
Людмила Сергеевна открыла дверь, зажгла свет. Возле окна стояла раскладушка.
— Садись.
Алексей послушно сел, расставив руки, уперся в край раскладушки.
— Сними башмаки.
Он нагнулся и едва не упал на пол.
— Сиди уж, горе горькое!
Алексей тупо смотрел, как Людмила Сергеевна, встав на колени, попробовала снять туфли. Они не снимались.
— Кто это, мама?
Алексей поднял голову. В дверях стояла светловолосая голубоглазая девушка.
— Мой воспитанник, бывший...
— Хорош воспитанник!
Глаза девушки обдавали холодом и презрением.
— Ты много понимаешь!.. Намочи полотенце, дай мне.
— Очень нужно с таким возиться!
— Люба!
Туфли наконец были сняты. Люба подала полотенце. Губы ее брезгливо искривились.
— Пускай она уйдет,— пробормотал Алексей.
— Что, стыдно? — закричала Людмила Сергеевна.— А меня не стыдно?
— Стыдно...— бормотал Алексей.— Мне стыдно, Людмила Сергеевна. Я пойду...

— Никуда ты не пойдешь! Ложись и спи.— Она подтолкнула Алексея, и он завалился на подушку.

— Если б вы... Если б вы только знали, Людмила Сергеевна...— попробовал приподняться Алексей.

— А что там знать?.. Лежи, тебе говорят!.. Все вы хороши. Только и люди, пока маленькие. А потом дорываетесь до этой проклятой водки и... опять начинаете на четвереньках ползать... И зачем ее только делают, проклятую, зачем продают?.. Что молчишь?

Алексей уже спал. Должно быть, его во сне мутило — он болезненно морщился и не то мычал, не то стонал.

«Ах, дичок, дичок! А я-то думала, что ты уже выровнялся, стал настоящим... Сам свихнулся или, как муж Киры, попал в плохую компанию? Дорожка удобная — покатая, на нее легко вступить, а сойти — попробуй-ка...»

Людмила Сергеевна мокрым полотенцем вытерла ему лицо и шею, положила полотенце на лоб. Алексей не пошевелился. Она погасила свет и вышла.

...В глухой черной пустоте забрезжил свет, послышался плеск волн. Свет разгорался, трепещущий, будто воспаленный, и все громче шумели волны. В зыбком тревожном свете метались две фигуры. Алексей узнал их: это были Зигфрид и злобный чародей Ротбарт. Фигуры становились отчетливее, лица яснее, и вдруг Алексей увидел, что Зигфрид — это он сам... Он только удивился, как это он мог стать кем-то другим и одновременно видеть себя со стороны, и тотчас забыл о своем удивлении — Ротбарт нападал и нужно было обороняться. Он схватил чародея за руку и далеко отшвырнул в сторону. Ротбарт упал, но тут же вскочил и снова бросился на него. Он изо всех сил ударил, Ротбарт опять упал и опять вскочил. Он налетал отовсюду — спереди, сзади, сбоку. Куда бы ни оборачивался Алексей, всюду злобно сверкали его близко поставленные глаза-колючки. Алексей собрал все силы, отшвырнул Ротбарта, поднялся на ноги. Ротбарт исчез. Алексей глубоко вздохнул. Внизу под скалой громоздились и разбивались волны. И вдруг страшный толчок опрокинул его. Падая, Алексей увидел, что вовсе не Ротбарт, а Гаевский, ненавистный Гаевский, стоит на скале и трясется в беззвучном злорадном хохоте. Он падал все быстрее и быстрее... Алексей вздрогнул всем телом и проснулся.

Какая-то кухня... Чья? Как он сюда попал?.. Алексей

приподнялся, сел на раскладушке и ухватил себя за виски — голова раскалывалась. Мокрое полотенце, от него промокла подушка... Спал одетый, только башмаки снял... Не сам снял... Ему смутно вспомнилась женщина, которая стояла перед ним на коленях и стаскивала башмаки. Маленькая, полная, седеющие стриженые волосы... Потом еще какая-то молодая так на него смотрела, что прямо... Да ведь это же Людмила Сергеевна! Людмила Сергеевна привела его сюда. Он зачем-то пришел к детдому, а она привела сюда, к себе, уложила спать, снимала с него башмаки, а он сидел, как бревно, и только смотрел... А та, вторая, наверно, дочка... Как же он теперь ей в глаза посмотрит!..

Алексей подошел к раковине, осторожно, чтобы не шумела, пустил воду и выпил подряд две кружки... Нашел друга-приятеля, которому только душу изливать! Надо было дать ему в паразитскую рожу. Кажется, я ему таки дал. Или нет?.. А черт с ним! Вот напился, как скот... Мало ли что натощак? А если не натощак, лучше? Не так стыдно? Все равно скотство... Теперь вот — хоть сквозь землю... Собирался да собирался зайти проведать, все времени не хватало. А упился — нашлось время. Проведал, обрадовал... А она еще с ним панькалась. Ух, скотина!..

Алексей взял башмаки и на цыпочках подошел к двери. Хорошо, что замок английский... Он открыл дверь, вышел и осторожно прикрыл, пока язычок замка не щелкнул. Теперь надеть башмаки и — ходу!.. Потом, когда все кончится, он придет и объяснит. Она поймет...

В утренней звонкой тишине изредка слышались шаги — хозяйки с кошелками, сумками спешили на базар. Фонтан в сквере еле слышно журчал перекрытой на ночь, для экономии, струей. Алексей умылся, вытер лицо носовым платком. Как все повторяется! Когда-то в этом сквере он подрался с Олегом Витковским — тот ударил малыша Славку — и потом в этом бассейне умывался...

Нет, не повторяется, теперь совсем другое. К шишкам, которые ему набили Иванычев и Гаевский, листок не приложишь... Ну, а дальше что? Спрятаться, уйти, как советовал Вадим Васильевич, на другой завод? Покориться Иванычевым и Гаевским? Сегодня он стерпит, завтра другой...

«Четверка», звеня, поднялась по проспекту. Из нее вышло столько народу, что Алексей стоял и диву давался — как они все там уместились? Это приехали со Стрелки на базар, и уже не столько покупать, сколько продавать —

вон какие мешки и корзины тащат. Алексей отвернулся и пошел дальше.

— Алеша, подожди! Горбачев! — закричали сзади. Сгибаясь под тяжестью больших корзин, его догонял Голомозый.

— Фу-х! Запарился,— сказал он, вытирая пот.— Видишь, дома тоже эксплуатация — жинка заставляет помогать.

От корзин несло крепким яблочным духом. Алексей проглотил голодную слюну — уже сутки он ничего не ел, кроме куска селедки в пельменной. Голомозый проворно нагнулся, вынул из-под мешковины яблоко.

— На, скушай яблочко.

— Падалица? — усмехнулся Алексей.

— Почему? Думаешь, точка вот эта? Это так... А если и червяк? Червячка всегда выкинуть можно... Как же ты теперь, а? Я было пробовал с Ефимом Петровичем говорить, замолвить словечко — ни в какую! Очень уж, говорит, на тебя рассердились: авторитет подрывает, на цехком наплевал, не явился... Всё, говорят, от ворот поворот, назад ему ходу нету!.. Ну и как же? У тебя, известное дело, ни кола, ни двора. Вы, молодежь, про черный день не думаете, что случилось — и голову некуда приклонить... Как в общежитии-то, не трогают?

— Выгоняют.

— Ну вот, ну вот...— завздыхал Голомозый.— Ох, люди, люди!.. Куда ж ты теперь? Деваться-то ведь некуда?.. Ты вот тогда осерчал, отклонился от нас. А зря! Человеку в беде одному нельзя быть. Никак нельзя! Человек, ежели он один, непременно пропадет. Запросто! И кто тебе руку помощи протянет? Товарищи? Они вон тебя — по рукам... Да... Ты приходи сегодня ко мне. Поговорим, посоветуемся. Другие братья будут, что-нибудь придумаем...

— Утешать будете?

— Утешить один бог может. А на первый случай и люди пригодятся: чем-нибудь да помогут. И отвергать доброе слово нехорошо...

— Не нужно мне ни ваших червивых яблок, ни червивых слов. Ешьте их сами!

Алексей повернулся и зашагал прочь.

— А ты не гордись, не гордись! — закричал Голомозый, протянув к нему руку с зажатым в кулаке яблоком.— Надумаешь — приходи!

Алексей не обернулся. Голомозый укоризненно покачал головой, посмотрел на яблоко, сунул его под мешко-

вину и потащил корзины через сквер к другому трамваю.

Есть хотелось все больше. Чайная открывается в восемь, а сейчас не больше семи. Еще долго... Алексей сунул руку в карман, там было только две монетки. Тридцать пять копеек. Где же остальные? Было шестьдесят семь рублей. А... швырнул этому гаду. Шиканул, а теперь поесть не на что... Ничего, пускай знает.

Улица становилась многолюднее. Все спешили по своим делам — на базар, по магазинам, к морю, на вокзал. Один только он шел без дела и цели... Один! Выходит, Голомозый прав — он остался один? Куда ему идти? К кому? Наташа уехала, Виктор стал врагом, Вадим Васильевич струсил, перед Людмилой Сергеевной опозорился... Дядя Вася? Болен. Да и чем он может помочь... Кира? У нее свои дела и заботы — муж, ребенок. Одних он оттолкнул, растерял, другие сами отошли, вот и остался один...

А Яша? Есть же Яша Брук! Академик, хорошая душа. Он обязательно что-нибудь посоветует... Он живет где-то на улице Липатова. Не то шестьдесят четыре, не то восемьдесят четыре...

В доме шестьдесят четвертом Брука не оказалось, в восемьдесят четвертом тоже. Алексей хотел уже махнуть рукой на поиски, но потом решил попытать счастья в семьдесят четвертом.

Тетка, дергавшая морковь на грядке возле дома, сердито посмотрела на него.

— Рано ты в гости собрался. Вон крайнее окошко, постучи.

Алексей постучал в распахнутую раму. В комнате что-то грохнуло, в окне появились Яшины голова и голая грудь. Он близоруко прищурился и заулыбался.

— Алеша? Вот неожиданность! Я сейчас...

Через минуту он, уже в рубашке, открыл дверь.

— Входи.

В маленькой комнатке стояли две раскладушки — одна с прибранной постелью, нетронутая, вторая, со смятой простыней, была завалена книгами. Книги валялись и на полу, должно быть, упали.

— Разбудил?

— Нет, я давно не сплю, читаю. Какими судьбами? Молодец, что пришел!

— А тут кто? — показал Алексей глазами на вторую койку.

— Сын хозяйки. Я ведь не комнату, угол снимаю.

Комната — не по карману... Но его сейчас нет, уехал в отпуск на две недели... Садись, что ж ты стоишь? Как это ты догадался прийти?

— Беда привела.

— Какая беда? Что случилось?

Яша слушал, то и дело без нужды протирал стекла очков и внимательно поглядывал на Алексея.

— Вот такие невеселые дела,— заключил свой рассказ Алексей.— С чего начал, тем и кончил — хоть опять в беспризорники иди...

— Да,— покивал Яша.— Подожди, ты есть хочешь?

— Как зверь!

— Только, знаешь, у меня, кроме хлеба и помидоров, ничего нет,— застеснялся Яша.— Можно бы чай... Только позже, когда хозяйка плиту затопит...

— Пес с ним, с чаем!

Алексей набросился на еду. Яша отковыривал корочки и лениво, задумчиво жевал.

— Вот, все срубал! — сказал Алексей, покончив с последним помидором.— Постой, это же я у тебя все съел? Деньги у тебя есть? А то ведь у меня — вот, тридцать пять копеек...

— Не дури! — улыбнулся Яша.— Что ж ты думаешь дальше делать?

— Буду добиваться, чтобы восстановили. Только не знаю как... Вот пришел к тебе. Ты же у нас академик, посоветуй.

— В детстве легко быть академиком...— Яша катал хлебный шарик, сосредоточенно разглядывал его и молчал, потом швырнул за окно.— Уезжай. Оформляй увольнение и уезжай. В другой город, на другой завод. Хотя бы в Ростов. Ты ведь оттуда родом? Специальность у тебя хорошая, отлично устроишься... А здесь? Здесь при каждом удобном и неудобном случае будут тыкать пальцем — он такой и сякой. Так всю жизнь и будешь тащить этот хвост за собой...

Это была мысль. Мировая мысль! В Ростове ведь Наташа, он сможет ее видеть чуть ли не каждый день. Да просто каждый! И устроиться можно. Там один «Сельмаш» чего стоит. Заводище — дай бог! И другие есть... Не на тот, так на другой. Дадут место в общежитии. Что там, хуже, чем здесь?..

— Нет,— угрюмо насупясь, сказал Алексей.— Никуда я не поеду. Я что, для себя выгоды искал? Я правды добивался. А так что же получится: ничего не добился и —

в кусты? Они же только этого и хотят. Выходит, сыграть им на руку? Нет, Яша, по-моему, так нельзя. Если один раз испугаться, будешь дрожать всю жизнь...

— Угу... «Лишь тот достоин жизни и свободы, кто каждый день идет за них на бой!» — продекламировал Яша.

— Ты стихи начал писать?

— Это не я, Гёте... В стихах легче. Особенно если ты вельможа, как Гёте, и борешься только в стихах...

— Ну, я про стихи не знаю, я про жизнь говорю. Про мою, про твою...

Алексей вдруг покраснел и порадовался, что сидит не на свету, а Яша близорук. Какая он все-таки свинья! Все про себя, про себя, а у Яши даже не спросил ничего...

— Ты-то как живешь?

— Что я? Работаю, взяли теперь в штат. Пишу карточки, составляю систематический каталог.

— А в институт?

— Меня ведь не приняли.

— Почему?

— Я тоже приставал ко всем с этим вопросом.— Яша отмахнулся.— Слушай, Алеша, из общежития тебя, конечно, вытурят, а жить где-то надо... Хочешь, я поговорю с хозяйкой? Тетка она прижимистая, но, может, согласится. Койка же пока пустует! А в крайнем случае вдвоем будем спать на моей...

— Ей небось платить надо, а у меня — вот...

— Я пятого зарплату получу. Как-нибудь перебьемся... Главное — ее уговорить...

22

Людмила Сергеевна шла на работу с тяжелым сердцем. Как нехорошо получилось. Воскресенье, заспались, а он потихоньку убежал. Сбежал, конечно, от стыда. Еще бы не стыдно — такое устроить... А все-таки не следовало так выпускать. Накормить хотя бы... А потом задать ему перцу. Бесстыдник! Убежал, будто я его не найду. Узнаю, где общежитие, а то и на завод пойду. Пускай его там пропесочат как следует...

Галчата облепили ее с радостным визгом. Она смеялась, отвечала им, спрашивала сама... Уже другие галчата. Эти ровнее, спокойнее, столько горя не видели. Им легче, и с

ними легче. А почему-то особенно дороги те, с которыми было трудно. Растут, растут ребятишки... Вон Слава какой уже стал, не сегодня-завтра выберут председателем детсовета. А Люся? Может, и в самом деле получится из нее хорошая пианистка...

Людмила Сергеевна занималась сегодняшним, а думала о прошлом. Вырастут и тоже уйдут, как те, старшие. Вот в этом и состоит ее жизнь: она берет их маленькими, растит, выводит в жизнь, а они уходят, не оглянувшись... Ну-ну, не жалуйся, не все так. Валерий только... Теперь его уже никто не называет Валетом. Важный стал. Секретарь в каком-то спортивном обществе или комитете. Плавает и произносит речи. Речи, как и прежде,— сапоги всмятку, но плавает, говорят, хорошо, даже какой-то рекорд поставил. Он еще мальчишкой плавал лучше всех... Мужичок? Тарас — молодец. Кончил техникум, работает агрономом. И не в конторе — в колхозе. Приехать никак не соберется, но хоть письма пишет... И Яша Брук заходит. Жалко мальчика, такой способный и должен заниматься бог знает чем... А лучше всех — Кира. Такая привязчивая, отзывчивая девочка. Вот уже взрослая — своя семья, ребенок, а нет-нет да и прибежит проведать... Вон она летит, легка на помине! Похудела, с лица как-то спала. Но глаза такие же, и рот по-девчоночьи приоткрыт, будто вот-вот рассмеется. А смеяться стала меньше, бедняжка, совсем почти не смеется...

Кира вбежала, как всегда запыхавшись, придерживая уголки косынки под подбородком.

— Ой здрасте Людмила Сергеевна я к вам на минуточку как вы тут живете я уже вас целую вечность не видела,— без передышки выпалила она и бросилась на стул.

— Короткая у тебя вечность,— улыбнулась Людмила Сергеевна,— меньше недели прошло. Ты-то как? Ребенка где оставила?

— Там соседка приглядит, сегодня же воскресенье, на работу не выходить. Я ведь к вам по делу, Людмила Сергеевна...— Кира замялась и покраснела.— Мне просто стыдно, а что я могу сделать? У соседок уже всех перезанимала, больше нельзя, да и нет у них... А мой байбак ничего понимать не хочет, есть или нет — обед давай... Мне ненадолго, до получки только. Я уж теперь у него сразу отберу...

— А что, опять?

— Ну да! Теперь новую моду придумал... Я все ругалась: уж пьешь, так пей хоть дома, и меня и себя не позорь... Ну, он и его дружок, забулдыга, приходят теперь

домой. Выпьют, а потом начинают друг друга уговаривать: «Нам бы еще по сто пятьдесят — нам бы цены не было!» И добавляют. Так и набивают себе цену, пока вовсе не назюзюкаются. Ну, я того вытолкаю, пускай как хочет, а этого укладывай, возись с ним... И зачем мне все это нужно?!

— Погоди, Кира, все еще наладится, возьмется за ум...

— Да нет, я не об этом... Вообще зачем мне муж? Муж — ведь это несчастье! Правда, Людмила Сергеевна?

Людмила Сергеевна засмеялась.

— Муж — это, конечно, несчастье, но пусть оно будет как можно дольше...

— Нет, вы не смейтесь... Он мне просто не нужен,— печально и просто сказала Кира.— Я ведь его не люблю. Совсем.

— Зачем же ты...

— А! Сдуру... Доказать хотела, назло... Делаешь назло другому, а получается — самой себе... Я ведь Алешу любила, Горбачева, еще когда совсем девчонкой была. Да вы ведь знаете...

— Знаю.

— Ну вот: думала, закручу с другим, пускай хоть немножко обратит внимание, приревнует, потом, может... А потом уже поздно было — Мишка прилип, как клещ, влюбился. Теперь и вовсе — ребенок, никуда не денешься... А Алеша даже ничего и не замечал. Зачем я ему? Он ведь Наташу любит. Раньше Аллу любил, теперь — Наташу. А они его — нет... Я ведь знаю!.. И почему это всегда человек любит тех, кто его не любит, а?

— Ну, не всегда, положим. Вот Миша тебя любит...

— Зачем мне его любовь? Да еще пьяная...

— А Алешу ты видишь?

— Нет. Где же? Да и зачем? Ему ведь со мной неинтересно...

В дверь постучали.

— Кто там?

В кабинет вошел невысокий коренастый парень в рубашке с расстегнутым воротом. Волосы у него были иссиня-черные, как у монгола. Монгольские черты проступали и в лице — широкие скулы, редкие волоски на верхней губе, немного раскосые маленькие глаза.

— Мне нужно заведующую детдомом.

— Я заведующая.

Парень покосился на Киру, подошел к Людмиле Сергеевне и протянул руку.

— Я — комсорг механического цеха «Орджоникидзестали», Федор Копейка.

Кира фыркнула, но Копейка не обратил на нее внимания.

— Я к вам вот по какому делу: не знаете ли вы, где Горбачев? Алексей Горбачев, разметчик.

— Как — где? — встревоженно поднялась Людмила Сергеевна.— У себя, наверно, на работе или в общежитии.

— Нету. В общежитии я был. Дома не ночевал, ребята не знают, где он может быть, знают только, что он жил в вашем детдоме. Вот я и пришел — может, вы подскажете.

— А! — облегченно вздохнула Людмила Сергеевна.— Это легко объяснить. Ночевал он у меня дома... Понимаете, он поздно ночью пришел сюда... И не совсем... то есть просто пьяный. Я и отвела его к себе, чтобы проспался...

— Ой! — сказала Кира, глаза ее округлились.— И он тоже!

— Ушел он на рассвете, не сказавшись.

— Плохо! — покачал головой Федор.

— Ничего страшного: отоспался, придет домой. Или он прогулял?

— Нет, не так просто... Понимаете, с завода его уволили и из общежития выселяют...

— Ой, вот ужас-то! — Кира в страхе смотрела на Федора.— А он... натворил что-нибудь?

— Да как сказать? Кое-что... Измарал «молнию», говорил, чего не следует, и не говорил того, что следует...

— Да что же, что?

— Понимаете, он выступил против одного передовика: мол, он — липовый... Ну передовик и в самом деле вроде не очень. Вот Горбачев и начал воевать. На него пробовали повлиять, а он уперся на своем, как пень, и не сдвинешь...

— Он принципиальный. Он ужасно принципиальный! — в смятении сказала Кира.

— Принципиальный,— согласился Федор.— Но и дуралей. Такие дела так не делают. Вот я и хочу его найти, вправить мозги, чтобы он еще больше глупостей не натворил.

— Где же он может быть? — Людмила Сергеевна чув-

ствовала себя вдвойне виноватой. Упустила, проспала, когда у него такое... И он же пытался рассказать, а она и слушать не захотела. Злилась, кричала на него...

— Может, у Витьки? — сказала Кира.

— У какого Витьки?

— Ну, у Виктора! У Гущина. Они же друзья, вместе работают...

— Не-ет! С Гущиным они — горшок об горшок, полный разрыв. Он же против Гущина и выступал.

Людмила Сергеевна и Кира лихорадочно перебирали всех знакомых, все места, куда мог пойти Алексей.

— Из наших только Яша остался,— сказала Кира.— Наташа ведь уехала... А больше я уж и не знаю.

— А где этот Яша живет?

— На Липатова, дом семьдесят четвертый. Он у хозяйки угол снимает. Яша Брук, работает в библиотеке. Он тоже в нашем детдоме жил.

— Ладно, пойду искать Яшу.— Федор Копейка встал.

— Я вас очень прошу, товарищ Копейка, вы мне дайте знать. Хорошо? — сказала Людмила Сергеевна.— Сейчас-то я никак не могу оторваться... Если уж не найдете, тогда вместе будем искать.

— Добре.

— Я — домой, Людмила Сергеевна,— потухшим голосом сказала Кира.— Наверно, моя кувакала уже кувакает.

— Кира! — вслед ей закричала Людмила Сергеевна.— А деньги-то? Возьми!

Кира вернулась, зажала в кулаке бумажку и побежала следом за Копейкой.

— Вы найдете? Это, как пройдете сквер, будет проспект, да? А следующая улица — Липатова...

— Найду, язык, говорят, до Киева доведет.

Копейка пошел налево, Кира свернула к себе направо. Через несколько шагов она остановилась, постояла, покусывая уголок косынки, и побежала следом за Федором.

— Можно, я с вами? А то вдруг там что-нибудь такое...

— Пошли, веселее будет. Только ты меня на «вы» не называй, не люблю. Тебя как зовут?

— Кира.

— Откуда ты Горбачева знаешь?

— Так мы же вместе в этом детдоме были! Я же Алешу знаю, как прямо не знаю что... И как он мог такое сделать? Совсем на него не похоже... Нет, похоже! — сказала

она, подумав.— Он такой принципиальный, просто ужас! Если видит, что неправильно, так хоть ты его зарежь!

— Угу.

— А почему вы... почему ты этим занимаешься? Ты же комсорг, а он не комсомолец.

— На мне, понимаешь, дэ-эс-пэ не поставили,— засмеялся Федор.

— Какое дэ-эс-пэ?

— Забыла, как ребята в учебниках отмечают? «До сих пор». До тех «пор» и учат. А мне интересно, что и за этим дэ-эс-пэ...

— Ну так что же? А Горбачева-то уволили?

— Уволил не я, начальник цеха.

— А ты согласен, правильно уволили?

— Нет.

— Ну и что теперь будет?

— Посмотрим. Я ведь долбежник, на долбежном станке работаю...

— При чем тут профессия?

— Это не только профессия, наверно, это и характер,— снова засмеялся Федор.— Долблю, пока не продалбливаю...

— Вон в этом доме с зелеными ставнями,— сказала Кира, останавливаясь на углу.— Постучите в крайнее окошко.

— А ты что же? Пошли вместе.

— Ой, нет! Я, знаете... я лучше подожду.

Она прибежала к Людмиле Сергеевне в домашнем штапельном платьице, стоптанных туфлях и только сейчас вспомнила об этом. Чтобы в таком виде она показалась Алеше? Непричесанная, в этой застирухе?.. Ни за что!

— Если он там, вы только про меня ничего не говорите! Ладно? А я тут подожду. Если вас... если тебя через пять минут не будет, значит, он там. А если нет, пойдем искать дальше... Только не знаю уж и куда.

Часов у Киры не было. Она нетерпеливо топталась на углу, следила за домом, оглядывалась по сторонам — не подходят ли откуда-нибудь Яша или Алеша... Простояв почти час, спохватилась и побежала домой. Она перебежала на другую сторону улицы, чтобы как можно дольше видеть ворота и дом — вдруг кто-нибудь выйдет. Когда она повернула за угол, из ворот вышел Федор Копейка. Один.

Тетка на самом деле была злой и вредной. Яша неплотно прикрыл дверь, и Алексей услышал, как она разоралась где-то внутри дома, должно быть, на кухне. Нарочно кричала громко, чтобы он тоже слышал.

— Знаю я ваше «только ночевать»! А прибирать кто за ним будет? Дух святой? Платить будет копейки, а я за ним ухаживай? Не нужны мне никакие поночевщики! Скажи спасибо, что тебя держу!.. Знаем мы таких спокойных! Сегодня спокойный, завтра пьяный придет, потом жену приведет!.. То-то он явился ни свет ни заря... А мне какое дело? Меня кто жалеет? Цельный божий день как белка в колесе... Пускай куда хочет, а здесь чтоб его больше не было!

Яша, вернувшись, смущенно развел руками.

— Понимаешь...

— Я слышал. Ладно, пойду.

— Подожди. Я поговорю с сотрудниками, может, у кого из них можно. Ты приходи в библиотеку часа в два. Я одолжу у кого-нибудь до получки. Вместе пообедаем и решим, как дальше. Придешь? Смотри, обязательно!..

Яша, конечно, хороший парень. А толку — чуть. И не в том дело, что у него денег нет, жилья. Он поделится последним куском хлеба, отдаст рубашку и половину койки. Но не устоит рядом. Он просто хороший парень. Оказывается, как этого мало — быть просто хорошим парнем...

В библиотеку Алексей не пошел. Ни к чему. Пообедать бы не вредно — есть захотелось очень скоро,— но пришлось бы снова слушать то, что слушать он не хотел. Яша опять начал бы уговаривать отступиться, перетерпеть, уехать. Это проще всего. Но и хуже всего.

Сегодня воскресенье, коменданта в общежитии не будет. У ребят можно одолжить денег, но они, наверно, уже ушли на пляж. А если и дома, то придется опять разговаривать. Будут расспрашивать, выражать сочувствие и давать советы. Бесполезные. А бывают полезные? Все советы — слова. И слов с него хватит. Надо вернуться в общежитие попозже, когда все уже будут спать. Чтобы меньше было разговоров. А пока уйти куда-нибудь подальше, чтобы никого не встретить. Тридцать пять копеек. Даже на трамвае не разъездишься...

Алексей не спеша пошел вдоль линии «четверки». Высоко над пестрой сумятицей, крикливой толчеей базара плыли дымы завода. Темные домны и кауперы его возвышались вдали неприступными башнями. У рыбачьей гава-

ни Алексей остановился. Сколько раз собирался, еще в ремесленном, когда будут каникулы, отпуск, прийти сюда и наняться недели на две. Не ради денег — посмотреть, побыть на море. Вот можно пойти сейчас. И не на две недели — навсегда. Не надо будет ни о чем думать, бороться, добиваться... Гавань словно вымело, выдуло ветром. У причала болтались на привязи только маленькие лодки. Они не в лад раскачивались, стукались друг о друга бортами. Значит, все сейнера на путине — под Керчью, наверно, пошла хамса...

Давай, давай, топай! И дело совсем не в том, что нет сейнеров. Это как раз то, что советовали Калмыков и Яша. Отступиться, спрятаться. Не дождутся!

Узенькая душная улица Котовского перешла в Стрелку. Слева открылось море, до краев налитое солнечным блеском и ветром. Справа выглядывали из зелени добела раскаленные солнцем корпуса санаториев. На воротных каменных столбах одного из них лежали бетонные львы. Они были маленькие, жалкие, с овечьими мордами. Кто-то не поленился, влез на столбы и подрисовал им железным суриком усы. Мужественнее они от этого не стали. Вдали показался угрюмый массив элеватора, решетчатая путаница кранов, пароходных стрел и мачт. Там был порт, туда привез его Алексей Ерофеевич...

Чудно́! Сейчас он прошел весь путь, который когда-то проделал вместе с Алексеем Ерофеевичем. И вообще последние дни... Сколько дней прошло, как он поссорился с Виктором? Всего десять. И все эти дни он непрерывно сталкивается с людьми, вещами, с которыми встречался, сталкивался раньше, будто шел по кругу. Все возвращается на круги своя, сказал Калмыков... Он шел в настоящем, но странным образом под настоящим оказывалось прошлое. Доброе или злое, оно всплывало, обнаруживалось, напоминало о себе, и снова его нужно было принимать или отталкивать, радоваться ему или бороться с ним. Чепуха! Все меняется, и ничто не возвращается. И не повторяется круг, как бы он ни казался похожим. Нет и не может быть в жизни никакого круга. Он сам переменился, и все переменилось. Каждый по-своему. В каждом появилось новое, но и осталось прошлое. От этого никуда не денешься. И когда вылезает это прошлое в настоящем, тебе кажется, ты тоже вернулся назад. Но ты ушел вперед. А вот если ты перестанешь замечать и различать, тогда на самом деле ты остановился или вернулся...

Сквозь решетчатые ворота портовой ограды был виден

стоящий у причала белогрудый теплоход. Он раскатисто загудел. Ничего голосок. Маленький, маленький, а голосина, как у большого. Это «Львов». Алексей видел его не раз, и каждый раз завидовал тем, кто уезжает на нем. Вот и сейчас дежурный морского вокзала повел через ворота хвост пассажиров, нагруженных чемоданами. Поедут в Сочи, Батуми. Там тепло, растут пальмы и, наверно, легко жить. Вот пристроиться сзади, и все. Вахтер не заметит...

Хватит глупостей! Лучше бы подумал, что делать дальше... Нечего думать. Дождаться вечера и идти домой. Поесть бы только...

Давно перевалило за полдень. Бетонная ограда порта уже отбрасывала полосу тени. Алексей прошел к урезу воды, присел в тени, потом вытянулся на песке и закрыл глаза. Взъерошенное низовкой море негромко плескалось у самых ног, лопотало что-то свое, в стороне гулко шлепался волейбольный мяч, доносились голоса и смех...

Разбудила тишина. Ветер утих, море бесшумно облизывало разглаженный песок. Тени грибков и фанерных киосков уродливо исхудали и вытянулись. Последние купальщики брели на Стрелку к трамвайной остановке. Алексей остался один.

...«Горе одному»,— говорил тогда у Голомозого человек с бегающими глазами, похожий на цыгана. Вот он остался один и уже хлебнул этого горя по завязку. И еще нахлебается... Поесть бы. Солнце уже садится, скоро можно идти домой. У ребят что-нибудь найдется...

А может?.. Может, попробовать? Он ничего не теряет. Послушает, что скажут, а уйти всегда можно. В конце концов, какой у них расчет? Какая от него может быть польза баптистам? Может, и зря наговаривают на Голомозого. Что он ему — сват, брат? А первый подходит, обещает помочь. Слова всякие говорит? Так черт с ними, со словами, от него не убудет, если послушает. А вдруг и в самом деле помогут? Просто так, по-человечески.

В тупиковую улочку он пришел уже в сумерках. Вот и знакомый забор. Ворота заперты. Алексей осторожно постучал, прислушался. Из домика Голомозого доносилось унисонное пение и гнусавое подвывание фисгармонии. Он представил, как они все сидят там с постными рожами, набожно смотрят в потолок в разводах от плохо размешанной синьки и выводят сладкими голосами: «Как прекрасно будет там...» Ну и идите вы т у д а...

Алексей решительно зашагал назад, потом вернулся. Где-то здесь. Он говорил, соседи... Калитка палисадника

у дома напротив голомозовского была приоткрыта. Алексей нерешительно потоптался, пошел по дорожке к дому. В стороне, в беседке, заросшей вьюнком, стояли широкий топчан и столик, на столике лежала растрепанная, вспухшая книга. В окнах дома уже горел свет. Алексей постучал в открытую дверь.

— Вам кого? — спросил старушечий голос.

— Василий Прохорович Губин здесь живет?

Старуха отступила в сторону, чтобы свет упал на Алексея, внимательно присмотрелась к нему.

— Больной он.

— Я знаю, я ненадолго.

— С завода, что ли? Ну ладно, иди... Прохорыч, к тебе тут пришел какой-то!

Василий Прохорович сидел за столом в теплой тужурке и наброшенном на плечи бабьем платке.

— А, объявился наконец,— нисколько не удивился он.— Передали, значит, тебе?

— Ничего не передавали, я сам.

— Ну, сам, так и сам... еще лучше. Садись. Есть хочешь? Не ври — хочешь. Мать!..— В дверях появилась давешняя старуха.— Ну-ка, тащи сюда свой борщ и еще чего там осталось, подкорми этого вояку... Давай, давай, без стеснений.

Алексей набросился на еду. Василий Прохорович молча наблюдал за ним, покряхтывая, кутался в платок.

— Заморил червячка? Теперь рассказывай. Про то, что тебя уволили, знаю. Потом что было?.. Угу... Ну ладно. Жить покуда будешь у меня. Места не пролежишь... Ты со мной в пререкания не вступай, я человек больной — так изругаю, своих не узнаешь... Хочешь — в комнате, а хочешь — в саду, с внуком. Места хватит. Мать, ты постели ему там чего-нибудь... И давай самовар. Ну, теперь пей чай, а я буду лечиться...

Жена Василия Прохоровича налила Алексею чаю, перед мужем поставила большую эмалированную кружку, вазочку с малиновым вареньем и четвертинку водки. Василий Прохорович вылил половину водки в кружку, положил несколько ложек варенья, налил настоя и долил кружку доверху крутым кипятком.

Алексей смотрел на него во все глаза.

— Дядя Вася, и ты это будешь пить?

— Обязательно! Лекарства мне не помогают, а это — до костей прошибет...

— Я думаю!

— Некоторые говорят, с перцем надо, с тем, сем... Пробовал — чепуха. А эта штука безотказная. Как динамит. Встанешь, будто на тебе черти горох молотили, но — здоров. А мне к завтрему выздороветь надо. Завтра партсобрание. Тебе бы вот пойти! Открытое.

— У меня пропуск отобрали. На завод не пустят.

— Не пустят,— согласился Василий Прохорович.— Ты пей, пей, а то долго нам рассусоливать некогда, я сейчас под одеяло потеть пойду...

Алексей пил чай, Василий Прохорович большими глотками прихлебывал свою динамитную смесь.

— Стало быть, не выдержал,— сказал Василий Прохорович.

— Чего?

— Пробы. Ты когда на завод поступал, пробу держал? Ну вот, ту сдал, получил разряд. А эту не сдал. Та проба — не главная. Обучить можно любого, коли у него руки — не крюки, а голова — не куль соломы. И что ж, думаешь, разряд получил — он уже рабочий, можно бить себя в грудь: «Я — рабочий класс»? А он никакой не класс, а шиш на ровном месте. Классом-то еще стать надо. Не в рассуждении квалификации. А в рассуждении понимания, что будь у тебя семь пядей во лбу, все одно сам-один ты ничего не значишь. Класс — это не один, а все, и действовать должны в одну точку, а не кто во что горазд...

— Как говорят: «Гуртом и батьку бить легче»?

— Ну, это погудка куркульская... Нам делить нечего, и батьку колошматить незачем. А вот коли ты делать что хочешь — оглянись, каково это другим будет, может, ты и не самый умный. А может, умник, и тебя все поддержат...

— Каждый раз собрания дожидаться? Вы небось не ждали, когда Иванычева от станка турнули, как он начал подгонять вас?

— Сравнял. То — ты, а то — я. Разница! А Иванычев? Что ж, Иванычев... Он из тех дураков, которым закажи богу молиться, они и лбы расшибут. Беда только, что разбивают не свои — чужие... Думают, передовики вроде капустной рассады — где ни посади, так там враз и кочан... А я тебе не говорю, что без собрания не смей пикнуть... Пикать-то вот не надо! Ты уж ежели рот открыл, говори так, чтобы все услышали. А не только твой Витька.

— Так я и говорил, дело совсем не в Витьке...

— И в Витьке тоже. Парня с толку сбивают. За ним и другие могут сбиться. Вы ведь как овцы, думалка у вас

короткая... Тебя, если б лучше думал, с завода бы не выгнали.

— Думаете, я испугался?

— Кабы испугался, что о тебе и думать! Какая б тебе тогда была цена?.. Ну ладно, ты, кажись, и так себя больно высоко ценишь. А сам тычешься, как кутенок, вслепую... Иди-ка лучше спать!

Звезды заглядывали в дверной проем беседки. Из недалекого порта доносились окрики буксиров, гудение крановых моторов, лязг грейферов. В отдалении на подходе к порту протяжно затрубил пароход, вызывая лоцмана. Боится идти сам, чтобы не быть, как кутенок...

Хороший старик дядя Вася! Говорил только очень путано. Может, ему и самому не очень ясно, что он хотел сказать? А в чем-то прав...

...Пробой на разряд началась работа. Перед тобой положили наряд, указали поковку. Делай. Чем скорее и лучше сделаешь, тем выше будет оценка. Ты очень волновался, проба — это крайне важно. Самое важное! Ты сделал хорошо и быстро. Сдал пробу. И тебе дали третий разряд. Ты думал, что это конец, стал полноправным разметчиком, «рабочим классом»... Оказалось, это — только начало. Каждая новая работа тоже была пробой, хотя уже не называлась так. И оказалось, что ты сдавал пробы и раньше. Много раз. И сдаешь теперь. Чуть ли не каждый день или несколько раз на день. Это — что ты сказал и сделал, как ты подумал и сказал, и сделал ли ты так, как подумал, или иначе и, значит, соврал. И такие пробы сдавали все люди вокруг и на каждом шагу — видные или не видные для тебя, понятные или непонятные тебе пробы, но они были, и поэтому перед тобой возникали новые — от того, как другие люди выдерживали пробы, ты должен был менять свое отношение к ним или сохранять его. И это тоже было пробой для тебя и для других...

И так у всех и всегда? Выходит, жизнь — это пробы, непрерывный экзамен? С детства и до самой смерти учить уроки и отвечать заданное? Нет, заучивать заданное, отвечать заученное — в этом нет пробы. Это умеет попугай. Еще лучше — магнитофон. Жить — значит делать. То, во что веришь. И не отступать...

Еле слышно зашуршал песок дорожки, на пороге беседки появилась мальчишеская фигура. Мальчик постоял, присматриваясь, потом заметил, что Алексей пошевелился, шагнул вперед. Он потихоньку лег, потом повернулся на живот, подпер кулаками подбородок.

— А ты Горбачев, я знаю,— сказал он сиплым от неумеренного купанья голосом.

— Горбачев. А ты?

— Санька. Я тебя в «пятиэтажку» бегал искать.

— Зачем?

— Дед посылал. К нему Маркин приходил. Знаешь, старик такой? Про тебя рассказывал. Ну, дед и послал, чтобы кровь из носа — найти.

— Меня не было.

— Ага... Я хлопцам передал.

Санька замолчал. Алексей пытался рассмотреть его получше, но в ночном полумраке смутно виднелись только белки глаз, выгоревший чубчик полубокса и широкие ноздри очень курносого носа.

— А я про тебя все знаю,— сказал Санька, помолчав.— Дед с Маркиным говорил, так я все слышал.

— Ну и что?

— Ничего... Хочешь яблок? Обожди, я счас.

Санька соскочил с топчана, убежал. Где-то неподалеку залаяла собака, потом затихла. Санька пришел минут через двадцать, запыхавшийся, с оттопыренной пазухой. Яблоки глухо застучали по столешнице, покатились по земле.

— На,— сказал Санька.— Мировая антоновка. Я самые крупные рвал.

— Яблоки мировые,— подтвердил Алексей.— А что так долго?

— Так я к соседу лазил. У нас тут напротив штунда живет. Голомозый. Я — к нему.

— Чужие слаще?

— Не, у нас такие самые. Я — принципиально. Думает, если у него собака, так его будут бояться... А меня все собаки любят. Я с любой договорюсь. Факт! — Санька с хрустом надкусил яблоко и замер.— Ты чего?

Алексей хохотал.

— Чего ты, псих, что ли?

— Это я так...— все еще смеясь, сказал Алексей.— А если дед узнает?

— Ну, известно чего — ухи нарвет,— обиженно сказал Санька.

— Да ты не бойся, я не расскажу...

...Может, и он, как Санька, залез «не в свой сад», в чужое дело,и его принципиальность не лучше Санькиной? И он «перевоспитывает» Витьку, как Санька Голомозого? Чушь! «Чужое дело» — это у посторонних. А он не посторонний. Всему.

— Ты рыбу ловить любишь? Пошли завтра бычков наловим? А? Бабка утром нажарит. Дед их здорово любит... Только до света надо. Ты сам просыпаться умеешь?

— Кажется, умею.

— А я нет... Ну, гляди не проспи!

24

Дома во всех подробностях знали об успехах Виктора. Пройти на завод полюбоваться вымпелом, портретом сына на цеховой доске Почета мать не могла, но о том, как его фотографировали, что написано под фотографией, без устали рассказывала соседкам. Газету Виктор принес домой и сам прочитал заметку Алова матери. Прочитал он ее не всю, остановился на призыве следовать его, Виктора Гущина, примеру. Читать об Алексее, а потом объяснять не хотелось. Просто противно... Газету он спрятал в ящик стола.

Утаить не удалось. На следующий день мать за обедом спросила:

— Что это, Витя, дружок твой не показывается?

Милка стрельнула в брата глазами и наклонилась над тарелкой.

— А зачем он тут нужен? — хмуро сказал Виктор.

— Ну как же — то водой не разольешь, чуть не каждый день, а теперь как отрезало.

— Они, мама, поссорились,— сказала Милка.— Об этом даже в газете писали.

— А тебе какое дело? Ты что, у меня в столе шаришь? Лучше бы за собой следила. Вон вся вывеска исцарапанная!

Милка покраснела, прикрыла кулаком царапину на щеке и наклонилась над тарелкой, чтобы скрыть слезы незаслуженной обиды, но предательская капля шлепнулась прямо в борщ.

— Ничего я не шарю. Мне Мишка сказал, потому что Сережа дома рассказывал, а потом взял у Сережи газету и показал... Думаешь, только у тебя газета есть?

Об этом Виктор забыл. Семья Сергея Ломанова попрежнему жила рядом, Милка по-прежнему дружила с братишкой Сергея. С раннего утра и до поздней ночи, пока мамы не загоняли их по домам спать, они не расставались больше чем на полчаса, и, если одному случалось уйти, другой мыкался как неприкаянный и через несколько минут отправлялся разыскивать ушедшего. Они играли вместе, всюду ходили вместе, вместе переживали события

в семьях, во дворе, в их квартале и все отголоски большой жизни взрослых, которые доходили до них. Соседки, посмеиваясь, называли их «неразлучниками» и, пригорюнившись, добавляли: «Кабы взрослые так-то могли да умели...»

И вот эти неразлучники едва не расстались «навеки», как сказала Милка, и, более того, подрались, что прежде с первого дня их знакомства не случалось никогда. Причиной была злополучная статья Алова в заводской газете.

Спозаранку у них было намечено испытание «реактивного торпедного катера». Выброшенную кем-то жестяную лодочку с продырявленным боком и облезлой краской Мишка подобрал на соседней улице. Сергей запаял дыру, покрасил заново, и лодка получилась что надо, совсем как торпедный катер, хотя скорее напоминала катер пожарный: за отсутствием шаровой, серой, краски Сергей покрасил ее в ярко-красный цвет. Вот только двигателя у нее никакого не было. Сергей сказал, что теперь, наверно, надо ставить реактивный, чтобы скорость давал как полагается, но от просьб сделать такой отмахнулся, сказал, что ему некогда заниматься игрушками, пора на работу и пускай они сами мозгуют, не маленькие. Милка и Мишка долго мозговали, пока не вспомнили о Викторовой ракете, которая должна была без пересадки долететь до Луны, но далее бурьяна на пустыре не залетела. Виктор в качестве горючего для своей ракеты употреблял фотопленку, а пленки дома хватало — Сергей иногда занимался фотографией и отдавал Мишке всю засвеченную или неудавшуюся пленку. Мишка делал из нее «пшикалки» — поджигал и смотрел, как они, шипя и воняя гребенкой, сгорают. Теперь для нее нашлось настоящее применение. Прикрутив рулончик пленки к корме лодки, они отправились испытывать. Железная бочка под водосточной трубой тщетно дожидалась дождей, но Сергей каждый день для поливки огорода наполнял ее доверху водой, которую приходилось носить ведрами от колонки. Вот тут-то, наклонившись над бочкой и опуская в воду свой корабль, Мишка, должно быть, вспомнил все обстоятельства, участников неудачного запуска Викторовой ракеты и произнес роковую фразу:

— А кореш твоего братана, оказывается, гад?

— Кто гад? — удивилась Милка.— Леша?

— А кто же еще? Он самый, Горбачев.

— Ты что, это самое? — Милка приставила палец к виску и выразительно повертела.

— Ничего не это самое, а факт. На братана твоего накапал. Тоже друг называется!

— Ты опять врешь, опять выдумываешь? Не смей на него наговаривать! — закричала Милка.

Она давно знала за Мишкой слабость: заговорив о чем-нибудь, он увлекался, начинал привирать, а потом и попросту врать без зазрения совести. Он не врал нарочно, чтобы обмануть, но так увлекался, что остановиться уже не мог, его несло туда, куда влекло неудержимое воображение. Если это касалось пустяков — куда ни шло, но наговаривать на Лешу Горбачева?! Друг брата занимал в жизни Милки место если не такое большое, как брат, то, во всяком случае, огромное. Он, как и Виктор, был самым-самым недосягаемым образцом, которым все проверялось. Он даже в чем-то был лучше Вити, потому что никогда не ругал ее, не прогонял от себя, всегда с ней разговаривал и даже помогал, если нужно. Она не разделяла их и не сравнивала. Они были всегда вместе, всегда дружили. Леша спас Витю, когда тот чуть не утонул, и вообще... Если бы Мишка стал наговаривать на нее — ладно, но на Витю или Лешу?!

— А я не наговариваю, все знают.

— Что знают? Сейчас же перестань врать, а то мы навеки поссоримся и вообще...

— Ага, испугалась, что про него правду скажут!

— Я?

— Ты.

Вместо ответа Милка, не размахиваясь, изо всех сил сунула сжатый кулак вперед и угодила ему прямо в нос. Мишка сморщился, поморгал и тут же ответил ударом на удар, но драться он не умел, а Милка отклонилась, поэтому кулак Мишкин скользнул по скуле, а ноготь расцарапал щеку. Милка размахнулась, чтобы ударить уже по-настоящему, но не ударила, а в страхе уставилась на него. Мишка почувствовал не губе теплое, мазнул рукой под носом — она была в крови.

— Ты так, да? Ну ладно!

Черпая ладошкой, он начал смывать кровь, но она натекала снова и снова. Тогда он перестал смывать, наклонился над бочкой, и капли крови зашлепали в воду. Вода быстро стала ярко-красной, как неопробованный катер, который в стычке опрокинулся и лежал теперь на дне бочки. Милка с ужасом смотрела на капли, падающие из Мишкиного носа, на окрашенную кровью воду и в отчаянии закричала:

— Сейчас же перестань! Слышишь!

— Что, я ее нарочно теку? Она сама текёт. Сама ударила, а теперь тоже...

Верхняя губа и нос у него мгновенно вспухли, и говорил Мишка гундосо, пришепетывая.

— Ложись на спину! А то так и будет течь, вся кровь вытечет...

— Ну и пускай!

Боли он уже не чувствовал, а так как нос расквашивал уже не первый раз, то знал, что кровь в конце концов останавливается, и потому не боялся. Он видел, что Милка страшно перепугана, терзается угрызениями совести, и злорадно упивался ее терзаниями — пускай знает, в другой раз не будет!

— Да что это, в самом деле! — как взрослая, сказала Милка и попробовала оттащить его от бочки.

Но Мишка вцепился в края, отпихивал Милку боком и даже пытался лягнуть ногой.

— Уходи! Не лезь! Нечего теперь...

Тогда Милка применила прием нечестный, но единственно безотказный — сунула ему пальцы под мышки. Мишка не выносил щекотки и, дико гигикнув, отлетел от бочки.

— Ложись, а то хуже будет!

Укрощенный Мишка лег, Милка сорвала с головы бант, намочив в бочке, положила ему на нос и села рядом.

— Ух, так бы и дала еще раза! — в сердцах сказала она.— Еще и ломаешься... Скажешь, я еще виновата, да?

— А кто же? — прогундосил Мишка.

— Ты! Зачем ты меня дразнил, врал про Лешу?

— Ничего я не врал, Серега рассказывал. У него и газета есть, там про все напечатано.

— Опять врешь?

— Да я хоть сейчас принесу...

— Лежи!

Кровь остановилась. Мишка умылся, проскользнул в дом, прикрывая от матери распухший фиолетовый нос, и принес газету.

Все оказалось правдой. Это было чудовищно, неправдоподобно, не могло быть правдой, и все-таки это было правдой, раз об этом писали в газете. Милка притихла и съежилась, будто невесомый лист бумаги, усеянный черными строчками, придавил ее, как многопудовая глыба.

— Теперь я понимаю, почему он так переживает,— сказала Милка.— Он последнее время прямо какой-то не такой...

— Кто? — спросил Мишка.

— Витя.

— Ха! Тут запереживаешь.

Милка тоже начала ужасно переживать. Она понимала, что если Витя об этом молчит, значит, должна молчать и она. Она молчала, но ластилась к брату и всячески показывала, как она его любит и готова сделать все, что он захочет. Виктор не обращал на нее внимания, а если и замечал, то прогонял или говорил что-нибудь такое обидное, что в другое время она бы ни за что ему не простила, но теперь прощала всё. Вот и сейчас он ее обругал и обидел, а она же хотела объяснить маме, какой Горбачев плохой и как он обидел Витю.

Мать внимательно посмотрела на Милку, насупленного Виктора и спросила:

— Из-за чего же вы поссорились?

— Он против меня выступал, будто я не передовик.

— Но ведь это неправда!

— Конечно, неправда.

— Так ты бы ему объяснил, вы же друзья.

— Никакой он мне не друг! Ему и без меня объяснят, дадут по первое число...

Он не ожидал, что «число» окажется таким... Тревога появилась, когда в цех пришел Гаевский и начал расспрашивать. Уж кому-кому, а Гаевскому Виктор не собирался играть на руку... Нет, он ничего такого за Горбачевым не знает. Ничего такого за ним нет и не было. Дружил с ним, с одной девушкой — она уезжает в институт,— еще с одним инженером из БРИЗа Калмыковым...

Выступление Гаевского в кабинете начальника цеха привело Виктора в смятение. Что он только говорит?! Это же все чепуха, выдумки!.. Нужно встать и сказать, что это все вранье, нечего человеку пришивать всякие дела. Он свой парень, и все это знают! Вот только ему свинью подложил...

Виктор не встал и ничего не сказал. У него горели уши, он не мог посмотреть Алексею в глаза, ерзал на стуле и молчал. В конце концов, ничего страшного. Пусть знает! А то много воображать стал... Проберут, как полагается, и всё. Что ему могут сделать? А он в другой раз не будет...

Когда появился приказ об увольнении Горбачева, Вик-

тор заметался. Это уже черт знает что! Что он такого сделал? Ну — написал, ну — говорил... Так за это увольнять? Это все гад Гаевский подстроил, напришивал всякой ерунды и отомстил... Конечно, он мстил за «Футурум» тоже... Смятение Виктора достигло предела. Ведь «Футурум»-то придумал он сам! А когда началась история с запиской и он боялся, Лешка молчал, как могила, никого не выдал... Ну хорошо, все это чепуха, но они-то не знают, они думают, что там и в самом деле что-то такое... Если бы тогда Виктор встал и сказал, все бы стало ясно. А он промолчал. Лешка не предал, а он его предал. Выходит, он самый настоящий подлец?!

Виктор побежал к Иванычеву. Тот выслушал его с каменным лицом, доводы Виктора не произвели на него никакого впечатления.

— Детали меня не интересуют. Важно существо вопроса. Дискредитировал? Дискредитировал. Опорочивал? Опорочивал. Значит, таким элементам на заводе не место.

— Так это же из-за меня! Я не хочу, чтобы его увольняли, он ничего такого не сделал, чтобы увольнять!

— А по-нашему мнению, сделал. И получил по заслугам. Понятно?

— Да на черта мне рекорды и всякие «молнии», если из-за них человека увольняют?!

— Ты что,— рассердился Иванычев,— думаешь, рекорд — твое личное дело? Ты сам по себе — нуль без палочки. Понятно? Общественность тебе создает условия, поддерживает, а ты рыпаешься?.. В общем, с этим вопросом кончено, иди работай!

Витковский попросту не стал Виктора слушать. Работа валилась из рук. Ему казалось, что на него посматривают косо. Все знали, что он и Алексей — друзья, все знали, что Алексея уволили из-за него, и все знали, что он палец о палец не ударил, чтобы помочь другу...

В общежитии Алексей не ночевал, к Калмыкову не приходил. Где он мог быть, куда уйти?! Дома Виктор не находил себе места. Дал подзатыльник ни в чем не повинной Милке, нагрубил матери. Теперь он презирал и ненавидел не Алексея, а себя. Только бы его найти! Поживет пока у них, а там Виктор добьется, он до самого Шершнева дойдет, а докажет...

Он вернулся домой поздно ночью, придавленный усталостью и презрением к себе. Алексея он не нашел.

В понедельник Виктор остановил станок за десять минут до конца смены, убрал все, умылся, повесил свой табель, как только Голомозый открыл доску, и побежал в заводоуправление.

— Куда? — привскочила со стула седая секретарша, когда Виктор ухватился за ручку двери директорского кабинета.

— Мне к директору.

— Нельзя. Сегодня неприемный день. Приходите в четверг.

— Мне срочно.

— Всем срочно, и все ждут.

— Да вы понимаете: человека уволили!

— Директор этим не занимается. Идите в завком, в отдел кадров.

— Мне нужно к нему... Он наш знакомый! — пустил Виктор в ход последний довод.

— Молодой человек, у него весь завод — знакомые. Я вам сказала — приходите в четверг.

Виктор рванул дверь и, несмотря на негодующий вопль секретарши, вошел в кабинет. Секретарша вбежала следом, схватила его за руку.

— Михаил Харитонович! Я ничего не могу сделать, прямо хулиган какой-то,— негодующе сказала она.

— Кто там? А, Гущин... Ничего, Серафима Павловна, пустите его.

Шершнев сидел в глубине большого кабинета за столом.

— Что скажешь?

Голос у Шершнева был глухой, сиплый.

— У нас уволили разметчика Горбачева. И неправильно, незаконно!

— Почему неправильно?

— Из-за меня уволили. Потому что он против меня выступал. Это все Гаевский, из отдела кадров, и Иванычев наговорили.

— Что же они наговорили?

— А черт те что!

— Говори без чертей и по порядку.

— Ну, будто он сознательно подрывает, вообще против передовиков и связался с барыгами...

— Что такое барыги?

— Ну, спекулянты... А он вовсе не связан. Там спекулянта одного посадили, так его вызывали свидетелем, вот и все. И он не против передовиков, а только против меня выступал.

— Что ж ты его защищаешь?

— Так он же мой товарищ, самый лучший друг! Я его еще с пацанов знаю. Он честный парень — ремесленник, детдомовец... А на него наговорили, напришивали чего хочешь, уволили и сразу — из общежития... А ему жить негде! Куда он денется? И вообще неправильно!..

— А почему он против тебя выступал?

— Ну... он считает, что неправильно про меня «молнию» выпустили и на доску Почета...

— Почему?

— Вроде я — не передовик, липовый передовик...

— А ты — настоящий?

— Я перевыполняю норму. Даю больше двухсот.

— Но ведь Горбачев это знал?

— Знал... Он говорит, я перевыполняю только потому, что мне легкие детали дают, тракторные запчасти, из этого... из спецзаказа...

— А до спецзаказа ты норму перевыполнял?

Виктор молчал. Пламя от ушей, которые горели с самого начала, разливалось по лицу.

— Раньше ты сколько давал?

— Ну... сто два, сто три...

— Так... Выходит, Горбачев прав, ты и в самом деле передовик только потому, что тебе дали на обработку легкие детали и на них неправильная норма?

Виктор молчал.

— Что ж, его так сразу и уволили?

— Нет... Вызвали на треугольник. Вот там Иванычев, Гаевский и стали на него наговаривать.

— А ты?

— Я думал, он осознает...

— Что осознает? Что ты — настоящий передовик? Или что, когда выдвигают липовых передовиков, надо молчать?.. Так говоришь, вы — товарищи? — Шершнев помолчал и со вздохом сказал: — Говнюк, брат, ты, а не товарищ!

Виктор обиженно вскинулся и тут же снова опустил голову.

— Товарищ о тебе сказал правду, а ты обиделся? На него начали клеветать, приписывать ему всякие дела, а ты молчал? Ты же знал, что все это неправда? Знал. И молчал. Своя рубашка ближе к телу, своя шкура дороже? Какой же ты после этого товарищ?

— Что я мог сделать один?

— А ты храбрый, когда с тобой много? Ну вот ко мне, к знакомому начальнику, прибежал... Хорошо, что я здесь и принял. А если б меня не было или мне некогда, да мало ли что — может, я бюрократ? Тогда куда побежал бы?

— Я говорил,— сдавленным голосом сказал Виктор,— с Иванычевым, с начальником цеха... Пускай меня и с доски снимают, и вымпел заберут. Лишь бы Горбачева восстановили. Не надо мне ничего, если так...

— Нет, брат, не так просто! «Нате ваши цацки, я больше не играю»? Ты не маленький, вон какая орясина... Делали из тебя дутого — стань настоящим. И пусть нормировщик прохронометрирует твою работу.

— А Горбачев? Я думал, вы поможете...

— Помогу. Именно тем, что делать ничего не стану. Ты заварил кашу, ты и расхлебывай. Для этого тебе придется всем, а не только мне, объяснить, каким ты был передовиком.— Шершнев посмотрел на откидной настольный календарь.— Вот, кстати, сегодня у вас открытое партсобрание, обсуждают выполнение месячного плана. Вернее — невыполнение месячного плана. Возьми слово в прениях и расскажи все.

Виктор исподлобья посмотрел на него.

— Что, стыдно? А фальшивую славу иметь не стыдно? По-моему, хуже... Тебя люди хоть за правду будут уважать. Только смотри, говори начистоту, ни на кого и ни на что не оглядывайся. Ну, а струсишь, тогда уж на меня не обижайся... Иди.

Виктор, не поднимая головы, вышел. Шершнев проводил его взглядом.

Не слишком он его? Ничего, пусть умнеет. На собрании ему похлеще скажут... Хорошего отца сын. У такого отца и сын должен быть настоящим! Все должны быть настоящими! Да, конечно, все... Но у меня, должно быть, к днепродзержинцам слабость. Мы все, дзержинцы, ревнивы друг к другу...

25

Он помнил еще не город Днепродзержинск, а село Каменское, не завод имени Дзержинского, а Днепровский. Они почти ровесники. Только за год до его рождения задули первую домну на Днепровском заводе, построенном Варшавским обществом и бельгийской компанией «Кокке-

риль»... Денежные тузы умели понимать выгоду: река — самый дешевый транспорт, уголь — Донбасс рукой подать, руда — Кривой Рог рядом, а почти даровые рабочие руки — вот они, в Аулах, Романове, Каменском... Ничего не осталось от старого села Каменского. А жаль! Не в столицах, не во дворцах надо бы устраивать музеи революции, а там. Чтобы нынешних молодых лоботрясов, которые все принимают как должное да еще и нос воротят — плохо, мол,— не на экскурсии туда водить, а заставить пожить хоть недельку так, как жили в детстве они...

Классовая структура отечества обнажалась там нагло и бесстыже. Вершину крутого правого берега занимала Верхняя колония: за высокой шлакобетонной стеной с железными воротами и бойницами под круглосуточной вооруженной охраной жила высшая администрация. В Нижней колонии селились мастера и служащие. И уже на окраинах — на Суховой, Полицейской, Песчанах — рабочая голь... Цепляясь друг за друга жидкими плетнями, карабкались по косогору подслеповатые хибары и землянки, построенные не жактом, не заводским АХО — самосильно... Карабкались, бежали и не смели подняться до Нижней колонии, убежать от полой воды, чуть не каждый год проступавшей весной в землянках, от малярии, грязи и беспросветной нужды. Церковь, костел да три кабака — Стригулина, Самохвалова и Черкасова — вот все радости и университеты...

Вот там, прибежав однажды в родную халупу на Песчанах, он узнал, что стал сиротой. Мать голосила чужим страшным голосом, малая ребятня выла, а соседи сказали: батьку убило бревнами... Он был байловщиком — расшивал плоты, выкатывал хлысты на берег. Угрюмый богатырь, «дядька Харитон», он один подставлял плечо под комель хлыста. И вот лопнули стропы, прокатились по Харитону сорвавшиеся сверху бревна, измяли, сплющили могучее тело кормильца... На другой день после похорон сосед Петро Гущин взял Мишку за руку и повел к помощнику мастера-вальцовщика. В другой руке он нес угощение, завязанное в платок: бутылку казенки и десяток яиц. «Красненькая» лежала наготове в кармане.

Мишка ждал на завалинке, сжимал кулаки и скрипел зубами от злости. Мастеровы ребятишки смеялись над ним, над его ситцевой рубахой в цветочках, босыми, в цыпках ногами, но драться он не смел. Дядько Петро, предвидя такой оборот, пообещал «в случае чего самолично свернуть голову», да и вернуться домой ни с чем было нельзя. Когда

бутылка казенки была прикончена, Мишку позвали в кухню. Помощник мастера оглядел его покрасневшими глазами.

— Жидковат парнишка.

— Нет, Тихон Елизарыч, худой только, а так паренек жилистый. Отец у него — царство ему небесное — на работе прямо зверь был, все на лошадь старался заробить... И этот отъестся — в силу войдет.

Так и кончилось куцее, безрадостное детство Мишки. Минуя юность, он стал взрослым, кормильцем семьи.

Разошлись пути дружков-погодков Ивана Гущина и Михаила Шершнева, разбросала их судьба в разные стороны и снова свела вместе. Оказалось, в разных местах, поразному, а шли они одним путем. А потом не стало друга, и он пришел, чтобы помочь его вдове и сыну, как когда-то помог ему отец Ивана...

...Да, все должны быть настоящими. Только уж очень поздно умнеет молодежь... А может, это стариковские иллюзии, будто те, кто идет нам на смену, хуже, глупее, слабее? Так не бывает... Если б так было, люди бы давно бесследно перевелись, погибоша, аки обре... Погибоша... Черта с два! Что же, молодежь только «с песней по жизни шагает»? Она — думает. Вон хотя бы этот Горбачев...

Шершнев попытался вспомнить, видел ли его, знает ли, но вспомнился только Семыкин, старый разметчик. А Горбачев молодой. Не приметил его, не было случая.

...А вот Гущины умнеют поздновато. Нас жизнь школила, швыряла, как кутят в полую воду,— выплывай сам. И выплывали. А мы молодых только словами начиняем, как гусей яблоками... Слишком панькаемся с ними, слишком мало ответственности у них за себя и за все вокруг...

А в этом, пожалуй, отчасти стариковская наша ревность виновата: я, мол, жил дольше, знаю больше... Вот и оттираем молодых, пускай подождут, они, мол, еще успеют... А прожить дольше — совсем не означает знать и уметь больше. Вороны, говорят, и по триста лет живут...

Ну, началась зоология! Вороны, шакалы...

Шершнев снял телефонную трубку.

— Отдел кадров... Фоменко? У тебя работает такой Гаевский. Что он такое?.. Угу... А увольнение Горбачева, разметчика из механического, через тебя шло? Ты его

личное дело смотрел? Не поспел? Так посмотри. Как следует. И вот что, Фоменко, я в твои дела не вмешиваюсь, но имей в виду: отравлять людям жизнь я твоим работничкам не позволю. Ты им объясни, что не рабочий класс при них состоит, а они при рабочем классе. Понятно? Как следует объясни! А то вот такой Гаевский попадет в регистраторы, а считает, что в диктаторы, думает, если у него в шкафу личные дела сложены, так он уже и бог, и царь, всех людей себе в карман сложил... Я тебя предупредил, Фоменко, а ты знаешь — я два раза не предупреждаю...

Зазвонил городской телефон. Шершнев снял вторую трубку...

День был до отказа набит всевозможными делами — важными, срочными, важнейшими, безотлагательнейшими. Дня не хватало, он его растягивал до предела человеческой выносливости. Одни, отработав свое, отдав все, что могли и умели, уходили усталые домой, их сменяли другие. Он оставался. И этих других нужно было направлять, подталкивать, наставлять и вести.

Только поздно ночью, когда он уходил из кабинета и еще не приехал домой, где поочередно или одновременно уже трещали телефоны — заводской и городской, — в час, когда он один шел по заводу, не спеша и без всякой цели, его не трогали, не теребили. Это был его час, час раздумий. Деловых, продолжающих окончившийся рабочий день. Или иногда стариковских, усталых... Он не любил их, но они приходили все чаще, непрошеные, нежеланные и неотступные.

Ночью темп не спадал, цеха работали с полной нагрузкой, но завод как бы притихал, становился малолюднее. Не так заметна была суета людей, движение «кукушек», вагонов, ковшей и вагонеток. Лампочки, лампы, лампищи боролись и не могли побороть ночь. Она скрадывала контуры, искажала облики.

Крохотные горновые колдовали на литейном дворе. В розовых клубах дыма метались их гигантские тени. Медленно проплывали ковши со шлаком, унося в отвал сияющий над ними трепетный ореол. Судьба всех ореолов... Фантастическими анакондами змеились на своих опорах газопроводы. Сухо трещала сварка, безуспешно расстреливая ночь укрощенными молниями. Под опорами шел высокий сутулый человек и самому себе казался еле заметным среди огромных творений маленьких человеческих рук.

Кто он? «Хозяин», как его называют? Подгоняльщик?

Наставник и поводырь? Все вместе и еще что-то такое, для чего нет подходящего слова. Директор отвечал за всё: за кадры, за машины, за быт и прежде всего — за план. Все вокруг — сложнейшее и примитивное, огромное и мизерное, пламенеющее и невидимое, громыхающее и неслышное,— все существует, двигается, шевелится, действует во имя одного — плана. Полный металлургический цикл: столько-то тысяч тонн чугуна, стали, проката. И если их не было или было меньше, чем нужно, все теряло свой смысл, цель и назначение. В других местах, на других реках и берегах, в других городах стоят другие заводы. Они существуют тоже для того, чтобы выполнять план. Распланирована вся жизнь, каждый удар молотка и лопаты.

И все это для того, чтобы всего было больше и чтобы это было всё лучше, потому что это нужно людям для того, что называется счастьем.

Но сколько бы ни было чугуна, стали и проката, сколько бы ни было вещей, сами по себе они не сделают людей счастливыми. Это — неполный цикл. Нужно, чтобы люди, по гудку идущие в проходные завода, были спокойны, здоровы и, главное, уверены в завтрашнем дне...

Дышит, живет завод, горят печи, плавится сталь... Вот так в кипении забот, ссор, требований, скандалов и мирных бесед, в труде, сплетении тысяч судеб, воль и характеров, миллионов радостей и горестей горят людские души, плавится человеческая сталь... Чушь! Пустопорожние сравнения.

Металлургический шлак можно сбросить в отвал. В какой отвал можно сбросить человеческий? А мало ли чужеродных примесей из прошлого, из вчерашнего дня? Они плавают на поверхности, пузырятся, мешают, а то и вкрапливаются в самую толщу...

Время, только время меняет людей. Человек — не пшеница, гибридизацией и заклинаниями его не сделаешь новым...

Время — как быстро оно летит теперь, в последние годы. Говорят, всему свое время — время сеять и время собирать урожай... Что ж, мы не можем жаловаться: всходы густы и высоки. Только не так уж чисты, как хотелось, как нужно, как должно... Легко посеять неправду, но как трудно, как тяжко ее выпалывать! Да есть и охотники прикрыть ее, выдать репейник за драгоценный злак... А ведь и нам хочется не только сеять, воевать с сорняками. Мы тоже хотим собрать урожай, пусть и не такой обильный, как будет потом, после нас...

Что, старик? Сыну нищего байловщика, подручному вальцовщика, а ныне всеми уважаемому депутату и директору завода-гиганта захотелось славы, памятников? Вон фараоны оставили после себя пирамиды. Теперь к ним ездят туристы, глазеют и удивляются этим большим и ненужным вещам... Памятников тебе не нужно? И то хорошо! Счастья тебе добавить?.. А так ли уже было мало счастья в твоей жизни? Припомни и не жалуйся...

Одно только — отодвинуть подальше подступающую беду.

Как она выглядит, он увидел в клинике профессора Коломийченко, в Киеве. После сессии он лег в клинику к знаменитому отоларингологу, чтобы раз навсегда покончить со своим гайморитом. Операция прошла удачно, профессор шутил, он отвечал тем же, насколько можно было шутить с дыркой в скуловой кости и губой, завернутой к уху...

Через три года он заметил у себя симптомы, о которых наслушался тогда в клинике. Будучи в Москве, пошел к онкологу. Тот, осмотрев его, сказал, что определить так ничего нельзя, нужно лечь на исследование и попробовать рентгенотерапию, если понадобится.

Шершнев вернулся на завод. Стройки гигантских электростанций требовали шпунтов. Шпунты покупали во Франции, платили за них золотом огромные суммы. Прежде, когда строительство было не столь обширно, с этим мирились, но нельзя было все реки перегородить «золотыми» шпунтами. «Орджоникидзесталь» начал осваивать прокат шпунта. Лихорадило мартеновский, лихорадка трепала рельсобалочный. О том, чтобы оставить завод на несколько недель, а может, и месяцев, нечего было даже думать. Шершнев забывал о болезни в тревоге, ночных бдениях «шпунтовой лихорадки», потом пришли другие заботы — строительство сортопрокатного, подготовка к переходу на фосфористые руды...

Все явственнее становились симптомы. Голос стал садиться, звучать глуше и тише, все более слабым он себя чувствовал, отчетливо проступала желтизна. Что ж, старик, видно, подходит и твой срок?

Он никому не говорил о болезни. Товарищи, друзья с радостью помогли бы ему во всем, где можно что-то сделать. Здесь они могли только посочувствовать. Что изменит, облегчит сочувствие? Рано или поздно сочувствующие уйдут и, облегченно вздохнув, займутся своими делами, а ты останешься один на один со своей бедой. Один! Это

единственный случай, когда человек действительно остается один. Никто и ничто не в состоянии тебе помочь. Горе одному...

Горе одному, если ты остался только со своей бедой, если ничего, кроме нее, не видишь, ничего не сохранил. Так ли уж ты беден, старик? После тебя не останется пирамид, монументов, ты не можешь похвастать, что вот этот завод, вот эту домну построил сам, своими руками... Ты никогда не оставался один и ничего не делал один. Но всю жизнь ты отдал, всего себя ты отдал, чтобы были и этот дом, и многие другие, и эта домна, и та, и этот завод, и другие... Ты, не оглядываясь и не экономя, отдал людям все, что знал и умел...

Всё? Разве больше не можешь? А если можешь, так что же ты канючишь, разводишь жалостливую муть? Или все-таки собираешься торговаться со смертью, выклянчивать еще месяц, еще год? Никто не знает ни дня, ни часа... Так зачем же тебе менять остаток жизни на унылую полужизнь, которая в сущности только сознательно затянутое умирание? Не жалел себя в молодости, что же начал жалеть в старости? Не экономь себя, старик, не скаредничай — все равно не поможет. Для человека на земле есть только одно счастье — делать. Ты кое-что сделал в своей жизни, не порти ее, не складывай в страхе руки, оставайся собой до конца!..

Навстречу Шершневу от автомобиля шагнул заспанный шофер и с фамильярной непринужденностью близкого подчиненного сказал:

— Пора домой, Михаил Харитонович, завтра ведь снова на работу.

— Пора, поехали.

Садясь в машину, Шершнев поднял стекло и усмехнулся: гайморита уже нечего было бояться, но он по привычке оберегал себя от сквозняков.

26

Кира просыпается на рассвете. Окна еще только сереют, не больше четырех, но она встает. Базар начинается рано... Не зажигая света, она натягивает платье, выходит в кухню. Здесь уже можно включить свет. Кира старательно причесывается, смотрит на себя в зеркало и отбрасывает расческу. Прямо мука с этими волосами, уже торчат в разные стороны, как проволока...

Она зажигает керосинку, ставит чайник. Еще вполне

можно успеть. Вода жуткая, надо бы дождевой, только где ее взять. Она моет голову торопливо и осторожно, чтобы не зашуметь. Волосы, конечно, опять скрутятся в кудряшки, но хоть мягкие будут, не как проволока...

Дверца шкафа пронзительно скрипит, открывая небогатый Кирин гардероб. Она долго стоит в раздумье. Шерстяное не годится. Кто ходит летом на базар в шерстяном платье? Лучше всего крепдешиновое «электрик», сшитое к Первому мая. Совсем новое, надевала всего три раза... Кира отодвигает его, снимает с плечиков зеленое, в цветочках. Последнее, которое она сшила себе перед замужеством, в котором ездила в Найденовку... Теперь деньги, кошелку. Перед детской кроваткой она останавливается: на кого Ляльку оставить? Соседка уходит сегодня в первую — у них то и дело меняются смены. Мишка? Ему во вторую, но он так спит — хоть из пушки стреляй...

Батюшки! Уже без двадцати шесть. Кира торопливо кутает Ляльку в пикейное одеяльце и выходит. Малышка начинает кукситься, но тут же затихает.

На базар нужно идти все прямо, прямо, потом налево. Кира сворачивает направо. Первый гудок застает ее на улице, на которой конечная остановка заводских автобусов. Один уже стоит, еще полупустой. Кира неторопливо проходит мимо, всматривается в сидящих. Подходит второй. Кира минует его и, отойдя немного, останавливается под деревом. Отсюда дорога только одна... Слава богу, малышка не плачет... И хорошо, что надела это, марокеновое,— день будет жаркий...

Она вздрагивает, поправляет на руке малышку и идет. Не очень спеша, но и не медля. Так, как всегда ходят люди, идущие по делу...

Алексей поднимает голову, радостно улыбается.

— Кира? Вот здорово! Здравствуй!

— Здравствуй, Алеша. На работу? А я вот — на базар...

Алексею не приходит в голову спросить, почему он никогда раньше не встречал ее здесь, если она ходит этой дорогой на базар.

— На работу! Первый раз... Да, ты же не знаешь! Такое было! Меня же увольняли...

— Да, да,— кивает Кира,— мы все так за тебя волновались...

— Кто — все?

— Людмила Сергеевна... и я... Ты бы заходил к ней, Алеша, хоть изредка. Она знаешь как за тебя переживает?

— А она знает? Всё?

Кира часто кивает, подтверждая.

— И не сердится?

— Нет.— Про себя Кира добавляет: «Разве может она на тебя сердиться? Или кто-нибудь другой?..»

Последний камень падает с души Алексея.

— Зайду! Зайду обязательно! — Но он может сейчас говорить только о том, что переполняет его, выплескивается через край.— Уволили, а ничего у них не получилось, вышло по-моему... И знаешь, кто это сделал? Федор Копейка... Да, ты же Федора не знаешь? Вот парень!..

Кира, подняв голову, смотрит на него, счастливо улыбается и торопливо кивает. «Конечно, он хороший парень — ведь он поверил тебе, помог тебе! Разве после этого может он быть плохим?»

— Нет, понятно, не один Федор... Главное было на партсобрании. Мне Федор рассказывал. Дядя Вася — у нас старик фрезеровщик, рядом со мной работает,— он на больничном был, а на собрание пришел... Ох, он этого Иванычева просто с землей смешал! И очковтирательство, и зажим критики-самокритики... И Химчук, секретарь парторганизации, и Федор... Да все!

«А как же ты думал, дурачок? Вон ты стал какой большой и красивый, а — дурачок, ничего не понимаешь... Ведь тебя все любят! Разве можно тебя не любить?!»

Алексей спохватывается. Вот свинья, каждый раз такая история — только о себе...

— Ну, а ты как? — спрашивает он.

— Живу.

— Постой, ты что, плачешь?

— Нет,— говорит Кира, смахивая пальцем слезинку с ресниц.— Я так рада за тебя, Алеша!..

— Это твой? — смотрит Алексей на сверток, лежащий на левой руке.

Кира улыбается. «Дурачок, чей же еще?»

— Сын?

— Дочка. Хочешь посмотреть?

Кира приподнимает покрывало, Алексей заглядывает.

— Ничего, красивая,— неуверенно говорит он. Сморщенное старушечье личико, красное, будто его ошпарили, совсем ему не нравится.— Ты, конечно, знаешь, Наташа уехала, сегодня, наверно, второй день уже занимается... Молодец она все-таки — своего добилась!

— Да.

— Ну я пошел, а то опоздаю...

— Да, да, иди,— говорит Кира вслух. Про себя она говорит совсем другое: «Подожди, Алеша, милый! Не уходи еще хоть минутку, хоть полминутки. Ты не станешь от этого беднее, а я — буду счастливее...»

Алексей вспрыгивает на подножку уже тронувшегося автобуса, машет ей рукой.

Лялька начинает кукситься, Кира машинально покачивает ее и смотрит вслед автобусу, пока он не скрывается за углом. Потом она вытирает глаза и идет. Не на базар, а прямо домой. Соседка встречает ее у калитки.

— Вот ранняя пташка! Уже на базар сбегала?

— Да, только зря, пришла с пустыми руками — деньги забыла взять. Ничего, как-нибудь обойдусь...

В проходной стоит тот же самый вахтер. Алексей узнал бы его среди десятков тысяч... Алексей замедляет шаги, показывая пропуск, смотрит вахтеру в лицо. «Видишь, я говорил, восстановят, вот и восстановили!» Но вахтер смотрит не на него, а на пропуск. Он не помнит, а может быть, ему попросту все равно.

— Чего стоишь? — говорит он.— Проходи, не задерживай людей...

Как легко теперь. И как было трудно тогда. Нет, не бывает в жизни легких дорог, если тебе не «наплевать на все»... Легко быть смелым, если смелость твоя ни на что не нужна; легко быть честным, если нет соблазнов и тебе ничто не угрожает; легко не ошибаться, если ты ничего не делаешь и ни за что не отвечаешь; легко быть принципиальным, если принципы твои только для тебя, если совесть у тебя глухонемая, вместо души холодная жаба, а сердце пусто, как бубен... Но если все так, человек ли ты? И зачем ты? А если ты человек, иди вперед, как бы ни была трудна дорога, как бы ни цеплялось за тебя прошлое, вчерашнее, как бы ни хватало тебя за пятки или за душу, пытаясь удержать, остановить. Стряхивай, отбрасывай его и иди, иди дальше... А прошлое еще живет рядом с тобой. Оно оборачивается то дядей Трошей, то баптистами, то пакостным символом веры Олега Витковского, то Гаевским, то кажимостью Иванычевых, то Витькиным тщеславием и обидой, то страхом Калмыкова... Это все из вчера, оно еще живет сегодня, но его не должно быть завтра. И его нельзя жалеть, перед ним нельзя отступать, иначе оно обволочет, засосет и поглотит. Прошлое не уходит само, его можно

только уничтожить. И смотри внимательно: прошлое удивительно ловко умеет прикидываться настоящим и даже будущим!

Где-то возле шихтового двора свистит паровоз. Алексей узнает его — 9П-782. Голосистый «крестник». Тоже скандалист... Нет, работяга!

Голомозый стоит возле табельной доски, обиженно поджав губы. Надувайся, надувайся...

Федор Копейка уже возле своего долбежного, и крылья носа у него уже запачканы. Увидев Алексея, он широко улыбается.

— Эй, кустарь-одиночка, привет!

Алексей подходит и тоже радостно улыбается.

— Здравствуй... Слушай, Федя, я только одного не понимаю: вот когда меня на треугольнике прорабатывали, ты же был не согласен?

— Ну?

— И молчал.

— А что толку, если б я тогда даже кричал? Одного всегда перекричат. А вот всех,— повел он рукой в сторону цеха,— попробуй-ка!

— Так что, всегда только скопом?

— Смотря по обстановке... Есть такая наука диалектика. Слыхал? Ну и... котелок у нас на плечах не зря приделан. Им не орехи бить, думать надо. Газету видел?

— Уже написали?

— Ну, еще как!

Алексей хватает газету. Статья Ю. Алова «Об итогах одного партсобрания». Ну, сначала всякие слова о важности соцсоревнования, опыте передовиков, его распространении... Вот! «...на открытом партсобрании механического цеха резкой и справедливой критике были подвергнуты попытки руководства цеха раздуть без всяких к тому оснований достижения некоторых товарищей. В отдельных случаях имело место создание для них искусственных, тепличных условий. Это нездоровое явление явилось предметом острой критики. Общественность дала решительный отпор неправильной установке на искусственное выращивание якобы передовиков, которые на самом деле таковыми не являются. Неправильные методы работы с молодежью, форсированное выдвижение передовиков ради искусственно созданных показателей были решительно осуждены. Не подлежит сомнению, что это решение послужит предостережением и уроком для всех охотников ввести в заблуждение общественность».

— И это все? Вот гад! Ведь ни звука о том, кто что... Он же сам Витьку раздувал. Даже больше других...

— А ты думал, он про себя напишет: «Вот я такой и сякой, больше всех виноват... Прогоните меня, пожалуйста!..» — Федор слегка стукает его по затылку.— Видно, у тебя эта штука и в самом деле для орехов...

— Ладно, умник!

Алексей, смеясь, идет дальше. Нет, у него не только утраты! Вот появился еще один друг. Настоящий!.. Завидев впереди спину начальника цеха, Алексей нарочно догоняет его и, поравнявшись, говорит:

— Здравствуйте, Владимир Семенович.

Витковский оглядывается, смотрит на Алексея, но не отвечает. Ты еще и обиделся? Обижайся, обижайся...

Иванычев стоит у входа в конторку, кого-то поджидая. Он смотрит на Алексея, Алексей смотрит ему прямо в глаза и проходит мимо, как если бы там было пустое место.

На доске Почета возле конторки зияет дырка — Витькиной фотографии нет, уже сняли. Нет и самого Витьки возле станка. Заболел? Или от стыда попросился в другую смену?.. О, дядя Вася вышел!

Алексей подбегает к Василию Прохоровичу, но тот жестом останавливает его — он занят: протягивает трос через барабан парового цилиндра. Трос он цепляет к крюку мостового крана и, подняв голову, кричит крановщице Лиде:

— Дочка! А ну-ка, натужься!

Голова Лиды высовывается из окошечка.

— Дядя Вася, еще ж не гудело!

— Хватит, что у тебя ноги гудят после вчерашней танцульки?

— А вам завидно? — Лида хохочет и включает контроллер. Цилиндр всплывает вверх и опускается на стол станка.

Василий Прохорович отцепляет трос и только тогда поворачивается к Алексею.

— Пришел, аника-воин? Здорово, здорово...

— Спасибо, дядя Вася, что вступился!

Василий Прохорович смотрит на него поверх очков.

— Всех будешь обходить? Так тебе и за целый день не перекланяться. А начинать надо не с меня — с Маркина. Он первый начал. Так из Витковского пыль выбивал, аж звон стоял.

— Маркин? Из-за меня? Он же меня всегда ругал.

— Мало ли что! Тебя ругал для порядка, для воспитания. А Витковского — за дело. Разница!

— Дядя Вася, а почему ты раньше молчал?

— Я тебе говорил; ты тогда не поверил. Оно и понятно: человек по-настоящему только бокам своим верит...

Матово поблескивает отшлифованное зеркало чугунной плиты. На нее приятно опираться в жаркий день — она всегда прохладна. Рейсмус, циркуль, линейка, молоток, кернер... Краска осталась после Семыкина, можно не разводить. В самом начале его поташнивало от запаха этой клеевой краски... Да разве только от краски? А разогретое машинное масло, мыльные эмульсии, кисленький запашок меди, устойчивый сильный запах кованого железа... Сколько раз он когда-то мечтал сбежать от всех этих запахов, гула моторов, щелканья ремней, осточертевших шаблонов, мертвой глыбы плиты — от всего, что нужно красить, ворочать, прочерчивать, кернить... И как оказалось это дорого, с какой нежностью, болью об утраченном вспоминал он все, что пробовали у него отнять... Нет уж, этого не отнять!

— Ну, Горбачев, вышел на работу, все в порядке? — Ефим Паника кладет на стол чертежи и наряды.— Видишь, я тебе всегда говорил: гуртом даже батьку бить легче! А ты сам, один в бутылку полез... Вот и мыкался. Сам виноват!

Под усмешливым взглядом Алексея глаза Ефима Паники стреляют куда-то в сторону.

— Ну, я побежал, некогда...

Он убегает, Алексей начинает разбирать наряды.

— Слушай, Лешка...

Лицо Виктора растерзано, толстые губы дрожат. Он приготовил длинную, прочувствованную речь, в которой всё: и его переживания, и Шершнев, и Гаевский, и стыд, пережитый на позавчерашнем собрании, позор и раскаяние, заверения, что теперь уже никогда ничего подобного не случится, как он не понимал и не сознавал, а потом понял и осознал. Но теперь он только с трудом может выдавить четыре слова:

— Нам, понимаешь, надо поговорить...

— О чем?

— Ну, все-таки, понимаешь, так получилось...

— Знаешь, Витька: давай замнем. Для ясности.

Виктор настороженно смотрит Алексею в глаза. Алексей смотрит на него и улыбается.

— А ты... не сердишься?

— На тебя? Ты же — дура! — И он толкает ладонью Виктора в плечо.

Виктор наконец понимает, губы его расплываются.

— А ты-то кто? — кричит он и сам изо всех сил толкает Алексея.— Обедать пойдем? Я место займу... А вечером...

С полминуты в воздухе колышется, назревает, растет глухое ворчание, и наконец прорывается могучий рев, в котором тонут все звуки. Третий гудок. Виктор что-то кричит, потом машет рукой и бежит к своему станку.

Рев обрывается, все звуки в цехе на минутку становятся необыкновенно звонкими и отчетливыми. В среднем пролете слышен крик: скандалит Маркин... «Порядок!» — Алексей улыбается и склоняется над плитой.

СОДЕРЖАНИЕ

Николай Иванович Дубов

ГОРЕ ОДНОМУ

М., «Советский писатель», 1983, 520 стр.
План выпуска 1983 г. № 119
Редактор *С. А. Панасян*
Худож. редактор *Е. И. Балашова*
Тех. редактор *Г. В. Белькова*
Корректор *Э. А. Бабина*

ИБ № 3670

Сдано в набор 10.11.82. Подписано к печати 16.04.83. Формат $84 \times 108^1/_{32}$. Бумага кн.-журн. Обыкновенная гарнитура. Высокая печать. Усл. печ. л. 27,3. Уч.-изд. л. 29,68. Тираж 200 000 экз. Заказ № 667. Цена 2 р. 10 к. Издательство «Советский писатель». 121069, Москва, ул. Воровского, 11.

Ордена Октябрьской Революции, ордена Трудового Красного Знамени Ленинградское производственно-техническое объединение «Печатный Двор» имени А. М. Горького Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 197136, Ленинград, П-136, Чкаловский пр., 15.

